

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

БЕГЛЫЕ В НОВОРОССИИ
ВОЛЯ
КНЯЖНА ТАРАКАНОВА



Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ



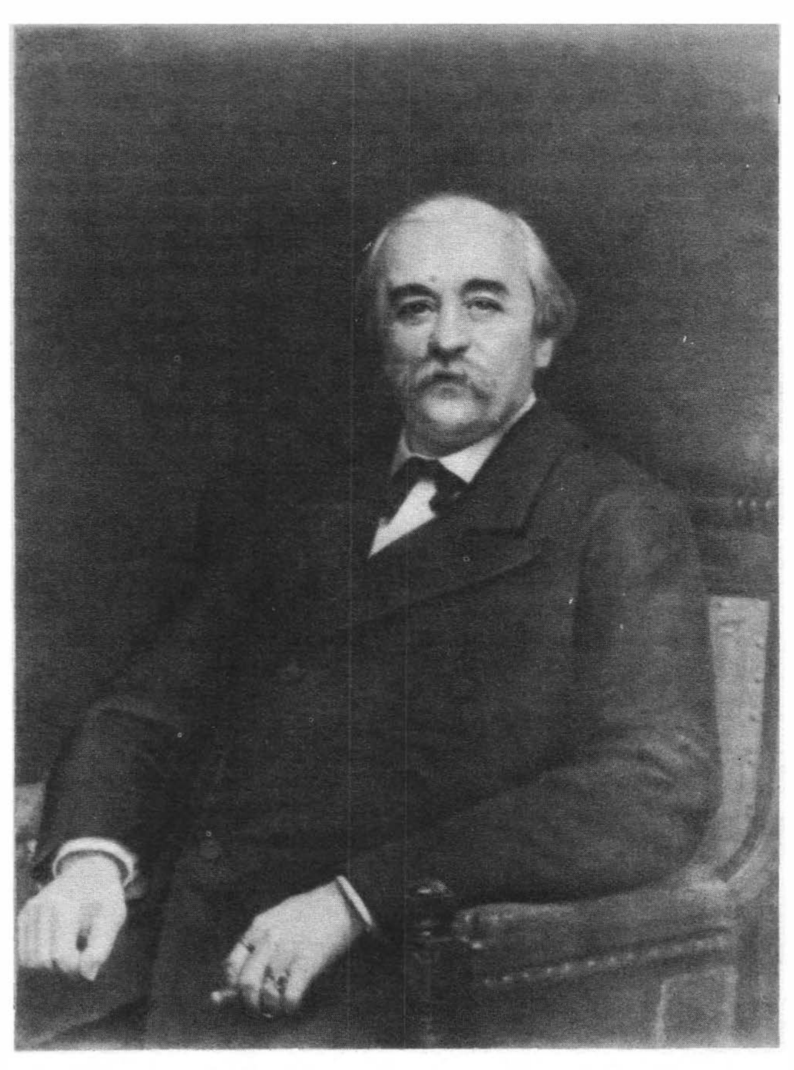
БЕГЛЫЕ В НОВОРОССИИ

•

ВОЛЯ

•

КНЯЖНА ТАРАКАНОВА



Г. Данилевскій

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

БЕГЛЫЕ В НОВОРОССИИ

•

ВОЛЯ

•

КНЯЖНА ТАРАКАНОВА



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1983

Послесловие
Э. С. Виленской

Иллюстрации
О. И. Гроссе

Данилевский Г. П.
Д 18 Беглые в Новороссии; Воля; Княжна Тараканова. / Послесл. Э. Виленской; Ил. О. Гроссе.— М.: Правда, 1983.— 624 с., ил.

В данное издание вошли три романа Г. П. Данилевского (1829—1890): «Беглые в Новороссии», «Воля» и «Княжна Тараканова».

В романах «Беглые в Новороссии», «Воля» автор показывает крестьянскую «волю», в первом — добытую побегом, во втором — «дарованную» самодержавием, а также рассказывает о царящем чиновничьем и помещичьем произволе и о крестьянских волнениях, вызванных реформой 1861 года.

Роман «Княжна Тараканова» повествует об авантюристке XVIII века, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендовавшей на российский престол.

Д $\frac{4702010100\text{-}601}{080(02)\text{-}83}$ 601-83 84 Р1



БЕГЛЫЕ В НОВОРОССИИ

РОМАН
В ДВУХ ЧАСТЯХ

•



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

I

Левенчук и Милоро́денко

В конце апреля, по пути к азовскому поморью, из старых украинских губерний пробирались глухими тропинками, оврагами и одинокими степными лесками двое пешеходов. Оба они были молоды, измождены усталостью, в потертой одежде и с палками в руках. Ночевали они под стогами, пили редко из колодцев, а более из не высохших еще снеговых озерков, ели что бог даст и торопились-торопились. Младший из них, тип чистого малоросса, немного мешковатый и вялый, шел как будто нехотя, пугливо оглядывался по сторонам, вздрагивал при малейшем звуке в степи, ранее старшего сворачивал в сторону, едва завидев на пути одинокий постоялый двор, хутор или проезжую смиренную тележонку. Зато старший шел смело и даже весело. На нем был зеленый жилет с ключом на веревочке, серая

барашковая шапка и ветхие плисовые шаровары. Он бойко говорил по-русски, хотя был родом малоросс.

— Ты, брат Хоринька, смотри у меня, не дури, не кручись: я уж в пятый раз бегаю. А что? — сходит! ровно, миленький, ничего. В первый раз-таки, как поймали и привели, скажу тебе, вспороли напорядках. Исправник был выжига, пятью червонцами не откупился. А зато места-то, места какие! Батюшки мои светы! Ты в резонт то ись не возьмешь, что это за край, эта поморская сторона! Уж недаром же я веду тебя туда, братец! Там тоже поселки есть да не чета нашей треклятой «панщине»; сказано — волюшка: вот как птицы вольные, там и земля вольная! Разные тебе языки, сбоку сплошь донщина, а там наши города и море! Жизнь, жизнь, родимый! Денег заработаешь вдоволь, пачпортик тебе выхлопочут. Паны там не то, что у нас: всё ухари-молодцы и по-кавалерски тебя содержут. Значит, не то что у нас, по старым господским хуторам, в месячину тебе толоконце одно отпускают, значит дерть собачью, жито пополам с ячною мучицей по пудику на душу. А там тебе и сало и масло постное греческое, прямо с порта, в богоспасенные дни. Ешь-кушай да трудись, душа. Сказано, вольница! Захочешь жены — и жинку тебе справят новую. Пять раз я бегал и пять раз все новых шамшурок доставал! Такое уже заведение было; коли ты лакомка — не нахвалишься, ей-богу!

Младший на эти слова тихо вздохнул, продолжая семенить босыми пятками, держа сапоги через плечо и изредка потирая тряпицей разболевшиеся от ветра глаза.

— Ну, что вздыхаешь, Хоринька? Слушай, Харько́! Эти твои оханья да вздохи — только одни пустяки. Ну, куда мы идем, а? Слышал ты про азовски лиманы, про донски гирла и камыши? Ну? Глуп ты есть, человече, и только! Говорю тебе: приведу тебя в такие места, что ахнешь. Бос ты — обуют тебя, наг ты — оденут, гладен — накормят, пьяница — пить дадут, баб любишь — предоставят тебе таких, что ума помраченье! Волюшка, волюшка, Харитон!.. Кто ее не любит? Бежал я, братец ты мой, впервой сдуру, от блажи, понятия еще не имел, значит, о живодере Петилье, у которого после трижды в наймах бурлаком жил, — там такой шельма-французик под Бердянском степи держал, — а и то, что со мною сталось! Вышел я, братец, наработамшись и

намучимшись вдоволь, в дождь да в студеную непогодь пробирался, как и мы теперь, свиными дорожками, по захолустьям. Да как вышел я за Днепр, как повидел, что это уже не наша панская Украйна, а вольная со светосоздания царина, значит, божья степь, где, куда ни глянешь, все поле да поле, ковыль расстилается да коршунье летает,— вспolз я, избитый и усталый, на курган и поглядел этак вперед себя. Голова, брат, и закружилась, а глаза чуть не ослепли от свету, простора да сверканья всякого. И смотрел я, Хоринька, с кургана того от утра вплоть до вечера; упал и заплакал с радости. Так бы, кажись, и пошел на все четыре стороны разом... Волюшка, воля! Постой, и ты не то заговоришь, как увидишь ее! Сказано, рай! Знаешь бурлацку песню:

Эх ты, степь моя, степь бердянская!..
Жизнь постыла, неволя панская!

Веселый вожак, выйдя из глубокого оврага, по дну которого шел с товарищем, несмотря на усталость, звонко запел, потом вдруг засмеялся и замолчал.

— Харько! — сказал он, плетясь в гору.

— Что?

— Ты Левенчук по прозванию?

— Левенчук.

— Ну, тебя же мы, как придем, окрестим иначе. Вот я Милоро́денко по прозвищу, там на хуторе, до́ма, значит по ихней панской ревизии; а в бурлаках я, братец, повсегда Александр Дамский, и имени уж теперь ни в жисть не меняю; так меня все кавалеры там, значит, помещики, и знают, потому что пачпорта теперь уж мне не нужно,— и без него я знаю как обойтись. А вот тебе пачпортик на первый раз нужен. Слушай, Харько́...

— Что, Василь Иваныч? — грустно отозвался, вздыхая, новичок.

— Как придем мы на границу, до ногайских степей, береги ты меня, душа Хоринька. Покаюсь тебе. Непьющ я сызмальства, а как доберусь до воли,— себя не помню,— пять раз в шинке у Лысой Ганны пропивался, как собачий сын, до нитки. Береги меня, Харько, как свою душу; не давай мне сразу простору; ублажай меня, уговаривай, да поделикатней при людях,— потом, пожалуй, и свяжи, даже поколоти, обругай самою скверною бранью, а водки много не давай. Хоть просить буду, хоть бить тебя буду, не давай водки, не давай и денег.

Граница уж близко; вот тебе вся моя казна,— возьми и спрячь... Не силен я тут против соблазна... Ох, не силен! Сказано, воля!

Милороденко действительно остановился, присел на траву, снял сапог, достал оттуда в грязной ветошке какую-то сумку, вынул три замасленные ассигнации, посмотрел на них на свет с вниманием и как бы с сожалением похлопал по ним и отдал их товарищу.

До желанных мест крайнего юга оставалось недалеко. Туда стремились новые товарищи, как стремятся и стремились искони, по неодолимому влечению, сотни и тысячи других, им подобных беглых русских людей, с перелетными от севера птицами, ища новой пищи и новой доли.

Два-три перехода — и они были, наконец, на рубеже того непочатого или мало еще початого края Новороссии, где Милороденко пророчил у господ кавалеров своему товарищу такое счастье и богатство, каких он и во сне не вида́вал.

Овраги и лесистые балки стали попадаться реже. Стоги, под которыми они ночевали и прятались на отдыхе от дождей и солнца, исчезали вовсе. Пошла сплошная, необозримая степь, заросшая густыми цветущими травами. Сел и хуторов не было видно вовсе. Кое-где только мелькали в стороне, чернея длинными шестами, со вздетыми на них пучками ковыля, одинокие овчарни. Да иной раз, пробираясь чуть видною в траве колеею проселка, натыкались они на пустынный колодезь, до того глубокий, что не было видно его дна, как туда ни смотри. Встречные чумацкие обозы они обходили, а к одиноким пахарям в степи приближались. Подойдут, особенно вечером, к огоньку, Милороденко поклонится, подсядет на корточки к маленькому костру, заговорит, посмеиваясь и смотря по своему обычаю в ладони, перебросит с руки на руку уголек, закурит трубочку, и сейчас начинаются у него расспросы и шутки.

— Что, от панов? Панские? — спросят его.

— Па́нские! — скажет и зальется смехом Милороденко, передавая анекдоты о хуторских невзгодах.

Но Левенчук шел печально и мало принимал участия в веселых проказах и россказнях товарища.

В одном месте Милороденко, угощенный кем-то на перепутье, говорил товарищу, сильно вздыхая:

— Как будем мы идти близко к морю, там речка Мертвые Воды есть. Так-то! Впервóе, как я убежал, жил я в косарской артели; шли мы с заработков от одного барина и наткнулись на злое дело. В другой артели не то косарь, не то, черт его знает кто, зарезал нашего же, должно быть, беглого брата, старика лакея, а лакей этот шел к морю с дочкой, маленькою девочкой. Убивца, чтоб ему пусто стало, старику перехватил глотку сонному, деньги отнял и убежал. Были, говорят, у него деньги небольшие, дрянь. Так девочка привела отца, еще полуживого, на Мертвые Воды: тот стонал с перерезанным горлом, упал на пороге там какой-то хатки и, говорят, умер, а на месте не мог назвать, значит, убивцы своего. Скверное это было дело. Мы сейчас сбежались, жалели; ходили смотреть и на девочку и на умирающего, а у него были такие бакенбарды белые, так и торчали с телеги, как его повезли в город; сам худой да лысый. Страшный такой! Девочка не могла рассказать, откуда они убежали, и ее взял кто-то в приемыши.

В другом месте Милороденко беседовал:

— Да ты мне скажи, Харько: и вправду ты думал утопиться, как я тебя увидел на плотине и сманил? — Это было уже на последнем привале, ночью, в кустах дикого терновника, где они расположились понежиться уже повольнее и даже сами решились развести огонек.

Левенчук ничего не отвечал. Его серые, широкие, задумчивые глаза, при черных курчавых волосах, печально смотрели на догоравшие уголья, тогда как карие, веселые, наигранные, как у кошечки, и подвижные глаза Милороденко так и смеялись.

— Вылез я из камыша,— продолжал, хохоча, веселый вожак,— вылез, смотрю — человек сидит над водоспуском, плачет, охает, все озирается и хватается за голову. Шапку снял и уж ноги свесил над омутом... Ждал я, чтó будет, а ты все ближе к омуту, ближе да плачешь. «Тю-тю, дурный!» Ты и остановился. Расскажи же, брат, как это ты задумал, когда жену-то твою порешили, топиться в панской речке?

— Что ж, дядько,— начал Левенчук,— скажу тебе. Я ходил за овцами у пани; ну, ходил и ходил! скука там смертная была. Раз и зовет меня старая пани: «Харько, я тебя женить хочу!» — «Воля ваша, говорю, пани».— «Да ты не знаешь, на ком?» — «Не знаю».— «На Варьке, на дочке Петриковны! хочешь?» — «Воля ваша!» говорю, а

у самого сердце так и обдало! А Петриковна была ключницей у нашей барыни, проворовалась, ее и сослали на птичню. Пила запоем, с горя, эта старая мать Варькина. Повенчали меня с ее дочкой в числе других шести пар, разом. Барыня наша уж эти свадьбы всегда справляла зауряд, осенью, перед филипповками. Не знались мы и ни разу до свадьбы с Варькой, не говорили ни слова. Известное дело, я пас овец, все в степи и редко домой наведывался. Повенчали нас, посадили за стол, а потом спать положили...

Харько помолчал.

— Ну, дяденька, скажу я прямо: так стыдно было мне на свою жену глядеть, что больше году мы и вместе жили, и за стол есть садились, и уже любить-то я ее начал, а говорить еще по душе не говорили и не глянули друг другу в глаза прямо; все больше молчишь или перекинешься так, пустым словом, да и глаз от земли не поднимая. И рассмотрел я ее, правда, уж через год. Пас я, как всегда, овец отару; бежит ко мне соседская девочка: «Дядько Харько! — кричит,— тетка Варька сына тебе родила!» Не помню я, как допас овец до вечера; напоил их, загнал их в сарай, вбежал в хату, а в хате ладаном накурено, соседи чинно сидят, люлька висит у потолка, а Варька, лежа, качает с лавки ребенка. Я кинулся к люльке, она приподнялась. «Харитон! — говорит шепотом,— это наше дитя!» Мы взглянули через люльку друг на друга прямо и, склонясь над дитятею, заплакали и тихо поцеловались. С той поры мы на людей уж стали похожи. Люди радовались, и мы радовались. Да не довелось пожить счастливо. Съездила наша пани в город и купила новую молотилку, такую машину, с чугунным барабаном. А в прошлом году у нас сильная пшеница уродилась. Привезли эту машину, поставили на току в сарае и стали молотить лошадьми, а бабы солому отгребали. Мазали эту машину дегтем. Раз и моей Варьке загадали с другими идти до той молотилки; а сама наша пани всегда при работах стоит. Пока запрягали коней, пока пани от горниц приплелася, бабы и давай на выдумки. Та на коня верхом лезет, та в снопах перекидывается, а моя и говорит: «Где, бабы, мазница с дегтем? Давайте себе сапоги помажем!» — «Вон, говорят, под колесом!» Она и полезла. Подставила один сапог, смазала; стала и другой мазать. А тут кричат: «Пани идет, пани!» Машинист у нас кривой, подлец

такой был, со злобы, что ли, повернул барабан, лошади дернули, колеса завертелись, а Варька рукавом и попала под чугунное колесо. Бабы кричат: «Стой, стой!» А он кричит на погонщиков: «Бей, гони коней! барыня идет! мы стоим ничего не делаем». А Варька боится крикнуть, притаилась... Машина пошла... Ох, дядько! И вспомнить страшно... Застонала она, что-то захрустело... Прибежала опять ко мне в степь та же соседкая дочка. Орет-голосит на всю степь: «Ты тут овец все, дядько, пасешь, а там уж твоей Варьки на свете не стало!» Бросил я овцу и прибежал на хутор. «Где, говорю, где?» — «На панском дворе!» Прибежал я в самую панскую горницу, а она-то, моя Варька, на полу лежит, и сама старая пани простоволосая над нею мечется... Куда тебе! Руку оторвало, и всю потрощило ее, мою сердечную, в куски! Ох, дядюшка, страшно!.. Я как глянул, так и сам упал... Отлили водою меня... Похоронили ее, голубочку, а мне свиту новую справили. И впрямь: пани тут, пожалуй, сама и не виновата. Да уж я, как встретился с машинистом, глянул на него, а он глаза понурил, стал и говорит мне: «Иди своею дорогою, не смотри на меня: ты, как собака, злой». Зашел я в шинок как-то. Кучер наш гулял. Перепоил нас. Тут и машинист храбрился. Я и задумал недоброе. Уж не смог я эту овцу в степи больше пасти. То, бывало, ходишь день-деньской по жаре, печешься, есть-пить хочется, вода в баклаге теплая, прогнившая, овца собьется в кучу... Сядешь; кругом ни души, — одно марево огнями переливается да овражки свистят. Скука... руки бы на себя наложил! Делать, работать не хочется; да и что сработаешь, ходючи без устали? Разве ложку какую выдолбишь! А все прежде жилось. Вечер-то, вечер! хата! — так и манят. Придешь, и все забыл. Ляжешь возле нее, прижмешься к ней, а в хате чисто, травами сухими пахнет, постель белая; она смеется, шепчет тебе сладким шепотом — и до утра иной раз не спишь! Ну, меня и повело, как Варьку порешили. Ох, дядько... боюсь! Не допытывай меня... Ну, что же?.. так-то вот раз нашли машиниста под селом убитого; волки уж и голову ему объели. Порешить себя тут задумал и я... Сперва удавиться хотел, а потом утопиться. Люди меня усовещивали; суд допытывал. Это я уж в третий раз над омутом-то сидел! Грешное дело: и спасибо тебе, Василь Иваныч, что ты меня избавил!.. А все как-то жутко еще, и мерещится все недоброе...

Без руки лежит, вся потрощенная, покровавленная на панской молотилке... А собаке — собачья и смерть! Не я его убил. Должно быть, чужой кто. Он все шатался по любовницам по ночам. Ну, а тут уж прямо меня подозревать стали, люди начали обходить меня. Затаскали по допросам. Пани в солдаты погрозилась отдать. Я и сам стал как неживой. Как собака голодная мыкался. Много наших разбрелось из хутора в разные годы, а сам не решился. Все думал: как уйти? И в голову не прибиралось.

— Вот постой, постой, Хоринька, как придем да как помещу я тебя в неводчики, при рыбных ловлях или в какую косарскую артель,— добром помянешь, любезный человек! А вот я так иначе бегал...

— Как же ты, дядюшка, бегал? — спросил уже несколько спокойнее, как бы облегча душу, Левенчук, помолившись вслух на восход солнца впотьмах и ложась спать у окончательно потухшего костра.

— А вот как я убежал впервóе,— начал Милороденко, весело закидываясь навзничь и потягиваясь под кустом,— моя сказка, простой ты человек, короче. Видишь ли, ты еще теперь настоящий хохол, а я уж и тогда был натертее,— в лакеях, значит, обретался и погосподски говорил как следует. Ну, скажу тебе по правде, ничто меня всегда так не манило, как, выходит, крупичатый хлебец, то есть, значит, бабье дело. Ну, простота, черт меня и попутал до конца! Прошлялся по Таганрогу; а тут и изловили меня полицейские на базаре; домой переслали, вздули, брат, это меня опять по всем порядкам. А тут опять душа пить попросила... Влюбилась в меня, до побегу еще значит, племянница самого барина... да!

— Что ты? Ах, братец ты мой! — даже вскрикнул с испугу в темноте Левенчук и вспрыгнул на корточки.

— Эх, дурачина ты, брат, дурачина! Ну, чего смотришь так? Вот то-то и дело, что ничего! — продолжал, вольготно потягиваясь, Милороденко,— это почти то же самое дело, никакой разницы нету, кроме опчей, значит, чистоты... Просто, ровно ничего! Сперва я хаживал к барышне в окошко; в саду видалися; воду, зонтики ей туда носил; а там дело узнали, заперли меня; барин в кандалы хотел заковать, сослать задумал; да увезла она меня к своей матери: там в приживалках у какой-то енеральши мать эта жила. Выкрала меня барышня из

амбара. Выли, выли старухи хором, совещались, душечка ты моя, с разными господами и чиновниками и решили нас, братец, попросту, тоже повенчать. Да! чего ты это смотришь? именно повенчать; мне выхлопотать обещали вольную. А барин и заартачился. «Не дам, говорит, она наш род опозорила, с холуем повязалась, так пусть останется моею холопкою-крестьянкою, коли венчаться хочет!» Ну, нас не повенчали. Так мы и остались. Зажили это мы с нею, не скажу весело, а сносно. По богомольям ездили; я в манишках, в перчатках, как следует, хожу; трубку при господах курю, даже фрак мне справили! Только и стала меня ревновать эта моя барыня-подруга. И не буду я тебе, душа, много рассказывать. Один-таки пьяный поп нас повенчал. Любовью да ревностью задала тогда мне моя жена за год такой копоти, что я и призадумался. Оно, конечно, я спал на пуховиках, ел сытно; наш же Сережка, с которым я прежде в бабки играл, кушать нам подавал. Я ему кричу: «Э-эй, малый, трубку!» А он ни гу-гу; в сенях только иной раз кулак, шутник, покажет. Жили мы в городе, на краю, на квартире у дьяконицы. Иной только раз завалишься в кабачок и закутишь с мещанами и с мужичьем; деньги были. Я вакштаф курил, говорю тебе, в карты в прифиранец с чиновниками вывчился, в халате сидел по целым дням. А она все меня целует да мучит ревностью. «Ты, говорит, Матрену нашу прежде любил, с Парашкой знался! Правда это? Признайся, говорит, признайся!» Да все грызет и плачет. Опротивела она мне; стал я и бивать ее подчас. А люди добрые, мошенники городские, и посоветовали: «Обокрадь ее, да и убежи!» Ну, красть я не крал, а бить,—отпорол единожды в спальне нагайкою; сказано, опротивела мне, так за косы ее и таскал, бимши. Она ничего, стала тише, руки мне целует... А тут я и получил из Таганрога записочку от одной красотки: там в модницах жила, и мы в бегах знались. Взманула меня опять волюшка. «Эх,—подумал я,—бес вас забери, пуховики да супы, да лежанье одно, да панские россказни!» Стал я больно суров... У! натерпелась она тогда от меня! А на втором году я и дал тягу, уж окончательно, да с той поры ее и не видел.

— Что же, дядько, а она где теперь стала?

— Умерла, сказуют, братец, в скорости, без меня! Ведь это давно было. Я холост уж вот четвертый год.

Возвращался к барину. Да уж в другой раз не поладили. Сильно я ему грубил и досаждал. Барин повестки обо мне разослал, как я бежал. Ловили меня, приводили снова раз к нему; жены я не застал уж тогда. Соседи советовали ему: «Дай вольную Ваське!» Не дал! Ну, а я уж, душечка, подумай, покурил вакштафу,—домой-то, значит, к пану своему больше и не хотелось. Ну, с той поры по сей день, четвертый год, и состою в бегах. Детей, видишь ли, не произвел, не осталось. Родня женина срамится, должно быть, и вспомнить меня. Хоть и мне страшно вспомнить это их всех. Скверные, братец, люди! Да я-то теперь уж разбогатеть хочу, показать себя им всем, что я за человек! Что ж, что я холоп, так и не венчать? Пан вольной не дал, ну, и стеснил тем нас. А будто трудно было подмахнуть бумагу? Ну, я же им это покажу, и без них обойдемся! Разбогатею вот как! Сторона это такая, что только трудись,—золото лопатами тут все загребают...

Оба товарища на этом заснули. Ночью Левенчуку все казалось, будто что-то шелестело в степи, точно конь близко где-то силился оторваться от привязи, оторвался и, фыркая, все бегал впотьмах. Раз он открыл глаза. Над ним висело темное-темное, усыпанное звездами небо. Голос какой-то птицы уныло охал вдали. Кузнечики трещали. А в мыслях его было смутно. Глаза горели, в висках стучало. Покинутая родина и чужая даль сжимали бедное, напуганное сердце.

Разбудили их песни жаворонков и все крылатое население степи, сверкавшей под каплями крупной утренней росы. Голубые туманы переливались вдали. Слева шли волнистые зеленые косогоры. Справа синело не то море, не то та же бесконечная, будто в гору идущая, степь. Что-то отдавалось уже не украинскими, простыми и тихими картинами, а чем-то иным...

— Видишь эти пустыри?—допытывал Милороденко,—много я тут помыкался! В Москве теперь я пожил два года, а сколько уже здесь перемены. Вон, видишь, уж хуторок лепится над балкою, садик разводят, пруд мигом вырыли, мельницу-ветряк ставят, панские горницы строят. А два года назад тут одна степь была. Теперь и дорогу туда протоптали. Так и при запорожцах тут заимки занимали. Вся наша и земля тут старозаимочными хуторами стала. Наши предки с тобою тоже сюда пришли и закрепостились. Ну, а мы с тобою уж теперь вольные...

Миновав еще два-три пустынных аула, пешеходы вошли в область разнообразных новороссийских колоний и под вечер очутились у знаменитого порубежного в крае шинка Лысой Ганны, которого так боялся Милороденко. В шинке и кругом шинка, близ байрака, сновали какие-то люди. Фургоны стояли, волы паслись, верблюды шагали к водопою. Мелькали татары в бараньих шапках. Двери в шинок были распахнуты настежь. Волынка и две скрипки бренчали у крыльца. Музыканты были слепые нищие. Старший из них затягивал под музыку песню: «Ой, фортуно, фортунонько! де до тебе стежка?» Милороденко ввел Левенчука в шинок, ткнул пальцем на бородатого жида-шинкаря, сказав: «Вот это ж и Лысая Ганна!» — узнал двух-трех соседних знакомых и заметался.

— Всечестнейшая и преблагородная компания! — сказал он, — целуйте меня, я Александр Дамский и опять между вами. Лейба, шельма, водки!

— А! это ты, Дамский? — отозвались его приятели из посетителей Лейбы, все народ мрачный и бедовый. — Где был? откуда пожаловал?

— Из Киева, антихристы, из Киева; а был и в Москве, милочки. Дважды нажился в это время и дважды продулся! Да меж вами доносчиков нет?.. Тронь меня, я и ножом теперь пырну, — не замай! жить хочется, жить давайте мне — я теперь вольный человек! Пришел это мимоходом к барину к своему на хутор, говорю: «Полно биться, будем мириться». А он, как положил, и всыпал мне двести. Я опять тягу.

Чего только не делал тут Милороденко. Помня зарок приятеля, Харько сперва было воспротивился просьбам его дать денег. Но уже Александр Дамский хлебнул горькухи и преобразился. Про розги и свидание с барином он врал для щегольства. Из веселого и кроткого человека — это стал зверь: ноздри раздулись, лицо побледнело. Он свистал, прыгал, давал приятелям пинки, кричал: «Воля, воля! Я ведь вольный!»

— Ах ты, хохол-свинопас! — крикнул он на всю хату Левенчуку. — Слышите, добрые люди, денег не дает! — И ни слова дальше не говоря, попотчевал сопутника страшною затрещиной, дал пинка в спину, а потом в живот... Со сверкающими глазами, со скрежетом зубов и растрепанный, отнял он под вечер у перепуганного и избитого Харько все свои деньги и пустил пир во все заставки.

Левенчук ждал два дня, наконец, выпросил у шинкаря кусок хлеба и пошел куда глаза глядят. Событие с ним никого не удивило. Его насмешливо обходили как новичка.

Приставши безмолвно к первой партии косарей, он обрадовался, что его ни о чем не спрашивали и ему ничего не говорили, и прокосил у какого-то колониста более недели. Потом его направили по соседству, к помещику, полковнику Панчуковскому.

Левенчук пошел указанною дорогой, скоро нашел на Мертвых Водах Панчуковского, увидел среди степи его новый красный кирпичный дом, кругом которого возводили высокую каменную ограду, а в стороне кирпичную с фронтонами и под железною крышею огромную овчарню. Вся усадьба, как видно, только что обзаводилась и напоминала скорее ирландскую или саксонскую ферму, чем украинский заднепровский хутор. Левенчук пришел прямо к панскому крыльцу, где уже дожидались другие. Вышел господин молоденький, с белокурыми усиками, франтовато одетый.

— Здравствуйте, ребята! — сказал он бойко, по-военному.— Много вас пришло?

— Шестьдесят, ваше высокоблагородие.

— И все больше нашего поля люди? — спросил и весело подмигнул полковник.

— Точно так.

Полковник, уверявший всех, что тот не хозяин, кто не вырос под крепкою командой и сам не выучился повелевать, умел-таки владеть приходящими к нему.

— Ну, милые люди, будьте же гостьми! Завтра сенокос за речкой; у кого пачпорта нет, тому цена полтина ассигнациями в день; у кого есть — полтина серебром. Ступайте в контору, выпейте по чарке водки и пока марш на ток молотить!..

— Рады стараться! — гаркнули пришедшие и пошли в контору, хваля ласковость и бойкость умелого господина.

Левенчук в конторе записался на месяц. Взволнованный и все еще в тумане от небывалой новой жизни, он очутился с хозяйским цепом в руках на току, стал постукивать по снопам, глянул в сторону и обомлел... Милороденко! Он глазам своим не верил. В какой-то дырявой нищенской свитке, с бледным испитым лицом и потускнелыми глазами, брошенный в шинке Лысой

Ганны неделю назад, его вожак и товарищ был уже тут и также тыкал цепом в снопы, в двух шагах от него. Улучив минуту, Харько поровнялся с ним и шепнул, подсмеиваясь и вместе пугливо посматривая на него:

— А что, дяденька, и вы тут?

— Тут,— отвечал тот со вздохом и, тихо повернувши тусклые и испитые глаза за клуню, кивнул туда головой. Оттуда неслись хлопанья кнута и крики. Кого-то секли, а полковник, громко считая удары, приговаривал в антрактах наставления, то сердясь, то весело причитывая прибаутки.

— Кого это, дядюшка? — спросил пугливо Левенчук.

— Товарища там нашего одного; я угомонился, видишь ли,— а тот и сегодня пьян напился, и барину здешнему нагрубил на работе, да и с приказчиком тут не поладил...

— Так и здесь, дядюшка, секут? Тут же мы на воле?

— Ох, и тут! порядки эти и здесь заводятся, видишь! Давно я тут не был; ну, без меня оно так и стало. Да ты на то не смотри: полковник добрый человек; отчего же и не посечь дурака, нашего брата? хуже, как в стан явит, а ты беглый!

— По чем же вы стали? — спросил Левенчук.

— По гривеннику...

— Отчего так мало?

— Среди недели, видишь ли, пришел и одежду еще хозяйскую занял. Что делать! И на это тут иные порядки на беглых стали. Прогорел я; ну, да авось поправимся скоро!

— Вы же толковали про мед да сало, дяденька? Где ж те горы и места, что кормят и поят вдоволь, и где та воля живет и сама промежду людьми ходит? И тут, как у нас на панщине!

— Э, подожди, не все разом! А пробовал, Хоринька, борщику с сальцем или с свежей таранью? Тут поблизости и ловят эту рыбу. А?..

— Пробовал.

— А что, вкусна?

— Рыба вкусна, да и работа вкусна; у нас дома так рано не встают и поздно не ложатся. Тут все построже. Загляделся — и гонят. А рыба вкусна...

— То-то же, голубчик Хоринька! Да слушай: как бы опохмелиться? Откажись сегодня от порции своей для меня... Я тебя отблагодарю; а с завтрашнего дня уж я

ни-ни... ни капли! Ведь ты знаешь, что я только тогда пью, как сюда на волю вырвусь! Прости ты и мои побои в шинке. Сказано: человек дорвется до безопасности, паном стал сам, ну, и пропадай душа!

Хоринька отказался от своей порции, и Милороденко опять повеселел, хотя цепом стукал по снопам до вечера молчаливо и никого не смешил и не озадачивал своими шутками.

Дни потекли незаметно. Вся почти артель полковника, человек до двести, состояла из беглых; они часто менялись, уменьшались в числе. Были из них и постоянные, нанятые по годам и более. Тут был значительный риск. Они жили в особых избах и землянках. Пуританские чистые нравы этого народа не допускали на работе никаких споров и ослушания. Все шло, как на ученье рекрут и на глазах самого свирепого командира. Ночевали летом работники под открытым небом, где-нибудь поблизости в овраге; прятались в току или в овчарном сарае. Становой, купленный здесь недешево, очевидно нарочно сюда не заглядывал. Но жизнь беглой артели была вечною тревогою, вечным ожиданием. Вот налетят — в кандалы, по этапу — и марш обратно в постылые хутора, на работу!.. Расплачивались с бурлаками еженедельно по субботам. Зато в воскресенье было уже их время. Иные и тогда работали за половинную цену, другие расходились по соседним и дальним шинкам попить и побалагурить с наплывными же, беглыми девчатами.

— Да! — говорил какой-то рябой в красной рубахе богатырь, также из беглых, нанявшийся у Панчуковского, — вы вот, ребята, спокойны: полковник — человек-огонь, и начальство свое, должно быть, для нас ублажает! А вот я намедни у немца за Мертвою молотил, слышим — звенит колокольчик. Немец вбежал, кричит: «Кто бродяга, марш в поле!» Мы, бурлаки, по-за скирдами да в ров. А становой за нами, всех перевязал... Насилу откупился немец: пятьдесят червонцев, сказуют, дал. У моего пана на Воркле я кучером был, уж тот за нас так не потратился бы...

— Ну нет! — беседовал, в свой черед, покуривая трубочку, Милороденко, — как им, чиновникам, не разыскать нас, коли б сами паны не думали откупиться за нас! не то что людей с собаками, — собак людьми отыщут, коли захотят! Чутье уж у них такое! — Толпа захохотала.

— Как так? Расскажи...

— А вот как. Был у нас не тут-то, на вашей вольной земельке,— а у нас, в панской нашей Расее, был в уезде судья, отличный, распредобреющий и еще молодой человек, и жена у него писаная красавица; наехали раз к судье гости, значит, ближние и чужие дворяне, и в скорости пропала у него, после их съезда, пара лучших собак,— а он был завзятый охотник. Не было тогда судьи дома. Кто украл? — «Кто-нибудь из гостей, значит, побаловал!» — «Ну, красть дворянам не полагается!» — думала судьиха; да, долго не думав, выследила через людей дорожку в соседнюю губернию, куда увели собак, велела запречь карету, села сама молодочка, да и покатила туда. Уговорила тамошнего исправника, подъехала к тому господину, попросту, значит, укравшему собак, сама остановилась на селе, а исправник пошел к нему да и накрыл собак, в самой, то есть, спальне у пана, там — под его брачною кроватью; первое время он там держал собак — погони боялся. Взяла тогда барыня собак, посадила их с собою в каретку, отблагодарила исправника и поехала. Так-то!.. Не унесут тебя ни лисьи хвосты, ни собачьи пятки, коли тут тебе сами кавалеры не помогут... Этакая судьиха, хоть кого найдет!

В первое же воскресенье Левенчуку удалось быть близ одной соседней приморской зажиточной слободки, в одинокой заимке, на песчаной косе, на свадьбе одной девочки, выходившей за неводчика, как видно, из беглых. Отец ее тоже был наплывной, из беглых. Левенчук не верил своим глазам. Невеста и ее подруги, соседние вольные крестьянские девушки, сидели в кисейных французских платьях. Молодая венчалась в шелковом канаусе и в наколке из бархатной синели. На свадебном столе стояли тарелки с конфетами из Таганрога. Гостям разносили кизлярское, а бродячие музыканты играли польку и кадриль из самоновейшей оперы Верди, завезенной прямо из Тосканы в Одессу.

— А-а? ведь все из вольных, либо из бурлаков! — шептал Милороденко очарованному Левенчуку, когда они протерлись в толпу смотреть на молодых,— посмотри, все девки сидят в перчатках, а молодой при часах!.. Это, друг, не чета нашей хохландии, где по́том пахнет от каждой, братец, девки, как от козла!

На крыльце же, на свежем воздухе, в толпе усердных слушателей, какой-то тщедушный, загнанный старикаш-

ка рассказывал, какой у них в селе, возле Тамбова, генерал был: «Как подашь ему это, бывало, либо трубку в пыли, либо воды теплой напиться,— так и пустит в тебя чем попало, трубку, стакан ли, тарелку ли, что держит, так в рыло и угодит тебе. Мне морду раз окровянил так, что стыдно было в люди показаться!»

— Скоро воля будет, пачпортов не будет,— мрачно говорил другой,— не будет неволи, и пачпортов не будет.

— Ну да, в Нахичевани теперь и то их всякому продают! — откликнулся на это кто-то,— значит, воля близко!

— Э, братцы! — говорил возле долговязый парень из толпы, в нанковом жилете и пальто, купленном у какого-то жидка на торгу,— как затеял бежать я сюда, наша барыня будто подопрела; вот сущее слово, подопрела, точно снежок по весне подалась. Старосте чай стала давать, нам водку на работе! Да нет, теперь уж шабаш!.. Шабаш, не пойду!

Музыканты заливались. Скрипки весело пиликали. Разносился пунш с кизляркой. Пьяный соседский повар, накормив всю компанию, с важностью барина, пыхтел и курил трубку из длинного армянского чубука, развалясь у крыльца, на травке.

— Медам, медам! пермете-с ангаже[1],— полька! — говорит кто-то, взяв смазливую горничную под руку и идя с нею сквозь толпу. Толпа на эти слова громко захохотала. Левенчук посмотрел — Милороденко.

— Ты и по-иностранному знаешь?

— Знаю! Супруга вывчила.

И долго шли танцы под вербами.

Месяц осветил двор хаты и ряд крыш слободки. Толпа прогуливалась. Девицы хихикали. Милороденко, натанцевавшись польки, утирал пот с лица.

— Да вы бы, сударь, трепака ударили! — говорили ему зрители.

— Нельзя, я барином два года был: трепак — холуйское дело.

Поздно ночью он нашел товарища.

— Что, Харько, все о своей Варьке думаешь? Чего осовел? — свирепо спросил он Левенчука,— глянь, какое веселье! А ты все о Варьке своей, о бабе покойной убиваешься,— а?

---

[1] Сударыня, сударыни! позвольте-с пригласить *(фр.)*.

— Нет, не о Варьке, а так — скучно!

— Глянь-ка на молодую: что за красивая бабенка! хочешь и тебе сматерим? — спросил Милороденко.— Тут только мигни, можно!

— Нет, скучно мне,— ничто не манит! Да ты и смелее меня; а мне все как-то жутко...

— Ну, так поцелуемся!

И приятели обнялись.

— Так будем трудиться, чтоб разбогатеть; богат — значит волен!

— Будем. Надо устроиться, а то все страшно — стало строже все...

— Спасибо за дружбу! — добавил Милороденко,— а за уступленную порцию — тогда, помнишь? — вдвое спасибо! Я не забуду тебе этого, Хоринька. Кликни только, встретимся ли, нет ли: удружу и я тебе! Помни! А теперь дам совет: хочешь на лиманы, на Дон, к морю?

— А что?

— Там скорее деньгу теперь зашибешь: там контрабанду теперь свозят.

— Нет, погоди; огляжусь прежде здесь... Ты смелее меня — ты дока на все...

— Ну, как знаешь. А за водку спасибо. Не забуду тебя. Я же, брат, прощай! Товарищи передали, зовут к неводам, в гирла донские. У меня, коли тихое житье, скучно; я уж попорченный. Мне давай такую волю, чтоб хмелем прошибало, чтоб дух от нее захватывало. Там и страшно, да зато же и заработок хороший. А мне уж пора и на старость что припасать; нору свою завести. Хоть бы так, зернышка какого, как зайцы на зиму припасают да суслики... Недаром же я теперь навеки бросил и барина и всех своих! Хочу остепениться, земли после куплю.

II

Беглецы высшего полета

Прошло три года.

Была прелестная степная майская пора. По дикому и пустынному пути между Днепром и Мелитополем быстро скакал в колясочке, на четверне добрых лошадок, видный и веселый блондин в широкой соломенной шляпе, с бородкою и в светлом пикейном сюртучке. Его можно было принять за горожанина-afериста или поме-

щика. Он рассматривал виды по сторонам дороги. Фу, какая глушь! Ногайско-татарская степь шла вправо и влево, изредка только волнуясь и склоняясь погорелыми от зноя травами, камышами и песчаными косами к синему, ярко горевшему морю. Здесь по приземистой траве мелькали высокие светло-желтые, синие и красные цветы, сплошь заливая собою необозримые поляны. Как бы вы ни смотрели, куда бы ни кинули напряженный взор — одни поля, голубые холмы у небосклона да мелкие, в огненной лазури потопленные, облачка. Кое-где только темнеют вдали, по сторонам, одинокие овчарни, откуда, завидя редкого путника, вдруг кинутся стаей громадные пастушьи собаки, темными черточками вытянутся по степи и вот-вот, кажется, настигают вас. Но расстояние так далеко, что они скоро остановятся и, свернувши свои косматые хвосты, возвращаются назад. Белыми пятнами ходят бесчисленные дрофы по диким, плугом не тронутым, пустырям. Коршуны высоко плавают в небе. Пестрые флегматические аисты сторонятся от дороги, чуть не задеваемые колесами, да широко раздается во все стороны вечный свист, стон и шорох степи.

— Самусь! это будто едет кто нам навстречу? — спросил барин кучера. Седой, как лунь, кучер наставил ладонь к глазам.

— Бог его знает, что оно такое! не то колонист на телеге, не то коров гонят! Тут его никак не разберешь, что оно в степи.

Скоро путник разглядел в мерцающей дали известный зеленый, на железных осях фургон колонистов и в нем ездока и возницу. Фургон остановился, путники что-то в нем поправляли.

— Что, обломались? — спросил господин из коляски, приблизясь к фургону.

— Чека соскочила, — ответил колонист, — с кем имею честь говорить?

— Полковник гвардии в отставке, Владимир Алексеевич Панчуковский. А вы кто, позвольте узнать?

Колонист снял шапку и ответил, отчетливо выговаривая по-русски и улыбаясь:

— Колонист, Богдан Богданыч Шульцвейн, из-под Орехова, из колонии Граубинден, коли знаете; еду теперь из-за Ростова.

— Очень рад познакомиться. Не курите ли? Вот вам сигара, Богдан Богданыч, чистейшая кабанас...

— Нет, я вот сарептский; я нюхаю-с! Это — табачок очень тоже ароматный. Мы его сами и сеем в колониях наших-с.

— Что нового на море? Что хлеб?

— С пшеницей вяло, с льном крепко; сало идет вверх, фрахтовых судов мало, конторы жмутся.

— Ай! это не совсем хорошо!

Сели путники на травку, достали кое-какую закуску. Кучера тоже познакомились, закурили тютюн и повели беседу.

— Куда вы собственно ездили? — спросил небрежно Панчуковский, не смотря на простоватого, засаленного собеседника и покручивая хорошенькие русые усики. Он устал от дороги. У его товарища между тем, хотя уже пожилого человека, румяное полное лицо так и отливало густым молоком менонитской, некогда питавшей его, кровной коровы; фланелевая фуфайка была чистейшего табачного цвета, синяя куртка вся в пятнах, а синие штаны были засунуты в высокие купеческие сапоги, не без аромата дегтя.

— По делам-с, господин полковник, — известное дело, мы минуты свободной не имеем: либо дома мозолим руки, либо по степям оси трем на своих фургонах.

— Какие же у вас дела? — спросил еще небрежнее полковник. — Все, я думаю, насчет картофеля? «Картофель унд пантофель»[1], как мы говаривали еще в школе надзирателям из вашей братьи?

— Как какие? всякие. Мы народ торговый-с.

— Значит, и овощами торгуете, и салом, и табаком?

— Торгуем всем! Всем, либер герр[2], всем!

Колонист встал помочь кучеру перепрячь лошадей. Полковник прилег на траве, поглядывая с улыбкою на уходившие пятки товарища, подкованные медными гвоздями, и помышляя: «Вот стадо баранов! Я думаю, женился в семнадцать лет, и жена его теперь тоже на овцу похожа, — ест индеек с медом, чулки даже во сне вяжет!»

— Что же у вас за дела, скажите? — опять спросил он колониста, подсмеиваясь.

— Да что, батюшка, — на днях купил я землю, вот что неподалеку от Николаева, близ поместья герцога Ангальт-Кеттен: съездил потом на Дон принанять степи

---

[1] «Картофель и домашние туфли» *(нем.)*.
[2] Милейший *(нем.)*.

для нагула овец, да не удалось — надо подождать, когда снимут сено; а теперь еду купить, коли придется, с торгов, в Николаеве наши бывшие батареи, то есть разный хлам с севастопольских батарей: дерево, обшивку, брусья, а пожалуй, и чугун. Наше дело коммерческое: что попадет под руку, всем торгуем. Ничем не пренебрегаем и времени не упускаем. Вы знаете нашу пословицу: морген, морген, унд нихт хёйте...

— ...Заген алле фауле лёйте?[1] Как не знать! Но скажите, зачем вам еще степи за Доном? Где, позвольте, у вас собственная-то земля? Извините, я не расслышал...

— Мейне эйгене эрде[2], моя собственная земля есть и под Граубинденом, и в других округах, да места стало уже нам, колонистам, мало. Так-то-с, не удивляйтесь! Наши кое-кто уже в Крыму ищут земель, на Амур послали депутатов присмотреться насчет занятия земель под колонии. Засуха, — ну, и надо перегнать часть овцы на лето за Дон.

— Сколько же у вас овечек? — спросил Панчуковский, пощипывая усики и смотря на это кроткое, румяное лицо, и зевнул. — Да не хотите ли масла, колбаски? Вот вам масло, вот хлеб! Я совсем устал от дороги. Не хотите ли? вот ножик. Я тоже все хлопочу, строюсь...

— Благодарю! — ответил кудрявый колонист, оправляя свои белокурые, с проседью уже, немецкие пейсы, выбивавшиеся из-под барашковой шапки, и принимаясь за масло, — у меня овцы довольно, о, очень довольно...

— Сколько же?

— У меня семьдесят пять тысяч голов овцы в разных местах-с...

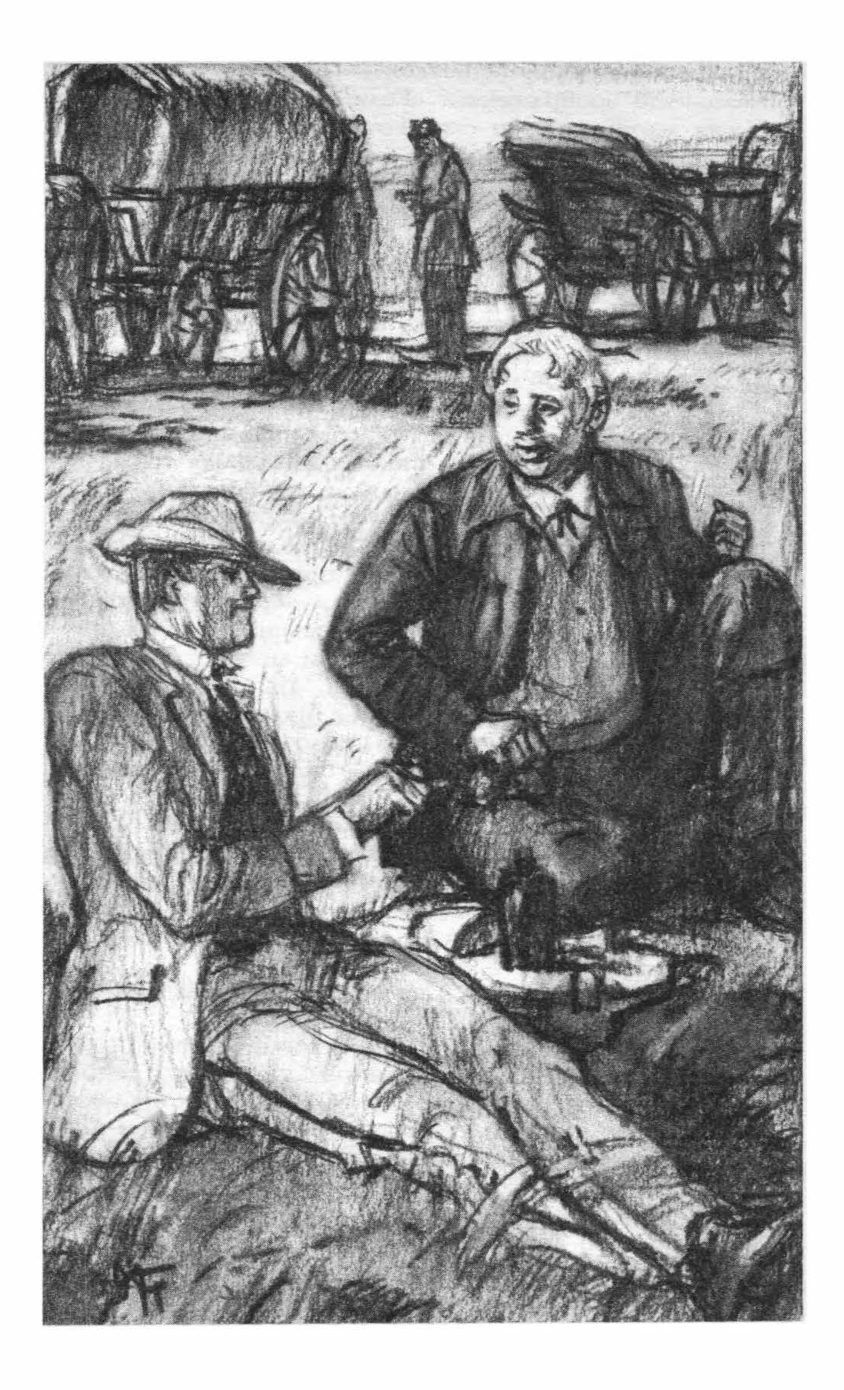
Панчуковский приподнялся на локте.

— Что-о-о? Как-с? Сколько? Я не расслышал! — сказал он и заикнулся, подобно незабвенному Манилову, некогда пораженному сказочной профессией Чичикова, по покупке мертвых душ.

— Семьдесят пять тысяч голов-с мериносов! — ответил опять смиренный собеседник и стал копаться в котомке, укладывая остатки провизии. — Но, мейн либер герр, как здесь ни хорошо, а скучновато; все в Германию тянет... Мы здесь чужие!

---

[1] Завтра, завтра, не сегодня... так ленивцы говорят *(нем.)*.
[2] Моя собственная земля *(нем.)*.



Дух захватило у Панчуковского. Мигом в его голове мелькнули соображения: «Если у него семьдесят пять тысяч мериносов, то сколько же он должен получить дохода? На худой конец по целковому с головы, итого семьдесят пять тысяч рублей серебром. Двести пятьдесят тысяч рублей ассигнациями, четверть миллиона в год!»

И он окинул взглядом колониста с головы до ног, как бы соображая, как такое засаленное существо могло владеть таким богатством, и прибавляя про себя: «А ведь все-таки, наживясь, уйдет в Германию! сколько волка ни корми, улизнет в лес...»

— Да вы не шутите? — сказал он и сел.

Колонист засмеялся. Белые зубы, напомнившие корову, так и осклабились до полных загорелых ушей.

— Нет, не шучу!

Панчуковский, летевший из Петербурга в степи за наживой, бросивший для барышей модный свет, щегольских товарищей, оперу, Невский проспект, французские водевили и комфорт всякого рода,— невольно вздохнул, придвинулся к собеседнику, вертевшему в грубых руках замасленную барашковую шапку, и сказал:

— Вы колонист и я колонист. Мы оба Колумбы и Кортесы своего рода, или скорее бродяги и беглецы из родных мест за наживой. Мы колонизаторы дикого и безлюдного края. Нам тесно стало на родине, на севере — ну, мы и бежали сюда. Ведь так?

Колонист аккуратно и громко высморкался.

— Э! что тут говорить! Как ни говори, а немцы вам нужны. Вот, мы первые здесь овцеводы. Земля тут прежде гуляла, а теперь не гуляет. Наши колонии садами стали, мы вам леса разводим, оживляем ваши пустыни...

— Сколько же у вас земли? — допытывал полковник.

— Около тридцати тысяч десятин собственной; а то еще арендую у соседних ногайцев и у господ дворян. Фриц, достань мне табачку и табакерку! — крикнул он кучеру,— на дорогу свеженького подсыплем. Так-то-с!

Долговязый Фриц принес кожаный мешочек и стал сыпать табак в табакерку хозяина.

Колонист, между тем, еще присел, опять намазал масла на хлеб, присыпал зеленым сыром и сказал:

— А вы здешний? Зачем вы службу бросили? Вам уже скоро и генералом бы легко быть!

— Я тут тоже теперь кое-чем маклакую. Хутор устроиваю, землю купил, хлебопашество наймом веду. Ведь я тоже, повторяю вам, колонист, бродяга; бросил старый скучный север.

— Ну, так будем же знакомы. Мы одного поля ягода! Ваша правда-с! Только станет ли у вас столько-с охоты и труда? У меня и свои корабли теперь тут есть. Два года уже, как завел. Сам на своих судах и шерсть с своих овец прямо в Бельгию отправляю.

— Ах, как все это любопытно! Позвольте: у вас, значит, и свои конторы есть в азовских портах, в Бердянске, в Мариуполе, в Ростове?

— О нет! Это все я сам! — говорил колонист, чавкая и добродушно жуя хлеб с маслом.— Зачем нам конторы? Я поеду и отправлю хлеб или шерсть; потом опять поеду и приму заграничный груз. А то и моя жена поедет. О, у меня жена добрая!

— Как, и она? ваша жена тоже коммерцией занимается?

— Да; вы не верите? вот зимой из Николаева она мне на санках сама привезла сундук с золотом; я хлеб туда поставлял. Так вот, запрягла парочку, да с кучером, вот с этим самым Фрицем, моим племянником, и привезла. Зачем пересылать? Еще трата на почту...

Полковник посмотрел на Фрица: рыжий верзила тоже смеялся во весь рот, а колонист, как на товар, приглядывался на щегольской наряд красавца полковника, на его перстни, пикейный сюртучок, лаковые полусапожки, узорные чулки, белую соломенную шляпу и первейшей моды венский фаэтончик. Два давнишних противоположных полюса русских деловых людей, эти два лица сильно занимали друг друга.

— Вы отлично говорите по-русски,— сказал полковник,— давно ваша семья переселилась, или, так сказать, бежала из родной тесноты в Россию? Извините, это меня сильно занимает; повторяю вам снова, я тоже ваш собрат, переселенец, а по нашим русским понятиям — беглец! Мы теперь тоже за ум беремся, да уж не знаю, так ли? Что-то в нас много еще дворянского; может оттого, что мы беглые по воле, с паспортами.

— Мой дед, видите ли, переселился при графе Сперанском, около сорока лет назад; мы пешком пришли сюда, с котомками, дед и отец мой несли старые саксонские свои сапоги за плечами, а отец мой после него еще двадцать пять лет был у нашего же земляка Фейна простым пастухом. Я тоже в юности-с долго был

при стаде вашего Абазы. Земля, правду сказать, тут обетованная, не тронутая еще; многих еще она ждет. Раздолье, а не жизнь тут всякому; ленив только русский человек! Эх, гляньте, какая дичь, какие пустыри: бурьян, вечная целина,— ни косы, ни плуга не знала. Люблю я эти места: будто и бедные, а троньте эту землю — клад кладом.

Полковник спросил:

— Какой же секрет в том, что вы так скоро, так страшно разбогатели?

— Секрет? никакого секрета! Даже трудно сказать, как. Как? просто трудились сами, и все тут.

«Сами трудились! — подумал Панчуковский.— Врет, шельма, немец; должно быть, фальшивые ассигнации в землянках делали, да ловко и спускали!»

Просидели еще немного новые знакомцы. Степь молчала, вечерело. Не было слышно ни звука. Одни лошади позвякивали сбруей, да несло тютюнищем от новых друзей-кучеров.

— Я и не спросил вас,— сказал на прощанье Панчуковский,— вы ездили за Дон; были вы у нас на Мертвых Водах, за сороковою болгарскою колонией? Как понравился вам наш околоток? Можно ли ждать чего хорошего от этой местности?

— На Мертвых Водах? На Мертвых... Постойте! Да! Точно, я там неделю назад ночевал... у священника... Постойте, погодите...

— У отца Павладия?

— Так, так, у него именно! Что за славный, добрый старик! и какой начитанный! Нашего Шиллера знает; еще такая у него красивая воспитанница. Сам он ее грамоте учит, и она при мне читала и писала. Как же можно,— хорошие места!

— Как? воспитанница? — возразил, краснея, полковник,— что за странность! Это премило! Я живу от отца Павладия в семи верстах, а не знаю.

— О-о, полковник! так вы волокита! — засмеялся, влезая в фургон, колонист и погрозился.— Смотрите, напишу отцу Павладию и предупрежу его!

— Нет, я не о том; но меня удивило, как я живу так близко и ничего не знаю! В нашей глуши это диво. А вы будто бы и не охотник приударить за иною гребчихой, в поле?

— Э, фи! У меня своя жена красавица, полковник.

Новые знакомцы будто сконфузились и помолчали.

— До свидания, полковник.

— До свидания, герр Шульцвейн!

Лошади двинулись.

— Не забудьте и нас посетить: спросите хутор Новую Диканьку, на Мертвой.

— С удовольствием. А где он там?

Лошади колониста остановились. Полковник к нему добежал рысцой и рассказал, как к нему проехать.

— Есть у вас детки? — спросил полковник, став на подножку и свесясь к колонисту в фургон.

— Есть две дочери: одна замужем, а другая еще дитя.

— За кем же замужем ваша старшая дочь, герр Шульцвейн?

Колонист покачал головой и прищурил голубые глаза.

— Вы не ожидаете, я думаю?

— А что?

— За пастухом-с. Я выдал дочь мою за старшего моего чабана, Гейнриха Фердинанда Мюллера, и, либер герр, нахожу, что это — сущая пара. Отличный, добрый зять мне и знает свое дело; пастух и вместе овечий лекарь. Живут припеваючи, а дочка моя все двойни родит!

Полковник похлопал его по руке и по животу.

— А ваш Гейнрих откуда?

— Он подданный другого Гейнриха. Гейнриха тридцать четвертого, герцога крейц-шлейц-фон-лобенштейнского: тесно им у герцога стало, он и переселился сюда.

— Не забудьте же хутор Новую Диканьку, недалеко от большой дороги, — сказал полковник, смеясь титулу тридцать четвертого Гейнриха крейц-шлейц-фон-лобенштейнского и кланяясь вслед уезжавшему интересному фургону.

— Поклонитесь отцу Павладию от меня! — прибавил в свой черед, улыбаясь, колонист.

Пыль опять заклубилась по дороге.

— А ну, говори мне, скотина, что там за такая воспитанница живет у нашего попа, на Мертвой? — спросил кучера полковник Панчуковский.

Самуйлик ничего не ответил. Он был под влиянием вежливой беседы с Фрицем.

— Ну, что же ты молчишь, ракалия, а? Не тебе ли я поручал все разведать, разыскать? И в семи верстах, а?

Кучер приостановил слегка лошадей, снял шапку и обернулся. Глуповатое и старческое его лицо было осенено мучительною, тяжелою мыслью.

— Барин, увольте...
— Это что еще?
— Не могу...
— Что это? Ты уже, братец, рассуждать?
— Не будет никакого толку, ваше высокоблагородие, от этих ваших делов. Мало их через мои руки у вас перебывало! Эх, барин, предоставить-то не штука, да жалко после. А вы побаловали, да и взашей?
— Скверно, брат, и подло! не исполнил поручения...
Самуйлик еще что-то говорил, но полковник уже его не слушал. Лошади бежали снова вскачь. Бубенчики звенели. Картины по сторонам дороги мелькали. Вечерело.

А в голове полковника-фермера, полковника-коммерсанта, строились планы горячих, дерзких, небывалых еще на Руси, в среде его сословия, предприятий. То водопроводы он мыслил в каком-то городе затевать; то шумную аферу по закупке всего запаса какого-то хлеба в одном из портов думал сделать; то школу хотел где-то тайно открыть в столице и потом пустить о ней статью «от неизвестного» в газеты; то какому-то ученому заведению мыслил разом купить и поднести в дар большое собрание картин. Недавно, по соседству, сманивали его на выборы. «Нет, не те времена! — глубокомысленно ответил он, благодаря дворян,— теперь нам пора подумать и о материальном счастье на земле; оно, может быть, еще выше духовного!» Так он стал думать, прочтя что-то вроде этого в Токвиле. А теперь у него из головы еще не выходил невероятный колонист с его полумиллионными доходами, собственными кораблями по Азовскому морю и с такою же, вероятно, как он, румяною и белокурою супругой, возящей по степям на паре сундуки с золотом супруга. Задумался барин и о питомице священника... Панчуковский поспешал в свой хутор, Новую Диканьку, где на другое утро, на неизменный праздник дня своего рождения, он ожидал гостей.

III

Новозаимочный хутор Новая Диканька

На другой день к полковнику действительно съехалась куча гостей. Подъезжая к его красивой усадьбе, все приятно изумлялись, глядя на выраставшие почти еже-

месячно новые каменные и кирпичные постройки. «Вот ловкий господин! — говорили они.— А эта Новая Диканька — сущая американская ферма!» Новозаимочный хутор полковника в самом деле очень изменился с тех пор, как приходили в него наниматься бежавшие от старосветских хуторских невзгод, из старой Украйны, приятели Левенчук и Милороденко. Хотя кругом его была по-прежнему одна скучная во многих отношениях степь, но благоустроенная заимка, колония гвардейского коммерсанта и земледела, уже значительно пополнилась. На склоне пологого косогора стояла красивая усадьба. Двухэтажный, под красный кирпич, домик, во вкусе швейцарских или скорее французских деревенских мыз, глядел из-за высоких каменных стен, с крепкими дубовыми воротами. Часть обширного двора была занята молодым садом. Отличные конюшни, огромные амбары для ссыпки хлеба, сараи для овечьей шерсти и хозяйственных машин, флигель для дворни,—все было кирпичное, не штукатуренное еще, как и дом, и под железными крышами. Кухня, на голландский манер, с изразцовыми стенами и асфальтовым полом, была возле. Издалека и с большим трудом привезенные тополи были посажены вокруг дома, подросли и отлично скрадывали пустынную степную наружность остальной усадьбы. За домом в полуверсте был ток с хлебною клуней, а еще в стороне и ближе к дому — каменные сараи для овец и избы для батраков, то есть разного беглого люда. По двору, под стенами ограды, стояли разные земледельческие орудия, еще новые и свеженькие, покрашенные голубою или красною краскою: плужки, бороны, сеялки, конные грабли, веялки и большая новость в крае — жатвенные машины. В клуне, очевидно, работала уже паровая молотилка, потому что небольшая железная труба, как на фабриках, торчала оттуда, изредка венчаясь облачком серого дыма. Паровой локомобиль иногда подвозился к колодцу; к нему приправлялась мельница, и обозы с соседних хуторов мигом скоплялись возле за помолом. Близ овчарни был устроен над оврагом кирпичный завод, также с машиною для лепки кирпича. Ни реки, ни пруда не было вблизи усадьбы. Вода доставалась из глубоких колодцев. Не было и деревни. Тут все шло наймом. Через два соседних оврага, разъединявших поля, были перекинуты красивые чугунные мостики. У конторы на столбе был укреплен колокол для зова рабочих.

Экипажи загромождали двор. В отворенные окна дома неслись громкие разговоры. Все двери были настежь. Слуги шныряли из кухни в дом и обратно. Гости, мужчины, сидели за утренним кофе в обширном угóльном кабинете хозяина, на мягких диванах, между кучами цветов и шкафами с книгами. Тут были и старики и молодые, в сюртуках и в байковых пальто или в простых домашних куртках. Иные сияли нежнее майского утра в своих пикейных сюртучках и белом, как снег, белье, и от них пахло духами, только что прибывшими через Таганрог из Марселя. Другие, кажется, никогда не мыли рук, не чесали головы, не стригли копытообразных ногтей, и от них пахло овцами и коровьим навозом. Сидела тут с длиннейшею трубкой и какая-то барыня, по фамилии мадам Щелкова, из казачек, вечно кашляющая, с загорелым лицом, как у сгонщика или мелкого рассыльного хлебной конторы, но в то же время в лентах и в шелковом платье. Она, очевидно, приехала с коротким визитом и попала в мужскую компанию в кабинет за делом, мяла платок в руках подобострастно и, утирая слезы, заглядывала всем в глаза, оправдываясь иногда, что трубку курит от какой-то болезни, все как будто торопилась кончить какие-то печальные дела и соображения, подсаживалась с богатырскою трубкой то к одному, то к другому кружку, слушала со слезами на глазах толки о близкой будто бы эмансипации и повторяла: «Ах, боже мой! Ах, господи! А я-то гребли не кончила, свай не набила; хлеба скóлько насéяла... Кому убирать его, кому убирать! пойдем мы по свету!» Читатель, разумеется, может знать, что эмансипация тогда еще не угрожала ни гребле, ни сваям, ни хлебу этой барыни. Остальной женский пол, очаровательные новороссийские дамочки, разодетые азиатскими бабочками, во французских кисеях и шелках, сидели в гостиной и ходили по зале. Сам хозяин, холостяк, удостоенный визитом дам, был сильно в духе. Ему все льстили, все ахали, рассматривая его дом, картины, хозяйство, машины. Все гуртом сходили на ток, в овчарни и в рабочие избы. Барыня Щелкова, подоткнув шелковое лионское платье (она тоже не отставала от моды), также сходила и в овчарни и на ток, удивляясь полковнику и хваля его хозяйство. Карие глаза полковника сияли волей и счастьем; усики, загнутые кверху, были надушены. На всех он смотрел с довольством. Все были веселы.

— Мы, господа, беглые, то есть в европейском смысле — колонисты; это я вчера Шульцвейну говорил. Вы слышали про него?

На эту тему стал ораторствовать Панчуковский и говорил весь день.

Под общий шум разговоры свелись на хозяйство каждого, и все расхвастались. Тот превозносил своего чабана и свое стадо тонкорунных мериносов. Другой прославлял себя за громадное увеличение запашки. Третий уверял, что скупит в портах все бельгийское железо и повезет его в Полтаву и в Харьков в подрыв сибирскому. Другие говорили о машинах. «Нет! — говорил соседний арендатор, ныне уже русский помещик и душевладелец, а еще недавно эстляндский булочник, Адам Адамыч Швабер,— все эти машины чепуха! Лопнет котел, искра вылетит на скирд, и пропал целый ток хлеба. Где тут этим скотам еще ходить за паровыми котлами!» Кто-то хвастал собственною ловкостью, как он товарища надул баранами. И товарищ тут сам сидел. «Нет, что товарищи! — возражали другие,— в Петербурге слышно о преобразовании полиции. Телеграф сюда ведут. Ростов газом думают освещать. Французы едут сюда угольев искать. Газета, слышно, в Таганроге будет...» — «Как бы денег больше было,— заметил кто-то на это,— лучше всего было бы! Не из-за скуки же здешней жизни бросили мы с вами, господа, свои северные родные места!»

Уже под вечер к Панчуковскому подсел юноша — студент одесского лицея, учитель детей соседнего купца и вместе салотопенного заводчика Шутовкина.

— Владимир Алексеич!

— Что вам угодно?

— Я слышал о вашей доброте... Дайте мне триста целковых взаймы, пока до получки жалованья с моего хозяина. Я вам возвращу с благодарностью, через месяц.

— Зачем вам?

— До зарезу нужно. Мы с хозяином едем завтра после обеда в город. Брат его подбивает на риск. Хочется недаром проехаться в город, а проживя там с неделю, сделать одну аферу. Тут все аферируют. Говорят, лен падает в цене, фрахтовых судов мало, а дней через пять — восемь, думаю, поднимется. Ну, я хочу сорвать барыш. Тут вон дети даже ажиотируют; жидки-ребятишки намедни в Мелитополе подвезенные мешки с

орехами на базаре скупили и перепродали с барышом, в праздник... Неужели же нам все с книгами сидеть! Право. Помогите! как бы хотелось недаром тут пробыть на вакациях.

Панчуковского в это время кто-то позвал из другой комнаты.

— Извините! — сказал он студенту и вышел.

Студент сидел, рассматривая картины по стенам, потом подошел к роялю, открыл его и стал играть. Страстные звуки шопеновской мазурки огласили дом и двор, на месте которых еще пять-шесть лет назад гулял один пустынный украинский сирокко-суховей да качались громадные бурьяны. Студент, малоросс и музыкант в душе, играл с чувством, слегка склонив к клавишам Эрара свою белокурую красивую голову. Думал ли он о Шопене, о какой-нибудь недоступной красавице или о затеваемой афере со льном,— трудно было решить. В этом новом и странном крае как-то все это мешалось вместе.

Полковник воротился.

— Извольте,— сказал он опять студенту.— Я вам денег дам, но вы подождите, пока уедут другие гости. У меня есть к вам дело...

Студент встал, тряхнул волосами и, с чувством пожавши ему руку, сел опять играть. Его окружили дамы; он был их любимец.

— А правда ли, что на беглых облавы у нас везде скоро будут? — кто-то крикнул от карточного стола хозяину.

— На каких это, на нас? — спросил шутливо Панчуковский.

— Нет, на беспаспортных.

— Да, слышал я от Подкованцева, исправника: вас и меня это в особенности, Адам Адамович, касается! — сказал полковник арендатору Шваберу.— Тогда просто хоть лавочку закрывай. А я, признаюсь, мало верю в ожидаемое переселение народов с севера. И признаюсь, открыто передерживаю изредка беглую Русь! Все подличают против своих ближних исподтишка; отчего же мне открыто иной раз не купить станового и не пользоваться бродягами?

Полковник тоже сел играть в банк, высыпав кучу золота. Взоры всех просияли. Поставлена первая карта; она дана. Банк занял все общество. Подошли и дамы.

Они также приняли участие в азартной игре направо и налево. Одна капитанша, урожденная гречанка, подбоченившись, стала, вынула из колоды карту, подумала и поставила на нее свои брильянтовые серьги, а потом золотую брошь. Муж стоял возле и улыбался, ожидая, чем кончится счастье жены. Южные сердца бились горячо.

Обедали поздно. После обеда, перед вечером, все вошли во двор. За воротами сошлись батраки и батрачки поздравить полковника. Явилась скрипка. Разносили угощения. А полковник, расстегнувшись и выказав свою шелковую канаусовую рубаху, пустился с негритянками, как он выражался, трепака плясать. Дамы хохотали. Мужчины хвалили его за особое уменье быть популярным. Потом все пошли снова наверх и уселись на обширном балконе антресолей пить чай.

— Расскажите, ради бога,— спросил меланхолический студент, просивший денег у хозяина,— что за название этой речки здесь Мертвые Воды и как населялся этот околоток?

— Да,— ответил хозяин,— история заселения моей земли и вообще этих оскрестностей любопытна. Мы читаем записки о колонизации Канады, Новой Зеландии, Перу и Колумбии, а допытывался ли кто-нибудь до недавних событий заселения наших былых запорожских земель, нашего азовского поморья или хоть бы одного здешнего уезда? Это целая поэма во вкусе Купера и Вашингтона Ирвинга, да-с, не шутите с нами.

— Видите ли вон те холмы? Туда верст пятнадцать будет, да в противную сторону отсюда, до того вон кургана, столько же почти. Ну-с, эта вся земля, это немецкое-с почти великое герцогство, наша сказочная завоевательница Запорожья и Крыма, Екатерина, долго не думая, взяла да за каким-то завтраком и подарила одному беглому греческому митрополиту из Турции, упавшему перед нею с челобитной на колени. Ему была дана эта земля в подарок, с тем чтобы он тут устроил странноприимный дом и населил землю. Митрополит умер, ничего этого не сделав. Кто-то из здешних тогдашних чиновных провладел этою землею, без всякого права, лет двадцать, потом ее опять взяли в казну и велели продать с торгов. Покупщиков долго не являлось. Странствовала с прошениями об этой земле некоторое время в Петербург полусумасшедшая старушка, из

переселенных сюда поблизости далматок, надоедала всем министрам, требуя отдачи этой земли, по завещанию Екатерины, ей — на устройство странноприимного дома. Ездила одна из степей в Петербург в одноколке, на маленькой пегашке, носившей имя Манички. Многие министры, посмеиваясь на безумные искательства старушки, знали эту Маничку и на просьбы ее хозяйки: «Коли не отдаете мне земли, то дайте хоть сена моей лошади!» — отпускали с своих сиятельных конюшен ей сена. Я, еще служа в гвардии, видел и старушку и ее конька, уже совершенно дряхлых. Тогда земля эта была уже за другим, и старушка собиралась ехать в Европу просить заступничества других дворов. Двадцать пять лет назад,— говорю я,— эти степи, где еще укрывались тогда по камышам и балкам дикие лошади, были проданы с аукциона. Все четырнадцать тысяч десятин этой земли купил через поверенного один польский граф, богач,— он в нашей гвардии служил и я его знал,— сын виленского аристократа, чахоточный и никуда не выезжавший. За глаза куплена степь, снят план, составлен проект переселения туда крестьян из одной северной губернии. Эти насильные переселения были тогда в моде. Проект утвержден, и поверенный стал вести дело переселения. Выведены плугом черты громадной деревни, свезен материал, стали строиться превосходные избы, на все отпускались деньги щедрою рукою, а поверенный был питерский бюрократ и все любил вести на щегольскую ногу. Выхлопотал он у епархии и священника в будущую деревню. Это и есть наш вселюбезнейший отец Павладий, о котором мы с вами поведем речь особо! — прибавил Панчуковский, обращаясь к студенту, подмигивая и потирая его по колену.

— Любопытно! очень любопытно! — говорил студент, следя с балкона голубыми задумчивыми глазами за уходившею в вечерние сумерки окрестностью, о которой шла речь.

— Так моя поэма не скучна, господа?

— О нет, нет, кончайте, пожалуйста.

— Вот-с,— продолжал хозяин,— как уже избы стали кончать, а строения возводили все каменные, отец Павладий, тогда еще юноша, приехавший с молодою чернобровою супругой, и начал говорить поверенному: «Что вы делаете? строите село на безводной степи;

отведите его версты за две влево, к балке; там ключи в овраге бьют самородные, пруды можно устроить хорошие».— «Как можно,— говорит строитель,— село выведено на большую дорогу, и планы уже утверждены, мы выроем тут колодцы».— «Ну, как знаете,— говорил поп,— а я себе жилище буду строить у балки, да и церковь уж позвольте там построить; я буду там сад возле нее разводить». Церковь разрешено строить у балки, в видах обещания даром устроить сад, а люди, дескать, и за две версты дойдут в праздник. Церковь построена, построился и отец Павладий, кончена и деревня. Иначе не хотели переселять людей. Как можно! Надо, чтоб все было готово. Нанял строитель землекопов, выкопал колодцы, расплатился и уехал с докладом в Петербург, что все готово: даже в каждой хате стол стоит, образ привешен, вся утварь припасена и от замков на каждой двери ключ в конторе ждет хозяев. Тремстам семействам загадан выезд из России на новокупленную степь. Поехали переселенцы с кибитками и скотом. Прибыли на место, разведены по хатам. Отец Павладий молебен отслужил, все освятил, и зажили переселенцы. Вспахали под озимь, посеяли, а пока питались готовым запасом. Не нарадуется поверенный, пишет письмо в Петербург. Только и ударила гнилая, бесснежная зима. А еще до того всю осень народ прохворал. Что за притча! Кто ни напьется из колодца — и заболел. Да что долго говорить: до весны вымерла половина деревни, хватились переводить в другое место, запретили пить воду из колодцев,— куда вам! Эпидемия хватила такая, что к Петрову дню другого года из трехсот-то семейств, господа, осталась в живых одна кривая старуха.

Панчуковский помолчал и опять стал говорить:

— Да, все погибло и вымерло; умерли дети, старики, отцы и матери, умер и поверенный, умерла и жена отца Павладия. Некому было и могил копать! Как узнали об этом в Петербурге, ужас напал на владельца — отказался вовсе от этой земли и до конца жизни тут уже не был. Скоро он сам умер, и земля перешла к его племяннице. Остался один отец Павладий с церковью и молодым садом у балки. Развел он действительно хорошенький сад, даже рощу, устроил пруд. Соседние и дальние колонисты, бывшие еще без церквей, болгары, сербы и

даже греки стали его прихожанами, а те-то опустелые дома бурлаки по камню растащили. И теперь там от былой деревни только видны плугом обведенные места дворов и улиц да крест огромный на кладбище стоит. Так легли переселенцы все до единa. Умерла скоро и последняя старуха. Ну-с, часть этой земли, именно пять тысяч десятин, я сперва взял у новой владелицы в аренду, а потом, как видите, купил, а другую арендуют по частям, как знаете, кто хочет. Чумаки-то (как была еще там большая дорога, о которой все хлопотал строитель, и были еще не забросаны роковые колодцы), видя страшный крест, и прозвали прежде безыменную, протекающую тут по соседству речку, а потом и всю здешнюю землю Мертвыми Водами. Вот почему наш околоток так и зовется, хотя, как видите, он цветет и красуется не хуже какого-нибудь Висконсина, Элебэмы или Порт-о-Пренса, населенных заморскими колонистами.

Студент встал, сошел вниз в залу, сел за рояль и начал играть чудный marche funèbre[1] Шопена.

— Однако же как недурно он играет,— сказал, прислушиваясь, кто-то из гостей.

— Да, очень даровитый человек!— ответил другой голос из среды слушателей.

Помолчали минут с десять. Снизу летели пленительные звуки.

— Так у отца Павладия, должно быть, преавантажный теперь уголок? — спросил, громко чихнув, Швабер.

Сумерки уже так сгустились, что все на балконе сидели, почти не видя друг друга, будто на воздухе в облаках.

— Да,— ответил задумчиво Панчуковский,— место там прелестное, называется Святодухов Кут, на ключах; большой сад, душистая густая роща, пруд отличный; церковь вся в кустах сирени, акаций и в тополях, весной просто рай. Я, однако, редко, признаюсь, там бываю...

— Отчего же?

Панчуковский помолчал.

— Вы хотите знать, отчего?

— Да.

— Извольте: два медведя в одной берлоге не уживутся! Я аферист, и отец Павладий аферист; он хлопочет

[1] Похоронный марш *(фр.)*.

о наживе, и я: ну, мы и соперники — вот как две торговки шашлыком на базаре...

Слушатели рассмеялись.

— Хороши соперники! Вы ворочаете чуть не сотнями тысяч, а это бедняк, сельский священник...

— Да! посмотрите, что это за священник!

— А что у него за воспитанница там есть? — спросил, сопя и зевая, Швабер.

— Право, не знаю! — ответил рассеянно полковник,— я три года уже у него не был, поссорился на одном деле. Разве подросла в это время. А человек он добрый и умный, корыстолюбив только, как латинский поп.

— Да будто уже нашим и денег не нужно?

— Это еще вопрос...

— А где ваша кухарочка? — спросил опять хозяина, сходя с лестницы, тяжеловатый Швабер и толкнул его, шутя, под бок. В это время двор, крыльцо и ограда осветились разноцветными фонарями импровизированной иллюминации.

— О! бог знает, что вы вспомнили, камрад,— кухарку! Я ее прогнал давно взашей. Пожалуйста, этого не вспоминайте. Теперь у меня на уме не пустяки. Я тысячу десятин пшеницы на это лето засеял и думаю убирать наймом; это не шутка!

Начались танцы. После ужина все стали разъезжаться. Кучера дремали. Месяца не было видно, но ясная звездная ночь делала поездку безопасною. Уже многие юноши уехали. Дамы оставили Новую Диканьку, превознося хозяина за угощение. Уехали и старики. А на крыльце у подъезда шла крупная словесная перепалка двух немецких соотчичей, арендатора Адама Адамовича Швабера и колониста, конского заводчика Карла Иваныча Вебера. Оба немца были после ужина сильно выпивши и спорили по-русски о достоинствах своего родича, богача Шульцвейна. Вебер говорил, что слава и гордость их колоний, Богдан Богданыч Шульцвейн, скоро будет русским графом и князем и всю губернию заберет в руки; что ему и орден какой-то прислали, и что он в своей колонии затевает гимназию и газету. А Швабер кричал во все горло: «Врешь, врешь! Шульцвейн шельма, и ты шельма! Такого осла хвалить. Он грубиян и ты эзель![1]

---

[1] Осел *(нем.)*.

Врешь! А-а! Так ты хвалить? у него табачная голова и полный карман мошенничества: он севастопольский воловий парк обокрал! Ты, Карл, ты, Карлуша, можешь надувать русских; а для нас — слушай, брат, вот тебе кулак, а вот и другой, — он овечья голова, шафскопф, и больше ничего! Молчать! Ну!»

Зрители этого петушьего боя, наконец, разняли спорщиков, уложили каждого порознь в его зеленый, с клеенчатым верхом, немецкий фургон и погнали кучеров. Но взъерошенные и красные, как после бани, бюргеры Швабер и Вебер, едучи рядом за воротами, еще долго ругались из фургонов и где-то даже будто бы опять на дороге выходили на траву, спорили и ругались, и даже хватали друг друга за виски. Так говорила молва.

Уехали все, остались одни: хозяин и студент.

— Погодите, оставьте вашу фуражку, — сказал Панчуковский.

— Владимир Алексеевич, надо ехать. Ведь я верхом, а до нашей усадьбы двадцать верст будет.

— Да разве завтра у вас уроки? кажется, завтра праздник!

— Но ведь я вам сказал, что мы после обеда едем в город...

— Ах, извините, точно: сейчас я вам дам деньги; только остались бы вы у меня переночевать, — а утром и доедете...

— Нельзя, право нельзя: хозяин наш человек строгий, из донских; вы их знаете?

— Как не знать! Скажите, однако, это он, что ли, гувернантку свою, московскую институтку, поколотил, и она пешком ушла к ногайцам, лет пять назад?

— Кажется... Может быть... я, право, не знаю!..

— О, еще скрываете! Он с кнутом гнался за нею, с мезонина в сад, и расшвырял по полю все ее книги и вещи; говорят, не сдалась на его искания! Ну, да не в том дело; пойдемте в кабинет.

Они пошли.

— Извините, ваше имя и отчество?

— Михайлов, Иван Аполлоныч, — ответил, поклонясь, хорошенький студент.

— Ну-с, Иван Аполлоныч, я вам триста рублей дам, а вы мне сослужите службу!

Михайлов поклонился.

— Я бы вам сам дал денег; и вот они,— недалеко за ними ходить! Но вот в чем дело: вы слышали сегодня о священнике, отце Павладии? У него есть воспитанница,— понимаете, друг мой? У меня на нее есть виды,— поняли?

Студент покраснел.

— Ну-с, вы к нему, под предлогом займа денег, и поезжайте; он падок к хорошим процентам и даст.

— Но он меня не знает.

— Я напишу поручательство.

— Отчего же вам самим к нему не съездить, насчет этой-то его девочки, если уже вы...

Студент не договорил и опять покраснел.

— Нельзя; я уже имел с ним ссору за одну девочку, а на людей моих плоха надежда. Они мне помогут после. А тут нужно только узнать, что у него за приемыш этот и стоит ли она внимания? Вы как-нибудь устройте так, чтобы ее увидеть; если нужно, то и заночуйте; да уж лучше всего поезжайте сейчас. Дело денежное, само себя оправдывает.

— А далеко это?

— Да верст семь будет, девять, не больше.

Студент посмотрел на часы.

— Теперь уже девятый час, не поздно ли будет?

— Чтоб ехать сейчас? и отлично, поезжайте! Я вам дам своего коня, а ваш отдохнет. Отец Павладий много читает и поздно ложится спать. Поезжайте. Только вы оттуда ко мне заверните и разбудите меня, хоть за полночь будет. Я положусь на ваш вкус, только посмотрите.

— Извольте: очень благодарен, и если увижу вашу незнакомку, то к свету еще ворочусь к хозяину, а вам все расскажу в подробности.

Письмо полковником к священнику написано, лошадь оседлана, дорогу рассказали, и при взошедшем месяце легкоподъемный юноша поскакал тропинкой в Святодухов Кут. Будущий коммерсант не думал об усталости, не помышлял, что в одну ночь, с поездкой за деньгами, ему придется сделать верхом верст за тридцать. Он скакал и скакал, рисуясь перебегающею тенью по росистым холмам и лощинкам.

IV

Святодухов Кут, жилище священника

Скоро мелькнул перед студентом овраг, перешедший потом в глубокую балку, лесок, золотая маковка церкви и белый домик на склоне оврага. Повеяло сыростью от невидимого пруда. Высокий плетень, утыканный терновником, окружал домик... Все здесь как будто уже спало, когда подъехал студент; но скоро свет мелькнул из низенького, кустами и деревьями окутанного домика. На топот коня сам священник показался на крыльце и со свечкой встретил Михайлова.

— Здравствуйте; от кого вы?

— От Панчуковского, с письмом.

— От Панчуковского? Пожалуйста!

— А я думал, что вы уже спите.

— О нет, вечер отличный, я только что воротился с поля, гулял. Вы кто-с?

— Студент одесского лицея Михайлов. Вот вам письмо Владимира Алексеича.

Вошли в комнату. Священник прочел письмо, посмотрел на гостя, потом опять на письмо и сказал: «Очень хорошо-с!» — и засуетился. Зажег в главном углу приемной комнаты, у лампадки перед киотом, другую свечку, поставил на стол и вышел. Студент стал осматривать комнату. Груды книг лежали по дивану, стульям и на лежанке. К обыкновенной смеси запаха ладана и воска, встречающей у нас каждого в жилище священника, здесь примешивался еще чудный запах белых акаций, склонившихся цветущими ветвями с надворья к раскрытому окну. И вдруг, в темноте кустов, у самого уха гостя загремел так чудно и дерзко соловей, что у Михайлова сердце екнуло. Священник вошел, принес табаку для папирос и бумаги и, сказав: «А? каково-с поет?» — поставил и опять ушел. Вслед за ним также неожиданно вошла в комнату статная, будто еще не совсем на возрасте, но уже совершенно развитая девушка с подносом в руках и поставила на стол чашки к чаю. Она ушла. Михайлов успел разглядеть ее полные руки, сочные губы и темные брови, белое лицо, подобранные венком русые косы и красную ситцевую юбку. Звякая монистами, она гордо и смело повернулась, гордо взглянула на гостя,

сдвинула густые брови и ушла, помахивая полными круглыми локтями.

«Верно она!» — подумал новый Лепорелло и с замирающим сердцем сел в углу, осматривая комнату. Все студенту казалось таинственным. Вошел священник и, тихо шелестя рясою, также сел. Студент рассмотрел его больше: это оказался совершенно круглый, приземистый и тучный старичок с отекшим лицом, красноватой мясистою лысиной, едва прикрытою прядями седых волос, с утлою косичкой, перевязанною полинялою ленточкой, и в камлотовом сером подряснике, под гарусным стареньким кушаком. Он сел в кресло против Михайлова и посмотрел на него.

— Вы здешний? — спросил он с улыбкой.

— Нет, я родом из Одессы, на летних кондициях...

— У купца Шутовкина?

— Точно так-с. А вы почем знаете?

— Слышал, про вас говорили мне, что вы способны на все руки-с...

Михайлов покраснел.

— Вы давно знакомы с господином Панчуковским?

— Второй раз его вижу; я с ним познакомился у нашего хозяина.

— А! извольте-с. Деньги я вам сейчас дам. Он пишет, что ручается за вас и что вы завтра же рано едете в город. На что же это вам деньги?

— На одно нужное дело. Я хотел бы на них кое-что заработать...

Священник встал и, сказав за дверь: «Оксана, скорей самоварчик!» — опять тихо сел.

— Извините; я вижу, вы действительно торопитесь; но позвольте мне, дикарю, за одолжение вас деньгами, хотя полчаса побеседовать с вами. Что нового-с в свете, в литературе? Вы давно из Одессы? Мы так редко видим людей, способных носить имя людское...

— Месяц назад.

Священник взял пачку книг с дивана.

— Вы не думайте, чтоб мы, здешние священники, были чужды света. Вот вам Гоголь, вот Пушкин: на последние деньги справил-с. Вот и «Космос» Гумбольдта. Скучновато в степи, особенно зимою. Мы и коротаем время, чем можем. Позвольте-с... Вы читали изданную за границей книгу о сельском духовенстве в России?

Студент хотел удержаться, но сильно покраснел. «Каков? — подумал он с досадой,— живет в глуши, а все знает; ну, что же? и я недюжинный человек! Но, впрочем, об этой-то книге я где-то что-то слышал; кажется, нападки на духовных!» И он бойко ответил:

— О, как же ! Читал. Галиматья, пасквиль на Россию, вздорная брань!..

Священник тихо крякнул, придвинулся к столу и, перебирая листики журналов, ласково возразил:

— Э, нет, молодой человек! не грешите! что пользы всем нам обманывать друг друга? Много правды в этой беспощадной и резкой книге. Верите ли, я плакал, читая ее. Ни «Копперфилд» Диккенса, ни «Шинель» Гоголя, над чем я зачитывался уже теперь, на старости лет,— ничто меня так не трогало... Поднят и наш забытый вопрос!.. Пора, о давно-с пора!

Опять вошла девушка, внесла самовар, сурово взглянула на стол, степенно все уставила; но при плавном выходе ее студенту показалось, что она уже ласковее, хотя украдкой, смотрит на него из-под напряженных густых бровей.

«Ишь, плутовка! — подумал он,— а какая степенница! таковы ведь все здешние степнячки-поморянки! Да какая же она хорошенькая! Что за стан, что за плечи и брови! а щеки — как персики в пушку!»

— О,— говорил между тем ахая и неподдельно увлекаясь, священник, подслеповатыми, припухшими глазами ища на столе ложечку, тыкая ее дрожащими пальцами в сахарницу, настаивая чай и торопливо его разливая,— что я испытал, читая эту книгу! Мое детство, мое загнанное и грязное детство, порочная и праздная юность, мои жалкие товарищи, общий обман, насилия и невежество,— все мелькнуло вновь передо мною! Вы читали в наших журналах ответы?

Михайлов покраснел, уже как рак, взмахнул неловко волосами и на этот раз признался, что не читал.

Священник вздохнул.

— Жаль, молодой человек, очень жаль; учитесь! Кто у вас профессора?

Студент ответил.

— Нет у меня ни детей, ни жены! всех я тут похоронил, как вымерла наша колония. Слышали? — спросил печально отец Павладий.

— Да, слышал; говорят, ужасы произошли в вашей колонии! правда?

— У! жутко приходилось тогда; да господь вынес. Извольте, извольте, однако, получить-с деньги!..

И он подал ему из шкатулки деньги.

Стали пить чай. Оксана прислуживала чаще и долее не выходила из комнаты.

— Гм! позвольте... Пуркуа регарде? пуркуа[1] на нее? — спросил вдруг священник студента, оставя чай и неожиданно заговорив коверканным французским языком.

— Мне ли не смотреть на таких хорошеньких девушек! — ответил несколько обидчиво и также по-французски студент. — Вы забываете, что мне не шестьдесят лет.

— Оксана, выйди! — резко сказал Павладий и, когда она вышла, обратился к Михайлову. Священник был бледен и встревожен.

— Извините меня и за невежливый вопрос, и за непрошеную беседу на языке, который я так плохо и самоучкой кое для каких книжек изучил, но этот вопрос сорвался у меня невольно. Скажите... извините меня... вам ничего не говорил на этот счет полковник?

— Нет, ничего. Вот вопрос! Даже обидно...

— Ах, боже мой! Я верю вам, верю! Господи!.. Но позвольте, вы так молоды еще, так мало еще знакомы с Владимиром Алексеичем. Остерегайтесь его. Вы не поверите, что это за опасный человек. Он богат, счастлив по-своему, всеми любим; все ему завидуют. Но что за извращенный это человек! Я с ним, открою вам, сперва поссорился за одну соблазненную им колонистку, мою прихожанку; года три назад я опять повел с ним войну за украденную им неподалеку, из дворни градоначальника, кухарку-мещанку. И откуда он сорвался? Точно зверь с цепи сюда явился. Не пропустит ни одной девушки на гребовице или при уборке хлеба. Поверите ли, сущий разбойник! Как кого увидел, наметил, так и соблазнил. Это какая-то чума в своем роде. А какой тихий, светский: воды не замутит, говорит, как девушка! И между тем, тут в околотке нет мужа, брата, отца, которые бы на него не плакались. Он на меня первое время страх наводил. И все ему как с гуся вода! Много на него выходит жалоб. Заманит, а потом еще иной раз со срамом и прогонит. Поверите ли, эту последнюю мещан-

[1] Почему смотрите? почему *(искажен. фр.)*.

ку держал более года, водил ее в шелках, в кабриолете в город пускал, какое-то тоже ее побочное дитя в кафтанчиках водил, а потом взял да и дал ей на дорогу сто розог... Это он называет: выпить бутылку и об пол! Изверг, ей-богу-с, изверг! Наезжают они теперь из России, как коршунье, в наши места; кидаются в аферы, спекулируют... Это еще бы ничего, да бога забывают-с, вертепы разврата позаводили! Что французские конторщики в портовых городах, что наши спекулянты-помещики здесь! А еще гвардии полковник!.. Срам!..

Михайлов засмеялся.

— Вот, право, не ожидал, а какой порядочный кажется человек!

— Не ожидали? Смейтесь себе, смейтесь! А это сущий разбойник, ей-богу! Я и сам, коли хотите знать, его люблю за ум и за даровитость. До тридцати лет получил чин полковника гвардии; повеяло новыми стремлениями, вышел в отставку, стал хозяйничать — ему повезло. Тут бы себя подельнее обставить, а он развратничает, как последний купчишка на уездной ярмарке, как армейский юнкеришка с цыганками! Тьфу! За этим ли он ехал из столицы в такую глушь? Да, вы меня спросили о моем приемыше...

— Да-с, прехорошенькая! уж извините, попросту сказал...

— Эх, вам все красота на уме! А ее, скажу вам, судьба прегорькая. Должно быть, отец ее был из беглых, из помещичьих лакеев. Шла она с ним из России сюда; на ночлеге, в степи, отцу ее какой-то бродяга, не то косарь, не то дворовый бурлак, перехватил ножом глотку. Прибежал он с нею сюда ко мне во двор, истекая кровью, и упал у меня, бедняк, на пороге. От умиравшего только слышали какое-то имя; его отвезли в Таганрог; тогда уже наступила война, госпитали смешались, и я не мог добиться толку, где умер старик и умер ли? Да не мог же он вылечиться. Бумаг при нем не было; ну, его, верно, и похоронили так, без отметки. С той поры я ее и вскормил; сам учил кое-чему и пока держу ее в услужении. Да надобно свезти в город, отдать хоть сестре моей: все-таки там будет спокойнее. А то тут пока еще замуж выйдет, хорошего человека найдет,— не совсем безопасно. Сказано: выставь сахарок такой на окне, как раз мухи облепят: хе-хе!.. Уж извините меня, молодой человек!

И отец Павладий сам от души засмеялся, помахивая старою лысою головкой и моргая красноватыми, припухшими глазками.

— Вы же вон первый заметили ее! — продолжал он,— а жаль девку; точно добрая. Моя дьячиха только за нею и приглядывает. Да извините, что вас задержал: скучновато на безлюдье. Вы получили деньги, напишите же теперь расписку. Да уж, извините, включите, что на месяц там, по первое, положим, июля, по три процента,— вы их и включите в капитал.

Михайлов поднял брови.

— Что вы, отец Павладий! по три на месяц?

— Да уж извините. У нас уж так. Я хлопочу о церкви; но хлопочу, пожалуй, еще больше и о себе; жалованье нам плохое, страна тут коммерческая, время горячее, деньги нужны всякому, ну, и риск бывает. Я и даю на риск; ведь я человек также, или нет? А вы, верно, тоже на дело берете?

— На дело.

— Ну, и рассчитайте: стоит ли брать? Тогда и берите. А я свое сказал; так-то-с.

Священник, держа деньги, смотрел на студента.

Михайлов, не долго думая, взял деньги, как берут их все молодые кандидаты в аферисты, не соображая даже, выручит ли он ими хоть заемные проценты. Он быстро отмахал священнику расписку. Отец Павладий надел очки, прочел два раза расписку вслух, попросил еще написать сбоку словами, а не одними цифрами, что взято триста и девять рублей серебром, и простился с гостем. Михайлов вышел. Серый конь Панчуковского быстро домчал его в Новую Диканьку.

— Ну что? — спросил Панчуковский, с газетой и с сигарой лежа на постели.— Я вас поджидал!

И он протянул ему небрежно руку.

— Дал поп, да за то и проценты взял, по три на один месяц...

Полковник громко расхохотался на весь дом.

— Ну, так я и знал! Ай да попик! Современный! Это уж, извините, он тоже не отсталый человек; и, я думаю, книгами хвастал, а?

— Хвастал,— робко сказал Михайлов.

Захохотал еще громче прежнего полковник, и от его смеха огласились все комнаты пустого холостого дома.

Поговорили еще. Маятник одиноко стукал где-то из нижних комнат.

— Итак, покорнейше вас благодарю, Владимир Алексеевич, за ручательство.

— Не стоит благодарности. Что за пустяки! Ну-с, а насчет нашей красавицы?

— Да! — сказал студент, вертя фуражку,— вы поручили узнать насчет той сироты?

— Ну, что же-с?

— Она дочь убитого беглого.

— Беглого! А! Значит, она отцу Павладию принадлежит так же, как и моему, положим, Абдулке...

Студент рассказал подробно историю убийства ее отца.

— Ее взял священник, когда отца ее зарезали, и с тех пор она у него в услужении. Он ее грамоте стал учить два года назад; читать и писать выучил и очень любит.

Панчуковский зевнул.

— Он, должно быть, задумал выгоднее выдать ее замуж, выкуп взять...

— Девочка прехорошенькая! — твердил студент с чувством,— просто прелесть! Я редко встречал такие лица и строгие и соблазнительно-увлекающие! Полная, пышная, здоровая... Знаете, этот бьющий в глаза пыл здоровья... Знаете...

— Человек, лошадь барину! — крикнул Панчуковский с постели.— Вы когда же опять у меня будете?

— Когда деньги привезу отдавать.

«Жди теперь тебя!» — подумал полковник и любезно простился с гостем.

Студент опять поскакал по стемневшей степи. Близилось утро. Было уже перед рассветом.

Между тем как студент еще выходил от священника, с ним на пороге впотьмах столкнулся какой-то человек, не то мещанин, не то рядчик из города, статный малый, с узлом в руках, который он, очевидно, нес к священнику. Когда отец Павладий проводил гостя и, не затворяя за собою двери, вошел и остановился в освещенной еще по-парадному комнате, пришедший с узлом ступил из сеней в приемную.

— А! Левенчук! откуда бог несет? Что это?

Пришедший поклонился в пояс.

— Это, батюшка, уж примите; это вам свежая рыба с тони да часть дичинки: сам стрелял.

— Спасибо, спасибо; Оксана, возьми! — крикнул священник в сени.— Я это люблю, спасибо!

Но Оксана не явилась. Левенчук помолчал и опять поклонился.

— Батюшка!

— Что тебе?

— Как же насчет того-с?

— Чего?

— Да насчет обещания вашего?

— Какого?

— А про Оксану...

Отец Павладий отошел и выставился из комнаты в окно, в которое еще громче неслось пение соловьев.

— Видишь ли, брат,— сказал он, не оглядываясь,— ты человек добрый, и я тебя узнал, да ты беглый, значит — ничто. Ну, как тебе поверить душу человеческую? Ты беспаспортный, бродяга, ведь так?

— Так...

— А я тебя покрываю?

— Покрываете...

— Ну, значит, и ты преступник, и я. Придут, потащут тебя, раба божьего,— и пропала девка.

— Батюшка! Что хотите, возьмите, а отдайте ее за меня; другой год вас прошу, молю; отдайте, не загубите моей души... Богом-господом молю!

— Ну, слушай, вот тебе мой зарок: принеси сто целковых на церковь да сто целковых на выкуп твой,— напишу к твоей госпоже; авось, дадут тебе волю... Тогда и бери Оксану-то. Что, согласен? Хочешь, сяду и напишу твоей барыне; прямо скажем все.

— Нет, батюшка! Бог весть, как еще дома посмотрят теперь на мое бегство; обвиняли же меня за машиниста нашего! Берите двести целковых на церковь, а уж на выкуп у барыни моей не требуйте, не пустит меня теперь барыня. Знаю я, что не пустит. Смилуйтесь, батюшка, обвенчайте так... Мы за Кубань, мы в Молдавию убежим...

Священник подошел к столу, погасил свечи, стал к окну и высунулся опять в него по пояс, глядя на освещенную месяцем росистую окрестность, по которой раздавались соловьиные крики. Из сеней вошла и тихо стала у косяка двери Оксана. Она плакала; плакал и Левенчук.

— Ну,— сказал священник, оглядываясь на них,— перевидал я тут немало вас, горемычных! Бог вас благословит! Венчаю!

Левенчук и Оксана поклонились ему в ноги.

— Когда хочешь, приноси только деньги; значит, ты порядочный человек, достаточный, надежный; ну, значит, тогда и бери. А я, собственно, не себе беру, ни-ни! Что ее в самом деле держать? я и сам думаю. Еще что скажут! Но ей-же-ей, господи, желал бы я, чтобы ты ей принес счастье, горемычной сироте. И где ее родина, и откуда она — не знаю.

Левенчук вздохнул.

— Ну, вот вам, батюшка, семьдесят пять целковых, а остальные, может, и все к троице отдам.

Он вынул из конца затасканного платка деньги и отдал.

— Ты где был это время и где теперь стоишь?

— Был на неводах и в конторе хлебной был, а теперь опять всю весну при неводе. Там и дичинки вам набил...

— Контрабандой занимался?

— Случалось.

— Нехорошо, Харитон, поганое дело! отвечать будешь! брось! Ну, ступай же, бери свою Оксану. Чай, под ракиткой побеседовать рветесь. Ступайте же, целуйтесь себе, мои пташечки! Только далее... ни-ни... Чуешь ты, Харько?

— И, батюшка, будто мы уже какие антихристы? закон отцов знаем.

— А твой Милороденко где? Давно он меня шутками не смешил.

— Бог его весть, где он. Хотел покаяться, остепениться, а про то не знаю...

— Ну, ступайте же. Да накорми его, Оксана, борщиком, — чай, голоден; там и каши спроси у дьячихи. Навиделся я вас, несчастных! Это ты сегодня с моря, а? Должно быть, пешедралом?

— Да, пехтурой; где нам, ваше преподобие, иначе! Еще с утра вышел, ни крохи во рту не было...

И Левенчук пошел с Оксаной.

А в то время, как студент, исполненный самых пылких надежд на аферу с занятыми деньгами, летел по степи и ему навстречу загоралось приморское утро, дымясь, свежея и освещаясь всякими блестками, Панчуковский призвал в спальню своего Самуйлика, уже знакомого нам старого кучера, и сказал ему:

— Во-первых, проснись, скотина, и слушай в оба; во-вторых, без нравоучений, иначе — плети; а в-третьих,

изволь с завтрашнего же дня собрать мне все справки о поповой воспитаннице! Слышишь ли? собрать, да самые верные!

Самуйлик хотел что-то сказать, но только махнул рукою и мрачно и молча вышел. Он знал, что барин иногда с ним шутит, а иногда и не шутит, да и больно не шутит.

Уж солнце всходило, когда студент свернул влево и для краткости пути поехал через небольшую безыменную речонку, отделявшую землю купца Шутовкина от проезжей дороги. На речонке был хутор и водяная мельница. Спустившись шагом на плотину, студент увидел толпу мужиков, забивавших пали у водоспуска. Барыня в лентах и под зонтиком стояла тут же и, куря длинную трубку и порой покашливая, жалостно и суетливо покрикивала на рабочих и распоряжалась.

— Здравствуйте! — сказал студент, узнав в барыне вчерашнюю знакомку, Щелкову, бывшую у Панчуковского.

— А! это вы, мусье!— печально отозвалась вслед уезжавшему знакомцу мадам Щелкова.— Вы вот катаетесь, а мы труженики-бедняки, уже на работе! экскюзе![1]

Студент приударил по лошади и скоро вошел на крыльцо еще сонного сельского купеческого дома.

А в гущине ракитника и ясенков, разведенных над ключевым прудом отцом Павладием, короткий конец майской чуткой ночи коротали, забыв весь свет, Левенчук и Оксана.

V

Наши Кентукки и Массачуссетс

«Что такое, однако, эти беглые в Новороссии?» — спросит заезжий в эти места. «А что такое беглые? — ответят ему туземцы,— известно что: беглые да и все тут! Крепостная Русь, нашедшая свое убежище, свои Кентукки и Массачуссетс. Здесь беглыми земля стала. Не будь их — ничего бы и не было: ни Донщины, ни Черноморья, ни преславной былой Запорожской земли, ни всей этой вековечной гостеприимной царины,

---

[1] Простите! (*фр.*)

к которой стремятся с севера и из других мест за волею и люди, и звери, и птицы! Все тут беглые: Ростов, Мариуполь, Таганрог, все беглые. Эти портовые богачи, купцы и мещане, эти Шелбановы, Пустошневы, Катальманьевы, Безродные,— поройтесь в преданиях их, какова их история? Недавние предки их — крепостные, выходцы из России, либо помещичьи, либо казенные беглые!» Так вам ответят туземцы. А сами присмотритесь на беглых — люди, как люди! Что же их сманивает сюда? Приволье земель и работ, только трудись; на всех труда станет...

Со всех концов России, а с севера в особенности шли огромными артелями наемщики на юг. Они шли по большим и малым дорогам, с косой за плечами, парни и девки, нанимаясь по пути в косари и гребцы. Целые села, гуртом выходя из тесных околотков, шли по дорогам в пыли и духоте, босиком и впроголодь, в ожидании тяжелого труда. Отдельные артели сливались в отряды, становясь к делу на крайнем юге и то там, то тут начиная белеть своими рубахами и сверкать потертыми косами и серпами. Было тут немало и вольных крестьян с билетами и помещичьих с паспортами; но в каждой артели было еще более беглых. Труд нужен, труд дорог: рук мало, дело кипит, трава сохнет, пшеница зреет, горит, наливается, осыпается; сотни и тысячи рублей готовы погибнуть: как тут не принять беглых, господа юристы? Милости просим! Хотя и опасно, да кто их усчитает в этой неоглядной степи? Есть где поработать, есть где и спрятаться. Спрячет их свой брат земляк, спрячет и помещик, когда налетит гроза в виде исправника или станового, стан которого здесь величиной чуть не с ганноверское королевство. Станового тут купит всякая депозитка; он и смотрит сквозь пальцы. Чуть зазвенел, однако, жадный полицейский колокольчик — бурлаки прячутся в бурьяны, байраки, стоги или в камыши или в глазах самой власти бегут через границу ее уезда. А помещику и колонисту без беглого нет житья. Беглые — народ смирный, трезвый, усердный; чисто ливерпульские пуритане в душе. Берет беглый за работу меньше вольного; ну да и обсчитать его легче: не пожалуется!.. Поплачет разве только, либо выругает за околицей хутора не по-человечески, и только. Потому-то здесь все шито и крыто. Беглые идут на линию, за Кубань, в Крым и в приморские степи на юг, как домой,

из всяких суровых и тесных уездов севера. Пуританизм их удивительный. Известно следствие в окрестностях Нахичевани, открывшее, что партия беглых ночевала в степном байраке у какой-то лесничихи, как при этом один из беглых украл у хозяйки ведро и как за это товарищи его сперва высекли, а потом, не долго думая, повесили на дубу: «Не срами, дескать, хороших людей!» Так-таки и повесили.

Точки соединения всего этого летнего захожего люда в степях, притон их отдыхов и наймов, их увеселительные клубы, это — шинки зажиточных слобод и одинокие постоялые дворы с громадными, уже известными читателю, степными колодцами.

Эти шинки — вещь любопытная. Кто их здесь не знает, за рекою Богатырем, Джемреком, в селах Большой Янысель и Старый Керменчик и вдоль по рекам Кобыльной и Волчей, а равно в апухтиных и черниговских хуторах, в молоканской слободе Астраханке и в немецкой колонии Красный Трактир? Во-первых, такие шинки приносят огромный доход. В обширной слободе они непременно устроены на главной улице или на площади, близ церкви. Это, по праздникам, своего рода лондонская биржа. А хотите знать, как нанимаются беглые летом и как ажиотируют этими *белыми неграми* наши южные плантаторы? Извольте. Подъезжая в праздник к месту их сходки, вы еще издали усматриваете небывалую толкотню и слышите громкий говор народа. Толпа стоит перед шинком вплоть до церкви, как на торгу. Отдельные кучки стоят по соседним переулкам, сидят под плетнями или идут решать дело еще далее на выгон, за село, чтобы не было свидетелей. В общей толпе и перед этими отдельными кучками прохаживаются помещики, кавалеры средней руки и приказчики богачей, нанимая артели, выслушивая торги и последние цены, сбивая упорных разными шутками и друг у друга, у своего же брата, сманивая небольшою надбавкой нанятых уже рабочих. Иной приказчик в синем кафтане и в синих шароварах, подпоясанный красным кушаком, ходит-ходит, торгуется, надседается, сошелся, нанял, выставил ведро водки на магарыч, сосчитал свою артель и спешит домой; а по пути, иногда у самых ворот его, встречает артель приказчика другого помещика, надбавляет рабочим ничтожную плату и уводит их с собой. Бывают при этом и свалки наемщиков и нанятых.

Случается, что ловкий соглядатай от одного помещика явится в степь прямо на работу к нанятым другого с целью сманить их разными льготами; а другой-то хозяин еще ловче, подглядит его штуки да тут же в степи его и высечет. А старики новичкам говорят: «Вы тому не удивляйтесь, что этот пан высек ключника того пана: так было и в старину, как наши степи селились и еще люди тут ходили незакрепленные, как запорожцы. Придет Юрьев день,— являются верховоды, кричат: «На Кильчень!» либо: «На Самару!» Одно село выселяется, а другое идет ему навстречу в иное место. По мостам и по плотинам идут обозы с детьми, добром и стариками; идут батраки и бабы, прощаются с родичами; волы ревут, возы скрипят, а паны заезжают друг перед другом, спорят, сманивают к себе нашего брата и рубятся саблями, а иногда и пищали, бывало, хлопают. Оно так всегда тут было!.. Тот пан, бывало, при проезде обоза, хвалит свое, а этот свое; говорит: «Идите ко мне, люди добрые! дам вам и степи вдоволь, и хорошей воды, и лесу, и хат, и скота!» А уж что соврет, то соврет, лишь бы ему сманить их, вот как и теперь... Есть предание, как один свирепый командир, преследуя здесь беглых, налетел где-то на артель неводчиков и гаркнул на них: «Где ваши паспорты?» Те переглянулись. Генерал был без конвоя, с одною свитою. «На барке, ваше сиятельство!» — ответили те и пошли по доскам, один за другим, за паспортами. Взошли на барку, оттолкнули ее от берега и показали ему оттуда что-то вроде шишей, со словами: «Вот наши пашпортики!» И эти слова стали с той поры здесь поговоркою. В праздник, до начала торга, в слободе, где нанимаются косари и гребцы, в церкви обыкновенно служится обедня, и все чинно стоят и молятся, слушая отца Прокопа или отца Дороша. Дым густо стелется, дьячок басит, а из дыма глядят все черноволосые и русые чубатые головы, будто сейчас вышли с картин Шевченко, Трутовского и Соколова. Обедня кончилась: наполняется площадь и шинок. В одном из таких шинков долгое время в наймах, под Керменчиком, был беглый повар какого-то генерала из Калуги, который держал отличную простую кухню, и, постукивая ножом навстречу входившего загорелого люда, выкрикивал: «А кому угодно котлеток a la метрдотель, бламанже, сюперфлю и все что угодно!» Никаких утонченных диковинок жид-содержатель шин-

ка не мог, разумеется, по его вызову, предложить гостям; но прибаутки повара приманивали толпу, и шинок был не внакладе, справляя иногда, впрочем, свадебные пирушки для соседних поселян и беглых с такими угощениями, что хоть бы и в городе. Про беглых тут ходят и плоские избитые анекдоты, рассказы о том, как они венчаются вокруг полевых кустиков, или обходя одинокий стог три раза. Обошли — вот и муж и жена, пока снова разойдутся. Такие же ходят толки и о крестинах. Это уже область местного юмора. Пора работ кончилась. Беглые с полей переходят к неводам. Здесь осенью вся беглая, разбившая свои оковы Русь... Уходя из шинков, косарские артели поют особые местные песни, с сочиненными намеками на соседних помещиков, отдавая им похвалы за милосердие или остря над их скаредностью и стеснениями, вроде этого:

Чужи паны, як пугачи,
Держут людей до пивночи,
А наш соловейко
Пускае раненько;
Дае водки и грошей —
Спаси его, боже!

Такие песни пелись в косовицу и на Мертвых Водах, на полях купца Шутовкина, братьев Небольцевых, близ поместьев Панчуковского, Швабера, Вебера и на церковной земельке Святодуховского хутора. «Отчего иные бегают?» — спросите вы у станового. «По омерзительной привычке»,— ответит он вам и начнет доказывать. Хатка у такого бегуна сплетена из камыша, примазана глиной; в хатке ни стола, ни лавки порядочной, а во дворе плетень камышовый. Придет свинья необрядная, толкнет, чесавшись, и повалит весь хлам. Толкнет с досады и сам хозяин хату ногою, повалит ее и пойдет в бродяги. Ему и жены не жалко, и детей. Так по десяти и по двадцати лет шляются. Видно, дома солоно. А иной проворовался, ограбил, убил. Есть и бежавшие от страха наказания за покражу лоскута холста, сальной свечки. И ходят в бродягах годы. Думали переводить беглых, оцепляли города, села. Прибыл в эти места лет двадцать назад, между прочим, другой, подобный упомянутому выше, свирепый начальник и вызвался искоренить тут всех беглых. А подначальник был у него человек обстрелянный и знал, как это легко говорится и как

трудно делается. Захотел этот первач свой край объездить. Ездит и ездит, совсем замучил помощника. Ужас навел на беглых своими выходками и жестокостью. В кандалы перековал целые тысячи, остроги ими переполнил по всему взморью. А помощника совсем выбил из сил. Вот и подвел штуку помощник. Проморил как-то владыку в степи, а все везет его далее, все далее. Уж тот и животик стал потирать и поглядывать из коляски: что за бесов край! хоть бы корчма или деревушка какая,— а до города еще верст двадцать. Остановился первач. «Ну, говорит, как бы чего закусить?» Кинулись к свите,— ничего нет. А это уж помощник так подвел.—«Нет ли хоть корочки черного хлеба? Нет ли тут постоялого двора где-нибудь?» — спрашивает первач. «Куда вам, ваше сиятельство! У нас ли этому быть в этой голой и пустой стороне! А вот постойте: тут в стороне, на берегу моря, неводок, кажется, есть; беднячок один держит артель. Угодно-с? может, разживемся чем-нибудь?» — «Вези, братец, вези! просто умираю с голода!» Его привезли. «Здравствуйте, ребята!» — гаркнул первач на рабочих, выходя из коляски. «Здравствуйте, пане!» — «Давайте есть; что у вас имеется?» — «Что же у нас будет, пане? мы люди бедные; хлеб-соль, да разве рыбки вам поймать?» — «Давай». И закинули невод. Уж тогда ли поймали, или было приготовлено заранее, только неводчики и устроили ему закуску: уху из самой первейшей рыбы, с бездною молок и потрохов; в ноздри душистый пар так и ударил; икры свежей вывалили ему целый бочонок; а горячий хлеб да голодный зуб, главное помните. Наелся генерал до отвалу: едва поворотился. Кинул неводчикам червонец, благодарит помощника: «Ну, брат, такого обеда и цари не едят!» Отъехал поезд в степь, скрылось море и коса с неводчиками. Помощник и говорит: «А знаете, ваше сиятельство, у кого мы обедали?» — «Нет, не знаю».— «У беглых!» — «Быть не может!» — «То-то-с; переведете их, так и рыбы такой тут некому будет поймать...» Генерал задумался и больше не козырился, стал, как и все мы, грешные...

А плантаторы между тем не дремали. Громадные ватаги косарей и гребцов, человек в триста и в четыреста, расхаживали по быстро косимым степям. Сами велемочные господа кавалеры из-под Ростова, Бердянска, Мариуполя и Мелитополя кто верхом, в широкой бердянской или одесской, а иногда прямо панамской

шляпе, или пешком, с плеткой усердно расхаживали среди артелей, пеклись с утра до ночи на страшном солнцепеке и обращали свои лица в подобие желтого земляного угля. Двигаясь медленными точками и белея своими шляпами, они, как коршуны, стоявшие в небе над ними, зорко поглядывали по сторонам, подмечая либо заленившегося косаря, либо накидывая жадным и плотоядным взглядом смазливую гребчиху, с греховным помыслом приласкать ее вечерком, в прохладе одинокой степной пустки, за стаканом пуншика и глотком коньяку или водки. «Эй, хлопцы! эй, дивчата! — покрикивали степные поморские плантаторы, с бойкостью яростных, настоящих янки, помахивая на куцых кляч плеткой и верхом ведя свои ватаги по пылающим в зное равнинам,— а нуте, постарайтесь! а нуте, разом, разом, разом! дружнее! Котел каши с салом; два ведра водки лишних на магарычи! А нуте, нуте, нуте!» И сотни обеленных бурьянами кос дружно и мерно сверкают; сотни грабель взвивают и складывают в копны душистый чай наших степей, мягкое и нежное зеленое сено. Среди полян стоят косарские и гребовицкие таборы. Косовица во всем ходу, в полном разгаре. У привала дымится из навозного кирпича костерок. Громадная арба с полотняною крышею в виде гроба без устали открывается и закрывается, подвозя на волах или верблюдах крупу, соль и рыбу от хозяев. Несколько бочек едва успевают подвозить к таборам из дальних колодцев воду. Выпекается в хозяйских хуторах, в особенных печах, и в сутки съедается по триста и по четыреста хлебов, на одном поле, у одного хозяина. Из Мариуполя и Таганрога подвозятся мешки и мешочки на тысячи и более рублей серебром, мелочи. Нанимаются артели в десятки и сотни человек понедельно. Расплата производится по субботам. Наморившиеся, загорелые и запыленные девки и бабы сидят в тени, где-нибудь под амбаром или под конюшнею, не распевая песен и не шутя, в ожидании расчета. Косари без шапок стоят кучами по двору или у крыльца. А сами гостеприимные господа-плантаторы сидят у крылечка, перед столиком и расчет ведут. Этой партии триста целковых, этой — сто тридцать пять, той — двести. Кости на счетах звонко выщелкивают красные куши. Перо тут же записывает сказочные летние новороссийские расходы. Хозяева в эти минуты не видят перед собою ни живописных типов украинских

косарей, ни хорошеньких, подгорелых на ветре и присмаженных на солнце гребчих. Они видят одно сено, копны, стоги, свои стада и барыши. «А! вон и сам пан полковник выехал! — говорили иногда соседские приказчики, из мещан и вахмистров, видя, что Панчуковский выехал к гребцам или к косарям на красивом сером или буланом жеребчике,— ну, это уже недаром! верно, старый хрыч Самуйлик смастерил ему какую колонистку, либо из наших девок какую припас полакомиться. Ишь ты! какой молодой орлик, летает и плавает перед рядами. Вон остановился; шутит, видно, сигарку закуривает... Эх, житье этим господам, право! Денег — куры не клюют; спят себе вволю, пьют, едят, книжки читают — тьфу! А ты трудись... а девок им и отбою нету!.. Как те салтаны проклятые турецкие проживают!..»

Так говорили приказчики, разумеется, от зависти.

VI

Оксана и ракитник

В одной из таких беглых артелей был и Левенчук. Он был в наймах недалеко от Святодухова хутора; часто под вечер мелькала в яру и в ракитовой роще его смурая барашковая шапка. Как же полюбились Левенчук и Оксана? Э, господа! Как любятся птицы небесные, зверки полевые? Уж, разумеется, очень просто, как любится все привольное, дикое население степей века и десятки веков, нарождаясь и сменяя друг друга.

Без вздохов, без лишних слов, просто и даже очень просто полюбились и жили своею любовью Левенчук и Оксана. Левенчук окреп на воле в эти три года, возмужал и ревниво берег издали свою Оксану, нанимаясь то в невода, то в поденщики у окрестных колонистов и везде высматривая ее и следя за нею. Их встречи были кратки. Тихая и степенная красавица без него никому не спускала, кто бы ее ни затронул. Возясь и работая в кухне, в огороде, на дворе и в доме священника с утра до ночи, она и дитя кривой дьячихи закачает, и полы вымоет, и птиц накормит, и часто поет-поет, как жаворонок заливается. А сойдет ночь, скрипнет валежник в ракитнике, она молча и покорно идет к Левенчуку, покорно ластится и жаркими-жаркими объятиями не-

жит его. Слов как-то нет у нее; все бы глупо молчала да нежилась, как кошечка, возле него. Соберутся к святодуховскому пруду соседние гребчихи за водой, полощутся в кустах, припасают ведра воды, умывают загорелые лица, запыленные руки и плечи, и Оксана выйдет из поповой хаты. Наслушается всего, поможет одной-другой воды набрать, подаст ведра на коромысло, придет домой и все рассказывает дьячихе. «Ты только молчи, Оксана,— говорит на это дьячиха,— ты лучше всех, а только молчи! Я уж тебе найду жениха сама!»

«Да, держи карман! — думает Оксана,— и без тебя знаем, где что получше, покраше!» Сама разденется для работы, затопит печь, засучит рукава, поставит горшки, лук крошит, пшено толчет, обед готовит,— а сердце так и колотится. «Вот, думает, девки полагают, что я такая недотрога, никуда ногой не хожу, ни в наймы в степь, ни в гости ни к кому, а я-то... а ночи?.. а ракитник?.. Да и тетка Горпина также думает!..» Пойдет на пруд днем, белье моет. Обнаженные ноги с кладочки в воде рисуются, солнце пышет в лицо. И все ей жалко кого-то. Сама боится глянуть в сторону. «Глянь,— шепчет ей что-то,— глянь! в кусты орешника, в темные ясени, в ракиты глянь: вон там на берегу, по тот бок пруда, стоит кто-то — глянь!..» И весело ей, и тяжело, и совестно, и страх как хочется посмотреть. «И чего я гляну! — думает Оксана, стуча вальком по белью,— теперь полдень, он косит где-нибудь или невод тянет...» Подняла глаза и обомлела: на берег вышел из байрака Левенчук и давно машет ей, зовет ее. А вечер придет... Давно она не видела Харько. Постлалась на лавке, в кухне, помолилась, три поклона положила и крестится, ложась спать. Помнит все, что было днем: как она дитя дьячихи Горпины колыхала, как вечером корову доила, а сама все смотрела опять в сторону, дура, и ждала, что вот-вот кто-то из-за угла покажется. Уже заснула Оксана, спит, а ночью чувствует, что покраснела; совестно ей подумать, как это она выйдет замуж и в люди покажется... Лучше бы так просто подольше жить и тихо любить!

Не помнит Оксана ни отца, ни матери; даже не знает, кто были ее отец и мать и где ее близкие. Слышала, что отца ее зарезали и что с той поры ее взял в приемыши отец Павладий. И с особою любовью ходит она за дитятею тетки Горпины, нежит его, поминутно с ним возится и поет ему степные малорусские колыбельные песни.

Худое и слабое дитя иной раз без меры расплачется. Оксана не даст матери укачать его. Не отходит от него и поет, не переставая. То на руки его возьмет, пойдет с ним на выгон, в лес, опять положит дитя в колыбель и поет.

Как познакомилась Оксана с Левенчуком, трудно и сказать. Был он как-то в церкви, стоял там такой печальный да жалкий; тихо крестясь, приложился к кресту, когда отец Павладий отпуск с обедни дочитывал. Потом косил он в косарях на церковной степи у отца Павладия, а она воду косарям носила. Только и знакомства. А как потом она ему всю душу отдала, стала ходить и бегать к нему, через плетень прыгая, лисичкою в кустах выступая,— этого она и не расскажет. Стала вдруг она и более заботливая: хлопочет и старается по хозяйству, будто собирается куда, будто последние дни для нее настали. А сама похудела, точно измученная чем, но еще более с тех пор похорошела. Русая коса, как шелк, вычесана; темные брови еще темней стали; а слегка впавшие тоскующие глаза не по летам так и мечут любовные чары. Движенья замедлились; тело просится к лени, а работы гибель. Выйдет Оксана на косогор, станет против рощи; стоит и вдруг заплачет. Долго стоит, смотрит и поет за душу берущую песню нашей Украйны...

Или заберется она в глушь байрака, сядет в кустах, шьет узором сорочку, за слезами нитки не видит и тихо поет песню, которой выучилась она у дочки соседней бакшевницы, пропавшей без вести два года назад, вслед за отходом партии неводчиков.

Песня спета; слезы душат Оксану; она упала лицом на работу, и плачет-плачет... еще от рождения она так не плакала. На душе и горько и тяжело. А мысли роятся между тем: «Ну, желала бы я, однако, знать, где этот пройди-свет Харько? Должно быть, с дивчатами чужими возится, водку где-нибудь пьет. И не срам?..» Поднимает голову и ахнула: Левенчук сидит против нее на корточках, держит трубку в зубах, копается в кисете с табаком и смеется. «Вот хорошо, что ты запела, а я по голосу и нашел тебя!» Застыдилась Оксана. Ей весело и вместе жутко. Дрожь в руках и в груди. Она не придвигается к нему ближе. Он смеется над нею. Она кидает в него нитками, траву щиплет, в глаза ему хочет бросить. А он ей руки крутит, борется с нею, десятки прозваний ей

ласковых и смешных дает... «Да прочь же, прочь!» — говорит она ему, морщась и будто отталкивая его, а сама все к нему ближе... Солнце не заглядывает в гущину ясенков! Только ветер перебегает по верхушкам... Дикая утка откуда-то налетела, пошныряла раза два над байраком, улетела опять и, снова прилетев, тяжело шлепнулась к осоке озерка, ниже пруда. Должно быть, гнездо ее там свито. А Левенчук рассказывает, где он был в эти две недели, где невод тянули, как пароход откуда-то ночью набежал, дым клубился, море шумело, наплыли лодки к берегу, все какие-то не то армяне, не то далматы бегали, выгружали запретный товар, контрабанду, в камыши и с верховыми укрыли ее потом до рассвета далее. Говорит, что эти дни он косил возле Святодуховки и все собирался к ней, только ждал расчета. «Я видел тебя, Оксана; прошлою ночью к двору вашему подходил... Ты спала на дворе под горницею, да я не посмел через плетень перелезть... Лежишь ты, раскинулась — а я хотел подобраться к тебе, напугать! И как это вы собак не держите; просто страшно! Еще обворуют!» — «И, Харитусю! От злого человека и собака не спасет!» — «Ну, где же наш батюшка теперь, Оксана?» — «Дома; пчел едет покупать на троицу! Приходи тогда...» — «Э, нельзя! Нам заказано в лиманы; француз чаю привезет; разгружать станем; по десяти целковых на человека в ночь будет... Не приду; а после опять косить приду до вашего немца».— «А, постой! — тихо крикнула Оксана и замерла,— постой; как будто кто яром под ногами вот у нас идет; не то отец Павладий, не то посторонний кто... Ишь крадется!» Но шум замолк; на сердце Оксаны отлегло. Левенчук закурил трубочку, и опять пошли толки. Он рассказывает, как жил еще у своей барыни, как пас овец, как его женили, как Варьку машиной задушило и потрощило, как он утопиться задумал и уже вторые сутки просиживал над омутом у мельницы и как его спас и сманил на линию Милороденко. Оксана в сотый раз слушает и плачет, тихо вышивая узорную сорочку или бросая иглу и безмолвно слушая Левенчука. «Ну, где же теперь наш Василь Иванович, наш Милороденко?» — спрашивает она, тихо в мыслях молясь за него. «Э, Оксана, ищи ветра в поле! Сказывают, что он точно успел за эти три года разбогатеть. Сперва, говорят, был он при неводах, а потом у какого-то грека на хуторе пасеку держал и сам завелся

пчелами· даже в мещане в Азове хотел приписаться, по чужому имени — все домом тоже обзавестись мостился. Передают, что уже и при деньгах был. Да какая-то бабенка ему тут подвернулась. Он сперва у нее ключником нанялся — она тоже помещица, что ли. А там и в любовники к ней попал. Год так жил! А с этой весны куда-то и пропал опять без вести. Как будет наша свадьба, Оксана, перед петровками, мы его разыщем... хочешь? Я припас еще денег; самая малость остается, так и скажи батюшке!» — «Скажу».— «Скажи, что после троицы, как управлюсь на море да покошусь еще у немца с неделю, приду и остальной за тебя выкуп принесу... Ну, а где же мы станем жить тогда, Оксана?» — «Ох! уйдем отсюда; тут уж нам не житье. Слышно, все разыскивают бродяг, а ведь мы не люди, мы с тобою бродяги... Боже! Хоть бы на Дунай или в ту Анатолию пробраться... У турок, слышно, всех принимают. Вон я слышала, Харько, к нашей дьячихе сестра с богомолья из Ерусалима, проходом в Россию, навернулась, говорит, что нашего народу видимо-невидимо из Одессы и из Польши туда перешло, и по Дунаю так слободами и живут».— «Не может быть того, чтоб до неверных переходили!» — «Ну, а я уж слышала; там пачпортов не требуют».— «А, батюшки, батюшки! вот доля!» — «А слышал ты тоже,— вон попадья к нам от Шутовкина купца наезжала, пшена занимать и постного масла на косарей: наш батюшка на барыши на лето и это держит,— будто к Небольцевым господам исправник выбегал с понятыми, село обходил, все сундуки и погреба осмотрел и шестнадцать человек за конвоем в Ростов отвел. Плачу там, плачу было такого, что и-и! Нашли, говорят, в подвале старого-престарого сапожника; он двадцать девять лет уже как бежал, сказывают, от какого-то помещика, не то из Рязани, не то из Москвы, и все это время жил в подвалах, обшивал все околотки...» — «Ну, ну?» — спрашивал Левенчук, все бледнея и едва переводя дыхание. «Как вывели его оттуда, а он, как мушка сонная, осенняя, так и шатается от ветру, ухватился за волосы седые, белые, да и упал об землю.— «Ведите меня, говорит, хоть в Сибирь, а только домой не ведите, на хутор. У меня, говорит, тут уж своя родина, и жена другая, и дети взрослые; а то я руки на себя наложу; я не крал, не грабил, тихо жил себе, работал...» А исправник смеется: «Ведите его, молодчика, да покрепче закуйте; он уж по

четырем ревизиям пропущен, ему и имени Христова нет...» И повели его на Екатеринослав особо. Так сказывала Шутовкина купца попадья...» — Левенчук встал, оправился. Встала и Оксана. «Ну, Оксана, теперь ты будь готова. После троицы зараз повенчаемся! Я пойду на корабли, договорюсь... Я уж устрою... Не житье нам точно здесь становится. Набрехал-таки Милороденко, иль оно уж изменилось! А ты только будь, значит, готова; не в Туретчину, и тут найдем место! Вон и в прошлое лето шел на заработки, с чужим мещанским пачпортом, за Елисаветград. Ну, да и места же это по Днепру, Оксана! Зашел я в такую лощину: все балки, песок красный, слюды блестят на солнце, тюльпаны дикие, как колокола, цветут, алые и желтые, по степям и по ярам,— пахнет, весело, привольно... Вот хоть бы туда! Будь только готова; уж мы спрячемся — а там, слышно, и волю всем скажут! Согласна, серденько мое?» — «Согласна!» — «Так жди же меня, жди, жди!..»

Близился день троицы, храмового праздника в хуторе отца Павладия. Соседние колонисты, беглые, и всякий обычный, захожий люд в окрестности свято чтили и помнили этот день. Отец Павладий, от студеной весны лишившийся всех своих пчел, затевал давно завести новую пасеку, сторговал в соседней болгарской колонии двадцать колодок и со стариком дьячком, который был у него ходоком по всем денежным делам, собирался ехать туда на своей пегашке, вслед за обеднею. Между тем он собирался нанять мимоходом, где случится, из своих более греховных прихожан, не раз после исповеди бывших в наказании на поклонах, десяток-другой подешевле косарей на свое подцерковное заповедное поле. Да, кстати, тоже с какого-то колониста к этому же дню следовала получка капитальца и процентов, по пятнадцати этак на сто, за полгода. Таковы уже заразительные обычаи этого коммерческого новороссийского люда. В минувшем году отец Павладий пустил часть круглого капитальца на соседний порт в доле с каким-то греком через того же дьячка, скупив малую толику пшеницы и льна. А немало деньжат блуждало и по северным уездам губернии, и по Дону, и по Кубани, оставляя под залогом в сундучке и в комодах отца Павладия серебряные ложки, браслеты, столовое

белье, расписки, часы, даже ордена отставных майоров и ротмистров, ныне усердных плантаторов по рекам Мертвой, Кобыльной и далее до Яны-Салы.

VII

Новая сабинянка

Троицын день начался радостно для отца Павладия и прочих обитателей Святодуховского хутора. Седенький рябоватый дьячок в ожидании обеда с выпивкою винца метался, прилизанный и прифрантившийся с утра, между прибранною заранее церковью и домом священника. Дьячиха варила есть батюшке, себе и гостям, обыкновенно наезжавшим сюда к храму. Отец Павладий ловко спрятал в своих каморках к месту книги, журналы и газеты, бог с ними — нелюбимого местными господами Гоголя и гонимого директорами соседних училищ Белинского (которого отец Павладий в простоте души звал не Бели́нский а Бе́линский), накурил весь дом немилосердно ладаном, так что суетившаяся с утра Оксана вбежала было, уже во время обедни, с чем-то в спальню батюшки, торопясь скорее покончить хлопоты, что-то поставить, что-то взять, надеть последние две ленты в косу и пойти степенно и величаво в церковь, но остановилась в клубах непроглядного дыма, покрутила носом и, ухватясь за глаза, выскочила на крыльцо. «Уж это верно, батюшка раскутился; верно росным или смирною так накурил!» Еще раза два простучавши по зеленому двору быстрыми пятами, Оксана, наконец, заперла ворота и пошла в церковь. На ней была новая ситцевая красная юбка, синие шерстяные чулки и козловые башмаки, только что из лавки. Много было там господ. Много экипажей стояло у склона байрака, между кустов и под рощею, у возделанного отцом Павладием пруда. Церковь, вся обросшая и густо укутанная белыми акациями, сиренью и липами, едва оттуда торчала золотою маковкою. Чинно прошла обедня с акафистом и с коленопреклонением. Накануне была отслужена обычная панихида по умершим, былым приснопамятным переселенцам на Мертвые Воды. Как плакал обыкновенно в такой канун за панихидой отец Павладий, живой свидетель гибели этих переселенцев, так он прослезился

и на этот раз. «Господи, помяни сих... сих несчастных, умерших, умерших разом!..» — прибавил он теперь такие свои слова к заупокойной молитве, просветлев от горя и вспоминая в числе «сих несчастных» и свою молодую чернобровую покойницу, по приезде сюда всех пленившую своим тихим нравом и белизною лица. Круглый и тучный, с красноватою лысиною старичок всегда казался особенно мил в этой маленькой чистой церкви, усыпанной песочком, утыканной от полу до потолка, по углам и по иконостасу свежими ветками, срезанными с рослых лип и берестов, посаженных его собственною рукою. В лучах света, прорывавшихся в распахнутые окна, празднично мелькали, кланяясь, черноволосые и русые головы, тихо и степенно мелькал в какой-то старенькой лиловой с разводами ризе сам отец Павладий, усердно кадя в лицо всякому и тихо повторяя молитвы. А козловатый дишкантик дьячка, благодушно ухмылявшегося на клиросе, мешался с песнями соловьев, гремевших с веток рощи, обступившей церковь. Были в церкви русские поселяне и многие колонисты. Последние красовались в своих особенных народных одеждах. Но вот что случилось на обедне. Неся святые дары на большом выносе, отец Павладий вышел из алтаря, читая внятно поминанья, медленно поднимал глаза, сперва было упершиеся в загорелый затылок дьячка, не успевшего отойти вправо, и увидел в двух шагах от себя Панчуковского. Сердце невольно у него екнуло. Он его здесь никак не ожидал увидеть. «Где же, однако, Оксана?» — без всякой причины подумал он, читая молитвы. Продолжая по-прежнему говорить поминанья, он повел глаза влево, как бы ища кого, и радостно остановился на преклоненной, перед выносом даров, своей воспитаннице, Оксане. Отец Павладий был так любезен, так в духе, что после службы пригласил многих к себе обедать, не забыл и Панчуковского ласковым словом. «А у меня от вас, полковник, был посол,— сказал он, простодушно хихикая,— кажется, господин Михайлов, студент на кондициях у купца Шутовкина, и я ему дал по вашему ручательству триста целковых-с».— «Очень благодарен».— «Не угодно ли же и вам ко мне закусить?» — «О нет, извините; я сейчас на три дня уезжаю на торги, за Дон; там степь отдается,— ее Шульцвейн хочет взять; ну, мы и поторгуемся».— «Вот

как!» — «Да пора же нам, русским, за ум взяться с немцами!»

«Ого! — думал отец Павладий, скидая рясу в алтаре и спеша к другим гостям, — даже с Шульцвейном тягается! Дока, туз! И отлично, что я пристроил под его ручательство часть деньжат! Это все то же, что наш Ротшильд!»

Гости пообедали и разъехались рано. Оксана прислуживала за столом. Отец Павладий, покушав, задернул занавески в спальне, заснул, встал, выпил квасу и уехал с дьячком, как собирался, за пчелами, в надежде принанять под них еще подвод на месте.

— Смотри же, Горпина, — говорил он, уезжая, — не бросайте так горниц; день праздничный, много народу к пруду за водой шатается; еще чего бы не украли.

— А мне, батюшка, можно за рощу к девушкам пойти, когда сойдутся к байраку песни петь? — спросила Оксана.

— Можно, только без Горпины не ходи. Ты знаешь, всякий народ по праздникам бывает. Я ее со свету за тебя сгоню!

И тележка отца Павладия запрыгала по кочковатой дорожке.

Пришел вечер. Заря разыгралась с невиданною роскошью. К байраку за водой сошлись и съехались для утреннего запаса гребцы и косари. Толпы разошлись по пригоркам; взялись за руки, стали песни петь. Девки стали в «хрещика», в «коршуна» играть, разбегаясь с звонкими песнями и с веселым хохотом. Дукаты блещут, ленты развеваются. Явилась и скрипка откуда-то. Пляс поднялся. Парни долго пока стояли в стороне, посмеиваясь и, по обычаю, громко хвастая разными разностями. Одни пасли тут же лошадей, сопровождающих всегда косарские партии, другие играли в карты, третьи в орлянку.

— У меня, братцы, семь целковых есть!

— Овва! Уж и семь; а у меня двадцать дома зарыто.

— Брешешь!

— Ей-богу!

— А по мне так три молодицы в Ростове убиваются... да я не жалаю!

Взрыв хохота.

— То, может, три свиньи, а не три молодицы! — кричат девки.

Хохот усиливается.

Хвастун, как говорится, «у серка очей позычает» (у волка глаз занимает) и не знает, куда деться от града насмешек. Шум, беготня обращают внимание на другое место. Ночь стемнела. Пары девок и парней расходятся по сторонам, по полю и к лесу. У пруда шалуны огонь было разложили и опять его потушили.

Тут произошло необыкновенное событие. Наутро заговорил о нем весь околоток.

Но надо воротиться несколько назад.

Утром в тот день перед обедней к Панчуковскому приехал купец Шутовкин.

— Я к вам, полковник, с просьбой! — сказал он. Это был грязный и жирный толстяк, с маленькими свиными глазками, с одышкой и с миллионным состоянием.

Шутовкин отерся и сел. На дворе было душно.

— Вы меня извините... Нападают на мои привычки товарищи, что я барином тут вволю живу, не скаредничаю... Вот у меня дети; я учителя при них держу, и отличного... Но ведь я вдовец... Понимаете?

— Так-с...

— Так помогите же мне, полковник, обделать одно дельце... Понимаете?

— Какое?

Купец засмеялся. Жирные глазки его слезились.

— Край здесь на женщин плохой; их нет здесь. Я давно, видите ли, ищу кого-нибудь взять к себе в подруги...

— Ну-с, что же... И с богом!

Купец крякнул и отер лицо.

— Здесь, видите, глушь, дрянь все народец; сплетни сейчас заводят, смеются... Я было решил дело попристойнее завести — за своею гувернанткою как-то приударил, к детям ее было нанял; так не поддалась. А теперь уж просто даже влюбился, наметил одну девочку. Вы человек холостой, поймете меня... Я решился увезти одну особу...

Панчуковский протянул гостю руку, но вместе с тем думал: кого же это он?

— Браво, Мосей Ильич! Кто же эта особа?

Толстяк оглянулся кругом и, сопя от одышки, прошептал, трепля по руке полковника:

— Одна тут колонистка есть, болгарка, девка просто ошеломительная... Что делать! Я уж и старух к ней подсылал, видите ли, подарки ей делал,— ничто не берет... Такая рослая-с, как кедр ливанский, всю душу изморила. Решился я ее просто живьем-с украсть; завезу ее на свой завод, или в город прежде, спрячу, и в недельку, авось, ее завербую совсем!

Шутовкин перевел дух. Пот валил с него в три ручья, а руки и губы его дрожали. Панчуковский чувствовал к нему отвращение, но слушал его усердно.

— Полковник,— сказал гость,— мы с вами коммерческие дела обделывали, помогите мне в этом! Я к вам обратился, как к доброму человеку. На людей своих мы положиться вполне не можем; у вас дворня дружная подобрана, да и они ничто перед вами. Я у вас навеки останусь в долгу. Помогите!

— Как же мы дело устроим, Мосей Ильич?

— Сегодня вечером у Святодуховки по поводу праздника, как я узнал, соберутся с окрестностей девки и парни; мы подъедем двумя тройками,— моя красавица тоже там будет... Ну, а уж самое дело покажет, как его порешить...

Полковник встал.

— Согласен, извольте. Абдулка, Самусь! — крикнул он в окно своим любимцам. И, запершись в кабинете, господа обдумали все, как надо.

— А полиция? — спросил Панчуковский.— Ведь эти болгары народ мстительный и злой, не то что наши: пойдут с ябедами. Станут искать пропавшую...

— Э, полковник! Какие вы пустяки, извините, говорите, а это зачем?

И Шутовкин потрепал себя по бумажнику. Боковой карман был туго набит.

Уже поздно, к ночи, парни и девки у святодуховской рощи затеяли прыгать через огни, как на Ивана Купалу. Священника не было дома, и некому было запретить это прыганье. Кто-то было поднял голос и сказал: «Что вы, озорники, делаете? Этого не позволяют и на Ивана, а вы теперь затеяли. Не вовремя такое дело, беду несет!» — «Своя воля!» — отозвались из толпы. Принесли парни и девки соломы, веток, бурьяну, разложили костерки от оврага к роще и стали с разбегу прыгать,

ухватясь руками и гадая: чьи руки разорвутся над огнем во время прыжка, тому в тот год не венчаться. Голоса стали звонче, шум и гам усиливались. Подошли новые парни, в том числе люди Панчуковского. «Э! с вами бегать — горе наживем!» — со смехом отнекивались девки от исканий полковницкого Абдулки и еще одного рыжего парня. Но на слова: «Сударыня-бояриня, пожалуйте ручку!» — руки подавались, как и другим. Нечего говорить, что в это же время, как знакомцы и незнакомцы потешались в виду подцерковной рощицы запретною игрой, поодаль к двум курганам впотьмах подъехали и стали у оврага коляска и телега. «Тише, тише!» — распоряжался с телеги, не вставая, толстяк Шутовкин. Часть его подобранной шайки смешалась с играющими, двое залегли на дороге в кустах, а Самусь, полковник и он сам ждали у лошадей. Полковник, слегка бледный от ожиданий, стоял, облокотясь о свою коляску, запряженную ухарскою скаковою четвернею, молча глядел в темный воздух, в ряд мелькавших огоньков и покручивал усы.

«Что-то нейдут, не слышно ничего! Как-то дело разыграется? — думал Панчуковский.— Утащить, схватить не шутка; да как уйти от погони? их ведь не шестеро там...»

Шутовкин только удушливо сопел и неподвижно с огромной телеги глядел вдаль, прислушиваясь к игравшим у огней. Лошади стояли, опустя уши, и только изредка вздрагивали, дремля и лениво переступая с ноги на ногу. Многое думалось полковнику. Он вспоминал щегольской Питер, изящную гвардию, товарищей, оперу, разные прочитанные романы, разных нежных барышень, в которых еще недавно влюблялся, и соображал, каким разбойничьим и смелым делом теперь ему пришлось заняться: чистый Стенька Разин или, по крайней мере, Казы Магома и Шамиль, укравшие Орбелиани и Чавчавадзе. «Эх, край! — думал он,— чистый эдем!» Не успел он раскинуться мыслями, как со стороны сторожи, лежавшей в кустах, раздались голоса: «Шш... бегут!» — и в то же время вдали у огней произошла какая-то сумятица и свалка.

Через минуту Шутовкин и Панчуковский услышали, как по полю, впотьмах, тяжело бежало несколько человек, то останавливаясь, то опять ускоряя шаги, как бы борясь с кем-то по дороге. Вбежав в кусты, эти лица ускорили бег, соединившись с засадою. Еще через секунду раздались и сдержанные крики: «Ой-ой! пусти-

те, пустите»,— и прямо к телеге плотоядно трепетавшего Мосея Ильича с размаху была притащена бившаяся белая фигура. Косы у нее были раскинуты, грудь распахнута, одежда изорвана.

— Душечка, душечка, перестань! перестань! — шептал Шутовкин, ловя ее с телеги впотьмах жадными дрожащими руками, и едва из сил выбившаяся прислуга свалила ее к нему в телегу, он закричал обезумевшим от радости голосом:

— Погоняй, валяй! гони вскачь! бей!

И оба экипажа шарахнули по предварительному условию в разные стороны. Развязанные колокольчики зазвенели и понеслись, то смолкая, то опять звеня и пропадая вдали. Они скакали без умолку, летя без дороги. Отскакав версты три, экипажи опять подвязали колокольчики и понеслись неслышно в темноте далее. Но среди их нежданно появился, как бы также по условию, какой-то верховой и полетел с колокольчиком в руках, звеня, в третью противоположную сторону. Он уже сбил слушавших окончательно.

Толпа играющих между тем едва могла опомниться от изумления. В конце вереницы уже погасавших огней произошла безумная суматоха. Пробежала молва, что какой-то парень, крепко ухватив за руку девку, потащил ее насильно. «Не дави, пусти, а то брошу!» — говорила она. «Не бросай, скачи, а то не повенчаемся, как разорвемся!» Она засмеялась и не вырвала руки. Пары побежали. Эти же двое вдруг отделились и побежали в сторону, в поле. Девушка все еще смеялась и отбивалась слегка. Но к ним прибежали еще двое. Они скрылись в темноте. Раздались крики: «Ой-ой! спасите, не пускайте!» Парни сбежались на то место. «Кого это кто подхватил?» — «Милованку, Милованку, девку из колонии!» — «Кто же это?» — «А бес его знает!» Оглянулись, стали перебирать меж собою, кто это недоброе такое затеял. Смотрят — знакомые всем полковницкие люди тут, и Абдулка между ними стоит и тоже мечется, будто ищет, кто бы это такое затеял. А крики все дальше и дальше по полю...

— На коней, братцы, на коней! — закричала толпа парней.— Где наши кони? в погоню за ними, отбивать! Бей их, бей! Как! наших девок красть! Бей... души их!..

Парни кинулись на пастбищный луг за лошадьми, поскакали верхами по звуку колокольчиков, а другие побежали пешком в стороны. «Садись и ты на ко-

ня!» — кто-то крикнул Абдулке. «У меня свой тут», — ответил тот и поскакал также. У него был за пазухой колокольчик. Влетев в степь, он вынул его, зазвенел им, повернул коня назад и сбил этим дружную погоню. Ему это было не впервые: закубанский татарин, он еще недавно набивал руку на подобных наездах.

Костры между тем стали потухать сами собой, девки разбежались первые.

— Пойдем и мы, тетка, скорее домой! вот страсти! — говорила напуганная Оксана тетке Горпине, между тем сильно подгулявшей с какими-то солдатами, тут же у пруда, и едва волочившей ноги.

— Ох, бабо! скорее, скорее пойдем! да нуте же, двигайтесь шибче! вот засиделись тут! а неравно батюшка приехал; что тогда нам будет? Скорее, скорее, скорее! вот страсти! я сама вся мертвая...

— И, моя кралечко, а так-таки ничего; сказано: повеселились, ну и все тут! — отвечала Горпина, сильно пошатываясь, при помощи Оксаны спускаясь в овраг и в рощу и беспрестанно спотыкаясь. Оксана ее поддерживала, пугливо к ней прижимаясь и в ужасе вглядываясь в темные, будто враждебные ей, ветви ракитника.

А в темноте теплой чудной ночи то там, то здесь носились какие-то шорохи, свист раздавался, топот конский звучал, крики издали проносились, и ни одна звездочка не освещала темной, непроглядной ночи. Байрак замолк. Зазвенел еще где-то за холмами колокольчик, зазвенел и опять затих. Молчала вся таинственная, обворожительная новороссийская ночь...

«Господи! выручат ли они ее?» — подумала, перекрестившись, Оксана. Плетень затрещал под ее рукою. Она перелезла во двор и отперла ворота.

Введя тетку Горпину в кухню, Оксана уложила ее тотчас спать. Сама она не решилась лечь, по летнему обычаю, на дворе, на крыльце, а тоже легла в кухне, заперла двери на замок, и, наскоро помолившись, свернулась, еще дрожа от неожиданных страхов, и стала думать: «Вот страсти, так страсти! Боже! Боже! где-то теперь мой Харько! И батюшки нашего до сих пор еще нету! Что это значит? Господи, спаси нас и помилуй!»...

Оба экипажа, верст за шесть, опять съехались. Продолжал скакать в противную сторону один Абдулка, сбив погоню парней.

— Поздравляю, Мосей Ильич! — сказал Панчуковский, доскакав до осиновой рощицы и выпрыгнув из коляски.

— Спасибо, Владимир Алексеич! — отвечал тот, протягивая впотьмах Панчуковскому толстую руку и ловя его за плечи.— Позвольте вас обнять! Эта роща, эти осинки останутся у меня навсегда памятны...

Похищенная колонистка сидела молча, тяжело дышала и не поднимала от колен лица. Она была связана вожжами.

— На завод! — крикнул кучеру Шутовкин.— Благодарю еще раз, полковник. Я у вас в долгу. Пошел!

— Будьте счастливы!

Тройка Шутовкина выбралась снова из лощинки в гору, от условленного места свидания, от осинок, и поскакала по пути к салотопенному заводу Мосея Ильича, бывшему от его собственного незаселенного поместья верстах в пятнадцати. Там Шутовкину предстояло среди уединенного, почти пустого летом, хутора, как новому рыцарю Теобальду, склонить или не склонить на свою сторону сердце похищенной им новой Элеоноры.

Панчуковский между тем стоял впотьмах, в раздумье, у осинок. «Завтра надо ехать на торги! — мыслил он,— все хлопоты и хлопоты, а счастье все как будто за горами! Где же оно? Где? Что, как бы теперь же и мою?..» И дух у него замер. Он прошелся раза два у коляски. Верный Самусь оправлял лошадей. Чужая удача охмелила полковника.

— Самусь!

— Чего угодно?

— Абдулки еще не слышно?

— Никак нет-с.

— А скоро будет сюда, как думаешь?

— Должно статься, скоро.

Панчуковский стал вслушиваться. «Да или нет? — думал он с тревогой в сердце, вдыхая нежный запах хлебов и трав и тихо похаживая возле коляски.— Ехать ли на торги, или и мне порешить теперь же, в эту ночь, с моею красавицей, задуманное, желанное, небывалое еще и не испытанное мною?.. Нет, это будет слишком дерзко! Я-то уж никак не уйду от преследования. Меня узнают, отыщут ее... А чудная, чудная девушка! Нет, нет... Еду на торги, отсюда же прямо еду... Ведь сорок верст».

— Самусь! — сказал он и не успел услышать ответа, как со стороны осинок из-за косогора послышался еще

отдаленный, а потом близкий топот лошади, бежавшей вскачь.

— Абдул-с Албазыч! — сказал Самуйлик,— это он-с...

Панчуковский выждал, встретил Абдулку, сел наземь, велел к себе ближе подойти Абдулке и Самуйлику и сказал:

— Так как же, ребята? А нашему делу разве пропадать, а?

— Нашему-то? — спросил Абдулка, стирая с лица пот.

— Да.

— Ну, нашему и подавно, ваше высокоблагородие, не следствует пропасть! Полагать должно, что и нам не приходится зевать.

Полковник достал из коляски припасенную флягу водки, дал кучеру и слуге по стакану, дал им закусить из собственного складня, выпил сам и закурил сигару. Лошадям дали вздохнуть, попасли их с час на траве. Полковник лег на разостланном коврике и думал: «Вот край! вот места, эта Новороссия! рассказать бы о них нашим питерским! О, какое раздолье во всем! Что за ночь, какие чудные таинственные романы она здесь покрывает?»

Панчуковский велел готовиться в путь. Лошадей опять запрягли. Он сел в коляску, а Абдулка поехал за ним верхом. Всю дорогу говорили они шепотом, ехали шагом.

Ночь между тем будто еще более стемнела. В первый раз уже прокричали петухи. Месяц в то время показывался только перед самым утром. На дворе отца Павладия все было спокойно. Тетка Горпина крепко спала в сенях кухни, оглашая их изредка храпом. Оксана нарочно ее положила спать на пороге, у выхода из сеней на крыльцо, а дитя Горпины положила в кухне. Самой Оксане долго не спалось, как она ни мостилась для этого. Уж она передумала с полкороба и о Харько и о том, что он обещался явиться вскоре после троицына дня. Перекидывала она в мыслях картины ожидаемой своей свадьбы: как она оденется, как пойдет в церковь, как на нее люди будут смотреть, а ей жутко, и весело, и страшно. «Что, как бы Левенчук пришел в эту самую ночь?..— неожиданно подумала она,— вот бы до смерти

обрадовал, и эти страхи прошли бы сейчас! Да что я, в самом деле, какая-таки я дура! Где ему теперь шляться по ночам; он на неводах...»

Оксана с этою мыслью повернулась к стене, сжала глаза и решилась окончательно заснуть, как в сенях скрипнула половица. «То, верно, тетка Горпина проснулась и ищет воды с похмелья напиться!» — решила она. Шаги опять раздались уже под окном, и после кто-то взялся за ручку двери, подумал, что она, верно, заперта снутри, и затих... «Левенчук!» — мысленно решила Оксана и быстро в восторге вскочила с постели. Ей стало вместе и страшно и радостно. Озноб пробежал по ее спине. Дыхание замерло. Она в одной рубашке подбежала к окну: как ни темно еще было на дворе, но в сумерках ей показалось, что какие-то две тени прошли по двору. Мысль о возвращении дьячка и отца Павладия, а потом вдруг о ворах мигом блеснула в ее голове. Как была, раздетая, она кинулась за печь, постояла, вся дрожа от испуга, а потом стала наскоро одеваться. «Что, как придут и зажгут огонь, а она раздетая! И кто бы это был? Как спокойно ходит по двору! Верно, батюшка, да сердитый приехал! Достанется и мне теперь!» Наскоро накинула она юбку, стала повязывать вкруг головы косы и в ужасе ахнула. Дверь быстро отворилась, и с зажженною восковою свечою в кухню вошли бледный и взволнованный Панчуковский и сияющий Абдулка. Оксана сразу не успела осознать всей опасности своего положения; но в первый же миг узнала и свечу, взятую у киота в комнатах отца Павладия, и вспомнила, что даже спички там на столике лежали. «А где же тетка Горпина?» — подумала она, глупо запахивая рубаху и прижавшись за притолок печи. Но свечу вошедшие сейчас задули, едва окинув глазами кухню.

— Что вам? — тихо спросила Оксана из-за угла печи, не зная в лицо пришедших и слыша, что они к ней идут.

Ее мигом впотьмах схватили две крепкие руки и стали вязать. Она крикнула сперва: «Тетка! тетка Горпина! — силясь отбиться, но вслед затем крикнула громче, по местному обычаю: — Кто в бога верует, рятуйте!» Недолго с нею боролись полковник и Абдулка. Они завязали ей рот, и стянули вожжою ей ноги и руки, и бережно, тихо перешагнув через тетку Горпину, понесли ее двором через плетень и церковною оградою и лощиной оврага вышли к пруду и к ро-

ще. «Это удивительно! — думал Панчуковский, неся Оксану и передавая ее Самуйлику,— как спокойно и беспрепятственно унесли мы эту драгоценность отца Павладия! И арбузов по ночам с бакши так счастливо не воруют тут ребятишки!»

— Вот же вам, ребята, пока по червонцу; а доставим до места, будет еще по два! — сказал полковник, уложив в коляску Оксану, и сам стал моститься к ней. Вопреки Шутовкину, дрожавшему при покраже своей красавицы, полковник был совершенно спокоен.

— А старуху, ваше высокоблагородие, ослобонить? — спросил Абдулка.

— Развяжи ее, освободи!

Абдулка сбегал обратно во двор отца Павладия, обошел снова все комнаты священника, поставил на место к киоту свечу, запер все двери, снял веревку с ног и с рук тетки Горпины, не чувствовавшей с похмелья ничего бывшего в ту ночь с нею, перешагнул опять через нее и снова побежал к коляске.

— Что ты так долго был там?

— Жаль было веревки; это, ваше высокоблагородие, на нее с новых постромок захватил!

Коляска, подхваченная быстрою четвернею, понеслась легче ветра. Теперь обычай полковника, ездить не иначе как вскачь, особенно пригодился.

— А мне куда? — спросил, провожая барина, Абдулка.

— Ты ступай домой. Да смотри, молчи обо всем!

— Слушаю-с, будьте спокойны.

История вышла громкая, но ее драма завершилась еще нежданным отступлением. Толпа подпивших у ракитника парней погналась, по слуху, за колокольчиками, отбивать похищенную колонистку. На дальнем перекрестке у мостка, над дрянною мочажинкою, поросшею вербами, парни наскочили на какого-то верхового. Крики: «Бей, бей! души их, лови!» — его испугали. Он притих на седле и вздумал было ускакать в сторону, от мостка к вербам. «А, сюда! вот он! держи его!» — заорала толпа, и пойманный ею верховой был стащен с лошади. «Кто ты? где она? где вы ее девали?» — горланили парни. Почтенный друг Вебера, арендатор Адам Адамыч Швабер (это был он) трухнул не на шутку. Он ехал также с

тайного свиданья, от одной молочанской вдовы из раскольников, бережно хранимой им от своей супруги и от всех, и теперь испугался вдвойне и того, что его окружила толпа пьяных, и того, что могли открыть его похождения. Он стал запираться, что ничего не знает и не видел.

— Да что его слушать! Бей его! Розог сюда, розог! — гаркнула пьяная толпа. С почтенного отца семейства стащили зеленую куртку, сбили с него шляпу, положили его на траву и всыпали ему сотню вербовых, да таких, что лучше бы и не вспоминать этого.

— Ну, теперь, дядюшка, ступай и не поминай нас лихом! Может, и не ты, а все-таки поделом!

Изумленный, огорченный и до смерти напуганный Швабер остался один, оделся, с трудом снова взлез на коня, едва добрался до своего домика, охая, вошел в комнаты и лег спать в кабинете вместо спальни. До утра он проплакал и мысленно ругался на все лады. Но событие той ночи он положил скрыть от всех и скрыл, как серьезный и честный немец.

Купец Шутовкин, поместив свою Дульцинею на салотопенном заводе, в пустой хате, под стражей двух верных слуг, до того забылся в своем счастье, что, несмотря на детей, стал к ней ездить явно, среди бела дня, проводя у ней целые сутки и дрожа над ее белым молодым телом, как ревнивый турок. Он забыл и детей своих и пересуды всего околотка. Скандал вышел в окружности общий, небывалый. Все костили грязного сластолюбца на чем свет стоял. Процеживали сквозь сотни сит каждую весточку о его переездах к ней, о том, как через какой-то неглубокий ручеек он по ночам пробирался к своей красавице, несмотря на собственную тучность, на особо устроенных ходулях; какие ей давал имена, как вел себя у нее. Это все уже мигом узнали пытливые умы. Только, как обо всем обычном, об этом также говорили недолго. Прошла молва, что болгары той колонии, откуда была эта девушка, ходили жаловаться в стан, а потом в суд; ходили и к самому купцу,—но кошелек точно произвел свое: угомонился и становой, и суд, и грозные обруселые болгары, и сама похищенная. Через три недели она свободно уселась в фургон Мосея Ильича и открыто переехала к нему в дом,

на новое диво всех новороссийских его соседей, детей и их учителя, студента Михайлова.

Зато с Оксаной была другая история. Оксана как в воду канула. Прискакали на другой день без памяти отец Павладий и дьячок; они все узнали еще дорогою и накинулись на дьячиху.

— Где Оксана?

— Не знаю; так и так, попритчилось.

Дьячок схватил старую Горпину за седые косы и стал бить ее и мотать по хате. Священник обезумел от горя.

— Что ж делать! Бейте, не бейте, а я не знаю; пропала моя душа!—стонала под жестокими ударами дьячиха Горпина.

— Да где же ты была, подлец баба? где была?—допытывал дьячок.

— Что же! напоили люди, солдаты какие-то у пруда... Я была с нею там, а после заснула в сенях, а тут и попритчилось.

— А! солдаты у пруда! Иди же сюда...—Дьяк запер жену в чулан, пытал, но ничего не открыл. Не мог ничего открыть и отец Павладий...

«Ту, положим, украл купец; а эту? Панчуковский? Так нет же; он еще с утра уехал за Дон».

Так думал священник.

И точно, самого Панчуковского во время пропажи Оксаны дома не было. Это знали все. Через три дня он воротился из-под Ростова, где его видели все, как он там был и спокойно торговался о степи. Шульцвейн уступил, Панчуковский надбавил большую цену и взял у владельцев степь себе.

Куда же помчалась коляска полковника в конце ночи, огласившей тихие и уединенные берега Мертвой двумя похищениями? Очень просто: Панчуковский увез свою пленницу на арендуемую им у одной донской помещицы землю, оставил ее там под надзором Самуйлика, а сам с другим батраком, сторожившим его уединенную пустку (хижинку между двумя овчарскими загонами и чабанской хатой), поспешил на торги. Оксана была спрятана за перегородкой. В ожидании барина, услужливый Лепорелло предлагал ей есть и пить, но она упорно от всего отказалась и ничком на кровати пролежала до вечера. Под вечер полковника обратно примчала бойкая четверня. За повозкой ехал и знакомый фургон Шульцвейна; но его хозяин сидел в коляске с Панчуков-

ским и с ним вошел в пустку, продолжая по-немецки разговор и спор о перебитой у него аренде. Оксана слышала все из-за перегородки и не решалась отозваться. Она считала гостя за приятеля своего похитителя и не знала, что этот самый гость первый ему когда-то сказал о ней и первый любовался воспитанницей отца Павладия. Посидел немного Шульцвейн, понюхал табачку, спросил еще раз со вздохом: «Так вы не отдадите мне этой степи и за отступное?» — получил отказ и взялся за шапку.

— Вы слышали, — спросил колонист, выходя на крыльцо и продолжая речь по-немецки, — вы слышали, — там на торгах, как вы уже ушли к хозяевам, приехал купчик с Мертвой и привез известие — странное известие — о покраже сегодняшнею ночью двух девушек, возле рощи вашего соседа, священника, и будто одна из похищенных та самая воспитанница священника, о которой я вам когда-то, помните, говорил?

— Нет, не слыхал! — ответил полковник, бережно запирая за собою двери.

— Жаль, — сказал, уезжая, Шульцвейн, — таких господ — это, наверное, наши помещики либо офицеры-горожане, — их бы давно пора остановить... Это скверно, подло! Прощайте! Напишите мне, кто это.

— Прощайте! с удовольствием!

Колонист уехал. Панчуковский отослал людей на овчарню, вышел, осмотрел кругом свою пустку, вошел туда обратно, запер за собою двери, постоял в сенях и тихо ступил за перегородку. Оксана сидела, опустя голову на связанные руки.

Между тем пора, назначенная Левенчуком для последнего выкупа Оксаны, давно прошла. Отец Павладий ходил по комнате, заложа назад руки, выглядывал в степь, подходил к байраку, к пруду: «Вот здесь она белье мыла, тут часто шила, птицу стерегла. Ах, подлец же, подлец Панчуковский! что выкинул! Это он, он! больше некому. Зверь-кровопийца, и по-звериному запропастил ее без следа!» — так думал отец Павладий, и сердце уже не манило его по обычаю пойти запереться в спальне, перебирать и считать депозитки новых барышей. Зато же он наседал на литературу. По целым дням читал новые московские и петербургские журналы, а на книгу «Сельское духовенство в России» стал даже разбор

писать, охая, сопя и не зная, где лучше выбрать студеное местечко в доме для работы. А кругом наступала последняя знойная, душная пора уборки хлебов.

Раз привез попу дьячок из города почту. Он кинулся прежде на газеты, единственную роскошь своего пустынного и глухого степного быта.

— Боже, опять публикация о беглых! Эк их сколько! Когда-то этому конец будет?

И он стал читать, наскоро разрывая пакеты херсонских, таврических, донских и прочих местных ведомостей.

— Послушай, Фендрихов,— говорил он дьячку, степенно стоявшему у дверей,— вот что пишут. Дай-ка платок носовой... Да трубочку набей... за табаком надо съездить... Слушай, вон в таврических пишут: «Оное же правление извещает, бежал в третий раз, четыре года назад, Макарославской губернии, Южнобайрацкого уезда, дворовый человек помещика Студныченко, Василий Милороденко, он же по прозвищам в бегах: Александр Дамский и Аксен Шкатулкин. Бежал он, обвиняемый в сообществе с нахичеванскими армянами, делавшими фальшивые ассигнации, и в подделке для придонских пристаней, беглым же людям всякого звания, паспортов. Приметы ему: нос, рот, подбородок и уши умеренные, глаза карие, волосы и усы темно-русые. Особых примет не имеется. Говорит хорошо по-русски, веселого нрава, вежлив и выдает себя иногда за человека высшего круга; более нанимается в лакеи и в приказчики, а в часы загула ходит по шинкам и сборищам с бубном, играя на нем за деньги. Почему оное правление, ведя дело о паспортах и фальшивых ассигнациях, нашедшему или указавшему его, обещает дать приличное вознаграждение и покорнейше просит все подлежащие присутственные места не оставить...» и проч.

— А? Фендрихов! слышишь?

— Слышу-с, ваше преподобие! Подло-с.

— Ведь это тот самый Милороденко, друг Левенчука, что и у нас на подцерковной два года назад косил? Как ты думаешь?

— Тот-с; я его еще с двора прогнал тогда: к нашей Оксане еще, безобразный человек, тогда подбирался, ваше преподобие...

— Эх, Оксана, Оксана!.. Да ты слышишь—фальшивые ассигнации делал и паспорты... А это ведь каторгой пахнет! А кажется, и хороший человек. Повторяю тебе, Левенчук ему еще и приятель; он сказывал, что этот Милороденко на дворянке будто был где-то женат... Да где-то, Фендрихов, и Левенчук теперь?

Дьячок вздохнул.

— Да-с, срок-с подходит! на днях, полагать должно, он вынырнет где-нибудь, Оксану потребует либо деньги, выкуп назад.

— Что деньги! Не в деньгах дело! не их, братец ты мой, жаль! Жаль парня; хороший человек! Ведь голову потеряет, руки на себя наложит, узнал уж я его, что за человек! Как он надежды эти строил—поселиться за Кубанью или в Бессарабии хотел, а уж Оксану-то любил он, любил... Подло, Фендрихов, Панчуковский поступил! Не убоялся таганрогской истории!

— Подло-с; распреподлеющий и развратный человек, и только-с. Сказано, смерд собачий, а не люд божий! Я бы ему голодному в голод али прозябшему в мороз, в метель, хлеба, места теплого не дал, я бы ему больному...

В это время в сенях скрипнули двери. Дьячок насторожил уши, шмыгнул туда, посмотрел, вошел в сени, поговорил с кем-то и явился в комнату смущенный.

— Ваше преподобие! там от этого самого Панчуковского-с, от полковника приехали!—И такова сила богатого человека в свете: как ни бранили полковника эти люди, а появился простой посланный от него, и они потерялись.

Отец Павладий засуетился, оправился, даже прежде надел подрясник и вышел к приехавшему. Сначала он смешался, увидя, что это лакей.

— Что тебе, любезный?—спросил радушно отец Павладий, не поднимая глаз на посланного.

— Полковник прислали просить газет, что вы получаете, на день только, говорят, от скуки почитать!—ответил Абдулка (это был он).

Священник задумался. «Странно!—подумал он,—до сих пор ни разу не просил, или он прикидывается, чтоб показать, что совесть чиста, или, в самом деле, не он украл Оксану? Так где же она и кто ее украл?..»

Он вынул платок, сам не зная для чего, повертел его, высморкался.

— Так ты говоришь, что ему нужны газеты?

— Точно так-с.

Отвечая это, Абдулка бойко поглядывал по сторонам, как бы обнюхивая, в каком положении находятся стены здесь с тех пор, как он тут свободно ходил и ставил обратно свечку.

Священник вертел в руках платок.

— Это ему читать?

— Читать-с.

— Стало, он дома? Это скучает он, значит?

— Дома-с.

— Он что делает?

— Известное дело, барин! Больше пишут-с, лежат на диване или приказы отдают, либо курят... У нас тоже гости бывают.

— Кто же?

— Господа Небольцевы, немец Шульцвейн опять насчет степи наезжал...

— А он ездит куда?

— Как не ездить! В поле ездят на работу; так куда-нибудь, в гости...

Священник обратился к дьячку, у которого рот, с приездом Абдулки, как открылся, так и остался.

— Газеты, Фендрихов, на столе лежат?

— На столе.

— Все там лежат?

— Все.

— Ну, так ты ему это дай; а ты, видишь ли, любезный, полковнику кланяйся и скажи ему от меня... слышишь? от меня скажи: очень рад, да чтоб только листочков там не помяли.

— Будьте покойны-с.

— А косари по чем? — нежданно и уже без всякой причины брякнул старик.

— По трехрублевику-с в день и по порции.

— Ай, батюшки! вот ломят! Ну, да я по трехрублевику не достану, где нам!

Посланный уехал. Священник вошел в комнату, стал перед дьячком, отер крупный пот с лица и расставил руки, а потом ударил себя по лбу:

— Вот опростоволосился! И чего я так его почтил? Что, брат Фендрихов, а? Каков тузище?..

Дьячок махнул рукой и зарычал:

— Голодному ли, в мороз ли, больному ли, а я бы ему отказал! Развратник, антихрист! Это он, другому неко-

му, я уж знаю! Эк! анафема! И еще за газетами к нам же... Тьфу! и сраму им нет.

Газеты полковнику отвезены, но он их бросил, не читав, и, следовательно, не имев случая узнать, кого разыскивают из новых беглых, за чем он прежде всегда следил, между прочим. Когда священник получил обратно газеты, он заметил, что полковник их вовсе не читал. Они были в том же положении, как сложил он их, отправляя.

«Странно! — подумал священник,— так и есть, он их брал, чтоб только вид показать, что его совесть против меня чиста. Но с беглыми как бы он теперь не попался...»

VIII

Пленница

Между тем, как Мосей Ильич Шутовкин, поручив своих детей Михайлову, с незапамятным порывом отдался поздним опытам любви и плотоядно увеселялся в компании своей красавицы, а Михайлов, предоставляя малым птенцам клевать не одни зерна науки, но и всякие другие зерна, благодушно аферировал с мелкими окрестными торгашами,— в это время буквально никто в околотке не знал, куда делась вторая красавица. Таковы уже степи. Кто украл, догадывались сначала немногие; но потом и эти бросили свои догадки и почти перестали вовсе судить о них. Да и не к тому повернулись в ту пору общие толки и мысли. В это время подходила жатва пшеницы; пшеница начинала уже осыпаться, все хватались за серпы и косы, а между тем носились тревожные слухи о саранче, что будто где-то, не то с Дону, не то из Крыма, она летела и близилась. С трепетом поглядывал Панчуковский на свой громадный рисковый тысячедесятинный посев пшеницы. Он частенько показывался на балконе верхнего яруса своего дома и, куря душистую кабанас или фуэнтес, всматривался в далеко волнующиеся сухим шорохом хлебные нивы.

— По чем у вас в конторе объявлена цена за съемку десятины пшеницы? — подобострастно спрашивали полковника мелкие соседи его, из небогатых дворянчиков.

— Дорого-с,— говорил, надменно подшучивая, новороссийский янки,— по девяти целковых за десятину,

скосить только и сложить в копны! Осточертела мне совсем эта пшеница своими анафемскими расходами!

— А! по девяти целковых за одно это? вот сказать бы это в Питере!

Соседи ухмылялись улыбочками голодных собак, но втайне трепетали, что им надо будет тоже платить.

Но где же Оксана? Куда запрятал ее Панчуковский с той поры, как ее завез было на свой хутор, под Ростовом? Никто этого не знал и не ведал.

Знали соседи, что точно полковник ездил в день пропажи Оксаны на торги, был там с Шульцвейном и через три дня воротился. Стал он потом ездить всюду, по-прежнему, разговорчивый, степенный, веселый и вместе серьезный, пленяя всех своим нарядом, обращением, прической и даже щегольскими ногтями. Глянет, по отъезде его, на свои лапищи и на навозоподобные ногти какой-нибудь Вебер или Швабер, или сосед-плантатор из русских же, рассмеется и плюнет на пол, не метенный уже две недели по поводу полевых работ.

— И когда у этих господ,—замечает иной из них,—времени станет еще на такое продовольствие ручек и ногтей! Тут некогда иной раз головы вычесать, бороды побрить; рубаху одну по неделям в степи таскаешь, так что после жена и в спальню к себе не подпускает! А он? Это непостижимо! и дела как будто идут еще лучше нашего! Вон и Шульцвейна, говорят, осилил... непостижимо!

«Сказать бы опять, что полковник, если бы похитил точно девушку,—думали иногда соседи,—то ворота бы затворял в свое жилище, а то нет: всякий входит туда и выходит оттуда свободно!»

Стены действительно были высоко выведены, не влезешь без порядочной лестницы на них ни снутри, ни снаружи. На воротах висели огромные замки. Снутри они еще запирались прежде на ночь на железные засовы, а теперь стояли постоянно настежь. В кухонный флигель, единственное здание, кроме конюшни, внутри главного двора (остальные здания: рабочие, кузница, овчарни, скотные сараи и ток были за двором в полуверсте), также всем позволялось ходить. В самом доме, наконец, внизу и вверху, окна были, как всегда, не закрыты ставнями. В нижних окнах, под полуопущенными белыми жалюзи, отороченными алыми фестонами, часто показывалась красивая русая голова владельца. Слуга, повар, кучер и приказчики отдельных частей,

являясь из кухни и из задворных строений, так же свободно входили в дом за приказаниями и по делам домашнего обихода. Однажды только в это время полковника сильно огорчили некоторым громовым известием. На степь, перебитую им для своих овечьих стад у Шульцвейна на торгах, налетела с Кубани саранча и в два дня съела все камыши и травы. «Оборвалось!—сказал Панчуковский,—ну, да зато же немца в пыль стоптал!» И стада, вышедшие было из его хуторов на новые приволья, возвратились снова назад. Зато домашнее счастье выкупало теперь всякие потери, да и ожидался сбор с баснословного в крае посева пшеницы. «Сто тысяч дохода за глаза!—думал полковник,—за глаза!» Часто под вечер, высунувшись из окна кабинета в тень на воздух, когда солнце уже переливалось за другую часть красивого двухэтажного дома, кидал он на двор просо и кормил из своих рук голландок, кохинхинок, хохлатых разнородных кур собственного завода или сманивал к крыльцу, швыряя гарнцем крупы, целые стаи голубей, водившихся на крыше каменной конюшни. Голуби кружились, садились по двору стадами или, насытившись у крылечка, вились над большими тополями, осенявшими дом до верхушек окон второго этажа, полузакрытого ими. Ходила возле кур и голубей, ухмыляясь в счастье и в гордости хозяйки, одна подслеповатая батрачка, шестидесятилетняя добродушная карга, Домаха, также из беглых. В бегах она пребывала уже более сорока лет, мыкалась во многих местах и была рада, что сперва пристроилась в Новой Диканьке кухаркою нанятых рабочих, потом коровницей и, наконец, птичницей. Домаха была совершенно седая и даже с седыми кустоватыми бровями, отменно шедшими к ее темно-оливковому, южному морщинистому лицу. Она постоянно где-нибудь смиренно копалась, отличалась мягкостью нрава и голоса, исполняла молча все, что ей давали, заменяла и огородницу, и водоноса, и дворника. Хотя теперь у полковника во дворе, в отличных деревянных конурах содержались на цепи два злейших цербера, но полковник, поглядывая иногда на них и на Домаху, шутливо думал: «Нельзя ли уволить и собак, и их должность также поручить Домахе? Она, верно, и лаяла бы с усердием по ночам!»

Итак, следов пребывания Оксаны у Панчуковского не оказывалось.

— У! проклятое бурлачье! оно горой за него стоит! — говорили мелкие соседи, изредка еще толкуя о лихой дворне полковника,— точно вертеп Синей Бороды! Что попадет туда, пиши пропало: как в воду канет. То пробавлялся захожими по воле красавицами, из окольных, а тут уж, как черкес, воровать живьем стал... Шутовкин тоже украл, да не прячется; а этот еще хитрит!

Являлись даже нарочитые соглядатаи к полковнику. Приезжали, между прочим, брат Небольцев, естественная дрянь, сплетник, слабохарактерный подслеповатый игрок и гаденький мот, в долгах, как в паутине, с целью будто бы купить браковых овец у полковника, а собственно поглазеть и понюхать, не спрятана ли где-нибудь в Новой Диканьке похищенная воспитанница отца Павладия. Его приняли очень сухо, но вежливо, и он уехал, ничего не открыв. Являлись в Новую Диканьку, будто мимоездом, из Святодухова Кута и дьячок и сам отец Павладий. Даже губернатор, говорят, прислал полковнику при энергической ноте, для сведения и ответа, безыменный донос о передержательстве беглых крестьянок и «неизвестно куда пропавшей воспитанницы священника Павладия Поморского». Панчуковский мастер был отписываться; ответил губернатору резко и умно, а вместе с тем частно послал исправнику три ящика отличных дорогих сигар. Но не мог полковник не обидеться на выходки соседей из более порядочного круга.

— Господа, довольно! — говорил он в одной компании, играя в банк третьи сутки,— всякая шутка должна иметь свой конец. Я прошу вас больше не упоминать при мне об этой истории. Она обижает и меня, и мой чин, и мое положение в свете. Я уже вышел из поры дюжинного волокитства... Я, господа, не черкес и не юнкер, а Владимир Алексеевич Панчуковский!

Если бы кто захотел, однако же, подлинно узнать о судьбе Оксаны, тому стоило только обратиться с вопросами к старому «чабану» на арендном хуторе полковника. В день, когда Панчуковский, проводив после торгов с хутора колониста, вошел за перегородку своей пустки, чабан к вечеру услышал невыразимые крики. Чей-то сперва сильный и громкий, потом тихий и слабый голос молил о пощаде...

Старый чабан, больной и дряхлый человек, а некогда музыкант, вторая скрипка какого-то князя, из беглых, собирался уже богу молиться после ужина и ложиться спать, как, наконец, обратил внимание на эти крики. Он вышел из своей хаты, постоял, послушал, и давно замершее сердце с силой застучало в его груди. Он сходил к овцам, воротился, крики стали смолкать. Кучер барина и другой батрак, наделенные, по обещанию, суммой на выпивку, весело ушли в овраг с квартою водки, привезенной с торгов. Старик стоял один. «Не мне, видно, старому забродчику,—подумал он,—не мне одному не было счастья на свете! То еще чья-то доля пропадает, коли не пропала!» Сел, уронил седую голову на колени и заплакал. А ночь была так же восхитительна, и по-прежнему чудные, таинственные, обворожительные шорохи носились в воздухе окольных степей...

К ночи крики и голоса в пустке смолкли. А наутро полковник вышел веселый, как-то богатырски-смелый, дал ближайшей прислуге опять на магарыч, Самуйлика оставил, а с батраком уехал. Немного погодя наехал в эту неответную глушь, четверней в карете, будто барина привез, один Абдулка, побыл тут часа с три и к вечеру выехал. В карете окна были завешены. Чабан это видел с поля. «Не наше дело!—думал он,—не наше!» И тихо допасал свое стадо, тыкая палкою в траву, и, соображая, повторял, по обычаю, со скуки, счет прожитых им горемычных годов.

Полковник отлично устроился. Пленница его долго не смирялась, но потом, так же как и все на свете, смирилась. Кого не проберет железный коготь неволи и заточения? Ее поместили в уединенной комнатке дома Новой Диканьки, на мезонине. Разумеется, за нею ходила баба Домаха, и как кормила собак на привязи и кур по двору, с таким же молчаливым добродушием хлопотала она и возле убивавшейся господской пленницы.

— Что ты, мое сердце, стонешь все? глянь: вон тебе ленты новые купили, кофту суконную, юбки пошили! Чего плакать? И-и! в наши годы мы не то сносили!—говорила иной раз Домаха, взбираясь на вышку к Оксане.

— Душно, бабо! нельзя тут быть под этою крышею! От железа пар такой, духота как в бане,—и это с утра до ночи, целую ночь мечешься! Хоть бы посвежее...

— Так зачем же ты противишься, неласкова к нему? Тебя и держит под замком. А то пошла бы себе уточкою по свободе.

Оксана отмалчивалась и только плакала.

— Да вы, бабо, хоть окошко мне отворите!

— Слуховое? Другого нет.

— Да хоть слуховое, для воздуху.

— Эге! А как выскочишь с крыши да сдуру еще расшибешься? На то оно и забито у нас железом, тут прежде панская казна, сказывают, была. Около двери и сундук стоял.

— Куда мне разбиваться и скакать с крыши! Пропала уж теперь совсем моя голова; куда мне идти? все от меня откажутся; и то я была сирота, а теперь чем стала?

Домаха качала головой.

— Сердце мое, сердце, одумайся! На что оно-то, что ты говоришь! Пан у нас добрый; побудь с ним годок-другой, он тебя в золото оденет. Вон и я была молода, наш барин сперва меня было отличил, а там и до дочек моих добрался. Так что ж? Поплакала, да и замолчала! Сказано, переможется...

— А зачем же вы, бабо, бежали да уж столько лет тут мыкаетесь в бурлаках, на чужбине?

— Э! про то уж я знаю!.. Видишь, сердце, скажу я тебе, пожалуй: я пана нашего любила и во всем ему была покорна; да пани наша старая меня допекла, как помер он,—от нее я и бежала... Я и бежала, сердце!

— Бабо, бабо! жгите меня лучше на угольях, ставьте на стекла битые, только дайте мне домой воротиться,—дайте там с горя моего помереть!

— Да ты же сирота, беглая, Оксана! куда тебе идти?

— Я про то уж знаю, бабо! Попросите барина, чтоб пустил меня; будет уж мне тут мучиться... будет!

— Не можно, Оксана, не можно, и пустые ты речи говоришь! а когда хочешь, вот тебе нитки и иголки, шей себе рубашки, ишь какого холста барин купил! голландского...

Домаха еще постояла, покачала головой и тихо ушла, недоумевая, как это, среди такой холи и роскоши, такая непокорность. Оксана плакала и, пока было светло, принималась без всякого сознания шить, что ей давали. Она, ноя от тоски, думала о священнике, о привольной роще, о ракитнике; дитя Горпины мысленно качала... А Левенчук?

Перед захождением солнца Домаха несла ей ужинать всяких яств и питий вволю. Ничего не ела Оксана. «Левенчук, Левенчук! где ты?» — шептала она... Сумерки сгущались, месяц вырезывался перед слуховым окном, ступеньки по лестнице наверх скрипели под знакомыми шагами, и дверь в вышку Оксаны отворялась... «Это он! — подумает Оксана, задрожав всем телом, и кинется в угол каморки. Как бы хотела она в ту минуту нож в руках держать!..

Несмотря на темноту, легко, однако, отыскивается и ее угол и она сама. Глухая и пустынная окрестная степь и темная-темная ночь не слышат ничего, что делается и кроется в этом каменном доме, за этою высокою оградой.

К рассвету Владимир Алексеевич выходил опять на площадку лестницы, будил ногой спавшую у порога заветных дверей верную дуэнью Домаху, приказывал ей пуще глаза беречь пленницу и сходил вниз. Внизу же иногда его покорно ждали те же услужливые Лепорелло: Абдулка или Самуйлик. «Ну,—думает Домаха,—барин теперь остепенился — одну знает!» А Владимир Алексеевич, нередко в ту же ночь до утра, скакал с ними верхом на другое свиданье, в какой-нибудь уединенный казацкий или колонистский хутор, где ожидали его новые, путем долгих исканий купленные ласки чернобровой Катри, Одарки или голубоокой немецкой Каролинхен. Оксана не знала, что и прибрать в голову, когда он уходил от нее. Только сердце усиленно билось в ее груди, как у перепела, нежданно перемещенного с привольных диких нив, из пахучих гречих или прос в тесную плетеную клетку: сколько ни мечись, сколько ни стукай в сети глупою разбитою головою, не вырвешься, не порхнешь опять на вольную волю!

Были последние дни июля.

День клонился к вечеру. По полю без оглядки и без дороги спешил куда-то напрямик рослый, дюжий, загорелый и страшно запыленный парень в синем мещанском жилете, в новой черной свитке и в серой барашковой шапке. Он изредка останавливался у косарских артелей, подходил, что-то порывисто спрашивал и поспешно уходил снова далее. При повороте на Святодухов Кут он остановился, как бы в раздумье, идти ли туда, или взять в сторону? Пошел было мимо, но

одумался, махнул рукой и своротил опять туда. Отец Павладий столкнулся с ним у церковной ограды, идя зачем-то с ключами в церковь.

— Левенчук! Откуда?

— Я, батюшка...

Священник опомнился и более не спрашивал! Он молча пошел обратно в дом. Левенчук пошел за ним.

— Ну, вижу я,— начал, запыхавшись, священник, сев дома на крыльцо,— вижу, что ты, Харько, все знаешь!

— Знаю, батюшка!

— Где же ты это так долго был?

— Болен был, на пристани; чуть не умер.

— Да, ты похудел!..

В эти четыре долгие недели Левенчук точно похудел, но в то же время возмужал, будто вырос еще более и, загорев и закрасневшись от дороги, похорошел. Волосы скобкой, стриженые усы стали виднее: молодец молодцом.

— Что это в котомке у тебя? Где это ты так принарядился?

— Это подарки невесте и вам, батюшка! Да и как было не нарядиться, дожидаясь такого дня? Работы было вдоволь на пристанях, и выкуп готов — да невеста, должно статься, не готова, батюшка! А я-то и хатку уж себе сторговал на Поморье, тихим трудом замыслил жить с нею...

Священник замотал головою, всхлипывая и смотря на Харько в испуге и в смущении.

— Убью, батюшка! — сказал неожиданно Левенчук, ударивши котомкой оземь,— убью его, зарежу, как собаку!

Глаза его сверкали. Лицо побелело.

— А потом что будет? — спросил священник, сам не зная, что отвечать на эту угрозу.

— Что вам, батюшка, каяться, как на духу? — спросил в свой черед Левенчук.

— Говори, как на духу!

— Ну, я подожгу полковника, запалю его со всех концов: клуню, овчарню, все зажгу, убью его и на себя руки наложу. Вот что!

Священник прошелся по комнате.

— Ах ты, душегуб, душегуб, Харько!

— Я-то душегуб? Нет, не я, а он! Да что мне теперь, ну? Думал, в бегах счастье найду... И тут его прежде нас, дураков, забрали! Дураки мы,— вот что, батюшка! Пра-

во, дураки. Теперь я уж понял! Не то нам следует делать,—вот что!

Священник встал, взял за полу Левенчука, повел его в спальню, разложил святой покров на столе, под образами, раскрыл на нем евангелие и сказал:

— Беру с тебя присягу, Харитон: поклянись мне, что ничего того не сделаешь, на что повернулся нечестивый твой язык! Клянись, Харько! Я этого не попущу!

— Не буду я клясться, батюшка! Не буду!

— Клянись, Харько, клянись, скорее, дурацкая твоя душа, а то донесу! ей-богу, донесу!

— Доносите, доносите! А мы на вас надеялись, как на отца родного; вы же нам, несчастным, беглым, советы давали, укрывали нас, кормили и обнадеживали нас...

— Я-то? Ах ты, глупец, дурак Харько! Когда я беглых держал? Да нет, ты не уйдешь от меня! Клянись, Харько! ты не понимаешь, что говоришь! Клянись!—повторял священник Левенчуку, указывая на святую книгу, и сам между тем трухнув не на шутку.—Давай присягу, а то свяжу тебя и донесу...

Левенчук подошел.

— Так слушайте же, батюшка: вот что будет теперь. Бежал я с неводом от моря, как весть о пропаже Оксаны дошла туда с людьми. Поверите ли—все жалели, как я опрометью побежал оттуда! По пути, на перекрестках, на мостах, у переправ, везде жалели. Народ зашумел, грозится, волнуется,—так мне ли терпеть? Два дня я бежал, да вчера без души и упал в какой-то лощинке. Чабаны веберовские меня нашли, в корчму перенесли. Меня оттирали, кровь бросил один жидок... Вон рука моя еще и теперь перевязана; истомился я, а все-таки добежал до Ананьевки, а после до Андросовки. «Что, спрашиваю у людей, правда ли это?»—«Правда, отвечают, и все жалеют и там да на полковника указуют,—что греха не хотим брать на душу, некому больше! Это уж как змей лютый, как волк; кто попадет, съест наверно!» Так-то, батюшка, говорят про него люди.

Священник смотрел на него исподлобья. Он его и жалел, вместе и боялся.

— Так я уж, батюшка, вот теперь как надумал: пойду его просить: может, я его умолю, а может, не умолю, в ногах валяться буду! Не даст—не гневайтесь, батюшка... зарок свой я порешу...

Слезы бежали на подстриженные усы Харько.

Губы его тихо вздрагивали. Глаза тоскливо следили за священником. Священника передернуло, он взглянул в окно, закрыл книгу и сказал:

— Ну, коли так, так с богом; я надеюсь, что полковник отдаст тебе Оксану. Нет у меня тебе благословения на злое дело; пожалей и меня, мои старые-то годы! А я сам буду писать Панчуковскому... Авось он отдаст Оксану. Да берегись только! Видишь, вон, твоего же приятеля Милороденко отыскивают, не уцелеть ему — в каторгу сошлют, проклеймят, а все за его проделки! Вон и приметы его уже опубликованы. Так и с тобой тоже будет; берегись!

Священник сел, надел очки, с трудом написал письмо, открыл сундук, достал оттуда деньги и, заметя, что в комнате стояли уже в слезах дьячок и старая дьячиха, сказал:

— Вот тебе, Левенчук, это письмо; а вот и твои деньги; я грешен, я позарился на выкуп и задержал твое дело. Ну, да бог тебя благословит; достанешь ее — веди, обвенчаю и так; не достанешь ее — не хочу твоего добра! Фендрихов, эти деньги вычеркни из книги той, знаешь? Им уже у нас не быть, на церковь-то...

— Где быть, ваше преподобие! Деньги несчастные!

Левенчук торжественно поклонился в ноги попу, даже поклонился и дьячку с дьячихой, вышел за двери, и не успела взволнованная компания выбежать на косогор, где так часто Оксана выжидала с поморья Левенчука, как и след Харько пропал.

— Что будет, то будет! — решил священник, возвращаясь домой.

— Ничего не будет, чувствую! — отвечал, всхлипывая, дьячок.

Дьячок ревмя плакал.

Шел Левенчук час-другой! солнце уже начинало садиться. Туман пошел яром. Вышел он на косогор и ударил себя в голову: «И тут не везет, треклятая доля. С дороги, на семи шагах сбился! Где же это я?» И он стал смотреть.

Стемнело. Дикие гуси вверху неслись к западу, чуть шелестя над его головою. Семья дроф, вспугнутых с ночлега, поднялась во ста шагах от него и побежала в сторону, мелькая между бурьянами. Ночные кузнечики трещали. Звезды зажигались. А в полуверсте огонек кто-то на ночь стал разводить...

Пошел Левенчук на огонек. Подходит: купеческая телега с товарами стоит; два купца на бурке лежат.

Лошади овес с оглобель из мешка едят, котелок каши варится на таганке. Поздоровался Левенчук с купцами, подсел к ним. Видят те, что он все вздыхает; выспрашивать стали. Рассказал все Левенчук, как от своей барыни бежал, как тут жил, как девку полюбил, и кто она такая, и как ее отца зарезали. Купцы переглянулись, стали живее его слушать. «Ну-ну, говори, миленький!» Все передал Левенчук об Оксане, что слышал от нее самой и от других, в том числе еще и от Милороденко, когда он впервые шел в эти места. «Куда же дели того зарезанного?» — спросил старший из купцов. «В Таганрог отвезли; там он и умер, полагать должно». Помолчали купцы, расспросили еще об Оксане, жалели о ней до крайности, советовали Харько обождать, не горячиться с хлопотами о ее спасении, направляли Левенчука с жалобой в суд и к градоначальнику и, наконец, посадив его силою с собою ужинать, объявили, что они сами торговцы, часто бывающие в азовских городах, торговали когда-то в Таганроге и в Севастополе, а теперь торгуют в Моршанске и что, если бы когда-нибудь Левенчук захотел бросить здешнюю бродячую жизнь, они ему предлагают место. «Дарма, что ты беглый! видим мы, что ты за человек; отпиши только, и мы тебя вызовем. А писать так-то и туда-то. Да коли женишься на Аксютке-то, то и с хозяйкою своею приезжай! — заключили купцы.— А как твоего грабителя прозывают?» — «Панчуковский».— «Уж не он ли? — сказал один из купцов.— Верно, он и есть, барыня его у нас в городе чуть ли не проживает...»

Усталый и истерзанный душою донельзя, Левенчук заснул под телегою, а купцы, долго еще лежа у костерка, поодаль от него и от своего возницы, толковали промеж собою, все повторяя: «Он и есть; некому больше! Скажем его барыне, а то она, сердечная, сколько лет его разыскивает»...

IX

Беглые расшалились

Рано до света Харько вскочил, оглянулся. Купцов уже не было. Перекрестившись три раза на восход солнца, он сообразил свою дорогу и пошел по росистым еще сумеркам.

Щегольской домик Новой Диканьки вырезался перед ним, когда солнце стало уже всходить из-за красных кирпичных овчарен полковника.

Левенчук подошел к первой овчарне. Оттуда только что вышли овцы. Не найдя тут пастухов, он пошел к батрацким хатам. Из батраков кто умывался тут на дворе, кто богу молился у своего крыльца, земно кланяясь, а кто вел волов на водопой.

— Пан дома?

— Дома. А что тебе?

— В косари не нужно ли?

— А чего ж ты без косы?

— Бурлака, братцы!

— Так! Ну, иди же до конторщика. Там сегодня расчет за эту неделю.

«Воскресенье сегодня! а я и забыл!»—подумал Левенчук.

— Шинок у вас есть?—спросил он, усиливаясь быть развязным и веселым.

— Э, да, ты, я вижу, хороший человек! Не угостишь ли?

— Можно. Где же тут у вас водка?

— Пойдем, пойдем!—ответил батрак,—откупщик тут всегда на косовичное время выставку становит. Он приятель барину! Вот и шинок наш!

Левенчук вошел в хатенку, где была временная выставка водки и где полковник обратно собирал по субботам большую часть денег, платимых рабочим в течение недели. Харько поставил новому знакомому полкварты.

— Рано немного,—сказал жид-шинкарь,—да хорошим людям можно!

Слово за словом, Левенчук узнал нравы барского двора—и когда барин встает, где его видеть можно, кто у него в дворне.

— Ты только крепись,—говорил хмелевший товарищ,—требуй хозяйскую косу и полтину серебром в день! Требуй—дадут.

— Ну, братику, а девка та,—спросил Левенчук, усиленно переводя дыхание,—та... знаешь, что от попа?.. тут она?

Подгулявший батрак осмотрелся по хате. Шинкаря не было в ту минуту у прилавка.

— Тут... ты только никому не говори...

— Где?

— Наверху у пана живет... шш!

Левенчук вскочил.

— Куда ты?

— Будет уж, допивай ты, а мне пора в контору...

Левенчук вышел. Народ, собиравшийся к расчету, подваливал к шинку. Левенчук пошел к дому и не узнал сперва полковницкого двора: так этот двор изменился и уютно обстроился с той поры, как Харько сюда пришел впервые, неопытным бродягой и тут, встретившись с прогоревшим Милороденко, уступил ему свою порцию водки и тем ему сильно угодил.

Он ходил долго вокруг ограды, у ворот стоял, на мезонин смотрел. Видел он окна, вверху раскрытые, на балконе стул стоял. Он вошел во двор; прямо пошел к крыльцу и столкнулся на нем лицом к лицу с полковником.

— Ты косарь?—спросил рассеянно Панчуковский.

— Косарь.

— Очень рад, а это твой билет, что ли?—опять спросил Панчуковский, сося сигару и принимая от Харько письмо священника.

— Билет!—ответил Левенчук, сверкнувши глазами.

Панчуковский потянулся, взглянул на ясное, чудное утреннее небо, потом на первые строки письма—рука его дрогнула, он протер глаза, искоса посмотрел на Левенчука, дочитал, слегка побледнев, письмо до конца и долго не мог сказать ни слова. Письмо состояло в следующем:

«Владимир Алексеевич! Не будем обманывать друг друга. Вам сошли прежние ваши истории. Вы теперь похитили мою Оксану. Это общий голос, не отрекайтесь; да и некому другому этого сделать. Умоляю вас, отдайте ее. Податель сего письма—ее жених, Харитон Левенчук, из таганрогских поселян. Отдайте девушку; вы уже ею, ваше высокоблагородие, насытились. Отдайте, пока она еще может быть им принята. Если прежние ваши действия остались безнаказанны, то за это новое—кара господня вас не пощадит. Богатство не спасет нигде до конца недоброго человека. Прахом пойдет оно у вас; вспомните глас старца, готового сойти в могилу. Эта кара близится. По духу же исповедника предупреждаю вас: не отдадите девушки, за последствия поручиться нельзя. Вам несдобровать! Послушайтесь меня. Ваш слуга *Павладий Поморский*».

Панчуковский постоял. Левенчук также не говорил ни слова.

— Отец Павладий ошибается! — сказал полковник, закусивши губу,— я этой девушки не знаю, и ее у меня нет.

Левенчук молчал.

— Ее у меня нет, и баста, слышишь? Скажи отцу Павладию, чтоб он ко мне не смел обращаться с такими письмами.

— Ваше высокоблагородие! — сказал, подступая, Левенчук,— какой вам выкуп дать за нее? Я попу соглашался выплатить за нее на церковь двести целковых,— возьмите триста; наймусь к вам в кабалу, в крепость за вами запишусь,— отдайте только мне ее!

Полковник пожал плечами и, оглянувшись, улыбнулся.

— Глуп ты, брат, и только! Глуп, и все тут!.. Ее у меня нет!

Левенчук повалился в ноги полковнику. Он понял сразу, что с этим человеком правдой не возьмешь, и потерялся, позабыл весь закал, весь пыл своего негодования и своей мести.

— Ваше... ваше высокоблагородие! — вопил он, валяясь в пыли крыльца и целуя лаковые полусапожки Владимира Алексеевича,— я дома на родине похоронил жену молодую, и двух лет с ней не пожил; здесь нашел себе другую. Барин! Отдайте мне ее! За что вы отняли ее у меня, погубили до веку нас обоих!

— Да говорят же тебе, братец, что ее у меня нет... Какой ты!

— Будет уж вам с нею, ваше высокоблагородие! Не губите ее. Отдайте, вы уж ею натешились... Будем знать одни мы про то! Отдайте...

Панчуковский отступил.

— Ищи ее у меня везде, коли хочешь; иголка она, что ли! Ну, ну, ищи! Не веришь?

И он вошел в сени, распахнул дверь в лакейскую, а сам стоял на пороге.

Храбрость бросила Харько. Он встал, начал глупо вертеть в руках шапку.

— Ежели я...— сказал он, задыхаясь от спершихся в горле слез,— ежели я... хоть чем, то убей меня бог!.. Господи!

Полковник поворотился к нему спиной и ушел в комнаты, посвистывая.

Оглянулся Левенчук по двору, повел рукой по снятой шапке, подошел к кухне, там еще постоял; во дворе не было ни души. Петухи заливались по задворью. Воробьи кучами перелетали с тополей на ограду. Левенчук пошел за ворота и сел там на лавочке.

Он сам не знал, что и думать. У шинка собирался народ. Конторщик пошел туда, а к барину в дом Абдулка рукомойник понес.

За ворота вышел, с трубкой в зубах, в белом фартуке и ухарски заложив руки в карманы, поваришка Антропка, тоже из беглых, малый лет двадцати трех, отъявленный негодяй, часто битый за воровство.

— Ты чего тут сидишь, сволочь?—отнесся он задорно к Левенчуку.

— Может, сволочь ты,—ответил Левенчук, утирая слезы,—а я за делом!

— За каким делом? проваливай! скамейка барская! вон, иродово отродье!

— А ты барский?

— Барский, полковницкий; я их холуй—значит, сторож; а ты убирайся вон, сибирный твой род!

И Антропка столкнул Харько со скамьи.

Левенчук пошел опять к воротам.

— Ты куда, говорят тебе?

— Дело есть.

— Не ходи, побью.

— Э! Посмотрим...

— Что? как? это, значит, к полковнику наниматься идешь, да еще и форсишь?

Антропка подбежал и загородил Харько дорогу в ворота.

— Не ходи, ударю в морду!

— Попробуй!—ответил Левенчук, опомнившись и чувствуя снова прилив злобы и ярости.

Антропка ударил его в ухо. Левенчук зашатался и уронил шапку.

— А ну, еще!—сказал он, стоя бледный, как был, и выжидая нового удара.

— Бью! что же? ну, бью!—крикнул Антропка и опять ударил.

— А ну, еще!

— И еще бью! вот как!

Антропка ударил еще раз.

— А еще будет?

— Будет и еще!—крикнул Антропка, свистнувши снова в упорно-терпеливое ухо Харько.

— А!—зарычал, в свой черед, Левенчук,—теперь и ты уж держись; я тебе покажу, как добрых людей даром бить!..

И, как буря, он кинулся на поварчонка, смял его, как клок сена, сгреб под себя и стал его бить без милосердия по глазам, ушам и по затылку.

На неистовые вопли Антропки сбежалась вся дворня полковника, а мужчины и бабы его выручили.

— Кто это его, кто?—спросил Абдулка, явившись на подмогу другим, уже отливавшим водою до полусмерти избитого Антропку.

— Вот он!

— Кто это?

— А бог его знает кто!—отвечали бабы, указывая на Левенчука, входившего уже в шинок.

Абдулка побежал за ним вдогонку и на бегу, в сенях шинка, спросил сбиравшихся косарей:

— Где тут этот разбойник?

— Уж и разбойник!—разбойники те, что нанимают по два рубля, а расплачиваются по полтиннику!—ответили из толпы.

— Ты бил нашего повара?—запальчиво крикнул Абдулка, вскочив в шинок и с выкатившимися, рассвирепевшими глазами став перед носом Левенчука.

— Я бил. Ну, а ты чего?

Лицо Харько было зелено, губы его дрожали.

— Э, до меня так скоро не доберешься!—крикнул татарин, озираясь по хате, куда уже, чуя грозу, начинали собираться любопытные с надворья.

— Посмотрим!

— Посмотрим!

Абдулка скинул поддевку.

— Выходи на простор,—закричал он,—выходи из хаты на простор!

Конторщик, бежавший сюда, стал было его останавливать.

— Не замай, Савельич, а то и тебе бока намну,—бешено зарычал Абдулка и вышел из хаты, сопровождаемый конторщиком и толпою и на ходу распоясываясь.

— Что это они до тебя?—спросили Харько оставшиеся в хате косари.

Левенчук бросил на стол три целковых.

— Пейте, братцы, за мою душу пейте!—сказал он тоскливо и вышел, также снимая свитку.

Не успел он показаться на дворе, как на него разом накинулись Абдулка, Самуйлик и прежде побитый поварчук.

Первые двое стали его вязать, а озлобленный Антропка схватил полено и стал им бить Харько по чем попало.

Часть косарей приняла сторону Харько.

— Пустите его, что вы, душегубцы! ведите к барину, если он что сделал,— говорили косари.— Мы и сами пойдем жаловаться; нам расчет не тот дают!

— Нет, не поведем его туда! тут его живого в землю зароем!—бешено кричал Абдулка, колотя Левенчука.

Мигом Левенчука связали.

— В суд его, в стан!—горланила полковницкая дворня.

Побежали за телегой.

— Еще веревок!—кричал Абдулка.— А! ты в барский двор ходишь, да еще и дерешься! веревок еще! повозку скорее!

Привели лошадей, притащили повозку. Стали запрягать. Левенчук стоял связанный. Висок у него был расшиблен, и кровь текла из-под растрепанных темных волос. Антропка, опьяневший от бешенства и от прежде полученных побоев, ходил возле него и громко на все лады ругался. Бабы пугливо жались к стороне.

— Готово?—спросил отважно Абдулка, спешивший выиграть время,—мы и барина не станем беспокоить! в суд его, разбойника!

— Братцы!—громко крикнул косарям связанный Левенчук,—они меня побили, связали, в суд хотят везти! А сам барин ихний мою невесту украл... Я, братцы, Левенчук! Попова девка за меня просватана была... Она у полковника тут взаперти... в любовницах. Спасите, братцы! не дайте праведной душе погибнуть!.. Спасите!

— Ну, еще рассказывать!—начал Абдулка.

Последних слов Харько не договорил. Абдулка, Самуйлик и Антропка схватили его и потащили к телеге, снова угощая побоями.

— Э, нет!—отозвался тот самый батрак, которого Харько угощал с утра, загородя им дорогу,—я сам пойду до барина! За что вы его бьете и тащите?..

— Да, да! за что?—говорили в толпе и косари, испуганными и озлобленными кучками сходясь к ним.

— Э, да что на них смотреть! тащи его! Самусь, садись, вези его! Антропка, бей по лошадям!

— Нет, не пущу!—сказал охмелевший батрак, загораживая лошадям дорогу.

Тут прибежали с криками остальные косари из шинка. Произошла общая свалка. Одни тащили Левенчука к повозке, другие отталкивали его назад. Весть о том, что это жених воспитанницы священника, украденной полковником, облетела всех.

— Нет, нет, теперь уж не троньте его, оставьте!—заговорили косари разом и оттеснили Левенчука от Абдулки.

Подгулявший батрак ударил по запряженным лошадям, гоня их с пустою телегою прочь. Самуйлик кинулся их останавливать, а косари в суматохе совершенно отбили Харько, распутали ему руки и выпустили.

— Отдайте мою невесту!—сказал тогда бешено Левенчук, став перед слугами Панчуковского. Это уже был не прежний хуторский пастух. Степи изменили его. Абдулка, повар и Самуйлик остались одни против остальных.

— Нет у нас никакой девки!

— Врешь, есть! она наверху у барина вашего живет!—кричал Левенчук.

— Отдавай, а то силой возьмем!—гудели косари.

— Вот что выкусите!—ответил Абдулка, показывая кукиш, и пошел с товарищами к барскому двору, очевидно, потеряв надежду овладеть обидчиком закадычного приятеля, Антропки.

Левенчук, утирая кровь с виска, сел на крыльцо шинка.

— Дайте, братцы, хоть трубки покурить, коли с нами так поступают. Собаки и те лучше нас стали жить на свете!

Приятель его, батрак, с форсом подал ему трубку, сел возле него и обнял его, заливаясь слезами.

Толпа между тем шумела: «Как! Быть не может! Так этого самого невесту? И им спускать? Не заступиться за него? Где же тому конец будет?»

— Пойди, братику,—сказал Харько батраку, откашливаясь и харкая кровью,—пойди, хоть осьмушку вынеси! Все печенки, ироды, отшибли! Ишь ты, кровь пошла...

Косари орали более и более.

Полковник между тем, уйдя от Левенчука, подбежал к окну в кабинете и долго следил из-за занавесок, пока непрошеный гость вышел за ворота. «Воротить его? Отдать ему разве Оксану?» — подумал он, но, почитав с полчаса газеты, успокоился, оставил дело так и пошел наверх к Оксане.

Оксана сидела в своей каморке, вышивая какую-то рубаху. Домаха сидела на полу возле нее, тоже что-то штопая.

— Оксана! хочешь домой? — спросил полковник.

Она не подняла глаз.

— Что, если бы за тобою пришли, бросила бы ты меня? Неужели бросила бы? — спросил полковник.

Оксана встала, сложила шитье и поклонилась в ноги Панчуковскому.

— Пане! пустите меня, заставьте вечно за себя бога молить!..

В исхудалом, нежном и кротком лице ее кровинки не было.

Панчуковский хотел что-то сказать и затих. С надворья раздался страшный гул голосов, и одно из окон в мезонине зазвенело.

— Береги ее! — успел только сказать Панчуковский Домахе и выбежал на балкон.

Едва Панчуковский вошел туда, как увидел, что перед запертыми уже на замок его воротами стоит куча народу, а Абдулка, Самуйлик и конторщик бранятся сквозь затворы.

День между тем, как часто бывает на юге, нежданно изменился. Вместо жгучего, острого суховея, доносившего с утра под узорчатые жалюзи комнат сухой и волнистый шелест горящих в зное нив, небо стемнело, облака неслись густою грядой и накрапывал дождь.

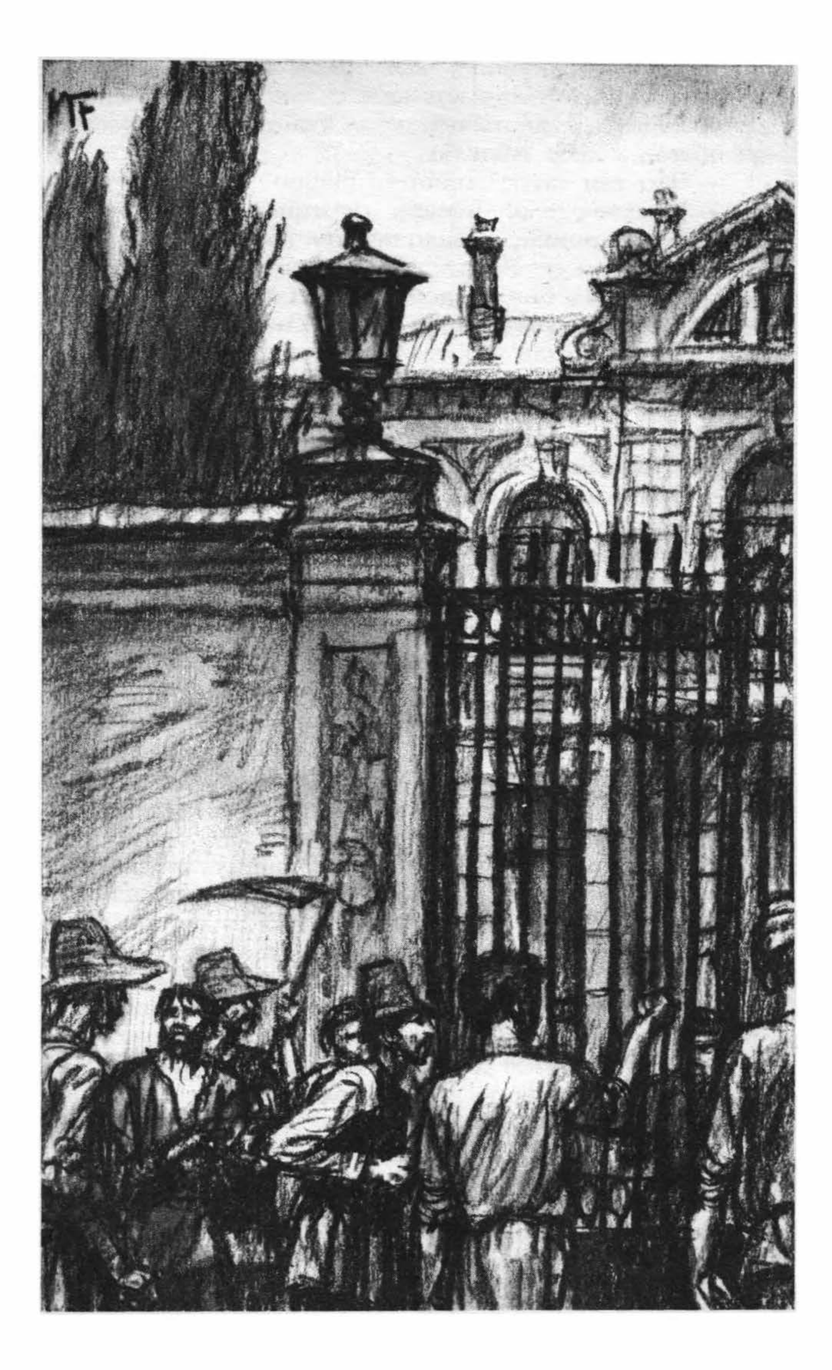
— Что это? — громко спросил своих людей Панчуковский, склонясь через перила балкона.

— Косари взбунтовались, — робко ответил конторщик, — не хотят по полтиннику брать, требуют по два рубля.

— Ну, так гоните их взашей!

— Мы стали их гнать, а они в контору ворвались, стекла перебили, мы едва успели ворота запереть — все распьяно...

— Ваше благородие! — смело крикнул кто-то из толпы, — отдай девку! а то плохо тебе будет!



Взглянул полковник: вся толпа в шапках стоит. «Эге»,—подумал Панчуковский, сильно струхнул и медленно вошел в комнаты с балкона. Сойдя впопыхах вниз, он позвал к себе Абдулку.

— Что там такое? говори правду.

— Плохое дело! Косари перепились, а тут еще бурлака тот пришел, девчонку эту требует...

— Отдадим ее, Абдул! Черт с ней! Еще бы чего не наделали... Что они? в ворота ломились?

— Запалим! говорят. Да нет, Владимир Алексеич, не поддавайтесь. Коли что, так я и ружье заряжу и по ним выстрелю холостым, напугаем их, они и разбегутся!

— Что же вы?—гудела толпа за воротами,—где это видано, чтоб девок с поля таскать? Тут не антихристы какие! Мы найдем на вас расправу...

— Вон отсюда, подлецы!—закричал опять сквозь ворота Абдулка, не отпирая железного засова.— Что вы пришли сюда буянить? Вон отсюда!

— Ломай, братцы! Топоры сюда!—уже без памяти ревела толпа,—не дают, так ломай! Пробьемся и возьмем силою у живодеров!

И в ворота снова ударили чем-то тяжелым, а потом оттуда наперли кучею все разом. Схваченные и прокованные железными скобами ворота только слегка заскрипели, но не подались.

Абдулка метался между тем, что было мочи, и ругался на все лады, грозя дерзким карою станового, исправника и самого губернатора.

— Что нам теперь исправники и ваши становые! Вы девку нашу отдайте! Тут наша воля, в степи-то нашей! До суда далеко!—выкрикивали голоса за воротами.

Полковник взбежал снова наверх. На площадке лестницы он натолкнулся на совершенно обезумевшую от страха Домаху. Старуха жевала что-то помертвевшими губами и, простоволосая, не успев накинуть на седую голову платка, дико смотрела на Панчуковского.

— Где она?—спросил полковник, идя поспешно мимо старухи.

— Там; это я ее заперла на ключ. Еще бы не выскочила к ним сдуру...

— Ну, береги же!

Он вошел в верхнюю комнату, бывшую к стороне ворот, и из-за притолоки окна увидел у ограды целый лагерь. Какие-то верховые явились... Народу было

человек триста или более. Одни сидели, другие стояли или ходили кучками, как бы обсуждая, как исполнить затеянное. Трое лестницу какую-то с овчарни тащили. Остальные шли, разместившись по траве; горланили все.

«Вот и поди, живи тут в этой необъятной Новороссии,— мыслил Владимир Алексеевич,— тут чистую осаду Трои выдержишь; успеют и взять тебя, и ограбить, и убить, пока дашь знать властям хоть весточкой! Думал ли я дожить до этого? А! вон еще что-то замышляют!..»

Прибежал наверх, запыхавшись, поваренок.

— Что ты, Антропка?

— Конторщик просит кассу в дом внести; неравно вломятся, боится, что растащут.

— Вломятся? в ворота? Что ты!

— Да-с.

— Ты почему думаешь?

— Стало, можно, коли между ними вон беглые ростовские неводчики появились и бунтуют, как бы чего по правде не было, ваше высокоблагородие.

Панчуковский еще раз глянул из-за притолоки. Новая картина открылась перед ним. Овцы его бродили врассыпную без пастухов. Шинкарь откупщика, зная уже нравы таких событий в степях, с еврейскою предусмотрительностью запрягал себе лошадь за хатою шинка. А из двух батрацких изб, спустившись тайком в лощину, бежали вдали, по пути к камышам на Мертвую пятеро батраков, батрачки и мальчишки-табунщики потрусливее, со страху бросив в хатах и барское добро и свои пожитки.

Панчуковский сошел снова вниз. В кабинете Абдулка быстро заряжал ружье.

— Вот я их! Я их!

И, зарядив, он пошел опять на балкон мезонина. Из толпы через ограду швыряли уже изредка камнями.

— Разойдитесь!— крикнул опять с балкона Абдулка.— Вас обманули; тут никакой девки нет! А плату сполна мы вам вышлем; только усмиритесь и не бунтуйтесь, братцы, вот что!

Град увесистых камней и побранок из толпы ответил на эти слова, через стены.

— Так стойте же!— крикнул Абдулка с балкона, приложился из ружья и выпалил.

Чей-то серенький конек заржал, побежал и, на пяти шагах споткнувшись, упал, убитый наповал в голову.

— Ты же говорил, что зарядишь холостым? — спросил, испугавшись, Панчуковский.

— Так им и надо-с! Шельмы, а не люди!

Осаждающие действительно были озадачены выстрелом, кинулись врассыпную и вдали, у хат и овчарен, снова стали собираться кучками. Кто-то громко грозил из толпы, что подожгут овчарни и батрацкие хаты. Другой топором помахивал издали.

«Что тут делать?» — думал полковник, ходя то вверх, то вниз по лестнице дома. Люди наскоро пообедали и ему стали накрывать на стол.

— Есть у ворот сторожа, Абдул?

— Есть, Антропка с собаками караулит; я их с цепи спустил...

— Ну, как бы дать знать в стан либо в город? — спросил Панчуковский. — Я-то их не боюсь, да как бы не подожгли чего! Ведь такого дела и ожидать было трудно...

— Ночью разве Самойлу верхом пошлем, авось прорвется через них!

Встал полковник из-за стола. Пошел с Абдулкой опять наверх. Смотрят: к толпе осаждающих подъехал какой-то фургончик парой. Сидевший в нем о чем-то говорил с косарями. Вот собирается отъезжать, на дом полковника смотрит...

— Маши, Абдул, платком или хоть полотенцем помаши, авось заметят...

Сбегал Абдул за полотенцем, свесился с балкона и давай махать.

— Кажись, из фургона махнули! — сказал Абдулка.

— Это тебе показалось, уехали... Ну, что же мы теперь будем делать?

Осаждающие будто притихли к вечеру, пошли к шинку. Настала ночь. Разумеется, ночью не спала ни на волос вся дворня полковника, карауля везде, чтобы буяны не перебрались где во двор через стены или в ворота. Говорят, что сам полковник на цыпочках, в продолжение всей темной, сырой ночи, не раз обходил дозором все уголки двора, прислушивался к побранкам и к вольным песням неунимающихся буянов и три раза кормил собственными руками постоянно голодных до той поры сторожевых собак, и те с охрипшими от надрыва горлами лаяли и метались по двору всю ночь. «Вот так Русь! — думал полковник, — чего только в ней не бывает!»

Ночью, под предводительством Самуйлика, была сделана, в виде рекогносцировки, вылазка со стороны осажденных к колодцу. Партия смельчаков состояла из самого Самуйлика, двух кухарок, повара и прачки. Они очень осторожно вышли, миновали овраг. Но за ними ввязалась одна из цепных собак, наткнулась на сторожей у колодца, разлаялась, и их открыли. Поднялась тревога. От шинка двинулась куча в погоню. Смельчаки бежать. У самых ворот произошла свалка, и поварчука съездили сзади так по уху, что тот едва успел в ворота вскочить. Воцарилась снова тишина.

Ночью, страшно усталый, полковник вздремнул было на ходу, прилегши где-то в зале на диване. Вдруг его будят.

— Что такое?

Смотрит... Окна дома ярко освещены. В зале стоят также освещенные, бледные от испуга, его советчики, Абдулка и Самуйлик.

— Что это?

— Избы батрацкие горят, огонь к овчарням перебрасывается... Это они; тот-то бурлака, верно, поджег-с!

Молча взошел Панчуковский опять на балкон.

— Отдайте нам девку! девку отдайте! — доносились голоса сквозь дождь с пригорка.

— Фу ты, пропасть! — сказал, в свой черед, не выдержав, Панчуковский.— Да что же это со мной делается? Иди, Абдул, бери Оксану, отдай им... Вот не ожидал!

— Мы уже ходили к ней, Владимир Алексеич; да она сама теперь напугалась: сидит и дрожит; боится и выглянуть на эти чудеса.

— С чего же это все нам сталося, Абдул?

— Жид-шельма, должно быть, удрал со страху; они, верно, разбили бочку и перепились.

— Кричи же им, Абдул, что я все отдам: и Оксану и деньги, какие просят,— чтобы только унялись!

Стал опять кричать Абдул, ничего не выходит. И звонкий дотоле голос его едва долетал через ограду, в шуме и в реве пожара, истреблявшего батрацкие хаты. А от шинка неслись звуки бубна и песен, несмотря на дружный дождь, шедший с вечера. Но небывалая ночь кончилась. Стало светать. Густые туманы клубились вдали. Пожар не пошел далее.

От толпы подошла к воротам новая куча переговорщиков; все они были пьяны и едва стояли на ногах.

— Что вам?

— Мы до полковника... пустите; мы за делом...

— Зачем?

— Дайте нам девку нашу да бочку водки еще; мы уйдем.

— А кнутов?—закричал, не выдержав, Абдулка в щель ворот.

— Нет, теперь уж нас никто не тронет; мы бурлаки, а бурлаков турецкий салтан берет теперь под покров!

Такие толки действительно в то время ходили между беглыми.

Пока люди полковника переговаривались с пьяными депутатами, сам Панчуковский, совершенно растерянный, сидел у письменного стола.

— Не догадался я, забыл послать ночью верхового в город или хоть к соседям; кто-нибудь прорвался бы на добром коне. А сегодня уже поздно: они оцепили хутор кругом и, как видно, идут напролом! Поневоле тут и о голубиной почте вспомнишь.

Панчуковский написал наскоро письмо к Шутовкину, прося его дать знать об этих событиях в стан и в город, и позвал Самуйлика.

— Ну, Самуйлик, бери же лучшего коня да скачи к Мосею Ильичу на хутор, напролом; авось проскочешь... А ее я выпущу!

Вздохнул Самуйлик, вспоминая собственные советы и предостережения полковнику, когда тот замышлял об Оксане. Но не успел Панчуковский передать кучеру письма, как с надворья раздались новые крики.

— Что там?—спросил полковник и подбежал к окну.— На ток, на ток!—ревела толпа, подваливая снова от шинка,—скирды зажигать! Не соглашаются, так на ток! Небось выдадут тогда! Валяй, а не то так и нивы запалим!

Опять загудели крики. Пьяные коноводы направлялись уже к току. Душа Владимира Алексеевича начинала уходить в пятки. Но в это время вдали, за косогором, звякнул колокольчик. Ближе звенит и ближе. Застучало сердце Панчуковского. Он вскочил и взбежал в сотый раз наверх. Разнокалиберный люд столпился у шинка. Раздались крики: «Исправник, исправник!» Не прошло и минуты, как толпа мигом пустилась врассыпную, кто по дороге, кто к оврагам, кто в недалекие камыши. Кто был с лошадью, вскочил верхом; все пустились в разные стороны. В сизоватой дали, из-за косогора, точно показалась бричка вскачь на обывательских. За нею, верхами

же, скакали человек тридцать провожатых. То были понятые. Так всегда здесь в степи ездил на горячие следствия любимец околотка, исправник из отставных черноморских моряков, капитан-лейтенант Подкованцев. За ним, также вскачь, ехал еще зеленый фургон.

С форсом подлетев к растворенным уже настежь воротам Панчуковского, Подкованцев остановился, скомандовал понятым: «Ловить остальных; кого захватите, в кандалы! лихо! марш!» — въехал во двор, вылез из брички, взошел, пошатываясь, на крыльцо и в сенях встретился с полковником, у которого, как говорится, лицо в это время обратилось в смятый, вынутый из кармана, платок.

— Честь имею во всякое время, кстати и некстати, явиться другом! — бойко отрапортовал залихватский капитан-лейтенант, постоянно бывший навеселе и говоривший всем помещикам своего округа «ты».

— Ах, как я рад вам! Избавитель мой!

Панчуковский обнял Подкованцева, поцеловал его, хотел вести в кабинет и остановился. За спиной станового стоял полупечально, полуосклабившись, в той же знакомой синей куртке, рыжеватый гигант Шульцвейн.

— Какими судьбами? — тихо спросил, сильно покраснев, Панчуковский.

— Вы господину Шульцвейну обязаны своим освобождением от шалостей моих приятелей, беглых, если они вам что плохое сделали! — сказал Подкованцев.

Панчуковский в смущении протянул руку колонисту и указал ему на развалины сгоревших и еще дымившихся изб.

— Да, — говорил, поглаживая усы, исправник, — меня господин Шульцвейн известил; он меня за Мертвою нашел! Эк, подлецы! кажется, мои беглые взаправду расшалились. Уж это извините; с ними тут не шути. Надо облавы опять по уезду учинить. Нуте, колонель[1], теперь бювешки[2], пока моя команда кое-что сделает. Эйн вениг[3] коньячку! А не худо бы и манже[4]; я целых три дня ничего не ел, за этими мертвыми телами. Трех потрошил, лето — вонь... тьфу! Ты, впрочем, не удивляйся дерзости своих обидчиков; это у нас бывало прежде

[1] Полковник *(фр.)*.
[2] От *фр.* buveur — пьющий, любитель выпить.
[3] Немного *(нем.)*.
[4] От *фр.* manger — есть.

чаще. Одному еврею-с живому даже голову отпилили беспаспортники; я ее сам видел. Вотр санте! [1] — прибавил исправник, выпивая стакан коньяку: — так-таки ее и отпилили пилой, да еще тупою; я ее и за бородку держал! Тут уж они в наготе-с!

Принесли закуску. Подкованцев уселся над икрой и над балыками.

Шульцвейн кряхтел, ухмыляясь, потирал себе румяные щеки и масляные кудри и, сильно переконфуженный, похаживал возле окон. Улучив минуту, он отозвал Панчуковского в сторону.

— Скажите, пожалуйста, — начал он, с видимым участием схватив полковника за руку, — неужели это правда, за что поднялись на вас эти негодяи?

— Что такое? Я вас не понимаю.

— Да о девушке этой-то: говорят, что действительно вы ее похитили?

— Вы верите? Не грех вам?

— Как тут не верить? Я вот просто потерялся. Вы знаете, я свои степи часто объезжаю. Мой молодец вчера мимо вас ко мне спешил из Граубиндена, увидел здесь это дело, расспросил и прискакал ко мне, а я уж поспешил вот к исправнику.

— Очень вам благодарен! Но могу вас уверить, что эти пущенные слухи — сущий вздор. Я не похищал этой девушки и ее у меня нет.

— За что же эти буйства, скажите, эти поджоги? Удивительно!

— Слышите? — спросил Панчуковский вместо ответа, обратясь к исправнику, — Шульцвейн удивляется, из-за каких это благ я подвергся тут такому насилию!

— Могу вас уверить, — отнесся через комнату Подкованцев, жуя во весь рот сочный донской балык, — за полковника я поручусь, ма фуа [2], как за себя! Это мой искренний друг, и дебошей делать никогда он не был способен — пароль донёр! [3]

— За что же, однако, это толпа решилась на такие действия?

Панчуковский улыбнулся.

— Какой же вы чудак, почтеннейший мой! Не знаете вы здешнего народа! Мой конторщик сбавил цену на

---

[1] Ваше здоровье! *(фр.)*
[2] Признаться *(фр.)*.
[3] Честное слово! *(фр.)*

этих днях. Многие стали с половины недели, а пришли к расчету,—все одно захотели получить и подпили еще вдобавок. Шинкарь перепугался, ушел, а они бочку разбили. Что делать! На то наша Новороссия иногда Америкой зовется! Ее не подведешь под стать наших старых хуторов: что в Техасе творится, то и у нас в Южнобайрацком уезде.

— Именно не подведешь,—гаркнул, утираясь, Подкованцев—еще раз, вотр санте! А теперь, поманжекавши, можно и за дела... Ну что, Васильев?

На пороге залы показался рослый, бравый мужик. Это был любимый исправницкий сотский, как говорили о нем, тоже из беглых, давно приписавшихся в этом крае.

— Что, поймал еще кого?

— Шестерых изловили, ваше благородие, а остальные разбежались.

— Лови и остальных.

— Нельзя-с; в уезд господина Сандараки перебежали, граница-с тут за рекой...

— Вот и толкуйте с нашими обычаями; беда-с! Кого же поймали?

— Да из бунтовавших главного только не захватили. Он еще ночью бежал, сказывают, в лиманы, к морю. Да он и в поджоге не участвовал-с, как показывают.

— Главный? Кто же он? Как о нем говорят?

— Будто бы из бурлаков-с, Левенчуком прозывается... Он за эту девку их высокоблагородия-с... за нее и буйствовал и других подбил...

Подкованцев также подошел к полковнику, взял его под руку и отвел к окну.

— Экуте, моншер[1]. Ты мне скажи, по чистой совести: украл ты девку эту? ну, украл? Говори. Ты только скажи: я на нее взгляну только, а в деле ни-ни; как будто бы ее и не было... слышишь? Я только глазом одним взгляну!

— Ей-богу же, это все враки! никого у меня нет!

Подкованцев почесал за ухом. Серые глаза его были красны.

— Ну, Васильев,—обратился он к сотскому,—заковать арестованных и препроводить в город! Отпускай понятых из первой слободы, а там бери новых и так веди до места... Марш!

[1] Слушайте, мой милый *(фр.)*.

— Насчет же опять той лошади убитой, бурлацкой,— спросил сотский,— как прикажете? Это их человек убил...

— Как приказать? Сними с нее кожу, и баста!.. на сапоги тебе будет! Ведь тоже беглая!

— Теперь же мы в банчишку, сеньор! — весело заключил исправник по уходе сотского, обращаясь к хозяину.— А вы, мейн герр, хотите?— подмигнул он Шульцвейну.

— Нет, пора домой-с. В степь-с надо.

Колонист походил еще немного возле окон, взял шапку, простился и уехал, вздыхая.

Исправник же до поздней ночи попивал морской пунш, то есть ром с несколькими каплями воды, играл с Панчуковским в штос, выиграл десять червонцев, поцеловал хозяина в обе щеки, сказал: «Не унывай, Володя! мы дельцо обделаем и с виновных взыщем!» — и уехал, напевая романс: «Моряк, моряк, из всех рубак ты выше и храбрее».

— Адьё, милашка! — крикнул он Панчуковскому уж из-за ворот и прибавил: — Слушай, сердце! Мне часто в голову приходит: как я умру? своею смертью или не своею? Был я в походах с Нахимовым и чуму перенес... Бог весть! Стоит ли об этом думать!

— Как кому!

Исправник уехал.

— Ворота, однако, на запор отныне постоянно! — сказал полковник слугам,— благо, что отделались от одной беды; надо вперед остерегаться еще более...

— Аксютку же прикажете выпустить теперь?— спросил Абдулка по отъезде исправника, ухмыляясь и раздевая барина в кабинете.

Полковник развалился на диване и зевнул.

— Оксану-то?

— Да-с; что ее теперь держать? Мы разыщем другую...

— Нет! пусть, Абдул, она еще поживет. Я поеду пшеницу на хутора молотить, так ты ее тогда вперед доставишь... Да не забудь и самовар туда с провизией отправить: а то я тогда без чаю там просидел.

Полковник успокоился. События, однако, приняли иной, нежданный, оборот.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В СИЛКАХ

X

Новое лицо — помещица из России

Дни клонились к осени. Жиденькие новороссийские садики по деревням становились еще беднее. Лист падал. Обитатели деревень более задерживались в домах. Комнатные цветы принимались с воздушных выставок обратно в дом за стекла. Из окон чаще гремели рояли. Книги северных журналов и газет читались более. На токах усерднее стучали молотилки.

— Ну-с,—спрашивал Панчуковского залихватский волокита, купец Шутовкин, встретившись с ним у кого-то из общих знакомых на пиршестве,— так ваша красавица чуть было вас не погубила?

— Да, был грешок. Что делать!

— Новую осаду Трои изволили выдержать?

— Выдержал, Мосей Ильич, пришлось испытать, нечего делать!

Они, после сытного обеда, гуляли в затихшем, но еще прелестном садике.

— Каково же драгоценное здравие вашей Елены-с? Я, чай, уже с овальцем теперь скоро будет? Моя же так давно уж с животиком переваливается.

Шутовкин сказал и, утираясь платком, засмеялся. Ему было душно. Вино и вкусный обед брали над ним силу.

— Ах вы, старый волокита! Не стыдно ли вам? У вас дети взрослые, учитель нанятой—почтенный студент... Смотрите, что о вас дамы толкуют, вы уж чересчур открыто действуете. Вон у меня тоже пленница живет, а так сокровенно, что никого не обижает и все ездят ко мне...

— Не могу, не могу; это уж моя страсть к бабенкам ослепляет меня. Что мне свет? Живу здесь в волю-с!.. Я потому и о вашей спросил-с, извините меня... Я люблю дело начистоту, свечей не тушу никогда-с и ни при чем... Я ваших обрядов-с не соблюдаю. Раскольник-с, что делать!

— Смотрите, однако, не приударьте за моею! У меня нравы гарема; попадетесь—голову долой, и сейчас в мешок и в воду! Я ведь тоже сродни туркам тут сделался. Право, край у нас роскошный, привольный. Ведь сюда кто ни попадись, переменится. Люди тут какие-то другие становятся. Вот и с вами...

— Так, так, а все-таки, Владимир Алексеич, у меня крестины раньше ваших будут!—посмеивался Шутовкин, продолжая ходить с полковником по садовой дорожке, над обрывистым берегом Мертвой.

— Ах вы, забавник! Лучше покайтесь. Лучше скажите вашему учителю, что срок его должку подходит, чтобы вез его скорее для уплаты, кому следует, я поручитель, и у меня уж веди дело аккуратно...

Купец был на этот раз немало выпивши за обедом, снял на воздухе галстух, весело переваливался, шутил, пыхтел и беспрестанно ухмылялся. Сперва стал он рассказывать, как выгодно сбыл сало, потом об акциях заговорил, наконец, спросил совершенно неожиданно:

— Послушайте, полковник: вас тут некоторые не любят, считают гордецом! Правда ли, тут болтают, будто вы не вдовец вовсе, а что у вас где-то... извините... на Волге там, в России-с... жена законная есть, и говорят даже еще, будто старая-престарая и злая? Ну, скажите мне откровенно, правда это? Если правда, то поздрав-

ляю, дружище, отлично сделали, что бросили и ее и наши старые российские места-с!..

Панчуковский вспыхнул и остановился. Он долго не мог прийти в себя от нежданного вопроса приятеля, искоса посмотрел ему в глаза; но Шутовкин шел по-прежнему беспечно, будто ничего не сказал, переваливался и утирал отвисший, полный и потевший подбородок.

Панчуковский вздохнул и посмотрел на часы.

— Мосей Ильич!

— Ась? что вы?

Он копался с подтяжками.

— Я долго тут остаться не могу, мне надо ехать.

— Куда же вы?

— Позвольте... Вы спросили меня о такой вещи, такой, что я...

— Да вы не сердитесь, душенька! Ну, что же делать! Была жена, была... понимаете?.. а теперь нету, и у вас Оксаночка живет. Тем только и разница между нами: я вполне кучу́ себе всласть, а вы частицей...

— Мосей Ильич, слушайте: если вы меня любите, прошу этого вздора никогда при мне не говорить! Ну-с... Слышите ли? Я не стерплю этого в другой раз! Понимаете? Я давно вдовец,— повторяю вам, вдовец... лишился жены: в цвете лет она умерла, бедняжка, и я оплакиваю ее день и ночь... Эта сплетня мне особенно неприятна, и я прошу вас, требую именем нашей дружбы, услуги моей вам, молю вас — не упоминать ни мне и никому здесь другому о ней никогда. Жена моя умерла, и все, что я имел, явившись сюда, есть завещанное мне ее состояние. Я сам точно никогда ничего не имел. Так перед такими женами-с надо благоговеть, а не шутить, и да будет стыдно тому, кто осмеивает подобные чувства!

Панчуковский сказал это дельно, твердо, огорченным голосом и даже отвернулся.

— Ну-ну, не сердись, колонель! Ведь я пошутил. Я вас люблю, крепко люблю. А с нынешним вашим домашним благополучием вас от души и от всего сердца-с поздравляю. Товарищи мои, портовые купцы, смеются, что я живу нараспашку. А бес их побери! Что, однако, у вас за новый случай произошел после этой стычки с косарями?

— Какой?

Полковник ходил еще взволнованный и кисло посматривал на обнаженные ветви сада.

— Да насчет вашего лакея, татарина этого.

— Ах да, правда! Вот случай, вот жалость! Бедняжку этого, Абдулку, я посылал за расчетом в городок, в хлебную контору. Он деньги привез; но дорогою где-то, несчастный, поел в шинке порченой соленой рыбы, приехал домой, мучился сутки и сгорел так, что ничего не могли сделать, и доктор был... Я доктора из города на подставных вызывал... Вы знаете, я сам готов околеть иной раз, а уже для людей я стараюсь. Тут у вас в Новороссии мы не помещики. Вольный труд здесь нашего брата поневоле очищает, делает человеком. И за это искреннее благодарение вашим чудным, привольным местам...

Полковник оживился, повеселел. Он добродушно стал разглядывать тихие туманные виды окрестных степей, открывшиеся перед ними с пригорка, на краю сада. Голос его звучал мягче.

— Что за прелестные места, Мосей Ильич, посмотрите: вон алексинская церковь белеет, верхушка ее чуть сверкает в тумане; вон чичибеевские курганы; вон обоз чумаков тянется... Ну, не счастье ли, не рай ли земной у нас?

— А вы на выборы собираетесь?

— Какой вы чудак! Что вы о выборах вспомнили?

— Да так-с. Часто я думаю, отчего это мы, купцы, исключены из дела земства-с...

Они прошли еще несколько по саду. Из дома звучала полька. Барышни затевали танцевать.

— Скажите, однако, какое несчастье! — продолжал Шутовкин, — я все о вашем слуге думаю... Значит, у вас теперь лакея нет? Вы ищете нового?

— Нашел уже; благодарю вас.

— Где? Вот и отлично-с.

— У немца Шульцвейна, молодца из его хутора, что он возле Дону нанял. Спасибо немцу, хоть этим мне удружил, — уступил. Я его усиленно просил. Приходилось хоть самому сапоги чистить. Он у него рассыльным с осени был, такой проворный, бойкий, хоть и немолодой уже, кажется, человек. Он им доволен был, да раскусил, что он беглый, и отпустил его. Честный немец беглых недолюбливает. Трусит, боится, не то что мы с вами...

— Не Митька Базарный? Я того знаю: вор...

— Нет, Аксентий Шкатулкин.

— Аксентий Шкатулкин! Позвольте, позвольте, я что-то припоминаю: не было ли о нем публикаций?

Должно быть были. Верно из неводчиков достал? Вы не слышали?

— А прах их побери! Я их не разбираю! У меня все почти беглыми идет работа; оно лучше и дешевле. Разве когда от этого пострадаю! Мой штат вольный, как вы знаете, милости просим всех! Я на моих беглых, как на гору, надеюсь. Ведь проведай обо мне петербургские журналисты, они меня за эти мои штуки со свету сгонят. Да что на них смотреть! Я, впрочем, как был в Питере, знакомство с ними шапочное вел. Славные люди, все бонвиваны. Бюрократы тамошние, однако, лучше, зрелее и дельнее. А все-таки, Мосей Ильич, у нас лучше живется, чем у них. Не правда ли? Клад, а не земелька; уголок непочатый, своя Элебема и Висконсин: ведь так? Сколько вы, позвольте, за сало рассчитываете получить осенью?

— Да тысяч двенадцать серебрецом опять в один раз получу.

— Ну, а я-с за мою пшеничку да за лен так тысяч сотенку целковых загребу... Ведь посев у меня теперь был сказочный-с. Так как же себя не побаловать бабенками после этого? Правда? В наших старых городах этих лакомств не знают настолько!

— Чуть, однако, беглые вас было не убили. Не мешало бы вам их побаиваться. Ну, да авось сойдет!

— Что мне их бояться! Деньги у меня припрятаны в таком местечке, что нескоро до них доберешься. В кабинете на стене и в спальне у кровати всегда готово оружие. Стены вокруг двора высокие, ворота надежные.

— Не в наружных ворах бывает опасность, дружище, а во внутренних. Вот что! Домашний враг опаснее всякого другого...

— Вы думаете?

Полковник оглянулся по саду.

— Домашняя прислуга,— сказал он шепотом,— куплена у меня такими деньгами, о каких здешним скредам-помещикам и в голову не придет никогда. Я на мою дворню, как на самого себя, надеюсь!

— Да уверены ли вы, например, в этом-то новом, все-таки повторяю, своем слуге?

— В Аксентии?

— Да-с, в Шкатулкине, что ли, как вы сказали?

Полковник улыбнулся и опять по привычке посмотрел вокруг себя.

— Это, скажу вам, камрад, такое чистое, добродушное, простое и глуповатое создание, что прелесть! На днях я по ошибке дал ему для размена сторублевую вместо десятирублевой депозитки, впотьмах. Что же бы вы думали? Принес из алексинского шинка, смеется и говорит: вы только, барин, молчите, а мелочи дали лишних девяносто целковых. Я, разумеется, рассчел свои деньги, вижу, что лишнего ничего не было. Но, какова приверженность! А?..

— Радуйтесь, что и говорить! Но лучше берегитесь; знаете, какие слухи ходят: уезд наш наполнен фальшивыми монетчиками; на Сиваше, за Арбатской Стрелкой, разбойник настоящий показался; бродяги по донским дорогам пошаливать стали; почту уж с конвоем отправляют...

— Я спокоен и вам советую бросить лишние страхи.

— А ваша осада? Не подвернись приказчик Шульцвейна, не уведомь он исправника,— ведь вы пропали бы даром, как муха-с...

— О, вздор какой!

— Вздор, подите же! А я повторяю, не будь у нас все так-то-с на Руси, где еще нагайка десятского да зычный крик капитан-лейтенанта Подкованцева-с тысячную толпу способны рассеять, аки ветерок облачка-с во поднебесье, то сослужили бы мы по вас панихиду-с, Владимир Алексеич!

Панчуковский, посматривая с пригорка, откуда и его Новая Диканька виднелась, курил сигару и посмеивался.

— Вы смеетесь?

— Да, смеюсь, потому что наша чернь еще глупа, тупа и безобразна.

— Не шутите, полковник, с нашими тихими и добрыми мужичками, не употребляйте во зло их кротости и смирения-с. Я сам из мужичков-с, честь имею доложиться...

— Вы, Мосей Ильич? Вы... происхождением?..

— Да, я-с, я был сибирским-с ямщиком, в юности в бабки игрывал, секали меня; землю пахивал своими собственными руками...

— Вы, вы?

— Я, я-с!

— Вот не ожидал...

И полковник невольно окинул глазами Шутовкина с головы до ног, будто впервые его видел.

— Чай, с презрением-с считаете меня дураком и за раскол-с? Дело нерешенное, ваше высокоблагородие. А я никому вреда не делаю. Заводы мои идут отлично! я на армию свечи поставляю, в гильдию плачу; вон три воскресных школы на свой кошт соорудил в здешних городах и их содержу; книжек пропасть покупаю в Питере, хоть сам малость читаю; библиотеку в деревне у себя сочинить успел,— заезжайте только читать! Картин из Москвы навез, почти всю выставку в последний раз там закупил, журналисту тоже там одному беднячку малую толику дал... Да-с. А войди ко мне в дом, на хуторе, где я живу, чего там только нет? И статуи из Греции-с, в магазине в Одессе купил, и фортепьян двое; цветы, ковры, бронза, всякие украшения, яства-с тончайшие, вина... Учителя-молодца держу при детях, вы его достаточно знаете, школю их, чтоб не дураками вышли; в Москву в университет повезу и тут же во здравие их новую там жертву, что ли для науки этой, соблаготворю... А? Что? Чем же я не человек-то теперь, ваше высокоблагородие? Разве что в чинах только не произошел ничуть да в сенатских книгах помещиком не прописан...

Шутовкин разгорячился. За шейным платком снял сюртук, а наконец, и жилет. Несмотря на серый денек, ему было нестерпимо душно. Он сел на лавочку.

— Эка душно-то мне, душно! Природа уж у меня такая сильная. Я и девочку эту не из блажи какой похитил. Что делать! Слаб есмь человек, да и все тут! Ну, а как Русь-то наша в опасности, не дай бог, очутится? Кто больше сыпнет деньгами-то? Я или вы, ваше высокоблагородие? Ну-ка, решите? Что?..

Полковник ничего на это не ответил. Пошли приятели дальше по дорожке. Вечерело. Шутовкин опять оделся; сполз, пошатываясь, с берега к реке, умылся, освежился и окончательно стал молодцом.

— Толстяк, жирный волокита! Так-то вы меня все и зовете! А моя барышня у меня на свободе вон ходит, в почете и уважении. А ваша? за что вы ее томите одну? Хоть бы их познакомить нам, душечка, что ли?

— Чудак вы, право! Ваше положение и мое! Это два разные света. Не могу я так шутить своими отношениями к людям, как вы.

— Не можете? Гм!..

Шутовкин посвистал и опять сел на скамеечку.

— А правда, что вы уж и ребрушки помяли вашей красавице?

— Опять сплетни! Да оставьте их, ради бога; то о живой будто бы жене моей, то опять о каких-то моих жестокостях! И кто это вам мелет?

— Та-та-та! На-поди! Будто я уж вас и не знаю, камрад! Ведь вы зверь лютый; ну, что нежничать-то! Теперь вот я мелю с похмелья. А тверезый я этого, может быть, и не сказал бы вам.

Приятели еще потолковали и пошли в дом, где подали уже свечи.

Намеки Шутовкина, однако, остались не без последствий для полковника. Панчуковский стал еще осторожнее с знакомыми. В это время ему прислали из Вены и из Парижа множество вещей для последней отделки дома: бронзы, деревянных резных поделок, обоев, тканей, зеркал и ковров. Русский человек уже не может обойтись без того, чтобы, мало-мальски устроив свои дела, не затеять отделывать и превратить свой дом в подобие луврского дворца или, по крайней мере, магазина мануфактурных изделий, причем первые бренные барыши, потраченные с таким умом, обыкновенно на этом убивают и самое дело. Соседи съезжались теперь снова смотреть на диковинки полковника. Он был на верху блаженства и, указывая на разгружаемые транспорты ящиков с мебелью, зеркалами, фарфором и бронзами, повторял:

— Да, господа, я не мот, но человек земли, праха... Люблю пожить, люблю довольство за его поэтические лучшие стороны. Уж на пустяки я денег не брошу; зато эти у меня разные-с дубовые, ореховые и березовые столики, кресла и диванчики — прямо от Кейзерлинга из Вены; эти подражания гобеленам — из Парижа... Все здесь чудеса рук первых артистов!

— Вам бы жениться, жениться! — повторяли старушки-болтушки из соседок, всегда падкие подкузьмить ближнего какой-нибудь застарелою внучкой или золотушною и кислою племянницей.

— О! Владимиру Алексеичу некогда о таком вздоре думать, о женитьбе; у него столько дела, хлопот! — говорили тут же на это сами внучки и племянницы, лорнируя мебель, бронзы и гобелены, но в то же время не забывая изредка обратить лорнет, будто бы нечаянно и на щегольской сюртучок самого полковника, на его лаковые полусапожки, затейливую часовую цепь, с колчаном

стрел и с луком купидона, между кучею брелоков, а еще более взглядывали они на его убийственные раздушенные усики и на нежно-томные, губительные и вместе ласковые глазки, когда он стоял между ними и ораторствовал.

Женский пол, в знак особого уважения, не переставал посещать, в сопровождении мужского пола, счастливого обитателя вновь созданного в этой глуши хутора Новой Диканьки. А полковник не переставал ликовать.

— Что старая Диканька! — говорили некоторые из его друзей,— что из того, что ее вместе с старосветскою умирающею Украйною воспел Гоголь! Эта старосветская Украйна была когда-то хороша! Теперь это все еще милая, но уже печальная и пустынная могила... Жизнь здесь, а не там, здесь, у нас, в нашей Новороссии! Здесь все надежды юга! Отсюда выйдет его будущность. Давно ли вот на этом самом месте один ветер пустынный бродил, бурьяны, ковыль да чертополох произрастали, перекати-поле прыгало; а теперь тут мигом вырос поселок, явился чудный дом, оживленное общество шумит, веселится, рояль гремит, чудеса света сюда стекаются.

— Искусственный плод все это! — замечали другие.

— Жениться, жениться, жениться вам! — продолжали в то же время шушукать полковнику болтушки-старушки.

На их улыбки улыбался и он, по-прежнему ораторствовал, шутил, спорил и пускался в объяснение живейших вопросов современности.

— Это не человек! Нет, это какое-то божество! — говорили о нем дамы, возвращаясь иной раз с веселой прогулки целым обществом в Новую Диканьку.

— Ну, божество не божество,— возражали суровые мужчины, нагруженные всякими яствами и тонкими питиями до отвалу,— а человек он точно хороший. Главное — товарищ отличный; дока на дела и вместе не спесив.

Гости уезжали. Полковник садился за счеты, соображения, пускался бродить и ездить по хозяйству.

«Еще таких года два-три,— думал он, раскинувшись иной раз в кабинете на диванчике, с сигарой в зубах,— и я буду в полумиллионе чистого капитала! Тогда я произведу расчет всем делам, все мелочное обращу в наличные деньги — и... куда же тогда? В Петербург? Да, многим там можно будет пыли пустить в глаза таким

капиталом! Сперва поважничаю, вечера устрою там, вторники, что ли, или четверги. В финансовый мир попаду, станут ко мне ездить все действительные да тайные... Предлагать станут места... Разве в губернаторы тогда куда-нибудь поехать на время?.. Еще в министры так, пожалуй, попадешь... Вот, черт возьми, счастье! Да и женщин новых увидим! А дела пойдут все лучше и шире; устрою какое-нибудь общество на юге... Нет, Диканьки моей тогда не продам... А не лучше ли на старость куда-нибудь в чужие края, на Лако-ди-Комо или в Байский залив по пути сластолюбивых счастливцев, римских императоров?.. В Диканьку мою станут путешественники съезжаться, смотреть на ее устройство... И как подумаешь, все дело рук одного человека... одного!»

— Барин, барышня прогуляться просится,— прерывал часто в такие мгновения мечты полковника новый слуга его, Аксен Шкатулкин.

Вслед за этим слугою и вся дворня начала Оксану звать уже барышней.

— Прогуляться? Что? Я не расслышал, Аксентий...

— Да-с, на воздух-с. Затомилась, должно быть, наверху...

— А! хорошо; иди ты с нею, побереги ее там, знаешь, пока...

Лестница тихо скрипела. В платочке, бледная, тихая, но такая же, как была, хорошенькая, Оксана пугливо и бережно спускалась с своей вышки, с мезонина, и шла освежиться за ворота, а когда не ожидали гостей, то и далее, в поле и к овчарням.

Ревнивый, или скорее чопорно-скрытный с товарищами, Панчуковский вовсе между тем не скрывался от своей дворни. Оберегательница Оксаны, старуха Домаха, иногда прихварывала, и полковник отпускал свою пленницу гулять либо с кучером Самойлой, либо с новым слугой Аксеном. Самойло и в прогулках не покидал своего мрачного настроения, беспрестанно вздыхал, бормотал себе под нос не то молитвы, не то упреки и жалобы на свое горемычное положение, что вот живет он теперь, как пес бездомный, что у него виду-то божьего нет, то есть паспорта, что заставляют его иногда нехорошие дела делать, и уж тут хоть что ни говори, а приказания барина ослушаться не следует, и что кто его и похоронит-то, когда он тут без вести пропадет, без

толку мыкаясь, а что в России у него и женушка брошена, и детки малые там есть, верно, плачутся на него, житье свое бесталанное и беспомощное проклинают... Воркун был Самойло большой, на грудь он часто жаловался, что лошади полковника его как-то раз побили, когда он их наскакивал в четверне. Походит Самойло с Оксаной за воротами, кнутиком по траве помашет и воротится. Скучно ей было ходить с ним.

— Дядюшка, пойдемте хоть чуточку дальше, вон к овчарням, либо хоть к тому вон колодцу дойдем! — говорила Оксана, похаживая по травке.

— Нельзя, сердце, нельзя! Барин увидит; пора уж и домой. Теперь тоже ходи с тобой, а там лошадей пора кормить, коляску помыть надо беспременно.

— Ах, какой же вы, дядюшка Самойло Осипыч! Ну, хоть вон на тот пригорочек, дайте я сама добегу. Ноги дайте размять, сердце мое, вся душа во мне изныла... Какой он вам барин!

— Нельзя, о, и не говори лучше! Барин морду побьет: тебе ничего, а мне каково, как уйдешь?

— Да что же каково-то?

— Да как ты убежишь, говорю, от меня вовсе-то?

— Куда? Я? Бог с вами, дядюшка! И что вам приснилось!

Самойло не сдавался и ворчал поминутно, не покидая Оксаны и подозрительно поглядывая на свою спутницу. Оксана начинала плакать.

— Постылая-постылая, проклятая жизнь! Боже, господи,— говорила она,— хоть смерть пошли, хоть кару какую небесную, болезнь — чтоб я ослепла, горя своего не видала; чтоб красота моя пропала, чтоб и не смотрел он больше на меня, отказался бы от меня!..

Самойло вынимал из-за сапога трубку, набивал ее и, поглаживая седую широкую бороду, начинал дымить любимый тютюнец. Оксана смотрела вдаль. Слезы душили ее. Она старалась в сизом тумане разглядеть если не самый Святодухов Кут, то хоть бы путь к нему, хотя бы, среди печальных и обнаженных нив и сенокосов, холмов и лощинок, затерянную туда степную дорожку. По этой самой дорожке еще так недавно летел полный надежд на барыши студент Михайлов, невольная причина ее печального похищения. Вспоминаются Оксане еще недавние любимые ее песни, которым ее учила старая дьячиха. Она старается запеть их, стоя поодаль от Самойлы на

пригорке, за оградою дома, но слова и голос ей не служат. И песни-то она будто уже все забыла. Она усиливается, напевает... Голос ее дрожит.

— Э, сердце! Да ты песни хорошие знаешь! Спой-ка еще, спой; я барину скажу, ты и ему запой, он тебе подарит что-нибудь.

Оксана Самойле отвешивала низкий поклон.

— Оставьте меня, дядюшка, увольте! Коли я жива, то не томите, меня в гроб заранее не гоните! Пропала моя честь, и душенька моя распропала... горько-с!

— Да разве тебе плохо тут жить-то, разве тебя не холят все? Или ты его и взаправду не любишь?

— Не спрашивайте меня про это; про это доля моя знает, бедная, горемычная... Маюсь я так-то у вас, почитай, как неживая...

Дважды, впрочем, в первые месяцы пыталась Оксана убежать. Один раз нашли ее на сеновале, куда она спряталась было, как-то уйдя до зари сверху из дому и ожидая, пока ворота отопрут. Потом она тайком переоделась в платье Домахи, повязалась ее старым платком, накинула на плечи ее шубейку и с ведром так дошла было уже до колодца. Но тут узнал и воротил ее поваренок Антропка. Сильно она просилась у него, молила его, кланялась ему, обещаясь заплатить за свой побег.

— Э, сволочь! — заключил на эти вопли Антропка,— еще на вас смотреть! С жиру беситесь! Марш назад, к барину-то! Чего слезы распустила! Туда же в недотроги мостится!

И он ее силой воротил, притащив в самый кабинет полковника, которого, впрочем, тогда дома не было.

Строгости надзора над Оксаною не прекращались.

— Пока она у меня, всем вам двойное жалованье,— решил Панчуковский, созвавший всю дворню по случаю этого второго приключения,—слышите? всем двойное жалованье, сколько бы времени тут ни прожила.

— Слышим,— будем стараться-с!

— А тебе, Антропка, вот... за услугу!

Полковник бросил Антропке депозитку. Тот ему ручку поцеловал.

— Так я же, смотрите, не шучу. А уйдет, всех долой прогоню... Слышите?

— Будьте спокойны-с; мы уж не выпустим Оксанки-с.

— Да языки держите тоже на привязи; а выйдет что-нибудь какая сплётка,— кроме того, что прогоню, еще вздую. Слышите? плети! Ведь вы меня знаете.

— Слушаем-с, как не знать! — ухмылялась беспаспортная дворня.

— То-то же!

Полковник в тот же вечер, после нового побега, отправился наверх к беглянке.

— А тебе, плутовка, не стыдно? бросать меня, а? Ну, скажи, не стыдно? Что тебе отец-то Павладий? Лучше тебе там жилось что ли, как ты там стряпала, дрова да воду носила?

Молчание.

— Домаха, уйди отсюда...

Домаха вышла за двери. Полковник с Оксаной остались одни.

— Оксаночка, не стыдно ли? Ты здесь, как у матери в холе! А бросишь меня,— ведь я поймаю, что тогда будет? Ведь я со дна моря найду тебя опять!

Опять молчание. Полковник треплет пленницу по щеке, обнимает ее, целует, на колени к себе посадил.

— Ведь я тебя не упущу больше; ни-ни! извини, уже, шалишь! Никому тебя не отдам...

Новое молчание.

— А поймаю,— извини: на конюшне, душечка, высеку... О, я злой на это! Чик-чик,чик-чик! да!..

Оксана становится белее стены. Полковник обнимает ее еще крепче.

— Да, уж за это извини, я не люблю шутить! У меня будь, мое сердце, покорна — озолочу тебя, а непокорна — и сам прогоню, только прежде розочек всыплю... Ну, что же ты молчишь? Целуй же меня, ну, обними!.. Вот так! да крепче, крепче... еще!

«Боже, господи! Хоть бы ты убил меня тут! — думает Оксана, обнимая полковника,— или хоть бы я на это змеей была, чтоб от моих губ-то он сырою землею почернел!»

— Да что же ты молчишь, насупилась, будто сердишься на меня? Э! Я этого тоже не люблю, ты знаешь! Ну, коли убежать хотела и тебя простили, так смейся! Смейся же, говорю тебе, смейся!.. Вот так, так... Ну, а теперь опять целуй!.. так! и опять смейся!.. Покоришься, будешь по воле жить... у меня тоже мещаночка такая была!..

Оксана сквозь слезы обнимала Панчуковского, приневоленная, ластилась к нему, скрывала горе и муки свои. А когда она оставалась одна, то рыдала, весь свет проклиная; ей особенно мучительными казались немые стены ее вышки, и она долго-долго, сама не зная о чем думает, смотрела все на узенькое окошко с железною решеткой в своей комнатке да на двери, будто все ожидая кого-то и будто не веря еще, чтобы ее мучению не могло быть когда-нибудь нежданного конца.

Зато с новым слугою полковника Оксана любила гулять в те дни, когда более и более хиревшая оберегательница ее Домаха не сходила по целым дням с своего коврика, от ее дверей, из темного уголка на верхней площадке лестницы. Аксентий Шкатулкин был человек уже не первой молодости, сильно потертый, как видно, и помятый жизнью. Он держал себя весело, но вместе с тем как-то степенно и набожно, как многие русские люди, окончательно положившие перейти от широкой и загульной жизни к покаянию, если только этому покаянию выпадало на долю действительно когда-нибудь осуществиться. Он ходил чистенько, не пил, не шумел, не бегал в шинок, тотчас сошелся со всею дворнею и часто молился вслух, особенно на сон грядущий. В его полотняной сумочке, когда он смиренно приплелся от Шульцвейна к полковнику, оказались и были замечены дворней кожаный бубен с погремушками и святцы.

— Да вы, почитай, не из духовных ли? — допрашивали его на первых порах дворовые полковника.

— О, никак нет-с! о, ей-же-богу, нет! Я простой-с... человечек так себе-с...

— Так, верно, вы из музыкантов чьих-нибудь, того-с, тягу дали?..

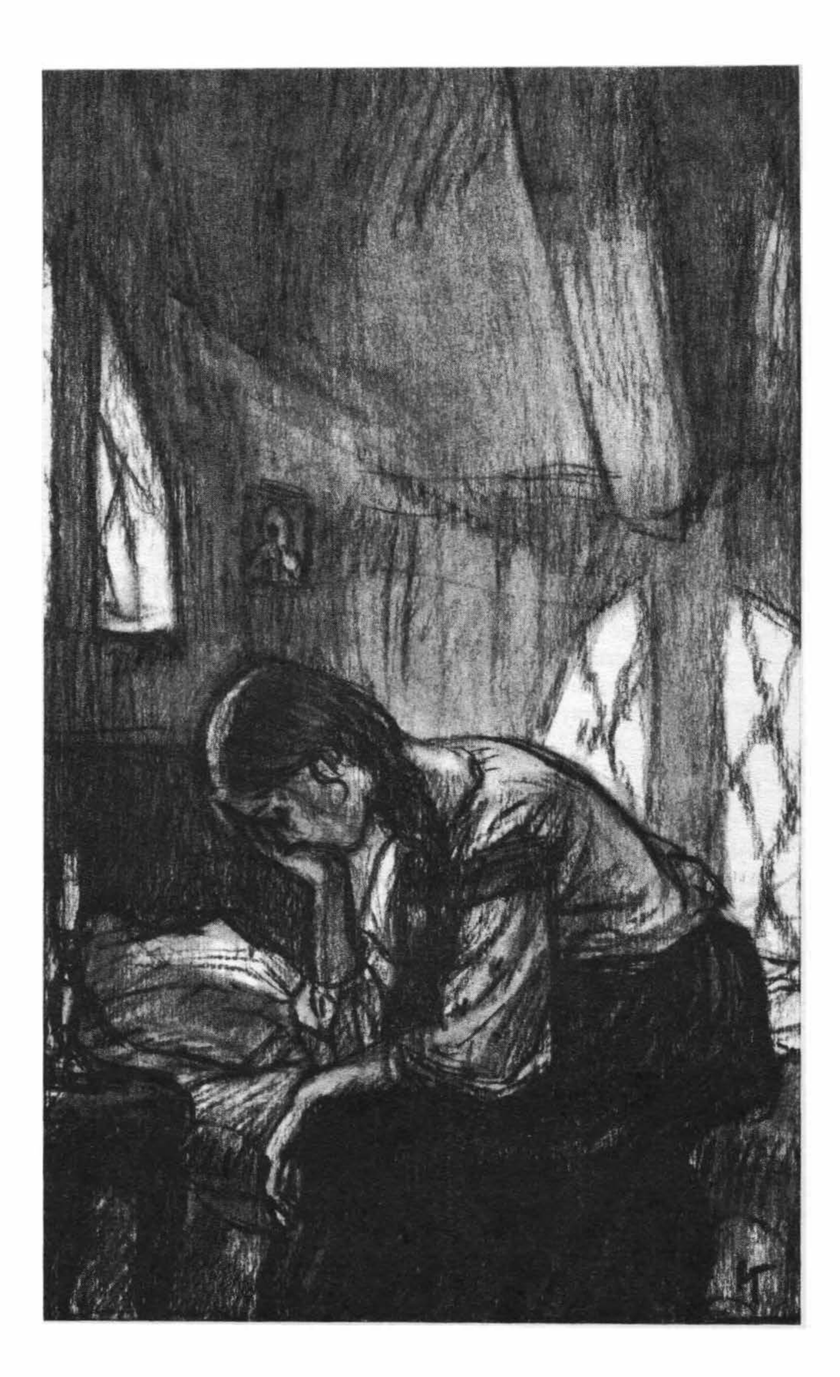
— О нет! и это, ей-же-богу, нет! и не из музыкантов.

— Так зачем же вам бубен да святцы?

— Когда мне скучно бывает, я помолюся; когда же весело — в бубен поиграю...

— Бррраво! — закричал на это кто-то из батраков,— таких-то нам и надо!

Оксана, повторяем, не отказывалась гулять с Аксентием. Уйдет с ним за ворота, а там к батрацким избам, к овчарням, к колодезю, а часто и в поле. Сядет с ним на пригорке, слушает его, смотрит в степь на поля, как там



на зиму под жито пашут, вороны за плугом ходят, или сама что-нибудь говорит Шкатулкину, облегчая душу.

— Вы вот, дядюшка Аксентий Данилыч, не то, что наш Самойло Осипыч.

— А как-с так, моя царица? говорите.

— Да вы вон тоже приставлены, а добрее его.

— Вы полагаете-с? Быть тому не может-с! Так ли?

— О как же! И еще я-с впервые, можно сказать, вижу такую услужливость, хоть вы и стары-с, дяденька.

— Вы полагаете? Так-с! пусть я стар. А вы бы меня полюбили, коли бы я, примером сказать, не холуй был, а тоже, положим, полковник-с? Отвечайте на это, барышня, а?..

Оксана повеселеет от шуток Аксентия и часто, бывало, шутит с ним, смеется от души. Они в поле и в карты на виду у всех играли. Либо Оксана шьет, а Шкатулкин сядет против нее, поодаль на корточках да посвистывает, в бубен играет. Полковник сам это видел иногда с балкона и хвалил Шкатулкина за услужливость.

— Вы, барышня, сиротка-с? — спрашивал Аксентий.

— Да-с. А вы?

— У меня не спрашивайте. Я непотребен-с...

— Как-с, непотребны? Это как-с?

— Я бродяга-с чуть не сызмальства. Отца-мать хоть и помню, да что толку? Мало они меня учили, что таким дураком стал.

— Жаль вас, жаль, дяденька...

— Да что меня жалеть-то? Говорю вам, что я никуда не годен-с стал. Вы вот лучше, барышня, скажите... правда ли это, что вы... дочь убитого беглого-с бедняги, бурлачка-с?.. того вот, что тут неподалечку когда-то был зарезан, тоже... извините... другим бродягой-с!

— Правда... ох, правда, дядюшка! я самая и есть... А вам меня жалко? Кто вам сказывал?

Шкатулкин мялся на месте, закидывался навзничь, посвистывал и опять вставал. День вечерел. Они сидели у колодца, над оврагом, в виду широкой зеленой поляны, по которой паслись овцы и лениво ходил пастух.

— Мне-то вас жалко ли? — замечал Аксентий, оглядываясь, — мне-то жалко ли?

— Да-с.

— Еще бы вас не жалеть-с, когда я... так сказать... с вашим батюшкой, выходит... с тем-то вот, значит, с зарезанным...

— Ну, ну?

— Я с ним, с вами, выходит, вместе и шел в это-то место, когда впервые бежал из России...

— Так вы, дядюшка?..

— Э! уж вы, барышня, и допрашивать? Скоро больно! Я только говорю вам, знал вашего покойника батюшку и мертвым его видел, как хоронили его, бедняка, в Таганроге; в больнице он и умер-с... А вас вот только девочкою видел... Только вы никому ни слова про то,—слышите? А то меня откроют. Ведь я тоже несчастный-с, в бегах от господ... Я и убежал сюда. А вы молчите: что толку-то сказать! Я вам не помогу... Моему же барину, полковнику, я ныне привержен, аки раб-рабский, и готов за него в огонь и в воду-с.

Читатель, разумеется, уже угадал, что Аксентий Шкатулкин был не кто иной, как давно нами оставленный Милороденко, некогда друг и вожака Левенчука! Судьбе угодно было, чтобы в новых подвигах своих, спасаясь от поисков нахичеванской полиции, он попал теперь именно в дом главного свата всех беглых в крае, Панчуковского, чтобы встретиться у него с Оксаной, о детской судьбе которой первый он же передал когда-то бедному Левенчуку, идя с ним глухими дорожками на юг в степное приволье. И этой же судьбе, наконец, угодно было, чтобы Панчуковский, получив газеты от своего кровного недруга, отца Павладия, не прочитал в них публикации о последних беглых, с описанием примет Милороденко и его страсти к светскому разговору.

Оксана между тем сильно обрадовалась, что встретилась с человеком, хоть и преданным ее губителю-полковнику, но, как видно, с добрым, честным, разговорчивым и жалостливым. Ее радовало на ее скуке и то, что между нею и слугою полковника затеялось даже и нечто сокровенное, тайна завелась; он видел ее когда-то в детстве, видел и бедняка, ее отца, которого она сама не помнила, просил ее не говорить об этом никому, и она молчала, держала слово.

— Аксентий Данилыч, голубчик!—сказала она ему однажды, сидя с ним на крыльце и гадая ему в карты,—я все вам скажу, про все загадаю, только сослужите мне службу!

— Какую?

— Помогите мне уйти к отцу Павладию или известите его, дайте мне воротиться к нему!—шептала Оксана, оглядываясь.

Шкатулкин на это громко расхохотался, так и залился колокольчиком.

— Ах, вы шалунья, барышня! Да разве это возможно-с? Да меня полковник за вас щелчком, одним махом порешит-с! Что вы! Да я ему предан... я ему предан, как отцу родному. Куда! сказать правду, и родному отцу-то я вряд ли был бы так предан.

Оксана смиряла пылкие надежды, просила ей хоть огурчика тайком пронести, селедочки: ей начинало что-то жечь под ложечкой! голова все кружилась. Аксентий на это усмехнулся, смекая о близкой радости полковника. Зато в другой раз сам Аксентий заводил такую речь:

— Барышня, а барышня!

— Что?

— У меня тоже к вам дело есть...

— Какое?

Это было в воскресенье. Самойле и Аксентию барином было поручено свозить Оксану в соседнюю греческую деревушку, в церковь, куда почти никто из православных помещиков не завертывал. Она давно просилась у полковника помолиться. Верные слуги исполнили приказ в точности. Освежили пленницу прогулкой и дали ей вместе с тем помолиться. Аксентий вошел с ней в церковь, дал ей сделать три поклона, поцеловать образ, прочесть молитву и вывел ее обратно, «Будет-с!» — «А как крикнула бы я в церкви?» — шутила дорогою Оксана. «Э, вы не заметили, там наши батраки были... барин и об этом распорядился...»

Итак, Оксана спросила у Шкатулкина, какое же у него к ней дело. Они ехали в коляске. Самойло сидел на козлах, а Шкатулкин рядом с Оксаной внутри экипажа. Они говорили шепотом.

— Вы вот меня все за старика считаете, барышня, а у меня душа молодая. Мне жаль вас, очень жаль, барышня! Скажите: что если бы настоящий-то... ваш милый, Левенчук, что ли, он вдруг явился бы к вам?

Оксана побледнела и чуть не вскрикнула. Аксентий ее вовремя остановил.

— Любите ли вы его по-прежнему, барышня, своего-то дружка настоящего, мужика-то, нашего брата? Любите? Или вы совсем...

— Не мучьте моего сердца, Аксентий Данилыч...

— Да скажите, любите? Или вы от барина уж не отстали бы?

Оксана склонилась на грудь, руки ее упали, слезы выступили из глаз.

— Люблю... я-то люблю Левенчука... да только в глаза-то ему как я теперь посмотрела бы?.. И как он теперь меня захотел бы вызволить?..

— В глаза? Он-то?

— Да!

Аксентий посвистал будто про себя.

— Как вы, а я бы еще сызначала штуку барину бы сделал...

— Какую?

Аксентий ничего не ответил.

— Грех вам, дядюшка! Вы думаете, что я охотой...

Оксана залилась слезами.

Лошади добегали уже к хутору. Оставалось версты две.

— Дядюшка! — шепнула судорожно Оксана.

— Что, мое сердце? Фу, какая вы антиресная!

— Что вам дать за волю-то мою?

— Чем заплатить-то мне?

— Да.

Аксентий склонился к ее уху:

— Коли бы у вас хоть миллион был, барышня, а я, значит, моего барина, распредобрейшего Владимира Алексеича, ни за что бы не променял. Я пошутил-с! Будьте ему покорны во всем, аки я сам раб, смерд-смердящий, верен ему! Это вам-с мой совет.

Подъезжая к воротам, Шкатулкин сказал опять:

— Вы обо всем, что я вам говорил, ни гу-гу. Слышите?

— О! я-то никому...

— То-то же, барышня, а то ведь я и ножом пырну! Скажете — я, значит, пропал, а меня не замай — в острог-то не хочется...

Аксентий ловко отворотил конец рукава и за лацканом показал нож. Оксана помертвела.

— Это-с я всегда про запас ношу. А вы будто ни про что и не слышали. Я здесь чужой и вы чужие-с... Выдадите про мои лишние с вами разговоры, ведь ничего не выиграете. Пожалуйте-с ручку, сударыня, приехали! Миль-пардон! — добавил он громко, уже у крыльца.

Ловко выпрыгнув из коляски, Аксентий свел Оксану еще ловче по ступеньке наземь, потом в сени.

— Вам бы нашей барыней быть. повелительницей, полковницей! — весело заключил он, снимая шляпу с кокардой, когда Оксана в яркой алой клетчатой юбке и в дорогом платке и монистах входила с крыльца в сени. Полковник начинал одевать ее щегольски.

— Лошадей выпрячь, да и выводить получше! — крикнул между тем полковник из окна кучеру, не без радости подхватя на лету слова Шкатулкина и самодовольно любуясь соблазнительною красотой Оксаны, ее здоровым полным станом, густыми русыми косами, побледневшим и слегка захудалым лицом, слегка впалыми томными глазами, и этим живописным украинским нарядом, шитою пестрыми шелками сорочкой, монистами и яркою алою клетчатою юбкой.

«О! теперь я за нее спокоен, она не убежит! — решил в восторге полковник, провожая глазами щегольскую четверню любимых лошадей, удалявшихся в мыле и в пене к конюшне.— Вот я поеду на торги, пшеницу продавать в Бердянск и ее возьму, в театр повезу, еще платьев ей понаделаю. Наряды кого не соблазнят!.. Да, кажется, она уже и беременная... Все в ней хорошо; пылу только этого нет; какая-то вялая будто, тихая да молчаливая...»

Где-то, у кого-то при каком-то разговоре у Панчуковского завязался спор о преданности владельцам крепостных дворовых. Полковник доказывал, что верность и честь — принадлежность одних людей благородной крови, что если есть звери породистые, то есть и люди породистые, люди белой кости.

— Я, господа, демократ в душе; но кровь, лучшие предания человеческой семьи — это такие вещи, такие, что я...

— Ах, полковник, ваша правда! — перебила его соседка Щелкова, протискивая свой чепец и свой чубук в кружок, по обычаю обступивший местного Токвиля,— я вам расскажу свежий пример...

— Какой? Какой? — спросили слушатели.

— На днях я ездила к золовке моей, за Дон. На одной из этих скверных донских станций собралась огромная толпа проезжающих. Куча всяких подорожных лежала на столе, а лошадей никому не давали,— ждали какое-то важное лицо третьи сутки...

V

— Это ужас, ужас! Вот наши почты! вот злоупотребления...

— Не в том дело,— сказала Щелкова,— а вот в чем. Тут же сидела, скучая, одна почтенная и премилая дама, помещица из России. Она молчала, ни с кем не вступала в знакомство, вся в черном, и маленькая дочь с нею. Ее поразило необычайное происшествие: крепостной слуга ее мужа — кажется, покойного уже — мальчик лет двадцати пяти, на которого она возложила в пути все свои нужды, все чемоданы и ключи ему сдала,— этот мальчик, пользуясь хорошей погодой — а погода тогда стояла чудная,— выходил часто за ворота и на крыльцо станции... все смотрел вдаль, я сама это замечала, будто дивился нашим местам; еще подслеповатый такой был и как будто загнанный, скучный,— смотрел-смотрел...

— Ну-с, ну?

— Да как был в одном сюртучишке и замасленном картузе,— и дал тягу в степи, пропал без вести.

— Это ужас! — шептали дамы.

— Какая же причина? — допрашивали мужчины.

— Гм! простая-с! — злобно и вместе насмешливо ответила, кашляя, Щелкова,— очень простая, как же вы не догадались! Уж это у нас народец такой, не вези его сюда! Как приехал, поставил нос по ветру, почуял волю — и драло! И край-то здесь, упаси господи! Мне что! Я больше вольными работаю; да где денег-то взять, где взять их нам, горемычным?

— Что же, нашли этого лакея?

— Куда вам его тут найти! И бежал-то он, как говорят, потому, что через барыню ожидал попасть в чужие знакомые руки. Так на станции ямщики после толковали.

— Барыня же это кто такая?

— Перепелицына. Я в подорожной смотрела, Перепелицына из Моршанска.

Панчуковский чуть не уронил стакана с чаем, бывшего у него в руке, и едва мог скрыть волнение, охватившее его при этой вести.

— Как вы сказали? — отнесся он, сколь мог свободно, к Щелковой.

— Перепелицына-с... Так мне сказали и в подорожной так прописано.

— Где же она теперь?

— В Севастополь, что ли, на могилу мужа, кажется, поехала.

— А мальчик?

— О нем она становому послала объявление и сильно-сильно была стеснена его бегством. Он, впрочем, ее не обокрал, и она его очень любила.

— Местечки-с! — насмешливо завершил этот разговор полковник.

После обедни у отца Павладия в одно воскресенье сидел в гостях причт другой вновь устроенной соседней церкви.

— Вы слышали, батюшка? — передавали весть Щелковой услужливые собеседники,— тут возле, по донскому тракту, ехала помещица и ее лакей на дороге бросил?

— Нет, не слышал. Куда же она сама-то ехала?

— В Севастополь, что ли,— ответил соседний пономарь.

— Что вы, что вы! В нашем уезде, в нашем городе уже живет, поселилась и квартиру у моей тещи наняла! — возразил дьякон.

— Зачем же это она приехала? — спросил отец Павладий.

— По делам. Никого не принимает, живет тихо, в церковь только ходит к отцу Анисиму и, кажется, очень скучная. К дочке учителя искала.

— А лакей ее?..

— Так и пропал без вести; ключи от чемоданов унес, должно быть, по ошибке, а вещей ничего не тронул.

— А!

Панчуковский, неведомо ни для кого, нанял у колониста за Мертвою фургон и поехал за Дон. Там он легко нашел станового, которого имя узнал от Щелковой, явился к нему, будто бы от лица помещицы, у которой сбежал слуга, назвался чужим именем, предложил становому малую толику за справку, получил доступ к его переписке и с худо скрываемым трепетом сел читать объявление Перепелицыной о слуге. Становой, обрадованный в своей глуши нежданно упавшею с неба манною, толкал из приемной своих грязных ребятишек, извинялся, что жена его нечесаная попалась гостю на крыльце, и передавал какие-то новые политические слухи.

Панчуковский впивался глазами в каждую строку простого, по-видимому, и незамысловатого объявления. Из последнего только, кажется, и можно было узнать, что вот бежал лакей Петрушка Козырь, а приметы ему такие-то, то есть почти никаких, как водится.

— Уж и край! — проговорил становой, как видно начитанный и литературно натертый малый,— вон этого зовут Петрушкой! Да если бы сюда Чичиков из «Мертвых душ» заехал, и его бы, кажется, Петрушка тут от него бежал, почуяв здешнюю волю, о которой они там на севере-с и не предполагают...

Панчуковский, увидев в бледном и смиренном, по-видимому, становом такие литературные занозинки, сдвинул брови, и, как ни занят был другими мыслями, резко спросил:

— Вы где учились?

— Из здешней войсковой-с гимназии исключен-с за стихи на инспектора классов-с.

— Гм! Когда же у вас времени хватает здесь за службой еще книжки читать?

— Находим-с. А вы тоже любитель просвещения?

— О да! да!

— И у вас книжки хорошие есть? Вот если бы почитать! Здесь один ученый журналист недавно проезжал на Тамань. Я узнал о его проезде через мой участок и тридцать пять верст за ним гнался, чтобы только увидеть его.

Панчуковский кашлянул, ничего не ответил и, кусая до крови ногти, опять стал перечитывать бумагу. Он встал, начал надевать перчатки.

— Куда же эта барыня проехала?

— Не знаю-с.

— Слугу не нашли?

— Где их тут найти! Помилуйте! У нас тысячи, десятки тысяч таких дел о беглых...

Панчуковский вышел на крыльцо.

— Одно могу сказать,— прибавил становой, в мундирном сюртучке сбегая с крыльца к фургону,— я стал вносить дело об этом-то Петрушке Козыре в опись да по алфавиту наткнулся на дело еще другого Козыря... Последнее тянется уже лет десять и много становых на нем сменилось; оно об одном лакее, которого зарезал какой-то косарь; и этого лакея тоже звали Козырем — он при смерти так объявил в больнице, где умер...

— Прощайте!

— Прощайте-с.

Панчуковский уехал, не дослушав последних объяснений станового. Его занимали другие мысли.

Становилась настоящая осень.

— Что, сударь, вы не поохотились бы теперь на зайчиков да лисичек? — спросил утром полковника новый его камердинер, Аксентий Шкатулкин, по своему обычаю, весело посмеиваясь перед барином, виляя добродушною и смазливою, хотя уже с седоватыми усами, мордочкой и играя живыми подвижными глазками. Он бережно и степенно одевал ноги полковника в сапоги, а полковник лежал на диване в халате и лениво раскидывал мыслями: что ему в тот день делать? На душе его было светло-светло.

Полковник молчал. Солнце чуть глядело в окно. Камердинер снова заговорил:

— Я. спрашиваю, сударь, не манит ли вас теперь поохотиться с собачками или хоть с ружьем? Деньки вот бывают уж серые, мороз морозит, туманчики в поле прохладные переливаются-с! Вот бы в степь-то... а?

— А ты разве охотник? Тише надевай чулки: там мозоль вон есть.

— Был когда-то-с я и в охотниках! Был, да мало ли еще чем я не был.

Шкатулкин вздохнул.

— Ты откуда бежал?

— Из-за Полтавы-с... Не верите? Ей-же-ей, не лгу!..

— И давно?

— Да лет десять-девять будет-с.

— Ну, скажи же ты мне, Аксентий, да по правде: где ты все это время бурлачил?

Аксентий умильно улыбнулся, кашлянул, сложил на руках платье полковника, стал в вежливую, вместе почтительную и шаловливую, картинку, губы сдвинул еще добродушнее, глаза окружил беловатыми, кроткими, смеющимися морщинками, брови насупил, вздохнул опять и ответил:

— Извольте, сударь, спрашивайте!

— Где ты был, я повторяю, за все эти девять, что ли, лет твоего побега?

— Везде был понемногу: где ночь, а где день, а где и того меньше.

— Так все бурлаки отвечают, а ты мне скажи по душе...

Аксентий засмеялся и глянул в сторону.

— Извольте. Спрашивайте опять, еще подробнее! — сказал он, шагнувши к полковнику ближе и опять свертываясь руками, ногами, головой и всем телом в ту же услужливую, любезную и вместе добродушную картинку, — я вам все открою-с, все... Ну-с?

— Я тебя будто видел где... Будто ты у меня когда-то или работал, или просился работать? Я что-то, братец, помню тебя...

— А может быть! Нет, барин, нет. Я вас вижу впервое. Везде перебывал я в этом краю-с, а у вас не был! Был я и в Киеве, и в Житомире-с, и в Умани, и в Одессе, и в Пятигорске-с, а у вас не был, ей-же-богу-с,не был! Что вы! Разве мне лгать?

Панчуковский зевнул.

— Чем же ты промышлял в бурлаках, до поры, как нанялся у Шульцвейна? Расскажи, брат, от скуки.

Аксентий опять кашлянул.

— Да не знаю, как вам и сказать-то...

— А что?

— Видите ли, сударь, вы холостой, вам можно сказать: господа это называют клубничкой-с! Я охотник, видите ли, до бабочек-с; люблю-с этот хрухт...

Панчуковский, не ожидавший такого ответа, сам прыснул со смеху.

— Как, как? Ах ты, шутник, что отмочил!

— Ей-богу-с! Я большой-с ходок по женским делам-с! Всю мою жизнь, можно сказать, на это потратил; видите ли, откровенно вам говорю: в ума помрачение впадал. И нет тут села, городишка, где бы я свиных дорожек к красоткам не топтал... Вот и седина уж пошла в усы и в бакены-с...

— Э, да ты мне находка, Аксентий! Я сам, братец, как видишь, любитель. С покойным Абдулкой мы многие дела решали. По правде, жаль его. Тут была у нас история из-за одной горожанки... Он мне тогда очень помог, и я этого никогда не забуду.

— Да-с, слышал-с; тут и градоначальник, кажись, сердился?

— Так ты все знаешь?

— Как не знать-с. А теперь зато, ух, славная, сударь, девочка у вас от попа. Мы про нее еще у Шутовки-

на слышали. Я и у него работал-с: он тоже ходок...

— Да ты у меня смотри, однако, Аксентий, ее не отбей! Ты еще мне рога наставишь! — шутливо заметил полковник.

— Как можно, сударь! Я дела-то эти знаю-с. У меня тоже барин в России был-с, и я был ему тоже вернейшим холопом, рабом по гроб моей жизни-с. Меня и они по этим-то историям-с наряжали. И скажу вам, у барина моего все толстухи были, пуд по восьми-с, по десять... Да что-с? я и здешнему исправнику-с, господину Подкованцеву, одну гречанку поставил, девицу неизмеримую-с, сущую королеву Бобелину-с...

— Так ты и Подкованцева знаешь?

— Служил им тоже недели две. Уж без этого нам, беглым, нельзя-с. А господин исправник здешний — сущий отец нам, бурлакам-с; без него наше царство пало бы-с. Ведь мы народ-с иной: по натуре своей живем. Ну, и бывают приключения; когда разгуляешься очень, непотребность какую сделаешь, он-то и вспорет, а велит у себя отслужить,— и дело с концом. Далеко не тянет. А то иной раз продуется он с господами морскими офицерами в карты, и прямо уж нам скажет: эйн вениг аржанчика[1], братцы-бурлаки,— это, значит, деньжат дай ему малую толику...

— И вы даете?

— Даем; как не дать! На то он наш отец-командир. Без него и невода-с по всему здешнему вольному поморью, и донские гирла, да и ваши, сударь, степные-то, вновь поселенные, хутора опустели бы. Что птицы вольные, так и мы, бродяги, любим волю; не тесни нас только, а мы от работы не бежим!

— А правда, Шкатулкин, что в донских гирлах, в камышах и возле Нахичевани, беглые стали теперь паспорты печатать и всем раздают, а недавно стали и ассигнации стряпать? Как бы поживиться, братец, разменять этак сотенку-другую трехрублевых на ваши сторублевые?

Шкатулкин побледнел. Панчуковский этого не заметил.

— Не знаю, сударь, я по этой части не ходок-с... Мое дело сапожки почистить, коней или верблюдов напоить, в саду состоять. Как в старину, вон, шляхта говорила: «Кульбачить коня и хендожить буты». Вы — барин до-

[1] Немного денег.

брый, мы вас знаем; вы нас покрываете, содержите, и я бы вам сказал, да ничего не знаю... Чтоб мне почернеть, как та мать сырая земля, коли я что про это знаю.

Так объяснялся с полковником Милороденко-Шкатулкин, которого в то время именно земские власти разыскивали, как одного из коноводов нахичеванской шайки фальшивых монетчиков и делателей паспортов.

— На всякий, однако, случай, сударь, чтобы наш отец-командир господин Подкованцев не придрался к вам когда-нибудь за меня, то вот вам и мой билет.

Он достал из бокового кармана пачку бумаг, лизнул палец, отделил не без труда из них новенький паспорт и подал его полковнику.

Панчуковский покрутил носом и усмехнулся.

— Знакомое дело! — сказал он. — Зачем ты мне это даешь? Ведь я же знаю, что это не твой билет. Вон и подпись какого-то городничего, прямо несообразная.

— Как несообразная? это как-с?

— Да ясно — фальшивая, братец, и все тут!

— Нужды нет; держите. Я уж вам отслужу... И то я с вас против паспортных да вольных вполовину договорил жалованье!

Полковник взял билет, умылся, оделся, причесался и пошел наверх к Оксане. Пленница в эти дни уже не так строго содержалась. Она и по двору ходила, и в поле одна ездила с кучером в дрожках кататься.

Оксана особенно вдруг стихла и будто ожила, повеселела. Она заметно стала оправляться, а полковник начал невольно к ней привязываться. Заботы к ней и ласки становились без конца. Кроме Домахи, в услужение у нее показалась еще какая-то девочка. Оксана сидела наверху только днем, а комнату ей отвели уже рядом с кабинетом полковника.

Не успел полковник прийти к Оксане, пожурить ее за затворничество и свести, шутя и напевая, вниз, в кабинет, не успел он сесть на диван и посадить Оксану себе на колени, обнял ее и стал учить раскуривать папироску, — потайная дверь в одном из шкафов кабинета отворилась и из комнаты, отведенной Оксане, сквозь занавес просунулась любопытная голова Шкатулкина.

— Что тебе? надоел, братец! — сказал Панчуковский с досадой, что так нечаянно прервали его шалости с дамой его сердца.

Оксана вскочила и тихо отошла к окну.

— Извините, сударь, я не знал, что тут ходить нельзя, сквозь эти двери. Тронул задвижечку, а она сама это — чик! и отворилась... Я сам даже испугался...

— Да зачем ты сюда пришел?

— Барышне, сударь, счастье послано-с, караван на верблюдах с виноградом пришел. Не купите ли-с? Свежий, преотличный!

— Ступай; я сейчас приду.

Шкатулкин вышел.

— Ты, Оксана, смотри, не бросай так ключа от твоей комнаты; не пропало бы что у тебя! Видишь, все уж ходят через нее и в мой кабинет...

— Нет, не буду бросать ключа; я забыла...

— Пойдем же виноград новый покупать.

Полковник и Оксана вышли на крылечко. Солнце к обеду выяснилось. Туманы исчезли, и день сверкал чудным последним осенним блеском.

У ворот толпился веселый люд, дворня и батраки. Ряд заманчивых, туго нагруженных крымскими плодами, двухколесных арб стоял под оградою. Высились двугорбые, длинноногие верблюды. Татары в низеньких шапочках суетились возле, вынимая напоказ синие и зеленые гроздья.

Полковник купил запас винограду, велел запрячь резвую четверку, сел с Оксаной в фаэтончик, посадил на козлы Шкатулкина и покатил в степь, с ружьем — не наскочит ли где-нибудь на дроф или на диких гусей, а то и на своих в поле посмотреть!

— А ведь у меня весело, Шкатулкин? — крикнул Панчуковский на козлы.

— Весело, и боже! как весело! Ей-богу-с, вы особый из господ! Я люблю-с таких, как вы...

— Четверня каково мчит, Аксентий?

— Подхватывает, ажно дух мрет... ух! так ажно, будто лижет кто, лоскочет за сердце...

— Не русскому ли, братец, тут житье?

— С капиталами оно точно...

— Как с капиталами?

— Да у вас чай, сударь, казны достаточно?

Панчуковский помолчал и носом покрутил.

— Есть, братец, да и расходы большие! Все больше в обороте; дома... редко, что есть...

— Ну, и дома-таки, верно, перепадает! Не может быть, сударь! А вот я у немца этого Шульцвейна был,

так антихрист даже без свечей по вечерам сидит; все рассчитывает и на это, скаред.

— Мирно он живет с своею жёной?

— Все целуются-с старые черти-с, ажно противно! Я более по лакейству способен, а они меня все по хлебопашеству пускали; ну, я у них к вам и отпросился. А как я был у Шутовкина купца, так тот, как свинья-с: либо пьян, либо деньги считает! А дом — дворец.— Сударыня, поздний цветочек! — сказал нежданно Шкатулкин, вскакивая дорогой с козел, срывая цветок в поле и поднося его Оксане.

Та засмеялась, не брала его. Она хоть и покорилась, или, как отзывался о ней полковник, акклиматизировалась, но при людях еще сильно дичилась.

— Бери! — сказал полковник.— А ты, Аксентий, за свое? а?

— Я, сударь, уж Домаху-с вашу решился соблазнить! Вам молодка, а мне старуха.

Полковник смеялся от души.

Весело пробежали лошади верст двадцать в оба конца и на румяной, прохладной вечерней зорьке, все в мыле, снова подкатили полковника к крыльцу.

Темным вечером, после ужина, Панчуковский отпустил дворню спать и решился, однако, посмотреть, что делает его новый, такой развязный, слуга. Он вышел на крыльцо. На площадке, на верхних ступеньках, лежали его сапоги, сапожные щетки и стояла баночка с ваксой. У крыльца же, под окном, уже раздетый, в одной рубахе, несмотря на сиверкий вечер, стоял Шкатулкин. Он молился вслух на восток, вздыхал, зевал, почесывал себе грудь, руки и спину, поглядывал по сторонам и усердно клал земные поклоны.

«Слуга надежный, коли такой верующий! Это лучший признак! — подумал полковник и пошел в кабинет.— Спасибо немцу; хоть этим мне пользу настоящую сделал».

— Так ты, братец, набожный человек? — спросил слугу наутро полковник.

— Грехи замаливаю. Поклялся покаяться, остепениться. Вон, проседь в голову идет; дал зарок, без шуток, покаяться и трудом в мирные люди перейти...

— Ну, достал полковник слугу! — говорил отец Павладий дьячку,—ты видел? ведь это Милороденко у него.

— Видел.

— Ну, жаль же, что он газет тогда не читал! Да бог с ним!..

«Ах ты бедняк-бедняк, Харько! вот обработали,— рассуждал между тем как-то на крылечке Милороденко-Шкатулкин, наслышавшись вдоволь на месте уже, в Новой Диканьке, о происшествии с Левенчуком.— Ейбогу, и смешно и жалко! Да и задал же ты, братец, тут полковнику копоти, напугал его здорово. На добро я тебя привел сюда! Где же ты сам-то теперь, друг Хоринька! Вот бы повидаться! Наговорились бы, натешились, вспоминаючи былые времена, как я тебя-то от омута избавил, утопиться тебе не дал и сюда на вольницу привел. Только, по правде, не по-кавалерски здешние кавалеры с тобою, вижу, поступили: вместо того, чтоб тебе самим-то женщин вдоволь по старине предоставить, а они у тебя же еще бабу отняли, девочку-невесту! Не то прежде тут было; свет не тот стал! Боком вся земля повернулась! Куда ни глянь, все уж здесь другое будто стало, а не прежнее, когда тебе, бурлачку, все, бывало, предоставляли. Тут вон уж и сечь-то нас, вольных, стали, и разыскивать строже. В города же и не поткнися: полицейский, смердов сын, зверем лютым стал, так и рыщет и норовит тебя либо в морду, либо за шиворот! Где же ты, Хоринька, где, однако? Вот я теперь десять целковых в месяц жалованья получаю; вот оно! А тогда? Получали меньше, да лучше жить было. Не попасться бы, однако, не узнали бы тут у полковника! Да нет, вся дворня незнающая. И барин сам не выдаст; а то прямо в Сибирь... Вон намедни одного бродягу снабдил я серенькою депозиткою... Что же? погубил его! Девятнадцать лет он у Небольцевых табунщиком был, а попался; повели бедняка сперва к его барину, а оттуда прямо на Урал пойдет. Он обиделся, ушел, прошлялся, а теперь через меня и пропал...»

Раз съездил полковник в город, заезжал там, среди разных коммерческих дел, на почту, и воротился перед вечером сильно не в духе. Он ездил один с кучером. Прошел он через лакейскую сурово. Шкатулкин над чем-то у стола здесь портняжил, быстро вскочил, принял с барина пальто и вышел на крыльцо.

— Что это, Самойло Осипыч, барин наш сердитый такой приехал? — спросил он, сейчас прочитав на лице барина невзгоду.

— Из почтовой конторы вышел такой...

— Письмо, что ли, какое получил не по нутру, или денег от кого ждал?

— А шут его гороховый знает! — ответил Самойло, поглядывая с козел в окна, — откуда ему деньги! верно, письмо какое из Расеи получил.

— А барин сам откуда?

— Сказывают, с Волги, что ли; из Моршанска, надо быть... Служил в гвардии; да, должно статься, от долгов бежал сюда...

Аксентий дождался сумерек, внес в комнаты свечи, барину подал чай, и пока барин делал приказчикам распоряжения на другой день, сходил на вышку к Оксане, поиграл с нею и с Домахою, по обычаю, в карты, в свои козыри, и пошел к барину в кабинет постель стлать. Он вошел в кабинет со стороны залы. Перед альковом, где за занавесками стояла кровать полковника, он увидел на столике хлыст барина, шляпу и распечатанное письмо.

«А! — подумал он, — уж не обо мне ли розыски?» Подбежав на цыпочках к дверям в залу и в комнату Оксаны, он постоял, постоял, послушал и, будто убирая со стола, стал, нагнувшись, читать письмо. Прочтя его до конца раза два, он положил его обратно на стол и задумался. Смысл письма, очевидно, давно лежавшего в конторе, через которую полковник не переписывался, был ему непонятен; тем не менее оно его заняло.

«Что за госпожа Перепелицына из Моршанска?» — думал Аксентий, склонясь над столом.

Вот что было писано в этом письме:

«Любезный друг, Владимир Алексеевич! Семь лет прошло с тех пор, как вы меня бросили. Я вам не мешала нигде: ни в вашей службе, ни в свете, ни в семейной жизни. Я жила в заброшенном, отдаленном городке; вы блистали в высшем кругу. Вам понадобилась в гвардии лучшая обстановка: вы потребовали мой капитал и дали слово, когда устроитесь с квартирой и с эскадроном, перевезти к себе и ту, которая для вас пожертвовала всем. Я тогда была больна от родов. Я вам, не кончив лечения, выслала полную доверенность. Вы взяли, вме-

сто части, весь капитал. Вам понятно положение мое, когда вы приехали ко мне, в зимнюю страшную стужу и объявили, что все мое состояние вами проиграно в карты в петербургском клубе... Вы хотели стреляться; вы были вне себя. Я вам простила, хоть осталась из богатой женщины — нищею. Вы сказали, что думаете начать другую жизнь, хотите бросить службу и заняться частными делами, что теперь это увлекает всех. Я снова осталась одна в том же маленьком, заброшенном, отдаленном городке. Я ждала вас год, другой, третий. О вас пропали все слухи. Вы исчезли в толпе других, бросивших тогда столицы для частных спекуляций в губерниях. Наконец, ваша участь стала меня терзать. Невежда, как вы меня когда-то называли, грубая провинциалка, дочь уездного малограмотного купца, я томилась в одиночестве, скрывала от всех причину вашего отсутствия. Я боялась расспросами указать на следы нашей страшной истины, ждала и ждала. Вы исчезли без следа. Смерть? Я уже с нею тогда мирилась. Но вы были живы и забыли о нищете. Семья от меня отказалась. Вы знаете, как эта грубая, алчная семья терзала меня и прежде за вас... Желая вам угодить, я занялась книгами, музыкой, тайком стала брать уроки. Мои средства скоро совершенно истощились. Затворница с детства, как вы меня знали, после двух счастливых годов, погибших навеки, я опомнилась, посоветовалась с двумя-тремя близкими людьми. Мы решили снова, что слухи неверны и что вас нет на свете. Я уже тогда была здорова. И как не вовремя явилось мое выздоровление! Тьма сгустилась надо мною. Я продавала мои вещи. Я стала ездить по монастырям. Саше нашей пошел уже девятый годок. Я была в Киеве, Воронеже, в Москве. Одна ворожка мне наворожила и сказала: «Он жив, он жив; моли бога только; он к тебе воротится и красоты твоей довеку не погубит!»

Володя, друг мой, жив ли ты? Что я, безумная! Ты не любил меня; ты, не любя, из расчета сошелся со мною! Ошибаюсь ли я, тобою брошенная, измученная, забытая, презренная? Не помяни, Володя, меня лихом, невежду-дикарку, если ты жив! Хоть в нищете живешь, хоть в нагольном тулупе ходишь, — воротись ко мне! Наши моршанские купцы, родня мне, проездом с Дону, о вас, Владимир Алексеевич, от одного обиженного вами бедняка прослышали. Вы ли это, или я, безумная, ошибаюсь? Но они говорили мне много странного, непонятного? будто вы в богатстве живете, развратнича-

ете в том крае, слывете магнатом. Не однофамилец ли вы тому, кто мне глаза завязал? Объясните мне, пишите. Всему есть границы. Я долее не потерплю. Вы были в гвардии голышом; я вам одежду справляла, долги ваши платила. Слушайте: если... если я открою истину, если вы окончательно не что иное, как ловкий человек, как плут, замысливший поиграть мною, выжать из меня последние нужные соки и потом бросить меня, как негодный лимон, то я найду на вас суд и расправу. Билет в сто пятьдесят тысяч серебром, вероятно, теперь не проигран. Сроку я вам даю месяц... Следы ваши я открою теперь во что бы то ни стало... Я даже сама тогда явлюсь к вам... Ваша покорнейшая слуга Настасья Перепелицына.

P. S. Так я подписываюсь своим прежним именем. Приобретенного после я не уважаю.— Володя, родненький, или ты шутишь, не погуби меня... Пощади!»

В конце письма стояли год, число месяца и адрес писавшей, то есть Моршанск.

«Кто же эта госпожа Перепелицына? — продолжал думать Милороденко, облокотясь на стол и держа в руках простыню и подушку с постели полковника, как будто продолжал стлать ее,— верно, его полюбовишка. Да и хват же барин!.. да и денег же должно быть у него вдоволь: десятками тысяч владел! Так и есть: верно, купеческую дочку соблазнил и стянул капитал полюбовницы; так бы и мне с моей барышней сделать... Дурак был!..»

В комнату с шумом вошел Панчуковский и прямо кинулся к столу.

— Что ты тут думаешь, Аксентий? — крикнул он в досаде.

— Я-с? Что вы-с! Я постель стелю-с...

— Постель стелешь?

Полковник подозрительно посмотрел кругом и накрыл письмо на столе записною рабочею тетрадью.

— Стели же, пора, да иди! Меня приказчики разбесили...

— В секунду-с. Я, вон, ходил к барышне; в карты с ними поиграть,— ловко играют-с; обдули нас с Домахой; по носу били!

— Постой, однако,— сказал будто в раздумье полковник, все еще глядя на стол, где лежало письмо.

— Чего изволите-с?

— Дай вон мне с того шкафа из журналов «Отечественные записки»...

Милороденко пошел к полке. Панчуковский на него смотрел в волнении.

— Не то; ты берешь «Библиотеку для чтения»; прочитай надпись — видишь? Мне нужно «Отечественные записки».

— Никак нет-с, не могу-с... не знаю-с...

— Разве ты неграмотный?

— Неграмотный! — простодушно ответил Милороденко. — Э, сударь! когда бы я был грамотный, я бы в писари нанялся, да и нашей-то красавице книжечки бы читал! Меня еще мой барин принуждал читать. «Я, — говорил он тогда, — тебя, Аксентий, в приказчики приготовлю, учись!» Что ж, туп я был, так и остался... Как чурбан, бывало, стою и смотрю в книгу: там *ма* сказано, а я говорю *ва*...

«Ладно!» — подумал Панчуковский и, как будто мимоходом, быстро спрятал письмо в стол под замок, а требуемую книгу взял сам.

— Теперь иди, голубчик Аксентий, спать; я сам разденусь. Буду еще читать и счеты сводить сегодняшние...

— Счастливо, сударь, оставаться! Да богу господу помолитесь; он всегда покой дает. Я вон был буян и кутила; а таперь молюсь и чувствую покаяние.

— Ты думаешь? хорошо!

Ночью Милороденко снова подкрался с надворья к окну барина и стал смотреть: сквозь просвет в занавесках была видна часть комнаты. Полковник сидел перед письменным столом; на столе лежало то же самое письмо. Лицо полковника было пасмурно. Он грыз усы и ногти, закидывался на спинку кресла и два раза хватался за голову. Потом Панчуковский встал, достал из особого ящика ключи, выбрал один из них и нагнулся со свечкой к боковой, гладкой стороне стола. Милороденко не было видно, что он там стал делать. Верно, открыл какой-нибудь потайной ящик, потому что достал оттуда много бумаг, стал перебирать, вдруг оглянулся — замер было, будто послышав от комнаты Оксаны шаги, переждал, вскочил, добежал туда, удостоверился, что эти двери заперты, сел опять и стал снова копаться в бумагах... «Э, верно же, все про любовницыны угрозы соображает! А в том-то ящике, должно статься, и его деньги!» — подумал соглядатай.

Далее Милороденко ничего не видел. Возясь над столом и зацепив за занавеску окна, Панчуковский невольно уничтожил остальной просвет в стекле и тем прекратил последнюю возможность наблюдений над собою. Милороденко тихо спустился с откоса фундамента; держась за водосточную трубу, стал осторожно на землю, вошел в сени, почистил сапоги барина и стал опять, по обычаю, у крыльца, усердно вслух молиться, собираясь спать, вздыхая и почесываясь. К его молитвам привыкла вскоре и вся дворня.

XI

Отдача долга

Шутовкин передал учителю поручение полковника, и бедняк Михайлов, прогоревший на неудачной афере со льном дотла, взял у хозяина все свое заслуженное жалованье, занял еще часть у соседа под часы, сосчитал сумму и поехал, вздыхая, к отцу Павладию расплатиться с весенним долгом. «Проклятые чумаки! подвезли столько льну, что совсем разорили! — думал студент,— не удались мечты!»

Святодухов Кут много изменился с тех пор, как в чудную майскую ночь молодой аферист летел сюда с радужными надеждами на барыши и в то же время добровольным соглядатаем тайн тихого и уединенного уголка.

Теперь он с тоскою вступал в осиротевший, печальный двор отца Павладия. Совесть грызла его невольно, не сознавая тогда могущих быть последствий, и он был замешан в грустной драме, смявшей счастье этого смиренного приюта.

Двор студенту показался как-то особенно пространным, а церковь совершенно низенькою, и маковка ее уже будто не так сверкала золотом, как в ту улетевшую чудную, привольную и незабвенную ночь. Роща стояла безлистая, обнаженная. Сквозь ее редкие вершины уныло синел пруд. Ветер посвистывал, обрывая с веток последние листы. Дом священника был стар; побелка на нем потемнела от дождей, а местами с его стен осыпалась глина.

Подъехав на этот раз в тележке хозяина, Михайлов вошел в ворота и у плетня под сараем увидел священника. Отец Павладий с топором копался над колесом, остановился и сразу не узнал гостя.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте... Кто вы?

Священник наставил к глазам ладонь.

— Вы меня не узнали?

— Извините, не узнал...

— Михайлов.

— А! теперь узнал... Что вам нужно? Деньги, что ли, привезли?

— Что это? вы сами с топором работаете?

— Да! нечего делать; надо же чем-нибудь жить нам, горемыкам. Сам теперь вот я и лошадей пою, и свиней кормлю, и дрова рублю, и все починяю! Что делать! Такова уж наша участь!.. Была прежде и работница, да ваш же Дон Жуан украл, свел ее со двора...

Михайлов молчал. Кровь хлынула ему в голову.

— Я в этом не виноват! — сказал он, растерявшись.

— Что же вам угодно, однако? — сухо спросил священник.

— Я вам деньги привез; благодарю за ссуду...

— Пожалуйте в комнату; я сейчас туда приду за вами. Извините, теперь у меня прислуги нет, молодой человек. Так-то-с; не прогневайтесь... Уж чаю некому подать-с!

Михайлов пошел, думая: «Да, поделом мне! Дело скверное, а началось оно и сделалось почти через меня!»

Он печально вошел в комнаты. Там было все попрежнему. Тот же запах воска и ладана, та же чистота, те же свежие скатерти, пучки трав у образов, журналы и газеты кипами по столу и по стульям. Он взглянул: многие были не разрезаны, а другие даже в пакетах нераспечатанные. Вошел отец Павладий.

Сняв шляпу, он остановился у порога. Тот же подрясник, тот же гарусный старенький пояс на нем; та же красноватая мясистая лысина и утлая косичка, перевязанная полинялою ленточкой. Но маленькие, красные, вспухшие глазки были будто еще меньше и печальнее, борода заметно побелела и лицо осунулось. Он размахивал серою пуховою шляпой, собирался все что-то сказать резкое и суровое и не говорил.

— Ну-с, молодой человек, ну-с, так-то-с; да, спасибо вам, одолжили! Очень, очень вам благодарен! Просто разодолжили,— профессоров ваших надо благодарить...

Студент сидел, не поднимая глаз.

— О чем вы это говорите, отец Павладий? Разве я...

— Я говорю о вашем друге, о господине Панчуковском. Спасибо вам и ему за внимание. Берега нашей Мертвой ознаменовались таким романом, который бы прямо на бумагу, да и в журналы! И чего вы медлите его опубликовать?

— Да вы ошибаетесь, отец Павладий, вы смешиваете меня с полковником... Что же общего у меня с ним?

Студенту было совестно; он понимал, что кривит душою, он тогда угадывал затеи полковника.

— Что нам, современным людям,— продолжал священник, не отходя от порога, продолжая нелепо размахивать шляпою и не слушая Михайлова,— что нам бедные люди, всякие голыши сельские!.. Ограбить их, осмеять, отнять у них последние утешения и радости! Вот что. Да-с. Мало вам, господа, гребчих да городских продажных красавиц! Вы на наши тихие захолустья взъелись! И тут вас недоставало! Подло-с, да, подло! Извините.

— Да послушайте, что вы! Разве это ко мне относится?

Священник с досадою бросил шляпу на кушетку и сел на стул. Потом он опять вскочил и схватил со стола какую-то книжку.

— Ну, читайте, читайте! Что тут пишут, а? Порочат зло, проклинают ложь, насилия и неправду! А вы что сделали? Куда же ваши повести после этого годятся, ваши комедии и драмы, когда вы, ученый человек, с вором съякшались,— с вором, который по ночам гарцует, в чужие дома врывается и все безнаказанно творит, благо для этого есть у него деньги, связи и положение в свете? Я же везде искал и везде получил отказы на него! Для меня в этом деле все погибло,— все! Он смело и явно купил все свое дело, все свои новые утехи...

Священник замолчал. Грудь его тяжело дышала, руки тряслись, лицо побагровело.

— Позвольте вас спросить, наконец, господин Михайлов, отвечайте мне: для чего вы захотели спекулировать? Вам деньги были нужны?

— Да-с, я вам тогда говорил зачем,— ответил студент, теряясь более и более.

— Но вы обеспечены чем-нибудь? Уроки имеете? Зачем же и вы захотели еще более доходов? Отвечайте! Потребность времени, роскошь? Зачем вам были нужны эти новые барыши, за которыми вы погнались, заняв у меня деньги?

— У меня мать старуха в Одессе, дочь убитого поручика и жена бездомного капитана, моего покойного отца. Ей есть нечего на старости.

— А! У вас нищая мать! Вы для нее! Так зачем же вы не медленным трудом захотели улучшить свое и ее положение, а кинулись на быстрые барыши? То-то и дело! Где нечестные скорые доходы, там и товарищи-подлецы под руку попадаются. Так-то-с... Уж вы извините меня. Пожалуйте деньги-с... Я свое сказал. Хоть вы и не совсем виноваты, а хвост, батюшка, замарали... Не говорите: вы знали его умыслы...

Священник судорожно сосчитал поданные деньги, сходил в спальню, вынес оттуда расписку студента и резко подал ему.

— Слушайте, господин Михайлов! Вы еще молоды; много надежд у вас впереди; а я уже мертвый человек: одною ногой стою в темной могиле и другую тоже заношу туда. Кончайте получше курс ваших наук, да не кидайтесь на болезнь нашей Новороссии, на ее торговую горячку. Немало огромных средств и дарований она унесла к погибели; артистов сделала взяточниками, публицистов-с некоторых — ворами; оскотинит она, погубит и вас. Осмотритесь, приглядитесь к жизни: жизнь не терпит скачков! Вот хоть бы у меня мой садик и роща. Они теперь хороши. А ведь я тридцать лет сидел и тридцать лет трудился над ними! Читайте, учитесь, работайте... Извините меня, старика. Вы что более всего любите? Ну, скажите мне, что?

— Естественную историю, музыку-с... Особенно музыку...

— Ну, из естественных наук займитесь хоть ботаникой, степные травы собирайте, сушите; ведь имя составить себе можете одним здешним травником. Да Гумбольдта-с, Гумбольдта читайте, а не на манер бердичевских факторов маклакуйте! Или хоть нашими украинскими песнями займитесь. Эх, что за прелесть эти песни! Когда я был еще в Чернигове в бурсе, я много ими занимался и пел их пропасть со скуки, гуляя в семинарском саду да зубря мертвящие латинские вокабулы. Жена же моя покойница их отменно пела... Так-то-с! Украинские народные песни создадут еще со временем своих Моцартов-с...

Михайлов просидел у священника до вечера. Много переговорил он с ним, а еще более переслушал. «Эка,

дельный человек! — думал он о нем, — и в какую глушь закинут!»

Простился он с отцом Павладием, растроганный до глубины души. Он клялся заняться науками, бросить аферы.

— Прощайте, господин Михайлов. Желаю вам счастливого пути в вашу Одессу, да не возвращайтесь более сюда!

— Как можно! Я еще хочу взглянуть на ваш очаровательный Святодухов Кут, на ваши ключевые воды, на ваш сад и пруд!

— Пропадать им, видно, как и всему тут! Вы, я чай, слышали, какая участь постигла моего бедного помощника, дьячка Фендрихова?

— Нет, не слыхал... Что такое? Боже! вы меня пугаете. Я его помню, видел его у Щелковой...

— Он после покрова, нынешнюю осень, ослеп...

— Ах, бедняк! Где же он теперь? Вот бедняк, право!

— Да тут еще у меня на кухне живет; изредка в церковь на клирос ходит, — только совсем ослеп, как есть. Должно быть, ветром на него каким пахнуло, или роса такая пала. В две недели и ослеп... Или, скорее, просто такая уж, верно, ему судьба была на роду написана.

— Так вы теперь одни?

— Нет, его жена мне помогает, но у нее свое дитя есть; а я выписал, жду вот племянника к себе в причт; этого паренька, видите ли, выгнали из нашей семинарии тоже за разные разности; ну, я его к себе и сманиваю. Не скучно хоть будет... Парень даровитый, вот как и вы, науку прошел; только боюсь, не испортился бы тут...

Михайлов стал сходить с крыльца.

— А про мою воспитанницу что-нибудь слышали? — спросил с усмешкой священник. — Ведь вы когда-то ее у меня, помните, видели, и она вас тоже тогда, кажется, заняла?

— Нет, не слышал. А вы не знаете, что с нею теперь?

— Как же, как же, теперь уж я все знаю: у Панчуковского она поселилась окончательно; да то диво, что, говорят, ему отдалась совершенно и даже... стыжусь вам сказать... таково уж наше время... и помяните мое слово, Панчуковский поплатится, и поплатится сильно... А она?!

— Что же? Говорите!

— Говорят... уж и беременна от него... не прячется и открыто стала с ним ездить. В мой угол тридцать лет никакая людская напасть не проникала; я как в гнезде ласточки жил. А теперь что случилось!..

Михайлов пожал плечами, вздохнул, простился с священником и уехал. Шутовкина он не застал дома. Хозяин его был где-то по коммерческому делу. Было поздно вечером.

Ученики Михайлова уже спали. Он сел к роялю, склонил к его клавишам грустное лицо и свои белокурые пышные кудри, стал было играть и невольно заплакал... Потом он снова начал играть и играл с увлечением до утренней зари.

«Я буду артистом!» — подумал он, забываясь радужными грезами.

Солнце взошло.

У рояля, на кушетке, навзничь лежал и крепко спал Михайлов. Что ему снилось? Музыка, естественная история или новые соблазны спекуляциями?

Бог весть...

В доме у соседей Панчуковского, братьев Небольцевых, на екатеринин день, день именин их старушки матери, был праздник и большой съезд гостей. В числе других, разнообразных и разноплеменных лиц околотка, был здесь и полковник.

В осеннем темно-зеленом пальто, с орденской ленточкой в петлице, по-прежнему раздушенный и распомаженный, Панчуковский, однако, был, по-видимому, как будто не в духе. Столпившись в курительном кабинете, вдали от девиц и дам, гости-мужчины по-былому толковали о минувшем лете, о близости закрытия приморских портов, о ценах хлеба, каменного угля, о видах на весенние продажи сельских сборов и о местных скандалах всякого рода. Сидя на мягком диванчике и сверкая перстнями, запонками и щегольскими розовыми ногтями, Панчуковский, по обычаю, вскоре оживился и завладел общим разговором.

— Так вы думаете, что мы можем ожидать, с близкою реформой крестьянского быта, переселения народов к нам с севера, скорой колонизации здешних земель? Шалишь! Нет, господа, этого не будет! Будь я подлец, если не так!

— Отчего же? Вы все намеками говорите, полковник...

— Отчего? вот забавно!

— Да-с, непонятно что-то...

— Оттого, что в наш век странствия новых гуннов и аланов невозможны. Да-с, новые Атиллы у нас — это английские-с паровые машины, ливерпульские да клейтоновские локомобили, молотилки-с и всякие черти! Вот нашествия чего мы должны ожидать и от чего должны откупаться, как старинные города и села откупались от диких варваров! Труд поселян, дешевенький крепостной труд,— он только нам и давал доход, повторяю, при крепостном состоянии; а теперь все вздорожает, и земледелию отныне шабаш!

— Позвольте, позвольте: почему вы так думаете, что к нам не двинутся переселенцы из великорусских губерний? — спросил Митя Небольцев, старший из братьев-хозяев.

Панчуковский громко и резко захохотал:

— Ах вы, простота-простота, душечка! Ну, бросит ли наш туляк, владимирец или пскович свою дымную лачужку, бедную ниву и родичей, чтобы явиться к нам в гости? Да он скорее пойдет в Москву на фабрики или на барки на Волгу на заработки, чем решится к нам переселиться. Через сто лет, так, не спорю; а теперь оставьте, господа, надежды. Не верьте вы нашим чухонским Штейнам и новоиспекаемым Кавурам с Невского проспекта! Ведь в Питере, куда ветер подует, туда и все песни летят! Был у меня там один приятель — чиновник; верите ли, если бы вот ваш, Адам Адамыч, пудель ему сказал, что в моде, положим, голубые шляпы, он бы в департамент тотчас голубую шляпу надел...

Слушатели рассмеялись.

— Как, как, Владимир Алексеич? Пудель? Голубые шляпы?..

— Право! На этого же самого чиновника на даче воры как-то напали; что бы вы думали? Он залез под кровать и стал оттуда впотьмах лаять собакою. Это собачье искусство только его и спасло, дачу ограбили, а его оставили в живых.

Лакей внес водку перед завтраком. Хозяева суетились. Слушатели, в восхищении от острот Панчуковского, похаживали, шушукались. А он ораторствовал, не переставая.

— Что мне, господа! Я не от личных огорчений говорю. Я счастлив, богат, свободен как ветер, хоть и эгоист, господа, и считаю в душе это чувство лучшею рекомендациею человека.

— Не всегда, полковник! — возразил опять Митя Небольцев, желавший хоть чем-нибудь оспаривать бойкого местного краснобая и идола,— и у вас бывают невзгоды! вы вот перебили у Шульцвейна степь, а саранча на ней все травы съела!

— Зато у меня с прошлогодней пшеницы и со льна теперь одним золотом семьдесят тысяч целковых в кассе лежит, не считая депозиток...

Полковник повел глазами. Перед его носом в это время стоял его новый камердинер, Аксентий Шкатулкин, и вежливо ждал минуты ему что-то сказать.

— Прикажете лошадей отпречь? — спросил он тихо барина, когда тот замолчал.

— Нет, я сейчас после пирога уеду! — ответил громко полковник и прибавил шепотом,— не лезь, когда тебя не спрашивают. Жди,— после пирога велю запрягать...

— Куда вы, куда? — заговорили хозяева и гости разом.

— Надо домой; есть дела!

— Останьтесь, ради бога, останьтесь. В кои-то веки вас дождешься!..

Полковника упросили, и он остался.

Он продолжал:

— Следовательно, я состою в кругу недовольных по убеждениям, а не из личностей. Я за себя молчу. А прислушайтесь вы к толкам в степях, на проселках и широких столбовых дорогах, в шинках и на возах с снопами, у переправ мостов и по взморью. О чем толкует народ здесь и везде?

Слушатели тревожно молчали, утопая в табачном дыму. Полковник встал и дико оглянулся по комнате, закидывая за уши волоса.

— Народ готовит нам штуки-с, господа! Да, да, да! Зовите меня алармистом, иллюминатом... Я народ наш знаю, я вращался и вращаюсь в нем! Он готовит нам такие штуки-с, что нам не расхлебать!.. Один косарь косил у меня этим летом. Я любил с ним говорить. Раз он меня на днях спрашивает: «Видно вы, барин, проглотили черта с хвостом, что так разумны; скажите мне, правда ли, что нам волю хотят дать?» Я говорю: «Правда, мой миленький; только имейте, говорю, терпе-

ние, ждите».— «Да, оно так,— отвечает он мне,— только пошли у нас слухи по ярмаркам, по церквам, по шинкам, по дорогам тут и по распутиям, что не одну волю нам дадут, а также и всю землю вашу навеки». Вот и подите-с!.. затевают кашу... А я народ знаю и меня народ любит; я популярнее всех вас,— а что они со мною было сделали! а?

Панчуковский замолчал. В кабинете кто-то вздыхал, точно будто кто плакал. Он оглянулся: помещица Щелкова, от простуды бывшая с завязанною шеей, тихо подошла из залы и держала платок у глаз. Она закашлялась и ухватила полковника за полу.

— Месье Панчуковский, скажите, бога ради скажите, наконец, чего нам еще ждать, чтобы я могла, имела силы вовремя все сделать, приготовиться? Я женщина глупая, слабая, все меня пугает, все...

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь! — раздался голос из залы.

— Господа, молебен! — объявили братья-хозяева,— наше духовенство опоздало немножко! Да расстояния виноваты; наш приход в Андросовке, за тридцать верст... Пожалуйте. Обычаи дедовские мы соблюдаем.

— А мы с вами, Авдотья Петровна, после потолкуем! — сказал Панчуковский.— Видите, молиться зовут; а ведь я ретроград и плантатор, как меня здесь обзывают: нельзя, система требует.

Гости вышли в залу. Тут уже блеском сияла толпа раздушенных дам и барышень. Легкие и воздушные очаровательные платья их напоминали близость приморских городов и возможность самых тесных сношений с чужими краями. Свежие итальянские шляпки, турецкие шали, лионские шелк и бархат; марсельские и греческие духи били в нос каждому. Черные брови, смуглые личики, легкие станы, живые движения... «Вот она, наша-то Новороссия! — шептал за молебном Панчуковский, подталкивая Митю Небольцева,— отрадно отдохнуть от работ и наживы, глядя на наших красавиц!» Щегольской камердинер полковника в зеленом ливрейном фраке, с бронзовыми пуговицами и при цепочке, также был тут, выйдя из лакейской, стоя у дверей и молясь богу. Молодой красивый священник, из херсонских греков, читал в нос и гнусил нараспев, так и пронизывая всех зоркими глазами из-под черных широких и густых бровей. На нем была ярко-лазоревая ряса

в каких-то серебряных звездах и блестках; на груди наперсный крест, а пояс и нарукавники, вышитые гарусом и стеклярусом.

Студент Михайлов, стоя тут же с своими птенцами, невольно вспомнил отца Павладия и его уединенную, бедную и старенькую обстановку. Впереди всех стояла, вся в белом, именинница, семидесятилетняя мать хозяев, первая переселенка из помещиц сюда, на Мертвую.

После молебна стали закусывать. Гости опять столпились в кабинете, как ни старались Митя, а потом и Сеня Небольцев обратить их в гостиную к дамам. Полковник, куря сигару, постарался опять начать разглагольствовать, стоя перед Щелковой.

— Вы толкуете, Авдотья Петровна, что с Дону, из казаков, если и их коснется реформа, к нам двинутся руки. Пустое-с! Извините. Знаю я этот почтенный и воинственный народ...

— Что, что?—подхватил Митя Небольцев,—я казаков люблю, народ лихой; там я был влюблен, господа, недавно, и не позволю их бранить—извините...

— Отсталые люди, несовременная татарщина, господа, эти ваши казаки! Что за военные арматуры в наш мирный век у каждого из них, вместо гражданских наклонностей! Что за учителя при саблях и что за чиновники при шпорах! А встретитесь вы с ними на пароходах, которые уже врываются в их Дон, или в домах где-нибудь, куда уже являются наши и заграничные журналы: сидят, молчат и хлопают глазами либо пьют... За пуншем да за картами только их и услышишь! Да что и слышать: дичь, беседы Тамерланов!

— Э, камрад! повторяю,—не нападайте так на моих лихих казаков!—перебил опять Митя Небольцев,—поссоримся! я один за всех их на дуэль вас вызову! Вздор вы говорите.

— Да уж если на то пошло, так слушайте! Был у меня приятель тут по соседству, исправлявший должность учителя уездного училища, и захотел он нажиться, поехал к ним, к казакам-то, на Дон, там библиотеку где-то публичную открыл. Последние деньжонки, бедняк, на нее убил. Что же бы вы думали? Приходит к нему подписаться на чтение сын какого-то ихнего там не то купца, не то горожанина; залог оставил. Рвение к литературе показал; признался, что круглый невежда, что учиться хочет, и попросил ему выбрать что-нибудь для чтения. Учитель-библиотекарь выбрал ему Белин-

ского, Грановского там, что ли. Радуется, что такое стремление у малого заметил. Что же бы вы думали? Через неделю приходит кучер от батюшки этого малого и приносит обратно книги. «Старик, говорит, прислал ваши книги обратно; готов и залог вам оставить задаром — только не давайте его сыну больше ничего читать: от дела отбивается!»

Все начали ахать, возражать, уверять, что это преувеличения.

— Что вы, господа, этому не верите? — возразила невпопад, не расслушав дела, Авдотья Петровна Щелкова, желая поддержать полковника,— я сама от детства ни одной книги до конца не прочитала; все некогда... книги вред, да и не для нашего брата степняка они писаны! Недаром я бросила Рязань и сюда закабалилась!

— Нет, нет и нет! — заключил полковник,— если справедливы слухи о близкой, наконец, реформе крестьянской, наши села запустеют, хлебопашество упадет! Мы разоримся, обнищаем все. Если бы, господа, я был американец и жил с вами не в России, а, положим, в Виргинии или в штате Мерилэнде,— я, в случае войны за невольничество, стал бы открыто на сторону закабаления негров...

— Негров? вот мило! — сказали некоторые дамы, под общее увлечение входя также в кабинет и протеснясь к полковнику,— это что-то из «Хижины дяди Тома»...

— Пустозвоны ваши литераторы! — крикнул, наконец, с запальчивостью Панчуковский,— ну, чего они не напичкали в этот сборник всякого вздора! Что за святость страданий у этих скотов? Что за поэзия побегов и воспевание освобождения от труда! Ведь рабство это — труд, а труд — кусок хлеба, а хлеб — честь, нравственность! Уж не вздумают ли идеализировать и наших беглых беспаспортных бродяг, месяца полтора назад заставивших меня, из-за расчета с негодями-косарями, выдержать правильную осаду?..

— Ах, месье Панчуковский! — лукаво разахались дамы и девицы, знавшие между тем настоящую причину соблазнительного скандала, посетившего полковника,— расскажите, как это с вами было? Мы не знаем... Чего добивались у вас эти мятежники? Мы тогда перепугались, мужья ружья готовили...

Панчуковский вздохнул и смиренно опустил глаза.

— Сожгли у меня все-с, набуянили, стекла в доме перебили, шинок у откупщика насильно распили!

— Вы же на них искали?

— Искал. Но разве вы не знаете наших судов? Кое-кого поймали; но это все оказались неприкосновенные к делу! их выпустили, а главных, то есть главного зачинщика, не нашли...

— Кто же этот главный? — спросила с смирением Иуды Авдотья Петровна, натершая порядком язык, тараторя всем об истории Левенчука и Оксаны.

— Беглый пастух какой-то помещицы, взбунтовавший три артели косарей требованием надбавки заработанной платы при расчете, сверх условия... Тоже известное дело...

— Где же он теперь?

— Говорят, убежал в донские плавни и камыши, известный всем притон наших разорителей.

— И его товарища, месье, разыскивают — Милороденко или Александра Дамского по прозванию,— заметила, кашляя, Щелкова,— тот так уже прямо ассигнации стал делать, и с ним, говорят, везде был за одно. Я брала у отца Павладия газеты и о нем читала. Моя Нешка,— ma servante, messieurs[1],— тоже с этим Милороденко подружилась было, когда он еще у Шутовкиных год назад шлялся. Этот еще опаснее. Смел, говорят, до невероятности. Мне его описывали. На взморье он в прошлом году с двумя лодками турецкую кочерму ограбил... Я хоть его и не видела, а кажется, сразу бы узнала...

— Да,— возразил насмешливо Панчуковский,— и Троекуров у Пушкина хвастал, что узнал бы разбойника Дубровского сразу, а Дубровский у него три месяца учителем прожил... Вы читали Дубровского?

— Я ничего не читала и в Рязани, а здесь и подавно некогда.

Слуги в это время убирали закуску в зале и все слышали. Слуга полковника нежданно скрылся и за обедом вышел с подвязанным глазом.

— Что это у тебя, Аксентий? — спросил его рассеянно Панчуковский за обедом.

— За девочкою тут, сударь, погнался за двором у сарайчика, а она меня и съездила кулаком в глаз! — шепнул Шкатулкин ему на ухо.

Полковник в это время ел индейку, с жирным фаршем, любимое свое блюдо. Он громко рассмеялся, повеселел, и все с ним повеселели.

---

[1] Моя служанка, господа *(фр.)*.

— А сдастся? — спросил также шепотом слугу полковник после обеда,— сдастся твоя героиня?

— Сдастся! У старой барыни их здесь целый гарем-с: останьтесь, сударь; попозднее можно поохотиться. Я взял бубен с собою и заманю их всех к кучеру Конону в хату...

— Посмотрим! Надо осторожнее...

После обеда, во время десерта, приехал Мосей Ильич Шутовкин. Сластолюбивый забулдыга-купчик был на этот раз прифранчен, в тонком сюртучке и чистом голландском белье. Это было после того, как Панчуковский выходил с дамами во двор и плясал с дворовыми девушками трепака. Это была его специальность на всех дружеских съездах.

— Что вы на пирог к нам не приехали? — спросил Шутовкина Митя Небольцев,— мы вас ждали! Верно, опять шуры-муры где-нибудь затеяли? Благо детей к нам вперед послали...

— Ванну моей царице Пентефрии делал-с, так и провозился с ее туалетом; к родным ее отпустил!

Молодежь, бывшая уже снова в доме, прыснула со смеху. Пошли передавать друг другу ответ Мосея Ильича.

Шутовкин стал между тем искать глазами Панчуковского, увидел его в кругу дам, по обыкновению в положении оратора, и поманил его пальцем.

— Подь сюда, полковник, подь сюда! — сказал он ему, оглядываясь.

Панчуковский подошел. Шутовкин отвел его в сторону и не отпускал его руки. Собственная жирная и теплая рука Мосея Ильича дрожала.

— Владимир Алексеич, принимай меры! — начал он степенно и без шуток, упершись в него серыми и добрыми, будто испуганными глазками.

— Что такое?

Душа у полковника замерла, чуя что-то недоброе.

Шутовкин оглянулся кругом и продолжал говорить шепотом:

— Ты от меня скрывал, а бес тебя и попутал! Я вчера из города прибыл; маклачил там кое с чем, с чиновниками видался. Ходит, душечка, там слух, что... одна помещица какая-то... Перепелицына, что ли, приехала и тебя насчет каких-то денег разыскивает.

Панчуковский вздрогнул и позеленел.

— Ну?..

— Она тебя разыскивает, справки собирает о твоих делах. Ты ее в любовницах держал, что ли, или венчан с нею? говори!

Панчуковский молчал, не поднимая глаз. Эта весть, видимо, его окончательно сразила.

— Капиталы ты у нее взял, что ли, деньги увез какие? Много?.. Да говори же! Я тебя, Володя, спрашиваю, или ты и от меня скрываться? А брудершафт зачем мы пили с тобой намедни?

Панчуковский опомнился.

— Все это вздор; это сумасшедшая баба, и все тут! — сказал он.— Я ее не приму! Кто меня заставит? Ведь так? Я от нее отрекусь. Ну, отрекусь окончательно!

Шутовкин отвел его еще далее в угол.

— Да она тебе законная, что ли, говори? Это главное. Коли что, то мы ее и спустим! Вот тебе рука моя, брат! Ведь я у тебя в долгу, разве ты позабыл? Без тебя бы я тогда ни-ни, ничего бы не сотворил! Уж отстоим, небось; нам эти бабьи дела не впервое. Или ты и в самом деле у нее капитальцу царапнул да сюда в наше приволье тягу дал? Да и почему она Перепелицына, а ты Панчуковский, коли вы, может статься, точно повенчаны? Какие там слухи ходят?

Панчуковский оглянулся, закусил губу, помолчал, прищурил глаза к стороне нарядной толпы. Подавали уже свечи. Все кругом шумело, лепетало. Рояль гремел. Ставили столы для карт. Аксентий с хозяйским слугой курил на раскаленных плитках лоделавандом, прогоняя запах недавнего обеда.

— Молчи, дружище Мосей Ильич, до времени, как будто бы ты ничего не слыхал и не знаешь. Я тебе все после расскажу. Будешь молчать? Руку, товарищ!

— Вот она. Ни-ни! Я... о, я никому ни слова!

Шутовкин и полковник обнялись и крепко поцеловались.

— А крестить будешь у меня, Володя?

— Буду.

— Постой еще...

— Что?

— Если же это, слушай, точно твоя жена... гм! и придется тебе с ней опять зажить по закону,— девочку-то твою ты мне отпустишь, что ли, а? уступишь?

— Никогда, никогда этому не бывать! — сказал полковник.— Я, слава тебе господи, еще с ума не сошел, чтоб менять кукушку на ястреба...

Они об руку друг с другом вмешались в нарядную толпу. Давно гремел звонкий рояль. Молодежь пустилась в пляс; южная страстишка попрыгать брала верх. Танцевали тут всегда до упаду. Играл Михайлов.

А полковник, снова оживленный и бойкий, стоя в дамском кругу, в гостиной, опять ораторствовал:

— Наши новороссийские степи — это, медам, рай земной! Засухи, саранчу, пыль — все это можем победить и преодолеть. Людей только нам дайте, людей, этих-то белых негров поболее. В каждом месте этой степи проройте колодезь, ключ раскопайте, и сухая, как уголь, черная земля изумит вас плодородием; стада сами к нам придут. Мы об Америке вздыхать позабудем. Свои Куперы у нас будут...

— А теперь, месье Панчуковский? Как вы теперь считаете Новороссию нашу?

— Теперь?..— Панчуковский иронически улыбнулся.

— Да-с.

— Теперь наши степи напоминают мне украинскую сказку о том, как обыкновенно перед бедою будто бы в хаты кто-то белый все с улицы заглядывает, считая по пальцам живущих там, спящих и работающих. Народ говорит, что перед последнею здесь чумою, при Екатерине, что ли, на степных курганах рано поутру видали все двух женщин; это были две моровые сестры: младшая — жизнь, а старшая — смерть; они дрались и таскали друг друга за волосы, споря о людской судьбе и готовя народу бедствия. Таких-то сестриц и я все будто теперь вижу тут с недавних пор! — заключил Панчуковский, кланяясь.— И вы меня не уверите; нам беды с ожидаемыми реформами не миновать! Прощай, веселая, спокойная и счастливая сторона! Все здесь вымрет, переведется и зарастет лопухами и чертополохом...

— Какие страсти! Какие ужасы! — шептали дамы, теснясь вокруг него и лорнируя.

— Я уж и ружье приказчику купила, а револьвер у меня всегда теперь под подушкой! — заключила Щелкова,— не уверите вы и меня, чтобы у нас прошло все мирно. Моя Нешка мне вчера платок швырнула со злости.

— Гений, а не человек! — шептали другие дамы, имевшие дочерей,— и как жаль, что неженатый.

Панчуковский оставил дам, незаметно прошел сквозь веселую толпу танцующих в зале, взял тайком шляпу, тихо вышел на крыльцо, переждал пока запрягли ему

лошадей, сел и полетел домой на своей крылатой четверне.

— Отчего же это вы, барин, не дождались и так рано уехали? — спросил дорогою Милороденко с козел, с сожалением качая головою,— а я уж кой-кого подготовил...

— Черт их подери! Я терпеть не могу, братец, этих наших веселостей, особенно же танцев... То ли дело с простыми девочками, где-нибудь под вербой — она пышет, пляшучи, а ты ее целуешь! Не люблю я барышень!..

— Ничего, сударь, и это; тут барышни обнаковенно с голыми плечиками бывают... Я всегда в таком случае люблю их танцы и постоянно смотрю из передней-с.

Приехав домой, Панчуковский сел за бумаги; под видом ревнивых предосторожностей в отношении к своей любимице, действительно почувствовавшей признаки интересного положения, он велел опять запирать ворота и все входы и выходы. От главных же дверей в доме ключ взял к себе в кабинет, а на ночь кругом запер весь дом собственноручно.

— Мне это, сударь, невыгодно! — заметил шутливо Аксентий, его раздевая.

— Отчего?

— Вы понимаете-с...

— Ничего! переждешь, брат. Днем наверстаешь, спи в передней! Теперь уж на дворе и холодно; да говорят еще, будто какая-то шайка из острога разбежалась. Подкованцева под суд отдают...

— Шайка-с? Подкованцева? — спросил, перепугавшись, Милороденко.

— Да.

— Ну, так и точно, лучше побережемся! Бедняк, бедняк! Жаль этого-с исправника. А вы за мною — спокойно спите... я ведь покаялся, я нынче монах-с. Любите меня, а я уж по-христиански обойдусь с вами...

Осень кончилась. Пролетели громадные воздушные армии перелетных птиц. Настала гнилая, бесснежная приморская зима, длинные ночи, короткие холодные деньки, с зеленеющими полями, стадами овец в степи, быстрыми и краткими налетными метелями и изредка хмурым, сердитым небом. Снег падает и тотчас почти тает, либо заметет степь, дороги. Все замерзло; вот стал зимний русский путь. Завтра дождь, послезавтра адская грязь. Арбы вязнут, верблюды и волы тонут по брюхо. Одна езда верхом становится возможною. И опять

холод, опять тепло. Два дня погрело солнышко — и уж летят снова дикие гуси, журавли; аисты ходят по пустырям, пеликаны по озерам и лиманам. В деревнях барыни на крылечки выставляют цветы на воздух. Овцы опять движутся на подножный корм в поле. А февраль еще на дворе. У прибрежья в синих волнах снуют лодки, корабли показываются. Невода опять тянут. Костры горят. Торговля зашевелилась. Конторские маклера рыщут по городам. Но небо опять нахмурилось, налетели с севера тучи, и Новороссия, южнорусская Италия, опять становится мертвою, суровою Скифией.

Слухи о мадам Перепелицыной прошли было и замолкли. Панчуковский совестился ехать в город и лично хлопотать. Он решился показать вид, что спокоен, а потом и в самом деле успокоился. Михайлов уехал в Одессу.

XII

Похождения Милороденко

— Твой соперник, твой Левенчук, наконец, пойман! — такою приятною и неожиданною вестью порадовал Панчуковского приятель-исправник Подкованцев,— он пойман в партии неводчиков, близ Мариуполя, и доставлен по месту преступлений ко мне в уезд. Теперь от вас, от тебя, друг Владимир Алексеевич, зависит помочь и мне: меня, брат, упекают под суд за покровительство нашим бродягам. Так ты мне своими связями помоги; а я, пока состою при месте, запроторю твоего соперника туда, куда и Макар телят не гонял. Приезжай, потолкуем.

«Я же его упеку! — свирепо подумал полковник,— все равно теперь нечего делать, поеду!»

Панчуковский слетал к Подкованцеву, условился, как и куда спустить бродягу Левенчука, а кстати, посоветовался и о том, что предпринять с происками уже начинавшей ему надоедать помещицы Перепелицыной, появившейся в соседнем городе. Было положено: Левенчука избавить от допросов и от следствия по делу о взбунтовавшихся косарях, а скорее послать его, как бродягу, к его помещикам; если же он их не назовет, то прямо в Сибирь — как непомнящего родства, а о госпоже Перепелицыной пустить в окрестностях молву, что на нее падает подозрение в соучастии с продавцами

фальшивой монеты, сделать у нее через приятеля-городничего обыск, напугать ее, а потом и предложить ей уехать обратно в Россию.

— Левенчук пойман!—сказал полковник Шкатулкину, воротясь домой в радости от условия с Подкованцевым и спеша обрадовать этою вестью своего слугу.

— Пойман-с? Быть не может! Ай да полиция-с!—сказал Аксентий, сделавшись между тем белее мелу,—где же-с он?

— Ведут еще в цепях, по этапу!

— Зачем же в цепях, ваше высокоблагородие? Это прижимки-с.

— Как! Да ведь это он был тогда главный-то бунтовщик с косарями!

— А! я и забыл! Куда же его ведут, сударь?

— Должно быть, в Сибирь пойдет.

— Так-с. Жаль парня! Ну, да на то уж ваша барская воля! Значит, чтоб не мешал счастью...

Полковник перед тем нарочно постращал Шкатулкина вестью, будто бы где-то бежала шайка воров из острога, для того, чтоб тот лучше берег дом, по ночам запираемый с обоих выходов самим Панчуковским. Теперь же вдруг слух этот на самом деле сбылся. Антропка ездил для кухни за говядиной в город и услышал там, что действительно из соседнего острога через дымовую трубу бежали арестанты.

— Вот, видите ли,— сказал полковник дворне,— чего доброго, еще Левенчук, может быть, убежал! Пропадем мы, право, все, если не будете беречься; запирайте же постоянно на ночь все двери в хатах и ворота во двор да собак спускайте с цепей. Ты же, Домаха, отныне не отходи сверху от дверей Оксаны; теперь она стала спать наверху, так чтоб что-нибудь ее не напугало. Ты знаешь, что теперь надо ее беречь да беречь; сбереги ее, я тебя отблагодарю; видишь, какая она стала!.. Я думаю, к Николину дню родить будет... Как же! Точно к Николину...

Итак, полковник спал снова один в кабинете. Дверь через шкаф в соседнюю комнату, отведенную было Оксане, он постоянно запирал. Куча не прочитанных за лето книг и журналов лежала теперь на столе в кабинете, возле кровати Панчуковского, и он, задергиваясь пологом и предварительно взяв к себе ключи от дома, ежедневно, ложась спать, читал до глубокой ночи. Тут постоянно роились в его голове все главные

предположения и дерзкие, небывалые мысли о новых спекуляциях. Иногда он вставал, подходил по мягкому ковру к столу, садился писать, незримый более с надворья, вследствие недавно к зиме устроенных плотных внутренних ставней, и нередко заря заставала его утром еще в кресле в теплом куньем халате, за выкладками, соображениями и письмами. Его переписка была более коммерческая, деловая.

На гумне в это время домолачивалась пшеница. Стоял также еще громадный ряд скирд ржи и прочего менее ценного хлеба и большие скирды свезенного овцам со степи сена. Молотила паровая машина. Полковник ежедневно ходил на гумно, стоял над рабочими и оставался там до глубоких сумерек. Шкатулкин же обыкновенно, управившись в доме и поиграв с «барышней» и с Домахой в карты, выходил на крыльцо, сидел тут, курил, смотрел, как догорали недолгие порывистые зимние деньки, либо посмеивался, сплевывая в сторону и труня над разными дворовыми лицами, сновавшими с утра до ночи из кухни в амбар, из амбара в ледник, в погреба, за двор и в дом, и поджидал тут барина.

Раз захотелось Панчуковскому пойти ночным дозором на ток, где лежали большие вороха намолоченной, навеянной и еще не ссыпанной пшеницы в клуне, посмотреть, нет ли плутовских следов к воротам или через канавы, не пользуется ли кто лишним сеном из его же наемных дворовых, державших скот на барском корму. Снег перед тем только что снова выпал после обеда и запорошил белым пушком всю окрестность, двор, овчарни, гумно и батрацкие избы с клетушками.

Было темно. В трех шагах нельзя было видеть человека. Но полковник смело пошел; в кармане его был, по обычаю, револьвер. Аксентий копался в доме, в буфете, готовя чашки к чаю. Полковник по пути кликнул Антропку и пошел с ним. Они миновали батрацкие избы, где уже почти все затихло и спало, прошли овчарни, мельницу и поднялись на взгорье к току.

— Сбегай, брат, Антропка, домой: я забыл спички; принеси! А я тут подожду. На обратном пути закурю сигарку; да также фонарь принеси — легче будет назад идти. Я буду ждать у клуни.

Антропка побежал. Полковник пошел вперед.

Снег почти неслышно шелестел под ногами. Все молчало в мягком, свежем воздухе. Из верхнего этажа

дома полковника, через ограду, мерцал огонек из слухового окна Оксаны. «И так это она скоро покорилась и забыла своего жениха! — думал полковник.— Чем женщин не купишь! Или эти украинки, по правде, скотоваты?» Со стороны поля, из какой-то отдаленной, степной овчарни доносился лай собак. «Это верно, волки там похаживают, набегают из соседних камышей!» — раскидывал мыслями полковник.

Вдруг ему послышался шорох шагов за оградой гумна, в стороне, противоположной той, куда скрылся Антропка. Кто-то не то шел, не то ехал возле хлебных скирд, за канавою.

«Кто бы это был такой? — подумал Панчуковский и замер... Волос зашевелился у него на голове.— Вор не вор, зачем же он едет от поля? Это, верно, не наш, чужой!»

— Кто здесь? Эй! кто ты? — крикнул Панчуковский.

Незримый путник не отзывался.

— Эй, говорю тебе,— отвечай!

— А ты кто? — спросил грубый голос, и шаги направились к полковнику.

— Сторож.

— Нет, погоди! Ты барин сам?

— А хотя бы и барин? — сказал Панчуковский и заикнулся.

— Ну, стой же, коли твоя судьба на то привела!

Незнакомец зашевелился. Панчуковский не успел подумать, зачем это он велел ему подождать и что значили его слова о судьбе,— даже пьяным ему показался незнакомец,— как мгновенно в пяти шагах от него что-то невыносимо ярко блеснуло, раздался оглушительный выстрел, а в упор перед ним с ружьем обрисовался Левенчук.

— Что это ты? — крикнул Панчуковский, пошатнувшись.

— Шел подстеречь тебя, барин, и посчитаться с тобою навеки; а ты и сам подвернулся... Не прогневайся!

— Кто здесь? Эй, держи, лови! вор, разбойник! туши скирду! — закричал Панчуковский, очнувшись и поняв, что выстрел в него не попал. Пыж от выстрела попал на хлебную скирду, которая дымилась.

— Кто, кто здесь? — отозвался не своим от страху голосом Антропка, прибежавший между тем с фонарем.

— Ну, жалко же, что у меня не двустволка! — сказал между тем Левенчук,— я б тебя уложил.

Антропка кинулся тушить скирду. Полковник выстрелил из револьвера раз, другой и побежал вдогонку за Левенчуком; но последний скрылся в потемках.

— Стойте вы тут, а я сбегаю за лошадью; людей еще позову, и мы по следу теперь его мигом разыщем!

— Дело! Беги, а я здесь пережду! — говорил Панчуковский, едва переводя дух.

— Нате спички, держите, насилу разыскали их с Аксентием в кабинете. Ах ты, ирод, так ты не покаялся! С ружьем пришел!

Антропка без памяти побежал снова домой. Панчуковский отыскал на земле брошенный Антропкой фонарь, нагнулся, закрыл его полой и зажег в нем свечу. Руки его дрожали. Он прислушался: по полю в другом конце от гумна кто-то бежал... Полковник стал искать следов. Шаги беглеца были отлично видны по свежей пороше; верхом, с фонарем, легко его было найти. Лишь бы не зарядил он опять ружья и снег бы снова не пошел. «А! — шептал Панчуковский,— вершком левее, и весь заряд сидел бы уже в моей груди, а я метался бы, как отбегавший свой век заяц! Где смерть-то моя ходила!.. И надо же было пойти дозором на ток и на него, беглого из острога, наткнуться!» Сердце его усиленно билось; кровь стучала в висках. Поднимался легкий ветерок, будто метель собиралась. «Боже, когда бы снег не пошел, чтобы его разыскать! добраться бы мне, наконец, до него! Какова дерзость? И что делается со мною,— непостижимо! Откуда такие напасти?» Раздался громкий конский топот. Прискакали на блеск фонаря на батрацких лошадях Антропка, приказчик, летом бывший причиною неудовольствия косарей, и еще четыре работника, наскоро, даже без шапок.

— Вот вам фонарь; скачите, догоняйте, молю вас, ловите его!..

— Слушаем-с! Вряд ли уйдет!.. Разве где лошадь припасена у него, али снег успеет запорошить следы.

— Разве и мне не поскакать ли также с вами?

— Еще чего бы не было! Лучше оставайтесь. Домой идите... Мы мигом обознаем все! — крикнул из-за канавы приказчик, и верховые поскакали.

Панчуковский пошел к дому, он был в сильном волнении. Начинал действительно падать снег. Не успел он до ворот дойти, как повалили огромные хлопья.

«Уйдет, уйдет! — думал Панчуковский,— пропало мое дело. Вот бы поймать его! Что до суда и следствия, а я бы его еще сам пробрал...»

Во дворе было тихо. В кухне не светились уже огни. Было освещено по-прежнему только окно наверху в доме, у Оксаны, да в лакейской виднелся Аксентий, смиренно копавшийся с иглою и с какою-то одежей у свечки. Сторож, по местному названию «бекетный», не сразу отворил на оклик барина ворота. Слухи, действительно немаловажные, ходили о шалостях местных грабителей и воров, и все держали ухо востро.

— Кто на очереди? — спросил Панчуковский.

— Самойло.

— На же спички, Самуйлик, да беги скорее в кухню, зажги конюшенный фонарь и давай его мигом мне! Есть дело; может быть, сейчас также поскачем с тобою; оседлаешь тогда мне жеребца!

Седой хрыч Самойло с просонков у сторожки едва разобрал слова полковника, пошел, переваливаясь, и воротился из кухни с зажженным фонарем.

Панчуковский наскоро передал ему о случившемся. Отворили конюшню; Самуйлик побежал в каретник взять седло, как за воротами раздался снова шум и громкий крик приказчика: «Отворяйте!»

— Стой! погоди! — сказал Панчуковский и сам пошел, прислушиваясь к говору за воротами.

— Да отворяйте же! — кричал приказчик, — это мы, свои! лисицу поймали!

Самойло звенел ключами. За воротами кто-то тихо охал.

Верховые въехали во двор. Подвинули к лошадям фонарь. Полковник взглянул. Антропка сидел на седле, качаясь. Он весь был облит кровью...

— Что это? кто тебя ранил?

Антропка молча указал в сторону, хватаясь за бок.

— Живодер, сударь, успел опять зарядить ружье и, выждав нашу погоню, выстрелил...

Панчуковский выхватил у Самуйлика фонарь, поднес его к человеку, связанному уже по рукам и ногам и прикрученному за шею к седлу приказчика. С волосами, упавшими на лицо, и запорошенный снегом, перед ним стоял, мрачно понурившись, Харько Левенчук.

Сперва было полковник его не узнал.

— Ты меня опять поджигать пришел?

— Тогда не поджигал; вы на меня донесли, меня ославили; так я уж думал один на один посчитаться...

— А, вот что! Слезай, Антропка! Батраков остальных сюда! Держи его! А! так ты признаешься? Слышите вы все?

Самуйлик судорожно заметался. Приказчик убрал в конюшню лошадей. Левенчука привязали к коновязи. Полковник, по-видимому, не горячился, говорил тихо, но свирепел более и более. Сбежались другие перепуганные батраки. Их расставили на часах. Кто был потрусливее, того отослали обратно. Готовилась сцена, какими иногда увеселял себя полковник.

— Розог сюда, палок!

— Чего бы еще не было от этого? — шепнул было Панчуковскому приказчик.— Лучше бы его так доставить в суд.

— Молчать! Я вас всех переберу! Розог, кнутов, палок.

Явились и кнуты и розги. В доме было все тихо. Туда никто не входил, и там ничего не знали. По-прежнему светились тихие окна Оксаны и Аксентия.

— Нет, душечка! нет, голубчик! — шептал Панчуковский,— пока до суда, так ты опять еще уйдешь из острога в печку, а вот я тебе перемою тельце, переберу по суставам все твои косточки... Клади его, Атропка! Самуйлика сюда! Где он? Ну, живее!.. Куда он тебя ранил, Антропка?

— В бок, дробью-с...

Явился Самуйлик, скорчил грустно губы, да нечего было опять делать — воля барская...

— Он, сударь, вольный, может статься! За что вы его бить хотите! — отозвался, сняв шапку, один из батраков.

— Молчать! — орал уже на весь двор Панчуковский.— Каждого положу, кто хоть слово пикнет! Клади его, бей; а ты, Антропка, хоть и раненый, считай... Огня мне; пока выкурю сигарку, не вставать тебе, анафема!

Началась возмутительная сцена...

Левенчук, как лег, не откликнулся, пока над ним сосчитали триста ударов.

— Довольно! — сказал полковник,— повороти хохла да посмотри: жив ли он? Что хохол, что собака — иной раз их и не различишь...

Левенчука повернули к фонарям лицом.

— Так вот она, воля-то ваша, братцы! — простонал Левенчук, чуть шевелясь от боли,— а вы лучшей тут искали?

Толпа с ропотом шумела...

— Ну, ну, не толковать! Воды ему, окатить его да дать напиться! — крикнул полковник, отходя к крыльцу.— Это кто? — спросил он, наткнувшись на кого-то в потемках и поднося к его лицу фонарь.

То был Милороденко... На нем черты живой не было.

— Барин! зачем вы так тиранили человека?—спросил он.

— Так и учат скотов! Да если и вы все его защищать станете, лучше убирайтесь на все четыре стороны. Лишь бы лес был, а волки будут... Я, брат, военная косточка и шутить не люблю.

Милороденко пропустил барина молча мимо себя.

Но едва полковник скрылся в доме, он опрометью побежал к конюшне, где так неожиданно наткнулся было на истязания былого приятеля.

— Где он, где он?—шептал разбитым голосом Милороденко, расталкивая батраков.

— Вон, Аксентий Данилыч, водою отливают; замер горемыка, чуть его бросили... Как бы чего барину не было!..

— Барину?—закричал Милороденко,—а человеческую душу загубил, так про эту душу и не вспомните? Еще воды сюда! Снегу на голову—водки в рот. Эй, на вот целковый, сбегай в шинок!..

Очнувшиеся батраки зашевелились перед новыми приказаниями. Стадо людское шло туда, куда пастух вел, кто бы он ни был...

Прошло часа полтора. В кабинет полковника вошел Аксентий. Он молча положил ключ от каретника на стол, у подушки Панчуковского. Глаза его были заплаканы, волосы всклочены.

— Ну?

— Извольте ключ-с; приказчик прислал...

Милороденко не поднимал глаз от полу.

— Связали? уложили его в каретнике, как я приказал?

— Заперли связанного. Утром можно в город послать-с... Только знаки, барин, будут видны—не было бы чего...

— Ложись спать да двери запирай! Не твое дело! Терпеть я, братец, не люблю рассуждений. Это ты мог делать у Шульцвейна, у других...

Аксентий покорно ушел. Прошло еще с полчаса. Все замолкло. Огни везде опять погасли. Ворота со скрипом затворились. Умолкли и собаки, лаявшие под этот необычный ночной шум.

Полковник встал, выпил залпом два стакана воды, надел халат и туфли, обошел весь дом, увидел Домаху, спавшую у дверей Оксаны, зашел на Оксану взглянуть,

увидел Аксентия, с смирением агнца храпевшего уже на коврике в лакейской, воротился в кабинет, запер его на ключ изнутри и с легкою дрожью улегся снова в постель, задернув атласный полог. Он долго не спал, слышал, как часы наверху пробили два и потом три, как петухи прокричали вторично. Наконец, он забылся.

Ему все снились отрадные картины. В потайном железном английском сундуке его кассы, врезанном в его письменный стол, грезилось ему, лежат уже не сто пятьдесят тысяч рублей тайно увезенного жениного капитала, а вдвое против этого. Оксана дарит ему сына, толстенького гетманца, с черными кудрями, и нарекут ему имя также Владимир. А по пустынной, зимней степной дороге, на север тянется под конвоем длинный этап: впереди его идет в цепях Левенчук, а сзади — уличенная Подкованцевым в сношениях с фальшивыми монетчиками супруга Владимира Алексеевича, рожденная купеческая дочка Настасья Гавриловна Перепелицына. Сон длится далее. Хутор Новая Диканька уже расширился, превратился в мануфактурный и промышленный городок. Полковник назначен военным губернатором, управляющим и гражданскою частью. Высятся кирпичные фабричные трубы. Каменные корпуса поднимаются по улицам. Извозчики ездят. Дремучие рощи окружают собственный дом полковника. «Это уже и отца Павладия перещеголяло!» — думает Панчуковский и вместе с тем в испуге просыпается...

Что это?

Комната его странно осветилась. В дверной секретный шкаф вошли беззвучно какие-то лица. Над постелью его стало что-то высокое... Он вскрикнул и, обезумевши от смертного ужаса, кинулся за края полога.

— Ни слова! — звонко сказал стоявший над ним.— Теперь уж молчи, барин; теперь уж наша воля,— это видишь?

Смотрит полковник: его слуга Аксентий стоит над его ухом и держит собственный револьвер полковника.

— Что ты, Аксентий? с ума сошел?

Шкатулкин, уже одетый в платье своего барина, видно не шутил.

— Барин! — сказал он,— ты теперь молчи; пикнешь слово — вот тебе бог святой — пулю в лоб пущу! Нам что теперь? Все подавай свое и баста! Пролежишь смирно — жив останешься...

Панчуковский оглянулся: за пологом стоял освобожденный, истерзанный им за три часа назад Левенчук. В руках последнего был нож.

— Боже! не сон ли это? — шептал Панчуковский, пугливо взглянув на окровавленные во время истязания волосы и взбитую бороду бледного, как труп, Левенчука.

— Что же вам нужно? — спросил полковник,— и что это ты, Аксентий, затеял?

— Ты теперь, ваше высокоблагородие, уж тоже молчи! Пистолет-то твой, как видишь, у меня! На, Хоринька! — прибавил Милороденко, подавая пистолет Левенчуку,— держи эту штучку да посади барина-то, обидчика твоего, обратно на постель, то есть положи его сразу в лоб-то, коли что затеет, а мне некогда! Да ты, может, барин, хочешь знать, кто я? Спасибо за угощение: я Милороденко! Не удалось покаяться, как видишь...

— Ну, теперь слушай уж и ты! — сказал, переступая с ноги на ногу, Левенчук,— садись и молчи; я тебя уложил бы тут навеки... так старший не велит! У нас с ним свои счеты...

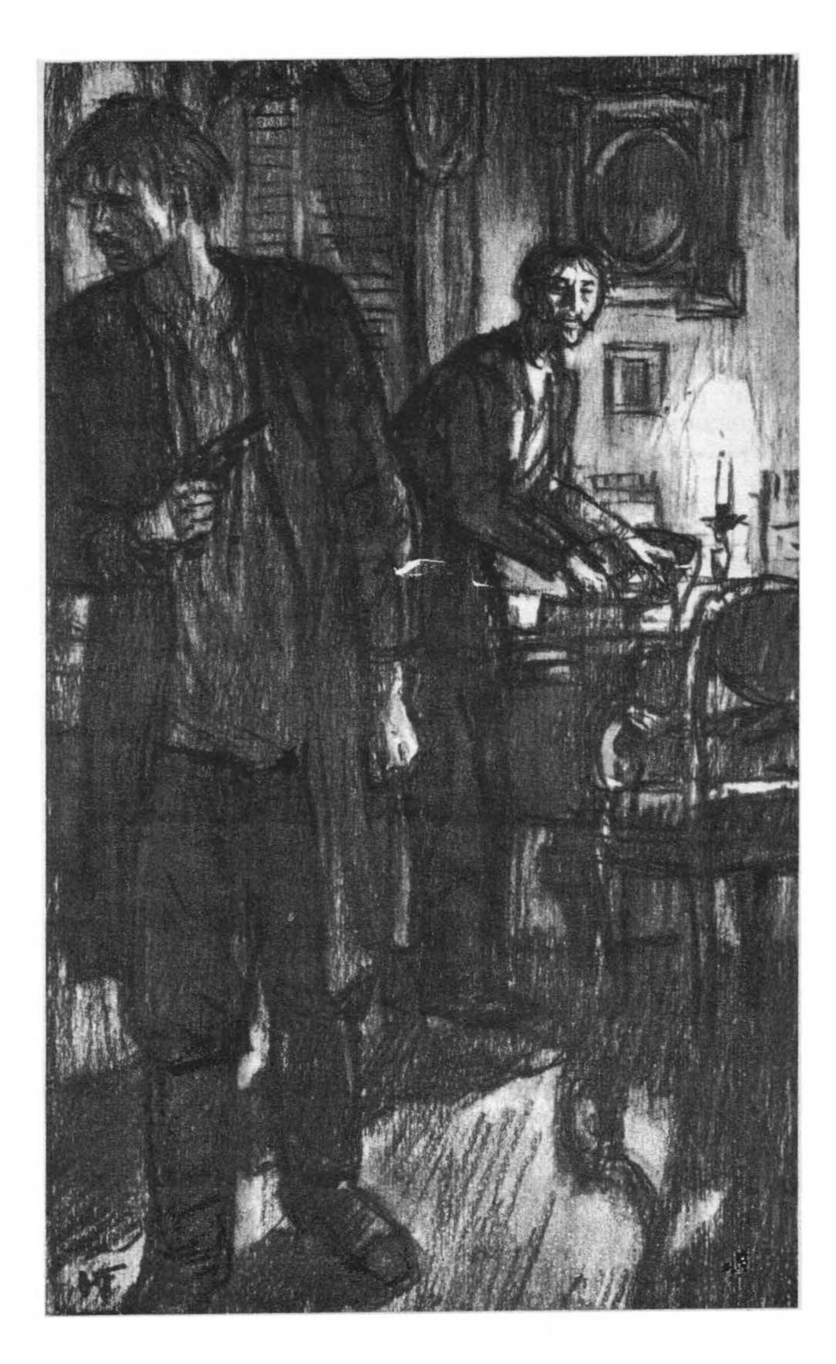
Панчуковский упал обратно на постель. Он уже и за ногу себя ущипнул, все еще полагая, не спит ли, и охать принялся, и даже попросту заплакал. Верзила Левенчук стоял перед ним, как каланча, изредка шевелясь и косясь на него.

Милороденко, между тем облачившись в платье полковника, им же почищенное с вечера, с обычною юркостью заметался, хлопоча, по комнате, и, увидя, что пригрозил полковнику достаточно, успокоился и стал даже пошучивать:

— Вот, барин, ты не захотел его давеча помиловать, вольного-то человека, беглого, пташку божию посек, теперь и не прогневайся! Вся твоя дворня перевязана; рты у каждого заклепаны, как бочоночки,— мы вот и распоряжаемся! Ты, я думаю, удивился немало? Теперь уж ты нам ответ дашь: я, сударь, повторяю, Милороденко! Не веришь? Ей-богу-с!..

И он шнырял по комнате. Кругом было тихо.

— Боже, боже! Что они только с нами доныне делали, Хоринька. Правда? — заключил Милороденко, укладывая в чемодан все, что было поценнее из вещей в кабинете, и потом прибавил: — Ты, барин, думаешь, что я шучу? Как решился я освободить приятеля, он прямо шел тебя убить...



Панчуковский вдруг вскочил, кинулся к двери и крикнул громко: «Сюда, сюда, люди! грабят, режут!»

Голос его звонко отдался по комнатам.

— Шалишь! — перебил его, загородя ему дорогу, Милороденко.— Ну, Харько, где теперь те бечевочки, что мы на их барскую милость приготовили? Видно, без этого и с ним не обойдется!

Левенчук достал веревку, при помощи франтовато одетого Милороденко с силой ухватил Панчуковского, зажал ему рот, наставил к виску его пистолет, и в два мгновения полковник, связанный, как чурбан, лежал уже на кровати. Милороденко не без грубости заткнул ему рот концом простыни, причем полковник ощутил скверный вкус мыла, обернул его лицом к стене и прибавил:

— Ну, слушай же теперь, барин, в последний раз: теперь уж не шути; или ты не веришь? Чуть обернешься назад, аминь тебе! Нож в спину по рукоятку! Лучше лежи, а не то пуля.

— Харько! гайда! — шепнул он Левенчуку.

Приятели сорвали планку с потайного замка в рабочем столе, подмеченную заранее Милороденко, вскрыли замок и ящик, вытащили связку бумаг, нашли мешочек с золотом, несколько связок депозиток. Руки у Милороденко дрожали. Левенчук тяжело дышал. Все уложено в другой чемоданчик.

— Бери! Скорее! Неси на двор!.. Нет, лучше стой над ним, а я понесу!

Милороденко выскочил из дому. Там на дворе он сложил все в кучу под крыльцом, где так часто молился. Осмотрелся еще раз, обежал кухню, амбар, подворотную сторожку. Везде было тихо. Собаки были убиты. Перевязанная дворня лежала спокойно. Освободив Левенчука, Милороденко, по очереди с ним, перевязал всех мужчин и баб, поодиночке, с барским пистолетом в руках, свел их в один из погребов и с забитыми ртами посадил туда, пригрозив выпустить каждому кишки, чуть кто голос подаст. Да уже одно сознание, что он Милороденко, сковало рты всем невольно.

Выкатив фаэтончик полковника, Милороденко вывел его лошадей, пока еще было темно, к погребу, сбегал с фонарем, освободил оттуда обомлевшего от страха Самуйлика, вывел его, с угрозами заставил запрячь фаэтон, связал его опять, толкнул в погреб, уложил чемоданы и забежал обратно в кабинет.

— Что, смирен теперь наш князь? Ты теперь молчишь барин, а? А не хочешь ли мы тебе девочку хорошенькую достанем?

«Вот опростоволосился! — думал полковник, жуя отвратительную простыню,— того и гляди зарежут! боже! хоть бы в живых оставили!..»

— Какой ему черт теперь, молчит! — свирепо сказал Левенчук, сплюнул в сторону,— да пора уж, чего ты там возишься?.. Пора отсюда вон...

— Ну, стой же еще малость... Надо и о твоем, голубчик, добре подумать.

Левенчук вздохнул и сел:

— Да, пора бы! Жил ты тут сколько времени, хоть бы догадался освободить ее!

— Уж я тебе обещался, только молчи! не знал, где ты. Да и что ей сталось! В холе жила, я с нею в карточки баловался... А я у тебя в долгу — помнишь, за порцию?..

Милороденко поднялся наверх по лестнице. Полковник слышал, как там на мезонине произошла возня. Кто-то не своим голосом взвизгнул, тяжело рухнулся и покатился вниз по ступеням. Опять все затихло. «Домаха отплачивается, бедняга!» — подумал полковник.

Та же потайная дверь в шкафе отворилась в кабинет. Показалась опять голова Милороденко.

— Теперь, Харько, бросай его; иди сюда! Ну, скорее, светает!..

Левенчук ступил в соседнюю комнату.

Там впотьмах стояла, опустя голову, судорожно рыдавшая Оксана.

— Ну-ну, барышня, перестаньте, целуйтесь да идите скорее! Пора; ой, ей-же-ей, пора! Поймают, тогда все пропало. Теперь уж и у тебя, Хоринька, хвост навеки замаран.

Он толкнул одурелого от встречи с Оксаной Левенчука. Левенчук вывел Оксану. Внизу лестницы стонала Домаха.

— Ты, Оксана, молись богу,— шептал Левенчук,— а я тебя прощаю — не ты виновата...

— Барин, а барин! Слушай! — сказал Милороденко, входя в кабинет,— я тебе сослужил службу; надо же было и посчитаться. Задавить тебя, повесить, зарезать — все одно, что плюнуть. Мы тебя так кидаем, живи, только не дерись больше с людьми православными! Тронешь кого пальцем — аминь тебе, помни! Где ни буду, явлюсь хоть с того света! Да постой, полежи еще маленько; встанешь

раньше сроку, пока сам я тебе крикну,— убью; пришлю Левенчука; он раз по тебе дал промах, теперь уж не промахнется. Прощай! живи — и нам на твое счастье пожить хочется.

Милороденко вынул все ключи, запер обе кабинетные двери снаружи, связал еще покрепче Домаху под лестницей собственным ее же фартуком, вскочил на крыльцо и запер дом на ключ со двора. Уже заметно светало. Оксана сидела в фаэтоне. Левенчук, склоня голову к ручке экипажа, стоял возле. Они грустно шептались...

— Ну, пташки мои, готовы? освободить ее для тебя, сердце Хоринька, всегда было нетрудно; да куда бы она делась без тебя? А ты вот что подумай: я тебя не обидел... я берег ее... Это за водку, помнишь?

Еще раз подбежал Милороденко к погребу, постучал, погрозился, велел всем снова дожидаться и молчать, пока и их он позовет, тихо отпер ворота, вывел четверню за ограду, воротился назад, запер ворота изнутри, перелез через ограду по лестнице, вынесши предварительно из каретника Левенчуку кучерской армяк, одел его, посадил на козлы, а сам сел в полковницком отставном военном пальто и в фуражке с кокардой в фаэтон к Оксане. Лошади тронули, выехали шажком за клуню, за косогор. Левенчук стал по ним бить, что было мочи; они подхватили вскачь и унеслись скоро из вида. Может быть, никогда еще их быстрый бег не приносил на земле столько счастья. Оксана плакала, колотясь головой о стенки фаэтона.

Долго ждал связанный полковник со всеми своими домочадцами условленного знака освобождения. Уж совсем рассвело, солнце взошло. Батрацкие хаты задымились. «Что за чудеса!» — думали батраки, ничего не знавшие о заключении вчерашней истории и видя, что из полковницкого двора никто не показывается: ни кучер не ведет лошадей на водопой, ни приказчик не идет звонить к конторскому столбу. Сошлись работники к ограде; ворота заперты изнутри. Постучались, стали кричать; никто не отзывается. Крики их были слышны в погребу; но перевязанные там не могли ни крикнуть, ни двинуться, да и заперты были тоже на ключ. Опомнилась прежде других и нашла средство действовать старая Домаха. Она разорвала ветхий фартук, опутавший ей руки и ноги, тихо обошла комнаты, постояла, хныча, у дверей кабинета, тщетно силилась их отпереть, пробова-

ла выйти на крыльцо — и там двери снаружи были заперты. Она взошла, охая, наверх, увидела народ за воротами, сначала и его приняла за разбойников, потом узнала кое-кого из своих и решилась подать ответ в форточку двери над балконом.

— Что, бабушка, там у вас такое? — пугливо спрашивали голоса из-за ограды.

— А у вас, братцы, что? Ох, напугали, окаянные! Несчастье стряслось!

— Ворота заперты, и никого не видно со двора...

— И тут двери кругом заперты...

— Ды ты, тетка, отбей чем-нибудь!

— Чем же отбить?

— А где барин?

— Не знаю. Тут чедеса были, да и только...

— Ты дверь выставь на балкон, замок дверной отопри, а замазка и так отскочит...

Домаха успешно выставила дверь на балкон.

— Простыни свяжи, бабушка, да и опустись наземь! — суетливо кричали голоса из-за ограды.

Домаха явилась с простынями, осмотрелась, что разбойников нет, и наскоро передала, что случилось ночью в доме. По ее словам, все внутренние комнаты были заперты, и барин в доме не откликался.

— Боюсь, как бы не убиться, братцы...

— Не убьешься! получше свяжи, тогда и нам отворишь двери и ворота, невысоко...

Старуха связала толстым жгутом простыни и стала прикреплять их к балконным перилам. В это время со степи показался верховой. Ничего не подозревая, он тихо подъехал к воротам. Это оказался рассыльный местного откупщика. Он слез с лошади.

— Здравствуйте, братцы!

— Чего ты?

— К приказчику.

— Погоди, ты видишь, что у нас делается! И приказчика не найдешь...

Ему рассказали, в чем история.

— Где же ваш барин? — спросил удивленный рассыльный.

— Где? А бог его знает где...

— Да я его встретил под Андросовкою!

— Как под Андросовкою!

— Именно же под Андросовкою; в коляске на ваших конях и поехал; должно статься, рано выехал! И ваших

коней и коляску знаю; только кучер, пожалуй, что и не ваш. Волосатый такой. Еще полковник высунулся и поглядел на меня; а я ему шапку снял.

Батраки переглянулись. Что за притча! Задумалась и Домаха.

— Куда же это он поехал?

— Не знаю; с ним и ваша-то, знаете?

— А! в самом деле, братцы, где наша Оксана? да где и остальные!

— Не замайте, не мешайте! — говорила старуха, привязывая простыни к балкону и мостясь перелезать через перила.

Охая и крестясь, она перевалилась за балясы, повисла на воздухе и благополучно стала спускаться вниз. Шутки смолкли. Все чуяли узнать что-то недоброе.

Домаха спустилась наземь, перекрестилась еще раз и отперла ворота. Все гуртом вошли во двор, ошарили все углы, кухню, сараи; нашли очумелых от страха пленников в погребу, освободили их, вывели на воздух.

— Кто это вас?

— Милороденко, братцы! Ох, господи спаси и помилуй! Господи, спаси...

— Как Милороденко? Откуда он взялся?

Приказчик и Антропка первые оправились и стали ругаться.

— Это же он и есть окаянный, Аксентий-то наш, что барин у немца нанял; это и есть Милороденко, что господа у Небольцевых толковали и что суд его разыскивает! Он у нас и жил...

— Снял же я живодеру этому шапку! Да не нарядить ли вам за ними, ребята, погоню? — сказал рассыльный откупщика.

— Да, ищи теперь ветра в поле!

— Однако же, что с домом да с нашим барином сталось? Где он?

Расспросили еще раз Домаху, взломали двери с парадного крыльца, вошли осторожно, осмотрели все комнаты. Все на своих местах. Подошли к кабинету; двери заперты и без ключей.

— Надо ломать двери...

— Надо.

— Кузнеца сюда!

Явился кузнец, тот самый батрак, что Левенчука когда-то защищал. Руки его дрожали. Долото не попада-

ло в щель. Сломали замок превосходной лаковой дубовой двери, вошли в кабинет и сперва за запертыми внутренними ставнями ничего не разглядели. Отперли ставни, отдернули полог — и судите, каково было общее изумление, когда на кровати оказался связанный и с заткнутым ртом полковник.

Его освободили. Измученный и нравственно убитый со стыда и злости, он долго не знал, что говорить и делать; наконец, наскоро расспросил каждого, что с кем было, отпустил всех и остался с приказчиком и с Самуйликом.

— Так и лошадей нет? — спросил он, опустив голову и кусая до крови ногти.

— Уведены-с тоже...

Панчуковский быстро подошел к столу, увидел вскрытый потайной ящик, разбросанные бумаги, ухватился за голову и упал без чувств... Кое-как его оттерли, дали воды напиться.

— Все погибло, все погибло! — кричал он, как ребенок, и бился об стену.— О боже, боже, все погибло! Лошадей, хоть каких-нибудь лошадей! Садитесь верхами, скачите, ищите их! у меня украдены все деньги... все!

Новый ужас обнял дворню. Забыв тревогу, усталость и недавний страх, все, кто мог, вскочили на машинных, даже малоезженных табунных лошадей и поскакали.

— Десять тысяч целковых тому, кто найдет их и воротит мои деньги! — кричал Панчуковский с крыльца, бегая то в конюшню, то за ворота.

Написаны повестки в стан, в суд, в полиции трех соседних городов.

К знакомым и к приятелям посланы особые гонцы.

Панчуковский взошел наверх. Комната Оксаны была пуста.

«Разом какого счастья лишился я! — подумал полковник.— Говорят, что человек идет в гору, идет и вдруг оборвется... И правда!..»

Полковник бродил по дому, проклинал весь мир, звал к себе поодиночке всех, кто еще возле него остался, советовался, кричал, сердился, делал тысячи предположений, рвал на себе волосы, беспрестанно бегал на балкон, смотрел в степь, наводил во все стороны ручную подзорную трубу и плакал, охал, как малый ребенок.

Из посланных некоторые воротились к обеду, другие к вечеру, третьи вовсе еще не воротились. Ответ был

один: никто ничего не открыл. Беглецы ускакали без следа.

На рассвете длинной темной ночи, в которую никто в доме и во дворе полковника не заснул ни на волос, к крыльцу Панчуковского с громом подъехал экипаж.

— Немец приехал! Шульцвейн! — сказал кто-то, вбегая к полковнику, который лежал, обложенный горчичниками, в постели. На столе стояли склянки с лекарствами. Доктор сидел возле.

«Опять его судьба ко мне в такой час заносит!» — с невольною досадою подумал Панчуковский и молча, с грустною улыбкою протянул руку входившему в кабинет колонисту.

— Ist es möglich?[1] — спросил Шульцвейн, грубыми и неуклюжими шагами подходя к кровати Панчуковского.— Есть ли какое вероятие в том, что разнеслось теперь о вас?

— Все справедливо! — тихо сказал полковник, качая головою из подушек.

— Кто же это все сделал?

— Слуга, рекомендованный вами.

— Ай-ай-ай! И я причина вашего разорения, может быть, гибели? Ах, mein Gott, mein Gott![2] Я бесчестный человек!

Панчуковский попросил его прийти в себя, успокоиться, сам сел и попросил сесть гостя. В той же синей потертой куртке, с теми же длинными костлявыми ногами, румяный и белокурый колонист уселся, охая и поминутно ломая руки.

— То, что случилось со мной, Богдан Богданыч, могло, наоборот, случиться и с вами. Не в рекомендации дело; вы его не знали и за него не ручались. Дело с беглыми, как видите, у меня оборвалось...

— Но я, я!.. Через меня! Ах, mein Gott, mein lieber Gott!

— Вы мне порекомендовали этого негодяя, зато от вас я впервые узнал и о моей красавице... Что теперь от вас таиться? Шутка судьбы?

Отчаянию и неподдельной горести Шульцвейна, однако, не было границ. Он ходил по комнате, размахивал мозолистыми руками, останавливался, делал тысячи

---

[1] Возможно ли это? *(нем.)*
[2] Боже мой, боже мой! *(нем.)*

предположений о поимке грабителей, вызывался сам их искать, сам своими средствами; предлагал на первое время часть собственного капитала к услугам полковника, для его первых хозяйственных оборотов.

— Сколько же они у вас всего похитили?

— За двести тысяч... да-с!

Шульцвейн падал на диван, топал уродливыми ногами, вопил, осклабляя розовые сочные губы до ушей, стонал, бил кулаками в стол, себя в грудь и кричал: «Двести тысяч, двести тысяч!»

— Да что вы так выходите из себя?—уже иронически спросил полковник.

— Это деньги нажитые, трудовые! Я знаю труд! Я его знаю! Боже мой, боже, когда бы их нашли! О, если бы их нашли!

— Вы видите, я спокоен. Мне жаль более моей красавицы. Видите, я вам сознался...

Утром подъехали другие соседи: братья Небольцевы, Швабер, Вебер, Авдотья Петровна Щелкова. Шутовкин вошел, похрамывая и проклиная дорогу. Он особенно нежно и с чувством пожал руку полковника.

— Душа, Володя! Я тебя лучше других понимаю; не денег тебе жаль, ты жалеешь другого сокровища—ее! Она готовилась тебе подарить ангела-сына или, может быть, дочь.

Шутовкин, едучи к новому другу, выпил.

К обеду прискакал Подкованцев. Он был смирнее, не попросил по обычаю ни бювешки, ни манжекать, внес портфель, достал оттуда какую-то бумагу, подал ее Панчуковскому и, обратясь к присутствующим, сказал:

— Меня, господа, берут у вас, гонят в отставку; вы меня не отстояли, а увидите,—без Подкованцева вам житья не будет.

— Нет, мы вас не отдадим...

— Не отдадите? Теперь уже поздно! Зато я тот же-с, как и был! Вы бы послушали прежде мои новости: фаэтон, господа, полковницкий я нашел, и его сюда уже везут...

— Нашли, экипаж нашли!—закричали слушатели и сбежались поздравлять полковника,—а лошади?

— Один экипаж пока,—печально заключил исправник,—экипаж и два пустые чемоданчика на берегу моря, an bord de la mer, messienrs![1]. только покамест и нашли!

---

[1] На берегу моря, господа! *(фр.)*

Но найдем и остальное. А лошади пали, загнанные вскачь на сорока пяти верстах... Жаль их!

— Как же это нашли?

— Видите ли: новые чиновники-чистуны брезгают приемами отцов и дедов, а мы еще живем по старине. Я гаркнул на моих соколиков, значит, созвал ближайших к городу моих приятелей, то есть разных мошенников-с — извините — и сказал эйн вениг такое наставление: ищите и обрящете, толцыте и отверзется, а чтоб вы мне полковницкие вещи разыскали! Всех переловлю!

— И нашли!

— Нашли пока одно; может, найдем и другое...

Присутствующие стали строить новые планы поисков.

— Деньги Владимира Алексеевича в золоте, значит, появятся либо в портах, либо в Нахичевани. Надо там следить! Да и как следить? Стан за сто верст, суд за сто двадцать! Этакая даль, пустыня...

— Ничего из этого не будет! — решили другие.— Денег не воротишь! надо облавы на этих проклятых беглых сделать; это от них все бедствия идут, оттого что у нас людей без паспортов держат.

— Да вы же их, Дмитрий Андреевич, держите больше всех нас, вы же! — сказал кто-то Небольцеву.

— Хороши и вы. А кто кучера моего передерживал в прошлом году, а?

— А мою девку-с?

— А моего табунщика?

— Да он же не ваш?

— А чей же?

— Он тоже беглый, а не ваш; я потому его и держал.

Авдотья Петровна Щелкова вбежала впопыхах.

— Мосье, фаэтон Владимира Алексеевича привезли!

Все выбежали на крыльцо. У конюшни действительно стоял весь избитый и загрязненный фаэтон. Его привезли на обывательских. Самойло держал его рукою за колесо.

— Что, брат, Самуйлик, не думал дожить до такой жалости? — спросил кто-то.

Покачал седою головою Самуйлик и ничего не ответил. Все дворовые ходили как шальные.

— Конец, нам, видно, приходит! Бога мы вконец прогневали!

Гости толпой стояли на крыльце, шушукаясь: «Двести тысяч, двести тысяч! это еще небывалое дело в крае!»

— Как, однако, экипаж отделали! Да и погода грязниться стала. Ишь как потеплело; облака не зимние бегут, будто весной пахнет. Как бы сегодня дождя не было! Распустит, засядем все мы тогда здесь у полковника на неделю...

— И в самом деле, господа, пора бы по домам,—сказал Вебер.

— Погодите, исправник еще ждет сегодня одной справки: он на плавни, в камыши послал лазутчиков: не туда ли скрылись беглецы?

— Весной запахло, больших барышей Подкованцев лишится; теперь от контрабанды им только и житье настает! Недаром же он у моря терся, что там так скоро нашел брошенный фаэтон!

Перед вечером приехал нарочный верховой из-за Андросовки с вестью от лазутчиков от соседних греков.

Действительно, по слухам, беглецы перебрались к Дону и скрылись в его гирлах, в камышах. Бросив фаэтон, они наняли у каких-то неводчиков повозку, а потом сели на отходившую береговую барку, прошли часть пути водою, по взморью, и скрылись по направлению к устьям Дона.

К ночи еще более потеплело. Пошел дождь. Гости бросились по домам. Исправник заночевал у полковника.

Утром Подкованцев проснулся; над степью плыли теплые непроглядные туманы. Снег исчезал. Поля отдавались уже картинами нежданной-негаданной весны. Мигом в сутки распустило так, что исправник в обеденное время другого дня выехал от Панчуковского в тарантасе, гуськом, в двенадцать лошадей. И то поехал, еле-еле тащась, в океане невообразимой грязи. Дождь пошел и лил три дня сряду. Стала небывалая распутица.

Зато тут же, между двух-трех дождей, среди еще не сошедшего снега, откуда взялась зелень. В степи показались озерки; мелькнули весенние цветы. В облаках затурликали журавли. Потянулись вереницы гусей. Через новых три-четыре дня в одиноких затопленных оврагах, покрытых лесками, загремели недалекие крымские и кавказские гости — соловьи. В воздухе запахло почками тополей. Дни прояснели. Подул с юга

крепкий морской ветер. Туманы уплыли. Пышно засинело у берегов море. А Дон, дробясь мутными потоками песчаных гирл, бурлил, кипел, шумел и катил к нему свои пенистые и привольные воды.

Окна выставлены, о шубах и помину нет. Плуги бороздят уже степи. Стада высыпали в поля. Теплый душистый пар струится и стелется над тихими, веселыми долинками и пригорками. Стада овец пасутся, утопая в парках. А солнце весело-весело катится, и каждый, радуясь отходу недолгой зимы, мигает, с любовью взглядывая на ярко сверкающее небо.

XIII

Облава на беглых

Ускользнув от преследований полиции, Милороденко, Левенчук и Оксана пробрались к вечеру дня, в который на хуторе Новой Диканьке произошло такое событие, к глухой Сасуновой балке, невдалеке от морского берега. У Милороденко были везде приятели и помощники. Загнав полковницких лошадей, он очень скоро достал у какого-то прибрежного неводчика новую тройку, и на ней беглецы еще несколько времени проскакали на телеге по взморью. У песчаной пустынной горы они пересели на парусную барку и пошли морем. День был пасмурный. Лодка обошла в тумане ряд береговых мелей и причалила у тощего, чуть видного в камышах, ручья. Тут Милороденко сказал: «Стой, братцы, тут мы выйдем!» — бросил гребцам договоренную плату, надбавил еще на водку, и беглецы пошли вверх по течению ручья, а лодочники, обрадованные невиданным заработком, поспешили снова в море.

Ручей вытекал из степного оврага Сасуновой балки. Там вечер, а вскоре и ночь застала беглецов. Притаща на себе остальные чемоданы, они вошли в камыши, окружавшие истоки ручья, выбрали место посуше, на склоне оврага, у прошлогоднего стога сена, накошенного тут кем-то по низу балки, и сели отдохнуть.

— Ну, Хоринька, не знаю, как ты, а я у лодочника захватил хлеба и рыбки. Садись с подругою да закусывай, чем бог послал.

— Не то у меня на уме теперь, чтоб хлеб есть! Оксана, возьми ты; не затощай,— дорога еще не завтра кончится...

Оксана взяла хлеб и рыбы.

— Куда мы денемся теперь? — спросил Левенчук.— Что это вы с нами сделали, Василий Иваныч?

— А! Как куда? Как, это я сделал?

— Зачем это вы у полковника деньги взяли?

— Деньги? Шалишь, братец! Ах ты, простота, простота. Да деньги-то всему сила. С ними, брат, теперь нам море по колено будет, а счастье в ноги нам будет кланяться!

— Не будет!

— Будет!

— А как не будет? Как поймают-то нас теперь, в кандалы закуют да по острогам морить станут, а после в каторгу сошлют, и еще палач-то тебя кнутом отдерет?

Милороденко засвистал, засмеялся, от смеху по траве покатился и опять сел степенно и с достоинством.

— Глуп ты есть и теперь, человече; глуп, брат Хоринька, вижу я, ты и по сей день, с той поры, как я вел тебя сюда! Помнишь ты те дни и те ноченьки, поля без дорог и овраги такие же, как вот и эта трущоба? Вел я тебя тогда ими и уму-разуму поучал. Многое я тебе пророчил, да не все сбылось из того! Не все сбылося, многое переменилося тут, а все-таки признайся и скажи, брат, так ли ты здесь дни-то свои коротал, на этом приволье, по неводам, у моря осенью и зимой, или летом по степям здешним, как жил ты, положим, у своей-то госпожи?.. Ну, говори!

— Конечно, оно так; а все-таки, как подумаю: чего же мы с вами, дядюшка, и тут дождались? Бить нас и тут били, невесту у меня и тут отняли...

— А энтакой чемоданище, да еще полный денег-то решился бы там в своей-то степи украсть, пастухом-то за стадом день-деньской ходючи? А? Говори, ну?

Милороденко взял меньший чемодан и еще в отблеске серенькой, влажной зари раскрыл его. Левенчук увидел связки бумаг и между ними пачки ассигнаций.

— Почитай тут тысячи, десятки тысяч. А? Ведь не решился бы?

— Куда мне! Разумеется, не посмел бы...

— То-то же; а тут ты вон другой человек стал! Тебя,

значит, обидели, ну, и ты спуску не дал, да еще где? в самых, так сказать, апартаментах, в кабинете их высокоблагородия полковника, да еще и самого барина-то за белую глоточку этак подержал — не шали, дескать, мы сами люди... не обижай нас! Мы тут вольные!

— Так оно, так, да только деньги эти напрасно мы брали! Куда мы их денем? За ними и погоня крепче будет. Поднимут всех чиновников за нами теперь, всех становых и заседателей. Взяли бы одну Оксану, они бы нас бросили сегодня же! Что мы им?

— Барышня, целуйте его! Видите, какова-с верность-то! Ну, целуйте же его, а то буду сердиться!

— Ох, Василь Иваныч! — сказала Оксана,— уж мне ли не клясть моего мучителя и врага? не вам ли я на него плакалась? А погубят нас эти деньги; пропадем мы все за них, и я говорю.

Милороденко помолчал... На дворе стемнело окончательно.

— Вылезь, Хоринька, на шпинек да глянь, все ли тихо кругом; а там покалякаем, сползешь опять.

Левенчук выбрался из оврага, долго слушал, приглядываясь во все стороны, отошел несколько в степь и воротился.

— Ну? Никого не видно?

— Никого.

— Вот же что я надумал, слушайте! — решил Милороденко,— до утра мы выспимся, а утром деньги сосчитаем и поделимся.

— Ничего нам не нужно, Василь Иваныч,— ответили разом Левенчук и Оксана,— мы уж условились; вместе втроем нам оставаться и бурлачить долее нельзя.

— Куда же вы? Так меня уж и бросить затеяли?

— Спасибо вам, а только мы так положили: доберемся до Дону, сядем как-нибудь на барку какую-нибудь, пройдем до Качалина, а там на Волгу, и Волгою либо в Астрахань, либо в Моршанск,— один городок такой там есть, и меня купцы хорошие туда звали. Я уже и пачпорт припас заранее тогда еще. Они обещали спрятать от всякого дозора и приписать в своем городе...

— Пачпорт? Откуда?

— В гирлах достал.

— У Проскудина Феди?

— У него.

— Ну, это моей фабрики, я угадал! Далее, братец! говори далее...

— А далее, что бог даст. Там и станем жить. Что мы! Дела злого никакого не сделали; нечего и суда бояться, хоть бы и узнали нас когда, что мы беглые.

Милороденко вздохнул.

— Туда, так туда! Идите с богом. Рад, что вызволил вас. Оно точно, проживете себе, коли такие уж купцы звали. А там и волю, должно статься, скоро скажут всем. Ну, а деньги?

— Деньги берите вы: на что они нам?

— Как? все?..

Дух у Милороденко замер. Он тронул чемодан.

— Все.

— То есть решительно, как есть, все до копейки?

— До копейки.

Милороденко шапку снял и перекрестился.

— Господи! услышал ты молитву мою. Теперь я богач, каких и в сказках не бывает. Добился, значит, и я до своего! Куда же я теперь пойду-то?

Левенчук и Оксана молчали.

— Пойду я за Несвитай; там у меня солдатка знакомая одна, кума есть. Деньги закопаю у нее, разведаю в гирлах, у камышников наших, нельзя ли пробраться за Кубань, либо за Маныч, к киргизам, или на Кавказ? Можно — возьму и богатство, нет — после за ним приеду. И заживу же я, брат Хоринька, теперь уж как следует. На церковь дам, сиротам, бедным раздам какую часть... Что из того, что мы вот беглые? Я-то уж, положим, совсем, пожалуй, порченый, многое затевал. Да зато тихо жил в последнее время у полковника. А вы вот и вовсе ни в чем не повинные. Да присмотрелся я и ко всем-то нашим, что живут вон хоть у полковника. Люди как люди; и как за него-то стояли еще! точно за отца родного, точно его подневольные, крепостные. Я кучеру его Самойле этому чуть кишок не выпустил, как пошел тебя освобождать и развязывать в конюшне, а он на стороже был у ворот ночью. Не совладай я с ним, все бы пропало; да и все они так. А отчего? Нужны они ему больно, он их содержит получше иных-то господ, ну, они за него и горой! Придет времечко, Хоринька, ты с своею хозяйкою дождешься лучшего часу, станешь спокойно жить, припеваючи, а меня тогда не поминай, брат, лихом... Все у меня зудит и теперь еще, точно пихает

куда; я уж и не гожусь с вами-то. Ну, а как деньги эти я провезу да на франки и сантимы либо на эти пиястры турецкие променяю, так еще нос утру не одному... В Турцию проберусь, трех жен куплю разом... пашой буду... бес их подери! А полковник-то, я думаю, горячку теперь порет! Да не найдет нас; есть у меня такие уж приятели,— весь край меня знает. Береги, значит, только друга, а денег дам вволюшку теперь всякому.

Утром рано беглецы вскрыли чемодан. Оксана высунулась из оврага и стерегла, не явится ли какой признак погони.

— Мы, брат Хоринька, от Мертвой недалеко, окружили ее; так тут надо быть умнее! Ты там что ни говори, а вот бери, на тебе денег! без них вам не ступить шагу.

Милороденко дал Левенчуку сверток червонцев.

— Не возьму! — ответил опять Левенчук,— пускай они пропадают. У меня свои есть. Недаром же я старался, ее-то ожидаючи! Я другой человек, чем ты, Василь Иваныч: я, брат, бога боюсь.

И он вынул из-за пазухи кошелек.

— Дурень, голубчик, дурень! ох, дурачье вы все! Да что делать! Ну, разводи теперь огонь. Бога!.. Да и я-то его боюсь, только не так, как ты. Ну, разводи же огонь...

— Зачем?

— Увидишь.

Левенчук высек огня, собрал сухого камыша и развел на дне оврага костерок. Стог был недалеко.

Милороденко, обшаривший аккуратно чемоданы полковника, золото и серебро завернул особо, а пачки с ассигнациями, банковые билеты и разные счета, бумаги и письма медленно еще раз осмотрел и понес со вздохом на ярко разгоревшийся огонь.

— Что вы, дядюшка, что вы? — крикнул Левенчук.

— Не замай! Пусть горит оно и прахом пойдет, не добром нажитое: туда ему и дорога! Еще довезу ли я его и спрячу ли. А накроют нас, ему же опять отдадут. Да и так уж я тут убытки нес, на этих-то ассигнациях, может, скажут еще, что и это рук наших фабричное дело. А золото как-нибудь провезу...

Левенчук удержал его и убедил лучше все, чего он не возьмет с собою, спрятать в сено.

Оксана без мысли и слов смотрела сверху оврага в одинокую степь. День светлел более и более. Туман

уносился. Овраг выходил из утренних сумерек. Камыши шелестели.

— Как бы, однако, стогу не зажечь чужого! — заключил Милороденко, шевеля огонь, чтобы он скорее догорал, и видя, что с костра искры иногда летели на стог,— кто-нибудь добрый человек своей скотинке сена припас! Побереги его, Харько, пока костер догорит, да и до лясу! А я переоденусь тем временем.

Левенчук исполнил просьбу Милороденко и сберег стог, куда тотчас спрятали остальные деньги и чемодан. Беглецы переоделись и пустились вверх по оврагу. Левенчук надел прежний свой мещанский наряд, а Милороденко достал из чемодана статское пальто полковника и другую шапку. Вверху оврага, верстах в трех был вольный шинок. Там Милороденко в шинкаре-конокраде нашел старого приятеля. Левенчук и Оксана оставались в овраге. Милороденко принес им перекусить и объявил, что за час перед тем тут проскакал становой с двумя гарнизонными солдатами.

— Теперь прощайте! — сказал он,— коли хотите, идите в Святодуховку; через неделю я достану коней и приеду за вами. Поп вас пока укроет в байраке!

Незадолго перед тем между господами-землевладельцами прошла молва, что явился с зимы новый губернатор и что он вознамерился принять брошенные было его предместником крутые меры против беглых. Ему обещал свое горячее содействие ближайший градоначальник, особенно злившийся на бродяг за распространение побережной контрабанды. Все опять мгновенно окрысились на беспаспортный народ, точно до того времени его здесь не подозревали. Стали сновать во все стороны тайные гонцы. Писались экстренные предуведомления по земской и по городской полициям. Потребовали готовности к содействию в случае надобности близстоявших военных команд и в особенности ловких на эти знакомые уже в крае дела донских казаков. Одни из владельцев земель, рыболовен и фабрик радовались этим мерам; другие, и большая часть, говорили против них. «Край беглыми только и держался,— толковали последние,— не будь их, он запустеет; жди еще, пока эти земли заселятся законным путем, пока северное народонаселение сюда хлы-

нет!» — «А история с Панчуковским? — возражали первые,— а постоянные грабежи по взморью, конокрадство в степях, несоблюдение условий найма, убийства, общее растление нравов здешнего сельского населения, ввиду покровительства с нашей же стороны бродягам?» Споры местностей и мнений опять загорелись. Возобновилась снова и здесь вечная и знакомая миру сказка войны Белой и Алой Роз. Андросовка шла против Антроповки, Небольцевы спорили с Шутовкиным, Щелкова с Шульцвейном, Мертвые Воды с Доном, а Вебер с своим родичем Швабером. Прошла весть, что кое-где уже оцеплялись города и пригороды. Земские власти делали нежданные обыски деревень и одиноких степных хуторов. Остроги переполнялись беспаспортными, дезертирами и особым сословием местных бродяг, выдающих себя за людей, не помнящих родства. Под конвоем гарнизонных рыцарей прошли партии пойманных и дознанных беглых. Зашевелилась вольница, смиренно жившая на всей вольготности по нескольку сладких и тихих лет. Иные найдены седовласыми и с кучей детей от новых, в бегах припасенных, хозяек. Сколько лет они уже в бродягах, этого и они сами не скажут, не помнят. «Кто ваши господа, где они?» — «А бог их знает! живы ли наши господа теперь, мы не знаем!» — «Когда же вы бежали?» — «До первой еще холеры, в персидскую войну, от набора!» — Сгоняли в города самозванцев-мещан, сапожников, плотников, неводчиков, столяров, слесарей и пастухов. Одних ловили, другие сами шли, заслышав ловко пущенный кем-то слух, будто беглым будут в правлениях раздавать земли и водворять их на прижитых ими местностях в качестве вольного народа. Кучи фальшивых паспортов загромождали в полициях допросные столы. Очистив города, власти отрядили отдельные обыски по деревням. Дошла очередь и до тихих окрестностей Мертвой.

— Эка невидаль, что люди без паспортов живут! — ворчал ослепший дьячок отца Павладия, Фендрихов,— опять, вторично, замрет наша окольность по Мертвой.

— Молчи, Фендрихов, не ропщи! Сказано бо в писании: ропот гневит господа, и кийждо бо спасения не обрящет! А лучше молись: авось все обстроится, и да мимо идет чаша сия. Не в первый раз нам с тобой терпеть! Помнишь, как люди здесь мерли?..

Так говорил отец Павладий, сильно хворавший и подавшийся с зимы. Он уже почти не выходил из дому, не заглядывал, по обычаю, в свою любимую, весело зеленевшую рощу, или все сидел на крылечке, смотря на косогор в степь за церковь, будто кого поджидая. Но Фендрихов, от слепоты ли, или старости ставший очень сердитым, не унимался и все ворчал, сидя с ногами на лежанке в спальне, перед кроватью священника.

— Сказуют, что для порядка! А где порядок? Ты лучше прежде насели вертоград[1] твой, тогда и требуй, чтоб там все было начистоту. Вот хоть бы и наша Оксана. Что же, что она дочь беглого? А жила же у нас, как святая, весь девичий век! Взяли ее, увели, и все у нас осиротело. Вот так и вся земля тут запустеет, ваше преподобие. Так-то-с!

— Об Оксане ты не говори! Слышишь? Не говори! Лучше мне не вспоминай о ней вовсе, и только!

— Не могу, не могу, отче...

— Вот тоже хоть бы и ты, Фендрихов. Ты стар был и хотя-таки с ленцой, а все же церковь подметал как следует, да и подметал, пожалуй, тоже только по большим праздникам. Ну, вот и прислали нам иного дьячка; положим, Андрей наш и молод, и все содержит в чистоте. А что? душа моя ни к чему тут при нем не лежит! И в ограду идешь, ключи берешь; дорожки подметены, песочком усыпаны; бежит Андрей в халатике, суетится, услуживает: а не то, братец, не то... Все не то стало!.. Мир не туда идет!

— Куда же он идет?

— К последнему времени идет...

Так отец Павладий говорил Фендрихову про нового дьячка Андрея, своего же родича, который по поводу исключения своего за грубости инспектору семинарии, несмотря на окончание первым учеником курса, был лишен незадолго перед этим сана священника и права на приход и командирован сюда, в наказание, в простые причетники. Он покорился печальной участи, охотно принялся за должность при дяде, сильно обрадовался, что нашел у него множество книг; предался со всем пылом молодой, жаждущей знания душе, стал в часы отдыха (а его, боже, сколько здесь) охотиться с ружьем по окрестностям и сразу заслужил любовь прихожан.

---

[1] Вертоград — сад *(старослав.)*.

Как-то, съездивши в город за новыми церковными книгами и для расчета в консистории по доверенности отца Павладия, по свечному сбору, он познакомился там с учителем уездного училища, затеявшим, как мы говорили, открыть по соседству публичную библиотеку и сильно в этом разочаровавшимся, и разговорился с ним о том о сем. Он достал у этого учителя еще десяток-другой любопытных книг и, между прочим, стал жаловаться на свою судьбу. «Вы, мой любезнейший, сделайте так, как я! — возразил учитель,— купите десть-другую дешевенькой серой бумаги, да и пишите ваши наблюдения над местными нравами, записок своих не бросайте: они вам пригодятся! Видите, как здесь все быстро меняется; край строится заново. Уже на моих глазах многое изменилось. Вон и дончаки, слышно, затевают улучшения, помышляют о железной дороге и о пароходстве. Не захотите сами в литературу пуститься, вот теперь стать, как я, газетным корреспондентом,— отошлите свои наблюдения в географическое общество!» — «Помилуйте-с, еще мне достанется; что я есть такое теперь, по поводу оказанного неуважения моего, так сказать-с, извините, к взяточнику-с и казнокраду, нашему бывшему инспектору семинарии? Я — дьячок и только-с».— «Ничего; многие ваши уже выступают на поприще. Покупайте бумагу и пишите. Слышно, и ваш священник пишет какое-то рассуждение?» — «Отец Павладий-с?» — «Да».— «Так точно-с, пишет что-то, только он больно стал хиреть...» — «А что ваш роман с похищением его воспитанницы? Где она?» — «Бог весть; сказывают, снова ушла с прежним любезным».— «Смотрите же, пишите записки. Библиотека мне не удалась; но я вновь тут около одного мещанинишки, кирпичного заводчика, захаживаюсь; он раскольник, может быть, даст деньжат на журнал; так мы тут тогда на Мертвой, в городке, типографию откроем и журнал станем издавать. Трудитесь, любезнейший; от нас, бурсаков-с, многого ждут теперь; вот что-с! Когда б Белинский был жив, мы бы его заманили в покровители».— «Да, да! Когда бы Белинский!.. Вот душа-то была! Мы его тайком теперь в семинариях читаем».— «Ну, коли не Белинского, к другим литераторам письмо напишем,— есть хорошие люди! они нам откликнутся! Что ж, что мы нищие и что вокруг нас одни златолюбцы да угодники мамоны живут, тупые, отсталые и злые люди? Мы на них не

посмотрим; мы будем работать. Ведь у нас паспорты есть; нас не выгонят, не выведут, как этих теперь бедняков беглых. Так или не так-с?» — «Извольте-с; согласен. Что же это за записки надо вести?» — «О жизни-с, да и о прочем»...

Так беседовали новые приятели, бездольные горячие головы.

Между тем, затеянные меры против бродяг шли энергически своим путем. Власти хватали и разыскивали беспаспортных, а между последними в то же время являлись примеры такой прыти, какой прежде и не бывало.

— Жили смирно беглые, никто их не замал! — ворчал снова на лежанке Фендрихов,— стали тревожить их, пошли шалости! Вот так и с пчелами бывает: трудятся златые пчелки — смирны, ничего, а развороши их, и беда — озлятся.

И точно, дерзости беглых в ту весну превзошли все границы. Осада Панчуковского, небывалая покража у него громадной суммы его же беглым слугою, все это были вещи нешуточные. На берег близ Таганрога с английского судна тогда же высадили и скрыли как-то ночью баснословное количество контрабанды: чаю, сахару, шелковых и шерстяных тканей, пороху и остальных изделий на сотни тысяч рублей. У какой-то переправы высекли квартального, гнавшегося погоней за открытым беглым мясником из городка. На базаре в Керчи зарезали меняла среди бела дня и увезли в свалке его деньги. На дороге, в степи, ограбили губернаторшу. Возле Сиваша, в гнилых болотах, появился настоящий разбойник, какой-то дезертир Пеночкин. О нем и о его похождениях пошли уже настоящие сказки: что будто бы он на откуп взял все пути по Арбатской Стрелке, собирает калым с каждого проезжего и прохожего на сто верст в окружности, что его пуля не берет, что вся его шайка заговорена от смерти, что он зарекся ограбить Симферополь,Феодосию, а потом Мелитополь и завел часть летучего отряда даже на вершинах Чатырдага. Местное воображение и толки разыгрались.

— Слышали вы, какие ужасы рассказывают?

— Слыхал, но не всему верю, как другие, недавно еще, впрочем, считавшие наших беглых пуританами, по чистоте их нравов.

Это говорил Панчуковский, встретившись с колонистом Шульцвейном у мостка, у переправы через бурлившую еще Мертвую.

— Куда вы, Богдан Богданович, едете? Помните, как мы тогда-то встретились с вами, также в степи под Мелитополем? Много воды утекло с тех пор!

— А вы куда?

— На облаву хутора нашей Авдотьи Петровны.

— И я туда же по делу, кстати, разом к ней за речкой и своротим.

— Да-с; не ожидал я от нее. Какова барыня! — сказал Панчуковский.

— А что? Я все это время в отлучках был, по своим овчарням...

Дюжий колонист поправил волосы и стал пугливо ждать ответа.

— Да у нее вчера нашли шестьдесят пять беглых; так и жили у нее слободой. Сегодня продолжают обыск. Это, должно быть, последним подвигом Подкованцева будет.

— Что же, разве с этим добрым Подкованцевым опять что-нибудь случилось?

— Да, говорят, дали ему последнее испытание: коли не выкажет здесь особой бойкости в поимке беглых, его отставят.

— А ваше дело? покража этой баснословной суммы?

— Что за баснословная! еще наживем-с.

Колонист покосился на полковника.

— Что же, едем к соседке?

— А! поедем. Это любопытно!

— Не только любопытно, но и поучительно! — сказал полковник. — Да надо бы его теперь и на церковный хутор нашего отца Павладия направить. Этот священник — известный передержчик беглых; его бы рощу да байраки обшарить.

— Нехорошо, полковник, нихт гут![1] — возразил с горечью честный немец, отъезжая от моста, — вы с ним враг теперь и на него напускаете такие страсти. Вы мстите ему? вы? Фи! нехорошо!

— Так ему и надо; теперь каждый думай о себе.

— У вас же, полковник, все беглые похерены?

— Нечего делать, придется и мне с моими проститься — сам ездил в город, привел уже одну партию

[1] Плохо! *(нем.)*

настоящих работников; всех переменю, ни одного теперь бродяги не стану держать, ну их к бесу! Только теперь еще молчу; разом всех прогоню...

Полковник с немцем поехали к Авдотье Петровне, над которою стряслась такая черная беда в виде наезда исправника по поручению губернатора.

Отец Павладий между тем в тот день перед вечером был изумлен появлением нежданных гостей.

Он, по обычаю, теперь сидел с утра до вечера в зале, в старом потертом кресле перед окном, читая какую-нибудь книгу, и собирался тогда переместиться на крылечко, где он на воздухе любил ужинать, как во дворе его у кухни произошла суета. Сперва вбежал было к нему, шелестя новым камлотовым подрясником, его племянник — дьячок Андрей. Но Андрей вскочил только в сени, постоял как бы в раздумье и выбежал опять на крыльцо. Слышались голоса; говорил кто-то шепотом. Заскрипели половицы под знакомыми пятками Фендрихова. Слепой друг долголетней жизни отца Павладия вошел, ведомый своим преемником, и, ощупывая стены и притолоки, остановился в зале у дверей. Лицо его изменилось и сияло необычайным чувством радости и ликования.

— Что такое с тобою, Фендрихов? ты на себя стал не похож!

Священник заложил очки на лоб и, ожидая чего-то невероятного, покраснел; руки его дрожали, косичка моталась на затылке.

— Говори же, что там такое? Ну? Что ты глядишь на меня, Андрей?

— Оксана, батюшка... она сама... пришла с Левенчуком! Идите отворяйте церковь, венчайте их скорее!

Отец Павладий встал и вышел в сени. Ему навстречу на пороге поклонились до земли Оксана и Левенчук. Он сперва было не узнал Оксаны. Измученная столькими событиями, она сильно изменилась в лице, но была так же хороша, если еще не лучше..

— Оксана, Оксаночка моя! — залепетал отец Павладий, всхлипывая, дрожа всем телом и крестя лежавшую у ног его Оксану.

— Благословите нас, батюшка, отец наш названый, меня и его благословите! — сказала Оксана, также плача и не поднимаясь.

— Благословите и венчайте; за нами скоро будет погоня! — прибавил Левенчук,— нам либо вместе жить, либо умирать!

— Погоня? Куда? Ко мне! Это еще что? Этого не будет!

— Сюда, батюшка, сюда; мы покинули барку у Лисьей Косы, а сюда приехали на неводской подводе. Нас по барке найдут; мы всю ночь ехали на чумацком возу под рогожами с мешками муки.

— Вставайте, вставайте! Бог вас благословит! Ах вы, соколики мои! Ах ты, Оксаночка моя! и ты, так вот, это как есть, на возу-то тряслась...

Священник не договорил. Он не мог без слез видеть своей нежно любимой питомицы. Она стыдилась глаза поднять.

— Нужда, батюшка, всему научит! — грустно сказала Оксана,— неволя как добьет, то и воля не всегда лихо залечит!

— Андрей! Фендрихов! живо! Ключи где? Отпирайте церковь! Огня давайте да в кадильницу ладану! Слепой и зрячий дьячки засуетились. На дворе наступила ночь.

— Свидетели есть у вас?

— Вот их милость будет! — сказал Левенчук, указывая на молодого дьячка,— наш возница-неводчик заручится тоже, и довольно,— а тетка Горпина?.. Она еще жива? Дитя ее живо?

— Живы, живы! хорошо. Поспешайте: а я вот ризу возьму.

Левенчук пошел звать подводчика. Оксана вздыхала, крестилась, подходила к каждой вещице в комнате, трогала ее, пыль с нее обметала, целовала и слезно плакала-плакала.

— Здравствуйте и навеки прощайте! — шептала она.

— Расскажи же ты мне, Оксана, как это тебя украли? — спросил священник сквозь двери, наскоро переодеваясь в спальне.

Оксана передала все, что могла успеть.

— А он-то, антихрист, он-то? изверг-то этот? Как он-то мучил тебя?

Оксана молчала, не поднимая заплаканных глаз.

— Ну, да я не буду тебя допытывать; горе, горе такое, что и трогать-то его не следует! Смотри же только, Оксана... хоть дитя-то теперь твое незаконное будет; хоть оно прижито тобою... в неволе, насильно, а все-таки береги себя, береги и его; оно все-таки плод твой, дар бога живого! Не проклинай его, корми, люби и воспитай! Даешь слово?

Священник вышел и торжественно стоял перед Оксаной.

— Разве я уж, батюшка, нехристь какая, что ли? Что случилось, было против моей воли; я вся измучилась, изболела. За что же оно-то мучиться будет? Да и что нас еще ожидает? Ведь мы — бродяги, бродяги, батюшка! Нам места нет...

Она снова громко зарыдала и упала на стол, обливая слезами его знакомую, вылощенную столькими годами тесовую крышку.

— Господь смилуется и над вами, Оксана! Пойдем в церковь.

У паперти Фендрихов беседовал с Левенчуком. «Так ты это ее так, как есть, принимаешь, с чужою прибылью?» — «Что делать, принимаю!» — «Молодец парень! Руку!..»

Все вошли в церковь. Свечи уже горели. Слепой Фендрихов чопорно стоял в стихари на клиросе, готовясь петь. Священник возгласил молитву. Свидетели опрошены, записаны. Отец Павладий скрепил своей подписью их спрос и обыск. Молодые поставлены перед налоем. Священник взмахнул кадильницею. Запели молитвы. Надеты венцы.

— Любите ли вы друг друга, сын Харитон, и ты, дочь моя, Ксения?

— Любим.

— По своему ли согласию и по своей ли воле венчаетесь?

— По своему согласию и по своей воле.

— Бог вас благословит!

— Аминь! — пели дрожащие и вместе радостные голоса с клироса.

А солнце ярко светило в узкие окна церкви, где впервые некогда увиделись Левенчук и Оксана. Акации и сиреневые кусты, одевшись яркою кудрявою зеленью, окутывали по-прежнему церковь, и она в них тонула по

крышу. Выщелкиванья соловьев мешались с возгласами отца Павладия и с клиросными перепевами. Поменяв кольца венчаемых, связав им руки и обведя их вокруг налоя, священник кончил обряд, поздравил их, заставил поцеловаться, обнял их и сам в три ручья расплакался. Плакали Фендрихов и молодой дьячок. Старая Горпина, не сберегшая год назад Оксаны, также тихо плакала в церковном углу, прижимая к груди дитя свое, некогда так лелеянное Оксаною.

— Что же у тебя есть, Горпина, молодых угостить? — спросил священник, выходя в ограду, — они теперь князь и княгиня у нас!

Темным церковным двором, со свечами, все воротились к дому.

Вошли в комнаты и там накурили ладаном. Оксана села беседовать с Фендриховым. Священник занялся с Левенчуком.

— В прошлом году я с тебя требовал выкупа; теперь я сам тебе дам на подъем. Ты, чай, без копеечки теперь обретаешься, горемыка?

— Спасибо, батюшка, за все; будет чем вспомянуть вашу милость!

Священник ушел в спальню, порылся в заветных сундучках и вынес Оксане радужную депозитку.

— Вот тебе, Оксана, мое приданое! обживетесь где, известите меня, — еще будет... Ведь я тебе отец и воспитатель! Эх, счастлив я теперь больше, чем когда был...

Оксана поклонилась ему в ноги.

Священник сел опять к Левенчуку.

— Слушай сюда, слушай, Левенчук! — спросил он шепотом, — те же деньги, казна-то полковника где? Милороденко где?

— Я, ваше преподобие, про то не мешаюсь. Товарищ мой взял их, точно; да я ему не судья. Мы его скоро бросили; мы сами себе люди, и он себе человек! Я чужого никогда не брал и брать не буду....

— Так и следует, так и следует; ну спрашивать я больше не буду... Я, брат, тебе верю во всем...

Горпина накрыла на стол, поужинали все вместе. Были вынуты три бутылки какого-то заветного вина. Призывали и молчаливого приморского возницу к угощению.

Так сидели пирующие, беседовали и попивали, мало расспрашивая и щадя друг друга. Далеко за полночь дом священника затих. Все в нем заснуло. Не успело утром солнце взойти, поднялся в доме шум.

Вбежала старая Горпина к священнику.

— Батюшка! там от немца с горы ряд каких-то людей показался! не то идут, не то едут, словно понятые с сотским!

Все выскочили за ворота. Точно: со стороны хутора Вебера двигались какие-то фигуры.

— Спасайтесь, поезжайте, бегите! это обыск, обыск! — закричал священник, и все опрометью кинулись во двор обратно. Левенчук бросился наскоро запрягать с подводчиком воз. Но выехать они не успели. Священник посоветовал волов опять распрячь, закатить воз в сарай, а всем спрятаться в байрак. Левенчук с Оксаной так и сделали, побежали туда.

Пройдя наскоро мимо церкви к пруду, они вошли в крайние кусты, и некогда дорогой им ракитник опять скрыл их в своих зеленеющих развесистых кущах.

— Как тебя звать? — спросил священник ухмылявшегося неводчика.

— Степанком.

— Ты же, Степан, поезжай сам в поле, им же навстречу, будто так муку везешь. Слышишь? А я, будто гуляючи, за тобой следом пойду...

— Извольте.

— Валяй, Степан!

Волов опять запрягли.

Воз поехал, а за ним пошел отец Павладий; в полутора версте от Святодухова Кута их встретил исправник на дрожках и за ним человек сорок понятых с сотским. С другой стороны, из-за хутора Вебера, показывалась в поле, под предводительством другого сотского, новая толпа понятых. Все действовало по заранее составленному предположению.

— Воротитесь, отец Павладий! — сказал исправник, улыбаясь, держа в руках бумагу и останавливая священника.—Я все понимаю... воротитесь!

— Как так! Я не согласен; это насилие сану! — сказал священник.

— Сотский, возьми подводу и этого батрака: извините, отец Павладий! Не угодно ли вам сесть со мною на дрожки? Волы эти краденые, а батрак ваш — известный

контрабандист Савва Пузырный,— мне дали знать только что наши лазутчики, что он к вам отвез и главного из разыскиваемых нами беглых...

Священник оторопел, засуетился, потерялся.

— Пожалуйте-с и покажите нам, где у вас укрылись здесь главные бродяги, беглый чабан помещицы Венециановой, Харитон Левенчук, и ваша бывшая воспитанница, а попросту-с его любовница, не помнящая родства-с, девка Ксения?

Отец Павладий очнулся.

— Вы забываете, милостивый государь, уважение к моему званию! у меня никого нет из беглых и не было, я ничего не знаю и прошу вас подобных обвинений мне не предъявлять всенародно!

— Полноте! — сказал, улыбаясь, Подкованцев,— исполняю свой долг; прошу вас садиться со мною. Не задерживайте нас!

Нечего делать, священник сел на дрожки.

Они подъехали к святодуховскому двору. Двор и сад наскоро были оцеплены толпой понятых. Другие понятые оцепили байрак и пруд.

Исправник распоряжался скоро и как-то беззвучно метался; везде все устроил, стал на крыльце, спросил: «Все ли на местах?» — велел вынести к крыльцу стол, разложил бумаги, достал кисет с табаком, набил трубочку, поставил свидетелей, улыбнулся и начал было допрос, но потом остановился.

— Что же вы не продолжаете? — спросил священник, вышедши к исправнику.

— Подождите, не торопитесь! Вот мы еще гостей подождем, свидетелей, чтоб протокол составить как следует! Я вам не судья — будут судить другие!

Священник сел к стороне, на особом стуле. Он думал: «Боже мой! что, как их найдут?» Подъехали старший Небольцев и с ним еще кто-то.

— Грех вам, батюшка! — сказал он, подходя,— вот-с нас всех известили, что вы главный притон нашим грабителям в своей роще устроили!

— Кто же вам это сказал? Так про меня одного и сказали?

— Все говорят.

На отце Павладии лица не было.

— Понимаю, вы меня обвиняете в покровительстве беглым, что через меня они смелы и дерзки стали.

Господа! Я тридцать лет тут, в этой пустыне, прожил; при мне строились и возникали ваши села и некоторые ваши города. Недочеты, обманы, всякие притеснения возмутили ваших беглых. Они мирно доселе жили. Край здесь изменился, нравы другие пошли. Не я беглых передерживал; обыщите других.

— Вы слышите, слышите? — спрашивал исправника Небольцев.

Подъехали Шульцвейн и Шутовкин. Эти обошлись с священником мягко и вежливо.

Вставали уже, составив предварительные статьи протокола, чтобы идти, как загремели колеса и послышался знакомый звук колес и рессор полковницкого фаэтона, и Панчуковский, по-прежнему щегольски разодетый и веселый, выпрыгнул из фаэтончика, ловко снял красивую соломенную панама́, подал дружески руку всем, кроме священника, поклонился исправнику. Священнику же он сказал, обмахивая платком пыль с лаковых полусапожек: «А мы с вами, батюшка, старинные друзья, не правда ли?» Священник кашлянул и сухо отворотился.

— Ну-с, — начал Подкованцев, — очень рад буду, господа дворяне, что при вас лично привелось мне исполнить мой долг; коли это мне не удастся, — гоните и судите меня сами...

Все сошли с крыльца. Общее молчание было мрачно и торжественно.

— Сотские, начинайте. Сперва с кухни и с амбара, а потом в погреба и на чердаки! Дом я сам обыщу.

— Так она здесь? — страстным шепотом допытывал Шутовкин полковника.

— Здесь! — рассеянно ответил Панчуковский, вспоминая роковую чудную ночь, когда он похитил здесь Оксану.

— Почему вы узнали?

— Приказчик мой их обознал, у шинка Лысой Ганны, знаете?

— Знаю, знаю! Так и ее прежний жених тут?

— Здесь, должно быть.

— И она, как была, еще с овальцем? Вот полюбуюсь крошечкой! Доведется-таки и мне ее увидеть!..

Облава началась, как на охоте. Гонцы шли тихо с дубинами, а сотские по крыльям порядок держали. Они осматривали каждый хлевушек, каждую ямку и все уголки. Обыскали кухню, амбары, погреба, конюшенный

сарайчик и дом. Не нашли никого, кроме забившейся под свиное корыто и перепуганной до полусмерти тетки Горпины. Обыскали церковную ограду, даже церковь, пруд и сад.

— Они в байраке! я знаю! — шепнул Панчуковский, подходя к исправнику, обыскавшему между тем дом священника.

— Соединить всех понятых вместе! — крикнул Подкованцев,— сотские! Да идти дружнее; не пропускать ни единого кустика, ни одной водомоинки.

— Послушайте! Десять тысяч целковых вам! — шептал между тем Панчуковский исправнику,— это будет не взятка, а благодарственный законный процент! Ради создателя — найдите их, через них вся моя разграбленная касса найдется!

— А я полагал, Володя, что ты и по правде более за красоточкою этою хлопочешь? — возразил, шутя, Подкованцев.

— Куда мне! Я уже о ней забыл и думать! Спросите Шутовкина; я ему ее обещал передать...

Священник сам не свой стоял поодаль от господ и сыщиков. Он силился быть спокойным, но сердце его било тяжелую тревогу. Облава пошла к байраку. Понятые стали более густою цепью с обоих краев оврага. Часть из них стала по опушкам настороже. Все же остальные пошли внутрь в ракитник и в камыши к ключам. Долго они шли, тихо шелестя между кустами и деревьями.

— Это совершенно во вкусе «Хижины дяди Тома»,— заметил Митя Небольцев.

— Далась-таки опять вам эта галиматья, эта хижина! Ну, послушайте, господа! — продолжал Панчуковский,— ну, есть ли хоть тень сходства между нашими беспаспортниками и американскими поэтическими неграми, или между нами, господа, и тамошними рабовладельцами? Как небо и земля!

— Как небо и земля! — сказал и Подкованцев, идя за сотскими к месту выхода гонцов,— уж там, как у нас, бювешки не дадут...

— А что? ничего нету? — спросили зрители.

— Ничего! — лениво ответили гонцы, вразброд выходя на опушку. «Что бы это значило? — подумал Подкованцев,— куда же они делись?»

— Стой, стой! держи его! стой! — нежданно и в разлад крикнули голоса понятых в чаще байрака.

Все остальные гонцы также кинулись туда. Изумленным взорам исправника и помещиков открылась драка в гущине камыша, над ключами. Куча понятых старалась кого-то осилить. Ловимый отмахивался дубиною и кидался на всех.

— Не подступай, убью! — кричал он.

— У него и нож! — кто-то обозвался в толпе, и понятые отшатнулись.

Подбежал исправник.

— Лови его, хватай! чего вы стоите! Бери, вяжи его!

Понятые опять кинулись, навалились гурьбой на пойманного, сбили его с ног; произошла схватка на земле, и опять толпа отхлынула. Трое из нее охали, хватаясь за руки и за лица. Кровь текла по их рубахам.

— Братцы, не тронь меня: я Пеночкин; я зарученный! — бойко проговорил пойманный, выпрямляясь,— тронете меня, всем пропадать!

— Врешь! — раздался сзади голос Панчуковского,— берите его, это Милороденко; стреляй в него из ружья, сотский, только бей насмерть, коли заупрямится!

— Ружье сюда и мне! — крикнул исправник,— сдавайся, мерзавец, или я тебя положу...

Толпа зашумела. Священник глазам своим не верил. Он желал видеть Левенчука и Оксану, а прежде их увидел человека, которого назвали роковым именем Милороденко.

— Как ты попал сюда, негодяй? — спросил он его,— ты меня погубил: ты в моей роще спрятался!

— Батюшка, не бойтесь! Они тронуть вас не посмеют! Что делать! Я здесь случаем-с. Пропал теперь совсем! Так пусть их высокоблагородие вас не тронут, ослобонят далее от обыску, я их казну им укажу, она у меня далеко запрятана, да я далеко, видите, не ушел — пути мне пересек господин Подкованцев. Я тут-то, поблизостям, это и шлялся! А не исполните просьбы моей, будете задаром срамить батюшку,— умру, а ничего не открою!

Панчуковский переговорил с исправником, понятых созвали. Священнику объявили, что так как один из главных грабителей и преступников пойман, то дальнейший обыск более не нужен.

— Это вам, однако, вперед, батюшка, наука,— сказал Небольцев,— будьте осторожнее! А то мы недаром вас подозревали.

— Мастера вы все, господа, учить; не раскаяться бы после!

Милороденко добровольно сдался. Погодя еще и как бы подумавши, он крикнул... Из байрака, как после узнали, из водомоины, полной листьев и всякого хлама, вышли Левенчук и Оксана. Изумление было общее.

— Край чудес! — шептал торжествующий Подкованцев.

Всех найденных тут же связали, осмотрели, заковали, и сам исправник с Панчуковским посадили Милороденко и Левенчука в фаэтон, повезли их в город для допроса. Оксану повезли особо в тарантасе исправника.

— Не повезете ее со мною, — сказал Левенчук, — ничего не узнаете про деньги, хоть убейте сразу нас обоих.

Делать нечего, Панчуковский уступил, даже защитил Оксану от взоров любопытных, а Шутовкину, который, млея, лез посмотреть на нее, даже погрозил поссориться.

Поехали исправник и Панчуковский, не мешкая. На половине дороги их встретил становой, с новою толпою понятых.

— Что такое?

— Настоящего Пеночкина поймали!

— Где поймали? Где он?

— В степи тут, в шинке, вот он!..

Толпа раздвинулась, — у телеги, привязанный к ее колесу, стоял и посмеивался действительный Пеночкин.

— Связать его покрепче и также в город! Ай да денек! Теперь уже в отставку не выгонят; лишь бы жилось на свете...

— В город, в город!

Фаэтон полетел. Милороденко стал о законах рассуждать.

— Ты же где этим статьям про уголовные законы учился? — спросил его исправник дорогою.

— В академии художеств, в остроге-с тутошнем, где я впервые всю суть познал-с и произошел.

— Как в остроге?

— Известное дело-с; у нас там свои-с профессора и адъюнкты есть! Вот, когда был женат на барышне, в Расее-с, у нее братец двоюродный в студентах был-с и жил часто с нами; так нет-с, его профессора супротив наших куда хуже, наши почище будут. Ихние только о книжках...

XIV

Приморский городок

Фаэтончик, запряженный новой четверней, летел вскачь опять тою самою дорогою, по которой некогда полковник встретился с Шульцвейном. Опять степь пышно зеленела. Опять по ней густо цвели, ее заливая, желтые и всякие цветы. Десять человек казаков скакали верхами возле.

— Эх степь, степушка! — говорил Милороденко, водя кругом грустными и вместе смеющимися глазами,— раздольице ненаглядное! Не нам вот с Левенчуком больше тобою любоваться! Теперь уж я пойду подошвы топтать по нашей Расеюшке! Пожил я-таки, господа, вволю; и у вас, господин Подкованцев, и у вас, полковник, нанимался; что? бес взял — на дворянской девице был женат, пожил, постранствовал в свое удовольствие! Вот теперь и попался. А все отчего? Что паспорта настоящего мне господином не выдано: раб я подневольный был, есмь и опять буду, значит, вовеки... Господа, позвольте табачку! Я знаю, становые больше коллежского секретаря, а исправники больше титулярного не бывают! Я же еще теперь пока настоящий миллионер! Владимира Алексеича казна ведь, господа, еще у меня спрятана...

Панчуковский сидел бледно-зеленый, но показывал вид, что тоже отшучивается.

— Дайте ему, Подкованцев, табаку на папироску! А у меня пистолеты, нечего их бояться! — прибавил он шепотом.

— На, вор, только штуки со мной какой не выкинь: не осрами и не погуби меня! Я за тебя вон награду получу...

— Помилуйте! я же и у вас служил; люди мы свои, законы-с и уважение знаем-с.

Дорогой они остановились, опять осмотрели закрепы Левенчука и Милороденко.

Стемнело, когда исправник и Панчуковский, после двухкратного перевала на пути, взятия новых провожатых и перемены лошадей, въехали под шлагбаум присутственного, значит чиновного, хотя весьма утлого и невзрачного приморского городка, лежавшего близ речки Несытой. Их окликнул часовой у городской гауптвах-

ты. В городских воротах, не могши высоко поднять связанной руки, Милороденко попросил ему приподнять шапку, и перекрестился.

— Вот как! еще и крестишься! — сказал, суетливо оправляясь и едва говоря от усталости, исправник.

— Меня Сенька Кривой, один тоже вот острожный приятель, в Киеве, учил при проезде каждого часового креститься. А он знал все знания; антиминсы из православных церквей все раскольникам крал и поставлял. Его клейменного прогнали сквозь две тысячи и сослали в каторгу-с. У него кума в остроге была.

Подъехали к дому градоначальника. Подкованцев, не веривший своему счастью в поимке таких героев, спешил ими оправдать себя.

— Что значит, господа, приморский воздух! — заметил Милороденко развязно, зевая впотьмах,— как свежестью запахло! А все-таки, Владимир Алексеич, я вам денег не отдам — они, считайте, пропали.

Солдаты окружили фаэтон. Исправник сбегал к дежурному чиновнику. Через четверть часа вышла новая, вызванная из соседней кордегардии, команда под ружьем.

— Это тот самый Милороденко,— сказал Подкованцев чиновнику,— а это тот самый его товарищ Левенчук, что ограбили на днях вот их, господина Панчуковского; доложите его превосходительству, что я их сегодня выследил, поймал и лично доставил.

Принесли фонари. Арестанты молча стояли. Чиновник сбегал к градоначальнику.

— В мешок их! — крикнул чиновник, воротившись,— велели их в острог вести, в секретную.

— Прощайте, барин! За вами еще жалованье за два месяца! Не поминайте лихом; с Амура писать буду! — крикнул Милороденко Панчуковскому.

Подъехала в тарантасе Оксана. Всех повели в острог.

Градоначальник дал полковнику слово сделать арестантам допрос в ту же ночь и допытать их о деньгах.

— Во всем сознаюсь, будьте спокойны! — развязно прибавил Милороденко,— мне ведь надо позаботиться о моем друге Левенчуке и его приятельнице-с... Их только спасите...

— Браво, браво! — сказал Подкованцев, уезжая в гостиницу,— как мы скоро дело обделали! За вами, полковник, теперь ужин.

— Не только ужин, целое вам наследство! Это вам лучшая пенсия за службу!

Отправились в гостиницу. Туда вскоре явились частный пристав, уголовных дел стряпчий, два чиновника особых поручений по казусным делам. Подано шампанское, заказан лукулловский ужин. В лучший нумер поданы карты. Завязался штос. Проиграли до ясного белого дня, не вставая.

— А ваша супруга, полковник? Она до сих пор здесь в городе живет? — спрашивали подкутившие собеседники.

— Действительно, моя жена, брошенная мною, приехала сюда в город. Но она обзавелась тут, господа, утешителем: какой-то учитель. Вы уже запоздали...

Все захохотали. Еще цинически поострили над m-me Панчуковской.

Гости разошлись, пошатываясь. «Вот чудная душа, этот Панчуковский! — повторяли все, уходя,— сейчас видно, и бонвиван и настоящий аристократ!..»

Утром весь город заговорил о случае с Панчуковским, который сюда завертывал редко и которого здесь более знали по слухам. Он являлся к градоначальнику. Последний оказался его знакомым по Петербургу и чуть даже не сверстником по службе в другом ведомстве. Главных чиновников Панчуковский тоже объездил. Дело его закипело. Преступников стали ежедневно допрашивать. Но те вдруг заперлись о деньгах, что никогда их не видали и не грабили полковника. «Зачем же вы бежали от него?» — «Избавили украденную им у священника такую-то девушку».

Шли толки о том, что дело принимает новый вид, что чуть ли Панчуковский, сочиненным слухом о пропаже денег, не думает замять дело о собственных похождениях с воспитанницею священника.

Это говорила молодежь из чиновников. Люди зрелые ударились на соображение, как выманить у преступников сознание в том, куда они спрятали такую чудовищную сумму. Следователи входили в секретную, заставали Оксану на соломе больную, молчаливую, Левенчука возле нее, а Милороденко на коленях перед образом: он молился и действительно, казалось, не был виноват ни в чем из того, в чем его винили.

Прошло две недели. Полковник начинал вопить о медленности наших допросов, доказывал, что мы рано бросили пытку...

В обед в нумере Панчуковского сходилась вся городская аристократия. Кушали, играли в карты, пили. Передавали слухи и о деле и об арестантах. Прокурор сообщал постоянно все новости о них: о чем они сегодня говорили, какие данные вновь сообщали.

— Жаль эту девушку,— говорил иногда прокурор,—она такая тихая, скромная, все плачет; и возлюбленный ее, кажется, малый смирный и жил прежде честно. Они, впрочем, назвались нам мужем и женою на допросе.

— Вот это забавно,— сказал Панчуковский.

— Да, вы не верите, мы собрали справки — и точно, они обвенчались после поимки их, у этого самого вашего священника, отца Павладия, где она жила воспитанницей.

— Чудеса! как скоро успели!

— Зато их коновод, Милороденко этот, вам, Владимир Алексеич, настолько близкий,— существо непостижимое! Он во всем сознался: и в занятии контрабандой, и в связях с нахичеванскими фальшивыми монетчиками, а в грабеже ваших денег не сознается!

— Нельзя ли как, хоть одним глазом, посмотреть на этих арестантов? — спрашивали прокурора частные посетители полковника.

— Меня одна дама просила на Милороденко взглянуть.

— Меня просила моя невеста взглянуть на эту девушку, нашу героиню!

— Нельзя, господа, нельзя теперь никак!

— А когда же?

— Дня через три можно.

— Слово? честное слово? Отчего же через три дня?

— Честное и благородное, вот вам моя рука; сам я и поведу. Им кончится тогда весь предварительный допрос. Туда же я, к вашим героям, посадил и нашего другого героя...

— Кого, кого?

— Пеночкина, дезертира, вы слыхали? Этого разбойника с Сиваша! Он на прошлой неделе взят под шинком Лысой Ганны и доставлен сюда, по соприкосновенности в главных преступлениях с нашим городом. Так я и его

вместе с Милороденко и Левенчуку посадил. Им дан теперь лучший и надежнейший каземат во втором этаже, рядом с башнею. Небось не уйдут.

— Есть же что-нибудь еще новое о деньгах?

— Завтра преступникам последний допрос, сегодня они как-то взволнованы от моих розысков и просили их отложить. Завтра, завтра наутро все решится. Им поставится главная улика — жид Лейба из шинка Лысой Ганны. Он видел Милороденко и Левенчука в день их побега от полковника, и они ему показывали какой-то чемодан. По справкам и приметам это чемодан полковника.

— Так мне, выходит, еще ожидать? — спрашивал полковник. Его начинало мучить; он чувствовал, что дело его гибнет.

— Дня два еще подождите, ведь дело идет не о десяти рублях. Сами будете и следить завтра за допросом и открытием вашей покражи.

Панчуковский со вздохом принял предложение прокурора, осведомился о городских удовольствиях того дня и узнал, что в городе в тот вечер был театр. Он взял билет и пошел туда почти нехотя.

Ему не очень весело сиделось в театре. Играли какой-то избитый водевиль. К нему подсел секретарь градоначальника, правовед и франт, пустота и неизвестно почему желавший казаться близоруким. «Что вы поделываете?» — спросил он. «Хочу выписать из-за границы себе на содержание итальянку». Острота эта пошла по театру.

В конце представления нежданно пронеслось между зрителями волнение. Вошел в партер бледный полицеймейстер-молдаванин. Окинув залу мутным взором, он не сел на свое место, а подошел сперва в первом ряду кресел к городскому голове, ему что-то сказал, голова сейчас оставил театр; потом полицеймейстер вошел в ложу градоначальника, куда уже перед тем по пути заходил, и с ним тотчас также уехал из театра.

— Что такое, что случилось? — шушукались зрители, — пожар, что ли?

— Опять отличилась наша полиция: все главные арестанты бежали два часа назад из острога! — ответил кто-то вполголоса в креслах.

Панчуковский вздрогнул, встал, подошел, задыхаясь, к разговаривавшим. Занавес в это время опустился.

Никто не аплодировал. Все занялись роковою вестью. Вокруг секретаря градоначальника столпился весь партер.

— Они подняли половицу под нарами в каземате,— говорил, щурясь и лорнируя ложи, секретарь, слышавший разговор головы с полицеймейстером,— распилив ее гвоздем из оконницы, стали каждую ночь опускаться под пол; между полом верхнего этажа и сводом нижнего проникли в башню, запертую у нас, как известно, в остроге за негодностью с давних пор, сошли по лестнице башни вниз, начали копаться под стену башни, прокопались под наружною оградою, и сегодня главные, а за ними и остальные ушли. Они копали нагишом, а землю в рубашках таскали и рассыпали под полами. Там вся команда рыщет теперь с фонарями; погоня поскакала...

— Кто убежал?—спросил Панчуковский, еще не веря своим ушам.

Голос его дрожал. В глазах у него помутилось.

— Все главные воры и негодяи, Пеночкин, например, да и ваши-то... да-с... Милороденко и Левенчук, а с ними тоже и эта, знаете, полковник, женщина... Наш бедняк полицеймейстер совсем потерялся. Генерал велел поднять на ноги все городские полицейские силы...

Шумно разнеслась по городу ошеломляющая весть.

Панчуковский без памяти выскочил из театра. Извозчиков уже публика разобрала. Он почти побежал в свою гостиницу. По дороге, у одного освещенного дома он остановился перевести дух. Из полуоткрытого окна неслись звуки рояля. Пел чей-то приятный женский голос. У ворот стояла щегольская пролетка; кучер дремал, завернувшись в армяк.

— Чьи лошади?

— Учителя. А вам что?

— Какого?

— Головы-с...—ответил кучер, увидев на Панчуковском кокарду и приподнимая шапку.

— Кто ваш учитель?

— Михайлов, Иван Аполлоныч.

Панчуковского озадачило.

— Из Одессы? бывший студент? что у Шутовкина в том году жил?

— Так точно-с.

— А у кого это он? Квартира тут чья? Я что-то не разберу...

— Настасьи Васильевны-с, полковницы Панчуковской-с...

Панчуковский отскочил. Из окна в это время раздался голос.

— Софрон, ты тут? подавай.

— Сейчас.

Не помнил Панчуковский, как добежал до гостиницы.

«Так вот она, судьба-то, с кем жена моя сошлась! — мыслил он. — Правду же, значит, говорят городские толки! И она явилась искать со мной сближения? Письма ко мне писала, а теперь справки против меня собирает! Процесс затевает»...

На столе в нумере гостиницы он застал письмо исправника.

«Не я, Владимир Алексеич, виноват, если вы сдались на здешние городские власти после того, как я вам поймал ваших похитителей, и не протестовали против того, что они в одном каземате соединили Левенчука, Милороденко и Пеночкина, уже сидевшего здесь в остроге и прежде бежавшего; в эти дни они обдумали и исполнили дерзкое небывалое дело. Полицеймейстер тут кругом виноват. Но я опять предлагаю вам свои услуги. Теперь уже надо нам самим действовать! Из ближайшей подгородной корчмы мне сейчас донесли, что след бежавших показался по направлению к Дону, к гирлам, и именно к неводам купца Пустошнева. Там место самое глухое и удобное для скрытия. Держите это пока в строжайшем секрете; сейчас нанимайте тройку добрых лошадей, возьмите с собой оружие, выпросите себе у генерала жандарма в провожатые, переоденьтесь получше и спешите ночью же ко мне. Я вас буду ждать в стороне от большой дороги, у трех курганов, называемых могилою Трех братьев, на девятой версте. Посылаю с нарочным. Желаю от души успеть.

Ваш *Подкованцев*».

Панчуковский съездил к градоначальнику, выпросил себе в провожатые жандарма-солдата, переоделся, достал у хозяина гостиницы охотничий штуцер, зарядил один его ствол картечью, а другой пулею, сел на

приготовленную добрую тройку и поехал. Он платил щедро. Все смотрели на него с сожалением.

Ужас пронимал его при одном помышлении, что все его труды, усилия пропадали навсегда.

«Дурак я, дурак! Зачем я так надеялся? может быть, деньги в это время уже были бы у меня в руках! А я занялся городскими удовольствиями; на стены острога понадеялся... две недели ушло! Селедками бы покормить было, хоть через сторожа, этих арестантов; за червонец эту пытку бы сотворили — и дело было бы в шляпе».

Ночь была непроглядная. Ветер шумел. Дождь срывался. Панчуковский подъехал к девятой версте, своротил влево. У могилы Трех братьев его окликнул Подкованцев.

— У! я продрог! Вот бы теперь бювешки, колонель, если нет ничего поманжекать! Нет ли выпить чего? Что вы так опоздали?

— Вот вам бутылка рому, я захватил. Долго в театре я просидел, ваше письмо три часа меня ждало; не знали, где я!

XV

В гирлах и плавнях на Дону

Тройки тронулись рысью. Месяц не вырезывался. Лошади бежали дружно. Многое думалось Панчуковскому. Он вспоминал лучшие свои дни здесь, в степях, риски по хозяйству, волшебные барыши, любовные похождения, покражу минувшим летом Оксаны, картины выдержанной им осады, замысел выписать себе итальянку,— невольно вспомнил и лица Милороденко и Левенчука у своей кровати, в ночь грабежа, городской театр, музыку в освещенном окне и ответ опрошенного кучера. «Она мне изменила... тем лучше! Мне легче будет жить по-старому! Но Михайлов... помощник мой!.. Я этого не ожидал...» Исправник где-то в потемках останавливался, вылезал из телеги, с кем-то говорил, шушукался, и они опять ехали. «Что за таинственные отношения здешних земских властей к земству! — думал Панчуковский,— тем лучше...»

Заря еще не занималась, когда обе тройки подъехали к какой-то песчаной косе. Тут они переменили лошадей,

опять поскакали, опять сменили лошадей, уже невдалеке от тоней купца Пустошнева, и втянулись в камыши. Пустошнев был друг Подкованцева, всегда ему помогал по службе. Но тони, его бывшие, в самых донских гирлах, особенно были пригодны для пристаней контрабандистов, по причине ряда отмелей и островков за камышами, прилегавших к ним у взморья, и здесь-то часто совершались дела, по которым после начинались грозные и энергические следствия. Это было лакомое место для исправников. Они же смотрели сквозь пальцы на передержку здесь беглых.

— Вы потерпите тут, а я на минутку к молодцам зайду! — сказал Подкованцев,— вы будьте спокойны, я дал вам слово и сделаю. Тут надо самим работать. Им негде уже отсюда пройти, кроме вон того места! Слышите, пароход тут где-то пыхтит. На это они, наверное, рассчитывать будут; не может быть, чтобы они ушли без сильной помощи снаружи острога. Подумайте, Милороденко располагал столько времени и такою огромною суммою. Им здесь быть! Они затевают уйти в чужие края...

Исправник слез с телеги, накинул мужичью свиту, взял пистолеты и пошел. Панчуковский приподнялся в свой черед, посматривая кругом.

Исправник посоветовал ему еще втянуться в гирла.

Панчуковский двинулся в чуть бледных сумерках.

— Да вы ступайте, братцы, за мной! — сказал исправник ямщикам,— тут дорога плоская, рытвин почти нет. Ступайте шагом, пока я крикну: тогда и остановитесь.

Подкованцев шел, чуть видный впереди, медленно подвигаясь между исполинскими камышами, то узкими, то широкими прогалинами. Дорога шла песком. Скоро она пошла будто книзу. Под ногами лошадей стали плескаться лужи. По сторонам, среди нескончаемых зарослей, дремучих, во все стороны идущих камышей, то здесь, то там мелькали белые полосы озер. Вербовые ветви тронули впотьмах по лицу Панчуковского. Стало в воздухе влажнее, но так же тепло, душисто и чутко. Легкий ветер зашелестел было тростниками и затих. Туман и облака поплыли с неба. Пояснело. Стало еще теплее. «Это плавни!» — думал Панчуковский, склонил голову и будто слегка вздремнул, усталый донельзя и качаемый ровными колебаниями легкой телеги. Сквозь мгновенную дремоту он услышал издали тихий оклик

Подкованцева: «Теперь стойте! Я скоро приду; надо опять своротить к одной тут хатке!» — открыл глаза, потянулся и оторопел от чудной картины плавней, которая вдруг развернулась перед ним, будто выходя из какой-то дымки, из какого-то заколдованного тумана...

Солнце еще не показывалось. Но бледный отблеск, предшествующий заре, уже освещал в разных местах окрестность.

Дон, сливаясь с притоками и дробясь сам на множество рукавов, шел здесь уже не похожий на реку. Это было громадное пространство вод, потопивших землю, холмы, луга и песчаные наметы, или, скорее, собрание самых разнообразных рек, ручьев и островов, поросших исполинскими камышами. Главной реки почти не было видно. То здесь, то там, будто спеша к морю, будто обгоняя друг друга, справа и слева вырывались из чащи камышей новые ручьи. Луга и острова потопляются разливом гирл до начала жаров, и потому донские плавни в это время посещаются только рыбаками да теми, кого нужда заставляет в них скрыться. Кое-где эти обнаженные пространства, эти зеленеющие вершинки, а большею частью сплошные песчаные кучугуры покрыты ольховником, вербой и лозой. Сюда иной раз, по брюхо в воде, перегоняют на пастбище рогатый скот и лошадей. Но тучи мошек и комаров скоро прекращают возможность к таким перебродкам. Скоро все плавни пустеют. Разве иной бедняк из рыбаков, бродя в лабиринте здешних островов, озер, камышовых зарослей и песчаных мелей, бросит сети и накосит на лодку для лошади полкопны сена или молодого зеленого тростника.

Заря близилась.

Панчуковский не мог оторваться от картины гирл, шумящих, грохочущих и бегущих в пене и в камышовых холмах. Перед ним во ста шагах, за мелким бродком, стало выясняться огромное, тихое, светлое, как зеркало, озеро. Это было не озеро, а тот же Дон, в конце долгого пути завернувший в затишье трех песчаных горбов и целой дубравы лоз и тростников и легший здесь на отдых. По этому тиховодку шагала какая-то серая тень, с длинным носом. Вот заалелся в первых лучах света у нее хвост; она повернулась... цапля. Пролетело новое дуновение ветра; вздохнуло утро. С разных сторон опять отвернулись новые завесы...

Там опять открывается цепь мелких, бесконечных островков. Здесь блеснули окраины красного, будто окровавленного соляного озерка. В чаще лозы отозвалась лягушка, за нею другая, сотни, тысячи, и целый разлив болотных стонов огласил воздух. А камыши открываются далее и далее, слились целыми рощами, лесами, темные и величавые, шелестя широкими султанами и листьями. А вот раздался крик журавлей где-то далеко-далеко. Вправо мелькнули крылья мельницы, потопленной в острова и лозы. Что-то шелохнулось в воздухе и загудело далее и далее, будто откуда-то пронесся последний отзвук неслышного пушечного выстрела. На самую телегу, в упор на Панчуковского, порхнув через камыши, налетела какая-то легкая, длиннокрылая птичка. Свободная и дышащая испугом и влагою, она робко и ясно взглянула в его глаза своими круглыми мерцающими глазами и в два взмаха опять взвилась и унеслась в нескончаемые ряды камышей, островов и журчащих неумолкаемо бегущих ручьев. Панчуковский спросил своего жандарма:

— Бывал ты здесь?

— Как не бывать!

— Много рыбы тут ловится?

— Всякая бывает: бычки, синец, белизна, осетры, стерляди, баламут, значит, мутящий сельдь, он воду мутит...

Панчуковский взглянул вперед. За тиховодным озером, по которому, незадолго прогуливаясь, прошла покинувшая сон цапля, небосклон стал еще яснее.

Небо вдали, наконец, подернулось отблеском зари. На окраине небосклона, за камышами, перебегали белые зайчики. Что-то особенно раздольно шумело. То море вдали пенилось и бурлило у берегов, обдавая песчаные наносы широких гирл кудрявым белым прибоем. Ветер еще не смолк. Чайки с криком носились по темному еще взморью. Влево выходили из тумана чуть видные мачты судов, шедших всю ночь по морю под парусами или стоявших вразброску у неводских пристаней по Дону. Вправо виднелись верхушки рыбацких землянок, крошечный домик купца Пустошнева, курени по притокам Дона. С некоторых крыш поднимался уже дымок.

Воротился, запыхавшись, Подкованцев. Он вел на поводу оседланную лошадь.

— Помилуйте, мне совестно, право! Чем я вас достойно отблагодарю? Вы спасаете мое состояние, честь, жизнь мою, и все сами делаете! — сказал Панчуковский.

— Помилуйте, ничего! здесь иначе нельзя. Другой тут бы армию понятых потребовал, казацкую команду, а я все сам. Видите, какие места. Здесь я недавно чаи открыл: люди Пустошнева мне все покорны. Между нами сказать, я делюсь с ними законными призами. Меня тут без них чуть было не изрубили на первых порах греки-контрабандисты. Когда-нибудь, как счастливо обделаю ваше дело, покажу вам: у меня плечо перерублено. Кажется, в таких историях когда-нибудь-с пропаду, как собака...

— Что же наше дело? — спросил с лихорадочным трепетом полковник.

— Шш! берегитесь извозчиков! Они нас не знают! думают, что мы простые полицейские сыщики по контрабанде. Сидите же, сидите, камрад, тут; приказчик мне другую лошадь дал там! Давайте еще бювешки — надо допить бутылочку этого рому! Если что надобно будет, я выстрелю из пистолета, тогда вы скачите ко мне. Они уже здесь где-то, верно, вон в тех трясинах ждут; на заре, как заметили наши сыщики, какие-то люди с больною женщиной подходили к куреням. Это они, они; им негде пройти, как здесь... Я разослал стражу по берегам, верховых и пеших, чтоб не дать им сесть где-нибудь на дуб или на лодку и не удрать к пароходу. Вон, видите, какое-то паровое судно стоит, да еще, кажется, английское. Они тут смело теперь шляются. Там, должно статься, мы их и накроем... Ночью буря где-то была, а здесь сильное волнение, их, верно, не приняли на лодку... У меня на все есть открытые листы...

Подкованцев, одетый мужиком, но с пистолетами под армяком, побежал снова камышами.

Панчуковский скинул тулуп, остался в одном сером простом кафтане, сел верхом на приведенную довольно крепкую лошадку, перекинул через плечи гостиничный штуцер, врезался еще глубже в более высокие и густые камыши и стал ждать. Кругом уже ярко сияли озерки и трясинные болота. Дичь начала стрекотать, кричать и стонать на все лады. Гуси загоготали невдалеке, поднялись громадною стаей и с звонкими перекликами потя-

нулись к морю. Панчуковский ждал, соображая свое положение. Ему невольно опять представился брошенный Петербург, модный свет, балет, Невский проспект, блистательные товарищи. Он взглянул на своего вислоухого пегаса, на свой дырявый серый кафтан, помыслил, что через полчаса он может сделаться окончательно банкротом, чуть роковым беглецам каким-нибудь волшебным, нежданным оборотом дела удастся уйти с берега. «А остальному свету нет до меня дела! Где решается моя судьба...» Яснело более и более. Возле неводских куреней задвигался народ. Какие-то пешие побежали ко взморью; какие-то всадники поскакали...

Панчуковский невольно в это мгновение подумал:

«Что, если все погибнет, если их не поймают и мои деньги, все мое состояние пропадет, исчезнет без следа навеки? Что, если будет свалка, меня кликнут сигналом, я поскачу и меня убьют? Будь, что будет! Я пожил, повеселился. Я ловил каждое мгновение жизни, пил сладость из каждого цветка, бросая его потом, как негодный. Убьют — туда мне и дорога! Смерть раз бывает в жизни. Ну, значит, так и на роду было написано. Жил в деревне у отца, потом в Петербурге, потом женился, состояние взял; жена надоела, жену бросил, сюда приехал — жизнью поживиться на этом раздолье,— тут выходит и конец. А если не убьют?.. Если не убьют, а возьмут одно состояние, все состояние, как есть, все до единого средства к жизни... что тогда? Вот любопытно: хватит ли у меня силы воли избавиться лично, собственною охотою, от такого позора и унижения? Хватит ли у меня ума, безумия, горячки покончить эту шутку... самоубийством? Позор после роскоши, цепи и нищенская сума после воли и счастия!..»

Раздался чуть слышный сигнальный выстрел. Дымок забелел над песчаными откосами.

— А! сигнал! Подкованцев не врет. А я уже начинал думать, не возьмет ли он взятки с того же Милороденко и не пропустит ли его: теперь у соперника моего денег больше! Двести тысяч!.. О двухстах тысячах идет дело, а в этой пустыне их спасают всего двое: я да сам исправник...

Владимир Алексеевич поскакал на выстрел, наперерез бежавшим вдали по берегу людям. Едва он выскочил из

лимана, пробегая донские гирла и плавни, и поднялся на возвышенную, плоскую прибрежную отлогость, чудные картины опять, как нарочно, открылись перед ним. Утро заливало уже море алыми лучами...

Поморская последняя ширь и гладь расстилалась, синея, во все стороны. Кое-где по зеленым буграм и песчаным косогорам мелькали беленькие придонские хутора и побережные слободки. Дикая, суровая и бедная растительность, между песчаными долинами и наметами, сверкала в блестках утренней росы. Солнце выкатывалось слева, со стороны кавказского небосклона, гоня последние волнистые туманы и выясняя более и более, пышнее и пышнее, берега, суда, камыши, плавни и синее хмурое море. Бойкий донской конек скакал во всю прыть по знакомой, родной равнине. Панчуковский пришпоривал лошадь и напряженным взором следил вдали какую-то непонятную суматоху. Сновали люди у берега; кто-то махал шапкою, звал других, голоса уже слышались...

— Что тут? где, где? — закричал Владимир Алексеевич, доскакав на высокий пригорок и с него окидывая глазами все кипевшее еще от ночного ветра взморье.

— Вона, эвона! — отвечали неводчики, почесываясь и не узнавая в подъехавшем серокафтаннике барина, да еще и полковника.

Они указывали на берег, где кто-то садился в лодку, суетливо понукая гребцов, упиравшихся веслами и не хотевших ехать.

Панчуковский поскакал туда. Это был Подкованцев.

— Я исправник, — кричал последний обезумевшим от досады и бешенства голосом, — я исправник, подлецы! Везите, везите меня! Вот они...

— Кто, кто? — спросил Панчуковский, кружась на разгорячившемся коне. — Да отвечайте же, бога ради? Кто?

Исправник отбил лодку, вырвал у одного из гребцов, едва стоявших спьяну на ногах, весло и оттолкнулся от берега.

— Наши, наши вон, на баркасе едут, уже к пароходу спешат. Проклятый край! Анафемский край! Эти олухи так и не дают лодки; да разве я беглый какой! Исправник тут пешка ничтожная; на сотни верст раскинуты

притоны мошенников, а тебя никто не слушает. Они споили за ночь этих олухов. Тут все заодно!

Панчуковский увидел на парусном дубе знакомцев: Милороденко, Пеночкин и Левенчук гребли; Оксана, укутанная платком, сидела на корме. Гребцы на дубу были, очевидно, не русские, из греков или турок. Поднимался опять свежий ветер. Прибой был сильный. Дуб относило влево к берегу. Исправника течением потащило вправо. Подкованцев орал на бежавших по берегу других неводчиков, звал их, божился о чем-то, колотил себя в грудь, ругался... Дуб стал заходить за бугор на мели.

Владимир Алексеевич выждал, соскочил с лошади, ухватил штуцер, спустился на колено, прицелился в дуб из штуцера и выстрелил сперва картечью, а потом пулей. Дуб был шагах в трехстах от берега. Картечь засвистела по волнам... Гребцы на дубу с насмешкой поклонились. Пуля также никого не зацепила. На дубу путники сперва засуетились было, но стали опять спокойно смотреть на берег.

— Лодок, лодок! — орал Подкованцев, бывший сам, как известно, когда-то во флоте, и выбивался из сил, гребя одним веслом,— лодок! Тут участь человека гибнет, моя служба пропадает!

С берега, из гирл, справа потянулись востроносые лодочки. Их кидало, как пробки, по волнам. На иностранном пароходе разводили пары.

Дуб, подхваченный попутным ветром, распустил парус и, выбравшись из-за прибережья, пошел быстрее. Плывших на нем уже трудно было разглядеть. К Панчуковскому, также почесываясь, подошел неводский приказчик и узнал в нем барина.

— Верно тульское-с, простое ружье у вас? — спросил он, снимая шапку,— либо вы промахнулись, ваше высокоблагородие! А лошадка вынесла вас хорошо...

— Нет, я, кажется, кого-то зацепил. Одним, кажись, меньше на дубу стало. Я что-то не вижу хорошо. Неужто не успеют обогнать их наши береговые лодки? И отчего тут пушек нет?

Приказчик наставил ладонь к глазам.

— Все, барин, все целы на дубу; я их считал, когда они садились вон за тою косою. Это албанский парохо-

дик, под аглицким флагом: переселяющихся татар-с все эти дни тут неподалеку забирал и ногайцев из дальних аулов, а нынче ему идти. Пушек же, барин, не наставишься везде: ишь, наша Расея-то раскинула свои границы!

— Да разве туда беглых допускают, позволено береговою стражей?

— Всяко бывает, барин, всяко... даже...

Последних слов приказчик не договорил. Дуб стало опять гнать к берегу. Ему наперерез поплыл Подкованцев. Вдруг на дубу сверкнул огонь, дымок заклубился. Что-то зашуршало в воздухе. Панчуковский ахнул: Подкованцев навзничь перекинулся с своей лодки через борт. На берег, где стоял Панчуковский, начал сбегаться народ. Исправник был убит наповал; дуб поплыл далее; новый порыв ветра; сидевшие на дубу зашевелились, распустили другой парус и направились к пароходу; лодки их не догнали. Пароход тронулся и пошел на всех парах.

— Мертвый, ваше высокоблагородие,— сказал другой жандарм, когда сторожевые лодки привезли на берег бедного Подкованцева и положили его на песок,— череп вон своротило. Видно, пуля-то у разбойников аглицкая-с, да и штуцер дальнобитный. Шагов на полторы тысячи хватил и задел ловко-с; на прицел так по воле не возьмешь — я сам в ратниках в Севастополе был... Ах ты, горе какое! Ах-ах!..

Полковник стоял, не помня, что вокруг него делалось. Явились соседние сотские. Произведена по береговой страже тревога. Посланы гонцы в город. Оттуда казенный пароход к вечеру пустился в погоню за названным транспортным пароходом. На высоте Керчи, в проливе его догнали, остановили, осмотрели. Работал телеграф. Но острожных беглецов на том пароходе не оказалось. Ночью и на другой день был дождь. Пользуясь туманом, вероятно, беглецов где-нибудь высадили на кубанский, волновавшийся тогда берег, либо на другое иностранное судно. На этом же албанском пароходе сидели только грязные, в лохмотьях ногайцы и часть переселяющихся в Турцию побережных татар.

Так было донесено градоначальнику.

— А деньги, мои деньги? — вопил Панчуковский, оставшись еще в городе. Все пожимали плечами. Осталь-

ных незначительных острожных беглецов вскоре переловили. Те далеко не пошли: все поймались по соседним кабакам.

Тело Подкованцева привезли в город. Панчуковский рассказал любопытствующим свое дело: «Какою жалкою и позорною смертью умер бедняк Подкованцев!» — толковали горожане и знакомые. «А достойный был человек! От руки каторжников, беглых жизнь кончил! Этого у нас еще недоставало! А еще отставить хотели такого достойного человека!..»

Имя полковницы Панчуковской, урожденной Перепелицыной, стало между тем произноситься всюду в городе, сделалось модным именем. К ней являлся с визитом полицеймейстер, градоначальник пожелал с ней познакомиться. А до той поры, всю осень и зиму, она тщетно всех просила, хлопоча о разделке или примирении с мужем.

— Да она, говорят, глупенькая! — толковали городские дамы,— она купеческая дочка, что ли? Ее Панчуковский, говорят, бросил из-за какой-то ее измены.

— Таков он, чтоб жена у него изменяла! Это он ей ежечасно изменял и теперь изменяет...

— А ее роман с этим учителем?

— Какой вздор! Михайлов уроки ее дочери дает... Ведь это теперь артист; слышали вы, как он играет! В один год чудеса сделал! Он ее дочку учил играть, а матери давал уроки пения...

— Так, так! — говорили, недоверчиво качая головами, словоохотливые местные дамы.— Значит, они дуэты страстные вместе распевают? Спекуляции же ваш артист оставил?

— Бросил совершенно: он теперь собирает и записывает украинские народные песни, кладет на музыку и хочет издать, и оперу пишет на какую-то малороссийскую повесть Гоголя. Дарование замечательное...

Нежданно-негаданно явился в город священник отец Павладий и привез прямо в дом градоначальнику найденный кем-то в овраге, при снятии стога, чемодан. В чемодане были деньги. Панчуковский опять было окрылился; но от высшей власти из Петербурга явилось секретное предписание наложить арест на все имущество Панчуковского, а его обязать подпиской не выез-

жать из города. Друзья жены полковника ожили. Зато он снова и окончательно потерялся. Новая Диканька также ускользала. Ему посоветовали обратиться в сенат. Полковник, однако, поговорив с судьей, оделся и полетел к своей жене с предложением мировой. Голова его горела. Сердце било тревогу.

— Настасья Васильевна, прости меня! — сказал он, входя к ней и опускаясь на колени. Дочка его выбежала с куклой из гостиной, увидела незнакомого ей человека и остановилась.— Прости меня, Настенька! Я много перед тобою виноват: я тебя обидел. Господь меня наказал — прости для нашего ребенка!..

В это время из гостиной вышел прокурор.

— Я давно хлопочу за вас, полковник,— сказал он.— Это вещь более невозможная: по личному ходатайству вашей жены, брошенной вами более девяти лет, ей выслали разводную.

В городе продолжали толковать о неясных отношениях Панчуковского к его жене. Их печальный роман еще не давал многим пытливым головам спокойно спать. Как всегда водится, образовались два кружка: один стоял за мужа, другой — за жену. Одни говорили: «Муж изверг!», другие: «Хороша и жена! Она вот что, вот что и вот что делала!» Толки, разумеется, вскоре приняли новый соблазнительный оттенок. Говорили попрежнему, что у госпожи Панчуковской не только здесь, но и в Моршанске были тайные и явные любовники, что ее здесь весь город с этой стороны узнал, что даже торговки стали о ней легко относиться. Именно, будто кто-то подкутил и крикнул как-то: «Извозчик, к полковнице! знаешь?» — «Как не знать полковницы, извольте!» Так будто бы нагло и свободно ответил городскому пьянчужке-офицеру извозчик. Сторона мужнина приводила другие примеры: «Коли так, то отчего же не изменять и самому Панчуковскому? Вот он услышал о поведении жены; может быть, и помириться с ней был бы не прочь,— а молва о ней пошла, он назло ей и вспомнил опять старину — с цыганками стал водитьсяя, неприличный пикник за городом с чиновниками затеял...» — «А ограбить жену?» — «Что же тут состояние? Найденных в стоге денег ему не возвратили. Наложили секвестр и на его хутора. Да разве это что-нибудь

значит? Он подал апелляцию в сенат, а сам переехал в Новую Диканьку. Что же из того, что они подвели против него такие подкопы? Что, наконец, из того, что он на женины деньги все дела повел, на них купил и хутор? Это уже их счеты, их... И нам между ним и женою дела никогда не решить!»

Эти толки длились недолго. Город вскоре был поражен последнею и общею прискорбною вестью...

Владимира Алексеевича Панчуковского его дворовые, вновь нанятые люди, подняли убитым на ярмарке в Андросовке. Смертельный удар ему был нанесен неизвестно кем в переулке, в конце ярмарочного дня. Оказалась рабитою голова: кто-то с непомерною силою ударил его сзади чем-то вроде гири. Началось шумное следствие. Взяли под допрос всю его дворню. Чиновники-дельцы не открыли, однако, ничего, что бы наводило на верную причину убийства Панчуковского; полагали, что в противозаконном передержательстве беспаспортных людей надобно было искать главной и ближайшей причины насильственной смерти полковника. «Что вы, господа, вздор несете? — перебивали их чиновники из молодого поколения,— да его беглые слуги ему служили получше многих крепостных! Они его столько раз сами спасали...»

«Ну, счастлив и Подкованцев, что погиб от этого следствия. Мы бы и его запроторили туда, куда Макар телят не гонял! Он был главная опора беглым».

Господа чиновники, однако, скоро получили приказания не фантазировать на предмет мнимой виновности беглых из дворни полковника, не ссылать их и не теснить, а судить, как всех людей на свете, ожидая дальнейшего решения о приписке их к месту оседлости.

Кто-то принес в гостиную градоначальника такое известие:

— Бедная Панчуковская! Да дайте ей, наконец, средство вырваться из этой тины сплетен и пересудов. Скоро ее станут винить и в смерти мужа, тогда как дело оказывается иное...

— А что? разве есть что-нибудь новое?..

— Как же-с! Полковника убили, это вы знаете. Пойман некто Петрушка Козырь, крепостной лакей покойного отца Панчуковского, живший при жене полковника и бежавший от нее по дороге сюда, как вы, верно, слышали. Он любил барыню, служил ей верой и

правдой десять лет, а бежал, узнав, что ему опять было суждено попасть к барину. Верно, солоно было и у батюшки полковника всей семье Козыря. Брат Петра этого, Касьян Козырь, бежал сюда давно, еще от батюшки полковника. По справкам теперь оказалось, как бы вы думали, что? оказалось, что этот Касъян некогда с малюткой дочерью шел сюда, был на дороге зарезан, умер в Таганроге в госпитале; его дочь попала в воспитанницы священника, на Мертвой,— она-то после и была похищена полковником... Петрушка же Козырь на днях был пойман, бежал из квартиры станового пристава, где на справках и допросах узнал судьбу своего погибшего брата Касьяна и его дочери,— да, недолго думая, стакнулся еще, верно, с Левенчуком, явился на ярмарке, нашел в толпе покупателей полковника, подстерег его и убил наповал, из-за угла в переулке...» — «Где же делся убийца?» — «Исчез без следа».

В конце июня, после смерти полковника, жену его ввели во владение всем его имением. Шульцвейн предложил мадам Панчуковской уступить ему земли, постройки и все обзаведения с движимостью на Новой Диканьке. «Вам теперь, без энергии покойного вашего мужа, не управиться с этим имением. А у меня есть свободный капитал, и я поведу дело выгоднее, уплатив вам за все наличными». Бедная и измученная Настасья Васильевна с радостью продала Новую Диканьку, переуступила Шульцвейну и аренду мужа по другой земле, где были овчарни и знакомая читателю «пустка» — место первой сцены ее мужа с Оксаной; расплатилась с своими моршанскими кредиторами; продала немцу и заграничный фаэтончик, с четвернею новых бойких дончаков, возивших ее мужа постоянно вскачь, простилась с соседями и уехала обратно в Моршанск. «Климат на юге России невыгоден оказался полковнице,— толковали горожанки,— иначе бы она не уехала».— «Нет, это не то! — толковали мужчины, зараженные и здесь спорами новейших публицистов,— пора для частной деятельности мужского пола высших сословий на Руси настала, а для женщин еще не пришла. Да будь жив полковник, так и он, кажется, долго не протянул бы своих предприятий. Оборвись еще у него два-три дела, вроде поедания

саранчою его степей, и он, наверное, через год опять бы служил в коронной службе. Эти акционерные компании, эта губернская провинциальная деятельность наших передовых людей — только поветрие. Увидите, все наши новейшие стремления и так называемый собственный труд кончатся одним: наши имения, фабрики, леса, земли и воды... все здесь скоро попадет в аренду либо к немцам, либо к жидам...»

Через месяц, вслед за Панчуковскою, уехал в Моршанск и Михайлов. Прошел слух, что он еще в Новороссии сделал ей предложение и по смерти ее мужа получил от нее слово.

Недавно чудным, теплым, чисто украинским деньком по обычаю подарила осень южные степи. Солнце, слегка будто отуманенное, грело по-летнему. Паутина летела во все стороны. В поле было тихо, травы пожелтели, но лист с деревьев в одиноких оврагах еще не облетел. Эти красивые лески стояли, горя всем разнообразием измененных, доживающих последние дни листьев: светлым пурпуром диких яблонь и шиповников, ярким золотом кленов и лип, серебром осокоров и синеватым густым багрецом терновника, дубков и орешников. В это время поморские новороссийские степи по красоте не имеют себе соперников. Слетаясь с севера, перед отлетом за море, в это время дичь здесь кишмя кишит. Стаями ходят дрофы, гуси темно-серыми отрядами пасутся по пустырям, будто стада овец. Журавли кричат, производя свои воздушные смотры и разводы под облаками, свертываясь в треугольники или развертываясь в длинные, подвижные, необозримые колонны. Иной раз по часу и по два они летят, застилая небо. В это время в степях из людей уж почти никого не увидишь. Чумацкие обозы, в ожидании близкой распутицы, не тянутся более с севера в портовые конторы, по широким дорогам. Хлеб свезен. Одни скирды сена торчат еще то здесь, то там, служа седалищем для молчаливых и важных орлов и коршунов всякого вида и роста.

Затих и оделся в пышные цвета и оттенки и овраг Святодухова Кута. Роща ракитника отливалась всеми яркими блестками. Пруд синел и просвечивался сквозь ее обнаженные опушки. Несколько юрких птичек шныряли в деревьях, высвистывая свои последние песни.

А в домике отца Павладия готовилось грустное событие. У стола, на котором всегда кучами лежали газеты и журналы, сидел, насупившись, посторонний священник, какой-то рыжий, золотушный, тощий и длинный, с подвязанною щекою, отец Геронтий. Он сидел тревожно, косясь на стол перед окном, где новый святодуховский дьячок Андрей, чуявший недоброе, с грустью устанавливал наскоро соленую закуску. В спальне же раздавались тихие одинокие стоны. Там на лежанке сидел старый слепой дьячок Фендрихов, а на скамье его жена, с ребенком на коленях, и какая-то знахарка-старуха, из соседних казачек. Отец Павладий, простудившись на отправлении одной требы, умирал от горячки. Лекарей в окрестностях, разумеется, не было. Он часто забывался и бредил; но иногда приходил в себя. Свидетели его уединенной жизни на Мертвой молчали, вздыхая и прислушиваясь к нему, как говорится, ожидали отлета души. Но не сдавался крепкий, в пустынном воздухе состарившийся священник.

— Осиротеет, опустеет окончательно мой дом! — проговорил отец Павладий, взглянув кругом себя,— но не опустеют здешние окрестности. Не один владелец, Фендрихов, другой найдется... Ох... тяжко мне... тяжко. Вот уж и манифест весною прочитали. Не забудут вас, господа! Людям становится лучше. Беглых несчастных станет меньше. Придут сюда люди всякие теперь уж по воле. Фендрихов! не поминай меня лихом. Кто б тут ни был, проси служить службы по мне да по бедным, по несчастным и по схороненным тут переселенцам. Ох... да смотрите... рощу-то, сад, прудок мой берегите... А про Оксану-то, про Оксану... Ох, благослови ее, господи боже, сироту эту! Где-то она? а? где?

В ночь на другой день отец Павладий умер. Фендрихов рассчитался с хоронившим его священником туго и не без прижимок. Он был в отставке, следовательно, самостоятелен.

Молодой дьячок, по смерти строителя Святодухова Кута, тотчас подвергся гонениям нового священника, так как все дядино имущество становой передал ему, кроме части пожитков, отданных Фендрихову, с коровами, пчелами и овцами отца Павладия. Новый священник стал осуждать направление мыслей своего причетника, ославил его перед епархиальною властью за вольнодум-

ство и за заведение переписки в запрещенном образе суждений.

Дьячок Андрей временно, скрепя сердце, выбился оттуда в другой приход; но судьба ему улыбнулась. Колонист Шульцвейн, хотя и лютеранин, выхлопотал ему оправданье. Шульцвейн начал приобретать влияние и на Мертвой. Андрея сделали опять причетником святодуховской церкви. Колонист часто, владея теперь Новою Диканькой, заезжал к нему беседовать.

«Молодцы немцы! — думал дьячок, завидя приближение его зеленого фургона,— не зевают — все прибирают к рукам!»

— Что толкуют ваши прихожане? — спрашивал колонист, протягивая дьячку мозолистую руку и осклабляя белые здоровые зубы. На нем была прежняя синяя куртка, а длинные костлявые ноги в тех же высоких сапогах, не без аромата дегтя.

— Какие-с, Богдан Богданыч?

— Помещичьи! Как они, по соседству, смотрят на новое свое положение, опубликованное вам теперь?

— Будем, говорят, ждать.

— Беглые же попадаются и теперь? Видите ли вы их тут иногда хоть в церкви? Ведь это было прежде одно средство спастись: это был предохранительный клапан для былой машины вашей... понимаете?..

— Нет, реже стал этот народ; почти что вовсе их нет. Многие пошли добровольно на север-с, в Россию.

Шульцвейн молча уехал. Он не переставал любить Святодухова Кута, много помогал в его дальнейшем процветании: все поглядывал на плод трудов отца Павладия, на подцерковный прудок в роще, думая: «Нельзя ли бы и тут хоть мойку для шерсти устроить или пивной завод? Место отличное!..»

— Он ненадежный,— говорили, однако, некоторые о Шульцвейне,—он затевает уехать и продать все земли; увидите, что это случится...

К осени жена ему собственноручно сшила новую куртку и купила ему вместо серебряных золотые часы. Но он их спрятал.

— А что же участь Милороденко, Левенчука и Оксаны? — спрашивали иногда городские дамы, которых еще занимала история этих беглецов с Панчуковским.

— Говорят одни, что они через Кубань и Кавказ в Турцию пробрались; другие же толкуют, что они попались где-то, не то в Анапе, не то в Редут-Кале; какой-то татарин выкрест будто выдал их...

— Ну, что же с ними сделали?

— В остроге, верно, сидят где-нибудь. Да нет, не может быть: хоть священник и нашел деньги Панчуковского, но ведь значительная доля из этой суммы была в золоте и серебре, и ее не оказалось,— что-то более трех тысяч рублей. На эти деньги со стороны их соумышленники им и помогли, значит, уйти из острога; на них же они могли пройти через все наши пограничные пикеты, и ушли, вероятно, если не в Анатолию, так на каком-нибудь купеческом судне в Молдавию. А эта сторона в такой теперь сумятице, что там укрыться и пристроиться, особенно еще с деньгами, очень легко. Да там же немало живет и наших прежних, уж давно оседлых и отлично пристроившихся беглых. Плати только исправно подати, да живи смирно — дело твое и улажено...

В ноябре стала продавать имение, вследствие окончательного неуспеха своих дел, и помещица Щелкова. Шульцвейн и ее землю купил.

— Каков, а? — говорили о нем помещики и горожане,— скоро весь уезд будет в его руках! А если переменится выборный ценз, он будет иметь сильный голос и в нашем будущем земском устройстве... Куда ему уезжать? С нами останется!

— Что ж тут удивительного: немец, да еще и не русский, а иностранный, немецкий немец!

1862

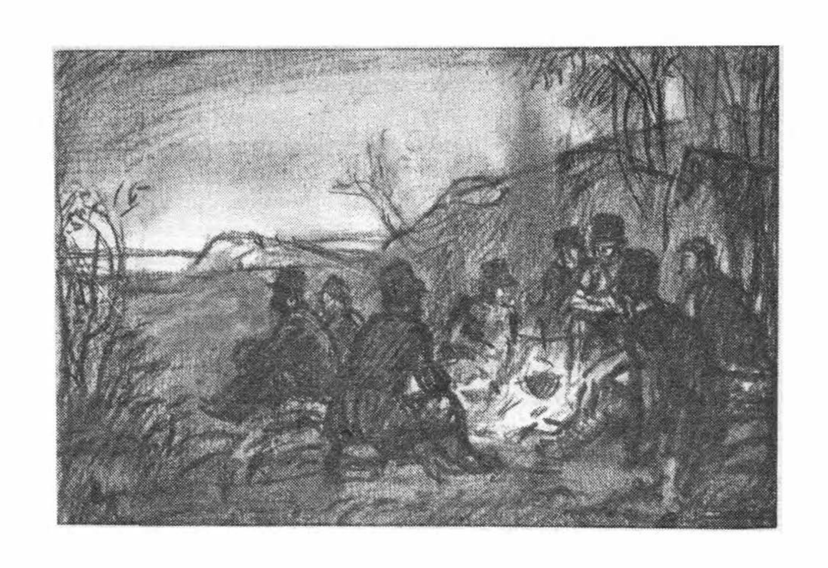


ВОЛЯ

/БЕГЛЫЕ ВОРОТИЛИСЬ/

РОМАН
В ДВУХ ЧАСТЯХ

•



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РОДНЫЕ ГНЕЗДА

I

Голубятня

Наступали новые времена. Разнесся слух, что крестьянам, так долго и упорно мечтавшим о свободной жизни, о разных зауральских, закавказских и новороссийских новых местах, хотят дать волю.

И вот из разных мест России и из чужих краев, по-видимому без всякой причины, стали в верхние, средние и южные губернии возвращаться беглые помещичьи люди. Это было за год и несколько месяцев до издания положений о воле. Одних помещиков это радовало, другие в недоумении пожимали плечами, не понимая, откуда это взялось и что из этого будет.

Однажды весной, в конце мая, по пути в тот угол на юге за Волгой, который населился в давние времена, с одной стороны, украинскими, а с другой — русскими

выходцами, шла кучка людей — два старика и шестеро молодых. Дойдя до каменистых бугров, за которыми уже начинались прибрежья Волги, они сделали в глухом овражке последний привал, сварили еще раз общую кашицу, закусили и готовились разойтись в разные стороны.

— Пойдем к своим господам, живы ли они? — сказал семидесятилетний седой сапожник, Гриценко, тридцать три года бывший в бродягах в Бессарабии и в Крыму.— Удивятся господа, коли живы, ей-богу!

— Возвращаться, так возвращаться! — прибавил другой старик, Шуменко, восемнадцать лет торговавший в Одессе у какого-то купца квасом по поддельному паспорту.— Шабаш, молодцы! значит пришла пора!

— А как ты, Илюшка, говоришь про мужика? — крикнул опять старый бродяга-сапожник молодому парню, который всю дорогу умудрился вести на поводу невзрачного, хотя молодого, гнедого коня.— Как ты это про мужика-то говоришь? Да брось коня! успеешь еще на него наглядеться.

Черноволосый Илюшка, рослый, кудрявый, хотя несколько мешковатый молодец лет двадцати двух, к которому относились эти слова, молча оправил дорожную котомку на гнедке, погладил его, еще раз оправил, вспрыгнул на него и сказал:

— Вам, дедушка, все смех. А у меня в голове не то... Эх! горе на вас смотреть!

— Да ты про мужика-то скажи, про мужика, Илько.

— Да что ж сказать? Реши: отчего мужик нынче дешев стал?

— Не знаю...— старик покатился со смеху.

— Оттого, что глуп! — ответил Илья.

Собеседники громко расхохотались, потом замолчали, разом все перекрестились, встали от еды и пошли одни направо, другие налево. «Эки места-то, места! Вольница тут жила когда-то. И теперь еще куда ни глянешь, дичь и глушь!»

Илья поехал рысцой на один из соседних, с детства знакомых ему холмов, поросший мелким лесом. Солнце село. Он привязал лошадь в кустах, взобрался на дерево, осмотрел еще раз окрестность, как будто припоминая что-то, давно виденное и забытое, и пошел с холма лощиною.

Наутро и в последующие дни некоторые соседние и дальние помещичьи дома и сельские конторы были приятно, а может быть, и неприятно изумлены возвратом нескольких беглых бродяг, из которых об иных в родных селах даже исчезла всякая память. Там явились, как с того света, тридцать лет бывший в бродягах Антошка Крамар, кузнец и восемь лет пропадавший без вести повар, Михей Пунька. Явились, бывшие в далеких прогулках, лакеи, плотники, столяры, кучера, ключники, кондитеры и писаря. Иных господа и свои братья, дворовые, стали с горячим любопытством, хоть и ласково, допрашивать: «Где были, у кого служили, чем кормились в это время, что делали?» Но на все был один ответ: «Где были, не помним; у кого служили, не знаем; а жили и кормились, где день, а где ночь — и сутки прочь».— «Что же вы так это вот, с одного маху, взяли да и воротились?» — продолжали допрашивать свободных еще вчера пташек, от которых, так сказать, еще воздухом пахло, ручные по-прежнему, домашние птицы разных клеток тихого русского юго-востока. «Надо же когда-нибудь и честь знать!» — лукаво отвечали прилетные, добровольно воротившиеся пташки.

Новизна переставала быть новизной. Все начинало идти по-старому. Молчаливая барщина одна как бы заметно обновлялась: она насчитывала новых постоянных рабочих.

Илья Танцур между тем, привязав в лесу коня, выломал себе палку и, спустившись в лощину, долго шел чуть видною в сумерках тропинкою. Стало еще темнее. Илья начинал спотыкаться о кочки, о хворост, положенный в виде гатей по болотным перемычкам луговой дороги. Кое-где он разувался и бранился про себя за остановки, потому что стемнело еще более, а он торопился. В воздухе было тихо и мягко. Точно теплым вином пахло. От запаха болотных трав, березовых листьев и фиалок голова хмелела. Илья остановился.

— Волга не Волга, бог весть, что такое белеет вправо! Ах ты, башка моя, глупая башка! В двенадцать лет перезабыть все так, что оглянешься и не узнаешь!

Впереди послышался отдаленный переливистый лай.

— Так и есть, наша Есауловка!

Сердце крепко забилось в груди парня. Он удвоил шаги, пошел еще смелее и, спустя несколько времени, почувствовал, что местность вокруг него изменилась.

Впереди чернел будто лес, слева стоял точно ряд мельниц. Он с наслаждением расслышал впотьмах людской говор, отозвавшийся уже недалеко. «Нет, пережду, пока люди уснут! Так-то легче будет к родителям явиться!»

Танцур еще послушал, переждал, огляделся и пошел к деревьям, при мысли: «А! двенадцать лет дома не был! Жив ли батюшка, жива ли матушка? Много ли ребятишек-сверстников в живых осталось на селе? И чем теперь батюшка состоит, в рядовых ли мужиках, или при должности какой? Да и что самое село теперь стало, пока я по свету с ветром маялся да гулял? Ребенком убежал от розог немца-приказчика; никто не защитил меня тогда; отца все голопятым звали; он сам, помню, лямку тер пастухом за овцами; мать все хворая лежала. А теперь я вон какой вытянулся; узнают ли родители меня теперь? Ах ты, свет-свет! Господи!» Илья шагал и шагал...

На пути впотьмах встретилась канава. Илья попробовал ее глубину палкою, перелез, очутился опять в густых деревьях и залег под кустом, потому что невдалеке послышались ему опять отголоски людского говора, а он не знал, куда забрел.

Тихая весенняя ночь перекликалась отрывистыми, шепотливыми и неясными звуками. Вскоре, однако, кругом будто стало виднее, хотя небо было еще без месяца. Тихо лежал в кустах Илья, боясь и кашлянуть. Вдруг ему почудились невдалеке, между деревьями, чье-то всхлипыванье, плач и вздохи. Чей-то жалобный голос то затихал, то опять раздавался. Танцур повернулся к той стороне, тихо прополз между деревьями и кустами и поднял кверху голову. Ему почудилось, что вздохи и шепот раздаются где-то вверху, точно над деревьями. Страшно стало Илье: «Что за притча, не то птица стонет по-человечьему, не то человек на ветках где-то сидит!» Он встал и, тихо, как ночной зверь, ступая, обошел вокруг дерева, сверху которого раздавались, по его мнению, в потемках стоны, и вместо живого дерева ощупал гладкий столб. Отошел в сторону, присмотрелся: голубятня, в виде домика, на плотной высокой подпоре. Голос затих.

— Кто тут? — решился спросить вполголоса Илья, осматривая воздушный голубиный терем, с крошечными оконцами, чуть рисовавшийся на сумрачном небе.

Ответа не было.

— Кто тут? отзовись! не бойся!

Танцур прислушивался.

— Я...— прошептал пугливый голосок.

— Да кто ты?

— Фрося...

— Какая?

— Барынина... горничная Фрося...

— Где же это ты сидишь?

Голос опять затих.

— Сидишь где ты? Ну? да говори же!

Илья смотрел вверх.

— В голубятне заперта... А вы кто, позвольте спросить?

— Я-то?

— Да.

— Я так... посторонний.

— Дядюшка, голубчик! освободите меня. А не то, рассвенет — пропала я и бедная моя головушка.

Из окошечек воздушной голубятни опять послышались горькие стоны, плач и вздохи.

— Да как освободить-то тебя, чем?

— Лестницы поищите поблизости тут или поодаль; она здесь где-нибудь в саду, ищите.

«Так мы в саду. Что за диковина! Чей же это сад? Наш был не в этой стороне»,— подумал Танцур, бросился искать впотьмах лестницу и скоро нашел. Он приставил ее к столбу, взлез туда, посоветовался с необыкновенной пленницей, как поступить, сломал палкой задвижку небольшой дверцы, в которую деревенские повара весной лазят грабить детей воздушного домика, и снес оттуда на руках дрожавшую от страха, стыда и отчаяния молоденькую горничную.

Она отбежала к садовой канаве, быстро оправилась, хотела бежать далее и остановилась.

— Кто вы? — спросила она,— за кого бога молить? Говорите скорее!

Илья подошел и взял ее за руку.

— Зачем вам? Лучше вы сами скажите, кто вы и что за невидаль такая тут случилась с вами?

Девушка потупилась, стала вертеть по земле ногою.

— Надо к барыне-с... Я горничная здесь, коли знаете нашу барыню. Нас много у нее. Поляк-управляющий давно к нам, видите, подбивается. А мы плевать на него. Он и пойди дозором. Я тут в сад выходила иной раз... не к нему... а к знакомому такому другому человеку... Он

нежного, можно сказать, сердца и совсем не такой вовсе подлой души... Выбежала я и сегодня, будто в прачешную... А поляк и наткнулся на нас. Этот-то мой душенька, значит знакомый, убежал от стыда да от страху, а поляк меня, оторопелую дуру, ухватил с дозорными, да и запер тут до утра в голубятню. «Утром, говорит, узнаем, кто такая тут из девичьей со всякою сволочью, с музыкантами соседскими дружбу водит; а теперь не хочу барыни, говорит, будить!» Так и сволокли меня сюда и толкнули в будку... Индо руки все изломали, платье оборвали... Голубей сонных всех спугнули, и долго они, горемычные, кругом меня в тьме-тьмущей этой летали, крыльями мне в лицо веяли... Стала я плакать; хотела крик ко двору подать, пусть бы хоть и барыня уж узнала; страшно так это мне впотьмах стало, как все голуби-то прочь разлетелись... Я плакать... а тут и вы отозвались... Скажите, кто вы?

— Нет, прежде уж вы мне оповестите: какое это село? Что теперь, барыня у вас, а не барин? Есауловка? — спросил Илья.

— Нет, не Есауловка, а Конский Сырт... Наша барыня — арендаторша!

«Так я не туда попал,— вот что!» — подумал Танцур. Месяц готовился в это время выйти. Кругом стало еще светлее. Илья разглядел миловидное личико, плотно подвязанные вокруг головы косы, белую косынку и полные плечи освобожденной пленницы.

— Мой знакомый, можно сказать, благородный и не такой подлой души человек, как наш приказчик! — сказала Фрося, не двигаясь с места и щипля руками концы косынки,— он по гроб жизни и света не забудет вам этой услуги-с. Но можно ли узнать опять-таки ваше имя?

Фрося подняла глаза и хоть искоса старалась заглянуть в лицо своего освободителя.

— Мне благодарности вашей не надо. А вас бы высекли? скажите мне!

— Ну высечь не высекли бы; а сраму такого набралась бы, что хоть в воду да и утопиться. Так можно ли опять узнать, как вас зовут?

— Ильей... а по прозвищу — не знаю и сам, как сказать. Жив ли еще отец мой, про то верно не знаю и не ведаю тоже.

— Вы из Есауловки?

— Оттуда; только двенадцать лет дома не был... Я сын Романа Танцура, коли знаете; он за овцами барскими у нас ходил, помню, как я от управителя с армянами бежал.

— Вам Роман Антоныч папенька-с? — быстро спросила Фрося, и в голосе ее зазвучало столько удовольствия и вместе желания чем-то особенно радостным удивить слушателя.— Так вы ничего не знаете? Дорогою по соседству ничего не слышали?

— Ничего не слышал и не знаю, мы торопились и прятались от всех.

— Так, так; теперь помню... Про сына его... про вас точно люди сказывали, да и он сам часто жалел об вас; даже по людям вас долго разыскивали.

— Так что же? говорите!

— Как же! ведь ваш отец теперь главным приказчиком над всею Есауловкою! Да, и живет в самом барском доме, под низом; а барин ваш все за границей. Как же, мы это знаем! князь десять лет дома не был. Наехал раз, сменил немца, поставил вашего отца, уехал, да с тех пор и нет его... Теперь пора мне в девичью; все спят; прощайте! Извините...

— Как же я в наше-то село дойду? Темно: до утра бродить буду...

— Я бы вас свела, Илья Романыч, да надо в дом заранее в девичью воротиться... А впрочем, так и быть, пойдемте... Ступайте, только бережнее, тут будет опять канава, а дальше мостик через Лихой. Это у нас речка.

— Так это мы за Лихим?

— Точно-с, эта река в Волгу тут, если помните, подале упала и разделяет Сырт от вашей Есауловки. Мы дружка против дружки живем с вами-с...

— Теперь помню, помню: мы на горе, а вы на долине.

— Так точно! Вот и не ошиблись, именно-с...

— Кто же ваша барыня?

— Ох... сердитая наша барыня, Палагея Андреевна Перебоченская, если еще в те поры вы слышали! Она, должно быть, дончиха. Одни говорят, что хутор, где мы живем, ее имение; а другие, что не ее, а чужое, арендное. Только сказать вам, наша барыня так тут крепко сидит, что в ином и своем так не обживешься. Ох... все ее здесь боятся! Да! Забыла-с еще... С вашим отцом они очень хороши-с... Роман Антонович, ваш отец, у Палагеи Андреевны в силе, завсегда обо всем говорит и нам часто

беды наши у нее вымаливает. Да позвольте еще: он дома теперь или нет? Что я это забыла! Дома, или за скотом опять в Черномор поехал? Нет — дома, дома: вчера за сахаром к нам мальчишку своего конторского, Власика, присылал. Он приказчиком теперь у вас, а сперва только за гуртами ездил. Наша барыня тоже гурты держит, на лугах наших их нагуливает. И сама даже в поле скот осматривать на дрожках ездит, даром что старуха. Ах, да! еще скажу вам… Нет!.. лучше после. Мы уж и пришли в вашу Есауловку,— а вот и ваш двор. Видите, дворец-то какой у вашего князя-барина! сам большущий… Я вас славно провела. А теперь и домой мне пора. Прощайте-с! Вон светится внизу окно вашего отца. До свидания-с… По гроб жизни, можно сказать, мой знакомый вам не забудет этого.

Фрося еще что-то сказала издали и исчезла впотьмах.

Илья остановился у порога барской конторы, теперешнего отцовского жилища. Чего только не переиспытал он в эти минуты! Чего только не было теперь на душе его!

«Батюшка в приказчики попал! — думал Илья, стоя у входа под низ дома.— Вот не ждал! Из скотников, из пастухов, из голопятых, как его звали, в приказчики такого села! Тысяча душ, почитай, будет; помню. Шапку, бывало, за версту снимал он, как подходил к барскому дому, а теперь сам тут живет. Жива ли матушка? Я у этой щебетуньи и не спросил. Ну, как-то отец теперь с людьми водится? Ведь он, почитай, сам тогда мне посоветовал в бегах быть, как я на посылках тут день-деньской у немца маялся, на пинках рос, тычками да слезами сыт ходил и на липке в саду с горя два раза даже повеситься хотел перед тем, как армяне в Крым сманили меня. Приказчи́к! Не очень же он обрадуется и коню, которого я было ему на хозяйство добыл и привязал пока в лесу!»

Он сошел в коридорчик нижнего яруса дома и стал, замирая от волнения, у дверей. Долго он не решался взяться за скобку, оправил красный пояс на новых шароварах, обдернул синюю чуйку, потоптался на месте высокими новыми сапогами, снял в потемках шапку, пригладил черные кудри, крякнул и хотел войти, но опять остановился.

«Как-то отец теперь примет меня? — подумал Илья, все еще стоя в потемках. — Куда повернет меня? Думал, что отец в бедности... Эх!»

Дверь с шумом растворилась из конторы, а на порог выткнулся рослый, плотный, широколицый и смуглый человек, род мещанина, в нанковом кафтане и в картузе. Он, очевидно, хотел куда-то идти, но, наткнувшись на незнакомого впотьмах, торопливо отшатнулся, взял со стола свечку и спросил:

— Кто это? Что ты тут за человек стоишь впотьмах?

Илья не сразу узнал располневшего отца и тихо, молча ступил в комнату, где худощавая пожилая женщина в ситцевом нарядном платье, спиною к дверям, снимала со стола ужин. Найдя глазами образа, Илья с чувством перекрестился, пока приказчик с удивлением его рассматривал, держа свечу в руках, и упал в ноги отцу.

— Батюшка, не обидьте, благословите меня! Я ваш Илько!

— Илья, Ильюша! — крикнула женщина, убиравшая со стола. Она быстро обернулась и, уроня на лавку поднос с посудою, кинулась сыну на шею.

— Илько! — проговорил, в свой черед тронутый и пораженный неожиданностью, приказчик, торопливо ставя свечку на стол. — Вот не ожидал дорогого гостя! А я в обход было шел посмотреть, все ли сторожа на местах! Господи... вот гость! — Роман дрожащими руками снял с гвоздя икону, благословил ею сына, дал ему ее, а потом свою руку поцеловать и заключил: — Ну, полно, жена, выть над ним да обнимать его, теперь пришел, так уж насмотришься, налюбуешься им! А лучше давай-ка ему поесть; верно, голоден с далекой дорожки. Вздуй огня в печи, яичницу, что ли, ему изготовь, пока мы о деле потолкуем.

Седая Ивановна, утирая радостные слезы, встала, опять кинулась к сыну, посмотрела на него, сняла с него пояс, чуйку, заплакала и тут же засмеялась, качая головою.

— Так, так, Илько; хорошо, что ты воротился. Ей-богу, хорошо! А я-то уж считал, что ты пропал навеки: панихиды по тебе служить собирался, да твоя мать вон все останавливала, говорит: еще подожди, сердце чует — жив Илько. А сколько будет лет, как ты в бегах был?

— Двенадцать!..

— Точно, двенадцать, я тогда еще в рядовых, кажется, был. Да... теперь уже десять лет в приказчиках состою. Всем селом заправляю. Ты, верно, слышал, Илько?

— Слышал,— отвечал Илья, рассматривая смуглые, будто из меди вылитые, черты отцовского лица, его черные густые брови, карие глаза и черные с проседью, под гребенку стриженные волосы, курчавые, как и у Ильи.

Рослый широкоплечий стан отца был по-прежнему прям и крепок, только стал сильно полнее с той поры, как он с длинною палкою перестал ходить за скотом и, в потертой сермяге стоя в поле, жаловаться на судьбу одному перелетному ветру.

— Много воды утекло с тех пор, как ты в бродяги пошел, Илько... Да наехал барин после тебя. А тут немца сместили, меня наставили. Ну да о том после... Пожалел я тогда, что тебе сам же совет дал и что ты утек. Через разных бродяг о тебе разведки делал, в полицию явки давал. Хорошо, что ты воротился. А было бы еще лучше, кабы воротился прежде. Нужен ты мне был тогда, да и теперь еще более, пожалуй, будешь нужен. Ведь ты грамотный, кажется?

— Выучил тогда пьяный немец... Помните, как бил? Струны проволочные в розги ввязывал. Уксусом после кропил...

— Так, так. Да давай же, жена, гостю дорогому поесть скорее! А не выпьем ли мы на радости, Илько, водочки? Пьешь?

— Нет, не пью.

— Ну, так я выпью!

У Ильи в голове все мелькал между тем припасенный отцу на хозяйство конек. Как ничтожен теперь казался ему этот его заветный подарок!

— Ну, а что же ты нажил, сын, на воле-то, столько лет маявшись вдали от отца и матери? — спросил шутливо Роман, стоя у дверей.

— Я-то?

— Да; за двенадцать лет люди сотни, тысячи, умеючи, наживают!

Илья глаз не поднимал. Роман самодовольно посматривал на своего забулдыгу, блудного сына, не обращая внимания на мучительный, болезненно любящий и

жалобный взор матери, устремленный на Илью из-за пылающей печки.

— Что греха таить,— сказал Илья,— как стал я подрастать у людей на воле, переходя с места на место да свою неволю былую скрывая, были заработки, были и деньги хорошие. Только рубль-то везде один: больше целкового не ходит. Как нажил, так и прожил — все одно, что и в здешних ваших местах. Были случаи, что и полиции надо было дарить и от своих братьев-душегубов откупаться. Дважды ловили меня, по этапу из города в город пересылали. Тут-то мозолей поношено, тут-то холоду да голоду испытано, вшей да комаров покормлено собою! А господь дал, после опять стал на воле жить, значит, я наживал, я же и проживал. Известное дело, чужая сторонка; как своей-то настоящей, собственной, значит, норки нет, куда и зверек лишний колос на запас тащит...

— Так ты, выходит, теперь к норке родной и направил путь? Дело! Чем же ты теперь желал бы тут быть у барина на селе? Отвечай по душе. Я теперь тут главный: что решу, тому и быть. Говори!..

Илья взглянул на мать.

— Вы, точно, главный тут! — сказал Илья отцу,— вам такая и дорога. А мне, когда милость ваша и вы дадите бродяге тут жить, позвольте... к обществу стать. Землю мне нарежьте; на хозяйство к плугу поставьте меня...

Роман задумался, вышел за дверь. Ивановна кинулась к двери, заперла ее опять на крючок, поцеловала несколько раз сына, посадила его за стол, поставила ему остатки ужина, свежую яичницу, обняла его горячо и оглянулась опять по комнате.

— Ты, сынку, не перечь отцу. Он тебе счастья желает. Должно быть, он тебе ключи сдать затеял; он давно ищет верного себе ключника.

— Эх, матушка, все это так, да земля-то крепче; с земли не сгонишь, а от места могут отказать и будешь бобылем. Какие я места имел! А все своя земля к себе тянет! Срубишь этак избенку, заведешься всем... Ну, да мне же это и особо еще нужно...

— Зачем?

Старуха пристально посмотрела в глаза сыну. Он оставил ложку, утерся, перекрестился на иконы, поклонился матери и сел опять.

— Матушка, я нашел себе суженую.

Старуха радостно перекрестилась.

— Слава тебе, господи! Где же ты сыскал ее?

— Слыхала, матушка, про Талаверку?

— Про какого?

— Про Афанасия, что бежал тут по соседству от какой-то барыни двадцать четыре года назад? Он в столярах у нее был тут, в каретниках и в ее хуторе проживал.

— Ох, не помню что-то, сынку, не помню. Так что же?

— Столкнулся я с ним два года назад, в Ростове-на-Дону... Он там уже богачом живет: дом свой, своя мастерская. Ну, и есть у него дочка... Настя... Мы полюбились с нею, отцу сказали. А он и говорит: «Из рассказов твоих, Илько, вижу я, что ты из одних мест со мною; барыни моей ты знать не можешь: мал был, как бежал с Волги сюда в низовые края. И я, говорит, не знаю, жива ли моя госпожа-барыня. А только вот что. Хоть богат я, говорит, теперь, хоть волен, а помереть хотелось бы на родной стороне. Теперь, говорит, готовится всем воля; скоро, не скоро ли, слышно, всем землю дадут, кто по своей воле воротится домой в общества свои к нынешним пока господам. Я мастерства кинуть не могу, а ты иди, получи на своем месте землю, запишись в мир, дай знать, что пристроился, тогда приходи и бери себе Настю...» На этом зароке мы и расстались. Я дал слово землю себе на родном селе добыть, а он выдать за меня Настю; так как же мне идти в дворовые? Подумайте!..

Ивановна задумалась.

Поговорили еще немного. Илья разделся. Мать постлала ему постель на своей кровати у печи. Ложась спать, Илья увидел под скамьей в углу какой-то клубочек. Кто-то во весь нос сопел, свернувшись на полу котенком.

— Кто это? — спросил Илья.

— На посылках у отца сиротка тоже тут один, Власик!

Илья со вздохом лег. «Вот у отца теперь на посылках есть такой же, как я был когда-то у немца!» — подумал он.

Ивановна погасила свечку и тоже легла, вздыхая, на печи. Вскоре пришел с дозора Роман Антоныч; не зажигая свечки и не раздеваясь, лег на лавке у стола и

долго лежал, не шелохнувшись, но видно было, что он не спал. Илье же всю ночь грезились вольные степи, таинственные перебродки по лесам и оврагам, гнедко, привязанный в лесу, надежды завестись своим домком и Настя. За час или два до рассвета Илья встал, тихо оделся, тихо отпер двери и вышел. Предутренний воздух был свеж.

«Надежда плохая,— подумал Илья,— теперь вряд ли получишь землю от отца! Или опять уйти на все четыре стороны? всем ветрам в пояс поклониться? Нет, будь, что будет!»

Он вышел на тропинку, по которой провела его с вечера Фрося, взобрался на знакомый с детства соседний бугор и увидел с него сквозь начинавшие яснеть сумерки не в дальнем расстоянии лесок, где привязал гнедка. Роща была оттуда не более как в трех верстах. Он быстро направился туда, вошел в кусты. Овраг был недалеко.

«Ну, гнедко,— подумал Илья,— иди теперь со мной; придется теперь продать тебя либо жиду, либо цыгану. Отец держать тебя не позволит! А я-то думал домком завестись, сад затеять, за Настей поехать на тебе!»

Илья стал звать гнедка, искать его; но след гнедка простыл. Конец ремня от уздечки висел, привязанный к дереву. Гнедко либо убежал, либо кто-нибудь его украл.

«Последнее добро и то пропало! — сказал Илья с досадою.— Пропадай же и ты теперь, моя волюшка»...

Он еще побродил по роще, звал коня, обошел весь лесок кругом, вышел на опушку, на другой высокий бугор, сел, уткнувшись головою в колени, и долго так просидел. Когда он очнулся, светлая картина родимых окрестностей и подступавшего утра тихо открылась перед ним.

Кругом шли то зеленые, пологие, то каменистые, лесами испещренные холмы. Влево расстилалась низменная, влажная луговая равнина, на которой из сумерек выходила усадьба Фросиной барыни, Конский Сырт. Прямо, отделяясь от этой низменности рекой Лихим, на крутом косогоре расстилалась Есауловка. Вправо от Есауловки и Конского Сырта, провожая извивы Лихого к его устью, шли сперва малые, потом более объемистые бугры, то горбатые, то плосковерхие, то остроголовые и изборожденные дождевыми протоками. В расщелине их в одном месте мелькнула широкая, белая туманная полоса, точно дым... Сердце Ильи дрогнуло. То была Волга... А за нею уже начала заниматься заря. Одевались

огнями голубые вершины. Вместо темных пятен и щелей на холмах выяснялись леса. Между ними в отдалении узнавались кое-где вразмет кинутые поселки, бог весть откуда и когда тут севшая жильями, всякая набродная и перехожая вольница. Сизая тяжелая туча, нахлобучившись на низовое Заволжье, еще не пускала на окрестности довольно света. Все еще тонуло в сумерках; нагорные земли по сю сторону Волги и гладкая привольная ширь ее луговой стороны, с ее жирными, тучными и хлебородными залежами и целинами. Тронулся ветер... Отозвались ближние и дальние лесистые овраги и горы, так знакомые Илье, с их местными поволжскими прозвищами. Застонал любовными призывами Иволгин орешник; застукал наполненный шорохами и всякой таинственной, весеннею тревогой развесистый Дятловый липняк; зазвенели серебряными трубами низменные темные Соловьиные верболозы; зазвучали золотою дудкой песчаные Кукушкины кучугуры, засвистели кудрявые Дроздовые березняки, заклектали старые дуплистые громадные дубы на Орлиных лысинах соседних гор. Солнце выбилось, наконец, из-под тучи. Илья встал, прошел несколько шагов и опять остановился. Влево, вдали над Волгой, обрисовался новый ряд бугров. А по ним мелькали, уже будто сквозные и голубые от воздуха, новые бугры и курганы. То были бугры Стеньки Разина. «На них Степан Тимофеич последний свой опочив держал,— говорили в народе,—он тут последним станом стоял; а как его в плен взяли, любимого своего есаула с братией послал селом поблизости сесть; они сели, и вышла из вольной кости нынешняя княжеская Есауловка!» Илья Танцур прикрыл глаза ладонью. Один двугорбый бугор, полосатый, как бухарская тармалама, сидел, свесившись, будто бородатый старик над водою. Он прозывался Емелькиными ушами, или ушами Пугача. На них Пугач двух воеводских дозорщиков повесил. С той поры, точно слушая что, торчали эти горбы, Емелькины уши. А еще далее шли отвесные и дикие Авдулины бугры, за которыми было село Авдуловка, присходившее также от каких-то вольных костей, занесенных сюда первыми украинскими и русскими колонизаторами этого края. А величавая, вечно широкая Волга голубой пеленой омывала подошвы бугров, пугливо ласкаясь к ним и отражая в себе цвета их зеленых, желтых и багровых глин, белых песков и разновидных хрящей и слюд. Роса сверкала по травам. Дикие тюльпаны желты-

ми и алыми колокольчиками глядели из расселин скал, по крутым косогорам. Яркий синяк и белые пушистые косатики заливали веселыми сплошными полосами низменные равнинки. Звонкие вскрикивания пробуждающихся птиц становились чаще и громче. Тихие прибрежные затоны и заливы Волги и Лихого еще дремали своими ивами и камышами, окутанные туманами. А уже по гладкой равнине вод мимо бугров, затонов, песчаных россыпей и степей двигались, белея парусами, вечные караваны Синего морца, Волги, всякие расшивы, беляны, мокшаны, коломенки и простые рыбачьи лодки. Над ними мелькали, отражаясь в воде, белокрылые чайки. Сонные бакланы, бабы-птицы и лебеди взлетали из-под носов наплывающих барок. Отзывались заволжские озера, окрещенные также народными именами: журавлиные, лебяжьи, куличьи, гусиные, утиные и всякие. Заря занялась невиданная, роскошная. Закопошился люд во всех концах. Двинулись стада овец по буграм, гурты рогатого скота и табуны лошадей на лугах и равнинах, где сто лет назад кочевали по тихим сыртам и улусам одни калмыки да татары. А по голубым прибрежьям и затонам раздавались голоса знакомой трудовой и исконной песни рабочего люда обоих берегов Волги и Дона, песни, построившей по этим рекам все села и города, заводы и барские дома, церкви, монастыри, пристани и остроги, песни, которая начинается не то стоном, не то могучим вздохом: «Ох, дубинушка, охни!»

Илья Танцур взглянул еще раз назад к стороне Дона, откуда пришел, а потом на Волгу.

— Прощай, батюшка, тихий Дон Иваныч! Здравствуй, матушка Волга! Пожил я вволю на Дону, в низовой степной Украйне; поживу теперь и на Волге! Были мы когда-то казаками... Чем-то теперь опять будем! Наши деды вышли сюда из Запорожья, бились тут с татарами, охраняли границы, селились вперемешку с русскими; нас подарили русскому князю, вместе с землями и пожитками. Подождем. Авось отдадут нам опять наше...

Илья посмотрел на солнце, взглянул влево на Есауловку, широко и просторно раскинувшуюся по тот бок Лихого, впадающего в Волгу, и быстро пошел к отцу. Село давно уже дымилось низенькими трубами. Обе церкви на двух его концах приветливо белели. Перейдя

мост через Лихой, Илья поднялся вновь на крутой глинистый берег, к которому к реке сходили крестьянские огороды, и пошел к барскому двору, окружавшему высокий и обширный каменный дом в два яруса, с крыльцами, колоннами, бельведером, шпилем для флага и службами. Сад шел за домом, почти касаясь столетними дубами, липами и пирамидальными исполинскими тополями его островерхой, по плану Растрелли, устроенной крыши.

II

Забытые музыканты

— Раненько ты, Илько, встал! Где был? — спросил отец.

— Не спалось; размяться ходил; на новом месте, знаете...

— Я вот все твоей матери смеялся, что, смотри, опять Илько тягу дал. Садись, пей чай. Вприкуску или внакладку хочешь? У нас настоящий полурафинад. В городе берем... Пей!

— Нет, по-моему, Антоныч, тоже лучше так, как Илько наш говорит! — начала приказчица Ивановна,— в мужиках как-то проще жилося нам; я до сих пор вспоминаю нашу хату, наш огород и сад на Окнине, за слободой, где мы жили!

— Дуры вы бабы! Давай еще стакан! Много вы понимаете! Мы подначальными были всегда, так подначальными и умрем. Не выдумаем мы ничего лучшего. У барина не служить, семи гривен с рубля не украсть, и жить не стоит. А, Илько? Что скажешь?

Илья молчал.

— Право, Роман Антоныч, ты Ильку позволил бы... Ты посмотри, Илько, какие у нас чашки; вот какие писанки на них расписаны: тут птицы, а тут цветы и слова... Прочитай мне...

— Ты, сынку, вчера матери говорил про Талаверку? Так Афанасий нашелся в Ростове? Нынче утром мать мне все рассказала. Ты в дворовые не хочешь?

Илья вспыхнул.

— Ну, что же: дело, коли бродяга этот Талаверка в бегах зашиб себе копейку. Да непрочна только жизнь

его, и тебе с бродягами пора перестать якшаться. Человеком стать, вон что! Я тебя человеком сделаю. У барина тебе место выпрошу... Хочешь?

Под окном приказчицкой комнаты на дворе послышались голоса. Роман Танцур встал.

— Приказные пришли за распорядком работ. Я уйду. Ты посиди, Илья, с матерью. Сегодня суббота, так ты отдохни; завтра тоже воскресенье. А послезавтра ступай на работу, пока хоть и в рядовые. Я, брат, пример держу; у меня не зевай никто!

Роман ушел.

Взъерошенный Власик стал весело убирать чашки со стола, взглянул на Илью и весело улыбнулся.

Ивановна предложила сыну вымыть голову в теплой воде и надела ему вместо ситцевой рубахи белую.

— Матушка, зачем вы отцу про Талаверку сказали? — спросил, немного погодя, Илья.

— Что ты! Да он еще передумает и даст тебе землю. Проси только у него. Ведь он теперь сила и все у него в руках. Понимаешь? сила... Наша деревня почти забыта и заброшена князем.

Роман воротился с надворья.

— Ух, умаялся. Шутка ли, тысяча душ? всем надо толк дать. Пойдем, Илько, я тебе княжеский дом покажу. Где, жена, ключи? Ты глуп был маленьким, а теперь поймешь, каков наш князь, — и я всему тут голова!

Роман снял со стены ключи и пошел с надворья к главному крыльцу роскошного дома, построенного по плану гениального итальянца. Отец и сын вошли по резной дубовой, невысокой, под лак лестнице, уставленной мраморными статуями, в светлые сени нижнего яруса, оттуда в лакейскую, увешанную охотничьими картинами и украшенную олеными и лосьими рогами. Ключ в высокой красного дерева резной двери повернулся. И оба мужика, отец и сын, вошли в огромную залу, с штофными голубыми занавесами, с амурами, музами и цветами на расписном потолке и со старинною позолоченною мебелью. Из залы прошли в столовую, где были двое хор для музыки и певчих, а окна выходили в обширный столетний сад, с террасами, прудами, беседками и мостами. Оттуда отец и сын прошли в портретную, потом в спальню князя, а там особою внутреннею лестницею во второй ярус дома и на вышку бельведера. В портретной старик Танцур остановился и стал сыну рассказывать о роде князя. Но еще долее он стоял перед портретом князя, нынешнего обладателя Есауловки.

— Село наше было когда-то вольное,— сказал Роман Танцур,— казаками наши предки зашли сюда и тут поселились.

Илья наставил уши.

— Как же вы помещичьими стали? — спросил он.

— Э! Мало ли что бывало! Мы за проказы там всякие, видишь ли, наряду воровских долго считались. Ты, верно, слышал, что нас есаул разбойника Разина населил. Ну, так вот мы тут по Волге основали Есауловку, перестали бродить, только долго еще сами разбоем жили. А после и усмирились. Прадед теперешнего нашего князя за свои услуги бывшей царице это село в подарок получил и поехал сюда. Голь да воровство одно он тут застал. Люди, говорят, жили, как звери. Ужас кругом по окольностям про наших шел. Князь-то сразу взял, да и укротил всю эту здешнюю прыть. Навез с собою, понимаешь ли, сынку, наемных перебежчиков-поляков да человек десять из запорожцев; составил себе род отряда и пошел косить да порядки новые заводить. Кнутом полслободы засек; виселицу над Лихим поставил, и на ней беспрестанно воры наши покачивались да ворон и сорок собою кормили. Какого-то старика, что выдавал себя за родича того-то разиновского есаула, в бочку забил, созвал село: «Вот, говорит, как я учу разбойников да бунтовщиков! Смотрите!» — да так в Волгу его и кинул. Плавал этот старик по Волге двое суток, а на третьи пастухи его на той стороне реки вынули, как его к берегу подбило, и стали ему голодному есть давать. Шатался, говорят, старик, как муха осенью, не мог все распрямиться — в бочке всего его разломало,— и отказался от хлеба. «Нет, сказал, не житье мне теперь: останусь жив — везде барин найдет». Лег на берегу Волги против нашей же земли, да тут и умер... В зале у того первого князя на стене семь плетей висело постоянно на колочках; так и держал — одну для воров, другую для ослушников, третью для потатчиков наших — комиссаров, четвертую для иных поблажчиков, и так всякому свою. Так-то, сынку, воровство наше тут покорилось. Вот его и портрет.

Илья взглянул на румяного толстого щеголя, в пудре, в орденах, в кружевных манжетах и в мушках. На золотой раме портрета Илья прочитал надпись: «Князь Адам Белоконь-Мангушко. 1758 год».

— Род нашего первого князя из-за Киева, сынку; сказывают, что гетманский род. Сын этого главного

нашего князя отделал этот старый дом на новый лад и жил в свою волю. У него девка в церковь, бывало, не показывайся. Ни одной проходу не давал. Сын его, барин-то теперешний наш, с детства хилый такой вышел, все лечится; рано померла его жена, и он бездетный так и остался. Ныне он все по чужим краям живет, в Италию ему и пишу теперь. Так без роду и без племени век свой и доживает, и кому мы достанемся — не знаю. Денег ему отсюда вдоволь высылаем. Надо мною тут француз главный состоит; он при сахарном заводе в городе живет и сюда только поверять меня наезжает. Я же тут по хлебопашеству, гуртам, по винокурне и по всем работам. Так-то. Вот его портрет, Илько. Поцелуй барину ручку. Он наш благодетель.

Роман ткнул акварельное изображение седовласого пастушка в соломенной шляпе и с корзиною плодов в руке, к печально сжатым холодным губам Ильи, обтер пыль с портрета и опять поставил его на щегольском резном столике портретной.

— Да, кто-то тут будет барином, как князь теперешний помрет! — задумчиво сказал приказчик.

— В казну нас отберут,— начал Илья.— Уж слышно... опять казаками... хотят сделать всех.

Антоныч улыбнулся.

— Не верь, брат, найдутся новые господа. Уж так без господ не будем. Моли только бога за теперешнего князя. С ним мы не пропадем... А бредни о воле позабудь. Верно много глупостей в бегах наслушался! Теперь над нами господь чудо явил: из рядовых, из нищих, я сам, видишь ли, приказчиком... Старайся и ты!

Взошли на вышку. В окна бельведера во все стороны открывался нескончаемый вид полей, холмов и каменистых бугров, а далее белая полоса Волги, заслоненной несколько прибрежными высотами.

— Отсюда наш князь, как наезжает, любит смотреть на свои владения! — продолжал Роман Танцур,— и все спрашивает: «Те вон бугры мои?» — «Ваши, говорю, ваше сиятельство!» — «А вон тот лес и та даль?» — «И лес ваш и даль ваша!» Так он часто меня на первых порах спрашивал. Тут семь тысяч десятин земли княжеской... Есть над чем похлопотать, хоть князь нас почти что совсем забыл... Люди тут, как чужие всем... Да и нам, впрочем, крохи перепадают... О чем ты задумался, Илья?

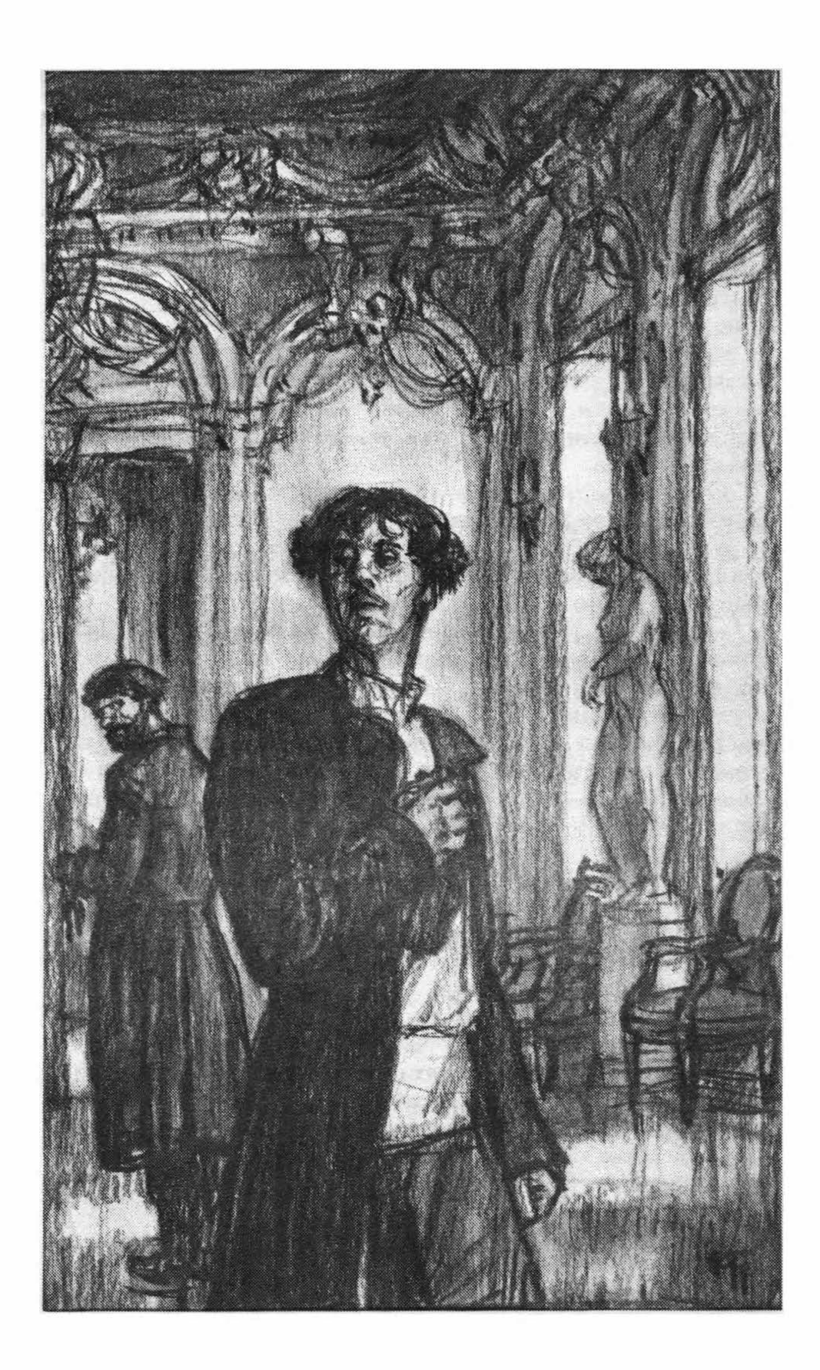
— Вы, теперь точно вижу, батюшка, тут главный; дайте же и мне бога за вас молить,— на землю стать! к миру, к обществу пристроиться, своим домом обзавестись! Вы же говорите, что князь нас забыл...

Роман плюнул.

— Опять! Вижу я, что ты дурень, и больше ничего! Пойдем домой! В бегах ты ума не набрался, дураком и умрешь.

Ключи опять загремели. Роман с сыном пошел обратно. Тихо они шли снова мимо штофных голубых занавесей, зеркал и портретов, по паркетам, коврам и резным лаковым лестницам. Солнце ярко светило в разноцветные, голубые, алые и желтые стекла фигурчатых окон и наружных стекольчатых галерей. Внизу у выходного крыльца в сад Роман остановился и, как будто забыв вспышку на сына, опять начал:

— Князь забыл нас — так... Бог весть, когда и наезжал — так. Что же, однако, посудить, из этого? Ты ведь не мальчик, сынку, поймешь! Я был голодным батраком, правда. Даже мужики меня голопятым звали — тоже правда. Тебя немец гнал, а я защитить тебя тогда не мог. Все это так! Однако же, теперь? Знаешь ли ты, как я попал тут в приказчики? Немец, что тебя гнал и бил, замотался; князю стали мало денег высылать. Он, как тебя уж тут не было, и нагрянул, прямо из неметчины, в трех каретах явился. Приехал, таким чужаком ходит; бывало, все село на него из-за углов глядит. Уж и тогда стар он был, а все картины рисовал и село наше с разных концов снимал на бумагу красками. Тот портрет, что ты видел, он сам с себя тоже тут срисовал. Жил он у нас целое лето, скучал по дальним краям... А барыня Перебоченская, что за Лихим тут теперь живет, тогда землю на аренду сняла у своего соседа, приехала к князю и говорит: «Что вы все на немцев надеетесь, князь? Да ваш простой мужик лучше всякого немца тут управится. Вот хоть бы ваш Роман Танцур, что за овцами у вас ходил и два раза у вас в Черноморье ездил за скотом. Посадите хоть его в приказчики; в год, в два он привыкнет и всех этих, клянусь вам, иностранцев ваших за пояс заткнет!» Засмеялся князь: «А что же, говорит, сударыня, попробуем! у вас, быть может, верный хозяйский глаз! Позвать, говорит, Романка!» Меня и позвали. Вхожу я, а они оба сидят: барыня чулочек тут же вяжет запросто, а он на треножнике по холсту красавицу какую-то рисует. Стали они меня расспрашивать да тут



же меня для пробы на год, под надзором барыни этой, и определили. Доходы князя я удвоил сразу; не забываю я с той поры за барыню, за Палагею Андреевну Перебоченскую, бога молить. Вот послужи так-то, Илья, и ты нашему барину, и тебе будет хорошо! Любишь ходить за садом? Учился где-нибудь?

— Учился в Крыму и в Бессарабии.

— Вот тебе бы на первое время и дело, а там в конторщики, мне помогал бы книги вести, счеты... Беда мне с вашим братом беглым, велено вас принимать. А какие бывают из вас? Вот почти весь наш оркестр музыки был в бегах и воротился. Буян на буяне. Ты бы их остерегался. Того и гляди — все в острог пойдут; ты вот хоть просишься к плугу, на землю, а они ничего не хотят делать!

Отец с сыном пошли в сад. Запустелые развесистые аллеи пахли черемухами и тополями. Кусты жимолости и рай-дерева были в цвету. За прудом отзывалась иволга, соловьи перекликались. Прошли мимо шпалер вынутых из-под зимней покрышки виноградных лоз.

— Это бы дело поправить надо было также. Наш француз требует, чтоб виноград мы поддерживали, а ходить за ним некому! Поработай, пожалуй, пока со всеми мужиками, Илько, а там тебя и к саду можно наставить. Тут в садовничьей хатке и жить тогда себе можешь, коли ищешь от нас сесть особняком. Кстати же, садовник был тут нанятой, да от нас недавно отошел...

На душе у Ильи отлегло; он просветлел. Роман подозрительно вдруг взглянул на него.

— А все-таки лучше бы ты мне, Илько, сразу под руку пошел — в конторщики; счеты бы вместе сводили. Я неграмотный, а ты грамоте знаешь... Я бы уж тебе тогда все бы предоставил. А то чужие все, видишь ли, ненадежные... Тогда о Талаверкиной дочке, что ли, мы бы с тобой подумали.

Весь день, в субботу, до вечера Илья действительно бродил по селу, заговаривая с былыми сверстниками и присматриваясь к разным лицам, но почти не узнавая никого. Отыскал двух-трех из бывших своих деревенских приятелей, теперь уже бородатых и заматерелых мужиков, давно женатых и наделенных кучею детей. Походил он опять по саду, побродил возле опустелой после зимы барской винокурни в конце села, оттуда слышалась музыка, скрипки, кларнеты и даже барабан!

там обучался оркестр; видел издали Илья выход на громадный хлебный ток, так называемой барщины, толпы работников и работниц с очередной половины села. Под вечер он разыскал место былого двора и хаты отца, куда он, во время оно, забитым и голодным ребенком бегал с господского двора. Он нашел это место на Окнине, на окраине небольшой луговины, у глухого конца села. Окниной она называлась от просветов на земле множества студеных ключей, бивших сквозь траву у скатов того самого косогора, по которому было раскинуто село и где стоял особняком господский двор и сад. Вода здесь была необыкновенно холодна, чиста, вкусна и полезна для растительности. Стаи птиц постоянно роились над бархатною, густою и яркою зеленью луговины,— водились в ней и всякими стонами и криками наполняли здесь свежий воздух. «Эх, батюшка! вот бы где нам гнездо постоянное свить, на старом-то бы месте, а не под барским домом!» — подумал Илья, рассматривая былое свое пепелище, где торчала только груда кирпичей бывшей печки, валялось несколько черепков да росли три-четыре обломанные, а некогда развесистые вербы.

Окнина была сейчас за канавой сада, с той стороны, где в саду начиналась уже дичь и глушь и где росли одни ольхи да лозы, вечно полные стаями крикливых ворон и задорных кобчиков.

Поздно пришел Илья в отцовское помещение. Конторский чай он пропустил и едва захватил самый ужин. К старику Роману приходили опять озабоченные лица за приказом. Видно было, что приказчик строго вел себя с подчиненными. «И где отец этой важности набрался? Каков! Точно судья какой или заседатель!» — думал Илья. Мать скоро легла спать. Роман ушел в комнату, соседнюю с тою, где жил, и долго сидел там один, вздыхая и тихо пощелкивая костяшками счетов. Власик, набегавшись за день, как упал в свой тулупчик у печки, так там и заснул. Скоро заснул и Илья.

На другой день Илья проснулся рано. Это было воскресенье. Отец ушел в церковь; матери тоже не было. Власик чистил какой-то таз, пыхтел и возился, опять весь взъерошенный, веселый и проворный, как мышонок.

— Дядя Илья! вас там в саду, возле мостка, человек один дожидает! — сказал Власик, шевеля большими

сквозными ушами, подмигивая и добродушно посмеиваясь.

— Кто такой?

— Не знаю! — Власик смеялся и оттого, что в конторе было новое лицо, и оттого, что на дворе было светло и его манило самого туда.

Илья умылся, оделся и вышел в сад. В конце кленовой дороги прогуливался худощавый человек в пальто и в картузе, держа одну руку в кармане, а другую — за лацканом. Подойдя к нему, Илья не знал, снимать ли перед ним шапку или нет.

— Илья Романыч? — спросил тот.

— Точно так-с...

— Кирюшка-с! Я первая флейта в тутошнем оркестре-с!.. Вашу руку!.. Я Кирюшка Безуглый. Позвольте мне-с от всего усердия взять вас за руку и поблагодарить-с!

— За что же? Я не знаю вовсе вас...

— Вы спаситель моей Фроси... Как же-с! Из голубятника, от этого поляка кровопийцы-с... Я все знаю и по гроб моей жизни этого не забуду-с; нет, нет-с, я вас обниму и того во веки веков не забуду!

Кирилло крепко обнял Илью. Серые, ленивые и тусклые его глаза глядели добродушно, ласково.

— Вы, Илья Романыч, можно сказать, спасли от сущей гибели и посрамления меня и Фросю. Не освободи вы ее, утром бы ей барыня косу отрезала-с, это беспременно! А не то послала бы в стан... Нас, так сказать, этот обход застал на месте... Помня ее девичий стыд и честь, я кинулся бежать — не от трусости, но чтоб ее спасти. Мне что? А теперь все спасено, и утром, на переборке, девушки сами Фроси не выдали.

— Ах, братец, я сам не думал,— возразил Илья, польщенный такими благодарностями господина, одетого в пальто.

— Нет! Уж вы меня извините, а я привел сюда и моего друга, Саввушку-с, тоже нашего музыканта. Мы из здешнего оркестра. Савка, а Савка! Саввушка! Выходи сюда!

Из кустов цветущего древесного жасмина поднялся другой, еще более сухощавый и чахлый человек, тоже в пальто и в фуражке. Этот был на вид совершенно чахоточный. Бледные впалые его щеки и мертвенно тусклые глаза резко оттенялись черными густыми бровями и маленькими шелковистыми усиками.

— Саввушка, благодари их. Вот Илья Романыч спас мою Фросю. Кланяйся, да ну же, кланяйся! Этого вовеки я не забуду.

Саввушка и Кирилло снова поклонились Илье.

— Ах, братцы! да что вы! Да я сам...

— Нет, нет! И не смейте вспоминать и беспокоиться. Мы ваши слуги отныне. Папироски курите?

— Нет... курил, да бросил.

— Ну, мы сами покурим. Позволяете?

— Ах, помилуйте. Почему ж?

— Мы отойдем сюда к сторонке, к канавам-то. Понимаете? Чтоб из дому не было видно — от вашего батюшки-с...

Новые знакомцы отошли к концу сада, к вербам. Кирилло достал из-за пазухи потертую сигарочницу. Он вообще вел себя развязно, к Саввушке относился шутя, а к новому приятелю весьма дружелюбно. На обеих руках его были перстни. Саввушка шел молча, тоскливо вздыхая и грустно посматривая по сторонам.

— Вы с отцом своим как? — спросил Кирилло, с важностью умелого закуривая сделанную им самим папироску.

— А что?

— Слышали мы, что вы теперь с воли... Значит, свету-то и делов всяких насмотрелись. Так как же вы с вашим отцом? Какого вы, то есть, о нем теперь понятия стали?

— Еще мало разглядел, братцы.

— А, мало! Слышишь, Саввушка? Савка, слышишь?

Кирилло подмигнул с невыразимым, торжествующим взглядом. Саввушка на него искоса взглянул, как бы сказавши: «Что и говорить! беда, да и баста!»

— Мошенник, пресущая бестия ваш батюшка! — сказал Кирилло, мигнувши Илье,— коли еще не узнали, так знайте!

Илья покраснел.

— Это такая выжига, что в целом, так сказать, государстве поискать! — продолжал Кирилло Безуглый.— Князь ему верит, а он людей полагает за ничто. Работы все под его началом; счеты он тоже ведет. Да это, впрочем, нас не касается. А вот что: за что он нас голодом держит, музыку-то? Мы было все разбежались... да опять вот сошлись?

— Так и вы тоже, братцы, в бродягах были?

— Как же! О, как же! Мы здешний,— говорю тебе,— есауловский оркестр. У нас венгерец капельмейстер, и мы живем за мельницами, в доме старого винокуренного завода. Захотелось нашему князю музыку свою тут иметь на случай приездов, как в киевской главной его слободе. Он и отписал. Сперва итальянца прислал, а потом венгерца...

— Давно это вас набрали в музыку? Я как тут был, вас не было еще.

— Да лет семь будет. Как приучили нас по малости, соседние помещики стали разбирать на балы, на вечера; даже в город два раза к губернатору нас на выборы возили.

— И выгодное это дело, братцы?

Саввушка тяжело вздохнул и сел на канаву. Кирилло достал из сапога флейту.

— Вот я на чем играю...

Он взял несколько звуков. Тонкие, тихие переливы раздавались под ветвями нависших верб.

— Хорошо?

— Хорошо... Очень, брат, это хорошо!

— Ну, а первое время я повеситься, Илья Романыч, хотел от ефтой-то каторжной дудки, ей-богу! Так она мне была не по нутру! Взяли меня от огорода. Дали эту дудку в руки. Я приложил косточки к губам. Дую, а оно не выходит, только пыхтит в продушинки. Уж бил же меня, бил итальянец. Одначе ничего — после вышло хорошо, и я сам теперь люблю эту статью. Только не все ее одолели, вот хотя бы Саввушка! Посмотри-ка на него.

Илья взглянул на приятеля Кириллы. Тот сидел бледный, болезненный. Кирилло Безуглый нагнулся к нему.

— Савка! Плохое дело кларнет? — спросил Кирилло.

— Плохое! — глухо проговорил приятель и закашлялся.

Кирилло посвистел еще на флейте и спрятал ее за сапог.

— Теперь я хоть девочкам-то играю на забаву. И все бы ничего. Да вот кормят-то, кормят нас теперь плохо. Прежде балов было больше, итальянец заработки имел, и мы ничего экономии не стоили. А венгерцу теперь плохо пришлось. Что заработаем за зиму, то летом и проели. А тут глушь; Донщина близко. Князь-то нас затеял, да, видно, и забыл. Вон хоть Саввушка — грудь

надорвал. Да и не он один. Но вы, Илья Романыч, спросите, чем Савка до музыки, значит, был.

Илья спросил Саввушку.

— Художником в Петербурге был, живописцем,— начал печально Саввушка.— Я по живописи шел; сызмальства к ней наклонность имел! Князь сам меня туда отвез еще мальчишкой.

Кирилло с ожесточением ударил картузом оземь.

— Нет, вы спросите его, как он сюда-то, в эту музыку анафемскую попался? — заметил он, обращаясь к Илье.

— Как попался? — продолжал, грустно покачивая головою, Саввушка,— была моя одна там такая картина, значит, хорошая; ее хотели ставить даже на выставку... Меня поощрили. А у меня грудь и тогда побаливала. Князь и говорит: «Хочешь домой, Савка, родных навестить, воздухом свежим подышать на вакации?» Я говорю: «Очень рад-с». Он и взял меня сюда, довез до села. А отсюда-то поехал в чужие края и не на Петербург, а на Турцию, на Одессу, — меня же не взял; да с той поры, забыл ли он, что ли, или так случилось уж на мое горе, он за границей остался, а я тут застрял безвыездно. Приставал я к приказчику да к старостам, а тут вот вашего отца наставили! Он мне в ответ одно: «Я человек неграмотный, твоих делов не знаю». Глушь тут, вы знаете, какая. Посоветоваться не с кем. Жаловаться тоже некому. Поговорил я со стариком нашим священником,— тогда еще другого молодого тут не было,— а он мне: «Покорись, господа твои лучше знают, что делают, а иконы и тут можешь расписывать, коли кто тебе закажет». Скоро после стал из мужиков тут итальянец музыку составлять; Антоныч-то, ваш отец, и приказал мне, как уж обученному грамоте, к итальянцу на кларнет стать. С той поры я тут и стою. Выучился на кларнете, да грудью вовсе плох стал... Какой я музыкант! мне бы по живописи, вот что!

Кирилло дослушал приятеля и опять ударил картузом оземь.

— Эх! терпи, Саввушка! Такова, значит, доля наша! А что, господа, не выпить ли пивца или зелененького? Как же! Без этого нельзя! Вот вас за Фросю надо пожаловать...

— Я не пью, их угостите! — сказал Илья, указывая на Саввушку.

Саввушка махнул головой и улыбнулся.

— Нет! Куда уж мне! Вы идите! Я пойду поброжу. Благо день воскресный. Завтра опять за музыку. Венгерец контракт какой-то с городом затевает и все заставляет новое разучать...

— Я не пойду завтра. Я с приятелем гуляю!..

— Художник должен в смирности жить, так учили нас в кадемии,— перебил Саввушка.— И умру, а не забуду ее! И дал бы я полруки на отсечение, чтоб посмотреть теперь на Исаакий, каков он?..

Саввушка замотал головою, повторяя: «Не забуду, вовеки не забуду!»

— Товарищ, руку! — спросил Кирилло Безуглый Илью,— идет?

— Что? — спросил Илья, подавая ему руку.

— Будем, значит, душа в душу жить?..

Илья вспомнил слова отца о музыкантах.

— Будем! — ответил он.

— Ты нас отцу не продашь? Ты не Иуда, малый?

— Не продам... Что вы, ребята!

— Ну, пойдем же в шинок. Водки не пьешь, меду или пива выпьем. А на Савку надежда плохая. Теперь уж он провоет целый день. Про своего Сакия вспомнил! Ах ты, художник!

Илья и Кирилло перелезли через канаву и за садом пошли в деревенский шинок, где флейтист тотчас представил нового приятеля всей честной компании и пошла попойка.

Илья Танцур, как сказал, так и поступил. Он отпил только несколько из стакана пива, от прочего отказался. Но вышел он из шинка особенно веселый и довольный, даже раскраснелся.

Весенний яркий день затеплел по-летнему. Кучки народа бросились купаться к Лихому.

— Как слобода-то наша изменилась с той поры, как я тут был! — сказал Илья, уходя с Кириллой бродить далее за село,— народ совсем не тот стал. Как-то веселее глядит! Точно его никогда и не бивали!

— Да, новые времена подходят! — ответил Кирилло,— мы слышали, как зимой в городе были. Много болтают, да, почитай, пустое,— все еще ничего нет.

Они отошли далеко за село. Шли каменистыми буграми. Влево мелькали прибрежья Лихого.

— Не выкупаться ли и нам? — спросил Илья.

— Давай. Можно для друга.

Кирилло был сильно навеселе. Они пошли к реке.

Скалистый отвесный берег Лихого здесь был особенно хорош, как у большей части рек, впадающих в Волгу. Кое-где по берегу торчали дуплистые липы и бересты, шли маленькие лески. Волнуясь и медленно поднимаясь, шли по берегу холмы, торча то зелеными плоскими шатрами, то меловыми остроконечными вышками, в расщелинах которых мелькали верески, россыпи желтых песков, сланцы разноцветных глин, а по гребням отдаленных бугров, будто кабанья щетина, остовы с незапамятной старины уцелевших дубов. Тут известковые стены, столпясь белым сказочным стадом, нависли над поемною болотистою равниною. Там те же белые холмы убежали прочь, волнуясь вдали беспорядочными логами, лесистыми балками и темными, зияющими оврагами. В недосягаемом для глаза отдаленье из них опять выскакивали два-три новых синеющих горба. Холмы огибали полнеба, подковою свертывали вправо и, будто усталые, бросались вдоль другого ручья, в упор к Волге, и всем своим отрядом облокачивались о ее воды, купаясь и отражаясь в их голубом разливе.

Илья и Кирилло стали раздеваться на берегу Лихого, под густым берестом, у плотины запустелой мельницы соседнего вольного села. Село было спрятано за косогором по тот бок реки. Место это представляло опять порядочную глушь и дичь, верстах в двух выше Есауловки. За рекой паслись рыжие, так называемые татарские, курдючные овцы. Мальчишка пастух спал в тени под камнем.

Новые друзья стали купаться, весело разговаривая и пересмеиваясь.

— Ты выкупаешься, домой пойдешь, отлично наешься у отца-матери! — сказал Кирилло, жадно остужая пылавшее лицо и тело прохладною водою.

— Да отчего же ты думаешь, Кирюша, что я спать лягу?

— Оттого, Илько, что уж про вашего брата казака сказано... Ведь ты казак по крови, по дедам, а мои деды москалями сюда пришли; у нас тут каша, месиво, ты видишь... ты черномазый, а я белобрысый, ты казак с Днепра, а я казак с Дону, то есть почти не казак! Сказано: «Оттого казак гладок, что поел, да и на бок!»

Кирилло, однако, прежде на себе испытал эту пословицу, вышел из воды, лег на солнышке, потянулся на

траве и стал дремать, пока Илья смывал с себя прах долгих переходов и странствований на родину. Вымывшись дочиста, Илья опять бросился в реку; нырнул и выплыл, обогнувши лесистый островок у плотины. Посмотрел, а на другом берегу, под тенью мельницы, сидит молодой, невеселый и бледный священник с удочкой. Он слегка покачивался и напевал какой-то гимн.

— Здравствуйте, батюшка! — отозвался с непривычной развязностью Илья, выставившись по пояс из воды и особенно весело настроенный выпивкой пива,— извините, что я так... голышом, значит...

Священник кивнул ему головой, приподняв широкую пуховую шляпу. Это оказался человек лет двадцати пяти, сутуловатый, с широким скуластым лицом, глухим, отрывистым голосом и серыми задумчивыми глазами.

— Кто вы? — спросил священник, бывший слегка близоруким и не видевший из-за мельницы, кто это.

— Угадайте.

Илья выжимал воду из кудрявых черных волос. Бороды у него еще не было.

— По телу моему угадайте! Что? — спросил Илья,— трудно по телу угадать! Барин я или мужик? Ага! Трудновато?

В это время по другую сторону реки, выдвинувшись из-под береста, стал одеваться Кирилло, спиною к мельнице. Священник не узнал флейтиста и стал в тупик, рассуждая по замеченному на земле пальто музыканта, не господа ли охотники это из дворян, попавшие сюда случайно прогулкою вдоль Лихого.

Илья засмеялся.

— Что, батюшка? По телу-то белому все, значит, равны? Натура-то у всех нас, значит, одна перед господом?

— Вы не из Карабиновки, не господина Павлова родня? — продолжал спрашивать голого незнакомца близорукий священник.

Илья так и покатился со смеху.

— Раб, батюшка! Мужичок, ваше преподобие! Да еще из беглых, воротился, значит; становому пожива есть в другом каком случае!

Илья весело кланялся, высунувшись из воды. Священник, увидя свой промах, замолчал. Тут подошел Кирилло по плотине, и дело окончательно объяснилось.

Илья скоро также оделся и прибежал на берег под мельницу.

— Это отец Смарагд, Илюша! — сказал Кирилло, — другой тот наш священник в Есауловке, что я тебе говорил. Мы с тобою сегодня обедню прогуляли. Вы нам простите, батюшка! Это Илюшка, батюшка! Романа Антоныча сын! — прибавил Кирилло,— мой новый друг! полюбите-с, как и меня!

Священник покосился на друга Кириллы и стал убирать удки и прочие припасы неудачной в этот раз рыбной ловли, угрюмо прибавив: «Заслужит, так полюбим!»

— Ничего, батюшка, не поймали? — спросил Кирилло, присевши на корточки.

— Ничего, запоздал, должно быть.

— Да вы, батюшка, все на червей. Попробуйте на хлеб. Караси пойдут: тут их гибель под плотиной. Мы венгерцу иной раз бреднем ловим...

— Далеко домой за хлебом теперь идти.

— И тут достану... сейчас вот достану... Для вас, батюшка, можно! Вот у мальчишки в котомке, наверно, хлеб есть...

Кирилло побежал к спавшему пастуху. Священник, сев снова под тень мельницы, не без любопытства посмотрел на сына Романа Танцура, который так озадачил его вопросом касательно своего тела.

— Так ты тот самый Илья, что так долго в бегах был? — спросил отец Смарагд, пристально и строго осмотрев с ног до головы стоявшего перед ним Илью.

— Я, батюшка.

— Где же ты был до сих пор?

— Где день, а где ночь, везде понемножку.

— Знакомый ответ...

Священник задумался.

— Сам пришел или привели?

— Сам... Я вам уж доложил про то...

— Что же так волю-то бросил?

— Еще неволи захотелось попробовать.

— Верно, узнал, что отец в приказчиках?

— Видит бог, не знал, батюшка. И что мне в том!

— Что же, если бы узнал?

— Может быть... и не воротился бы!

— Вот как! — Кирилло принес хлеба. Священник насадил на крючок новую наживу и бросил удку.

Кирилло рассказал священнику, какую ему услугу сделал Илья. Священник опять осмотрел с ног до головы Илью.

— Ну, теперь, брат, тебе от барыни, от той Перебоченской, проходу не будет, коли она узнает, что ты выпустил ее девку из голубятни...

— Эва, батюшка, бабой пугать стали! Уж будто с той поры, как я бегать стал, на них и управы не выдумали!

— Что таиться, Илья, не говори! — перебил Кирилло,— это такая, что ее не задирай! Не знаешь ты еще этой барыни, батюшка правду говорит!

Священник, как видно, пользовался на селе полною любовью прихожан. Парни с ним совершенно не стеснялись. Он умел с ними говорить, не важничая и вместе не теряя своего обычного грустного и строгого настроения. Рыба, однако же, не клевала.

— Палагея Андреевна Перебоченская на чужой земле живет,— продолжал священник,— только дом ее построен самою. Она землю эту на аренду сперва взяла и перевела туда своих людей. Только люди ее почти все разбежались, и Конский Сырт этот как был еще до меня, и теперь глушь-глушью. Устроена только одна барская усадьба, сараи для скотских гуртов, да две-три людских хатенки. Она все разыскивает своих беглых, но они как-то к ней все нейдут.

Илья с трепетом вспомнил каретника Талаверку в Ростове и дочь его Настю, и мороз пробежал у него за спиною.

— Твой отец к ней часто ездит; она из соседей его только и жалует.

— Да, сказывали...

— Вы, батюшка, ни-ни! Его-то, Илью, то есть, с отцом вы не мешайте! — заметил решительно Кирилло.— Он на отца не похож, ни-ни! Право слово! Он в дворовые идти не хочет, а к миру...

Священник молча закинул снова удочку.

— Как же так, Илья? Отец-то, чай, не плохое теперь тебе место при себе дал бы? Он так много делает доброго князю, так хорошо ведет все дела по имению, что князь и тебя отличит.

— Не знаю, батюшка, что еще будет. А я бы от мира, от общества то есть, не отлучался бы. В дворовые записываться претит. Мне бы лучше на землю, к хлебу, к овечкам, а не то, и сад люблю, виноградом занимался...

— О, разорительница эта Перебоченская! погубила она не одного тут человека! — как бы про себя заметил пасмурный и бледный священник.

— Расскажите, батюшка, про генерала! — подхватил Кирилло, насаживая новую приваду на удочку священника.— Вы про генерала Рубашкина ему расскажите! Как она завладела его землей и владеет себе, ничего не слушая; как двумя тысячами лугу владеет, всем значит Конским Сыртом, как скот и табуны по нем нагуливает на продажу и никаких бумаг на ту землю у нее нету...

— Да, братцы,— со вздохом сказал священник,— не дай господи никому попасться в переделку к этой-то барыне. Генерала Рубашкина она точно, кажется, по миру нищим пустит. Оттягала у него всю землю, и вряд ли он ее получит обратно. А какой бы он сосед был хороший?

— Слышишь, Илюша? генерала в порох столкла! — сказал Кирилло,— что же бы она с Фросей-то сделала, если бы ты ее из голубятни не вызволил?.. Зверь-баба, ехидна! Видали мы скотников, гуртовщиков из мужчин — те бывают ловки да бойки, а эта всякого мужика-гуртовщика за пояс заткнет...

Илья стоял в раздумье. Из его ума не выходил далекий беглец, старик каретник Талаверка и его дочка Настя.

В это время, на бугре, в полуверсте от мельницы, показался в широкой соломенной шляпе, с черною лентою на тулье, в пикейном белом сюртучке, лаковых полусапожках и в розовом платочке на шее, не то юноша русский помещик, не то залетевший из Швейцарии в эту глушь счастливый путешественник, студент града Гейдельберга, не то, наконец, упавший сюда с неба интереснейший виргинский плантатор. Собеседники замолчали. Священник, сильно щурясь, вгляделся, бросил удочку, наскоро собрал рыболовные припасы и пошел навстречу к незнакомцу.

— Идите, ребята, домой! — сказал он Илье и Кирилле,— да снесите ко мне на слободу и снасти! А ты, Илья, зайди как-нибудь, ты про виноград толковал; у меня лозы есть подрезать. Я тоже пробую...

— Кто это? — спросил Илья Кириллу про незнакомца.

— Этот-то генерал Рубашкин и есть. Он живет тут в двух верстах отсюда, за косогором, в вольном селе

Малом Малаканце. От нас этот Малаканец в пяти верстах будет. Там генерал живет на квартире у простого мужика. Уж сколько времени тягается с Перебоченскою, а ничего с нею не сделает! Все ждет решения. Генерал и тот ничего не сделает иной раз! Что же мы-то сделали бы, коли нужда встретилась бы?

Генерал снял шляпу, дружески протянул руку священнику и вместе с ним пошел, как бы без цели, разговаривая, по той стороне реки. Вероятно, священник что-нибудь сказал ему про Илью, потому что Рубашкин издали оглянулся на него, уходя в поле.

Илья и Кирилло перешли по плотине обратно по сю сторону Лихого и направились к Есауловке. Не доходя до своего села, они в развесистом зеленом байраке присели отдохнуть. Кирилло вынул опять из сапога флейту и стал играть. Флейта так нежно и так игриво запела, что издали могло показаться, будто в зеленом овраге, перелетая с кудрявого дерева на дерево, стала перезванивать голосистая, желтобокая иволга. И точно, заслышавши иволгу, весь байрак мало-помалу откликнулся голосами других птиц. Эти голоса были подхвачены соседними перелесками и кустарными буграми. Через час пела вся окрестность, опять заслонившись от солнца широким углом беловатой, развесистой и медленно плывущей по небу тучей.

С понедельника действительно отец рано, чем свет, выслал Илью на огульную работу с мужиками. Пол-Есауловки работало исстари с начала недели три дня, а полсела три дня в конце недели. Часть рабочих пошла в поле с плугами пахать под гречу, а часть — на ток очищать вороха мякины и домолачивать оставшиеся с зимы скирды хлеба. Приказчик поставил сына с лопатой на легком ветерке, приказав ему перекидывать какие-то хлебные осадки; сам с палкой походил, как говорится, помозолил между молотниками, сел на каурую кобылу и поехал рысцой в поле к пахарям.

Появление нового лица на селе, а особенно на огульной работе, всегда вызывает заметное впечатление. Тут же явилось такое любопытное лицо, как сын старого волкодава, бывшего голопятого Ромашки Танцура, сын приказчика, двенадцать лет бывший в бегах. Мужики исподлобья смотрели на него, постукивая по снопам

цепами. Бабы, особою пестрою толпою молотившие в стороне овес под надзором десятского, мало-помалу, едва уехал долговязый Роман, будто отдыхая, стали облокачиваться на цепы и смотреть во все глаза на Илью, тихо перешептываясь между собою.

— Чего не видели, пучеглазые! — зевая, крикнул десятский, более по привычке, чем из рвения к опостылевшей ему самому работе.

Он также лишний раз повел глазами на Илью, который в щегольских высоких сапогах, в нанковых шароварах и в синей чуйке усердно вскидывал лопатой сорную труху, не поднимая глаз от земли.

— Такое же иродово зелье будет! — с холодною злобою сказала одна из более бойких баб.

— А одежа-то, одежа! — подхватила вполголоса другая.— Как на свадьбу, псенок, вырядился. Туда же! С нашего брата, беглого, сейчас бы сняли чужую одежу, допросили бы; а его, в чем пришел, сюда приставили! Верно в помощники себе готовит...

«Душегубово племя!» — «Не сеяно растет!» — «Чай прибыл с батькой распивать!» — «С господами станет ведаться!» — «В приказчицкие доносчики, хамово отродье, скоро попадет!» — раздались кругом отрывистые, сперва сдержанные голоса. Десятский громко засмеялся, зевая и палкой колотя по земле.

— И теперь француз наезжает сюда почти задаром! — заметил и он тихо,— а как сойдутся отец с сыном, нам хоть по лесам разбежаться.

Илья с мучительной тоской глянул искоса вокруг себя, собираясь перейти от одной кучи трухи к другой. Десятки любопытных, сердитых и недружелюбных лиц по-прежнему пристально смотрели на него. Илья взмахнул лопатою и, будто ничего не слыша, стал опять работать.

— Молчит! — шепнул кто-то из мужиков на всю толпу.

— Воли налопался! — резко сказала баба,— подавиться бы тебе, душегубово семя!

— Эй, вы! работать! — отозвался десятский умышленно строгим голосом.

Работа пошла своим чередом. Тяжело дотянулся день для Ильи. Нелегко прошли первая и вторая недели. Стали косить первые поемные луга. То же повторилось с Ильей и на лугу, когда он, в числе ста или двухсот

косарей, очутился среди густой травы на прибрежье Лихого. Работа шла опять под надзором десятского. Его отец был за покупками в городе. Косари прошли три ручки и стали разом всей оравой точить косы. Раздались опять насмешливые голоса:

«Приказчицкий наследник!» — «Иродово зелье!» — «Вскормлен нами, да нас же зубами за груди!» — «Не сеяно растет!»

Илья не вытерпел, бросил косу, вышел из ряду вон и сел к стороне, как будто отдыхая. Но его и там допекли громкие, в упор кидаемые насмешки. Илья стал против косарей, снял шапку и поклонился на все четыре стороны.

— Православные! — сказал он.

Толпа мигом смолкла.

— Сколько я ни ходил, православные, по свету, а нигде не видел, чтоб невиноватому голову рубили! Я от мира никуда. Между вас дитятею рос, между вас наша хата стояла, от вас я и теперь не пойду, коли не прогоните...

— Тебя никто и не гонит! Мы ничего...

— За что же попрекаете, православные?

— А водки выставишь, хамово отродье? — отозвался голос посмелее из косарей.

Другие громко захохотали.

— С нашим вам почтением. Много вас, братцы, да я и последнее отдам!

Толпа весело загудела. Илья расстегнул жилет, из-под него вытащил две депозитки и отдал косарям. Десятский подошел, крякнул, погладил усы, протянул руку и вызвался сам в вольный шинок, в Малый Малаканец, съездить за водкой. Опорожнили бочонок с водой. Десятский вскочил на телегу и поскакал прямиком по полю. Через час поспела водка. Косари сели обедать. «Ну, это не голопятый, не волкодав; это не старик Танцур, а человек, как человек! Сейчас видно хорошую душу, что по свету между добрых людей уму-разуму набрался!»

С песнями воротились косари с поля, с первого починка косовицы. Старый Роман даже удивился, подъезжая поздно вечером к барскому двору. «Что бы это такое было? Праздника нет, а вся слобода песни играет!» Пошел осмотреть сторожей, и те были на местах.

В слободе было смирно. Только песни долго еще не прекращались.

Так был принят Илья Танцур в состав своего общества, громады.

III

Генерал Рубашкин также дома

Кто же был генерал Рубашкин, с которым священник, отец Смарагд, от мельницы пошел полем и о котором Илье сказал музыкант Кирилло Безуглый, что его разорила барыня Перебоченская?

Адриан Сергеич Рубашкин, сын мелкопоместного дворянина с низовьев Волги, из былых казаков, часть родных которого была на Украйне и в Новороссии, рано поступил в Петербурге на службу в какой-то департамент писцом да с той поры в продолжение почти сорока лет не покидал ни Петербурга, ни этого департамента. Там он получил, с тревогой в душе, первый канцелярский чин, там дослужился и до высшего места директора канцелярии, а потом департамента, и с ним до титула действительного статского советника, то есть небоевого генерала. Несмотря на сорокалетнее сидение за столом, сперва на потертом и продавленном стуле, а потом в раззолоченном директорском кресле, он сохранил силы, здоровье, бодрость духа и румянец щек. От первой казенной квартиры под чердаком, над министерским архивом и рядом с швейцарским помощником, до последней директорской квартиры в двенадцать просторных и теплых комнат, Адриан Сергеич остался тем же умеренным, иногда скуповатым, а подчас и любившим пожить смертным, который, впрочем, дело женитьбы отвергал, как совершенно ему неподходящее дело, и большею частию насчет женского пола обходился в тайне, как-то слегка, урывками, не придавая этому особого значения. Напрасно сперва засматривались на него дочки престарелых писцов, бухгалтеров, журналистов и столоначальников, а потом, когда уже он облачался в ордена и даже в звезду, дочки таких же директоров и даже министерские племянницы и внучки. Он говорил: «Женитьба — лотерейный билет; заранее не угадаешь, какой билет вынется. Блажен, кто выиграет; но еще блаженнее тот, кто вообще до всяких азартных игр не охотник». Живя в просторной сановничьей квартире с

собственным швейцаром и холостыми назначенными вечерами, где собирался разнообразный люд поиграть в карты, поболтать и узнать новости правительственного света, Рубашкин являлся к гостям постоянно расфранченный, раздушенный, сюртук и белье свежие, с иголочки. Комнаты его были уставлены мягкою щегольскою мебелью, увешаны красивыми картинами. Бронзы, ковры, зеркала и штофы показывали утонченный вкус хозяина. Кабинет его был полон безделушками. На столах кучами лежали постоянно деловые бумаги. Хорошо обеспеченный щедрым жалованьем, Адриан Сергеич не мотал денег попусту. Отлично служил и ни в чем не отказывал себе в тихой домашней жизни смирного и приятного холостяка. Летом он жил на даче, но как-то скупо и торопливо пользовался благами дачной жизни и ежедневно являлся в город на службу, ни разу в сорок лет не взяв себе отпуска даже на месяц. Его любили все, от департаментских сторожей до крупных чиновников. Во всех своих потребностях и мелких привычках он был в высшей степени умерен. Одно только было предметом его искренней, безграничной любви — это Малороссия, мифический и таинственный образ которой когда-то с детства радостно мелькнул для него и скрылся на долгие годы. Все толковали вокруг него о Малороссии, не только тамошние уроженцы, но и видевшие ее хотя бы мельком. Рубашкин молчал, слушал, склонив голову и как-то тихо улыбаясь, и думал: «Я тебя давно покинул, моя родина; но я, как сквозь туман, помню твои уютные сады, белые, мелом мазанные, чистенькие слободки; помню твои чудные песни и твои привольные, грустно-синеющие степи. Я доберусь к тебе когда-нибудь и за то останусь среди твоих пустынь любоваться навеки твоею природою. Там я и умру. Дай только дослужиться до порядочной пенсии, чтоб не умереть под старость с голоду на родине. Но куда ехать? Земли там у меня нет. Живы ли родные, и про то, наверное, не знаю. Были, кажется, родные на Волге, были на Украйне, были и в Новороссии».

Годы шли, Рубашкин, за давностью времени бросивший всякую переписку с немногими близкими лицами на родине, жил по-прежнему степенно и отрадно. Являлся в театрах, любил оперу, концерты, посещал несколько первых чопорнейших домов из высшего общества. Говорил и судил обо всем умно и дельно. Спокойно и умеренно встретил начало новых реформ. Как на отпетых, живых еще, но уже скорых покойников, с улыбкой

посматривал на откупщиков, посещая их гостеприимные и по-прежнему шумные обеды и вечера, где еще толпилась вся служебная знать. С любопытством прислушивался он к поднятому тогда крестьянскому вопросу. Жадно пробегал в газетах и журналах первые намеки так называемой обличительной и гласной литературы. Но где-то, по какому-то департаментскому промаху, как указали ему доброжелатели, прихлопнули в печати и его самого. Он долго тер себе лоб и протирал глаза, прочтя о себе слова: «Бюрократы отжили свой век; у канцелярского стола — России не узнаешь; надо ехать изучать ее в провинции; туда теперь отодвигается все лучшее, там должна возрождаться заново наша жизнь». — «Я бюрократ? мертвец?» — спросил сам себя Рубашкин, воротившись с одного пышного, блистательного вечера, где толковалось много о разных последних регламентациях, кодификациях и прочих бумажных реформациях и где были в числе гостей даже два статс-секретаря. А тут еще обошли его второю звездою; какой-то его сослуживец в товарищи министра попал. Совсем огорчился Рубашкин. Природа еще сильнее стала его манить к себе. «Сорок лет прожил я даром в этом воздухе, в этой душной, смрадной тюрьме!» — сказал себе Адриа́н Сергеич, наскоро сбрасывая с плеч тончайший черный фрак с младшею звездою на груди, бриллиантовые запонки и перчатки. Отпустив единственного слугу из отставных солдат-малороссиян, он взглянул на свой письменный стол, заваленный кучею вновь принесенных для прочтения, соображения и подписи пакетов с текущими делами, опять повертел в руках листок газеты с заигрывающим письмом какого-то провинциального корреспондента о столичных бюрократах вообще и о нем самом в особенности и стал быстро ходить вдоль вереницы просторных комнат своей директорской квартиры.

«А они-то веселятся там, важничают, нос дерут!» — думал он о только что оставленном вечере, куда, гремя и сверкая фонарями, еще продолжали при его уходе подъезжать кареты. В его уме мелькали беломраморные плечи и величественные улыбки дам, блонды, шелки, бархат, золото и бриллианты модных туалетов. В его ушах звенели сабли и шпоры гвардейцев. В раздушенных залах гремела музыка. Носились, распространяя аромат духов и звуки французского диалекта, веселые пары. У зеленых столов играли в карты важные и

задумчивые лица. Чистенькие мордочки будущих счастливых бюрократов, только что испеченные чиновники из правоведов и лицеистов, причесанные первейшими парикмахерами и обученные танцам и французскому разговору первейшими питерскими учителями, в кадрили и даже в польке, протискиваясь из толпы, на ходу сообщали своим дамам новости о крепостном, тогда модном, вопросе, о народном обучении и об откупах. «И это все блестящее, самодовольное собрание теперь оказывается гилью!» — решил Рубашкин, остановившись перед столом кабинета и опять повертев в руках невзрачную газетку с провинциальною корреспонденцией. Он вышел, чувствуя странный запах, в переднюю, глянул за перегородку, где жил у печурки его слуга-солдат, и застал его за какою-то непомерно душистою и жирною трапезою.

— Что это ты ешь?

Седовласый гвардеец вскочил, прикрывая ладонью дымившуюся лохань, и оторопел от изумления, что начальство его так неожиданно поймало.

— Что это ты ешь, Проценко?

— Виноват, ваше превосходительство! Кишки все оборвала здешняя пресная пища. Наквасил сам за печуркою бураков, да и сварил нашего борщу с перцем и с уткою.

— А вареников не делал?

— И вареников, ваше превосходительство, настряпал! — прибавил Проценко, доставая из-под стола другую объемистую лохань, прикрытую тряпкой, из-под которой вырывалось еще более обаятельное благоухание.

— Ничего, брат Проценко! Ты, я вижу, умнее меня! Ешь на здоровье!

Рубашкин заперся в кабинете и просидел в кресле до утра. Пакеты с надписями «конфиденциально», «весьма нужное», «в собственные руки» и «к немедленному исполнению» — в первый раз остались нераспечатанными. Бледное мертвенное утро занялось над Петербургом. Рубашкин подошел к окну. Дворники в нескончаемый раз сметали снег и вчерашний песок с тротуаров, торопливо и важно производя эту работу, будто подметали улицы для последнего страшного суда. Бледные чиновники спешили во всех направлениях в свои канцелярии.

«Ум провинций!.. Жизнь областей!.. И точно... Вот она, новая наша заря!» — сказал со вздохом Рубашкин, отпер стол, достал бумаги и стал писать докладную записку к своему министру. И в то время как департаментские политики, разбирая в числе других и его карьеру, решали задачу, чем будет впоследствии Рубашкин и скоро ли его сделают сенатором или товарищем министра,— нежданная громовая весть разнеслась между его подчиненными и знакомыми. Министр принял его просьбу. Рубашкин выходил в отставку...

— Что с вами! Вы оставляете службу? — спрашивали его знакомые, тоскливо и с сожалением заглядывая ему в лицо.

— Бумажное царство в России кончилось! — отвечал Рубашкин.

— Вы только не хотите сами этого заметить и в том сознаться. Дадим место молодежи...

Он распродал мебель, зеркала, лучшие бронзы и картины, оставил себе только несколько любимых вещей, еще способных убрать одну или две небольших комнаты. Эти остатки уложил в ящики, сдал их в контору транспортов, взял с собою один чемодан, сел в вагон и поехал в Москву, а оттуда в Малороссию. Одна мысль наполняла его; уйти от неблагодарного Петербурга, пожить на свободе, на родине, упиться ее красотами. Адриан Сергеич соображал несколько смутно, что на юге России у него из родни должны оставаться два двоюродных брата: один — в бедном полтавском хуторе, где гостил иногда и его покойный, безземельный отец и откуда его самого повезли на службу, а другой — в какой-то степной полутатарской пустыне, где-то невдалеке от Новороссии, на юге, за Волгой. Он с ними лет двадцать уже не переписывался и наверное не знал, живы ли они. «Ум провинций, вот оно что! самоуправление областей!» — шептал Адриан Сергеич, проезжая срединные русские губернии и приближаясь к Малороссии. Где-то на дороге попался ему воз, запряженный волами, мелькнули белые избы. Далее звучно раздалось некогда родное для него украинское наречие. Сердце по старине у Рубашкина дрогнуло, он высунулся из кареты и долго не мог сквозь слезы разглядеть чуть памятные ему с детства поля и хутора, которые уже замелькали вокруг дороги. Карета сменилась перекладной. Тройка своротила на проселок. Пошли топкие зеленеющие

берега Ворсклы. Был апрель. Весна захватывала дыхание птичьими криками, воздухом и солнцем. Вот большое казацкое старинное село, а вот одинокий, бедный дворянский хуторок... Рубашкин взошел на дрянное, покосившееся крылечко, стал на пороге низенького старого домика и не узнал своего двоюродного брата, оставленного здесь когда-то кудрявым и румяным ребенком, как тот, разумеется, не узнал его самого. Брат оказался рослым, оборванным, седым и совершенно испитым стариком. После первых приветствий оказалось, что этот брат, Флор Титыч Рубашкин, совершенно прожился еще лет семь назад и коротал век уже не у себя, а у старой и тоже седой своей сестры, которая у него вовремя успела купить его собственное имение. Старуха сестра, Васса Титовна, была слепая; Флору Титычу уже не на что было пить; он упросился к сестре на хлебы и поместился у нее на кухне. Дни проводили брат и сестра вместе. Флор Титыч святцы ей вслух читал, а сестра, дремля, вязала чулки на продажу для церкви. За обедом брат сестре кушанье разливал, ложку подавал, мясо резал, а после обеда подбирал на спицы спущенные петли ее чулка. Родичи Адриана Сергеича жили в маленьком домике, а в большом помещалось сельское правление другого соседнего помещичьего имения, где все наследники вымерли и имение это поступило в казну. Владельцев того поместья Рубашкин также когда-то знал в детстве. «Наши дворянские роды вымирают!» — сказал ему уныло Флор Титыч, передавая брату, как они с сестрой продали под то сельское правление свой родовой дом. «Там в наших комнатах теперь живут старшина и сельский писарь! — прибавила сестра,— у старшины, говорят, медаль на груди. А писарь спит в той самой комнате, где нашего папеньки и маменьки опочивальня была; в образной нашей живут конторские сторожа, а из детской сделана холодная для штрафных арестантов».— «Прихожу я раз туда,— перебил Флор Титыч,— а в коридоре портретом покойного дедушки кадка с водой прикрыта». Грустно вглядывался Адриан Сергеич в лица своих обедневших родичей. Но Флор Титыч не унывал, хотя на шее его не бывало даже галстука, а сквозь нанковые потертые шаровары просвечивали красные голые колени. Какие-то башмаки из суконных обрезков были надеты на его мозолистые и

избитые босые ноги. Лицо небрито. Длинные седые волосы в беспорядке падали на сгорбленные плечи.

— Что ты думаешь, брат, с собою делать? — спросил его дня через три Адриан Сергеич, оставшись погостить у них.

— Пошел бы милостыню в город просить, да сестра не пускает. После смерти своей хочет мне этот флигелек и хутор отказать.

— Не тебе, а твоим семи дочерям, которые все в гувернантках! — перебила его сестра.

Пошел генерал бродить с братом по окрестностям. Через этот полтавский хутор покойный отец генерала, мелкий чиновник в приволжском городишке, увез Адриана Сергеича в Петербург на службу и вскоре где-то сам умер. Пошли они в сад. «Где же ваши старые дедовские липы? — спросил Адриан Сергеич брата,— я помню, они тут были!» Флор Титыч оглянулся: «Не говорите слепой сестре, я их срубил и продал; не на что было чаю сестре купить как-то».— «Что же ты, брат, здесь хозяйством сам не займешься? Земля у вас есть. Тогда бы и лип не нужно было рубить!» — «Эх, брат! то есть ты советуешь самому к плугу-то стать? Нельзя еще нашему брату, дворянину, землю пахать; а людишки, какие были у нас, разбежались за эти последние годы, как про волю слухи пошли. Нанялся я было точно вот в это сельское правление писарем; в той самой комнате стал заседать, где и ты когда-то со мной бегал и где, бывало, три-четыре няньки с ноги один чулок у меня когда-то стягивали. Да больно зазорно стало своим же соседям мужикам, отобранным в казну, писарем служить, хоть и получал я хорошее жалованье — семь целковых в месяц!»

Брат и сестра хуторяне, обрадовавшись приезду такого невиданного родича генерала, засуетились угощать его. Шептались все о посуде, о какой-нибудь курице, о том, что надо вот в город послать за говядиной, за макаронами и еще за чем-то, да все некого... Генерал их остановил. Оставил у них в углу, не развязывая, свои вещи, съездил за восемь верст в город, сам закупил разных припасов, привез прислугу и объявил, что остается погостить у них и несколько подышать свежим воздухом. Но не было весело на душе у Адриана Сергеича. Его окружала одна бедность и всякие недостатки да ослабевшая и ничем не оживляемая и не воскрешаемая вера в лучшую долю погибшего, некогда зажиточного быта. Кроме родственного хутора, весь

околоток как-то жалко притих, точно и все остальные его жители обеднели и разорились. «Прошли наши времена! — говорили Флор Титыч и Васса Титовна.— Нам уж не поправиться, так мы и в могилу ляжем! Не так жили наши деды... Все миновало на нашей Ворскле!» — «Где же сохранилась былая, лучшая жизнь? — допрашивал родичей генерал,— где живут отраднее здесь на юге?» — «В Новороссии да внизу на Волге не так жалуются! — отвечали те,—там живет наш другой брат, Клим Титыч. Ему там досталось наследство за женой, и он живет богаче и не жалуется, как мы все».

Крестьяне показались генералу тоже чересчур ленивы и довольны, до скотства, малым. Быт со дня на день беднеющих окольных помещиков наводил на него уныние и тоску. Везде толковали об одних картах, охоте, водке да о мелких соседских дрязгах. Сказочное былое гостеприимство исчезло. Не встречалось более ни Пульхерии Ивановны, ни Афанасия Иваныча, ни Ивана Иваныча и Ивана Никифорыча. Одни крестьянские соседние комитеты утешили было Адриана Сергеича, питомца петербургской деловой, неугомонной практики. Но и в них скоро пошла чепуха и завелись личности.

Тут судьба свела его с другим его двоюродным братом, именно с Климом Титычем Рубашкиным. Клим Титыч, как сказано выше, жил где-то в безлюдной полутатарской степи, за Волгой. Он от отца получил родовой клочок земли в Новороссии, возле Дона, где сам было служил; женился там на дочери одного майора из казаков, торговавшего скотом и имевшего большие капиталы, взял за женой ненаселенную землю между Волгою и Доном, знакомый нам Конский Сырт, вышел в отставку, продал свой собственный клочок земли и занялся жениным хозяйством. Жена его вскоре умерла от родов, не оставив после себя детей, а при жизни укрепила за ним по купчей свое наследство. Клим Титыч усердно провозился несколько лет над этим имением, но, не зная, как взяться за него без капитала, сдал его на аренду своей соседке Перебоченской, ездившей к нему иногда торговать коров, и переехал на спокойное житье в один из поволжских низовых городков, похваливая свое житье в письмах брату и сестре. Соседка была бой-баба; застав на арендной земле домик и избушку, обстроила усадьбу очень хорошо, завела на этой земле гурты скота, вольнонаемным трудом повела и хлебопа-

шество, пустила корни в этом имении, да и затеяла его без дальних слов оттягать у смиренного Клима Титыча навсегда. Сперва пошли у нее с ним недоразумения по арендной плате, потом явились какие-то дополнительные условия о доме и о прочих сделанных ею постройках, наконец, было задумалась она даже над некоторым подложным, хотя и весьма грубоватым, документом будто бы его жены. Словом, вышла чепуха. А Клим Титыч, искупавшись невзначай рано весной в реке, в очень холодной воде, получил сперва кашель, а потом чахотку. Доктора послали его на последние деньжата в Крым, на южный берег. «Что ехать в Крым,—подумал он,—лучше съезжу в Киев на богомолье да, кстати, навещу брата с сестрой на старом отцовском хуторе!» Там Клим Титыч застал двоюродного братца, генерала, на старом родовом пепелище, не удовлетворенного тихим бытом старосветской Украйны, как он, с питерской точки зрения, выражался, будто бы не имевшей впереди у себя сильных идеалов. Он разговорился с ним о Новороссии и о поволжском русском востоке.

— Вот где край, так край!—сказал он братцу генералу,—вот где жизнь начинается! Там наша Русь заново перестраивается. Какое там развивается пароходство! Строится и скоро кончится железная дорога по степи из Волги в Дон. Земли целинные, нетронутые, плодородные. Край непочатой, сущие американские степи. Поволжье—настоящие штаты по Миссисипи, а низовье Дона и азовские побережья—Виргиния и Кентукки. Хотите, ваше превосходительство, побывать там?

— Еще бы!

— Нет, не шутя? Вы даже доброе дело можете сделать...

— Какое?

— Моим имением, доставшимся мне по духовному завещанию от моей жены, пустопорожнею землей, по имени Конским Сыртом, завладела одна бедовая соседка моя, госпожа Перебоченская. Она сперва держала эту землю на аренде, а теперь, без всякого с моей стороны акта, завладела этою землею окончательно и, что я ни делал, не отдает ее, да и полно. Живет себе там, как англичане в Индии; даже арендную сумму перестала мне платить уже лет шесть назад. Я все был болен; хлопотать сильно было некогда, да и ожидал, что она покается. Вы

законы знаете лучше, чем я. Возьмитесь хлопотать и взять обратно мое имение,— я готов с вами быть в доле.

— Извольте; я совершенно свободен. И кстати, здесь мне что-то скучновато.

Клим Титыч дал Адриану Сергеичу полную доверенность, все документы на имение и уехал в Киев. Адриан Сергеич снова уложился, взял почтовых и скоро приехал в окрестности Конского Сырта и Есауловки. Он явился к Палагее Андреевне Перебоченской и предъявил ей свои документы, но с первого же приезда, несмотря на свой чин, получил от нее такой ответ и такой прием, что хотел было тотчас воротиться снова на хутор в Полтавскую губернию и, отказавшись, раз навсегда, любоваться красотами природы поволжского края, лучше созерцать тихие картины Украйны старосветской или даже снова воротиться в Петербург на службу. Здесь вмешалась в дело сама нежданная судьба и остановила Адриана Сергеича надолго в окрестностях Есауловки. В соседнем городе, куда он перевел на первых порах свою переписку, он получил из Киева, в конце того же года, из полиции бумагу, где прочел такие ошеломившие его слова: «Мичман в отставке, Клим Титов сын, Рубашкин, умер скоропостижно в киевской градской больнице, где лечился от чахотки, и оставил все свое имение, состоящее из двух тысяч десятин незаселенной земли, по имени Конский Сырт, близ Волги, такой-то губернии и уезда, ему, отставному действительному статскому советнику, а своему двоюродному брату, Адриану Сергееву сыну, Рубашкину, вследствие того, что, по отношению полтавской земской полиции, уже не заставшему в живых его, мичмана Клима Титова сына, Рубашкина, оказалось, что собственные родные брат и сестра его, как ближайшие наследники его, Флор Титов и Васса Титова Рубашкины, того года и месяца, волей божиею, без умысла посторонних лиц, на своем хуторе сгорели ночью, без божеского покаяния, вместе с своим домом. Их названный хутор, за долг приказу общественного призрения сгоревших владельцев его, имеет быть продан с публичного торга, так как после бездетных Вассы и Флора Титовых Рубашкиных никакого движимого имущества в наличности не нашлось, а все люди их оказались в бегах. Названное же имение Конский Сырт отказано ему, Адриану Сергееву сыну, Рубашкину, по законному духовному завещанию, каковое в подлиннике высылается на имя его превосходительства, Адриана

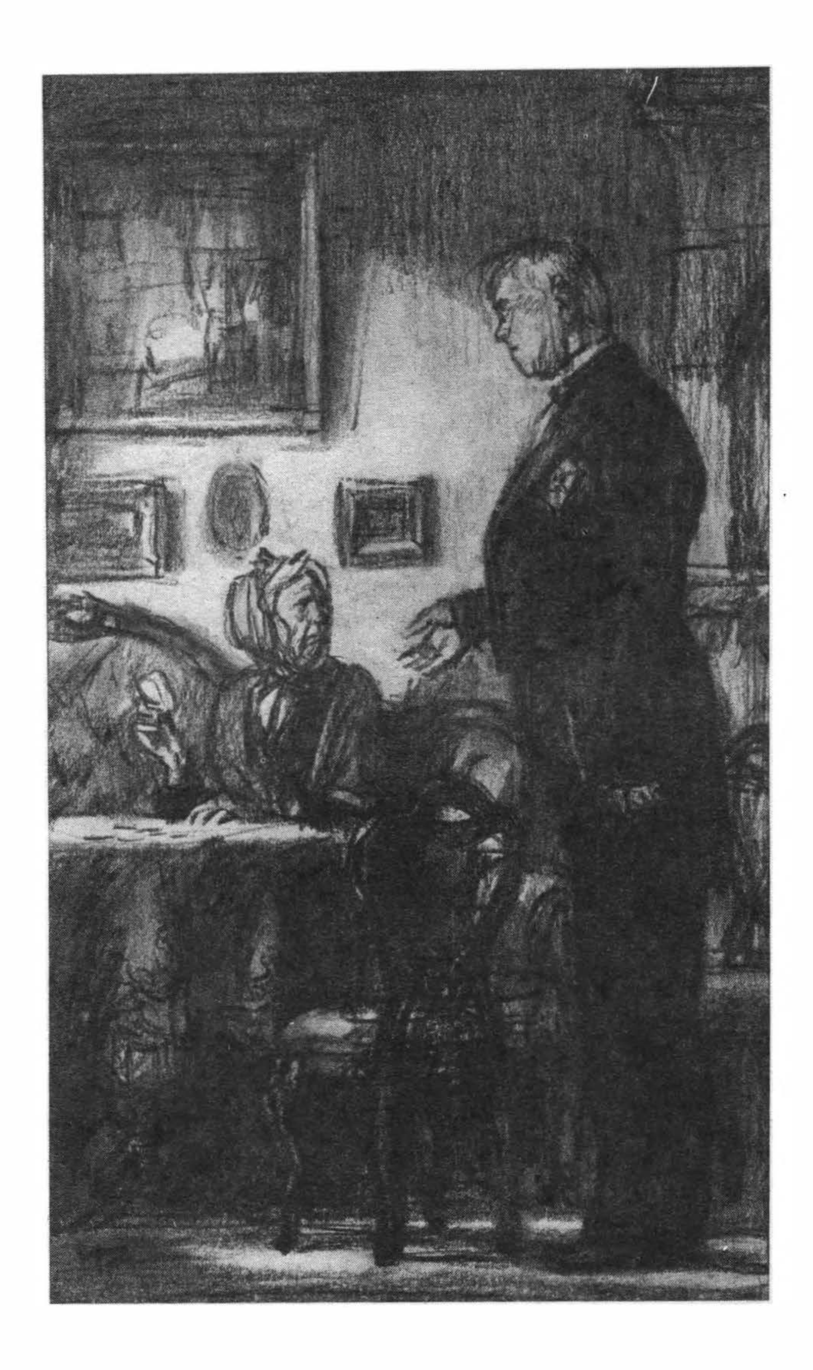
Сергеева сына, Рубашкина, по месту его жительства, в подлежащее судебное место, для бесспорного ввода его во владение тою землей».

«Бедняки! — подумал Адриан Сергеич,— как ветром, снесло их всех! Прав был покойник Флор Титыч: заметно вымирает наше былое, сильное дворянско-помещичье поколение. Теперь я последний из могикан, остаюсь один — окончательная отрасль Рубашкиных. Наш род не привился в срединной Украйне. Не привьется ли дело рук его в новороссийском востоке? Совью свое гнездо здесь, как некогда заводили, на отдаленных конечных украйнах южных степей, одинокие починки и заимки наши предки, коренные украинские казаки. Жениться мне уже поздно, а жажды деятельности во мне еще довольно. Место богатое: развернуться есть где. Что же? Мне еще с небольшим пятьдесят лет; шестидесяти еще нет. Моя генеральская пенсия — постоянный оборотный капитал, который я исподволь стану прививать к этой благодатной целинной, не тронутой еще аферами земле, где у покойного брата и у его арендаторши ходили одни гурты скота. Все, что выработал Петербург в идеале, все, что прославили там господа теоретики, все это теперь придется здесь испытать на практике. Немало и я там, на своей правительственной дорожке, погрешил разными самодовольными решениями задач этой таинственной для нас практики. Не только становым или исправникам, даже и повыше, я посылал громкозвучные ордеры и внушения, которые по чаянию нашей столичной братии должны были во всех концах благодатно пересоздать нашу матушку-Русь. Теперь я здесь сам рядовой и подначальный. Посмотрим, как улыбнется мне эта жизненная, областная практика? Наконец-то, из переселения, из бегов на север, и я воротился на юг. Я теперь дома. Как-то тут заживется?»

И практика, повторяем, на первых же порах оборвала генерала Рубашкина.

Еще в качестве поверенного бывшего смиренного владельца Конского Сырта, он вежливо и степенно явился к арендаторше этого имения, Палагее Андреевне Перебоченской, переговорить о ее видах на скорейшую разделку по арендной сумме и об очищении земли от ее присутствия, так как срок аренды давно кончился. Адриан Сергеич приехал к Перебоченской по-петербургски, весь в черном, в модном фраке, в белых

перчатках и в лаковых сапогах, с портфелью под мышкой и даже не воспользовался деревенскою льготою насчет фуражки, а явился с шляпой. Голубые его глаза, здоровые румяные щеки и припомаженные, с умеренною проседью, волоса, предстали перед Перебоченскою с запасом добродушия и ободряющего, ласкового снисхождения и доверия; а плотно застегнутый на груди фрак, со звездой, при проходе его по зале в гостиную хозяйки, мимо зеркала, напомнил ему почему-то решительный и вместе великодушный вид какого-то чудодея-адвоката, которого он знавал в славе громких подвигов в Петербурге. Направляясь из уездного города, куда он сперва завернул для справок, к временной усадьбе Перебоченской, устроенной этою барынею на луговине, возле зеленого ольховника на Конском Сырте, Рубашкин наскоро рассмотрел этот поселок. Дом в пять-шесть комнат выходил на обширный двор, заваленный поделочным сплавным поволжским лесом. Кругом двора шли скотные, красиво построенные сараи, амбары, конюшня, кухня и людские надворные избы. Несколько просторных и чистых изб, для помещения наемных работников, поденщиков и пастухов, шли отдельным рядом за двором, вдоль молодого, но уже значительно загустевшего и поднявшегося сада. В саду торчала знакомая читателю голубятня, место неудавшегося плена Фроси. У нового, чистого колодца поили рослых быков. Стадо телят паслось на лужайке за садом. По двору шмыгали горничные, и перекликались между конюшнею и амбаром два рослые работника в красных рубахах. За воротами к избам прошел с длинными рыжими усами какой-то человек небольшого роста, но гордого и непонурого вида, вероятно, приказчик. На крыльце гостя встретили выбежавшие из дома разом две служанки. Спросив его имя и звание, они опять скрылись и потом ввели его в залу и в гостиную. В гостиной, на диване, за столом, Рубашкин увидел с картами в руках хозяйку усадьбы. Перебоченская на приветствие гостя слегка привстала и, не глядя на него, опять села. Рубашкин едва успел разглядеть ее высокий, сухощавый, несколько сутуловатый стан, сморщенное бледное лицо, жалкие, будто плачущие, дрянные глаза, белый старомодный, обвязанный сверху по ушам, чепец, какие носят нищенки-просительницы в городах, темное затасканное пальтишко, серый фланелевый платок, обвисший на тощих,



костлявых плечах, гарусный ридикюль на руке с изображением огромного яблока и вообще нищенский и убогий вид хозяйки.

— Прошу садиться. Что вам? — спросила Перебоченская, вяло замигав по сторонам.

Рубашкин сел и объявил подробно свое звание, чин и цель приезда.

— Вы держите на аренде имение моего брата? — спросил он, собираясь произнести ловкий спич.

— Так, генерал.

— Вы, извините, денег ему не платите?

— Так, генерал.

— Вы съехать с этой земли не хотите?

— Так, генерал.

— Зачем же вы все это делаете?

Перебоченская положила карты на стол, достала из ридикюля табакерку, понюхала табаку и ничего не ответила, слегка, но зорко, посматривая на гостя.

— Позвольте вас вторично, сударыня, спросить, в качестве человека, уполномоченного формальною доверенностью, какие у вас на это виды?

— А вам на что? — спросила Перебоченская и оправила ленты чепца.

— Как на что? Да я законный истец, я представитель дел моего двоюродного брата.

— Палашка! — тихо вскрикнула Перебоченская, повернувшись на диване к стороне внутренних комнат дома.— Палашка!

Дверь в соседнюю комнату была притворена. Оттуда никто не являлся. Только было слышно, как в зале в клетке мерно прыгала с жердочки на дно и со дна опять на жердочку какая-то тяжеловатая птица. Да в передней аккуратно и звонко стукали заржавленным маятником часы.

— Палашка! — крикнула опять хозяйка, не оборачиваясь к гостю.

«Верно, закуску вспомнила подать или прикажет скорее обед готовить! — решил в уме Рубашкин.— Оно же и кстати, я-таки порядком проголодался!» И он с достоинством стал оглядывать комнату.

Дверь скрипнула. На пороге ее показалась плотная, широкоплечая, румяная и огромного роста горничная, с чулком в руках. Когда она вошла, пол заскрипел под нею.

— Беги, крикни тому генеральскому кучеру,— медленно и с расстановкой сказала барыня,— чтоб подавал их экипаж; они сейчас едут отсюда... Сейчас... слышишь?

— Слышу.

Горничная скрылась. Рубашкин обомлел. Перебоченская как ни в чем не бывало обернулась к нему и опять тихо и грустно устремила на него жалкие, дрянные глазки. Сначала показалось Рубашкину, что она сумасшедшая, и он только подосадовал на чиновников, не предупредивших его об этом. Он все еще молчал и смотрел на хозяйку. Хозяйка, вертя карты в руках, посматривала на него. На дворе загремел подаваемый экипаж.

— Что это значит? — спросил Рубашкин, в смущении поднимая на хозяйку брови.

— Вы как думаете? — спросила она, покачивая головой.

— Я не понимаю-с. Вы меня прогоняете? Значит, мне ехать?

— Точно так... Нечего и сидеть тут с грубостями!

— Как с грубостями?

Генерал вспыхнул. Перебоченская стала опять перебирать на столе карты.

— Во-первых,— сказала она тихо,— я сама знаю ваш чин и понимаю, что вы уполномочены доверенностью; но, во-вторых, не советую вам мешаться в это дело: иначе... вы меня уж извините... Я спуску никому не дам!

— Как не мешаться?

— Просто-с... Не я должна Климу Титычу, а он мне. Да притом же я тут в этой безлюдной глуши выстроилась; постройки все мои. И я вам просто-напросто советую не мешаться сюда и не очень важничать. Тут в степях, извините-с, вы не разгуляетесь очень... Я женщина, и женщина слабая, больная; но у меня... против всяких разбойников найдутся защитники... и весьма хорошие... Клянусь вам!

«Я разбойник?» — подумал про себя Рубашкин, вставая с портфелью, потому что в это время встала и хозяйка.

— Вы такие вещи мне говорите... вы так меня принимаете... что я.... извините также и меня, но по крайней мере хоть выслушайте, наконец... Я вам прочту доверенность, письмо моего брата...

— Знать я ничего не хочу-с! Лучше оставьте меня в покое.

— Я ехал из такой дали, думал с вами скоро все покончить; у меня ни квартиры теперь нет, ни души знакомых...

— А вольно же вам было все это брать на себя! Разговаривать далее — баста-с... Вот вам бог, а вот порог! Иначе я людей крикну, и вас выведут за то, что вы меня, старуху, беспокоите и грубите мне...

Рубашкин стоял румяный и озадаченный, с портфелью под мышкою фрака, застегнутого до подбородка, и в волнении натягивал перчатки. Тишина в доме была по-прежнему невозмутимая. Только снова прыгала в зале в клетке птица да в лакейской стучали часы. Солнце в это время ярко проглянуло на дворе и весело осветило гостиную со свеженькими цветами на окнах, с большим образом в углу под потолком, с картинами синопского сражения и американской охоты в пустынях пампасов на диких лошадей и с кучею шитых гарусных подушек на диване. Огромный жирный кот, как мертвый, спал у печки, раскинувшись на особой подушке. В комнате пахло ладаном.

— Так это ваш последний ответ мне, ехавшему за пятьсот верст, по просьбе брата?

— Последний, генерал.

— Вы не заплатите денег?

— Нет, генерал.

— Не сдадите аренды, которой срок давно кончился?

— Нет, генерал.

— И не выедете с этой земли?

— Нет, генерал.

В уме Рубашкина мелькнула невольно его пышная директорская петербургская квартира, толпа ловко наторенных подчиненных, ослепительные вечера первых сановников, которые он запросто посещал на севере, и тут же улыбка одного тамошнего администратора из передовых, сказавшего ему перед отъездом по какому-то случаю: «Не пройдет года, двух-трех лет, мы пересоздадим Россию, ручаюсь вам в этом!..»

— В таком случае, Палагея Андреевна, не прогневайтесь, если я прибегну... так сказать... к здешним властям и против вас употребят... силу!..

— Палашка! — тихо вскрикнула опять Перебоченская, обернувшись к дверям в соседнюю комнату.

— Сила законов одна для всех на свете... И если...

— Палашка! — уже на весь дом крикнула Перебоченская.

Рубашкин, во избежание дальнейшего скандала, поклонился, не дождался появления исполина-горничной и осторожными, неверными шагами направился через залу в лакейскую. На крыльце он перевел дух. Во дворе было тихо... Почтовые усталые лошади, опустив уши, дремали у подъезда. Ямщик тоже дремал на козлах.

— Едем назад! — сказал Рубашкин и сел в коляску, добытую с трудом напрокат в городишке.

Он выехал. Его никто не провожал. Кругом было тихо, будто все спало или вымерло. Вдали рисовались тихие голубые бугры прибрежий Волги. За Лихим белела, раскинувшись на холме, такая же молчаливая Есауловка. Телята паслись за садом, за ольховником. По лугам Конского Сырта бродил справа один скотский гурт, а слева — другой. Одинокие пастухи издали неподвижно глядели, опершись на длинные палки, с котомками за плечами, точно каменные бабы на курганах в украинских степях. «Позвала бы шальная барыня наметанных своих клевретов, что бьют на сало нагулянный скот, — подумал Рубашкин, — мигом уходила бы меня в своем доме, и никто бы не откликнулся тут за меня в этой глуши! Вот тебе и практика в провинции! Вот я дома...»

Генерал кинулся в город. Утаив главные подробности, он с достоинством рассказал чиновникам о странном поступке с ним Перебоченской. Чиновники с подобающим почтением к его чину и недавней служебной деятельности выслушали его, пожимая плечами, стали шептаться между собою, громко и с видимым негодованием относясь к упорству Перебоченской, и решили, что действительно надо принять против нее более сильные меры. Так сказал становой, так сказал сам исправник, так решил весь земский суд. Рубашкин стал жить в городе. Его скоро узнали все горожане. На улице чиновники и мещане кланялись ему, снимали перед ним шапки. Иногда он посещал скромные вечера у городничего, уездного предводителя и исправника. Ящиков с своими вещами Рубашкин не раскрывал и тут, а жил скромным бивуаком у одной дьяконицы и вслед за этою временною квартирой собирался разом спокойно поместиться в Конском Сырте, где за долг у арендаторши

должны были отобрать и всю ее отстроенную усадьбу. Но время шло, генеральская пенсия проживалась, а дело не подвигалось вперед. Становой и исправник медлили, будто выжидая, не одумается ли сама Перебоченская, откладывали выезд к ней, не желая резко обидеть и притеснить слабую, хотя и действительно упорную женщину. «Да я-то чем виноват? — говорил, улыбаясь, Рубашкин,— и из-за чего я живу здесь в милом вашем обществе?» — «Ну, знаете, все-таки она дама». Посылались, однако, ей понудительные повестки. А тут, как с неба упала, бумага из Киева о смерти настоящего владельца Конского Сырта и о переходе имения в собственность к Адриану Сергеичу. Чиновный мир всполошился было и как будто собрался действовать сильнее. Получено и явлено в местной палате духовное завещание. Палата предписала: «Временному отделению уездного суда немедленно выехать в Конский Сырт, ввести нового наследника во владение; госпоже Перебоченской, не принимая от нее более никаких отговорок, под личною, по всей строгости законов, ответственностью всего земского суда, из того имения предложить в то же время удалиться, а воздвигнутые ею строения, буде таковые точно окажутся, обязать ее беспрекословно снести или сдать владельцу в счет ее долга, на основании оконченного срока аренды». Рубашкин, с сияющею улыбкою, обогнав пакет палаты, привез чиновникам из губернского города это предписание в копии. Явился и подлинник. Чиновники, покуривая папиросы, внимательно смотрели в глаза Рубашкину. Дело даже двинулось было вперед. Ожидая, что все теперь кончится в два-три дня, Адриан Сергеич загодя рассчитался с дьяконицей, послал на отдельной подводе свои вещи вперед, в соседнее с Конским Сыртом вольное село Малый Малаканец, где велел подводчику ожидать себя в какой-нибудь избе, а сам с временным отделением земского суда, в нескольких экипажах, поехал в Конский Сырт. Чиновники ехали почтительно, но с какими-то сдержанными и таинственными улыбками. Исправник ехал в коляске с дворянским заседателем и с стряпчим, становой с письмоводителем и еще с каким-то господином в сером пальто, в своем разгонном фургоне, а Рубашкин отдельно, взяв из города по пути подвезти к Лихому ездившего к благочинному молодого священника из Есауловки, знакомого читателю, отца Смарагда.

Подъехав к границе земли Конского Сырта, чиновники остановились. Тут их ожидали собранные повесткою станового понятые из крестьян соседних и далеких деревень.

Выйдя в поле, временное отделение прочло указ палаты, обошло по указанию законного плана границы Сырта, как имения ненаселенного, указало их владельцу и свидетелям, проверило межевые столбы и пограничные ямы, на спине одного из понятых подписало заранее составленный акт о вводе Рубашкина во владение, отобрало руки понятых, причем за них подписался письмоводитель, и акт этот вручило новому владельцу.

— Только-то? — спросил он.— А сама Перебоченская? Вам ведь предписано немедленно ее вывезти отсюда и обязать ее все строения сдать мне или беспрекословно отсюда снести...

— Как же-с, как же-с! Это будет. Но по неявке сюда самой госпожи Перебоченской, за болезнью, на незаселенную вашу степь, ко вводу вас во владение, в качестве вашей ближайшей соседки, как того требовал закон, мы должны сами к ней поехать. Для этого, чтобы на случай освидетельствовать ее здоровье, мы взяли с собой и доктора; вот он...

Господин в сером пальто раскланялся Рубашкину из фургона станового.

— Поезжайте, а я пока останусь в ближнем селе,— сказал Рубашкин,— тут дожидаются и мои подводы.

Нововведенный во владение помещик с священником поехал к околице Малого Малаканца, а чиновники покатили к Перебоченской.

Свои подводы Рубашкин нашел в Малаканце среди улицы. Подводчик ругался на все лады. Никто из жителей не хотел его пустить к себе во двор. Все поселяне были здесь раскольники, и, заслышав о чиновниках, каждый отмаливался от подвод генерала.

— Не беспокойтесь,— сказал генералу священник,— здесь меня знают. Я дело улажу. Но позволите ли вы мне быть с вами откровенным, ваше превосходительство?

— Начать с того, что бросьте эти титулы. В чем дело! Будьте со мною запросто.

Священник поклонился и отвел Рубашкина в сторону. Они стояли среди обширной пустынной улицы.

— Извольте... Вы хотите, наконец, узнать всю тайную сторону вашего дела с Перебоченской?

— Хочу.

— Нанимайте здесь скорее квартиру, в этом Малаканце. Суд сделал все по форме — вы введены во владение. Тут хоть из окна будете видеть поблизости свое имение. Даром в городе не станете проживаться.

— Но что же это все значит?

— Жаль... У вас из генеральской пенсии за этот срок до новой получки денег, вероятно, мало что остается. А Перебоченская держит все уездные власти на откупу. Да-с, не удивляйтесь! Вы еще нашей практики хорошо не изучили, как видно, а от петербургской она очень отличается. Дело просто. Исправник — родной племянник Палагеи Андреевны: он начальник уездной полиции и председатель земского суда, по выбору-с дворян; так-то-с... Становой от нее в год (все это открыто знают) получает пятьсот целковых жалованья, кроме харчей и частых подарков: это вдвое против его казенного жалованья. Заседатель от дворянства получил от нее, после первого вашего приезда к ней, шесть пар отборных волов в подарок; я сам видел, как их ее главный гуртовщик, выкресток из киргизов, и погнал к нему за горы, туда вон, в его хутор. Известное дело — близость к нам татарских степей и улусов; смотря на последних, и эта барыня вершит дела, как иной ногайский мурза, прямо начистоту. Знает, что сильнее всего на свете деньги... А заседатель замешан еще в ее же деле и с вашим покойным братцем, как сюда наезжал, по его ходатайству, молоденький чиновничек особых поручений, и Перебоченская дала этому чиновнику пощечину-с...

— Как? Чиновнику особых поручений?

— Да-с. Чему же вы удивляетесь? И еще лучше я вам скажу: чиновник этот, так безвинно обиженный, с заседателем сами умолили барыню скрыть это дело, уехали и более ее не тревожат. Заседатель боится влиятельного губернаторского чиновника, а тот боится, чтоб сама барыня по губернии на бумагах не ославила этого случая, так как у нее есть на это и свидетели. Известно, молодой человек, едва из училища сюда навернулся, и боится. Как же-с! Это дело с нею будет и вам нелегкое! Ее по всему краю здесь знают. Она очень смела, хоть такого жалкого вида, и здесь первая богачка.

Гурты ее лучшие в губернии; салом с Москвой торгует, а быков на убой посылает и в Петербург. Что ей стоит сыпнуть деньгами, когда деньги к ней, через поблажку чиновников, сами так легко идут... Скоро вся торговля скотом тут в околотке и далее будет в ее руках.

Рубашкин вздохнул и грустно оглянулся вокруг, как бы выискивая предмет, за который можно было бы ему ухватиться. Деревня, опустевшая от последнего предвесеннего выхода людей для подготовки спуска судов на Волгу, уже поломавшую тогда лед, молчала. Обнаженные от снега окрестности еще не были покрыты травой и уныло отсвечивались серыми, мертвенными холмами и долинами. «А в Петербурге теперь гремят концерты! — невольно мыслил Рубашкин,— щегольские толпы прогуливаются по Невскому и сотни хожалых городовых охраняют спокойствие каждого гуляющего. Вот там бы теперь, среди бела дня, крикнуть: сколько бы народу сбежалось на защиту? А тут крикни, так, кроме ветру, никто тебя не услышит!»

— Кто она такая, эта Перебоченская? — спросил Рубашкин.

— Бог ее знает. Жила, говорят, здесь поблизости на десяти или двадцати десятинах, тихая была такая. Брат ваш тогда потерял жену и начинал тут обзаводиться, домишко строить; скучал, да и капиталу у него не было, негде ему было деться. Она и подъехала к нему, сделала условие, стала разводить и нагуливать тут первые гурты. Свой домик в городе отдала внаймы; людей своих, кроме тех, кто от нее убежал прежде, перевела сюда. Сперва брату вашему хорошо и верно платила. Он переехал лечиться в город. Тут она сошлась, коли слышали, с нашим есауловским, бывшим пастухом и скотником, Романом Танцуром, которого нашему князю потом в приказчики посоветовала взять. Предложила и князю гурты завести. Он согласился. Послал Романа за скотом в Черноморье, а оттуда велел проехать на Азовское море к Ростову. И она с Танцуром туда в фургоне съездила. Да с той поры, как уехал князь, бог весть откуда у нее и деньги взялись. Говорят, что прежде Перебоченская была богата по мужу, но потом все прожила на откупах: откупа с мужем где-то возле Киева держала. Ее пощипали и чиновники, когда муж ее умер за границей; но она выпросила позволение тело его перевезти в свой хутор, забила его в гроб, да и обвертела тело мужа кружевами,

блондами и материями, а на таможне это и открыли. Словом, перед арендой Сырта она жила без гроша денег, тиранила своих людей, многих разогнала; хутор у нее даже брали в опеку. А тут вдруг через год разбогатела, съездив в Ростов. Повела она дело хозяйства широко, на тысячи; скоро обстроилась, как видите. Купцы к ней ездят за салом и за кожами. Сама бойню в овраге тут за садом воздвигла. Скот ее узнали даже петербургские мясники. Чиновничество так и льнет к ней. Заводского быка подарила молодому князьку из беглых татар, здешнему уездному предводителю, на хозяйство. И как вам сказать, не согрешить? Одни говорят, что ей дал сначала и теперь тайно дает на обороты деньги из есауловской экономии наш приказчик Танцур. А другие... будто он с нею, ездив в первое-то время вместе за гуртами для князя и для нее, где-то, не то в Черномории, не то на Азовье или на Дону, купил тайком большой запас фальшивых ассигнаций, да здесь-то мало-помалу, лет за десять они и спустили их и разменяли. Во всяком же случае скажу вам: ясно одно, что Роман Танцур в большой дружбе с вашею противницей и, как полагать надо, делит с ней или прежде делил все барыши пополам. Только и он обожжется: на такой камень наскочил, что не одного его разобьет...

Рубашкин медленно и молча ходил с священником взад и вперед по улице. Обоим было тяжело продолжать разговор. Они подошли к овражку за околицей и сели на обрыве.

— Что же мне делать теперь? — спросил Рубашкин.

Священник вынул кисетик, набил короткую трубочку крепчайшим турецким табаком и закурил.

— Позволяете курить? Не обижает это вас, что священник курит?

— О, сделайте милость!

— Когда у меня горе, я этим только лечусь. А горя у меня довольно: бедность, жена все хворает... Но вы — другое дело. Попытайтесь еще обратиться лично или письменно к губернскому предводителю дворянства, а наконец и к губернатору. Все похвальбы Перебоченской — вздор: у нее не может быть никаких актов. Она хочет только, как иной дикарь татарин, в мошенничестве время выиграть. Особенно ей нужно для нагула скота это лето. На бумаге вы будете считаться владельцем земли, а на деле будет она.

— Я сам заведу скот, пущу в поле.

— А она сгонит его, заграбит, велит, наконец, стрелять по нем из ружей. И это в нашей глуши бывает!.. Вы еще не знаете... Татарин за рекой, недалеко...

— Нет, не может быть! Она одумается...

— Увидите! Да вот едут господа чиновники. Прощайте! Я пойду пока вон в ту избу, чтобы вы с ними объяснились без меня! Пусть она не знает о моем к вам участии...

Чиновники подъехали, почтительно окружили генерала и подали ему акт освидетельствования Перебоченской. Оказалось, что она одержима таким опасным недугом, что не только не могла, по слабости и безнадежности здоровья, оставить своего дома и съехать тотчас с чужой земли, но даже не могла выслушать приказания об этом, не подвергаясь опасности скоропостижно заболеть еще более и даже... умереть. Акт был составлен уездным лекарем и подписан всеми наличными чиновниками.

— Итак, поздравляем вас с имением! — двусмысленно сказал исправник, любезно раскланиваясь с Рубашкиным.— А насчет Палагеи Андреевны надо подождать, пока выздоровеет. Что же вы теперь, генерал, куда?

— Да поселюсь здесь; стану хозяйничать пока на этой земле, хоть без усадьбы.

— Здесь? — спросил исправник и оглянулся с удивлением,— в Малаканце? на квартире у мужика?

— Именно здесь... Отчего же не нанять квартиры тут? Земля моя под боком, это будет как на даче!

— Да вы, ваше превосходительство, находчивы необыкновенно! Отличная выдумка...

— Благодарю за комплимент!

— Желаем вам успеха! — прибавили чиновники.

— Очень благодарен.

Временное отделение уехало. За пятьдесят шагов за околицей Рубашкину послышался со стороны уехавших довольно явственный хохот. Адриан Сергеич, сложа вводный лист и копию медицинского акта с донесением станового о причине нового невыезда Перебоченской из Конского Сырта, грустно побрел в избу, где ожидал его священник. Новые знакомцы еще поговорили.

— Как бы мне, отец Смарагд, нанять в самом деле здесь в Малом Малаканце квартирку? Хоть оно и странно, но что же делать?.. Во-первых, вы мне очень понравились, и я рад такому соседу, а во-вторых,

начинается весна. Здесь у Поволжья будет все-таки лучше жить, чем в уездном городишке, пока все более объяснится. Да оно и дешевле. Я в городе закуплю припасов; ящики мои с вещами, не разобранные до сих пор ни в полтавском хуторе, ни в городе с отъезда из Петербурга, я разберу здесь. Кое-как устрою, скрашу свою конурку. Будем видеться, гулять вместе. У меня есть недурное ружье; вы любите рыбу ловить. А тем временем я напишу еще кое к кому из высших властей...

— Не соскучитесь ли вы в этой глуши?

— О нет. Мне эти местности нравятся. Я подпишусь для вас на «Пчелку» или «Инвалид», станем их получать через ближайшую пароходную пристань на Волге, переписку откроем с дальним светом. Я встречу с окрестных гор разлив Волги, прилет дичи, расцвет лесов и трав. Я забыл о чинах, орденах — право, забыл. Буду гулять по вашим буграм; станем вместе любоваться этою угрюмою, дикою и вместе чудною вашею природою... Я уроженец юга... давно стремился сюда, и вот, наконец, я дома, в степях, где наши казаки некогда садились первыми зимовниками, колониями!..

— Все это так, генерал; но чем вы жить здесь будете?

— А моя генеральская пенсия? — спросил генерал.

— Точно; я и забыл...

Священник тут же разыскал Рубашкину квартиру у одной раскольничихи, бедной вдовы, на краю села, возле слободских бесконечных огородов, рядом с ветряными мельницами. С дворика этой хаты открывался красивый вид на окрестности. Здесь пробыл священник у Рубашкина в тот день до позднего вечера, с ним отпустил подводы и экипаж обратно в город, втащил с хозяйкой в комнату и развязал ящики с вещами.

— Сколько таких рядовых генералов обретается на Руси! — заметил Рубашкин, прощаясь с священником. — Они мирно поселяются по душным городам... жить на хлебах у государства. Лучше же я пережду, добьюсь своего и здесь употреблю сохраненные еще мои силы на возрождение выпавшего мне уголка на новых основах вольнонаемного труда. Тогда весело заживем, отец Смарагд! Не правда ли?

— Дай-то бог!

Недели через две поля зазеленели. Каменистые тропинки по берегам Лихого просохли. Отец Смарагд по-прежнему был угрюм, суров, ходил нелюдимым;

забившись куда-нибудь под берег Лихого, напевал про себя священные гимны, вздыхал, ловил больной жене рыбку. Как-то он с удочкой наловил два ведра окуней возле водяной мельницы, отправил рыбу домой жене с деревенскими мальчишками, сопровождавшими его гурьбой к мельнице, и пошел проведать Адриана Сергеича. Он вошел в его нанятую избу и остолбенел от изумления.

Светлая, просторная комната в три окна на поле и в два во двор была устлана коврами и перегорожена красивою занавеской. Мебель, купленная в городе, наполняла переднюю часть комнаты и заднюю, где стояла железная кровать генерала. По стенам висели три-четыре небольшие картины, писанные масляными красками, в золотых рамах, два круглых зеркальца и несколько кенкетов для свечей. Стол перед мягким диванчиком был завален французскими книгами, большею частью романами. Альбомы карикатур лежали на красивой стенной полочке. Письменный стол был уставлен фарфоровыми, бронзовыми и деревянными безделушками. Тут же стояла чернильница, лежали бумаги и другие письменные припасы. За перегородкой в спальне, на ковре над кроватью висело легкое английское двуствольное ружье с прочими принадлежностями охоты, револьвер и крепкая трость с потайною шпагой. В углу за кроватью стоял шкаф с платьями, стол с посудой и самоваром. А у изголовья постели — крошечный столик со свечой.

— Поздравляю с новосельем! Как вы мило устроились!

— Да, и почту мою уладил получать в семи верстах! На Тайницкой пароходной пристани скоро станут получаться на мое имя письма и для вас петербургская газета. Я написал Исакову и не знаю, какую он вышлет. Это все я в городе устроил. Что значит, как захотят! Почтмейстер — отличный человек! Я у него купил и эту мебель.

— А, понимаю! Была, значит, выгода, так и устроил прием почты на пристани! Дорогонько же вам это все обошлось?

— Немало. Пока устраивался, деньги так и таяли.

— Жаль, однако, что у вас здесь все вижу французские книжки. Неужели вы в Петербурге мало читали из русской литературы?

— Да что же у нас читать? Только ругают меня, вас, всех!

— Э, как же вы судите! У нас в глуши и то лучше на литературу смотрят. Вы вот реалист, как я, заметил. А знаете ли, как много у нас явилось книг по части реальных наук?

— Будто? И хороши?

— Как не хороши! Запишите-ка, я вам скажу о некоторых, а вы выпишите их и хоть мне дайте прочесть. Я знаю их по разборам.

Рубашкин записал.

— Будем, будем почитывать. Но жаль, что у вас в семинариях по-французски не учат читать! Я сам уже самоучкой выучился в Петербурге и именно из-за этих романов,— прелесть! Куда только не перенесешься с ними!

Священник покачал головой.

— Как же вы кушанье свое тут устроили?

— Хозяйка готовит. И недурно, уверяю...

Посидели, поболтали.

— Вот уж пять дней, как я устроился. И как легко на душе. Целые дни брожу с ружьем по окрестностям. Горы ваши — прелесть; вид на Волгу с бугров — уму непостижимое очарование! Уйдешь по холмам, заберешься в глушь; леса расцветают, одеваются листьями. Дичи гибель. И не опомнишься, как день кончился.

«Что он, врет или правду говорит! — подумал священник,— не упорство ли тут чиновника, а не идиллия, которую он на себя напустил!»

— Что ваше дело? — спросил отец Смарагд.

— Писал к губернскому предводителю и к губернатору. Только ответа еще нет.

— А вы так хорошо устроили вашу почту! Тут письма в губернский город идут не более двух дней.

— Что делать? подождем!

Прошли еще три недели. Явились потом выписанные книги. Стали приятели их разбирать. Впервые тут священник увидел: «Записки оружейного оренбургского охотника» Аксакова, его «Уженье рыбы», «Записки охотника» Тургенева и целую кучу новейших столичных изданий по части естествоведения: о мироздании, о лесах и степях Америки, о море и его жизни, об облаках, об инстинкте животных и прочее. Кое-что взял отец Смарагд почитать к себе домой. Иное из этого он тут же

прочел с своим соседом. Генерал сперва было вздремнул при чтении и сказал: «Нет, Дюма и Феваль лучше! Вот я вам переведу!» Но когда священник стал читать Аксакова и Тургенева, Рубашкин пришел в такой восторг, что крикнул: «Нет, я ошибался: французам до нас далеко!.. Так и подмывает идти на охоту! Я страстный охотник в душе!..» Схватил ружье, ушел в соседний лес и хотя страшно устал, но не убил ничего.

Прошел еще месяц. Священник ходил в гости к Рубашкину. Адриан Сергеич ходил к отцу Смарагду в Есауловку. Дела его не изменялись. Обитатели Малого Малаканца сперва, как на пугало какое, стали сходиться смотреть на нового своего поселенца. Ребятишки и взрослые следили из-за углов, когда он уходил на прогулки. Но потом они все привыкли. Вмешался было в жизнь генерала соседний окружной начальник над этим селом. Но отец Смарагд при случае сказал ему, что генерал чуть ли не прислан сюда инкогнито по поводу раскола, и Рубашкина все оставили окончательно в покое, тем более что с расколом окружной начальник решительно не знал, что делать. В конце этого второго месяца, вместе с нумерами «Инвалида», Рубашкин получил разом, наконец, два пакета из губернского города. Тогда уже он приобрел себе крепкого буланого конька и сам верхом за почтой ездил к одинокой пристани, где пароход какого-то общества грузился по пути обыкновенно раз в неделю дровами. В обоих пакетах был один ответ: сделано распоряжение о подтверждении и внушении кому следует, чтобы, наконец, просьбы его по делу о выводе Перебоченской из принадлежащей ему земли были немедленно уважены. И только!

Но эти просьбы не уважились опять ни на волос. Приехал поэтому, впрочем, в усадьбу Перебоченской какой-то чиновник, как после узнал Рубашкин, взял от нее новую какую-то явку и опять уехал. Присылал за ней еще коляску князек, уездный предводитель дворянства; Перебоченская выехала в ней дня на три в город, где был у нее домик, а в это время, по условию с предводителем, налетел становой, составил повестку губернатору, что госпожа Перебоченская по распоряжению местного начальства выбыла, наконец, такого-то числа из усадьбы Конского Сырта, и эту повестку послал в город. Палагея же Андреевна снова явилась в своем доме. Гурты ее по-старому гуляли по лугам и холмам Конского Сырта. Поляк, приказчик ее, в свое время, с весны, с батраками

засеял без малого двести десятин пшеницы. Пришла пора косить луга. Перебоченская договорила артель прохожих на Черноморье косарей и стала, нисколько не стесняясь, снимать сено с лугов. Все это делалось явно, с полным спокойствием и перед самым носом оторопелого Рубашкина, который не только не успел с своей стороны сделать распоряжение о косовице, но даже стал из квартиры из Малаканца ходить на охоту и ездить за почтой, тщательно минуя собственную землю, где, по слухам, пастухи Перебоченской получили раз навсегда такого рода инструкцию: «Что же из того, что его ввели во владение? Владею землею я, и чуть он или кто, по его поручению, явится на землю, гоните всех взашей; ни косить, ни пахать земли, ни пасти скота я ему тут не позволю, пока жива и пока есть за меня добрые люди!»

Тогда уже старик Танцур был обрадован возвращением из бегов сына и обдумывал, как бы залучить и Илью в его общие дела с Перебоченскою.

Терпение Рубашкина, наконец, лопнуло. А главное — небольшой денежный запасец его совершенно истощился в переездах из столицы в полтавский хутор и потом на Поволжье, в первых и в дальнейших хлопотах в деле с Перебоченской и в обзаведении квартиркой в Малаканце. Не имей генерал в виду получить вскоре окончательно законного наследства, он спокойно поселился бы еще с осени где-нибудь в другом месте и прожил бы безбедно своею пенсией. А тут вдруг карман опустел, в дом никто ничего не давал, да и занять было решительно не у кого.

С такими-то сетованиями однажды, как мы уже знаем, обратился Рубашкин к отцу Смарагду, найдя его у мельницы за удочкой.

— Спасайте, отец Смарагд! Я забился сюда, надеялся, что скоро вся эта чепуха кончится. А оказывается, батюшка, что с одним ружьем да с петербургскими крепкими ногами, любуясь тут природою, мало добудешь себе средств к жизни. Начать хоть с пищи; даже дичи оказывается что-то не так много у вас, как я ожидал. Спасайте! Посоветуйте, что мне делать? Не возвратиться же мне снова на службу из-за того, что обед тут неизысканный, что капусточкой да яйцами все приходится пока пробавляться? Я ничуть и ни в чем не раскаиваюсь и доволен, что бросил службу, и хоть поздно, да все-таки приехал в этот край, где пахнет такою глушью и дичью, а с ними и свободой.

Священник задумался. «Ох, не верится — дурит!» — подумал он. Долго шли они взгорьем по берегу Лихого. Рубашкин в щегольском светлом сюртучке, широкой шляпе и в розовом галстучке, молча шел возле отца Смарагда.

— Извольте, генерал, последнее средство будет... Поедем со мной в губернский наш город. Там есть у меня приятель и родич, из семинаристов, учитель гимназии. Он знает всю подноготную города. Если он ни в чем не поможет, так уж я и не знаю, что вам тогда делать! А сам я, понимаете, ничего тоже не смыслю в этой путанице...

— По рукам?

— По рукам...

— На чем же мы поедем?

— Ваш буланый да мой рыжий — и довольно, запряжем их в мой церковный фургон и поедем. Жаль, что открытый. Ну, да ничего. Авось чего-нибудь добьемся... Жаль только, что жена моя все хворает.

Было решено ехать через пять дней. Подступал праздник троицы. Священник отпросился по письму у соседнего благочинного в недельный отпуск и стал ладить фургон.

В это время прислал ему, через поселянского мальчика, Рубашкин записочку такого содержания: «В моей жизненной барке открывается, наконец, еще сильнейшая течь: с каждым днем я, отважный пловец, более и более погружаюсь в хладные волны всяких неудобств. Сегодня хозяйка объявила, что вышел весь овес для моего буланого, а собственно для меня вышли весь чай и сахар. Я пил уже нынче одно молочко-с... Виват областная практика! потерпим. Ночью мне снились петербургские рябчики, трюфели и шато-д'икем. Утром рано убил я на буграх за Малаканцем в перелеске пару куропаток. Что делать! В этой первобытной пустыне еще можно не соблюдать весенних законов об охоте. Я сыт. Но мой конь голодает. Помните сказку о трех путях? Пойдешь налево, сам будешь сыт, конь пропадет с голоду. Эти места — левый, значит, путь. Итак, пришлите три целковых взаймы. Возвращу, как получу снова часть пенсии. А между тем вот вам новая проделка Перебоченской. Племянник моей хозяйки, тощий мужичок, попросил у меня позволения выгнать на одну из двух тысяч десятин моей земли покушать травки две пары своих быков. Я, новый сыртинский помещик, позволил. А Перебоченская, извещенная через лазутчи-

ков, выслала поляка-приказчика в поле, отбила у поселянина волов на моей земле и загнала к себе в стадо. Поселянину ее пастухи даже грозились стрелять, прогоняя с поля его прочь. Я написал к ней вчера едкое письмо, а она на словах ответила: «Скажи своему генералу, чтоб не трогал опять-таки меня, а то я наеду на него, загоню самого его к себе в сарай на хутор и еще высеку, чтоб не обижал женщин; пусть не очень тут храбрится». Пампасы, пампасы девственных пустынь Америки! Кстати же, я их, по вашему совету, читаю. Vale![1] Ваш Адриан Рубашкин».

— Чудак! — сказал, вздохнув, священник и обратился к хорошенькой, но болезненной и постоянно грустной своей жене: — Паша, есть у нас деньги? Дай три целковых: я генералу на время пошлю.

— Какие у нас деньги, Сморочка? Вон ты благочинному за треть благодарность послал, а за что благодарить-то! И я в порванных сорочках хожу, да и у тебя на зиму шубенка вон какая опять будет. У нас двое детей. Церковного вина надо купить в городе, свечей; мало ли чего?..

— Э! Ему надо помочь! Человек бедовой доброты, давай что есть, авось нас после не забудет! Мы не Перебоченская; фальшивыми ассигнациями не торгуем; сам знает наш приход!

Вынула Пашенька последние из комода деньги и отдала их мальчику.

— В город-то с чем вы, беспутные, поедете? А еще по такому делу ехать собираетесь! Срам, беспутные! А еще ты, Сморочка, священник, да и он генерал! Точно гимназисты живут!

IV

Как бегалось

В то время, как в Малом Малаканце устраивался генерал Рубашкин, в есауловском господском саду мостил себе норку Илья Танцур.

Приказчик Роман понял, что сразу сына не свернешь на иную дорогу, не поставишь его так, как хотел он,

[1] Будь здоров, прощай *(лат.)*.

Роман, и пошел на хитрости: дал ему известную долю воли, чтоб посмотреть все, приучить его и потом сломить сына разом. Птица долго не была в клетке и успела чересчур порасправить себе крылья; даже, наверное, и перья-то у нее в это время особые, полетные наросли! Слишком уже от нее волей и воздухом пахло. Увидел Роман, что сын более не думает от него дать тягу, сам свозил его в уезд, явил его суду, при нем сняли с него допрос по форме, где он был в эти двенадцать лет, и получили в ответ по обычаю: «Где был я, и сам того не знаю! А делайте со мною, что хотите!» Илью отпустили и велели отцу подать о нем ревизскую сказку в казенную палату, как о воротившемся добровольно из бродяг, что Роман и сделал аккуратно. Пустив Илью поработать наравне с миром, Роман сказал: «Вижу, Илько, что тебе со мною жить как будто не ладно. Да и впрямь! Ко мне люди разные по должностям ходят, при тебе совестятся о мужиках правду говорить. Ты же к обществу идешь... Так вот что... Любишь ты, я вижу, садовое дело, и матушка-попадья, Прасковья Агеевна, говорит, что ты отцу Смарагду хорошо виноград подрезал и в рост пустил. Переходи же, когда хочешь, в сад жить, в пустку бывшего тут садовника, что возле верб. Хочешь — к нам есть ходи; а не хочешь, бери отсыпное месячное продовольствие от ключника зауряд с другими батраками. Мать тебе даст горшков и прочего. Там себе и копайся; сад смотри и веди его как следует. Я и французу в городе, нашему главному управляющему, Морицу Феликсычу, говорил о тебе, и он согласился. Пила и ножницы для подрезки сада тебе будут нужны, я знаю, равно смолка и прочее там для мази. В воскресенье съездишь в город, скупишь все, да, кстати, и у француза побываешь. Явись к нему. Ручку у него поцелуй. Он у нас главный тут...»

Илья съездил в город, видел француза, получил от него инструкции о саде и уехал. Французик, мосье Пардоннэ, был, как все французы, попадающие ныне в наши провинции в качестве техников и искусников всякого рода, как некогда попадали туда же их предки в качестве ученых воспитателей юношества. Он имел красный воспаленный носик, рыженький паричок, жил на ноге холостяка, и его комната, где он спал, встречала всякого вхожего тем острым и особенно противным запахом, каковой имеют таковые комнаты на Руси обыкновенно у всех французов-техников, точно так же,

как его имели в старину подобные же комнаты французов-гувернеров. В них обыкновенно платье наших заморских гостей разбросано в беспорядке по протертым стульям и окнам, банка с ваксой покоится на книжке «Пюсель д'Орлеан» Вольтера; под кроватью по целым годам валяется всякий непостижимый сор, старые сапоги, бог весть для чего припасенный столярный и слесарный инструменты, объедки колбасы, фланелевые подштанники, хлебные корки, шпринцовка; а в паутине и пыли висит на стене портрет какой-нибудь красавицы, привезенной из-за моря. Мориц Феликсыч Пардоннэ, впрочем, встретил Илью не в этой комнате, а в обширной приемной, уставленной шкафами с деловыми книгами. Он вышел в синей рабочей блузе, почему-то надевавшейся постоянно поверх сюртука, когда француз выходил в эту комнату встречать кого-нибудь по делам вверенного ему княжеского сахарного завода под городом. Задравши красный носик, наделенный постоянным насморком, он сказал Илье строго, хоть и с улыбкой, как сыну приказчика: «Трудись, мой миль, а в саду разведи мне вин... фрюи... и редис». Он очень не понравился Илье и тот все удивлялся, как такого мозгляка могли сделать главным начальником над всею Есауловкою. Его отец был, по крайней мере, велик ростом и из себя молодец, а этот французик — какая-то противная лягушонка.

Илья устроился в ветхой садовой пустке, то есть в плетеной глиняной избушке, в конце дикой половины сада, разбитой парком. Избушка была у оврага; ее спрятали с трех сторон старые вербы, а с четвертой — она выходила к луговой, болотистой под косогором равнине, носившей имя Окнины. Нечего и говорить, с какою радостью взялся Илья за устройство нового жилища. Отсюда был виден тот заброшенный склон косогора, над ключами и муравой Окнины, где еще оставались следы былой усадьбы старика Романа Танцура, дуплистый берест, несколько обломанных ветром и скотом верб, куча мусора и две-три ямы с стеблями какого-то тощего кустарника. Илья не переставал помышлять о возможности самому получить землю, если удастся, даже старое место на Окнине, ходил туда часто через садовую канаву и с жадностью принялся за устройство садовой лачужки.

Он очистил вокруг этой лачужки сорные травы, обмазал ее стены заново глиной, побелил их, покрыл избушку мхом и осокой, которой накосил тут же за садом. Выпросил у матери сундучок, спрятал туда кое-какие свои пожитки. Натаскал в избушку старой посуды; поставил кадку для воды, а ведро сам сделал. Выпросил себе на время у священника, за подрезку винограда, топор, долото, стамеску, молоток и буравчик, обязавшись за них еще прищепить ему несколько дичков яблонь и слив в церковном садике. Примостил к хатке, между печкой и углом, несколько досок себе для постели. Выбелил внутри лачужку и сени. Окнина была в саду со стороны полдня, и потому Илья сейчас же на лужайке, между хатой и садовой канавой, устроил огород и посеял маленький баштан арбузов, дынь, огурцов, пшенички, кукурузы. Жена священника снабдила его рассадой капусты, которую он хоть поздно, а все-таки посеял и стал с усердием поливать. Достал он у отца в кладовой цветочных семян для саду и у себя за вербами разбил и засеял цветничок. Под заваленкой избушки откуда-то взялась вскоре мышастая и невзрачная, по-видимому забитая собачонка, которая однако же быстро оправилась и стала по ночам так шнырять под деревьями вокруг лачужки и так забористо лаять, что Илья сам изумился. Она к нему сильно привязалась и везде сопровождала его в работах по саду. Илья стал получать месячину от ключника; натаскал под крышу пристройки к избушке разного лому, стружек и гнилых сучьев и сам стал стряпать. С той поры он вовсе перестал ходить к отцу в контору. Старая Ивановна было взгрустнула по сыне, но муж сказал ей: «Не твое дело! брось его — одумается!» И она стала по-прежнему возиться с собственными делами в конторской, стряпая, обшивая мужа и опиваясь по десяти раз в день чаем из чашек, расписанных купидонами. «Что, однако, этот сорвиголова делает там?» — сам себя однажды спросил приказчик, под вечер увидев, как из гущины верб в конце сада подымался дымок, и пошел туда окольными дорожками. Большая часть тропинок в саду оказалась расчищенною, деревья подрезанными и ветки с них правильными кучами свалены за клумбами. Виноград у обрыва за прудом был развешан на белых новых кольях и жердочках и густо зеленел, пуская длинные широкие листья и цепкие усы. Чернобровый Роман заглянул под пристройку избушки:

на бондарском прилавке лежало в куче стружек кривое долбило и начатое липовое корытце. Он вошел тихо в сени. Дверь была раскрыта, а у ярко растопленной печи с засученными рукавами возился Илья. Собачонка залаяла и бросилась из хаты на Романа. К порогу кинулся и Илья.

— Что тут стряпаешь, башка? а?

— Ужин варю.

Роман с улыбкой покачал головою.

— Ну-ну, вари... Квасу где достал?

— Сам завел...

— Сад, однако, у тебя ничего, хорошо!

Роман ушел, помышляя: «Малый на все, кажется, руки. Прок будет! Пора бы уж ему и одуматься. Поговорю с Палагеей Андреевной. Очень бы теперь его нам нужно было. Людей верных у нас нет... Да и с барыней надо счет свести!»

Зажил себе уютно и отрадно Илья в лачужке. Редко когда он и сад покидал. Все копается в нем. Разве сходит на реку, выкупается, белье сам вымоет, рыбу удочкой наловит для попадьи. «Да я тебе хоть рубахи стану мыть!» — говорила ему мать, старая, располневшая в приказчицах Ивановна. Илья молча уходил от матери. «Чайку выпей; я тебе, Илько, чайничек дам, сахару и чаю; сам заваривай у себя».— «Вот, когда бы мне ружье да пороху — поохотился бы; и сорок в саду гибель; вишен пропасть цвело — все объедят».— «Проси сам у отца: то уж не мое дело!» Илья не просил. Он отца дичился и боялся, сам не понимая чего. Никто не заходил в сад к Илье. Иногда только по вечерам да и до поздней ночи звенела у него под вербами флейта. Это посещал его, в свободные часы от занятий в оркестре венгерца, друг его Кирилло Безуглый, проходя в сад не селом, а от мельниц из бывшего винокуренного завода, где помещался оркестр, напрямик буграми и Окниной. Кирилло садился с приятелем перед месяцем, под избушкой, курил папироску или наигрывал на флейте и иногда до белой зари с ним говорил без умолку.

Однажды пришел к Илье Кирилло Безуглый перед вечером и принес ему в платке небольшую картину, писанную масляными красками.

— Саввушка писал! Маляр-то наш, как видишь, художник. В последнем, брат, хрипении чахотки обретается! Взгляни! Это он так казака изобразил на коне.

Мчится по степи, аки ветер. А то курганы, бугры, а вон ковыль расстилается. Вольный казак, как наши деды, брат, были...

— Неужто умирает Саввушка?

— Хрипит уже; бабки шепчутся над ним. Кларнет заел его... Вряд до утра проживет...

— Где краски он брал?

— Тайком за иконы доставал из города. Это он тебе в подарок прислал...

— Спасибо...

— Просил только, чтобы ты ему у отца чайку выпросил. В груди его все жжет. Про Питер толкует, про живописцев, про кадемию да про того Брилова, что ли про этого,— помнишь?

Илья внес картину в пустку, упал лицом в постель и судорожно зарыдал. Кирилло остался на дворе, гладя собачку, знавшую его. Илья повесил картину в углу, под почернелым образком, надел картуз и побежал к двору.

— Куда ты?

— Сейчас...

Он скоро воротился.

Выпросил у матери чаю и сахару, будто себе. Отослал с Власиком Кирилле. Между тем солнце зашло. Раскричались миллионы лягушек окрест Окнины. Запахло березами, липами. Светлая ночь встала над землею. Месяц тихо выкатился из-за бугров и осветил вербы, Окнину и угол Ильиной хатки. Зазвучала флейта на ее пороге, и долго уныло отдавались в глуши сада ее круглые, мягкие переливы. Вдруг какая-то легкая пушистая птица, взмыв широким серым крылом над вербами, крикнула у самого порога хатки и улетела. Илья, опустив голову в колени, сидел на пороге рядом с Кириллом и вдруг горько заплакал.

— О чем ты плачешь, брат?— спросил Кирилло Безуглый.

— Тоска, не поверишь, какая тоска! Это либо Саввушка помер и душа его над нами отозвалась, на тот свет полетела, либо...

Илья не договорил.

— Либо что?

— Уж не Настя ли моя в Ростове померла?

— Э, полно. С чего ты это взял?

— Ты так жалобно играешь, Кирюша! Такая тоска меня взяла: бедные мы с тобою, подневольные!..

— Ладно, я замолчу. Потолкуем лучше. Эта флейта у меня расхожая; в карты в городе выиграл у одного там музыканта. А настоящей флейты венгерец не дает...

Кирилло спрятал флейту за сапог.

— Эх, Ильюша, девки, девки! Губят они нас! Моя Фрося так козырь-молодка. Води, говорит, меня барыней; одевай меня, а не то разлюблю — пойду ночью к поляку-приказчику! Все равно, говорит, просит. А я ее за косы, атанде-с! Ничего, усмирил; еще пуще полюбила. И вправду говорит: ты голыш, и я в платье без рубах хожу; будет воля — повенчаемся...

Илья молчал.

— Что же ты не проронишь слова? — спросил Кирилло.

— Негде взять мне, Кирюша, слов таких, как у тебя! Настя учила меня в Ростове стишкам, да я забыл. Одни были: «Ах, за окном в тени мелькает русая головка!» А другие: «Гляжу я безмолвно на черную шаль!» Забыл и то и другое.

— Ну, так... Давай о будущем говорить. Я в одной книжке с Саввушкой читал, как люди в любви живут и как их злая судьба гонит! Ты этой книги не читал?

— Нет. Я вот «Ледяной дом» у каретника на фабрике с ребятами читал, как одного хохла нашего водой обливали в мороз и уморили. Плохие бывали дела!..

— Давай же о будущем толковать! — продолжал Кирилло.— Ты, Илья, ничего про волю не слышал? Скажи, как это ты так вдруг сюда сам пришел с свободы-то? Положим, и мы всем оркестром было разбежались; так мы недалеко забивались: тут же по Волге на барках промчались, пока их не скрутила полиция, а другие и сами воротились по воле, как и ты. Да что! Мы дома теперь опять, да и в бегах были почти дома. Иные тайком сюда из бегов по ночам к родным даже за бельем ходили. Вся слобода знала, что мы тут верстах в сорока маялись, а не выдавала нас. Но ты — другое дело!.. Двенадцать лет проходил в бродягах и ушел еще мальчиком. Так скажи же ты мне, как ты так вдруг воротился с приволья?

— Вышел сказ такой у нас. Все и узнали...

— Кто же это там вам сказ такой сказал?

— Не знаю... Разом всем стало вдруг это известно — идти по домам из бегов к своим господам, да и

только; что в скорости волю всем прочитают и все воротят. Все и пошли... Ну, одним словом, понимаешь ли: сказано между народом по местам быть всем, где кто, значит, нарожден...

— А! Так ты и пришел?

— И пришел.

— И ждешь тут?

— Жду.

— Ну, ты, известно, земли хочешь: тебе тут и место.

— А тебе, Кирилло?

— Мне?

— Да.

— Как это только прочтут волю, брат, возьму сейчас Фроську, обручусь с нею, поп перевенчает,— мы и маху...

— Куда же? Зачем же тебе бежать? Ведь ты вольный будешь и без того? Куда же бежать тебе тогда?

— Куда глаза глядят, лишь бы от венгерца да от твоего батьки подалее, а ей от своей барыни.

— Нет, мы с Настей тут себе хату на Окнине поставим, жить тут станем. Так мне ее отец, Талаверка, заказал...

Кирилло закурил папироску.

— Скажи мне, Илья, как ты это, спрашиваю я тебя, с Настей своею сошелся?

— Да так. Как был это я в бегах, переходил с места на место, от одной беды к другой, и очутился, наконец, я, после всех этих мытарств, в Эйске. Город такой есть у моря. Работал я там над поломанной баркой с одним слесарем, тоже беглым. Таволгой прозывался. Вижу я, рассчитывается он с хозяином и сумку укладывает. «Куда ты?» — «В Ростов; лучше там наймусь, знакомый есть».— «Кто?» — «Талаверка».— «Не Афанасий ли?» — «Он и есть; а ты почем знаешь?» — «Мы, почитай, соседи: я от князя, а он от одной барыни, говорю, убежал уж давно-давно; я про него дома слышал... Чем же он в Ростове-то?» — Смотрю, Таволга замолчал, да так и ушел; побоялся видно, чтоб я не выдал по молодости лет его приятеля Талаверки. Стал я опять думать. Вспомнил, что Таволга про одного богача-каретника как-то все рассказывал еще прежде у Шелбанова и что он у него раз при кузнице жил. Потерял я сон и еду. Вспомнил через этого Афанасия Талаверку про своего отца, матерь и родину, и захотелось мне хоть этого Талаверку повидать. «Не узнаю ли чего о на-

ших?» — мыслил я. Десять лет уж я был в бегах. Не вытерпел, уехал из Эйска на хозяйском дубу в Ростов. Нанялся в дрягили, в носильщики, значит, у грека тоже одного там, Петракоки; сил во мне прибавилось, я окреп: по четыре, по пяти пудов мог поднимать и носить. Стал я зарабатывать в день по целковому и по два; выпадали дни, что и три зашибал. Изломался весь, тружусь. А между тем все прислушиваюсь, не говорят ли про Талаверку.

Собачонка, лежавшая у ног Ильи, давно ворчала, злобно косясь в темноту. Когда он смолк на время, чтоб дух перевести, она с визгом шарахнулась под вербы, побегала там, полаяла и воротилась опять.

— Что это она? — спросил Кирилло.

— Так, верно, мышь заслышала. Лежать, Валетка, смирно!

Илья опять стал рассказывать.

— Только вот стал я прислушиваться на базарах, за мостом, за Доном, в подгородных харчевнях, на дешевке людей расспрашивал. Никто его не знает... Страх меня взял, точно весь род-племя мое вымерли... А что Талаверка? Я его семью знал и слышал, что он от своей барыни бежал втроем с другими двумя ребятами и сам он еще молодым был парнем. Разговорился раз я с одним бродягой из дезертиров, что после еще в убийстве торговки попался, а он мне: «Ступай, говорит, на такую-то улицу, возле городского сада: там есть каретник, и толкуют, что был он прежде из беглых; не он ли? Только на вывеске его, смотри, другое прозвище». Текнуло у меня сердце. Я пошел, и точно, смотрю, золотая по синему вывеска, дом собственный каретника, хоть деревянный, с пристройками, и на вывеске читаю: «Каретник Егор Масанешти, из Кишинева». Это и был, как я после узнал, тот самый Афанасий Талаверка, и я сразу понял, что и он, как тот, помнишь, трактирщик, прозвище свое переменил, что нарочно пробрался в Молдавию и оттуда уж воротился с купленным чужим видом...

Едва успел Илья сказать эти слова, как собачонка опять с лаем кинулась от порога пустки в вербы, залилась, обежала избушку и опрометью понеслась по темным тропинкам сада, как бы кого догоняя.

— Что бы это было? — спросил удивленный Кирилло, — не подслушал бы кто?

— Кошка, верно, тут бегала, у нас в доме окотилась вчера...

Собачонка еще, однако, лаяла по саду и, воротившись, не сразу снова успокоилась.

— Кончай же, Илюшка. Скоро заря. Надо к Саввушке сходить. Жив ли он?

Илья Танцур продолжал:

— Раз прихожу я к каретнику Масанешти, в другой. Нанимаюсь в слесаря у его помощника. Не принимают. И так подхожу, и этак — ничто не берет! Ворота на запоре. Слышна только работа в горнах, да дым идет из кузниц. Полиция к нему милостива. Хоть бы увидеть его, думаю, на улице. Хожу мимо дома, ну, так душа и льнет туда. Выбрал опять праздник. Пасха людям была, первый день. Оделся я, принарядился. Прихожу. Позвонил в шнурочек у калитки. Выходит девочка... беленькая такая — карие глаза, сухощавенькая... «Что вам надо?» — спрашивает. «Хозяина».— «Зачем?» — «По делу». Она осмотрела меня с головы до ног. «Да вы не подвох ли какой под отца?» — «Ей-богу, говорю, нет!» — «Ну, смотрите же вы, для такого праздника!..» Пошла, доложила отцу и опять кликнула меня с улицы. Пошел я за нею, как приговоренный к муке. Сразу полюбилась мне она. Это и была Настя... Прихожу я к Масанешти. Он на палатьях в людской лежит хмелеват: подмастерьев всех распустил. Был он там один да дочка на пороге стояла. Вспомнил я наши места и его родню вспомнил. «Кто ты?» — «Здравствуйте,— прямо говорю,— Афанасий Игнатич!» Он и дочка так и обмерли. «Кланяется вам наша родная сторона,— продолжал я по памяти,— ваша сестрица Дарья Григорьевна и ваша тетушка Домна Саввишна, и ваша барыня и наше село Есауловка!» Кинулся он к двери, вытолкнул дочку, заперся на засов и ухватил меня за грудь. «Ты подвох! ты подослан! Ты погубить меня пришел!» Упал я на коленки и на образ стал божиться. «Много лет,— говорю,— и я ходил по свету, и я беглый... Не бейте и не обессудьте меня... Я сам горе мыкаю... Я Илюшка, говорю, Танцура Романа сын. А про вас слышал, признаюсь, еще в детстве, хоть вашу родню и барыню знаю». Долго не признавался старик. Все отнекивался. Я в слезы... Поверил ли он мне, наконец, или с хмелю то было. Кинулся он вдруг обнимать и целовать меня... «Ты через пять годов бежал после меня... Я же семнадцатый

год бегаю». Ударился он седою головою в колени, да и сам в слезы... Ну, мы христосоваться, да молиться, да плакать там с ним наедине. Прошла неделя, присмотрелся он ко мне, слесаря того из Эйска, Таволгу, расспросил про меня. Я у него, точно, его застал. Тоже был тихий человек. В середине святой недели позвал старик дочку. Меня показывает. «Пятнадцать лет ни одной души, говорит, кроме этого парня, из нашего краю ни здесь, ни в иных местах не видел. Будь ты нашим гостем; верю тебе для этого праздника пасхи: ты не продашь меня. Да, я точно Афанасий Талаверка... Ты же как убежал и где был?» Накормили они меня обедом, разговорился я с ними и рассказал им все, то есть старику и Насте. От других в доме он хоронился, а от работников скрывал, где собственно наш край, то есть откуда мы. Так и я скрыл. Все же остальное я им передал про себя. Рассказал я, что бродячая жизнь да бездомовная воля мне надоели. «Поступай ко мне,— сказал старик,— только дам тебе совет. В народе ходят слухи про волю; скоро всем ее скажут и землю дадут. Верь мне крепко... Мне уж не возвращаться домой: у моей барыни и земли-то на ее людей вдоволь не станет, да я уж и мастерством таким занялся, что еще долго им буду сыт. А ты воротись, тебе землю дадут; лишь бы на месте ты был, как от царя вести налетят». Что же тебе еще, Кирюша, сказать? Что?! Прожил я у этого Талаверки полтора года; жалованье мне отличное было, как след... Но не в нем дело, понимаешь ты, братец?.. Не узнал я от него ничего про свой дом, чего хотел. Да зато узнал иное совсем на свете... Полюбилися мы крепко с его Настею. Будь прежде, я бы убежал с нею. А тут народ рушился из бегов к своим господам, точно клич кто зычный крикнул. Пошли слухи, что наверху в губерниях иначе уж и жить стало, полегче, будто все ждали там чего-то и притаились; что становые не так секут, господа добрее стали. Сказались мы отцу ее. Он упал перед иконами и долго молился, а после нас благословил. «Будьте жених и невеста, я не прочь и щедро вас награжу... Только ты, Илья, ступай домой, весь народ уж пошел. Иди и ты. Не след от общества отставать! Подожди — долее ждал. Получи землю от своего общества и отпиши мне. Тогда вызову тебя, обвенчаю вас и отправлю с богом на родину. Только избу себе с Настей ставьте. Пристроитесь, распродам мастерскую и к вам умирать приеду на

Лихой. Глаза уж плохо видят. От родной земли откололся, а опять надо воротиться туда же, где все предки лежат костями...» Надоело мне самому мыкаться, Кирюша! Простились мы с Настей. Я пошел... да вот и пришел... и живу дома... Только, как видишь, пока вместо слободской хаты в этой-то конуре живу с одною собачкой...

— Ничего, Илья, подожди,— сказал Кирилло, вставая.— Хоть отец твой и живодер, да авось-таки одумается. Ну, пора уж мне! Прощай. Натерпелся ты, вижу я, шатаясь по свету... Всем нам было плохо: и мы бегали, и мы в бродягах, все музыканты, были... Только куда! Твоя жизнь не в пример забористее...

— Прощай же, да заходи почаще на флейточке поиграть.

Кирилло пошел к канаве. Бледная заря за Окниной загоралась. Ветер просыпался. Птицы начинали чиликать в ветвях. Где-то за садом на селе ворота скрипнули. Свежесть поднималась от лугов.

— Илья! — крикнул Кирилло с канавы,— я и забыл тебе сказать. Если Савка наш помер в эту ночь, так жаль, что его будет хоронить старый поп, отец Иван, друг твоего батьки и той барыни.

— Отчего?

— Отец Смарагд с тем генералом, что в Малаканце живет, поехали в город — последний раз, значит, хлопотать о Конском Сырте. Перебоченская не пускает генерала, а тому есть нечего почти...

— Ты откуда знаешь?

— Фрося сказывала, прибегала ко мне прошлою ночью; эти девки все про свою барыню знают...

Долго спал, не просыпаясь после этой ночи, Илья. Уже высоко солнце катилось, как прибежал к нему со двора в пустку Власик и объявил, что в ту ночь умер Савка-кларнетист. Хоронил Саввушку-артиста старый священник, отец Иван. Илья и Кирилло горько плакали, кидая на его наскоро сколоченный гроб в могилу горсти сырой земли.

— Отца Смарагда еще нет? — спросил Илья Кириллу на похоронах.

— Уже третий день в городе.

— Что-то он так там загостился...

— По делам; по делу, по этому, генерала.

— Когда бы господь им помог! — сказал Илья,— про генерала все говорят — душа человек! И нам, может

статься, по соседству с ним лучше было бы. Говорят, за всякую пустую послужку деньги хорошие платит.

Роман Танцур с ночи, в которую умер Саввушка, уехал грузить на барки господский лес, сплавленный в Волгу с верху Лихого, и на похоронах не был.

— Эх, хоть бы оркестр наш, где и Савка играл, грянул ему вечную память, как гроб-то несли,—сказал Кирилло.

— Отчего же вы не собрались?

— Венгерец не позволил инструментов вынимать; погода, видишь, хмурая стоит, ну и нельзя — княжеские инструменты!

V

У границ Азии

Генерал с священником уехали в город. Сборы их были недолги. Смарагд прибыл к Рубашкину на гнедой кобылке, в церковном открытом фургончике, или, попросту, в телеге на колонистский лад.

К кобыле припрягли буланого. Замелькали каменистые бугры, овраги. Лошади бежали дружно.

Покормив их раза три-четыре в одиноких постоялых дворах, путники прибыли в обширный бревенчатый губернский городок, в одинокую улицу, в квартиру учителя недавно устроенной гимназии, Саддукеева, друга и дальнего родича священника, из семинаристов.

Город носил на себе признаки юго-восточных русских городов и, как сам недавняя колония, был раскинут широко и просторно. Дома его были выстроены на живую нитку, светлы и все с балконами, террасами и лестничками снаружи стен, из яруса в ярус. Церкви его не поражали тяжеловатостью и мрачностью вида, как это бывает в старинных городах северной России. Дом губернатора напоминал собою какое-то европейское заморское консульство. За городом в степи виднелись зеленеющие насыпи сторожевых окопов и бастионов, с разгуливающими часовыми в белых фуражках. По городу носились щегольские кареты и колясочки с воздушными кузовами, подделанными под камышовые плетенки. Дамы ослепляли нарядами. Все на улицах курили, хоть это тогда еще запрещалось. Толпились

офицеры, татары, чиновники, калмыки, мещанки девушки с полуазиатскими лицами, в ситцевых, однако, платьях и с платочками на головах; казаки, гимназисты, кудрявые и черные, как жуки. Тележка путников труслиIво загремела по городским улицам и переулкам. «Что вы так пригорюнились?» — спросил священника Рубашкин, вообще занятый и ободренный видом города. «Тоска, что-то недоброе чуется...» — «Э, что вы! С чего взяли?» Подъехали к обширному забору, за которым в молодом саду стоял двухъярусный домик, с красивою лестницею снаружи, наискось вдоль стены наверх. По лестнице было развешано белье. В окна глядело много цветов. Дети шумно бегали по двору. По улице, поросшей травою, гуляла пара ручных журавлей. Сам учитель, высунувшись из слухового окна, оказался на крыше, в халате и с трубкой в руках. Он гонял платком голубей, покуривая и следя, как они делали в небе свои широкие круги и кувырканья, и сразу не заметил въехавших во двор гостей. Дом был почти за городом.

— Рекомендую! — сказал священник, назвав Рубашкина, когда хозяин, суетливо переодевшись, сбежал вниз, а между тем горничная внесла в залу свечи.

Саддукеев откашлялся, придерживая лацканы вицмундира, улыбнулся, потер лоб и, пристально глядя на Рубашкина, знаком попросил гостей сесть и сел сам. Священник пустился рассказывать о причине их приезда, о личности и качествах Рубашкина.

— Ты мне, Смарагд, не говори о них! — перебил Саддукеев,— я уже историю знаю, долетела сюда... Вы, ваше превосходительство, простите ему; он ведь простота, добряк и сильно любит молоть чепуху. Мы с ним товарищи, даже родня... А дело ваше вопиющее!..

— Прошу со мною без чинов и церемоний! — сказал Рубашкин.

Священник что-то шепнул на ухо хозяину. Саддукеев, опять молча, с любопытством посмотрел на Рубашкина. Генерал сам еще рассказал ему свое дело и приключения с Перебоченской и под конец без обиняков попросил хозяина помочь ему советом и делом в этой непостижимой истории. Саддукеев, как бы по чутью, угадал личность нового знакомца: несколько раз во время рассказа генерала вскидывал странно руками, то складывая их на груди, то потирая ими колени, и встал. Его сухощавая фигура зашевелилась; красные, сочные,

добрые губы осклабились, огромная белокурая кудрявая голова с большими сквозящими ушами закинулась назад.

— Так вот она наша настоящая-то практика! — сказал он, то улыбаясь, то странно подпрыгивая на месте и кусая до крови ногти,— Велика, значит, разница между писанием бумаг о законах и их применением! Значит, нашего полку прибыло! И вы домой свернули, опомнились? Да местечко-то ваше, выходит, другим уже нагрето! Но успокойтесь, не хлопочите. Коли пенензов [1] нет, ничего вы тут не выиграете.

— Как не выиграю?

— Да так же! Отвечайте мне прямо, я уже здешние места знаю,— становому вы платите?

— Зачем? Я сам по министерству служил и порядки знаю...

— Ну, у вас там в министерствах порядки одни, а тут другие. У здешнего губернатора тут в одном из уездов тоже имение есть. Он губернатор, а чтоб по имению все, понимаете, обстояло хорошо, тоже ежегодно ордынскую дань своему же подчиненному становому платит. Да-с! А исправнику, заседателю, стряпчему вы платите?

— Тоже нет...

— Вот вам и вся разгадка! Смарагд, Смарагд! Колпак! ты во всем виноват. Дело пропало...

— Что же мне делать?

— Достать денег и заплатить, да теперь уже побольше.

— Где же достать, научите? Просто голову теряю: и есть имение, и нет его — презабавная штука...

— А, так вы и забавник! И мне приходится над всеми забавляться. Прежде всего, позвольте рекомендоваться. Я сын дьячка, учитель российской словесности при здешней гимназии, Саддукеев. Вот с ним готовились тоже в попы, дарования оказывал непостижимые; но так перед выпуском напроказил, что чуть не попал в Соловки. Одна барыня богомольная спасла. Тогда меня отписали по гражданству, и вот я стал учителем, сперва в одном городе, потом в другом, так и сюда домой на родину попал. Видели, что я голубей гонял? Это означает, что я ручной стал сам, силюсь выказаться консерватором-с, стремлюсь показать уважение к собственности-с; для этой цели женился на здешней купчи-

[1] Деньги (*искажен. польск.*).

хе, получил в приданое сии палестины, овдовел и тут же, извините, накинулся тайком на чтение журналов и книг новейшей поставки. Книги и прочее держу наверху. А тут видите — цветы смиренные, портреты властей. С виду я как будто и агнец, и отличный подчиненный нашего ректора, великого педагога, секущего по субботам виновных учеников вповалку; а ученики меня любят и ходят ко мне. Мы читаем, беседуем. Положим, я, как все, как и вы, лишний тут во всем, непутный вовсе, ни к чему человек. Да у меня, скажу вам, своя задача есть, если так выразиться, свое помешательство... Я задал себе такое дело...

Саддукеев помолчал и оглянулся. Видно, у него уже давно и много накипело на душе и он хотел перед каким-нибудь живым человеком высказаться.

— И вот я решился, в этом общем разладе правды и дела во что бы то ни стало... жить долее! Да-с, и как можно долее! Видеть осуществление хороших порядков хочется на своем веку не на одной бумаге, а и на деле, а знаешь, что не дожить до этого без какого-нибудь чуда... Вот я и устремил все помыслы на одно: пересижу, мол, зло, переживу его, пережду, авось хоть через сто лет исполнится то, над чем все слепые наши собратья бьются кругом. Ну, сто так сто, и решил я ухитриться непременно сто лет прожить! Количеством, знаете, массою годов хочу взять! И уж всякие штуки для этого я делаю; потому наверное знаю, ей-богу-с, что мы с вами простым человеческим веком ни до чего не доживем!

Рубашкин засмеялся. Саддукеев рассмеялся тоже, но продолжал с уверенностью:

— Смеетесь? Ей-богу, так! Вон немцы, Бюхнер, что ли, говорят, что между населением разных пластов на земле, между появлением, положим, почвы каменноугольной и той, где появились птицы и звери, должны были пройти миллионы лет. Так и у нас, с гражданским обновлением. Готовят свободу крестьянам. Отлично; даже слезы выступают на глазах от этой одной вести... Скажите, что манифест скоро будет, что о нем где-нибудь уже намек сделан в газете; сейчас брошу вас, извините, и бегом пущусь к Фунтяеву в таверну, «Пчелку» понюхать... А все-таки сто лет хочу прожить... Не верю-с, вот что! Всех переживу... Остается и вам только пережить эту Перебоченскую, и больше ничего...

Подали чай. Священник мало принимал участия в беседе Саддукеева с Рубашкиным и несколько раз выходил на крыльцо.

— Мало вы говорите утешительного,— сказал Саддукееву Рубашкин,— так ведь и с ума сойдешь, если все над такими мыслями останавливаться.

— О, не сойду! Я все подмечаю-с... Позовут на бал к губернатору,— молчу, и, стоя в углу, посматриваю на танцующих, не грохнется ли кто в пол так, чтобы и дух вон. Сейчас это и отметится на моих умственных скрижалях. Все одним подлецом меньше будет... Голубей люблю; здесь много всяких воров, в том числе и голубиных. Поэтому я не часто выпускаю голубей с чердака на воздух... Но как встречу мертвеца на улице побогаче и поподлее, сейчас спешу домой и выпускаю на радость погулять и моих голубей на волюшке... Вы меня так и застали; это нынче умер инвалидный здешний капитан, мошенник и первейший живодер! Живу я умеренно, все рассчитал, обзавелся даже аптекой, лечебниками; с докторами дружбу веду, с медициной немного познакомился, чтобы прожить дольше и увидеть что-нибудь путное на белом свете. И ведь оно приятно ощупывать теперь сквозь мягкое тело свой собственный костяк, скулы, там, глазные впадины, сухие кости на коленях и, так сказать, осязательно угадывать в себе будущий свой безобразный вид, когда в могиле-то отродятся в желудочке червячки и всего-то тебя скушают дотла, в угоду разным подлецам, гнетущим свет и людей... Против этого-то костяка я денно и нощно веду самые ловкие интриги и убежден, что отстою надолго свои бренные телеса. Одна беда — летаргия, случай-с, как вдруг живого тебя закопают; и то бы еще ничего, да зависть тебя возьмет: что, как завтра же ударит над могилою трезвон, заликует правда, а тебе придется там в душных потемках могилы ожить и тщетно делать последние жалкие эксперименты: понатужиться, повернуться в гробу, поколотить с безумным, холодным отчаянием в глухую крышку гроба и попробовать, наконец, собственного своего мясца на закусочку, то есть обглодать без пользы свои руки... Это уже будет вполне скверно! Но я и тут принял меры. Подбиваюсь к кладбищенским сторожам, прошу попов не спешить с похоронами... Ей-богу!.. И это будто все в шутку, чуть перебираюсь на новое место. Советую и вам, генерал, то же самое...

Рубашкин задумался. Молча сел возле него, собираясь с новыми рассказами, Саддукеев. Но вбежали дети хозяина, и все ожило снова.

— Нет, вы для меня придумайте, без шуток, что-нибудь посущественнее,— сказал Рубашкин.

— Какие тут шутки! Трудновато, а впрочем, посмотрим... Я вообще ночью страдаю бессонницами, а особенно, как что-нибудь взволнует: какая-нибудь вдруг столичная новость; встреча с замечательною жертвой какой-нибудь житейской пакости, вот хоть бы с вами... Тогда я на другой день болен и в видах долголетия сейчас же сажусь на одно молочко и на сельтерскую воду... Так-то-с!

Далее, вечером хозяин и гости еще более оживились. Дети Саддукеева были сущие дикаренки, страшно загорелые, с протертыми локтями и коленками и сильно выросшие из штанишек. Уча с увлечением в гимназии, Садуукеев на своих детей не обращал почти никакого внимания. С утра задавал им уроки, а к вечеру редко даже вспоминал о них и почти никогда не поверял их занятий.

— Это будущие семинаристы,— сказал о них хозяин,— хоть скверно учат и кормят в семинариях, хоть чертовски там секут, но как плотоядный самец, да еще и вдовый, я их намерен именно туда отдать. Оттуда все-таки народ выходит менее тухлый и более как-то пикантный, чем из наших гимназий. Посмотрите-ка, генерал, как в гору идут теперь везде наши семинаристы! На них стал спрос... Вот хоть бы и Сперанский, как некогда отличался! А вы знаете, что ваш и мой приятель, этот отец Смарагд, в семинарии метил именно в Сперанские, на философию ударял, либеральничал, а теперь, бедняк, на что разменялся в Есауловке! Сухие корки по селу через пономаря собирает... Что делать! Правда, ваше преподобие? Да что ты так нахохлился? — спросил Саддукеев вошедшего снова в гостиную священника,— что ты вздыхаешь и как будто хандришь?

— Жену оставил не совсем здоровою; боюсь, не расхворалась бы пуще, кругом на сорок верст нет лекаря... Сам ты это знаешь!

Саддукеев подмигнул генералу на священника, который опять вышел на крыльцо.

— Вот вам и трагикомедия, генерал! Я его от души люблю; славный малый и в семинарии постоянно сидел в

карцере за курение трубки... Но подумайте, почему он заботится о жене, или почему должен заботиться? Умрет жена,—шабаш! Более жениться ни-ни, нельзя уже по их закону... Вот положение!

— Да, она женщина славная,— сказал Рубашкин,— все хозяйство ведет, сама коров доит, моет белье, есть варит.

— Что и говорить! А умрет, шабаш, Сморочка! Бери работницу — соблазн народу, или прочь от прихода... А сколько соблазну в этих предложениях раскольников! Еще удивляюсь ему...

Саддукеев замолчал. Стали накрывать на стол. В раскрытое окно сквозь темноту из сада послышался голос. Служанка как-то затихла на время с посудою, и смуглые кудряшки-дети также приумолкли по креслам в гостиной. Из сада ясно раздалось тихое пение грустного духовного гимна. Рубашкина, видимо, мало занимала вся эта обстановка и все, что говорил Саддукеев. Мысль о деле не оставляла его ни на минуту.

— Так-так, узнаю тебя, беззаветная личность, семинарист Перепелкин! — заговорил опять хозяин, и его глаза, холодные, серые и безжизненные, засветились любовью,— так звался у нас ты прежде, отец Смарагд! Дать острастку подлецу какому-нибудь, бывало, эконома-отравителя штурмом взять — его было дело. Ему бы в какую миссию, к ирокезцам; апостолом нового слова явиться в такую дичь, где бы грозило всякому попасть на крест или быть съеденным заживо своими же прихожанами. Вот бы где он себя показал! А ему пришлось коптить небо в Есауловке!.. Как тут не стремиться прожить сто лет?

У ворот раздался топот усталой лошади. Кто-то тихо и несмело подъехал. Не прошло десяти минут, как отец Смарагд, бледный и взволнованный, вошел в гостиную и в безнадежности упал в кресло.

— Что с тобою, камрад? что с тобою, Сморочка? — спросил Саддукеев.

— Паша моя умирает... Ах, господи боже! Второй день лежит без памяти, как только мы уехали! Верховой прискакал... Нашелся еще добрый человек!

Саддукеев вскочил с дивана.

— Ах ты, бедняк-бедняк! Жаль тебя! Да нет! Стой! Есть приятель у меня лекаришка... Да нет, опять стой! что и хлопотать! Завтра бал на весь город у губернатора. Наверное, и этот подлипало там будет...

Саддукеев быстро заходил по комнате.

— Я у вас, Адриан Сергеич, возьму тележку и лошадей!—сказал священник,—и уеду сейчас же, в ночь; вы воротитесь на почтовых или как там лучше, когда устроите все. Подумайте: ведь на сорок верст кругом нет у нас даже фельдшера!

— И это магнат! в Есауловке оркестр держит, а аптеки, фельдшера простого нет!—крикнул Саддукеев.—О алеуты, безмозглые обитатели Мадагаскара! Тысячи, куда! десятки тысяч на еду тратят, на мебель, на убранство домов и на бездушных кукол, своих жен, а доктора завести за триста целковых на целый околоток не захотят! Говорит об англомании! куда тебе до лордов! Недорос! Ирокез!

Сели в тревоге ужинать. Священник ничего не ел. Лошади его в тележке были опять запряжены. После ужина, однако, опять что-то надумав, Саддукеев сбегал в два-три места и воротился со склянками.

— Ехать все отказываются; такая, говорят, даль и еще к сельскому попу! А прописать лекарство, за глаза прописали. Да и что еще за болезнь у нее? к делу ли оно? Кто приехал с вестью? Спросить бы его... Позвать этого человека.

Вошел Илья Танцур. Он чуть стоял на ногах от усталости. Рубашкин по-французски объяснил Саддукееву, кто он и чей сын. Учитель осмотрел Илью с головы до ног.

— Вот, брат,—сказал он,—отец твой главный приказчик в вашей трущобе; в год, я думаю, не одну сотню крадет и не одну тысячу князю вашему высылает за море, а лучше бы хоть коновала какого завел у вас.

Илья оправился и ответил:

— Мы делов отца не касаемся; не извольте обижать нас, барин...

— Кто же тебя послал?

— Сам-с, от жалости-с... Прихожу раз, другой, а матушка, вот их жена, то есть, без памяти лежит. Девчонка, их работница, на улицу бегать ушла—шалить; дети голодные кричат. Некому воды подать. Я это... к отцу... Так и так, мол. Он резонту не дал. Я наутро вижу то же, взял из барской конюшни коня да и поехал. Очень устал-с... Ругать отец еще будет. Позвольте овсеца для лошади. Денег своих не имею. А дорогою надо будет подкормить, хотя я и берег коня!

Рубашкин опять сказал что-то Саддукееву по-французски.

— Ты в бегах был? Долго? — спросил учитель.

— Двенадцать лет-с...

— Чем больна, по-твоему, их вот жена?

— Горит вся, мечется, а узнавать ничего не узнает...

— Ну, прощай, друг Смарагд! Спеши: вот тебе лекарство! там написано, как принимать. Да не жалей горчичников... Странный, однако, этот Илья; толк из него будет!

Священник простился и уехал в ночь с Ильей, привязав княжескую разгонную лошадь к повозке и решив ее не оставлять и лучше покормить далее дорогой, чтобы успеть проехать хоть часть пути, пока еще не зашел месяц.

— Мы же с вами не пожалеем слез, когда действительно умрет эта бедная Сморочкина Паша! — сказал Саддукеев.— Жаль его! Что-то перечувствует его сердце под рясою, пока он доедет до дому? Мы же примемся за ваше дело! Если двоюродный братец мой, Смарагд Перепелкин, овдовеет, не знаю, устоит ли он тогда с семьей.

Гость и хозяин ушли спать. Ночью Рубашкину слышалось все воркование голубей на крыше. Перебоченская приснилась в виде Чингисхана с усами, окопавшаяся от него окопами, вышиной с добрую колокольню, и чудилась ему больная при смерти жена священника в белом чепчике и бедном ситцевом платье, звавшая опять почтенного слугу церкви запросто Сморочкой. Проснувшись, Рубашкин услышал в зале громкие шаги. Кто-то порывисто ходил из угла в угол. Он оделся и вышел. То был Саддукеев.

— Насилу-то вы проснулись; не хотел я вас будить. Утром в видах, понимаете, долголетия, я всегда задаю себе отчаянный моцион перед классами. Уходить не хотел, не видев вас, и вот тут все метался из угла в угол. Вот что я придумал...

— Благодарю вас...

— Вот что: сегодня у губернатора бал; оденьтесь и вы во фрак и сделайте ему визит. Он вас пригласит; вы на бале и объяснитесь с ним о деле.

— А утром объясниться разве нельзя?

— Он, аристократ, примет вас за нищего, за попрошайку, за сутягу и даст дело на рассмотрение правления.

Надо это так, будто мимоходом! он юморист, даже сатирик, а чуть где в просьбе зазвучит неподдельная мольба о защите, вопиющее какое-нибудь дело, убивающее страдальца, он скажет: «Исполню тотчас», примет записку о деле, поковыряет в ногтях, полюбезничает, даже полиберальничает с вами и все сейчас же забудет, а к просителю оставит в своем сердце неимоверное отвращение, как к гнусной провинциальной твари и пролазу. Он из гвардейцев, богач, учился в пажах и попал в эту глушь временно, понимаете, чтоб попрактиковаться здесь, как английские ученые и чиновники ездят иногда путешествовать вокруг света, по программе своего воспитания. Наденьте, кстати, и звезду, коли вы ею украшены...

— Фрак и звезда остались дома в деревне, где я живу.

— Жаль! Примерьте, однако, мой фрак, а звезду мы возьмем напрокат у одного тут лакея; его барин, сенатор, здесь лечится кумысом. Лакей не откажет, звезда лежит давно без употребления. Вот хорошо, что я это сообразил!

Сказано и сделано. Во фраке и в звезде генерал Рубашкин отправился, под легкою парусинною накидкою, к властителю края. Властитель принял его очень вежливо, осведомился о его службе, не без удивления и легкого почтения узнал, что он так недавно еще и успешно служил на важном месте по министерству, и удивился его отставке. Сам будучи еще почти юношей, губернатор при этом вдруг стал жаловаться на боль поясницы, будто бы от тяжести дел в этом диком крае. Тут был принят еще какой-то помещик, сразу начавший начальнику края перепуганным и надорванным от отчаяния голосом рассказывать, как крестьяне у него сожгли недавно хлебный ток, а потом амбары и, наконец, пять дней назад его дом. «Что же вы хотите от губернатора?» — спросил его от себя в третьем лице, чистивший в это время ногти, губернатор. «Содействия!» — заревел, вытянувшись перед ним, запыленный и медноцветный от степного загара помещик. «Подайте записку». В это время мостовая у окна, где они все трое сидели, загремела, и в легком тильбюри на раскормленном до безобразия сером рысаке показалась какая-то городская дамочка, вся разодетая, сиявшая веселостью и удалью. Сзади нее неслись верхами трое франтов.

— Куда вы? — крикнул юный губернатор, высунувшись из окна.

— В степь.

— Зачем?

— Киргизы появились.

— Быть не может?

— Не бойтесь... мирные! Скаковых лошадей привели табун; куда-то на ярмарку ведут. Хочу и я поторговаться.

— Позвольте, сейчас...

Губернатор бросил ножик, которым чистил себе ногти, выбежал мимо оторопевших жандармов и часовых на улицу и подошел к тильбюри.

— Позвольте, милый наш вице-губернатор! — сказал он дамочке,— позвольте вашу ручку поцеловать. Вы все новости узнаете раньше меня... Я должен уступить вам пальму первенства! Я для вас ручной...

Дамочка с хохотом протянула ему руку, ломаясь и оглядываясь кругом, ударила хлыстом рысака, и тильбюри загремело далее.

— До вечера,— крикнул губернатор с крыльца.

— До вечера, господин ручной лев.

Губернатор послал ей вслед поклоны рукой.

Погоревший помещик молча хлопал на все это глазами.

— Кто эта дама? — спросил он Рубашкина.

— Не знаю. А вас подожгли?

— Все сожгли в три темпа-с...

— За что же?

— Не знаю сам поныне. Сыплется на голову, как лава Везувия, и только. Думал найти тут защиту...

Губернатор вошел, еще улыбаясь, но не сел. Знак был гостям уйти. Первый с шумом зашаркал погорелый степняк-помещик.

— Так подайте записку! — сказал губернатор.

Помещик вздвигнул Рубашкину плечами, шаркнул опять и ушел, обливаясь испариной.

— А вас, ваше превосходительство, милости просим сегодня ко мне на бал. Молодежь хочу развеселить! — отнесся губернатор к Рубашкину, опять принимаясь за ногти.— Знаете, среди трудов... Я подобрал здесь все правоведов и лицеистов, студенты как-то ненадежны теперь стали! А у меня блистательно составилась администрация. Все люди хорошего тона, знают вкус в

женщинах и отлично танцуют. Уговорили меня дать бал под открытым небом, в саду...

Рубашкин дал слово быть.

— В девять часов, запросто в Халыбовский сад; там наш бал! — сказал губернатор на прощание, почтительно посматривая на звезду Рубашкина.

«Как бы еще не угадал, чья это звезда?» — подумал последний уходя.

Рубашкин все рассказал Саддукееву.

— И отлично! — крикнул Саддукеев, поздно воротившийся из гимназии к обеду,— вы сделали одну половину дела, а я подумал о другой...

— О какой?

— Просите вечером, если все пойдет на лад и губернатор сдастся, просите у него, чтобы назначили на следствие и на вывод Перебоченской с вашей земли не кого другого, как одного из здешних советников губернского правления, и именно Тарханларова, а уж он, коли согласится, подберет себе помощников. Я обегал весь город, был у всех, знаете, мелких властей, у здешней, так сказать, купели Силоамской, ожидающей постоянно движения воды, то есть наскока такого доходного и прижатого судьбою человека, как, положим, вы... Я их, однако, предупредил, что вы мой приятель и чтоб все дело сделалось без подачки... Да то беда, что в этом деле уж очень многие замешаны; исправник ваш ничего не сделает, он племянник этой барыни; уездный предводитель, князек, дурак впридачу, ей тоже какая-то родня; становые подчинены исправнику... Все указали мне на Тарханларова. Это, скажу вам, молодчина, Геркулес с виду и бедовый по смелости... Коли он ничего не сделает, то есть не выпроводит этой барыни сразу, в один прием, при десятке или даже при сотне понятых и отложит дело опять на переписку, так уж вам останется одно: откланяться и уехать отсюда обратно, приняв меры к тому только, чтоб наконец, хоть проживя лет сто, пережить Перебоченскую...

— Да помилуйте, я этим имением уже введен во владение и имею формальный вводный лист!

— А на деле вы им владеете?

— Нет!..

— Таковы-то, генерал, наши провинции. Станете жаловаться в Петербург — все тут здешние замешаны, следовательно, станут отписываться; запросит министр, отнесут дело к тяжебным. И ждите его решения!

— Что же мне делать теперь?

— Позвольте, я не в меру взволновался; это вредно... Надо выпить, чего бы? да! сельтерской воды и опять походить... Так точно я был взволнован и по получении здесь известия о походе нынешних наполеоновских французиков! Вы, генерал, извините меня, что я этого нового Наполеона не очень жалую... Эй, Феклуша! Сельтерской мне воды!

Горничная принесла Саддукееву воды. Он выпил и стал ходить.

— Подождем еще пока обедать. А после обеда я кинусь узнать, сколько надо предложить советнику Тарханларову; вы же к нему прямо пойдите между тем и, рассказав все дело, просите принять порешение его на себя. На бале в этом саду буду и я. Там придумаем, как сказать все губернатору...

После обеда гость и хозяин не спали. Оба кинулись в разные стороны хлопотать о деле.

Рубашкин воротился первый, и не в духе. Саддукеев прибежал с кипой газет.

— Вот! вот! — говорил он, лихорадочно перебирая листки,— до бала успеем еще пробежать кое-что... Да-с... вот оно... Говорят... в фельетончике каком-то есть намеки, что составляются новые комиссии о разных реформах и что крестьянское дело идет к концу. Узнал я и о вашем деле, генерал. Оказывается, плохо-с, однако... Юстиция у нас еще не сбавила тут в глуши своей таксы: говорят, что менее двух тысяч целковых этот советник губернского правления Тарханларов за такое дело не возьмет...

Рубашкин вскочил.

— Как! Две тысячи?

— А вы, ребенок, полагали менее? — спросил Саддукеев, не отрываясь от лампы у стола, за которым он с жадностью перебирал газеты только что привезенной почты.

— Две тысячи! — восклицал Рубашкин.

— Да-с, да! Вот именно почему я и хочу, желаю всеми средствами прожить сто лет; и проживу, ей-богу, проживу! Вон, вон, точно: комиссии, комиссии... А, батюшки!.. Шагает! Уж не сбавить ли чего, однако, со ста лет? Вон, о редакционных крестьянских комиссиях наши официалы торжественно выражаются; скоро окончательно пробьется что-то! Ну, а ваш визит к Тарханларову чем кончился?

— Отказал наотрез!

— Отказал? Быть не может!

Саддукеев бросил газеты и, ладонью бережно придерживая их, обратил тусклые, усталые глаза на генерала.

— Отказал... Жена его беременна; не могу, говорит, как бы чего без меня тут не случилось с женою! Это не отец Смарагд.

— А про могущий быть ордер губернатора говорили?

— Говорил. «Не поеду,— сказал он,— хоть бы сам сенат нарядил,— извините; а про дело ваше слышал: точно скверное дело!»

Саддукеев и Рубашкин отправились на дачный бал губернатора, в загородный сад армянина-откупщика Халыбова. Множество экипажей стояло у решетки сада. Ворота и дорожки были освещены фонариками. Гремела музыка. У крыльца на особой эстраде шли танцы. Долго шатались без смысла новые два приятеля в толпе. Губернатор заметил опять звезду на груди Рубашкина и кивнул ему, подзывая его к себе. Рубашкин подошел к нему. «Вывези, Антошка!» — мысленно при этом подумал учитель, вспоминая сенаторского лакея, у которого для генерала была абонирована за полтинник с приличным залогом звезда. Толпа раздвинулась, губернатор прошел в боковую аллею с Рубашкиным.

Они шли и болтали о том о сем.

— Вы здешний помещик? — спросил губернатор, уже едва помнивший вчерашний визит к нему Рубашкина.

— Да-с! Имел бы особое удовольствие вас угостить у себя таким же балом, да со мною длится маленькое комическое дело...

— Какое? — спросил юный степной сатрап, лорнируя в потемках боковой дорожки каких-то полногрудых красавиц. Сатрапом и ханом любил сам себя звать этот губернатор с той поры, как по первом приезде из Петербурга ему удалось здесь принять с восточными утонченностями какое-то важное, ехавшее на север посольство.

Рубашкин, намеренно хихикая и с приличным юмором, рассказал ему о своем деле, как он получил наследство, как введен был во владение и как одна беспардонная барыня-хуторянка, торгующая скотом, мешает ему поселиться у себя и взяться за хозяйство.

— Что же вы не подадите мне записки? — спросил губернатор, забыв, что по этому делу он сам подписал

шесть грозных, но тщетных приказов уездным властям и от самого Рубашкина получил две письменных плачевных жалобы.

— Не стоит! — сказал небрежно Рубашкин, рассеянно освобождая свою руку из-под локтя губернатора и всем оборотом тела спеша вглядеться тоже в каких-то красавиц по дорожке.

— Кто это? — спросил тревожно волокита-хан, и голос его, от чаяния тайной интрижки у постороннего, дрогнул.

— О! прелесть! вы их не знаете! Они из Петербурга...

— Не может быть?

— Ей-ей... три сестры-сироты...

— Так вы мне, однако, подайте записку! — проговорил, уже ничего не соображая, губернатор.

— Не стоит...

— Вы хотите меня обидеть? — шутливо спросил хан, чувствуя между тем потребность кинуться вслед за хвостами особ, похваленных гостем.

— Если вы требуете, извольте... Завтра же. Но с одною оговоркою...

— С какою?

Губернатор, смотря в дальний угол дорожки, начинал терять всякое терпение.

— С тем, чтобы вы исследователем назначили Тарханларова...

— Почему? — спросил губернатор, лорнируя дорожки, но тут же, по чутью, переходя из радушного в подозрительный тон.

— Ему давно хочется побывать у меня в гостях... Я ему красавицу припас.

— Но у него, кажется, жена в родах! что-то он на волокиту не похож, или притворяется? А? что? Кажется, жена его беременна...

— Родила, ваше превосходительство! — кстати вмешался тут Саддукеев, выросший вдруг перед собеседниками, точно из-под земли.

— Чему же вы радуетесь? — спросил губернатор, разглядев впотьмах голову учителя. — Точно вы сами участник в этих родах! А?

Все трое засмеялись. Радуясь своей остроте, губернатор прибавил:

— Если Тарханларов согласится ехать к вам в гости, извольте, я отпускаю его, подавайте только записку: без

нее и не приезжайте ко мне, обидчик! Надо же и делами заняться...

Губернатор исчез под липами, а Саддукеев, присев к земле, просто зашипел от радости.

— Браво! склеилось наше дело! Теперь денег надо достать...

— Тут-то опять и беда. У меня ни гроша не осталось от первого приезда в эти места...

Саддукеев посвистал.

— Ничего... пустяки-с... Коли с вами не прихватим в откупу, я извернусь иначе еще для вас. Вы меня извините, другой здесь вам зря сразу не поверил бы! Да у меня уже Смарагд этот такой, видите ли человек, что темного господина никому не похвалит и не привезет... Я его знаю.

Тут же среди танцующих Саддукеев нашел Халыбова, шепнул ему несколько слов и прибавил:

— Я у вас двух сыновей учу, дайте нам взаймы тысячу-другую на месяц. У этого вот господина более двух тысяч десятин незаложенной земли есть... На днях ее получит...

Армянин поклонился и осклабился.

— Знаю я их очень хорошо и без тебя, слышал я о них. Только дам им взаймы не теперь, а когда от них эта барыня, как ее звать, переедет...

— Ага! слышите, генерал? — спросил учитель.

Рубашкин печально улыбнулся.

Армянин потрепал Саддукеева по плечу.

— Под твой дом, бачка, дам хоть три тысячи: место твое очень мне нравится! Что, небось так не кинешься занимать?

Учитель на мгновение опешился. Снял с огромной скулистой головы серую пуховую шляпу, отер со лба пот, повертел в руках платок, посмотрел на армянина и сказал:

— Идет! Давай под залог моего дома, Нин Ниныч, этому господину... две тысячи!..

— Двадцать процентов на полгода? — торопился прибавить шепотом Нин Ниныч Халыбов. — Если согласен, то хоть сейчас до закладной, под простое домашнее условие дам тебе эти деньги!

Саддукеев уставился глазами в Рубашкина и крякнул.

— Идет! — сказал он.

Ударили по рукам, и пока толпа резвилась и тешила юного начальника, откупщик и два приятеля съездили в откупную контору и дело займа под сохранную расписку кончили в полчаса.

— Теперь, значит, вот что,—сказал Саддукеев, воротившись с Рубашкиным домой,—садитесь и пишите коротенькую докладную записку губернатору, чтоб не возбудить в нем подозрений, представьте все дело одним административным недоразумением, сошлитесь на справки по этому делу в правлении и завтра же рано занесите эту записку предварительно Тарханларову, чтобы он не промахнулся и не выдал вас, что вовсе с вами не знаком, да тут же отвезите ему и занятый презент...

— Как? Вперед?

— О, без сомнения, и целиком; он и расписки, разумеется, не даст. А с вас я возьму сейчас же...

— Извольте... Но... как он надует?

— Не бывало еще примера. У них на это есть своя совесть и довольно высокая: будьте спокойны.

Рубашкин получил от учителя деньги и дал ему расписку с своей стороны.

— Это на случай смертности,—сказал Саддукеев.—Я-то проживу еще, ну, а вы уже в летах... до ста годов не дотянете! ни-ни...

Они легли спать. При выходе из праздничного сада, к Рубашкину у ворот подошел помещик, утром жаловавшийся на поджоги. Он был опять возбужден и озабочен; пот лился с его загорелого лица, а волосы были взъерошены и выбивались из-под картуза.

— Что с вами?—спросил генерал.

— Сейчас пришло известие от жены и детей: сожгли у нас и овчарни. Ждал это в саду заговорить с начальством.

— Что же?

Помещик яростно плюнул, посопел и молча пошел в улицу.

— Куда вы? Попытайтесь еще...

— Нечего времени-то терять; вижу, тут танцуют, а мне не до того; надо просто-напросто заново скорее строиться; это будет вернее, чем тут жаловаться!

— Вот вам и еще наша областная практика!—сказал Саддукеев.—Значит, не вы одни!

Итак, генерал и учитель легли спать.

«Как-то мне удастся утром эта практика? — думал Рубашкин, засыпая.— Каково? Я, недавно высший администратор, теперь сам своею особою пойду и понесу какому-нибудь советнику, своему же бывшему подчиненному, и такую полновесную взятку...»

Утром гость и хозяин умылись, оделись, напились чайку и снова посоветовались. Рубашкин бросился в первую из растворенных лавок, купил какую-то плохонькую соломенную корзиночку с дамским прибором для шитья и детский игрушечный сундучок. В обе из этих вещей он вложил чистоганом по тысяче рублей серебром, явился на дом к советнику правления Тарханларову и поздравил его с новорожденным. На генерале были опять фрак и звезда. Тарханларов притворился подавленным такою честью от генерала. Еще не видя, что было в корзиночке и в сундучке, он сказал:

— Полноте! к чему вам было беспокоиться поздравлять меня, такого ничтожного чиновника! — И прибавил, однако: — Я вижу, что вы опять о деле? Не могу, теперь в особенности не могу: сами знаете, жена родила с вечера... Да и зачем мне именно ехать? Надо ехать кому-нибудь другому, по инстанциям, младшему. Это соблазн и обида для уездных властей!

— Что делать? — возразил грустно Рубашкин, расставя руки и ноги и слегка склонив голову.— Этих маленьких подарков новорожденному и родильнице, по русскому обычаю, вы, надеюсь, однако, не откажетесь принять, не обидите меня!

Тарханларов глянул искоса на невзрачные подарки. Он задумался, но, как бы по чутью, сразу в предстоящем, по-видимому, романтике-просителе, обыкновенно выезжающем на одних идеальничаньях, угадал зело умелого практика. Он также с полуулыбкою расставил руки и ноги, склонил голову набок, взял, хихикая, корзиночку и игрушечный сундучок, прижал их с чувством к груди и скрылся, будто спеша обрадовать ими родильницу и новорожденного. За дверью залы он остановился, подошел в соседней комнате к окну, открыл сперва одну вещицу, потом другую, радостно закрыл на мгновение глаза, потом оглянулся, вынул деньги, медленно их сосчитал, сунул комками пачки ассигнаций в карман, а корзинку и сундучок бросил на диван и, громко высморкавшись, оправился перед зеркалом. «Что, дитя купали?» — спросил он повивальную бабку, выглянувшую в

это время случайно из спальни, и ушел, не дождавшись ее ответа и сам не помня, о чем ее спросил.

Молодцом, сияющим и бойким, вошел снова в залу Тарханларов, подошел и как ни в чем не бывало сел у окна против Рубашкина.

— Когда вам угодно, чтоб я ехал в ваше имение? — спросил он гостя, добродушно смотря на него светлыми и влажными голубыми глазами и взяв его руку в свои пухлые, раздушенные и добрые ладони.

— Сегодня же... или завтра утром, я бы вас просил.

Тарханларов поэтически-грустно раскинулся на стуле и задумался. Тут впервые Рубашкин разглядел, какой он был действительно красавец: грудь широкая, крутая, плечистый, губы антично очерчены, волосы закинуты назад, голос звонкий, речи строгие, белье ослепительной белизны, в лице гордость, ум, даровитость и во всех движениях какая-то вместе тихая грусть и безграничная смелость.

— Сегодня, так сегодня, а завтра, так и завтра! — весело сказал Тарханларов,— я вполне к вашим услугам! Хлопочите только, чтоб губернатор назначил меня.

— Вот и записка! Уже готова... Это я его прошу о вас! — Рубашкин подал ему записку.

— Хорошо, несите; а я через час буду у него после вас и в точности поясню, что и мне давно хочется побывать у вас в имении. Говорят, красивый действительно уголок... Теперь же я поеду в правление, пробегу ваше дело. Оно, по правде, нешуточное. Ехать стоит; советников попусту из города не посылают. До свидания!

Тарханларов и генерал поцеловались.

Рубашкин отвез губернатору записку и прибавил:

— Если бы не желание дать вам бал у меня на Лихом, я не тревожил бы вас ни за что этим делом.

Губернатор уже холоднее, однако, встретил им же самим заказанную записку и, пробегая бумагу генерала, даже не просил Рубашкина сесть.

— Вы, однако, рано вчера бросили наши забавы... Вас не было за ужином? а?

— Одно... свидание ожидало,— извините...

— Э!

Губернатор покосился на Рубашкина, видимо, недовольный, что его звезда не блестела за его ужином, молча пометил его записку к исполнению, зазвонил и велел дежурному чиновнику сейчас же ее отправить к Тархан-

ларову. Но чивновник доложил, что сам советник Тарханларов и вновь прикомандированный к канцелярии его превосходительства чиновник, титулярный советник Ангел, ждут в приемной.

— Дела, как видите! — сказал губернатор и из-за стола грустно раскланялся с генералом.— Я вас не смею удерживать! Вы долго еще пробудете в городе?

— До вечера только.

— Что же так?

— Вы будете смеяться...

— О! Пожалуйста, скажите...

— Дома, где я пока живу, ждет меня одно хорошее дело... также интрижка...

— Где же вы живете?

— В казенной деревушке, вблизи своего имения...

— Не правда ли, какой здесь край! Что ваша Колумбия, Перу. И каковы нравы, каковы красавицы! Не будь эта служба, не выехал бы отсюда. До свидания!..

— В моем имении?

— От души буду рад по пути заехать!

Вошедших чиновников губернатор принял сухо и строго: бумагу Рубашкина Тарханларову подал не сразу.

— Вам комадировка от меня через губернское правление,— сказал губернатор советнику, не смотря на него.

— Слушаю-с!

— Далеконько, однако...

— Слушаю-с!

— К вашему знакомому... Рубашкина знаете? Он отсюда через оранжерею сейчас вышел, был у меня...

— Не видел, но рад исполнить приказание вашего превосходительства...

— Вы с ним приятель?

— В Петербурге служили вместе! — солгал молодчина советник, стоя навытяжку,— поохотиться на рыбку звал...

— То-то на рыбку... знаю! — Губернатор, видимо, догадывался, в чем тут штуки; но не решился лишить Тарханларова удовольствия этой командировки.— Вы бы там щуку-то одну нам поймали: урод какой-то там, говорят, упирается, не слушает судебных постановлений... Какая-то помещица, сущая азиятка!

— Слушаю-с.

— Велите заготовить сейчас бумагу. Вы знаете, я откладывать не люблю. Слышите?

Тарханларов умышленно замялся.

— Да! У вас жена родила...

— Ничего-с, я готов выполнить ваш приказ. Но позвольте чиновника в помощь подобрать надежного и знающего.

— Если вы так усердны, очень рад,— кого угодно? А! И вы здесь, господин Ангел! — прибавил губернатор.

Титулярный советник Ангел, обруселый грек, двадцать шесть лет исполнявший должности становых в разных окольностях тех мест юго-востока России, выжига из выжиг, с длиннейшими усами, человек без страха и отступлений, на вид увалень, а на деле — огонь и битый, как сам он выражался, до десяти раз всяким сбродом, почтительно поклонился губернатору.

— Что вам?

— Из ростовского уезда, слышно-с, на Волгу контрабандный чай перевалили. Не прикажете ли поискать? — спросил сыщик.

Губернатор взглянул на Тарханларова. Тот сделал кислую мину.

— Ох, уж мне эти чаи!.. Не согласен! — сказал губернатор.— Больше на прогоны выходит, чем этих чаев отыщешь. Да, Тарханларов! Вот, кстати, вам и помощник! Берите его с собою в эту командировку. Велите заготовить к вечеру бумаги — и с богом! Прощайте, господа!.. Очень рад!

Чиновники ушли, а губернатор, сказав жандарму, чтоб никого не принимали, отрадно потянулся, надел штатский щегольский пиджак, посмотрелся в зеркало, покрутил усики, взял книжку французского журнала и сел к окну читать, заставившись от праздных зевак штофным зеленым экранчиком.

— Все сделано,— сказал Тарханларов к вечеру Рубашкину, который поспешил выдать Саддукееву заемное письмо на две тысячи,— бумаги у меня; часть от себя я уже послал по эстафете, на счет получателей, в уезд стряпчему, исправнику и становому. В предводительскую канцелярию послал особое резкое отношение. Словом, пока мы на почтовых к утру будем там, я надеюсь, что виновники во всех этих адских упущениях придут уже в некоторый должный трепет. Едем мы в моей коляске; вы и я, а данный мне помощник уже уехал вперед. Прошу ужинать ко мне и сейчас же после ужина едем на всю ночь...

Рубашкин горячо обнялся с Саддукеевым, пришедшим его провожать к Тарханларову.

— Ну, прощайте, берегите свое здоровье, это главное! — сказал генералу шепотом учитель.— Многое не удастся, так хоть годами-то возьмете! А на всякий случай, пока — вот вам еще триста целковых. Это уже мои собственные последние крохи. Поправитесь — воротите. Да пишите мне оттуда!

Бойкие почтовые кони из донских, как бы чувствуя, что везут такого доку, как Тарханларов, подхватили его коляску живо и с громом понесли ее четверней по стихавшим улицам города.

VI

Штурм Перебоченской

Рано на заре генерал и Тарханларов проснулись в дороге, покачиваемые в коляске, в виду уездного городка, заброшенного в глухой поволжской юго-восточной лощине, между пологими каменистыми буграми.

Путники вошли в земский суд. Тарханларов, приезд которого сюда уже несколько подготовил данный ему помощник, был встречен тут всеми не без трепета. Но дело как-то пошло не очень плавно. Повестки хоть и были разосланы из суда к становому и в соседние села, но исправник отозвался делами, более не терпящими отлагательства, и, не дождавшись губернского следователя, вопреки его отношению, уехал из города в то самое утро в другое место. Так же поступил и уездный предводитель, не доставив советнику никаких нужных новых сведений о личности Перебоченской и о ее мнимом нездоровье, которое будто бы препятствовало доныне ее выезду из чужого имения. Когда Тарханларов явился в предводительскую концелярию, секретарь ее даже встретил его с некоторой иронией. Было заметно, что прежде чем повестки и помощник советника явились в город, лазутчики Перебоченской обо всех эволюциях нового, угрожающего ей штурма дали уже знать сюда из среды самого губернского правления, как Тарханларов ни старался свой быстрый выезд облечь тайною. «Даже Ангела к нам выслал,— острили о греке уездные чиновники по уходе Тарханларова,— но и ангел небесный не

сможет ничего с нами сделать, коли мы захотим! Вот оно как!»

Действительно, полномочный член высшей местной администрации, советник губернского правления, вооруженный наилучшими, определеннейшими инструкциями — «раскрыть наконец дело, во что бы то ни стало; отрешить всякого из чиновников, замешанных тут, если он найдет умышленные послабления со стороны их, и вывести Перебоченскую из имения Рубашкина даже силою, не принимая более от нее никаких отговорок и отписок, и всему составить подробный журнал»,— озадачился сразу, встретив эти первые каверзы, и чуть не потерялся. Явив в земском суде особый приказ губернского правления, он тут же сделал распоряжение об удалении от должности исправника, записал свое постановление в протокол суда, внес его и в свой особый секретный журнал, отметил в нем между прочим, что повестки о высылке в Конский Сырт понятых из соседних с ним сел посланы нарочно, для замедления понятых, не верхом, а пешком, через сторожа-инвалида из земского суда, хотя из города до этих сел было более сорока верст. Тарханла́ров должность исправника сдал земскому заседателю, распек и его предварительно на обе корки и взял с собой, а приставу стана, где был Конский Сырт, послал с конным нарочным от себя вторую повестку о немедленной явке на сборный пункт в Малый Малаканец, в квартиру Рубашкина.

К обеду того же дня, шестериком, на обывательских, Тарханларов прибыл с Рубашкиным и с земским заседателем в Малаканец. Там их встретил помощник Тарханларова, Ангел, а станового и понятых еще не было. Подождали они с час, другой. Ямщики влезали на крыши хат, выходили далеко в поле на бугры, смотрели, но никого не было видно.

— Что же их ждать! — решил советник,— начнем, откроем действия, заявим этой барыне последнюю волю начальства! На том, чем она нам ответит, оснуем дальнейшие наши меры. Может быть, к крутым и не придется прибегать! А пока рассмотрим еще бумаги. Вы, господин заседатель, в качестве исправника, потрудитесь в более близкие села от себя еще раз дать строгие повестки о сборе понятых; вот хоть в Есауловку, в Карабиновку, в Авдуловку и сюда, в этот Малаканец...

— Люди теперь в разброде, рабочая пора; к вечеру только с полей придут домой.

— Ничего, пишите. Хоть мало сперва, а соберутся.

Пересмотрели еще бумаги, все приготовили; дали повестки с ямщиками в Есауловку и по Малаканцу. Те съездили и воротились со словами, что понятые к Конскому Сырту будут сейчас.

Часа за три, за четыре до заката солнца, еще подождав станового и трижды уже заказанных понятых, Тарханларов и прочие поехали к усадьбе Конского Сырта. Что-то в душе говорило Рубашкину о не совсем удачном исходе дела; но красавец и молодчина губернский советник ехал бодро, весело мурлыкая про себя какую-то песенку и с любопытством поглядывая по сторонам.

— Местечко прелестное! — сказал он, завидев под склоном есауловских бугров над рекою Лихим зеленые низменности Конского Сырта,— у вас с руками оторвут на аренду эту землю даже мелкие здешние табунщики и сгонщики скота, если сами не пожелаете хлопотать...

— Я думаю сам хозяйничать.

— И дело.

Въехали экипажи во двор Перебоченской. Во дворе было тихо: ни одна душа не показывалась. Кухня, амбары и всякие пристройки молчали. Окна и крыльца дома молчали также. Когда власти подъехали, гремя колокольчиками, к главному крыльцу, в конце двора прошел от кухни к сараю, опустя голову и не поднимая глаз, низенький коренастый господин, или собственно прошли его длиннейшие рыжие усы: то был пан Жукотыньский, приказчик барыни. «Эй, ты! послушай!» — крикнул ему с козел коляски титулярный советник Ангел; но рыжий шляхтич прошел важною журавлиною походкой, руки в карманах балахона, опустя рыжие огненные усы чуть не до земли, и скрылся...

Тарханларов, земский заседатель и Рубашкин вошли в сени и в переднюю — ни души. Лазарь Лазарич Ангел остался у крыльца, хмуря черные кустоватые брови, сердито сопя и крутя черные усы. Он осторожно, как чуткая дрофа в степи, посматривал из-за коляски и лошадей во все углы двора, ожидая, где вынырнет шляхтич.

Едва Тарханларов взялся за ручку двери в залу, шепнув спутникам: «Мы пока сюда, а Лазарь Лазарич довольно надежная сила в арьергарде; он бедовый: его тронут, так он и ножом в бок пырнет!» — как дверь перед ним отворилась и на пороге показалась хозяйка

Палагея Андреевна Перебоченская. Рубашкин теперь был одет запросто, в летней парусинной накидке и без портфеля под мышкой фрака, как некогда, в первый приезд сюда. Старуха же встретила посетителей такая же сухощавая, сутуловатая и будто придавленная и забитая, хотя была особой почтенного роста, и попрежнему в темном притасканном платьишке и в чепце, перевязанном под подбородком и по ушам белым платком вроде того, какие носят нищенки-попрошайки. Она молча остановилась в дверях, держа грязный гарусный ридикюль и вопросительно подняв к посетителям сморщенное желтое личико и жалкие, убогие и будто плачущие глаза.

— Повелением высшего начальства! — звонко и отчетисто заговорил молодчина Тарханларов, выставя вперед румяные круглые щеки и вынимая из кармана бумагу,— приказано вас, сударыня...

— Не надо! вовсе этого не надо! — ответила старуха, тихо отодвигая бумагу.

— Как не надо! Воля высшего начальства-с... Что вы? шутить?.. Извольте слушать! Только надеюсь не здесь в передней, а как следует... в зале... у вас...

И он шагнул к порогу в залу. Перебоченская, однако, не двинулась с места.

— Я уже все это знаю... и вашу бумагу! — сказала она тихо, потупя глаза,— это все пустяки; я отсюда не поеду, я больна, стара, и всякие тревоги... особенно выезд... могут причинить мне... даже смерть!

Тарханларов оглянулся на своих спутников и насмешливо им подмигнул; Рубашкин степенно стоял сзади, выжидая, что будет; заседатель, не поднимая глаз, был бледен и стоял навытяжку.

— Вы можете мне говорить все, что вам угодно! — громко сказал опять советник,— но я имею предписание начальства, основанное, извините, на предыдущих ваших выходках и проделках, не принимая долее от вас никаких отговорок, вывезти вас из этого чужого имения-с... отобрать у вас всю хозяйственную движимость... сдать ее владельцу имения, до уплаты вами, по третейскому суду, денег за все годы аренды, а после расчета с ним дозволить вам из движимости и строений взять отсюда по особой новой расценке...

— И гурты и овец сдать ему? — спросила Перебоченская, указав пальцем на генерала.

— Сдать все пока... в виде обеспечения уплаты за десятилетнюю аренду...

— Никогда! я прежнему владельцу все уплатила... А хоть бы деньгами и не уплатила, не дам! У нас с ним счеты кончены...

— За что же он с вами тягался все последнее время?

— Оставьте меня и не тревожьте... прошу вас мне не грубить! Перед вами дама-с!

— Расписок у вас нет! формальный договор нарушен! Все, что ходит по этой земле, вами получено с земли же, а за нее вы ничего не платили... Следовательно...

— Разберут по суду... Какой вы суд? Вы полицейский чин...

— Суд давно решил дело против вас и столько лет ждал от вас, сударыня, доказательств; все здешние власти делали вам поблажки. Теперь уже делу конец. Вы оскорбляете администрацию, распорядительную власть, которая должна в точности исполнять решения суда; и она командировала наконец меня... Извольте выезжать отсюда; извольте пустить меня в залу и выслушать постановление губернского правления. Слышите ли? Имею честь рекомендоваться...

— Знаю, знаю...

— Я советник губернского правления...

— Да знаю же, говорю вам!

— Губернского правления, Тарханларов... И потому снова говорю...

Тусклые глазки барыни холодно и злобно завиляли. Лицо и ридикюль задвигались.

— Палашка! — крикнула она, не оборачиваясь, с порога.

Тарханларов, зная от Рубашкина проделки барыни и то, как она и генералу грозила Палашкою, невольно улыбнулся, приготовился взять Перебоченскую за руку и шагнул вперед.

— Позвольте мне, сударыня, пройти в залу и сообщить вам решение суда и окончательное предписание губернатора...

Он бережно взял старуху за сухощавую, в тревоге дрожавшую руку. Но в то же время за спиной хозяйки обрисовались два помещика: отставной прапорщик из букеевских ординарцев Кебабчи и не служивший нигде черноморский дворянин и соседний гуртовщик Хутченко.

— Удивляемся! — сказали разом оба господина, умышленно и как-то особенно неблаговидно бася и щетиной подвигаясь вперед из залы,— удивляемся вашей дерзости к дворянке... и не верим, чтобы вы были с такими полномочиями...

Перебоченская тотчас же, не оборачиваясь, попрежнему отрекомендовала обоих защитников своих и Тарханларову и Рубашкину.

— А это вот учитель музыки в здешних местах, господин Рахилевич! — прибавила она, почувствовав, что за спиной ее прибавилось еще одно лицо из внутренних комнат, юноша лет девятнадцати, румяный, пухлый, с бараньими, тусклыми и навыкат глазами,— он учит у моих родных и близок в доме господина предводителя!

— Однако же вы должны, сударыня, выслушать бумагу начальства и по порядку законов дать на нее отзыв! — отозвался, нисколько не теряясь, Тарханларов.— Повторяю вам, я советник губернского правления и прошу со мною не шутить...

— Полноте сочинять! Это, господа, может быть, и не советник вовсе! — громко объявил своим товарищам развязный учитель музыки Рахилевич, насмешливо пошатываясь за их плечами, с руками в широких зеленых шароварах и одетый в какую-то фантастическую голубую куртку с шнурками и бронзовыми стекольчатыми пуговицами.— Я советников всех в губернии знаю-с; это, должно быть, так себе, какой-нибудь канцелярист, для шутки нанятый Рубашкиным!

Рубашкин обомлел.

— Ну, спросите у него вид; есть ли у него, господа, вид еще? Не самозванец ли это? — прибавил Рахилевич, мигнув прапорщику Кебабчи, на которого, как видно, компания возлагала также немало надежд.

— Нн-да-с! — шаловливым басом и в галстук сказал медноцветный, как пятак, Кебабчи.— Попросите, Палагея Андреевна, этого господина, однако, в кабинет; пусть он нам покажет свой вид, паспорт. Может быть, это еще и по правде самозванец! Вы уж, сударь, извините нас: здесь страна всяких подлогов и самозванств; тут действовали Пугачев-с, Разин, разбойники из киргиз-кайсаков, Кудеяр и Кувыкан, Булавин и Заметаев...

— Так вы полагаете, что я тоже какой-нибудь Кувыкан или Кудеяр, подложный, а не настоящий чинов-

ник? — спросил, засмеявшись, Тарханларов, в то время, как сам он, однако, чувствовал, что еще мгновение и, пожалуй, в этой глуши, не подоспей понятые, его самого обратят в подсудимого, силой свяжут и под конвоем повезут, на общий позор и смех, в город, в его же губернское правление, вместо Перебоченской, которую он собирался взять силой.

— Нечего, нечего смеяться! — опять резко перебил учитель музыки Рахилевич.— Давайте-ка лучше ваши бумаги! Не на дураков напали... Нас не проведете — стреляные!..

— Пожалуйте в кабинет! а в залу я вас все-таки не допущу: у меня дела и сама я больная! — сказала со вздохом хозяйка и тут же от порога ступила через лакейскую в соседний, особый, темноватый кабинетик.

Тарханларов, Рубашкин и бледный заседатель, переглядываясь между собою, вошли туда за нею. Кебабчи, Хутченко и Рахилевич вступили туда же и кинулись запирать двери. Их лица глядели мрачно, а резкие, порывистые движения показывали, что они были готовы решиться на все. Рубашкин глянул на помертвелого заседателя, и у него самого точно холодная водица полилась по спине и мурашки в желудке задвигались...

Все сели. Тарханларов внятно и внушительно стал читать грозную бумагу о своей командировке, снова попросил Перебоченскую не упорствовать, потому что скоро вечер, а он к ночи должен все покончить, не принимая от нее никаких отговорок, и протянул бумагу слушателям, чтобы все ее рассмотрели.

— Бланки и подписи действительно подлинные! — сказал медноцветный Кебабчи,— но этому все-таки не бывать никогда, никогда! пока в наших жилах течет дворянская кровь!

— Не бывать! — подхватили его товарищи.

— Да-с!..— решила и хозяйка, завиляв глазками и теребя в руках ридикюль.

— Пожалуйте отзыв! — сказал Тарханларов.

— Вот он! давно написан на эти ваши бумаги...

И она подала советнику готовый отзыв по всем пунктам грозного решения.

— Новое преступление! — объявил советник, быстро пробежав отзыв,— я его кладу при вас, господа, в карман и записываю в журнал следствия; оказывается, что секретнейшие и важнейшие бумаги начальства переда-

ются сюда из города в копиях и прежде, чем в подлиннике, попадают к виновным! Отлично! Ай да местечко-с!..

— Кладите! — выстрелил в него глазами Рахилевич.— Мы и не прячемся от вас; эка гроза какая! Бумагу эту сообщил нам сам уездный председатель, а он — извините! человек со связями-с, имеет везде лазутчиков против крючков; в обиду своей дворянки не даст никому, а я у него учу в семействе-с...

— А, так вот как! Вы видели, слышали, господин заседатель? Ответ уже готов и подписан! Я его принимаю не как довод к отказу, а как улику к прежним преступлениям здешних властей...

Заседатель молча поклонился, продолжая мигать оторопелыми глазами.

— Так я повторяю,— начал опять Тарханларов, вставая и выпрямляясь во весь рост,— угодно ли вам, госпожа Перебоченская, без всяких дальнейших проволочек, сегодня же,— слышите? сегодня же к ночи,— выехать отсюда и все сдать господину Рубашкину?!

— Нет... никогда! Я больна, стара, и притом же...

— В таком случае я открываю присутствие и через полчаса арестую вас силою и под стражей препровожу в город! — брякнул советник.

Заседатель даже привскочил на месте.

Перебоченская задергала опять пальцами, но ни слова не ответила.

— Можете открывать присутствие! — забасили еще неприязненнее Кебабчи, Рахилевич и Хутченко.— А мы будем смотреть...

Наглость всего этого начинала взрывать Тарханларова. Он вышел в лакейскую и на крыльцо. На нежных полных щеках его показались багровые кружки. Глаза его затуманились. Он отер платком лоб и сказал заседателю: «Где б нам открыть присутствие и начать действовать?»

— В каретном сарае! — ответил стоявший на крыльце Лазарь Лазарич Ангел, от злости и от расходившейся в нем греческой желчи уже ставший желтее лимона.— Тут небывалый воровской притон — все штуки идут, как по маслу; ждал я, ждал, пошел к кухне — заперта на ключ; глянул я в окно, пуста — одни мухи бьются в стекла... Я в людскую избу, в конюшню, под сараи,— везде пусто. Устроим присутствие в каретнике: там, кстати, стоит какая-то перевернутая кадка... На ней и писать можно...

— Доставайте, господа, из коляски припасы! — сказал Рубашкин, обмахиваясь платком.

— А нам? — спросили обывательские ямщики.

— Распрягайте лошадей и ступайте по домам. Мы отсюда на других лошадях выедем!

Ямщики отправились выпрягать коней.

— Господа, в каретник.

Тарханларов по-прежнему легко и свободно зашагал от крыльца по двору, однако же прибавил:

— Жаль, господа, что мы не распорядились о более значительном числе понятых; кажется, здесь не совсем безопасно! что это значит? и станового до сих пор нет?

— С одной стороны, тут сущая Татария, Курдистан; а на другой и матушка Русь здесь же, как дома, расположилась! — пустился рассуждать вслух Рубашкин.— Мне это приходило в голову еще, как я первый раз сюда приезжал! Ждешь тут, что убьют тебя, либо зашьют как раз в мешок, да и в воду! а тут же скворец вон тихо прыгает в клетке, девка белобрысая чулок вяжет, барыня пасьянс в гостиной раскладывает, тупоумный тульский маятник упорно постукивает в лакейской, точно в бессонную ночь где-нибудь на станции, когда ждешь лошадей...

Посмотрели господа в поле из-за конюшни: не было видно еще ни станового, ни понятых. В сарае на полу было множество голубиных следов. Ласточки с звонким криком влетали в щели над воротами и опять вылетали отсюда. Прочный новый тарантас барыни стоял под полотняною покрышкой в одном углу, в другом возвышались развалины старинной кареты. Сметя сор с опрокинутой кадки, заседатель и Лазарь Лазарич приготовили канцелярский бивуак. Тарханларов рассказал заседателю, как ему писать, и тот с дрожащими руками присел с пером и с бумагами на тарантасный сундук к кадке. Прочие все вышли из сарая. На дворе по-прежнему было тихо и не видно живого существа, как на площадях крепости перед последним натиском осаждающей армии.

— Что это заседатель ваш так трусит? — спросил Рубашкин Ангела.

— В переделке был здесь,— значительно ответил Лазарь Лазарич.— Он был в тот самый въезд властей сюда, когда Перебоченская высланному к ней чиновнику особых поручений дала пощечину. Все и скрыли. Чиновник переждал, да скорее и дал тягу куда-то на север.

— Вот то-то и беда,— возразил Рубашкин,— что все трусят и скрываются; ты побит, и опубликуй сам! Что за стыд быть ударенным бешеною лошадью или дикою киргизскою коровой!

Тарханларов почесал у себя за ухом.

— Ну, нет, господа: с нами она этого не сделает. А иначе, либо я сам не пожалею с нею сил, либо рапортом донесу обо всем в наготе высшим властям. Что вы думаете? Ведь об оскорблении чиновника на службе... да еще в такой беззащитной глуши... обязаны будут по законам донести лично государю...

— И донесут! Вот меня не раз помяли. Доносили... Что же? Отписывались! — сказал, крутя черные усы, Ангел.

Тарханларов покраснел. Он долго молчал, прислушиваясь к скрипу пера заседателя.

— Господа! теперь не зевать! Готова будет бумага, составится журнал первых действий... Скоро все поспеет? — спросил Тарханларов.

— Составлено, готово все-с...

— Подписывайте, господа. А вот, кстати, и понятые...

Все подписали вступительные бумаги. У сарая во дворе показались первые понятые, так себе, какие-то серенькие переминавшиеся мужички, из поселян поплоше.

— Вот наша верная опора! — иронически подмигнул товарищам на понятых Тарханларов, прочел вслух мужикам бумаги, разъяснил им смысл дела и велел всем смотреть в оба и слушаться строго его приказаний.

— Будете слушаться? — гаркнул под конец советник.

— Будем! — отозвалась кучка понятых, едва шевелившихх от страха языками и уныло почесывавших спины и затылки.

— Переписать их по именам!

Заседатель переписал. Подождали еще. Солнце клонилось уже к закату.

— Будут еще ваши? — нетерпеливо спросил Рубашкин.

— Будут, верно... десятские сгоняют с поля! как не быть! верно, будут...— ответили понятые, глупо и пугливо переступая с ноги на ногу.

Вдали в поле еще показалась кучка понятых. Ангел крикнул от плетня:

— Еще идут!

— Теперь, господа, прямо в дом! — решил Тарханларов,— отыщите лом или молоток, если дверь в залу опять запрут, надо будет при понятых выломать, всех из дома взять под арест и скрепить наши меры новым журналом.

Нашли какую-то железную полосу. Уже двинулись было к крыльцу, как Лазарь Лазарич, успевший с этою запуганною толпою земских поличных обнюхаться по-своему и перемолвиться по душе, шепнул советнику:

— Надо отрядить часть понятых в поле. Один из них сейчас сообщил, что поляк-приказчик этой барыни туда поскакал задами, собирает сгонщиков и намерен, как видно, угнать куда-нибудь с этой земли, если не все гурты скота, так табун лошадей или часть овец.

— Что это, сдача или отступление?

— Далеко до сдачи... Спешите!.. Это просто одна из азиятских хитростей...

— Кого же послать? Отряд понятых и так у нас мал, а мы и обывательских лошадей отослали по домам! Эй вы, понятые!

Часть мужиков отделилась к каретнику.

— За мной, в барскую конюшню. Садитесь сейчас на коней и гайда в степь...

Наскоро Тарханларов свернул замок у конюшни, мужики оттуда вывели тройку упряжных лошадей, последних, какие там были, и иные из них уже стали моститься сесть без седел на жирных скакунов.

— Не трогать барских коней! — раздался с прибавкой крупной брани крик с крыльца.

Мужики оторопели. То был голос знакомого им соседа их, прапорщика Кебабчи.

— Садись! — крикнул, в свой черед, советник.— Как вы смеете не слушаться?

— Не садись; убью первого, кто осмелится! — прибавил с крыльца Кебабчи, в патронташе и размахивая ружьем.

Мужики раскрыли рты от изумления и выпустили поводья. Прапорщик Кебабчи с крыльца продолжал ругаться вслух, ничуть не стесняясь присутствием чиновников. Титулярный советник Ангел не вытерпел, сам схватил первую выведенную лошадь за повод, потрепал ее по спине, вскочил на нее и во всю прыть понесся за двор, крича понятым: «За мною!» Двое ободранных мужиков прыгнули также на лошадей и вскачь скрылись за конюшней. Выстрела с крыльца не последовало, хотя

Кебабчи довольно решительно и грозно еще там потрясал ружьем. Остальные понятые ожили также. «Все-таки власть! — думали они, теснясь у конюшни,— нас бы тот барин сразу пострелял, а по чиновникам так и не целится!»

Тарханларов приказал понятым идти к крыльцу. Кебабчи отступил внутрь дома, а власти с мужиками вступили в сени.

Чиновники вошли в лакейскую; понятые разместились тут же и в раскрытых сенях. Зала была по-прежнему затворена. Заседатель попробовал: она была заперта на замок.

— Видите ли, ребята,— начал Тарханларов,— я послан от губернатора, а он назначен властью еще высшею. Я старший чин в правлении по губернии, и мне велено эту барыню взять силой, так как она закона не слушается, а все это имение отдать этому барину.

Он указал на Рубашкина.

— Да мы все это знаем давно! — робко и вполголоса отозвались некоторые понятые,— только уж как бы нам чего не отвечать!

— Знаете? тем лучше. Вот и бумага об этом. Барыня заперлась; надо сломать замок. Давайте опять лом... Я разбиваю двери, чтоб вы видели...

Подали советнику снова железную полосу. Тарханларов нажал ею на замок; дверь отскочила: в зале было пусто. Он заглянул в коридор — везде тихо, ни души. Он поставил часть понятых следить вдоль коридора выход из дому к другому крыльцу, а сам через залу подошел к запертой двери в гостиную. Но едва он нажал лом и на эту дверь, как в нее из гостиной разом что-то навалило, и с криком и воплями в залу выскочили: сама хозяйка, помещики, ее защитники, Кебабчи и Хутченко, учитель музыки Рахилевич и вся тесноскученная и озадаченная дворня барыни: горничные, повар, батраки, кучер, ключник, даже дворовые дети. Последние взревели, едва дверь отворилась.

— Караул! разбой! караул! грабят! режут! — заорали господа и слуги.

Некоторые из дворни оказались вооруженными: кто палкой, кто кочергой, одна баба с половой щеткой, кучер с косой, а Кебабчи по-прежнему в патронташе с ружьем.

Тарханларов невольно потерялся.

— Вы, господа, вижу я, всему зачинщики и подстрекатели,— сказал он Рахилевичу, Кебабчи и Хутченко,— вы более всех будете отвечать. Но до вас очередь дойдет после! Понятые! слушать моих приказаний! — гаркнул он, сильно повысив голос.— А вы, дурачье, безмозглые, дворня вашей барыни! Вас только перепорят за то, что вы мешаетесь, куда вас не зовут! Ну, чего стоите! Девки, бородачи! марш по своим углам!

Молодцеватый голос Тарханларова звонко раздался в зале, где вслед за первым появлением домашней засады воцарилась было мгновенно мертвая тишина. Дворня осунулась. Перебоченская стояла в задних рядах, тормоша ридикюль и поглядывая, как крыса, атакованная ловкою и наметанною кухаркой в углу комнаты, откуда некуда было податься.

— Вона! — весело крикнул вдруг Рахилевич, нагло пошатываясь, опять с руками в карманах широких зеленых шаровар.— А вы, ослы, и опешили? Думаете, взаправду это важная птица налетела! Да это не губернаторский советник, а панок из Боромли! Я его в карты обыгрывал, ей-богу! Это Рубашкин его за десять целковых нанял... комедию отколоть!.. Это самозванец! Ведь вы слышали, что тут, на Волге, бывали прежде самозванцы, которых после в железных клетках отвозили в столицы? Это и есть один из таких...

— Понятые, вперед! — гаркнул еще громче мнимый «панок из Боромли», почувствовавший всю бездну, в которую его могли столкнуть,— берите прежде этого господина Рахилевича! Я вам приказываю...

Он оглянулся и невольно побледнел. Понятые не трогались с места.

— Ну, ей-богу же: вот побожился вам, что это самозванец, и я его отлично знаю! — опять спокойно прибавил Рахилевич.— Не нас, а его надо связать, чтоб шуму-то в порядочных домах не делал...

— Самозванец! Панок из Боромли! и мы его знаем! — добавили решительно и Хутченко и Кебабчи.

Тарханларов, однако, снова не потерялся, хотя первое мгновение для него вышло убийственное, и понятые уже начали было подозрительно посматривать на него самого, помышляя, «что, дескать, и одет-то он запросто, и мундира богатого на нем нет, и не при сабле; бог его знает, кто он такой, а знакомые господа божатся и смеются над ним...»

— Что же вы молчите? — отнесся Тарханларов вслух к стоявшему сзади его заседателю.— Вы здесь непремен-

ный заседатель земского суда, вас должны все тут знать, в самом этом доме вы не раз были, а теперь вы у меня под командой... Что же вы молчите?

— Что вы, что вы,— крикнул Рахилевичу заседатель.— Опомнитесь. Какие шутки! Ступайте вон отсюда! — прибавил он дворовым людям Перебоченской.

Горничные отступили первые, за ними наемные батраки: отступление готово было начаться полное...

— Что вы, господин Рахилевич, разве ослепли? — спросил опять заседатель, обращаясь к защитнику хозяйки.

— А ты забыл, собака, что у меня десять пар волов в подарок недавно получил? — шепнула заседателю сзади хозяйка, ухватя его за рукав.

Заседатель стал опять ни жив ни мертв.

— Ребята, взять Рахилевича! — скомандовал Тарханларов и, когда понятые двинулись за ним, сам подступил к учителю музыки и наложил на его плечо руку.

— А, брат! Так вот же тебе что! — крикнул Рахилевич и, как видно обдумав все наперед с товарищами, кинул чем-то мелким в глаза советнику.

Ослепленный Тарханларов рассвирепел, бросился вбок, желая ухватить руками негодяя, но тот ускользнул. И в то же мгновение Тарханларову показалось, что в зале началась непостижимая свалка... Он кое-как выскочил в сени, дорогой обо что-то сильно ударившись виском, долго тер глаза и минуты через три, сквозь слезы усилился оглянуться в дом. Понятые в зале в общей суматохе силились взять Рахилевича; дворня его с ругательствами отбивала.

— Воды, вот вам воды в глаза,— сказал Рубашкин, появившись с девичьего крыльца со стаканом воды,— промывайте скорее! Это страсть, что за вертеп! Боже! куда мы попали! Заседателя Перебоченская с девками связала и кричит, что под караулом пошлет его и всех нас в город.

Тарханларов дрожал от бешенства и наскоро стал промывать глаза и ушибленный до крови висок.

— Где Лазарь Лазарич? — спросил он.

— Еще не воротился с поля...

— Велите посмотреть, не едет ли?

Рубашкин распорядился.

— Я ничего не сделал противозаконного, крайнего? — спросил он Рубашкина.

— Ничего... вы действовали пока очень кротко... даже чересчур...

— Слава богу! Тут как раз потеряешься. Счастье, что револьвера не выхватил из кармана: вот он; в такие командировки я иначе не езжу!

Он вынул револьвер.

— А! вот и Лазарь Лазарич! Что нового? Без вас дело тут не обойдется...

— Я с поля... гурт отшиб, а табун угнали, должно быть, к Кебабчи в другой уезд, либо к Хутченко, на соседний хутор. К утру и там уже их не найдем... известное дело: Кебабчи тут первый, как я узнал, конокрад, а Хутченко женат на цыганке и через родичей своей жены сбывает всех ворованных лошадей...

— Где же отбитый гурт?

— Наши понятые гонят его со степи: пастухи и гонщики арестованы. Я собрал еще новых понятых и привел сюда на подмогу. Станового же нигде и не найдут; как в воду канул в своем стане... Как идут дела у нас?

Тарханларов, утираясь, наскоро передал о том, что произошло в доме в отсутствие Лазаря Лазарича; но о виске прибавил, что в этом виной он сам, ударившись о притолок двери.

Лазарь Лазарич недоверчиво покосился на висок советника и стал прислушиваться к шуму в зале. Кто-то там неистово горланил; десяток голосов ему еще безобразнее вторили, а остальные оспаривали этих. Грек взглянул с крыльца на солнце, уже заходившее за сад, и спросил: «Что же? или еще ожидать? не распорядиться ли по-нашему, по-былому? Приказываете?.. Еще минута, и нас всех запрут в подвал, а после обвинят в буйстве... Надо ловить время... Вы знаете, что такое наши понятые и настроение их умов в такой глуши?» Тарханларов сказал: «Действуйте!» Шум в зале увеличивался... Тарханларов вынул бумажник и стал наскоро записывать происшествие. Глаза его сильно жгло; висок болел сильнее, Лазарь Лазарич подумал, прыгнул с крыльца, сбегал за ворота, взял оттуда еще кучу приведенных понятых, в числе которых были и два благообразных молодца, один в гражданском пальто, а другой в синей чуйке, и с ними смело вошел в дом.

— Кто это? — спросил Тарханларов есауловского десятского, также подоспевшего к крыльцу.

Десятский уже знал о важности всего происшедшего в доме и без шапки, с палкой, стоял у крыльца.

— Это наши-с, ваше высокоблагородие...

— Ты же кто? Чей?

— Есауловский десятский, а те двое понятых из наших парней.

— Отчего же они одеты не по-мужицки?

— Один, ваша милость, из нашей барской музыки, флейтист, Кирюшка Безуглый, а другой — сын нашего приказчика, Илья Танцур...

— Зачем же ты привел дворовых? Надо бы лучше было из хозяев, из надежных мужиков...

— Все в поле; приказчика дома нет, я без него не посмел; а эти, почитай, сами напросились, ну, я их и взял! Они так почти у нас маются, ничего не делают...

Рубашкин, узнав Илью, догнал его в лакейской.

— Что жена вашего священника? Жива? Я и не спросил о ней за хлопотами в Малаканце...

— Живы! Легче стало от лекарств того барина-с...

— Саддукеева?

— Да-с...

«Господи,— подумал Рубашкин,— вот бы узнать Саддукееву, что тут делается; пожалуй, ста лет жизни мало будет, чтоб все это пережить».

В то же мгновение, сквозь шум и гул в зале, раздался опять женский визг, а потом общие крики: «Режут, грабят!»

— А! пошел на приступ Лазарь Лазарич! — сказал советник,— оно точно, с моею властью я лучше останусь здесь, последнею вашею, генерал, надеждою...

Грек тихо вошел в залу, осмотрел присутствующих, наметил среди них зеленые штаны и голубую куртку Рахилевича, кинувшего песком и золой в глаза Тарханларову, и, ни слова не говоря, подошел к нему, обхватил его, поднял от полу и побежал с ним из толпы в сени. Визг и крик провожали его. Рахилевич, сдавленный на его груди, болтал ногами, старался в отчаянии и бессилии зацепиться обо что-нибудь, выбиться из его рук и даже несколько раз метил укусить Лазаря Лазарича за щеку, но тщетно. Бросив с крыльца Рахилевича к Тарханларову, грек опять кинулся в залу. Он прыгал, как кошка, и бешено сверкал налитыми кровью и желчью глазами. Тарханларов, приняв Рахилевича, велел его сейчас же связать чьим-то поясом и стал громко читать наставления бывшим у него в отряде понятым. Эти последние, держа уже такого немаловажного пленника, как Рахилевич, хранили молчание. Сознание сил и своего значения к ним возвращалось. Шум в зале снова усилился. Теперь там гремел или скорее ревел безобразный женский голос. «Бей его, стреляйте по нем, стреляй-

те! — кричала Перебоченская.— Слышите, я все на себя беру!» — «Ружье в кабинете!» — пугливо отвечал голос Кебабчи. «Палашка! Палашка! Где ты? Ружье принеси из кабинета! Убить этого разбойника! убить его!» — «Веревок!» — не теряясь, заревел толпе Лазарь Лазарич. Толпа не двигалась в зале. В растворенные двери от крыльца сюда заглядывали остальные понятые и также трусили. «Да что же это, братцы? — отозвался в смолкнувшей зале голос Ильи Танцура,— овцы мы, что ли? Надо исполнить приказ его благородия! Ведь это царские чиновники!..» — «Надо!» — подхватил из-за плеч Кирилло Безуглый. «Ах, вы, мошенники, сволочь, бродяги! — крикнула им Перебоченская.— Вот и отца твоего, Илюшка, вызову! Палашка, розог!» Илья Танцур молча выскочил на крыльцо, за ним Кирилло; они быстро пробежали к конюшне, потом опять в дом, неся веревки и вожжи. «Да где же Палашка! — кричала между тем уже тише Перебоченская,— где Палашка?» В зале вдруг стало редеть. Дворня отступала на всех концах. Лазарь Лазарич с кем-то боролся в углу залы, между обеденным складным столом и дверью в коридор; пыль столбом поднималась там от полу; это был опрокинутый грудью к ребру стула Кебабчи. Раздалась последняя усиленная возня и сдержанные мужские стоны: «Полноте, мусье, экуте[1]! Что вы делаете? Не троньте меня, отпустите! Ой, пальцы, пальцы! Ногу скрутили, переломите. Слушайте, сто целковых дам...»

— Бассама-теремте-те! — бешено рычал на это, возясь над Кебабчи, длинноусый грек.

Из сеней на крыльцо показалась торжественная процессия. Шестеро дюжих понятых и впереди всех два есауловских приятеля, Илья и Кирилло, красные и в поту, вынесли связанного вожжами прапорщика Кебабчи и положили его на крыльце перед Тарханларовым. Освобожденный от рук девок и баб, заседатель рассвирепел в свой черед и с понятыми из кучи буянов взял Хутченко, связав и ему каким-то полотенцем назад руки. Между тем окончательно вошедший в ярость и деятельность грек решительно преобразился: сыпал полурусские, полугреческие ругательства, сверкал желтыми белками и с пеной у рта метался везде, как тарантул. Из-под расстегнутого форменного сюртука у него Рубашкин заметил какую-то кожаную сумку и на перевязи будто кинжал; чуть ли даже кольчуга не померещилась

---

[1] Слушайте! *(фр.)*.

на греке генералу, хотя, быть может, кроме смиренных помочей да заношенной красной греческой фланелевой фуфайки на нем ничего не было. «Герой Колокотрони да и баста!» — невольно подумал генерал Рубашкин, глядя на отчаянного грека из-за спины других и будучи сам в свалке сильно помят, храня разумный и спокойный нейтралитет.

— А, мерзавцы! А, ослушники! так вы за тех, кто не покоряется закону, не хочет знать чиновников! — кричал на дворню Лазарь Лазарич,— вы ослушивались его?

И он указал на Тарханларова, стоявшего у крыльца в кругу окончательно собранных и готовых теперь на все понятых. Тут уж было их человек под сто.

— Марш все в кухню; вон до единой души из этого разбойничьего дома! Обо всем донесется высшему начальству! Вон, собаки... бассама-теремте-те!

Грек стукнул ногою по крыльцу, на котором, охая, лежал Кебабчи, и дворня, как стадо овец, бросилась кучами врассыпную к кухне и людской.

— Что прикажете делать теперь? — с особенным умышленным почтением и даже раболепием спросил Лазарь Лазарич Тарханларова, вытянувшись и держа руки по швам.— Приказание вашего высокоблагородия исполнено: господа Рахилевич, Кебабчи и Хутченко арестованы; прикажете арестовать и госпожу Перебоченскую? Но смею еще прибавить, что эти два понятых (он указал на Илью и на Кириллу) были главными и лучшими моими помощниками.

Тарханларов важно взошел на крыльцо. Грек почтительно опустился вниз к понятым. На дворе между тем темнело окончательно. Слова «арестовать Перебоченскую» произвели магическое впечатление на понятых, мысливших в это время: «Неужели найдется та рука на свете, чтобы могла покорить и эту бедовую барыню?»

— Сотские и десятские вперед! — скомандовал Тарханларов, Юпитером рисуясь на площадке крыльца.

Вызванные выступили к крыльцу.

— Разборка тем из вас, негодяи, кто опоздал и кто потом не слушал первых моих приказаний, будет после. Есауловским понятым объявляю мою благодарность. Отчего так поздно сошлись понятые! Сотские! ваш ответ?

— Мы от станового ничего не получали, а явились по вашим уже повесткам, ваше высокоблагородие.

Тарханларов, желая еще более придать силы своему опрокинутому было значению, крикнул заседателю:

— Записать все это в протокол! — и прибавил: — Отрядить часть понятых на всю ночь в здешний сад к садовым окнам дома, а часть к окнам во двор. По два к каждому окну! Лазарь Лазарич! Вы извольте принять этих господ дворян под собственный ваш надзор на ночь; надо бы их посадить... куда бы?

— В сарай-с... сена туда можно принести для постелей.

— Нет, в людскую... извольте их посадить в людскую!! Господа! вы отдадите во всем отчет высшему начальству за ваше буйство, за возмущение понятых и за поведение ваше против меня.

— Посмотрим! — сказал по-прежнему развязно, хотя уже тише, юный Рахилевич,— разве ошибиться нельзя было?

Дворян повели в людскую. Вокруг дома поставили густые караулы.

— Да нельзя ли нас накормить ужином, господин советник? — спросили дорогой, идя под арест, Кебабчи и Хутченко.

— Ужин вам, господа, будет после, в остроге! — значительно перебил их Тарханларов.

— Вот тебе и чи-чи-чи, ко-ко-ко! — шепнул товарищам трухнувший прежде всех и более всех прапорщик Кебабчи, когда грек их запирал на ключ в людской и ставил возле узеньких окон этой избы и у дверей особенно сильный караул, зорко обнюхивая каждое бревно и каждый угол. До некоторых вещей грек, как осторожный таракан в поисках пищи, даже будто дотронулся носом и концом своих огромных усов.

Сам же Тарханларов, заседатель и Рубашкин, с отборными стариками из понятых, вошли в дом и узнали от знаменитого дромадера[1] Палашки, под предводительством которой девки связали было заседателя, что барыне дурно и что она заперлась в спальне. Чиновники предложили ей выйти к ним и присутствовать при описи вещей, и, когда она отказалась, стали сами производить опись. Рубашкин, все еще потирая себе сильно помятые в суматохе бока и чьим-то сапогом оттоптанные мозоли, не захотел, однако, тотчас принимать дома с прочею утварью, а попросил все опечатать и сдать пока на руки земской полиции, то есть заседателю с сотскими, а Перебоченскую утром отсюда вывезти по точному смыслу инструкций губернатора. Дом и мебель скоро были

[1] Одногорбый верблюд *(фр.)*.

описаны. Пошли с фонарями в амбары, в сарай, в батрацкие избы, везде. Описали и там все, заставляя сотских считать всякую движимость. Поляка-приказчика Жукотыньского понятые нашли полумертвым от страха где-то на чердаке птични. Он оказался тут же, по собственному признанию, беспаспортным мещанином из Польши, совершенно потерялся, стал просить о помиловании, упал на колени, ломал себе руки, взывал к Иезусу и Марии и вызвался выдать все имущество Перебоченской. Тарханларов, видя эту жидкую на расправу личность, приказал есауловскому десятскому взять мнимого шляхтича на веревочку, как бродягу и наглеца, солившего целому околотку, и, в назидание другим, водить его так при описании имущества Перебоченской. Комнаты, сундуки, шкап и кладовые, наконец, опечатали. Рахилевич в окно вымолил позвать грека, доказал ему, что без папироски и без еды он умрет, а что без ужина и самим чиновникам плохо будет спать, и настоял на том, что отыскали-таки в общей суматохе повара хозяйки и заказали кое-какой ужин.

Зала в доме была обращена в канцелярию. Из понятых оказалось двое весьма грамотных, именно те же флейтист Кирилло Безуглый и есауловский садовник, Танцур, помогавшие арестовать сильного буяна Кебабчи. Тарханларов их отрядил в помощь заседателю писать копии с журналов, с протоколов и с извещений и для переписки к рукоприкладству по именам всех понятых, которым советник велел также приготовить ужин, и, переписав и накормив их, ни одного отнюдь не отпускать по домам. Садовник Илья Танцур, главный герой после грека в арестовании Кебабчи, оказался грамотнее флейтиста, и заседатель предложил, чтобы он, по отобрании рук от понятых, везде за всех, как это водится, и расписался. Тарханларов согласился. Перья заскрипели; понятых переписали; они расположились у окон, у дверей дома и у людской. Дворня также была вся переписана по именам, и с поникшими головами сошлась в кухню шептать о том, каких беззаконий они наделали сдуру и что с ними будет. Грек предложил арестовать до утра и всю дворню барыни. Сперва было Тарханларов это отвергнул, но потом согласился, и у кухни поставили также караул. Перебоченская сидела между тем в спальне, запершись там с горничною. Рубашкин подходил к ее двери в коридоре и смотрел в замочную скважину. Барыня оказалась сидящею перед

столом на кровати. Она плакала, верный страж ее, Палашка, стояла перед нею и также плакала.

— Пойти бы, однако, к ней! — сказал Рубашкин, прогуливаясь по саду с советником.

На дворе была уже ночь.

— Нет, пусть прежде подготовят остальные бумаги. Я предложу ей скрепить все описи ее рукою; если она откажется, то по закону, при особом об этом протоколе, за нее подпишем мы, чиновники, и тогда посадим ее в ее же тарантас и рано на заре за конвоем вывезем с этой земли...

— А как она опять вернется сюда?

— Тогда вам останется обзавестись одним... именно пушками! — сказал, шутя, Тарханларов, ощупывая между тем рукою в кармане брюк револьвер,— и храбро отбиваться от нее, как отбивались тут недавно еще наши предки от предков ныне мирных наших соседей — татар! Едва я ее вывезу, мои полномочия кончатся... Но я надеюсь, что теперь уже она сдастся... Главные помощники ее разбиты и обесславлены в глазах всех теперь навсегда!

Собеседники подошли к краю сада, где стояла голубятня, знакомая Рубашкину. Генерал напомнил об этом Тарханларову.

— Отлично! Надо бы увидеть, однако, эту Фросю! — сказал советник,— она лицо обиженное; нельзя ли от нее выведать еще чего-нибудь об имуществе, взятом нами штурмом у этой сатрапихи? Надо крикнуть грека!

Грека собеседники нашли у окон людской на стуле. Он сердито сопел и курил из длинного витого чубука. Переговоря с советником, он из кухни в сад прислал с сотским требуемую Фросю.

— Не плачь, милая, ничего не бойся! скажи, как была эта история у тебя с голубятней?

Горничная ободрилась и все рассказала.

— Есть еще одно дело! — прибавила она, пугливо озираясь.

— Что ты? Говори, не бойся.

— Коли на то пошло, ваше благородие, знайте, все скажу. Пусть не срамят нас... барыня поедом заела всех...

— Ну?

— Барыня через Палашку достала водки и караульных возле дома два раза уже поила. А сама Палашка с каким-то письмом барыни вышла сию минуту со двора, требовала лошадь тут у одного понятого с повозкой, тот

не дал, и она пешком полем куда-то пошла. Должно быть, в хутора за Лихой, а оттуда наймет подводу-с...

— Спасибо тебе, душенька,— сказал Тарханларов,— вот тебе целковый. Ступай и все нам говори, что еще узнаешь...

Фрося ушла.

— А! Каково! вот вам и наши средства, наши силы в подобной глуши! — сказал советник генералу, который между тем думал: «Однако же эта девочка, тово... хорошо бы ее отбить у флейтиста, хоть он, правда, и помог нам тут. Поселюсь, увижу...»

Опять поднялась суматоха. Понятых перебрали. Часть их уже была навеселе. Их заменили теми, которые были у амбаров. Лазарь Лазарич донес, что два батрака верхами ускакали также куда-то еще в то время, когда он вязал прапорщика Кебабчи.

— Где этот Жукотыньский? — спросил Тарханларов.

— В погребе, в подвале, я его туда запер.

— Позовите его; надо начать переговоры с барыней. Бумаги кончаются... Поляк запуган, стал уже «падать до ног», так он на свою былую хозяйку может произвести хорошее влияние...

Пошли с фонарем к подвалу. Часовые с дубинками стояли у дверей, но поляк тоже исчез...

— Э, да что же это, наконец, делается? — сказал Тарханларов.— Хвороста сюда! Разложите осторожно костры среди двора. Светлее и дальше будет по двору видно. Фонарей сюда к крыльцу. Как тебя звать, садовник?

— Илья Танцур...

— Ну, отбирай руки у понятых. Зови их сюда частями. Слушайте о том, что вы будете подписывать...

Тарханларов шепнул Илье, чтоб тот поговорил с понятыми, и приказал заседателю громко прочесть формальные акты всему ходу дела, первому появлению чиновников в этом доме, буйству хозяйки и ее знакомых дворян, аресту их и, главное,— сопротивлению властям и оскорблению советника и других чиновников во время отправления ими своих обязанностей. Понятые выслушали. Илья с Кириллой уговаривали их слушаться советника и не бояться никого.

— Так все тут написано, как было?

— Так... точно, так, ваше высокоблагородие...

— Давайте руки Илье Танцуру... Согласны? Вы его знаете и верите ему?

— Согласны, знаем его и верим ему...

Понятые, вздыхая и почесываясь, дали руки. Илья за них подписал акты. Были призваны другие из понятых, все сотские и десятские. Подписали, наконец, все.

К Тарханларову подошла какая-то плачущая баба в платке и объявила, что барыня просит его к себе в спальню. Советник попросил Рубашкина, заседателя и грека ждать в зале и явиться к нему по первому зову, а сам пошел к хозяйке.

Он застал ее на диване. Лампада слабо освещала комнату; свечки в комнате уже не было. Со стула возле Перебоченской поднялся какой-то толстый черномазый человек, род мещанина.

— Это кто?

— Извините, что без вас я приняла его: это есауловский приказчик пришел меня, бедную, проведать, Роман Танцур.

— Кто же тебя сюда пропустил? — спросил Тарханларов, думая: «Как это все делается тут? Горничная ушла мимо сторожей; явилась к пленнице снова посторонняя баба, а тут этот приказчик!..»

Роман Танцур смолчал, смиренно потупившись, и только поклонился.

— Господин советник! — начала жалобно Перебоченская и встала, судорожно потрясая ридикюлем.— Мы здесь одни...

— Что вам угодно?

— Вот-с, возьмите триста целковых... прекратите дело.

— Что вы, сударыня! опомнитесь!..

— Вот возьмите тысячу! Вот, вот... возьмите...

Перебоченская дрожащими руками стала наскоро вынимать из ридикюля пачки депозиток.

— Вы снова оскорбляете меня, сударыня! Я должен донести об этом...

Ридикюль упал из рук барыни.

— Роман, притвори на ключ двери,— шепнула барыня приказчику и кинулась из-за стола.

Ключ щелкнул. Советник хотел крикнуть, полагая, что его сейчас убьют, и выхватил из кармана револьвер.

— Оставьте... Ни шагу с места! — сказал он и взялся за грудь Романа.

— Что вы, что вы! — вскрикнула барыня.— Я не то! Я на колени перед вами, как перед богом! две тысячи, пять... если хотите...

Она упала в ноги советнику и чепцом стукнулась об пол.

— Барин, сжальтесь над Палагеей Андреевной! — прибавил из угла бледный, как стена, Роман Танцур.

В уме Тарханларова соблазнительно мелькнула сумма: пять тысяч... Но разбитый висок и запорошенные, все еще болевшие глаза напомнили ему об испытанных им за час неслыханных оскорблениях. «Пустое! Эти деньги может дать и сам Рубашкин, как оправится, при случае! — быстро добавилось у него в уме, а память подсказала, что в свалке кто-то еще ухватил его даже за шиворот и чуть ли, наконец, он не получил толчка по шее.— Нет! — решил он быстро,— все надо сделать гласным! И публиковать об аресте буянов, взятых почти на абордаж, слава будет не последняя по службе: да не без того, что и они при следствии станут откупаться!» — прибавило соображение советника.

— Господа! — крикнул Тарханларов заседателю и генералу из спальни, возвышая голос,— господа, пожалуйте сюда!

Перебоченская билась головой об пол и ловила советника руками и губами за ноги. Он, однако, шагнул к двери, отпер ее, сказал приказчику: «А ты, негодяй, уноси отсюда пятки да забудь навеки, что слышал тут, а иначе и тебя я привлеку к следствию! за твоего сына только тебе и прощаю!» — и выскочил из коридора в залу, откуда готовился ему на подмогу оставленный арьергард. Лазарь Лазарич, заслыша его голос, выскочил на крыльцо и звал опять понятых, сотских и десятских. В двух словах передал Тарханларов Рубашкину о своем свидании с Перебоченской, остановил распоряжения грека, взял только еще двух-трех надежных понятых, и все вошли в спальню хозяйки. Романа Танцура там уже не было. «Как бы, однако, арестовать ее деньги?» — подумал Тарханларов и сказал грозно, подступая к барыне:

— Сударыня! пожалуйте ваши деньги! Мы должны их также арестовать для расчета вашего с владельцем имения... Сколько у вас налицо имеется денег?

— Денег? — спросила, изумившись, барыня.— У меня денег нет...

Кинулись к ее ридикюлю, осмотрели комод, все углы: деньги исчезли. Или они провалились сквозь

землю, или были переданы в окно, во время краткого отсутствия советника из спальни, или их унес есауловский приказчик.

— Знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю! — ответила спокойно Перебоченская на новый расспрос о деньгах, поправляя чепец и опять приняв вид тщедушной нищенки.—Я давно разорена-с... и денег в доме не имею и ста рублей!

Осмотрели окно. Оно было плотно затворено и приперто снаружи ставней. Погнали в погоню за исчезнувшим приказчиком, но не догнали и его.

«Бросьте теперь его; нечего его более звать сюда! — решил советник,— запрется также, наверное, во всем, а деньги, если их унес, сумеет спрятать!» Внесли в спальню свечи. Грек еще перешарил все углы, в печку даже под заслонки заглядывал. Усы его шевелились, как у таракана. Мозолистые руки дрожали. Кусок красной фуфайки выглядывал из-под жилета, а на затылке торчали завязки съехавшей набок манишки. Сумма, которую видел советник, исчезла. В комоде, однако, нашли в мешочке горсти две медных денег, часть серебра и две депозитки по пятьдесят целковых. Грек поднес их к свече и крякнул. Понятые не отходили от него.

— Гм! Медвежьи, фальшивые-с, из Нахичевани... Где, сударыня, вы взяли их? — спросил грек, бешено вращая белками и подзывая знаками Тарханларова.

— Мало ли откуда попадут. Для косарей мелочь и держала, должно быть, от сгонщиков каких с Черноморья завезли...

— А вы видели, что я точно все эти ассигнации из этого комода вынул? — спросил грек понятых.

— Видели! Мы и развязывали мешочек! — ответили понятые.

Грек показал депозитки Тарханларову. Советник об этой находке велел составить также акт, хоть этому на первый раз он мало, по-видимому, приписывал важности, среди других событий того дня и вечера. Фальшивых ассигнаций тогда множество ходило в том околотке, и розыски о них даже приелись чиновникам. Советник более всего раздумывал о тайных гонцах барыни, прорвавшихся куда-то с ее письмами, и это его, очевидно, беспокоило. Лазарь Лазарич один сразу сильно задумал-

ся над случайною находкой и молча прошел в залу. Там он стал шептаться с Рубашкиным.

— Да! — повторил генерал, кончая греку рассказ обо всем, что слышал прежде мельком касательно скорого обогащения Перебоченской на покупке гуртов в Черномории и на ее сношениях с есауловским приказчиком.— Я и сам полагаю, что чуть ли это не новая история; и мне кажется, что этот Роман Танцур и Перебоченская лет десять назад, наверное, прихватили в свою поездку в Нахичевань значительную сумму этих медвежьих ассигнаций...

— Я это все зарублю у себя на носу! — сказал Ангел.— А вы знаете, как мой греческий нос еще длинен, несмотря на то, что я значительно обрусел на моей новой родине...

Писав копию с акта о найденных депозитках для немедленного извещения об этом губернатора и жандармского генерала, сильно задумался над этой бумагой и есауловский садовник, Илья Танцур.

Тарханларов оставил Перебоченскую, которая, разумеется, отказалась от всего и не подписала ни одной из прочтенных ей бумаг. Он попросил ее только не покушаться на что-нибудь противозаконное и оставил ее до утра, лично еще раз с другими осмотрев, припугнув и ободрив караулы.

Чиновники и генерал наскоро поужинали и бивуаком на притащенном в залу сене легли вповалку спать.

Они говорили что-то долго.

В лакейской на стене пробило два часа ночи. Огни везде погасли. Часовые лежали по назначенным местам в саду и на дворе кучами или прохаживались и перекликивались, как на сторожевых форпостах казаки, ожидая нападения на степные пикеты киргизов или коканцев. А Рубашкин, долго не засыпая и потирая бока и мозоли, думал: «Какой черт, однако, занес меня в эту глушь! Как я мог так скоро подать в отставку, бросить выгодную службу! Чем я тут вознагражу былое, теперь далекое? И как я мог так вдруг решиться? Сорок лет служил, был дельным человеком, добился там почету... всего... уважения и вдруг! Да и проклятое же время! Скольких оно так подмыло и осрамило... Мальчишки! Взрослых как надувают прогрессом... И что подумают теперь обо мне в Петербурге, как узнают все? Вот тебе и степи и областная практика!»



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НОВЫЙ РАЗБРОД

VII

Стойте — не позволяю

Настал рассвет.

Едва Рубашкин и Тарханларов успели проснуться и закурить в постелях папироски и разговорились, как у крыльца раздался стук тележки и вошел становой, молодой человек, совершенно белокурый, с красными золотушными глазками и в голубом галстуке, хотя и в форменном сюртуке. Он вежливо раскланялся перед Тарханларовым, который в полусвете едва его разглядел.

— Что вам?

— Я становой-с.

— Отчего вы вчера не прибыли?

— Я повестки вашей не получил, а был на следствии о вскрытии тела и о поджогах с господином исправ-

ником. Он поручил по долгу службы просить вас приостановиться здесь с делом о выводе из имения госпожи Перебоченской.

— Ваш исправник два дня как уже отрешен мною от должности! — сказал советник, приподнимаясь под одеялом, пока другие одевались.— Отчего вы до сих пор не оказали содействия по делу Рубашкина?

— Исправник это дело ведет сам-с... Притом же и господин предводитель здешнего уезда ждет теперь в Есауловке тоже ответа от вас: угодно ли вам оставить этот дом и прекратить следствие?

Советник вскочил.

— Это, наконец, из рук вон! Как вы осмеливаетесь передавать мне такие поручения? Вы — здешняя земская власть, вы, следовательно, мой подчиненный. Как вы смеете шутить со мною? Вы забываетесь, я вас под суд отдам... я...— Тарханларов разгремелся.

Становой ошалел и начал, как говорится, «у волка глаз занимать», поглядывая на присутствующих и глупо играя часовою цепочкою.

— Это все-с предводитель и исправник-с...

— Он в Есауловке? Давно? Он точно поручил вам все это мне передать?

— Ах, да! забыл еще-с. Вот вам от него, от князя-с, письмо.

Тарханларов взглянул в письмо и расходился еще более.

— Господа! это, наконец, безумие! Слушайте, что предводитель пишет мне. Он родня, что ли, владельцу Есауловки?

— Племянник его! — подсказал Рубашкин.

— Слушайте, что он пишет.

«Милостивый государь! вас и все губернское правление ввели в заблуждение насчет личности почтенной дворянки здешнего уезда, подпоручицы Пелагеи Андреевны Перебоченской. Прошу вас поэтому избавить ее дом от ретивости ваших чиновников. Белое черным всегда можно представить; а вас, как благородного человека, обманывают. Еще раз прошу вас остановить следствие и вывод из этого имения дворянки Перебоченской. Я все беру на себя. Иначе я буду вынужден, как ближайший защитник местного дворянства, прибыть в

усадьбу Конского Сырта, лично приостановить ваши действия и обо всем особо донести высшему начальству. Конский Сырт — помещичья деревня, а не коканское кочевье, и мы с вами не калмыцкие наездники. Надо и на самой службе помнить, с кем имеешь дело».

Рубашкин не верил своим ушам. В его голове опять упорно замелькали и зарябили разные былые петербургские убеждения: сила закона, святость долга, честь сословий и еще какие-то новые слова, равенство всех перед судом, местное самоуправление, земство. Остальные слушатели стояли также озадаченные донельзя.

— Вот вам, господа, что значит эта смесь властей, ведомств, привилегий и всяких перегородок и границ! — сказал Тарханларов.— Вы, генерал, осилили своею правотою суд, уездную и губернскую полицию, добыли себе в защиту главного чиновника из местной администрации, он все распутал, обличил и что же? — является совершенно постороннее лицо и говорит: «Довольно! я не хочу, чтоб правда отыскалась!» — и я должен бросить снова все...

На его щеках обозначились багровые кружки.

— Что прикажете донести его сиятельству? — уныло спросил сбоку становой.— И что прикажете делать-с мне самому?

— Вам советую расти, умнеть, приучиться к труду, к делу... а ему? Тьфу, господа, я начинаю глупеть! теряю всякое сознание. Слышали вы? Я ему говорю: не ваше дело... а он? Хороших становых назначают! И все эти протекции! Вам бы в классные дамы, молодой человек, в женский институт поступить, а не в становые на низовьях Волги. Вас бы я должен сменить; но вы так наивны, что, вероятно, и не поймете за что это! Оставайтесь; только будьте на будущее время осторожнее.

Становой глупо поклонился.

Вошел Лазарь Лазарич и отозвал советника и Рубашкина в сторону.

— Я посадил на тройку Кебабчи и Рахилевича и рано на заре отправил их в острог, а Хутченко под домашний арест в город, в полицию, и послал от вашего лица об этом нужные отношения к кому следует.

— Отлично! Хоть вы мне помогаете. Благодарю вас: без вас бы и я тут ошалел. А этот заседатель — пешка... Хороших выбирают, нечего сказать!

Советник передал греку предложение предводителя; тот метнул белками на станового и окончательно сконфузил молодого человека.

— И это земская полиция, надежда целого околотка! — сказал шепотом грек.— Неужели вы его отпустите в Есауловку к предводителю?

— Он глуп, совершенный мальчишка! Пусть себе едет!

Тарханларов послал станового к предводителю с таким ответом:

«Приостановить своих действий над дворянами Кебабчи, Хутченко и Рахилевичем, а равно и над Перебоченскою я не могу по долгу службы и присяги, об их проступках и преступлениях составлены особые акты и безотлагательно посылаются по начальству. К этим же актам присоединится и письмо вашего сиятельства, доказывающее, что вы, предводитель, всему потакаете и решаетесь, наконец, мне грозить, что остановите высшего чиновника в отправлении вверенного ему следствия над нарушителями общественного спокойствия и порядка».

Не успел становой скрыться, не успели следователи побриться, напиться чаю и распорядиться об очистке залы от ночлега и о приготовлении тарантаса для выезда из дома хозяйки, как в ворота двора влетел во всю конскую прыть шестериком воронопегих, новый экипаж, и в нем в уланском бессрочном мундире оказался князь-предводитель.

— Стойте, я не позволю! Собрать сюда понятых! — запальчиво крикнул он, еще стоя в коляске, и вышел из нее, нетерпеливо гремя саблею по ступеням крыльца.

Из сеней показался Тарханларов. Сотские замешались, не зная снова, кого слушаться. В глазах их пошли какие-то кружки: то золотая каска, сабля и шпоры им хорошо известного богача и соседа, кавалериста-предводителя; то более скромный вид губернского чиновника, его зеленый воротник и потертый сюртук, без всяких внушающих уважение касок и сабель. Нетрудно было сделать выбор между этими двумя лицами сотским и вновь созванным к крыльцу понятым, как людям совершенно простым и всегда зависящим от властей ближайших. Они думали, пока предводитель

ходил по крыльцу и раздавал новые приказания, отменявшие распоряжения советника:

«Там, этот чиновник, хоть и из губернии прислан и заседателем даже помыкает, а пока до губернии, то этот бедовый предводитель коли не шею поколотит, так цены сбавит у себя же нам на уборке пшеницы и везде, а он цену первый кладет по своему богатому имению».

— Что вам угодно, князь?—спросил, появившись весь бледный от негодования и волнения, Тарханларов.—Опомнитесь, не погубите себя и меня... Одумайтесь, что вы делаете; вы, вероятно, неопытны и законов не знаете.

— Все знаю!—ответил бешено и глухо предводитель, седлая нос лорнетом и даже не взглянув на Тарханларова.—Я не позволю попирать всякому... права сословий... дворян... и... и...

Князь вертелся. Нижняя губа его дрожала; сабля звякала о пол крыльца.

— Вы забываетесь, князь!—злобно шепнул советник.

Князь презрительно поглядел на него через погончик эполета и промолчал. Кроме их двух, на крыльце никого не было.

— Плевать я хотел на всех ваших крючков!—сказал князь и тут же на землю плюнул с крыльца.

— Мальчишка!—прошипел советник, сжимая кулаки и отворачиваясь к стороне амбаров.

Петухи звонко заливались по задворью.

— Бюрократическая пьявка!—сказал будто про себя князь, посвистывая и также поглядывая кругом.

— Так вы меня полагаете втоптать в грязь?—произнес советник.

— Важная птица!

— Хорошо же-с. Теперь берегитесь.

— Посмотрим, экие угрозы. Vogue la galére! [1], и я не без силы здесь.

Князь в дом не пошел. Из сеней явились перепуганный Рубашкин, заседатель и грек. К крыльцу с понурыми головами между тем понемногу сошлись снова понятые и дворня.

— Сходите за Пелагеей Андреевной!—сказал предводитель заседателю, узнав его, а на других не обращая

[1] Будь что будет! *(фр.)*

внимания.— Скажите ей, чтоб ничего не боялась и что я здесь! Понимаете?

Перебоченская явилась с ридикюлем и в том же убогом чепце. Она всхлипывала. Глазки ее слезились.

— Пелагея Андреевна! — сказал князь, становясь в торжественную позу, отдувая грудь и сквозь лорнет глядя на Тарханларова, как смотрит моряк за семь миль на темную точку в море.— Здесь вышли недоразумения! Я получил ваши письма и обо всем донес вчера же еще губернатору и далее. Не стоит вам действительно оставаться в этом доме; вас эти господа не оставят в покое.

— Послушайте, однако! — перебил Рубашкин.— Я не ожидал, чтоб ваше сиятельство...

— А я, извините, не ожидал, чтоб ваше превосходительство...

— Такое вмешательство со стороны вашего сиятельства...

— Такое посягательство на спокойствие больной дамы и дворянки со стороны вашего превосходительства...

— Где же она больная? докажите!

Князь поморщился и сказал:

— Ну, генерал, об этом нас рассудят в собрании нашего сословия...— И продолжал, обращаясь к Перебоченской,— я беру вас не только под свою защиту, но за честь для себя считаю предложить пока вам и свой дом. Никто при мне здесь, даю вам честное слово, не помешает вам открыть ваши ящики, сундуки и кладовые, так нагло опечатанные, и взять оттуда все, что вы захотите. Земля, положим, принадлежит господину Рубашкину; оставьте ему за то все строения, хоть вы и правы, я в том совершенно уверен. А остальное берите все, все — оно ваше.

— Вы вмешиваетесь в дела судебные! — перебил Рубашкин, также отдувая грудь и принимая журавлиные позы.

— Согласны вы на это? — спросил предводитель Перебоченскую, будто не слыша генерала.

— Согласна-с, но мне бы надо взять еще тут мебели: вот бюро, кресла, зеркала; притом же в амбарах мука есть свежая... веревки, ну и прочее.

— Ну-с, это уже после, это лишнее! — резко заметил предводитель барыне.

— Согласна-с, ваше сиятельство... В таком случае согласна-с... отчего же!

— В таком случае пожалуйте лично со мною; берите ваши вещи, срывайте печати... Я сам их сорву.

Предводитель пропустил в дом Перебоченскую, а сам, обратившись к советнику, спросил с улыбкой:

— Вероятно, протестуете, а?

— Да, протестую и не дозволю. Следствие кончено, и все акты подписаны, понятые дали руки. Вы вмешиваетесь не в свое дело, вы посягаете и на власть судебную и на административную, полицейскую, не имея ни той, ни другой... Генералу велено сдать все. Прошу вас еще раз не вынуждать меня к крайним мерам и против вас.

— Против меня? — спросил князь и ухватился за саблю.

— Да, против вас! — гаркнул молодчина советник.

Тарханларов дрожал от злости.

— Вы дали руки, ребята? — спросил князь понятых.

— Дали.

— Это все я объявляю недействительным. Следствие произведено умышленно, а подписано таким лицом, которое само не имеет права быть свидетелем.

— Кем же-с? — спросил советник.

— Воротившимся из бегов, после двенадцатилетнего отсутствия сыном есауловского приказчика, Ильей Танцуром. Его отец сам просил обратить на это внимание следователей, а вы не обратили.

Тарханларов оглянулся на Рубашкина и Лазаря Лазарича.

— Он воротился добровольно, а убежал еще несовершеннолетним! — сказал Рубашкин,— и сам его отец явил его в земский суд и принял обратно в состав деревни, где он и приписан уже более полугода.

— Генерал! — вскрикнул запальчиво предводитель,— вы тут не судья; будьте довольны тем, что вас водворят, наконец, в доме и в имении, которое к вам как с неба упало, а я свое дело знаю. Понятые, по домам!

— Я знаю тоже одну вещь, ваше сиятельство, и знаю твердо! — ответил Рубашкин.— Дорого вы впоследствии дадите, чтоб ничего этого не было вами сделано и сказано; но будет уже поздно!

— Дудки-с, дудки! — повторил с хохотом князь, ломаясь и лорнируя понятых,— что, братцы, шепчетесь!

По домам! — гаркнул он снова. — Слышите? по домам... Я вас распускаю.

Понятые пошли врассыпную.

Предводитель направился в дом и тотчас же с Перебоченской приступил к вскрытию опечатанных заседателем замков и ящиков. К девичьему крыльцу подвезли тарантас барыни и еще две подводы и стали их нагружать разным хламом.

— Попал же ты, бедняк князек! — сказал заседатель, стряпая новый акт о перерыве следствия.

— Сомнительно! — решил, о том же рассуждая, грек. — Положим, всем будет нахлобучка! Ладно, гут и зер гут[1], да что же из того? В главном-то все-таки и эти господа, наверное, будут отписываться от десятка всяких комиссий и комиссий над комиссиями до скончания дней своих, как это делают и другие.

— Я сделал все, что мог! — сказал разбитым и усталым голосом Тарханларов, утирая щеки и лоб. — Более ничто не в моих силах! Она уедет, мое слово сдержано... За сим увольте меня от дальнейших хлопот....

— Благодарю вас от души!

— Теперь и для меня подпишите последнюю бумагу... о самовольстве предводителя...

— Извольте!

— Сотские! Собирайте и мне лошадей!

— Готовы-с... давно собраны...

— Кто велел?

— Я! — отозвался грек. — На всякий случай еще к утру я велел их припасти, боясь, чтобы эти Кебабчи, Рахилевич и Хутченко не отбились дорогой от конвоя и не явились бы сюда с целой армией себе подобных! Ведь это дело тут также возможное...

— Как вы думаете, они скоро доедут до острога?

— Скоро. Теперь власти задвигались. В острог посадят и Хутченко; он дорогой попросил у одного из провожатых хлеба, тот стал резать на перевале, а Хутченко нож у него выхватил, да и ну им фехтовать. Насилу его одолели! Хотел отбиться и уйти...

Тарханларов бережно сложил все бумаги в портфель и взялся за шапку.

---

[1] Хорошо, очень хорошо *(нем.)*

— Счастливо оставаться на сельском хозяйстве! — сказал он Рубашкину.— Вообще деревенский воздух иногда дорого достается.

— Куда же вы? Погодите еще, чтоб хоть они при вас выехали...

— Не хотелось бы еще раз встретиться с этим князьком-уланчиком. Ну, да нечего делать, останусь для вас. А если он еще скажет дерзость, я и уши ему выдеру. Что их щадить! Или отведу в сторону да и поколочу без свидетелей. Шелковый тогда будет. Знаете поговорку: в морду — и полюбит! Пойдемте в сад. Посмотрим, как, наконец, выедет эта барыня, что десять лет тут жила своевольно, под видом мнимой болезни. О Бедлам, Бедлам!

Через час предводитель и Перебоченская уехали. Последняя призвала своих нанятых людей из дворни, всех разочла, объявила им, что они, наконец, свободны, а что она по гроб разорена и убита. За полчаса до их отъезда, к изумлению генерала и чиновников, с земли Конского Сырта погнали гурты скота, табун лошадей и всех овец. Батраки из собственных крепостных людей барыни успели нагрузить несколько возов мукой, зерном, бочками солонины, медом, кожами, мебелью и прочим.

— Вот вам и разочли вас с нею по неоплаченной десятилетней аренде! — сказал Тарханларов, гуляя с Рубашкиным в саду и куря сигару.— Шутка ли, вмешался в дело, порученное мне по указу губернского правления, вмешался в решенный иск по неоплаченной аренде двух тысяч земли, за десять лет!..

— Ничего, хоть угол теперь у меня благодаря вам есть! Я и этим доволен! Прах побери остальное. Начать же вести дело по новым апелляциям, так и жизни моей не хватит!.. Стану хозяйничать и на этом...

— Какое ничего! Да весь этот скот, лошади и овцы по-настоящему ваши. Ведь это проценты на проценты, доход на доход с этой же земли! Ведь это все знают; она явилась сюда без гроша денег!..

Подошел грек.

— Что, господин Ангел? Что вы нам скажете нового?

— Уехали. Пожалуйте в дом!

— Только-то? В опустошенный?

— Пока не больше.

— Как пока?

— Именно-с. У меня бродят разные, знаете, новые мысли в голове; ну, да у них в голове тоже, верно, есть что-то... Призвали перед отъездом сына есауловского приказчика, что был вчера в понятых, и так отлично помог нам повершить все дело, шептались с ним долго, потребовали потом его отца, бумаги и перо, и я видел в окно с девичьего крыльца, как старуха сама что-то писала, а диктовал предводитель. Приказчик же все говорил и размахивал руками...

— Что бы это было? Господин Тарханларов, вытребуйте сюда к допросу этого приказчика, допытайтесь, что это такое?—сказал Рубашкин.

— Э, нет! Теперь уже баста, надоело-с и мне, господа! Я все свое сделал, а более ни-ни. Перебоченская уехала. Засим Адриан Сергеич, до свидания снова! Надеюсь, что я все исполнил, о чем мы условились в городе?

Тарханларов отказался даже от обеда и уехал с Лазарем Лазаричем, а заседатель остался сдавать окончательно генералу по описи имение и усадьбу, брошенные Перебоченскою. Для этого были приглашены в свидетели оба есауловские священника и еще какой-то соседний, поволжский однодворец. Описывали опять то, что осталось после наезда князя, до обеда другого дня; причем священники оказались в явном разладе и друг с другом ничего не говорили, а однодворец с заседателем все пугливо о чем-то шептались и пили наливку. Понятна была вражда священников в этом доме: все знали приязнь генерала к отцу Смарагду, а недавняя обитательница Конского Сырта была в дружбе с отцом Иваном. Отец Смарагд еще вчера скрепил своею подписью руку Ильи на всех актах.

К вечеру другого дня Рубашкин, оставшись один, принялся за устройство нового угла. Перевез сюда все свои вещи из Малого Малаканца, а тамошнюю хозяйку нанял к себе пока в ключницы. В опустошенной дотла спорной усадьбе не было видно и слышно ни единого живого существа. Наемные люди Перебоченской все ушли, а пять-шесть человек крепостных людей, уцелевших от бегов с той поры, как бежал столяр и слесарь ее, Талаверка, уехали с барыней в деревню к предводителю. На четвертый день по выезде Перебоченской, когда у Рубашкина прибрался еще более дом и явилась

кое-какая своя прислуга, в гостях у него сидел отец Смарагд и разбирал только что привезенные нумера газеты, а сам Рубашкин читал полученные письма. Священник сидел грустный, потому что его жене снова вдруг сделалось хуже...

— А! письма от Тарханларова, Саддукеева и... это еще от кого?.. Незнакомая подпись!.. Отец Смарагд, не знаете этой руки? Э, есть подпись: от какого-то чиновника, по поручению Кебабчи... из острога! Каково! Хотите, прочту?

Священник бросил газеты.

— Читайте, что они там пишут.

— Слушайте, Тарханларов пишет. Прежде всего его письмо...

«Я уехал от вас не в духе, и было от чего. Зато в городе я ожил. Все мои бумаги приняты губернатором отлично. Он был как громом поражен всеми этими событиями и заметил, кажется, что вы кругом его провели, то есть скрыли от него всю важность возложенного на меня поручения. К счастью, сказать между нами, и у него вышли неприятности с этим предводителем по поводу какого-то оскорбительного требования, и он дал полный ход моим рапортам и протоколам. Князь-предводитель уже сменен по телеграфу из Петербурга. Депеша, говорят, туда шла в двести слов. Будет с севера особая комиссия для следствия над оскорблением меня и других чиновников. Глаза мои и висок освидетельствованы, мне лучше. Я сделался львом в городе благодаря смело вынесенной истории по милости вашего имения. Титулярный советник Ангел, знакомец ваш по этому же делу, представлен к ордену, а я — к получению не в зачет годового оклада жалованья. Лазарь Лазарич через эту командировку входит в силу, и ему, кажется, отныне сдадут все важнейшие следствия по губернии. Я за него очень рад. Он вам кланяется и поручил сказать, что вы скоро о нем услышите снова. Затевает что-то по поводу найденных у Перебоченской ассигнаций, но от меня это скрывает пока. Жена моя и новорожденный кланяются вам. Я пишу вам все это откровенно, как к новому другу. Надеюсь, что вы и в будущем не обежите моего угла в городе, куда, впрочем, теперь вас, вероятно, до конца вашего дела, и калачом не заманишь».

— Ну-с, что же пишут из острога по поручению этого Кебабчи? — спросил отец Смарагд, — свирепствует он

по-прежнему или, по поговорке Тарханларова, что «в морду — и полюбит», становится перед вами на задние лапки?

Слушайте! Незнакомая рука пишет:

«Господин прапорщик и кавалер Кебабчи желает здравствовать генералу Рубашкину, а равно тоже свидетельствуют ему и его несчастные страдальцы-товарищи. Что же делать! Пардон! Молодые люди погорячились. Смилуйтесь над ними, простите их, генерал, и остановите это унизительное дело. Мы по гроб жизни ваши добрые соседи и слуги. Слышим, что вы уже водворились в своем имении, а ваш враг, наконец, изгнан. Поздравляем вас, ваше превосходительство, от души! Мы всегда были за вас. Но что же делать? Юноши погорячились и теперь просят пардону: я, Кебабчи, Хутченко и Рахилевич. Пришлите нам денег. Мы вам многое скажем. Во-первых, я, Кебабчи, сообщаю вам тут же, что девушка Перебоченской, Палашка, подала жандармскому генералу письменный извет на господина Тарханларова, будто бы он, губернский чиновник, во время следствия над ее барынею занимался волокитством за женским полом и навеки погубил ее, Палашку... понимаете? погубил насильно!.. Это скверный извет-с, повредить вам и ему сильно может! Во-вторых, я, Рахилевич, вызываюсь, если генерал войдет с нами в добрую сделку, опровергнуть вполне извет этой девушки на почтенного следователя и готов составить лично, не своею, разумеется, рукою, кипу любовных писем, будто бы от разных солдат и лакеев к этой девушке Палашке и представить их в опровержение ее извета в том, якобы ее... Понимаете? Дело это мы можем переделать! В-третьих, я, Хутченко, в случае немедленного моего освобождения через вас, генерал, могу бросить значительный свет на некоторые отношения Перебоченской к есауловскому приказчику, по их обогащению, так как мне кое-что известно из их поездки в Черноморье и в Нахичевань...»

Рубашкин стал потирать себе лоб.

— Бросьте! — сказал с омерзением священник, — бросьте это письмо, не стоит читать далее! Экие негодяи и подлые душонки!

Генерал, однако, спрятал это письмо в стол.

— Но вот еще письмо нашего несравненного Садукеева. Он поздравляет меня с успехом. Вот его приписка:

«Да, накуролесил ваш трехбунчужный паша, ваш предводитель, вселюбезнейший генерал! Теперь и я подумываю: не сбавить ли со ста лет, которые я стремлюсь прожить, годика этак два-три. Право, прогрессом пахнет. Это я говорю потому, что Тарханларов обработал все дело отлично, вы водворены на место, а несколько негодяев преданы формально уголовному суду. Кажется, и у нас правда начнет скоро брать верх и мы дождемся-таки восхода желанных дней. Армяшка, знакомый вам откупщик Халыбов, едва узнал, что вы взяли верх и что, наконец, живете полным владельцем, хотя и опустошенного, но дорогого-таки Сырта, приехал ко мне и сам предложил дать вам взаймы еще три тысячи, с тем чтобы закладную на мой дом похерить, а вам ему до уплаты заложить за эти пять тысяч рублей всю вашу землю. Гусь не промах! Две тысячи десятин черноземных лугов и степей за пять тысяч! Да нечего делать, и я вам советую принять его предложение. Что подруга нашего Сморочки? Напишите о нем и о себе. Ваш преданный и проч.».

— Слышите? Это о вас! Как здоровье вашей жены, в самом деле?

— Плохо, очень плохо... Надо бы акушерку, доктора... Не переживет она, а у меня денег на это нет. Где я возьму?

Генерал помолчал и стал чесать нос.

— Ну, теперь, отец Смарагд, мы заживем по-соседски, друзьями. Прошу чаще у меня бывать. Вместе вычислим проект о населении Сырта; начнем тут же с осени вольнонаемное хлебопашество, гурты станем разводить и с своей стороны...

— Извольте, извольте! А вы мне книжечек побольше, книжечек выписывайте и давайте читать, если сами не сделали привычки, да и некогда вам будет их читать при хозяйстве...

— Прелесть! Как теперь все здесь затихнет! Мы подберем добрых вольных работников. Наша почва без дурных семян, без плевел; я простонародья ничем не

раздражил, я друг всем здесь... Брависсимо! всяк мне позавидует!

— И точно! — сказал со вздохом священник,— вы счастливец. Спешите. Вы уже не молоды. Осень тоже теперь не за горами. Надо достать семян, еще денег. Пашите и сейте побольше.

— Да и старость-то моя не за горами. Авось хоть что-нибудь сделаю тут полезного. Именно денег, денег прежде всего! Еду, завтра же еду в город, заложу армянину всю землю и привезу снова не менее трех-четырех тысяч, а дом Саддукеева освобожу из-под залога. Уж я не стану этих кровных, занятых денег кидать на обеды и балы соседям, как делывали это наши предки, закладывая некогда души своих крепостных в приказы да в советы! Деньги мои пойдут на обороты по хозяйству и только частичкой на самое нужное для дома в этой глуши; закуплю про запас сахару, чаю, муки, хорошей посуды, хламу там разного для буфета и для кухни; еще книг выпишу... это уже, собственно, для вас! Хе-хе! лошадок добрых куплю, без них в этих пустынях быть решительно нельзя. Правда, отец Смарагд?

— Правда, правда...

— Что же вы так нахохлились опять?

Священник был в волнении. Грудь его тяжело дышала. Пот катился с скулистого, широкого и некрасивого лица. Глаза были опущены.

— Что с вами?

— Так-с, ничего.

— Нет, говорите, прошу вас.

Священник поднял серые робкие глаза. Они были совершенно тусклы и полны невыразимой борьбы, отчаяния и стыда.

— Знаете текст: «Помяни мя, егда приидеши»? — сказал он бледными дрожащими губами.

— Как-с? Что-с?

— Дайте мне, прошу вас, из этих-то новых трех-четырех тысяч целковых, что займете, хоть сотняжку рублей взаймы. Беда-с! В доме свечей давно нету, детям чаю ни крохотки напиться, не на что бабу старуху нанять, хоть в болезни-то пока походить за моею Пашенькой.

Рубашкин покраснел, однако же достал бумажник.

— Вы меня спасли, первые дали верный совет, повезли в город, даже на овес моему буланому тогда дали, через вас я все получил. Я помню все это... Вот

вам... пятнадцать рублей! Более не могу, извините. Берите их как благодарность, а не взаймы.

Священник взял деньги. «Фу, гадость! — подумал он, — это за все-то».

— А больше нельзя? — сказал он, — ведь тут и акушерки не на что пригласить!

Рубашкин, покраснев еще более, подумал: «Эге! да и ты, кажется, к вещественному падок!» — и отвечал: — Извините, более не могу! — хоть у него было еще более двухсот рублей.

Священник ушел.

Рубашкин съездил снова в город, заложил откупщику Конский Сырт, взял у него еще не три, а пять тысяч рублей под это имение и остался делать необходимейшие закупки в городе. Он остановился опять у Саддукеева. Беспардонный учитель гимназии оказался с первой их новой встречи еще более в ударе на всякие комические выходки, смешил генерала трое суток сряду, снабдил его кучею городских анекдотов и сплетен и угостил его неимоверным каким-то казачком, который заставил проплясать своих оборванных и запыленных детей, а сам при этом хохотал, как помешанный, закидывая назад огромную голову с большими сквозными ушами и грызя до крови давно обкусанные ногти. На прощанье, однако, он сказал генералу:

— В гимназии вышла история; я сболтнул там одну штуку ученикам. Против меня теперь ведут подкоп; немудрено, что меня и отставят. Тогда, надеюсь, не откажете меня принять к себе хоть в приказчики? А?

— О, разумеется! — ответил генерал, снова краснея, замолчал и уехал надутый, провожаемый маханьями Саддукеева, который даже влез на крышу и на радости выпустил всех голубей.

Явились в Конском Сырте рабочие, явилась и окончательно устроенная наемная прислуга. Рубашкин все приладил в две-три недели отлично. Отделал в особенности с любовью свой кабинет, из окон которого, сквозь главную аллею сада, была видна на скате бугров вся Есауловка и обе ее церкви. По столу и диванам в этом кабинете и в зале, ознаменованной недавними битвами, явились в изобилии деловые бумаги, хозяйственные книги и счеты. Поля зачернели полосами пахоти под зябь. Скупались рожь и озимая пшеница на посев. В двух концах поля стали прохаживаться небольшие соседские гурты скота, пущенные сюда за хорошие деньги до

первого снега. Словом, чего желал и добивался воротившийся с чужбины к родному краю и делу Рубашкин, то и случилось.

— Не правда ли, у меня есть дарование организатора? — спрашивал он отца Смарагда. — Я мог бы управлять областью, населять пустыни?

— Кажется, — отвечал священник, — только не мешало бы вам подумать о докторе, когда теперь у вас все есть...

Но Рубашкин об этом не думал.

Не так родина встретила других своих детей.

Осень того года ознаменовалась для высшего круга той губернии усиленными разговорами о двух экстренных комиссиях, сменивших в два месяца одна другую, касательно расследования, доследования и переисследования непостижимого дела: «О десятилетнем невыезде подпоручицы Перебоченской из не принадлежащего ей по актам имения, о командировке туда на следствие советника Тарханларова, о засорении его глаз и о буйстве там дворян Кебабчи, Хутченко и Рахилевича, и о самовольном вмешательстве в следствие местного уездного предводителя дворянства». Перебоченская проживала в уездном городе под арестом в собственном ее доме. Тут же недалеко жил и находившийся под следствием предводитель, который вдруг оказался артистом и стал брать уроки музыки и петь, повторяя, что генерал Рубашкин циник, мясник, вольнодумец и даже на старости лет чуть ли не республиканец и враг всего дворянства.

Допросы, переспросы и очные ставки шли своим чередом. Все показания рапортов Тарханларова подтверждались новыми следствиями. Но Перебоченскую кто-то навестил, научил ее, и она отвела одним взмахом пера почти всех свидетелей по следствию и понятых: «Такого-то я обсчитала у себя на работе, такого-то поколотил палкою за грубость мне мой приказчик, а этих секли по моему приказу мои батраки. Все они злобствуют на меня, потому и клевещут». Начали привлекать к делу других свидетелей. Тут-то впуталась, между прочим, в историю о Перебоченской и история о Тарханларове по извету горничной Палашки в его будто бы посягательстве на ее красоты. Молодчина советник, верный друг жены и всегда примерный семьянин, так было опешился от этой новой штуки, что недели три

никуда в город со стыда и негодования не показывался. Донос Палашки нежданно вполз в дело, расплодился от всяких справок и надолго затормозил следствие об оскорблениях, нанесенных чиновнику при отправлении его службы. Громкая история Конского Сырта, наконец, начинала всем приедаться. Но на севере чуткие носы стерегли ее и вдруг поддали опять неожиданно сюда такого пару, что губернские головы снова потерялись. Явилась комиссия над комиссиею из самого Петербурга. Делом, как увидали местные чины, не хотели там шутить. Трех буянов-дворян, выпущенных было под шумок из острога на поруки, посадили снова в острог и покрепче прежнего. Князь, отставной предводитель, предложил губернатору дуэль и был выслан за это в другую, более отдаленную губернию, в имение своей жены. Вся эта история вскоре очутилась в неясных намеках в одном сатирическом столичном журнале. Перебоченская долго свободно ходила по улицам в знакомом всем чепце, перевязанном платком, и с ридикюлем. Но вдруг и ее пригласили из уездного города в губернский и тоже поместили где-то на благородной половине при полиции. Лазарь Лазарич Ангел посещал ее поминутно, оставался с нею по целым часам, беседовал, играл с нею даже в карты, под предлогом предлагаемых услуг, выспрашивал ее о разных разностях и вдруг уехал в Черноморье.

Перебоченская усмирилась, сбыла куда-то свой скот и прочее движимое состояние, обратила все в деньги, крепостных людей поместила частью при своем хуторе близ Конского Сырта и стала всем говорить: «Не постигаю, почему меня здесь опять беспокоят! Генерал Рубашкин достойнейший человек. Он мне все простил, покончил со мною, бедной старухой, все расчеты, и даже мы совершили в уезде формальную обо всем мировую. А тут опять крючки подпускают, да еще и не говорят зачем: живи тут, да и баста! Ну, и живу. Благо церквей много; певчие славно поют и есть где помолиться. Что же! Детей у меня нет, капиталец кой-какой был, да и тот я рассыпала за этими несчастьями... Остается умереть в покаянии, в монахини пойти, а заблудших и разбогатевших своих крестьян собрать, найти их всех к новому этому манифесту о воле, что ожидают к весне, и поместить опять тут, либо при доме, либо при хуторе. Ведь тридцать семь душ считается всех по ревизии.

Авось хоть что-нибудь казна даст за них чистыми деньгами: ведь я малопоместная, безземельная сирота и притом вдова».

Так пела на жалобные лады Перебоченская, собираясь в монахини, а между тем еженедельно толкалась с какою-нибудь новою челобитною в приемные дни у губернатора, и с неизменною холодностью и молчанием, как по рецепту, была им обходима, причем ее челобитные даже не передавались в канцелярию для справок.

— За что же я тут живу? — спрашивала губернатора Перебоченская.

— Увидите! Не скучайте у нас; вы любительница церквей; посещайте их, молитесь богу; авось скоро мы и отпустим вас...

Перебоченская осклаблялась, вздыхала, целовала губернатора в плечо и уходила, теряясь в догадках, в отведенную ей частную квартиру, куда ее по назойливости перевели месяца через два из полиции.

Мировая ее с Рубашкиным точно была подписана. Генерал это сделал, чтобы угодить местной дворянской партии, которая было сильно возроптала на своего нового члена. Но было еще не кончено дело о нанесении обид чиновнику Тарханларову. Отчет последней комиссии был передан в местную уголовную палату на ревизию и на заключение. Члены комиссии уехали. Все вздохнули свободнее, и вдруг это дело снова остановилось за пустяком, палата разделилась голосами по поводу признания или непризнания за воротившимся, хотя бы и добровольно, из бегов Ильей Танцуром права быть свидетелем и рукоприкладчиком за всех понятых по следствию Тарханларова. Был послан куда-то далеко, по части законодательной, об этом запрос. Ответом медлили. Дело стало снова...

Но зато расходился отец Ильи. Перебоченская вызвала в город Романа и дала ему заметить, что не худо было бы подкупить его Илью, чтоб тот отказался от своей руки и объявил бы себя неграмотным или сказал бы в новом заявлении суду, что он писал все показания и отбирал руки от понятых не добровольно, а по принуждению чиновника Тарханларова, причем генерал Рубашкин будто бы даже в него метил пистолетом.

— Нет, на это мой Илько не пойдет! — решил Роман, приехав в город,— я уж его щупал с этой стороны. Сорванец, как кремень, стойкий!

— Что же нам, душечка, делать? — шепнула Перебоченская, ломая руки и притворно хныкая и заглядывая ему в глаза.

Роман задумался. Желтизна от губ давно стала всходить вдоль его смуглых щек и зорким карим глазам. Он сидел в длиннополом нанковом сюртуке, согнувшись и смотря в землю. Еще перед отъездом из Сырта барыня сказала Илье:

— Помни, подлец, ты губишь меня, но погубишь и своего отца! Откажись от своей руки и от своих показаний!

— Не могу!

— Ну, так знай же: попадешься где в чем-нибудь, своими руками удавлю тебя, а уж не выпущу, слышишь?

— Есть одно дело, матушка Палагея Андреевна,— сказал, наконец, Роман Танцур, глухо вздохнув и не глядя на Перебоченскую,— да я не знаю, как вам сказать его... Ох! господи, господи!

— Говори, душечка, говори! Ты знаешь, я готова тебе во всем помогать; помоги же и ты мне! Что? Говори скорее, не бойся, ангелочек...

Вялые глазки Перебоченской так и бегали, заглядывая в лицо приказчика.

— Ох, матушка, тяжело. Сами знаете! — начал шепотом и оглядываясь Роман Антоныч.— Я был простой мужик, голяк; вы точно меня вытащили из грязи, похвалили моему барину-князю. Ну, вы дали мне весь ход, торговлю; но ведь и я вам дал помощь. Первое время барскими деньгами я вас снабжал; а потом... потом, вы знаете, сударыня, куда мы с вами... вдвоем-то... за деньгами ездили... знаете? а?..

— Тш! — зашипела барыня и, загородив костлявой рукой рот старика, вскочила и дверь квартиры заперла на ключ.

— Никто не услышит нас, матушка; бог один услышит! Напрасно вы запираете двери...

— Ну? Чего же ты мне грозишься? ну!..

— Ездили мы за деньгами с вами, меняли их... сбывали на скот в Черномории и на Дону, и тут по мелочам... Вы хорошо повели свое хозяйство, в тысячах стали... А я все-таки и теперь мужик мужиком... Ничего

не умею, ничего не имею, одно только, что жена в ситцах ходит, да чай мы пьем по пяти раз в день...

— А твои деньги? У тебя свои есть!

— Какие деньги?

— А твои собственные?

— Да вы забыли разве, барыня, что они все у вас в обороте на одном вашем честном слове, а у меня на них от вас нет не только заемного письма, но даже ни клочка расписки или какой бумаги! Умри вы или я, семья моя опять будет нищею... Пора бы вам подумать обеспечить меня в моей же заработанной с вами доле... Сами знаете, что нам, в случае открытия, одна дорога обоим — в Сибирь...

— Да чего ты, дурачище, орешь?

— Не ору, а вы дайте мне вексель. Умри вы или... откажись... повторяю, мы нищие...

— Да ведь нищими же вы были прежде?

Приказчик вытаращил глаза...

— Да ты чего смотришь? Я, душечка, только шучу! Не пропадет твоей ни одной копейки. Вот тебе бог! А ты мне только помоги из этой-то беды выпутаться... своего сына все-таки уговори. Нелегкая его впутала сюда в понятые! И где он, мерзавец, этой грамоте выучился?

— В бегах, в бегах! Ох, уж эта воля. Чему в ней они не научатся. Совсем другой воротился, я его ждал вот как! думал в наши дела, в помощники к себе его взять! Куда! я вам только не докладывал об этом...

— Что же он тебе отвечал?

— Как мышь, зарылся в саду, хатенку себе там устроил, требует земли, хочет непременно в рядовые мужики идти: не хочу, говорит, в дворовую сволочь! Просто бунтовал вначале. Насилу я его успокоил...

— Да ты его по старине-то, в том саду, знаешь? Осиль его этак под вечер невзначай или в темную ночь, да и помучь его... розгами, или так погрози, будто по-отцовски-то блудного сына убедить соберись... Ведь ты отец, что ты! Как пропускать такое упорство! Он испугается и, может быть, сдастся, особенно под розгами-то; подбери человек трех верных помощников себе... ну, и отваляй его! И лютые собаки на это сдаются... У меня были такие дети, и я их хорошо школила...

— Слушайте же, — сказал Роман. — Заставить его, не заставишь теперь... ничем... а удалить его можно... и навсегда можно удалить... Я знаю такое средство...

только вы помилосердствуйте; не пересолите дела... Ведь он все-таки мой сын...

— Ну, чем же можно удалить Илью?

— А вы не напортите, сударыня, дела?

— Нет, клянусь тебе, душечка!

— Ведь вы порох, я знаю, иной раз, как вспылите, и я вас боюсь... Хе-хе!

— Да ну же, голубчик, душечка, говори скорее! Видишь, я вся дрожу...

— А денег хоть часть воротите мне?

Перебоченская замялась.

— Сколько я тебе должна всего?

Антоныч достал из-за пазухи, озираясь, затасканный платок, а из него лоскуток бумажки с потертыми цифрами, писанными карандашом. То были выкладки его счетов рукою отца Ивана.

— Вот мы в последний раз считались с вами, мне после считал отец Иван. Я неграмотный, но надеюсь на вас, как на бога. Вы не обидите меня?.. Я был убогим бобылем и вместе с вами обделал дело... разбогател... и видите ли, как я верил вам, сударыня; все деньги мои у вас...

— Сколько тут? А! три тысячи целковых. Отлично. Я их тебе ворочу, не бойся ничего... что я? разбойник, что ли?

Руки у приказчика тряслись.

— Когда же, сударыня? Ведь десять лет...

— Как кончится мое дело,— тогда; а теперь, ты понимаешь, тут такой смут, такой смут! Ну, так как же? чем можно удалить отсюда... твоего сына? Этого-то мерзавца, Илью, как удалить, чтоб и духу его тут не пахло? Устрой это дело, тогда в нашу пользу порешится и мое, у меня развяжутся руки: понимаешь? Ну... я тогда тебе сразу настоящими деньгами и ворочу мой долг.

— У вас тогда в Сырте было ведь пять тысяч; вы при мне их вынимали и предлагали тому чиновнику... куда же они делись!

— Э! были да сплыли! Я, душечка, их под платье спрятала тогда, как советник выткнулся в коридор, а потом отдала их предводителю спрятать... Так говори же скорее, что ты надумал? Ну?

Приказчик завернул бумажку опять в платок, положил за пазуху, посмотрел на Перебоченскую, вздохнул и сказал:

— В бегах Илья был долго в Ростове, сударыня...

— Ну? что же из того?

— Там он сошелся с одним богатым каретником, стариком, тоже из беглых, и жил у него два года...

— Ну?

— Каретник этот богач! У него свой дом, вывеска золотая... Илья и слюбился с его дочкой, Настей, что ли. Пришел только сюда земли, дурак, просить, чтоб жениться и перевезти ее сюда. А если не потакнуть ему, наотрез отказать, он сразу даст тягу туда, только мы его и видели! Следствие это рухнет само собою, а понятых в другом допросе легко будет либо отвести, либо спутать... За это берусь я!

— Слава тебе, господи! Молодец, Антоныч! Так и поступи! благословляю тебя.

— Так отказать ему от земли?

— Отказывай и напугай его еще чем-нибудь, понимаешь?..

Приказчик встал.

— Кто же этот каретник, откуда он?—спросила, крестясь, барыня.

Роман запнулся. Множество разнородных ощущений боролись в нем: боязнь потерять нажитые деньги и страх окончательно погубить сына, желание угодить Перебоченской и недоверие к ее алчной, холодно-жестокой и мстительно-мелкой душонке.

— Ну?—добродушно спросила барыня.

— Это ваш-с... бывший столяр, Палагея Андреевна... Талаверка Афанасий,—брякнул старик и сам не понял, как он это сказал.

Перебоченская позеленела и ухватилась костлявыми пальцами за стол. Комната в ее глазах заходила ходуном. Под ложечкою стало ее сосать что-то жгучее и вместе сладкое. А в мыслях пронеслись слова: богач, каретник, ее беглый столяр, новая нажива, отместка за прошлое, новые кляузы, новый случай молить власти о помощи.

— Талаверка,—ты говоришь!

— Да-с.

— Афонька Талаверка? что спьяну в меня когда-то бросил молотком в кузнице и убежал?

— Он самый, сударыня! Только вы его-то оставьте в покое; он к делу не идет, и не беспокойтесь очень...

— Как же он теперь там зовется в Ростове?

— Я все подслушал однажды ночью, видите ли, как сын товарищу там одному про свое бродячее житье

рассказывал... И как не подслушать? Вижу, дружится Илья с сволочью, я и ну за ним следить; да чуть собачка каторжная не выдала, как я из-за кустов слушал его...

— Полно балясы-то точить. Как этого каретника-то там зовут? Ты мне имя его скажи... имя? слышишь?

— То-то... я все подслушал и помню... на вывеске над его заведением будто бы Егор Масанешти написано. Как будто он выходец из Ясс, что ли; так и в полиции он отмечен. А он доподлинно ваш бывший самый этот Талаверка. Вот к нему-то опять и можно сплавить Илюшку...

Перебоченская спокойнее опустилась на диван, понюхала табаку, с тупым вниманием обтерла платком влажные пальцы, бравшие табак, еще посмотрела на Романа Танцура и задумчиво-отрадно уставилась глазами в пол.

— Все теперь, сударыня? — спросил приказчик, почтительно встав.

— Поезжай домой себе, душечка! Ты теперь уже пока не нужен. А насчет денег извещу тебя как-нибудь...

— Пожалуйте ручку поцеловать, сударыня...

— На...

— Как воротите деньги, брошу моего барина, откуплюсь или просто уйду и заживу где-нибудь в Москве или Киеве купцом... Как бы не попасть еще под ответ перед князем! бог с ним, оставлю его.

Роман еще постоял.

— Чего же ты, миленький, стоишь? Иди себе, поезжай домой. Прощай! Нужно будет, так в город опять к себе позову; теперь еще пока сама не знаю, куда склоню голову. Подожди...

Приказчик уехал. Перебоченская вскочила, всплеснула руками, упала перед иконами, долго молилась и тут же пригласила к себе квартального. Она рассказала ему о нежданном открытии местопребывания беглого ослушника и своего слуги Талаверки, написала явку и требование о нем в ростовскую полицию, а квартальный задним числом и месяцем эту бумагу скрепил своею подписью.

Роковой пакет полетел к югу. Зашевелил он в разных местах усердную на этот счет полицию. Заскрипели перья, помертвели давно счастливые и спокойные души, и закапали горькие и безнадежные слезы. Следствие пошло сперва в Ростове, но потом справки перекинулись в самую Бессарабию... Кончался южный, мокрый противный январь; наступал февраль.

Весна рано была готова дохнуть из-за бугров и долин с юга. В Петербурге также ожидалась весна. Печаталось Положение о воле народа. Втихомолку передавался волшебный слух, что скоро выйдет манифест. Высшее общество тревожно приглядывалось к газетам. Низшие классы были по-прежнему спокойны и не ожидали ничего особенного.

С юга, от Азовского моря, уже летели журавли, утки, гуси и цапли. Половодье начиналось во всем разгаре.

Вдруг из Ростова явилась в уездном приволжском городке и скоро стала известна в ближайшем околотке полученная на имя Перебоченской одна радостная для нее бумага. В то же время, совершенно по другой причине, губернский сыщик, титулярный советник Ангел, возвращаясь с Черноморья, завернул в Есауловку, зашел под дом в княжескую контору к приказчику Роману Танцуру, попросил рюмку водки, закусил, поболтал с Романом, выразил удивление, отчего с ним не живет такой славный парень, как его сын, Илья, и пожелал его снова увидеть. Илью позвали. Под каким-то предлогом грек выслал из конторы Романа, потом его жену, а там и Власика, и спросил Илью:

— В бегах ты бывал в Нахичевани?

— Бывал-с...

— О резчике печатей Крутикове слышал?

Илья замялся, но ответил, что слышал. Грек более его не расспрашивал.

VIII

Посланцы от народа

За несколько времени перед тем, а именно в августе, когда Перебоченская навсегда оставила усадьбу Конского Сырта и в ней поселился генерал Рубашкин, Илья позвал Власика в сад помочь ему до заката солнца обобрать, по приказу матери, на варенье какие-то ягоды. Власик подошел нахмуренный.

— Что ты дуешься, Влас?

— Батька твой опять прибил.

— За что?

— Так, здорово живешь.

— Не может быть!

— Не впервое. Ухватил ручищами за вихор и ну трепать. Видно, ты его рассердил, что ли, дядя Илья...

— Что же ты?

Власик с важностью подбоченился, поднял камешек, помолчал и ухарски швырнул им в деревья по воробью.

— Не бросай, в окно попадешь.

— Эвона! Постой ты еще, стоглазый! Весной убегу...

«Как люди меняются! — невольно помыслил Илья, в фартук и в миску собирая ягоды,— когда-то отец был бобыль, кроткий такой, меня же научал уйти; а теперь и у него такой же мученик на потехах живет... как я был у немца».

— Помоги, Влас, кончить. Мать заказала ягод собрать. Надо непременно до сумерек кончить.

— Мать тебя не обижает? — спросил Илья,— как ты заметил.

— Да была допрежде хорошая, чаю пила только много; все мучился я над самоваром; а теперь на водку насела и вот как дует: напьется и упадет спать... И с чего зачала пить твоя мать, не знаю! Сам-то он про то тоже не знает, а придет иной раз злой, либо меня хлестнет, либо ее за косы сейчас. Что! Скот, а не человек. Убегу и я, дядя Илья, как ты; право слово...

Вечер между тем разыгрался чудный. Отдав ягоды матери, Илья вышел на поляну сада и сел под деревом. Опять перед ним выяснились в отблесках зари по луговинам, обступая Конский Сырт, знакомые лески: ближе Дятловский липняк, далее Соловьиные верболозы, еще далее Кукушкины кучугуры, и другие. Илья сидел, следил, как сад и окрестности меркли и тонули в наступавшей темноте, и думал о далеком донском городке, о Насте и о Талаверке.

«Что-то она, бедная? чай, ждет меня! Хоть бы письмо какое отписала о себе!» По дорожке раздались шаги. То был опять Власик.

— Дядюшка Илько, там вас кто-то спрашивает.

Сердце у Ильи запрыгало.

— Кто?

— Я в вашу хатку их привел за садом.

— Кто же там такие?

— Трое каких-то. Два старые-престарые, а один молодой, точно барин или богатый лакей. Идите, а я в контору скорее; еще бы не спохватились меня. Я уж давно за двором с ребятишками по селу бегаю...

— Никто их не видел?

— Никто. Вот еще; разве я-то скажу или выдам кому тех, кто к вам зайдет? Не на таковского напали...

Власик опять из всех сил чем-то швырнул в темные кусты и, заложа руки в карманы, плюнул, как плюют за трубкой кучера. Илья пошел в хатку. Скоро там раздались тихие, но дружеские голоса, которые и услышал было, идя к сыну, приказчик Роман. Роман побродил возле хатки, где светился огонь, и пошел обратно в контору, решившись с сыном объясниться окончательно и раз навсегда наутро. Роман, сам не зная почему, перед сыном терялся и был не в своей тарелке.

— Угадай кто? — грустно сказал навстречу Илье шамкающий голос старика впотьмах, когда Илья торопливо пробежал садом и вскочил в сени хатки.

— Не знаю...

— А отчего мужик дешев?

— А входите, входите, узнал! — сказал Илья.

Илья кинулся зажигать жировую плошку. Гости вошли.

— У тебя тут никто не подслушает, Илько? — спросили старики. Илья вытащил за шею из хатки собаку, рычавшую на гостей до надсада, пустил ее в сад и сказал:

— Говорите все, вот мой сторож! Она не подпустит сюда никого...

— Как дела, Илья? — спросил Гриценко.

— Ничего. Ваши как?

— И наши ничего...

Гости переглянулись.

Встал бывший квасник.

— Я перед тобою винен. Как ты шел сюда, вижу, парень молодой! — начал он, переминаясь и не смотря на товарищей,— а на последнем привале, под городом в шинке я узнал, что отец без тебя в приказчики попал... Скрою от него, думаю, и скрыл... А тут, помнишь, у тебя гнедой конек был... Думаю, отец-то у него теперь его заграбит, ну... подсмотрел, как ты его тогда в леску-то привязал, да ночью подобрался и украл его...

Другой старик покачал головой.

— Это ты... это не след!

Квасник продолжал.

— Прости, паренек; украл я, что делать! Ты шел на хорошие хлеба к отцу-приказчику. А меня дома жена, ведьма злющая, ждала; семнадцать годов ее не видал.

Сказано нам было на вольнице: идти домой; я и пошел, как и все. А с чем манифеста дожидаться? С чем на землю-то эту сесть? Я вот конька-то твоего и продал доброму человеку и... прости, брат!.. деньги взял. Мир узнал и велел тебе все сказать...

— Ты его, Илько, прости! — подхватил сапожник,— поумнеем мы все, он тебе воротит деньги.

— Ей же-ей, отдам, приди, хоть с жены платье сниму, а ворочу тебе. Она же теперь, ведьма, от радости, что я пришел, чуть наседкой не квокчет, и даже сдуру забрюхатила, кажется... Слушается поэтому...

— Ты, Илья, скажи, однако, мы пришли от мира к тебе: ничего там этого еще нет сверху?

— Ничего. Я бы вам, отцы родные, сказал.

— Ей-богу, ничего?

— Ей-богу.

Сапожник почесался.

— Тебе мы верим. Ты грамотный и с отцом не якшаешься. У нас везде уж, как говорим тебе, про тебя стало слышно, меж молодых и старых. К нам за Авдулины бугры перелетела весть сразу от ваших, что тебя ваш мир полюбил. Мы пришли, чтоб узнать все дело: нет ли чего в газетах или манифест не выслан ли к попам? и поклониться тебе от нашего миру.

Оба старика встали с лавки и поклонились Илье, который покраснел от удовольствия.

— Ничего, братцы, еще нету главного, ничего; я бы знал. Повестки в экономию из стана сюда все лето я отцу читал, а от хороших господ ничего не слышно. Священник от меня тоже бы не потаился; он про все мне говорит; да и генерал Рубашкин за услуги мои, ждать надо, теперь не потаится. Люди все важнейшие и отменные.

— Так, так. Подождем еще.

Посланцы пошли к сеням.

— А записку ты ему отдал? — спросил сапожник квасника

— Ах, да, брат, и забыл... хворал я долго это; памятью ослабел.

— От кого?

— Из Ростова! там у меня брат ходил по паспорту у купца в сидельцах; он у одного каретника побывал и сюда прибыл. Там одна девушка и передала эту запи-

ску... Вона, цела: гляди, к тебе ли? Ты грамотный, ты и разбирай.

— Ко мне, ко мне! — сказал Илья радостно, читая надпись и угадывая, от кого было письмо.

— Проводи же нас. Да придержи собаку! — сказал сапожник.

— Идите.

Илья проводил гостей за канаву на Окнину, посоветовал им, как осторожнее миновать улицу возле барского двора, чтоб не наткнуться на его отца, и кинулся с замирающей душой снова в пустку.

Илья взял от иконы восковую свечку, зажег ее в помощь плошке, опять припер двери и стал читать. Письмо было от дочери Талаверки, писанное четкою красивою рукою. Настя писала: «Сердце мое, лапушка, жизнь и суженый мой верный, Илья Романыч! На кого же ты покинул меня? За что стрелами такого молчания пронзаешь меня, бедную? Помни, припомни наш садок, вспомни ноченьки, как мы с тобою гуляли по саду. Меня ничто не занимает, окромя тебя. Скоро ли ты за мною приедешь? Не смотри, что я в ситцах хожу; тут все девушки, даже в деревнях, в ситцах ходят. А батюшка хочет, чтобы мы с тобою на деревенское хозяйство, на хлебопашество сели, и я готова, пока жива; в поле пойду, серп возьму; не истомятся мои рученьки, не обсекутся об траву мои ноженьки, лишь бы ты со мною был. И ставь хату на той самой Окнине, про которую ты, Илюша, отцу сказывал. Отец стал хворать что-то; стар становится. Работа, однако, идет хорошо; сами чиновники нас уважают. Тятенька делает карету главному тут по всяким делам барину в полиции. Пиши и ты мне. А переписывает тебе за меня это письмо Аверкий, ученик булочницы, той вдовы сын, что из мещанок. Он читал мне все письмо, и я рада: он поместил все, как я ему говорила, и ничего не пропустил. Твоя по гроб любящая невеста, Настасья».

Долго сидел над этим письмом Илья. Восковая свечка давно догорела; догорела и жировая плошка. Он и хлеба куска на ужин себе не отрезал. Перекрестился, вздохнул и лег на прилавок, не раздеваясь.

«Слава тебе господи! — думал Илья, засыпая почти на заре и перемыслив разных разностей с целый короб,— грамота-то мне как пригодилась. Недаром выучил немец! Хоть этим его добром помянешь! Мир заметил

меня; надо же честью послужить миру. Лишь бы случай был!»

Бодро встав утром, Илья принялся с сапкой за полотье барской капусты.

Вдруг в саду показался его отец... Роман Танцур давно уже почему-то собирался поговорить с сыном.

«Пойду, окончательно поговорю с Ильей, напугаю его, а коли не сдастся, то уйдет прямо в Ростов и следы скроет». Так думал Роман Танцур, когда увидел, что Перебоченская окончательно оставила Конский Сырт. Хотел он с ним поговорить еще накануне, но узнал от жены, что у Ильи в хатке какие-то гости, которых видели тут теперь впервые. Хотел он сразу пугнуть и этих гостей, погрозить сыну, чтоб не пускал в барский сад всякую сволочь, хотел и подслушать из-за кустов толки сына с гостями: не были ли это воры? Но собачка Ильи до того навострилась и озлилась в последнее время, что как раз могла его открыть и осрамить перед сыном и чужими людьми. И так уж его дозоры крестьяне звали волчьими, а его самого стоглазым. Он решил подождать, и, когда вечером, отдавая ягоды, сын зашел к матери и столкнулся с отцом под барским домом, Роман сказал сыну: «Тебя вчера просила барыня Перебоченская отказаться от тех бумаг, на которые нелегкая тебя натолкнула; ты не уважил ее просьбы и моего желания. Теперь слышу, что тебя опять звали вчера уже поздно вечером заседатель и генерал. Правда ли это?» — «Правда». — «Зачем?» — «Еще там одну бумагу подписать».— «Смотри, Илья, чтоб не дописался до чего. Какой бес носил тебя туда в понятые? Жаль, что я ездил на пристань, а дурак десятский так тут без меня напакостил. Чего ты там все возишься с господами!» — «Звали по делу, а общество доверило мне все свои руки; ну, я за него и писал!» — «Ох, уже вы, бесштанники, голыши, с вашими обществами!» При этих словах кто-то из посторонних подошел к ним, и разговор на этом оборвался.

Наутро Роман застал сына за работой в саду. Илья, обрадованный радостною вестью о Насте, пел вполголоса.

— Вот как! поешь! — усмехнулся приказчик, искоса поглядывая на сына.

— Пою.

— Брось сапку. Надо поговорить.

Илья поднялся от гряд и вышел ближе к дорожке. Увалень и тихий от природы, он за несколько месяцев жилья в Есауловке стал еще медленнее и суровее.

— Слушай и не пророни ни единого моего слова. Я давно слежу за тобой. Ты пришел сюда; я тебя принял, заявил о тебе полиции, пустил тебя в барскую деревню, а ты шашни везде завел? Против меня идешь? Против господ, которые меня любят и отличают? Это что значит? отвечай!

— Я пришел к миру, к обществу, а не к барину и... не к вам, батюшка...

— Вот как! Ах ты, щенок! Да я тебя в плети; гаркну на сотских, свяжу тебя, положу и отдеру...

— Стара штука, батюшка. Не за что!

— Что? Как? Что ты сказал мне, молокосос?

Роман кинулся к сыну. Илья быстро отступил и крепко сжал в руках огородную сапку.

— Да ты кто? Сын ты мне или нет? К миру! К мужикам? Вот как! Не бывать же этому вовеки: ты сын мой, и я записал тебя в дворовые в поданной сказке, с явкою о тебе в палату. В мужики я тебя не пущу...

— Сын я вам, да только не дворовый. Я родился, когда вы, батюшка, еще в селе жили, на Окнине... все-таки в составе здешнего общества, а не в дворовых; тогда, как вы еще не помыкали миром, не пили христианской крови, не секли своих же братьев, мужиков... не мучали Власика-сироты... вот что! Грех вам, батюшка!

Роман почернел от бешенства и, не помня себя, снова кинулся к Илье.

— Не замай, батько! — сказал вдруг Илья, понуря голову и также став из бледного темным,— теперь меня не трогай! Я не ручной тебе и даром не поддамся... Руки теперь твои, батько, на меня коротки!

Приказчик уставился испуганными глазами на сына и стал бессмысленно шевелить губами. Он никак не ожидал такого отпора.

— Руки мои на тебя коротки?

— Коротки...

— Вот как! Когда же они укоротились?

Илья молчал.

— Да где ты вырос такой, пакостное зелье, щенок?

— На воле, батько, на воле... Одумайтесь и вы: вспомните прежнее свое житье. Другие времена пришли, батько, другие... не губите своей души.

Голос Ильи из сурового и глухого перешел опять в мягкий.

— Эй, Илько, берегись! — крикнул Роман,— ведь я здесь за князя всем управляю... Знаешь ли ты, собачье твое отродье, что я станового могу вызвать? в тюрьму могу тебя засадить; пропадешь ты там, как блоха, вот что!

— Миновалося ваше панство, батюшка! — ответил спокойно Илья, тряхнув черною кудрявою головой и снова опустив в землю глаза,— не то говорят давно на стороне...

— Что же говорят-то, что говорят на стороне? Что хвастаешься, поросенок? Ты лучше покорись, не слушай дураков, иди ко мне в контору да помоги отцу счеты сводить, барские деньги в толк привести, письма к его сиятельству за границу надо готовить о смутах да о дурачествах вашего же брата... Что говорят-то? Отвечай!

— Много говорят, да не вам я, вижу, то слушать. И потому... я знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю; а мое дело пока... сами знаете... барский сад.

— Вон отсюда, вон! Чтоб твоего и духу тут не пахло! Вон! Ступай на деревню...

— Давайте мне хату на селе, так и пойду.

— Не будет...

— Давайте хоть место да лесу! сам построю с добрыми людьми.

— Не будет тебе, собака, ничего! Вон! вон с глаз моих, хоть в Ростов...

Роман еще крикнул и пошел. С конца дорожки он, однако, воротился. Илья опять чистил грядки.

— Илья! — сказал приказчик несколько мягче,— слушай, как мне не сердиться? вон ты какой стал! Рассердил меня так, что я чуть тебя не поколотил. Не думал я тебя такого встретить, как ждал да высматривал тебя из бегов домой. Не груби мне больше, эй, не груби! а не то побью при всех.

— Ну, еще померяемся! — глухо проговорил Илья, опять бледнея,— особенно берегитесь, не советую меня тронуть при людях, на миру! Хоть грех будет...

— Ого! какой храбрец нашелся...

Приказчик притворно усмехнулся, сам между тем не веря ни своим глазам, ни ушам. Илья стоял перед ним с полновесною сапкой в руках, и, кажется, все в нем

говорило: «Эй, батько, не тронь меня; довольно с тебя и Власика; не то и я тебя поколочу!»

— Так слушай же, Илько! Оставайся тут; изволь, я согласен. Стройся себе на Окнине, бери землю... дам тебе и лесу... Не хочешь помогать отцу, так бог с тобой. Только сделай одно дело.

— Какое?

— Прошу тебя... слышишь? прошу! Я, я, твой отец, прошу тебя, кланяюсь тебе...

— Какое же там дело у вас?

— Откажись от своей руки в тех бумагах, что ты против той барыни подписал...

— Так и вы, батюшка, про это просите?—перебил Илья, усмехнувшись.— Ну разве это можно? Если уже меня судьба натолкнула на это дело, и я не гадаючи с Кирюшкой впутался туда,—так тому и быть... Все про то уже знают, огласка везде пошла... Мир не шутка, чтоб с ним баловать!

— Опять мир? Пропади он! Слушай, Илья; сердце у тебя было доброе... Откажись, объяви, что тебя принудили и принудили с тобою всех понятых. Не погуби и меня... Илько! С тою барыней все мое имущество связано; у нее все мои деньги, без записки, на хранении. Хоть малость там, а все-таки тебе же останутся. Где нам снова от господ нажить? Пропадет она, пропадут и эти мои деньги! Откажись, сын; я тебе сам... барщиной... хату-то поставлю... и волов тебе, и корову, и овец на хозяйство дам... к князю про твои заслуги напишу...

— Отказаться от своей руки я не могу, пока жив...

— Прошу тебя, Илья, еще раз прошу тебя и кланяюсь!

Роман поклонился сыну в пояс.

Илья схватил в руку горсть земли.

— Вот вам, батько, клятва! Видите? землю ем, коли лгу: изломайте во мне все косточки, изрежьте мое тело на куски, а я от того, что показал за себя и за мир в том деле, не откажусь!

Он взял в рот земли и, обернувшись, с сапкой через плечо, молча пошел к пустке.

— Так будь же ты проклят, собака,—крикнул ему вслед отец,— не хотел покориться и пожалеть родного отца, пропадай сам и с своею невестою. Я все знаю! все слышал, как ты своему любезному приятелю Кирюшке Безуглому рассказывал. Знаю все твои дела и похожде-

ния. Убирайся на Окнину; стройся. Созывай соседей, кланяйся миру, пусть тебе помогают! даю и барский лес тебе на хату. Отказать не могу; идешь в мужики. Только помни: соком тебе выйдет треклятое отродье твое, и эта Настя Талаверкова, и ее бродяга-отец...

Долго раздавались в кустах сада угрозы Романа. Илья порывался воротиться к отцу, кинуться ему в ноги, просить о прощении, лишь бы тот не мстил Талаверке. Но упорство взяло верх. «Не посмеет он донести!» — подумал Илья и не вернулся к отцу. Он пришел в пустку, бросил об пол сапку, уложил в узел кое-какие вещи и пожитки, в том числе бережно снял от икон картину покойного Саввушки; положил все это на залавок, запер дверь на замок, свистнул на собаку и, перескочив через канаву на Окнине, пошел в винокуренный завод, где помещались начинавшие со скуки буянить музыканты, к Кирилле Безуглому, а оттуда с верным другом на совет к отцу Смарагду. Он решился тогда же бросить и сад и пустку.

Священник сверх ожидания дал сильную головомойку Илье. Он стыдил его за непочтение к отцу, советовал идти просить у него прощения и вообще помириться с отцом. Священник был очень грустен и, между прочим, сказал:

— Что же Роману уж так хлопотать для Перебоченской!

— Нет-с, ваше преподобие,— перебил Кирилло.— Позвольте-с, я слово доложу... Фрося... значит, тоже моя любовница-с, извините... а больше того невеста моя, горничная этой барыни. Когда Перебоченскую уже совсем увозили, эта Фрося прибежала ко мне там в овражек в поле, обняла меня, извините, и говорит: «Коли меня барыня к зиме или к весне за тебя от себя не отпустит, так ты, Кирюшка, проси о том Романа Антоныча... Это такой сильный человек у нашей барыни, такой сильный, что другого такого у нее и нет... Я часто в щелочку смотрела, что они, запершись, делали».— «Что же они делали?» — спрашиваю. «А вот, говорит, что: он считает ей ассигнации, а она все их пачками связывает. Такая пропасть, бывало, лежит это перед ними на столе. И должно быть, он где-нибудь ей их менял... Как они еще в Черноморию ездили, я была маленькою девочкою

и барыня брала меня с собою. Туда они ехали почти без денег; у барыни было немного денег на покупку скота; а из Нахичевани они вывезли целый сундучок денег и все тут считали...» — «Откуда же это все ты подсматривала?» — спрашиваю. «Из кладовой, что возле спальни барыни: там не стена, а тоненькая перегородка и в перегородке такая щелочка, что только пруток продеть; оттуда я все и видела».

— Так вы, насчет дружбы приказчика нашего с этою барынею не сомневайтесь! — прибавил Кирилло Безуглый.— Как у них богатые такие счеты между собою, так он не задумается ей когда-нибудь угодить и Талаверкою! Это так!

— Что за чудеса, однако, рассказывала тебе эта Фрося! Слышишь, Илья,— спросил священник, не предвидевший с Ильей еще ничего о том, что Роман все расскажет Перебоченской и что поиски Талаверки уже начались...

— Слышу.

— Что же ты на это скажешь!

— Ничего не знаю, батюшка, ей-богу. И меня не раз брало раздумье: откуда разбогатела Перебоченская, а с нею и мой отец. Что-то мерещится мне, как вспомню про Нахичевань, где я тоже жил как-то в бегах! Да бог с ними; не хочу брать греха на душу. Лишь бы они за меня других не губили... А погубят, ни за что не поручусь: услышат про такое, что и во сне им не приснится... Рад я отцу покориться и благодарю вас за совет. Пойду к нему завтра: даже в конторе стану ему помогать. А тем часом, по его слову, на Окнину начну-таки перебираться. Осень подходит. Надо успеть хату срубить, укрыть ее и обмазать. Поклонюсь опять миру; может, дадут мне помощь. Надо и угостить людей. Там над ключами у верб, на мирской земле, под селом, и строиться стану.

В следующее воскресенье отец Смарагд служил Илье молебен. Приказчик с виду как будто простил сына и дал даже барщиной людей в помощь ему на закладку хаты. Хата была заложена на прежнем старом месте, среди журчащих ключей на Окнине, под обломанными вербами, насаженными еще дедом Ильи, отцом Романа Танцура, прозванным так потому, что он был также любимцем на селе и всегда в праздники потешал мир плясками.

— Коли моя Фрося отойдет от барыни,— сказал, выпив на освящении хаты, Кирилло,— так я поселюсь тут же, возле тебя: только на шпилю, повыше, чтоб было слышно лучше мою флейту, как стану я играть тебе, Илюша.

IX

Не поздно ли?

О Талаверке, по объявлению Перебоченской, производились справки.

Нахмуривался сентябрь. Его сменил светлый, морозный низовой октябрь. В половине ноября повалил снег, но не дружный. Везде было тихо, не было слышно особенных происшествий.

Под Есауловкою между тем над ключами, на Окнине, возникла новая хата. Ее выстроили частью барщиной, частью миром, успели обмазать и укрыть. Десятский был хороший печник и сам сделал Илье печь. Товарищи флейтиста Кириллы, в праздники, за полведра водки, съездили с Ильей в Кукушкины кучугуры, вывезли оттуда несколько возов лозы и кольев и заплели вокруг хаты хорошенький дворик. Утварь Ильи из садовой пустки перешла в эту новую хату. Илья стал строить сарайчик; вправил ворота во двор. Он ничего не знал о доносе отца Перебоченской и, по совету священника, помирился с отцом. Роман ходил смутный, точно в тяжелом чаду. Так его озадачила Перебоченская отказом в отдаче денег до конца ее дела. Кирилло заходил к Илье, поглядывал на новые углы хаты, на новую золотистую соломенную крышу, возился вместе с приятелем над устройством внутри окон, дверей, полок и лавок. Сад опустел, помертвел. Виноград был зарыт в землю. Илья пока все еще носил звание садовника. Мать принесла Илье тайно от мужа большую икону и поместила ее в главном углу хатки. Илья ниже ее привесил в стороне картину покойного Саввушки, и добрые люди, входя посмотреть на житье бедового парня, который не пошел плясать по дудке стоглазого отца, крестясь на икону, и видя случайно против входа в хату нарисованного Саввушкой молодцеватого запорожского казака, говорили: «Сейчас видно хорошего человека; сам казак,

намалеванного казака и за хозяйку взял себе!» Илья ходил в угоду отцу иной рай в контору, проверял денежные счеты и книги всякого рода. Все это писалось другими со слов самого Романа, следовательно, нечего было и сидеть над ними, хоть приказчик иногда, уставясь глазами в сына во время поверки итогов, будто так и ожидал, что вот тот скажет: «А! тут ошибка!» Окрестности запорошило снегом. Лег зимний путь. Реки стали. Мужички к будущему сплаву на себя и на владельцев бодро молотили новый хлеб. Скот давно стоял в загонах. Земские власти, как сурки в теплых норах, сидели дома, покуривали табачок, поигрывали в картишки и вели беседы о далеком темном Петербурге, о новых сановниках, о смене старых, и с трепетом в желудке и в спине шепотом передавали друг другу пугливые догадки о том, что-то будет к весне.

Забытая есауловская усадьба по-прежнему грустно безмолвствовала и пустынничала в отсутствие своего настоящего хозяина. Французик, мосье Пардоннэ, сахаровар, изредка наезжал сюда из города, выпивал добрую порцию местной крепкой водки, настоянной женою Романа на апельсинных корках, говорил приказчику, топорща кверху востренький багровый носик: «Итак, поштенн, трудись, молоти клеб, пшениц; э главное побольше князю посылайт денег!» — брал от Романа в карман, смотря в сторону мутными глазками, две-три серых депозитки и уезжал обратно в город. К Роману между тем завертывали в гости, по-былому, разные личности, купцы, мещане, однодворцы, барочники и рыбаки, закупали барское зерно, снимали барские рыбные тони по Волге и по Лихому, рубили лес, угоняли купленный скот и овец. Есауловские мужички чесали в затылках, посматривая на все это, и в недоумении покорно шли на работы. «А кто это у твоего батьки купил бракованных волов и овец, и почем?» — спрашивали они изредка Илью украдкой на общих барщинных работах, куда и он стал опять являться с зимы, на гумне, на вывозке дров и сена. «Бог их знает; я в то не мешаюсь. Ходил я было с осени в контору книги сверять, да теперь уж и сам отец меня не зовет!» Изредка по Есауловке, в отсутствие мужа, старая приказчица Ивановна, пошатываясь, пьяная возвращалась из гостей от жены другого священника, отца Ивана, также тянувшего водку. В праздности и скуке болтались по селу и его окрестно-

стям есауловские музыканты, то собираясь в свою квартиру на винокуренном заводе и начиная нелепо играть какой-нибудь марш, то возле шинка, заводя ссоры и драки. Отец Смарагд говорил приказчику: «Эй, Антоныч! Добейся ты толку от венгерца: что он бросил заниматься с музыкантами? Не наделали бы они тебе беды!» Сам Роман, слыша кругом себя везде тревожные толки о разных ожиданиях и видя Есауловку забытой и брошенною всеми, предавался иной раз тоске и утешался только мыслью, что вот Перебоченская одумается, дело ее поправится, она воротит ему его деньги, он женит Илью, и все заживут счастливо. Неимоверная скука господствовала в Есауловке. Особую грусть всему придавала в ней еще гаснувшая, без всякой помощи в болезни, жена отца Смарагда.

Усадьба Конского Сырта между тем сильно оживилась. Генерал Рубашкин, новый сельский хозяин того околотка, не на шутку на закате своих дней решился хлопотать и, как он выражался, оставить по себе на земле добрый и хотя бы один дельный и прочный след. Он облекся в простую дубленку, купил скота, пустил несколько десятков голов чужих волов и овец к себе на зимовлю и сам наблюдал за отпуском сена, припасенного, впрочем, еще трудами Перебоченской. Как видно, он не жалел денег на первые главные обороты по хозяйству и хвастливо толковал всем, что он состоит у себя и приказчиком, и конторщиком, и рассыльным. Все шло у него изрядно; одна беда — на плечах его было за пятьдесят лет. Он часто кряхтел, испытывал боль в ногах, в спине, изредка от пустяков простужался и кашлял, и еще главное — скучал неимоверно. «Эх, не поздно ли я за ум взялся? — думал он, — да и то сам не понимаю, как я решился вдруг! Раньше было бы бросить этот отвратительный Петербург. Сколько он даром стягивает к себе наших лучших соков и сил! Или надо уступить дорогу другим?..» Мечты старого юноши напрягались, он уходил в занесенное снежными сугробами поле, к батрацким избам, где весело теплились печки, а из труб печей вырывался в морозную лазурь дым кизяка. Он отправлялся посмотреть, как на солнышке, с завихрившимся в инее волосом, стоят в дворах загонов тучные волы и, щурясь, медленно жуют жвачку. Но не о них думал генерал. Адриану Сергеичу тогда представлялся Петербург, зала пышного маскарадного бала,

франты с лорнетами, красавицы, гром музыки. Тут же мелькал в его мыслях Невский, тьма магазинов, вывесок, отчаянно мчащийся, точно от какой погони, экипаж с бешеными серыми рысаками и с полуживою от смертельной скуки барыней-щеголихой. А тут вдруг из тумана выходил перед ним его департамент, теплые огромные покои, швейцар, скрип перьев, столоначальники, нюхавшие табачок над только что состряпанными громовыми бумагами в провинцию. Возле — снова улицы; городовой на углу какого-то громадного моста, расхаживающий по морозу и наедине рассуждающий о том, сколько это рублей и копеек выйдет всего, если сложить в казне жалованье и пенсию, которая после него останется, и пойдет ли, например, провожать его самого на Смоленское кладбище былой камрад его по гвардии, Иванов десятый? Представлялась Рубашкину в прогулках по работам в имении, без всякой, по-видимому, причины Адмиралтейская игла, за нею какая-то уксусная барыня в желтых лентах, метившая попасть ко двору. В голове генерала, наконец, роились разные служебные интриги, игра чиновников в реформы, в громкие фразы и в споры о значении разных углов и захолустьев отчизны. А вокруг Рубашкина наяву во дворе звонкими блестящими пилами в десятки рук пилился на постройки тес, очищалось и обделывалось множество колод, сновали новые нанятые батраки: конюхи иной раз гоняли на веревке молодого жеребца, чистили на разостланных холстинах перемолоченный хлеб из запаса, захваченного после выезда Перебоченской. Окна в доме были старательно законопачены, двери обиты полстьми и клеенкой; в комнатах появились ковры и прочая петербургская рухлядь генерала: бронзы, хрусталь, скатертки, всякие поддонички и картины. В кабинете, переделанном из обширной и ни к чему не нужной гостиной, появился еще с осени, вместо печи, камин, а вместо твердого дивана, на котором сиживала, раскладывая карты, Перебоченская, явилась мягкая обширная софа из города, уложенная гарусными и штофными подушками. Деловые бумаги и хозяйственные книги лежали тут на двух столах. Возле них изредка копался над листком газеты гость хозяина, отец Смарагд, иногда оставлявший больную жену, или сам Рубашкин, воротившись с обхода по хозяйству и лежа на мягкой софе, читал и соображал разные, им самим сочиненные, проекты спекуляции.

Часы в передней остались прежние. Остался по-былому в углу залы и дрозд в клетке. Он так же упорно, как и при бывшей своей хозяйке, среди тишины комнат, прыгал со дна клетки на жердочку и обратно, будто с крыши весной на землю капали непрестанные и ровные капли оттепели. Камин часто топился в кабинете, добродушно потрескивая в ту пору, как генерал писал, толковал с рабочими, вообще туго понимавшими то, что от них требовалось, и волком смотревшими в лес, или когда Рубашкин урывками, за чтением смет и проектов, переговаривался с отцом Смарагдом.

— Вы, я слышал, соль на пристани закупили? — спрашивал священник.

— На спекуляцию! Каков-то будет ее новый сбор в Елтонском озере с весны!

— Пшеницы еще не спрашивали у вас?

— Нет. Я не думаю и продавать, а еще бы поискал купить; разузнайте и вы стороной. Хочу подобрать хорошую партию к открытию пристаней. Впрочем, вижу еще потемки тут во всем.

— Денег много еще у вас осталось от займа?

— Довольно. Полагаю взять на аренду еще соседние куски земли; павловский, урюпинский и землю у жены Кебабчи. Пущу туда чужие гурты.

— Вот как! Кебабчи?

— Просит сама, бедная. Муж все еще в остроге сидит.

— Как идет их дело?

— Плохо кончится. Не те времена. Жена Кебабчи с сестрой Хутченко ездила в Петербург, потратилась и воротилась ни с чем. Там дело поняли хорошо. Правит теперь у нас все народ из молодых...

— Отлично. Узнал бы Саддукеев, еще бы пять лет со ста скостил из того, что прожить хочет.

—Знает, знает. От него тоже письмо на днях я получил. Поздравляет; пишет, что и в городе у них хорошо; только чуть, кажется, его самого из гимназии не изгоняют.

— За что?

— Пишет, чудак, что вздумал распространяться о чем-то по истории, знаете... и касательно тоже прав гражданства каждого человека и личной там, что ли, свободы... Но письмо его что-то отзывается грустью. Позвольте, где оно? По правде сказать: пустоват ваш

приятель, извините... Что это за фразы о старании прожить сто лет? Что за недоверие к успехам времени? Что за радикализм, да еще голословный. Да, пустоват; я его раскусил...

Священник вспыхнул, нахмурился еще более и сел на дальнем стуле.

— Странно, что вы его не жалеете, когда его гонят со службы...

— Ах, если, отец Смарагд, от всего на свете проникаться жалостью, то не стоит и жить. Негодование да сострадание — это два чувства, от которых более всего должен беречься деловой человек... В управители вдруг ко мне просится. Ну, какой же, скажите, он управитель?

Рубашкин встал и подошел к рабочему столу.

— Вот его письмо! Да! Он еще приписывает и любопытную для нас с вами новость. Представьте, Перебоченскую опять из губернского города перевели в уездный и позволили ей снова жить в ее доме и на хуторе... Загадки! А чувствуется, что о ней, вероятно, собираются грозные справки. Лазарь Лазарич недаром все вертится возле нее...

Священник вздохнул и молча стал пересматривать листок газеты, куря крепчайший турецкий табак. Генерал закурил благовонную сигару и лег опять на софу. Он, как видно, хотел еще поговорить.

— Великое дело комфорт! — сказал он, потягиваясь,— что делать! Привык к нему в столице!

Священник на это ничего не отвечал. Разговор, видимо, не клеился. Священник, очевидно, был смущен холодным и беспощадным эгоизмом Рубашкина, который становился ему все более и более понятен. Отец Смарагд чувствовал, что и на него-то самого генерал смотрел, как на одну из вещей, способствующих его комфорту, развлечению, и не видит в нем человека, с которым он готов обоюдно поделиться и радостями и горем. Отговариваясь нездоровьем жены, священник сухо простился и ушел. Уж много раз он давал себе слово прекратить сношения с Рубашкиным; но тоска и скука всякий раз загоняли его опять в просторные и удобные покои генерала.

Срывалась метель. Вечерело. К Илье в хату зашел Кирилло Безуглый.

— Пойдем, Илья, походим.

— С ума ты сошел! Такая погода!

— Пойдем, дело есть.

— В хате говори.

— Выстроил хату, так и не вытащишь тебя! Где был все эти дни? Как ни зайдешь, нету.

— Барские три дня был на барщине, а свои у попа долг отрабатывал за хату.

— Вот как. Вы уже нынче мужичком-с, не тронь нас! гражданин-с, на-поди; по три дня, не то — что мы день каждый в деле.

В голосе флейтиста слышалось непривычное раздражение.

— Уж будто вы, что день и в деле? А, кажись, так болтаетесь по селу.

— Илюша, пойдем, не подошел бы кто-нибудь, не подслушал бы нас! Пойдем, сердце!

Илья оделся в шубу, бросил долото, которым долбил кому-то чашку, взял шапку и вышел.

— Куда же идти? Говори.

Кирилло направился к заметенному и шумевшему от ветра саду. Сумерки сгущались. По саду были протоптаны тропинки от гумна мимо барского дома к двору. Ноги тонули в сугробах. Миновав заваленную до крыши садовую пустку Ильи, Кирилло прошел в кусты, разбирая ветви, скрипевшие от гололедицы под рукою, и тут остановился.

Было уже совершенно темно. Они снова выбрались из сугробов на тропинку к дому. Пройдя опять несколько шагов, остановились и присели на заметенную снегом лавочку. Огромный дом сурово молчал с закрытыми на крючки и на железные болты ставнями. Ветер шумел и стучал болтами.

Кирилло помолчал.

— Илья!

— Что?

— В доме тут болты замыкаются снутри?

— Снутри.

— В дом теперь из твоих кто-нибудь ходит?

— Вряд ли. Отцу незачем: все у него под замками. У крылец часовые по наряду с села ночуют. Разве мать иной раз с фонарем в верхнюю кладовую пройдет.

— Что же там в той кладовой?

— Варенье, мед стоит там, наливка, вина какие лучшие в ящиках стоят.

— Вот бы поживиться наливочкою! — сказал, смеясь, Кирилло.

— Что ты! Как можно! Губа-то у тебя не дура...

— Я пошутил... так... А где хранятся, Илья, конторские деньги?

— Должно быть, при себе отец держит. Немного там запасу бывает! Что соберется, сейчас князу шлют. Живет себе наш барин где-то и нуждушки ему мало, как люди тут маются...

— Поверишь, брат Илья, животы подвело с той месячины: по два пудика отсыплют муки с трухой пополам, да четыре фунта соли, да гарнец пшена, вот и живи. Больше ничего не полагается дворовому на харчи, сам знаешь. Даже венгерец наш бунтует. Напьется пьян и кричит: «Убью Романа!» Знаешь что, Илья, я думаю? — прибавил Кирилло.

— Говори.

— Обокрадем, право, кладовую в доме! Хоть наливки напьемся вдоволь, варенья со скуки наедимся. И для кого его варят? Когда эти господа еще наедут?

— Что ты, что ты, беспутный! Вором, брат, я еще не бывал и не буду никогда!

Кирилло засмеялся.

— Я пошутил... не сердись. Тошно на свете жить, вот что. Даже на флейте не играл с той поры, как Фрося в город с барыней уехала...

— Так никогда не шути со мной...

— Прощай! Знаешь ли, я хочу бежать с Фросей! Она ладится. Может быть, надует, не знаю! падка она больно на наряды; прежде, на горячих порах, как мы сошлись, меня дарила, а теперь все требует денег...

— Обождите весны лучше...

— Хорошо тебе ждать. Спорил с отцом, а все-таки на своем поставил и живешь нынче, как хочешь. Попробовал бы я или кто другой из наших дворовых. Бросит меня Фроська, удавлю ее! Эх, Илья, Илья! Беда, пожалуй, будет, либо наши-то венгерца сдуру убьют, либо разбегутся сами все, как волки...

— Какие волки? — спросил рассеянно Илья, прислушиваясь к гулу ветра на деревьях. И они, не останавливаясь, пошли далее.

X

Степной линч

Прошло несколько недель. Приказчик Роман, потерявший надежду сплавить сразу сына из деревни и из губернии, выжидал случая как-нибудь его-таки уломать — отказаться от показаний его в деле выезда чиновников к Перебоченской. Старик Танцур хоть все еще сильно тосковал, но как будто на время успокоился, так как из города вести на время затихли, и сама Перебоченская тоже его не натравливала на сына. Роман стал помышлять даже о том, как бы в самом деле, под шумок, сделать хорошую штуку, именно помочь сыну жениться на дочке разбогатевшего Талаверки, но, не желая показать, что сразу сдался, все еще хмурился и относился к сыну, как к опальному. В то же время старый хитрец неожиданно запустил разные приемы, лично и через других, чтобы сойтись с новым соседом, Рубашкиным. Толкало ли и его на это затишье в торговле зимой и отсутствие разного заезжего люда, с которым он любил водить хлеб-соль, или другие какие причины, только он положил себе непременно войти в приязнь нового обитателя Конского Сырта.

Он уже сам побывал раза три у генерала, как будто невзначай, то занять у него веревок, то сено обменять на двойное или тройное количество соломы, то условиться о ловле рыбы в общих тонях по Лихому и по Волге.

Раз, в ясное морозное утро, приехав, по своему обычаю, верхом в усадьбу Конского Сырта, Роман был допущен в кабинет генерала, и в синей шубе, с серыми бараньими оторочками, почтительно стоял у дверей, беседуя с Рубашкиным. Старая служанка подносила приказчику по временам чай с пуншем. Топился опять камин. Генерал лежал на любимом месте у стола на софе, в бархатном сюртучке и в туфлях, и курил сигару.

— Оно точно, сударь! — беседовал Роман Танцур, стоя с стаканом чаю в руках и приобретя в голосе от недавней простуды лишние ноты густого баса, — вы рисково думаете вести хозяйство. Прочтут волю, с деньгами тут вы всех подорвете. Только, полагаю, напрасно вы из чужих краев думаете немецких али французских колонистов сюда выписывать. Народ неподходящий. Разорят они вас, замучат всякими ломань-

ями да баловством. Сейчас кофий потребуют, постели, матрацы там всякие, белый хлеб,— это первое. Потом каждому давай либо особую избу, либо свою комнату — это второе. Картофелю им поставляй, пива потребуют. Видели мы их тут вдоволь.

Генерал молчал, видимо, его не слушая.

— Роман, у меня к тебе просьба...

— Какая-с?

— Беда здесь у вас насчет... насчет женщин. Не знаешь ли какой порядочной, чтобы согласилась ко мне идти в прачки, что ли? Понимаешь?

Роман слушал, не поднимая глаз.

— Вот я тут случайно видел горничную Веребоченской, эту Фросю, знаешь. Мне она нравится. Говорят, что ваш флейтист Безуглый за нею тут волочился. Да теперь ее отпускает барыня в наймы, и она — кто-то мне тут болтал — с ним уже будто врозь... Съезди, поговори, нельзя ли, а?

— Можно-с! — начал старый Роман,— для вас можно... оно точно, здесь трудно: нравы крутые-с... Вот и наш князь, как наезжал...

Роман не договорил. В лакейской, а потом и в зале послышался шум, раздавалась возня разом вошедших нескольких лиц.

— Кто там? — крикнул Рубашкин.

Ответа не было, но робкие и вместе торопливые шаги раздавались по зале.

— Кто там? — опять спросил генерал.

Роман выглянул в залу и отшатнулся!

— Чего вы, беспутные? — спросил он тихо, не веря своим глазам.

Рубашкин тоже выскочил в залу. У ног Романа валялась упавшая на пол почти без чувств жена старика, а Власик перепуганными глазами, весь синий от холода и от усталости, смотрел на кучу батраков генерала, выглядывавших из лакейской.

— Говори, говори, что случилось! — говорил Роман Танцур, силясь поднять жену с пола.

— Ой, батюшки, батюшки! Разорили, погубили нас всех дотла. Дом наш... княжеский дом наш... весь обокраден. Насилу мы сюда к тебе добежали!..

— Дом? Быть не может!

— Весь дочиста обокраден... Замки везде переломаны, кладовая наверху отбита; выпиты и перебиты

бутылки с винами, варенье съедено и разлито везде по комнатам. Серебро из шкафов, вещи разные, все пропало, растаскано!

— Кто же это первый узнал? Давно ли это сделано?

— Я первая узнала... Пошла с Власиком наверх крупы на кашу взять; он еще фонарь за мною нес. Я в шубе и он в шубе. Холодно там, и окна, ты знаешь, все заперты ставнями. На лестнице я обо что-то споткнулась; смотрю, твоя старая шуба лежит, а далее по ступенькам две прежние лакейские ливреи. Я замерла от страху, поднялась в верхнюю переднюю, заглянула в залу: по полу везде смородинное варенье накапано. Я в барскую спальню, в гостиную,— замки в комодах отбиты, ящики раскрыты...

— Извините, сударь! — глухо сказал Роман,— видите, какая беда над нами стряслась. Прощайте! трудно-с теперь барское добро стеречь.

Он кинулся в переднюю. Лицо его из смуглого сделалось оливковым.

— Откуда вход воров сделан? — спросил Рубашкин у охавшей еще Ивановны.

— Из саду, с балкона, через окно. Отвинчен болт и по ночам, верно, воры входили не один раз. Рамы выставлены. Они влезали в окно, опять замыкали ставни, делали свое дело внутри и опять тем же концом выходили. Хожено с восковыми свечами. Везде накапаны их следы по полу. Теперь уж полон дом людей. Часовые ночью прозевали. Пропадать, видно, нашим головам, да и только...

Ивановна вышла. Генерал стал к окну во двор. В окно было видно и здесь волнение. Новость поразила всех. Власик бежал вприпрыжку по снежным сугробам из ворот. За ним переваливалась Ивановна. А Роман вдали во весь опор мчался на каурой кобылке к мосту через Лихой.

«Ну,— подумал генерал,— эта кража пророчит что-то скверное. Беглые!.. А как было тихо кругом. Я даже было мирился с жизнью в этой глуши, о девочке стал помышлять, о тихом аркадском счастье сельского пастуха и хозяина. Что же значит этот неожиданный взрыв в такой смирной деревне, как Есауловка? Ну, у меня этого быть не может!»

Он воротился в спальню, заперся и стал ревизовать наличное комнатное оружие.

Приказчик застал весь княжеский дом полным крестьян. Мужички с неподдельным сожалением и грустью похаживали по комнатам и лестницам, смотря на богатые полисандровые, ореховые и красного дерева комоды, шкафы, бюро, столы и шифоньерки, с избитыми проломанными в щепы у замков боками и крышками. Разные вещи, ковры, скатерти, подсвечники и прочее валялись по полу. А запас вина и наливки в кладовой был до капли выпит. Было ясно видно, что воры тут хозяйничали без перерыва целый ряд ночей. По двору толпились бабы. В комнате, в толпе крестьян толкались и дворовые, пастухи, конюхи, музыканты с постоянно пьяным венгерцем. Все тревожно расспрашивали друг друга о происшествии.

Роман вбежал наверх, быстро окинул взглядом залу и гостиную, вскочил в образную, где в особом шкафу хранилось старинное княжеское столовое серебро, увидел и этот шкаф разбитым, ахнул, зашатался и упал на пол, стукнувшись виском о притолок двери. Его снесли вниз в контору. Послали нескольких верховых в стан, в город к исправнику и к главному управителю имения, к французику-сахаровару. Илья с частью мужиков был в поле на вывозке сена. Дали и ему знать. Он прибежал без памяти. Отец его лежал в конторе на кровати с повязанной головой, а его мать и еще какая-то сморщенная старушка крестьянка ставили отцу к бокам пьявки. Отец Смарагд, никогда в жизни никому не бросавший крови, прибежал, покопался в столе Романа, достал оттуда перочинный ножик, подумал, перекрестился и бросил приказчику кровь. Илья застал отца уже вне опасности. Старик лежал еще весь черный и едва к вечеру проговорил, попросив пить.

— Вот,— сказал Илье священник, уходя домой,— не подвернулся бы я, отец твой был бы к вечеру в гробу! Как фельдшера не нанять! Ах вы, душегубы! Князю посылают по три, по четыре тысячи целковых. Не пошли лишних ста целковых, не то что фельдшер, доктор бы сюда наезжал хоть изредка. И моя жена осталась бы здорова... а то лежит вон сколько времени!

— Не наши дела! — отвечал со вздохом Илья,— а вашу матушку все мы жалеем вот как!

Становой приехал к ночи. Сделали законный осмотр ограбленного дома, опросили все село, обошли все избы, клети, погреба и гумна повальным обыском. Послали

верховых по соседним дорогам. Допрос мало-мальски подозрительных лиц из своих и соседей длился три дня. Но молодой становой, знакомый нам по делу Перебоченской, уехал, не открыв ничего и узнав только достоверно, что в доме князя случилось такое дело: в кладовой выпиты все вино и наливки и съедено все варенье; а в остальных комнатах инструментом, вроде долота, взломаны все замки; но что пропало, неизвестно, так как и сам приказчик не знал о вещах, запертых там. Разная рухлядь была разбросана по дому, но не украдена; а пропало еще княжеского столового серебра, примерно, тысяч на десять целковых. Это становой внес со слов приказчика, когда тому стало легче. В следующую ночь у генерала Рубашкина из конюшни также нежданно пропала тройка лошадей и хомуты.

Становой уехал, донес обо всем в земский суд, суд в губернское правление; правление о покраже в Есауловке и в Сырте напечатало очень красно в местных губернских ведомостях. Кого-то из обитателей Есауловки, при сем удобном случае, по просьбе Романа, высекли, но не по делу воровства, которого не открыли, а так, более для обстановки. Юноша становой везде поставлял себе за честь действовать в угоду старых хозяев, путем всякого рода устрашений. И только тогда он уехал в стан с бумагами, когда у конюшни в Есауловке десятские растянули по земле какого-то рябого парня и тот более десяти минут под розгами выкрикивал на все лады: «Простите! ой! не буду больше!» Крестьяне, принявшие было с сожалением весть о покражах, после этого разошлись озлобленные, пасмурные и дали себе зарок не заботиться более о розысках пропавших вещей.

Через два дня у Рубашкина произошло новое событие: кто-то провертел пол в амбаре и ночью вытащил значительное количество пшеницы.

Пораженный событием воровства, Роман оправился, написал при помощи также озадаченного генерала Рубашкина слезный доклад обо всем князю-барину в Италию, прибавил, что ждет за такой случай либо казни себе от князя, либо кары небесной от бога, хотя сам ни в чем не считает себя виноватым; отослав письмо на почту, снова заколотил вскрытое ворами окно, поправил отвинченный болт, загладил через столяра и слесаря следы воров на мебели и успокоился. Но не был спокоен Илья.

— Черти, это вы! — шепнул он один раз Кирилле, встретившись с ним на улице.

— Нет, это не мы! не я... ей-богу! чего лезешь! — глухо ответил ему недавний его приятель Кирилло.

— Черти! воротите серебро; а не то выдам вас! Разве нельзя было иначе проучить моего батьку, что ли? — сказал Илья, догнав Кириллу и ухватив его за воротник пальто.

— Попробуй выдать, ребята кишки выпустят! Тебе и Рубашкина жаль, что поминутно рабочих меняет? не замай; не твое дело! Да и я говорил с тобой глаз на глаз тогда, свидетелей не было. Землю есть стану, а не признаюсь. Ну, да погоди, и ты не то запоешь, доедут и до тебя...

Кирилло Безуглый стал неузнаваем. Он побледнел, его лицо опухло, он басил и водкой несло от него, небритого и немытого, как из бочки. Не лучше были и остальные музыканты с своим венгерцем. Земляк Кошута, перед тем незадолго, когда становой пересек его музыкантов, разбросал со злобой ноты, взял скрипку, пошел сам в кабак, целый день там играл и пел, угощаемый мужиками, да и закурил. Приказчик этого не замечал, потому что в дела венгерца с оркестром не мешался. Музыканты зашевелились, стали отлучаться по сторонам. Кирилло Безуглый раза два ходил к Фросе, против которой Роман для генерала пустил в ход разные соблазны. Бегство свое с Фросей Кирилло, однако, откладывал. Да и Фрося вдруг стала к нему холоднее, хоть он ее теперь и дарил. Музыканты, как видно, были воры неловкие. Пуская награбленные вещи по частям в оборот, они постоянно по ночам все напивались. Даже есауловские мужики заметили, что в винокуренном заводе у венгерца не совсем ладные дела.

— Эй, братцы, берегитесь, — говорили музыкантам крестьяне, — не донесли бы на вас становому! Что-то вы больно куражитесь.

— Кому донести? Лишь бы не вы!

— Мы-то в стороне; черт с ними, с господскими прихвостнями.

Кирилло замышлял где-то нанять подводу, ночью подъехать в город за Фросей и дать тягу с ней сперва на Дон, а весной далее. Он уже и лошадь нашел, и задаток дал ее хозяину.

Роман окончательно поправился, ходил бодрее; но кража не давала ему покоя, и он всячески над нею ломал голову, приписывая ее то заезжавшим к нему и обсчитанным каким-то однодворцам, то злобствующим на него своим же братьям, крестьянам, то, наконец, сатане.

— Илья! — сказал он однажды сыну, после обедни в большой праздник,— вижу, я был виноват сначала перед тобою, может быть, за то господь и попутал меня! Изволь, я согласен на твою женитьбу на дочке Талаверки. Пиши туда, только осторожнее с ними условься. Может, и я тебя туда провожу, как опять за скотом на Кубань поеду, а ехать, кажется, придется.

Илья доверчиво поблагодарил отца, достал бумаги от священника, чернил и перо и написал к Насте, адресуя пакет на имя каретника Егора Масанешти, в Ростов, письмо такого содержания:

«Многоценная и милая Настенька! Оно, конешно, у вас в Ростове напишут нежнеи и все што вмыслях. Но я помню і прогулки наши і стишки ваши. Ах, Настенька, серце,—все уладилося благодарение богу: хата готова, дворик готовой. Я полочку сделал на стишки ваши, штоб класть книшку; будим сладко жить. Скоро-скоро ждут у нас воли. Избавимся мы от рабства и тиранствия людского и будем вместе свами жить. Я по три дня хожу смиром работать и спахал сосени полторы десятины под хлеб. Кто-то снимать его будет. Должно статся вы Настенька серце. Скажите родителю, у нас великий смут, подлецы одни обокрали барский дом у нас. Ох и вопче тяжко жить на свете, а вособенности безвас. А ночьки-ноченьки те, как мы свами гуляли над Доном! Кланяюся ниско, а когда буду не знаю — именно когда все сполнится. Отец мой одумался и стал добрее. Уже скоро пост и весна. Ваш ниский слуга и любясчой жених Илья Танцур».

Письмо отнесено в город на почту. Адрес на конверте тщательно, для разборчивости, написан за три копейки дневальным почтальоном при почтовой конторе. Уходя из города, Илья в харчевне закусил и здесь вдруг услышал от захожего солдата неясные толки о том, что в ту ночь сделали обыск в кухне одной барыни и взяли в полицию ее горничную, по подозрению в сообщничестве с ворами, по делу какой-то огромной покражи.

«Уж не у нашей ли Перебоченской,— подумал невольно Илья, выходя в поле,— жаль, что не зашел к Фросе узнать вообще про дела; Кирюшка будет ругать! Что, если это Фросю взяли? Успеет ли бедняк Кирилло уйти? Это, правда, не может быть, чтоб он был зачинщиком; кто-нибудь другой...»

Поздно к ночи Илья воротился в Есауловку, подвезенный часть дороги в пошевнях соседним рыбаком. Вошел в улицу: странно. Такая поздняя будничная пора, а огни везде еще по селу горят. Слышался в разных местах в ночной тишине людской говор, раздавались оклики и торопливые шаги. Он пошел садом к барскому двору и остановился под углом дома. Во дворе чей-то резкий и громкий голос кричал:

— Да захвати еще, кстати, веревок; а коли есть собачьи цепи в амбаре, так и цепи захвати.

Опять все стихло. Илья пробрался у стены к калитке из саду. По двору ходили люди с фонарями. У конюшни бабий голос ревмя ревел, глухо причитывая отчаянные сожаления, а изредка и проклятия.

— Эй, кто там волком воет! прибрать ее! — крикнул из-под дома от конторы тот же голос.

— Хома, прогони ее! — торопливо крикнул от амбара десятскому знакомый голос приказчика Романа, отмыкавшего двери.

Илья заметил под забором дрожавшего от холода Власика, без шапки и со спущенными рукавами.

— Ты это, Влас?

— Я... Ой-ой-ой...

— Что у вас тут делается?

— Опять чиновники наехали.

— Зачем?

— Следы воровства нашли; всех наших музыкантов и самого венгерца забрали на винокуренном заводе, на их квартире, и всех вязать веревками хотят.

Илья замер от испуга.

— А серебро или другое что не нашли?

— Ох, дядя Илько, все нашли: на барском току под скирдой в землю было зарублено; чиновник этот не то, что становой, точно бес, прямо приехал на ток, подошел там к крайней скирде, сказал: — тут! призвал нашего стоглазого, твоего-то батьку, мужиков заставил отрывать солому и снег, рубить землю топорами, да здесь сразу и нашел узлы с платьем, бельем и серебром. Пишут бумаги теперь.

— А кто это воет у конюшни?

— Кирюшкина мать со слободы.

Илья опрометью кинулся к себе на Окнину, в хату, затопил печь, позвал к себе соседа-мужика и подробно от него узнал обо всем.

— Говорят,— передал мужик,— что это все именно через Фроську узнали; барыня ее давно замечала, что как ни придет в город наш Кирюшка, так девка и навеселе, а Кирюшка в кабаке гуляет; накануне же это она у нее увидела чайную ложечку с клеймом нашего князя-барина. Ну, донесла полиции. А на ту пору в городе по другому делу был тот самый чиновник-грек, что, помнишь, один трех помещиков у барыни Перебоченской одолел и перевязал, как нас с тобою в понятые призывали. Он взял в полицию Фроську, настращал ее, что ли, и допросил; она всех, как дело-то знала, выдала, а грек покраденное тут и нашел.

— Что же она теперь?

— Да что... Попала в город, сейчас пошла гулять с другими; Кирюшку-то она, может, и подвела, коли и он в этом точно виноват. Вон толкуют, что твой батько ее сманивал и к Рубашкину в ключницы... На все мастак, бес стоглазый! Лишь бы угодить сильному человеку...

Илья чутко прислушивался к надворью; ему все чудились шаги, но никто за ним не шел.

— Не потерпел бы и ты, Илько, за них: все знают, что ты с Кирюшкой был дружен, а он, как думают, главный в воровстве и всему зачинщик.

— Бог не выдаст, дядя, свинья не съест; а я тут чист, вот как перед богом.

Илья вздохнул и погасил плошку, провожая за двери соседа.

На другой день он видел, как за сильным конвоем соседних понятых и сотских, под начальством жандармского урядника, из Есауловки в город повезли на трех подводах связанный по рукам и по ногам весь княжеский оркестр, в тулупах и валенках, человек семнадцать. Бабы выли у околицы. Роман вертелся верхом на коне и для порядка непомерно на всех ругался. День был опять морозный, солнечный. Толпа народу смотрела с моста на Лихом на печальный поезд арестантов, поднимавшийся от речной низменности в гору, за Авдулины горы.

А далее, по сверкающему в алмазных искрах и ослепительно-белому взгорью скакал во всю прыть пятериком на обывательских, в открытых санях, с казаком и рассыльным солдатом, одетый в голубую теплую бекешу, титулярный советник Лазарь Лазарич Ангел.

События в Есауловке принимали все более и более угрожающий оттенок. Роман Танцур все старался истребовать от Перебоченской хоть сколько-нибудь из своих денег и всякий раз уходил от нее озлобленный. На сына он тоже косо посматривал и почти с ним не говорил. Сам же Илья все тосковал и сгорал от нетерпеливого желания получить хоть какую-нибудь весточку от Насти. Наконец, эта весть пришла. Он получил от нее письмо.

Настя писала: «Пропала теперь вся наша доля, Илюша, пропали и наши душеньки. Помещица наша от кого-то узнала, где мы и что с нами, дала знать в тутошнюю полицию, к нам наехали полицейские, все опечатали, отца таскают, меня таскают и сказывают, что такой есть закон: отца и меня воротят опять под на́чало нашей былой барыни, а имущество наше распродадут и ей же отдадут деньгами. Голубчик, Илюша, не знаю, увидимся ли еще с тобою на этом белом свете! Письмо это опять тебе пишет тот булочницын сын. Посылаю письмо через савинского купца, на имя Василия Марковича Комара, что воротился из Венеции в ваши места, а дойдет ли мое письмо, про то не знаю и не ведаю и где тогда мы будем сами!» — «Отец! — подумал Илья, прочтя письмо, и судорожно сжал кулаки,— это он выдал нас барыне, он! Больше некому! Ему я бельмо на глазу... А Талаверка? Бедные, бедные! Теперь уж они пропали!.. пропали навеки! И через кого? Через меня! Господи!»

Он выскочил из хаты.

Дни становились теплые. Из-за Авдулиных бугров, из-за Пугачева горба заметно тянуло весной. С крыш на пригреве солнца капало. Мужички уже принимались справлять плуги и бороны для весенней работы. В чутком воздухе громче отдавались голоса баб и девок, идущих с ведрами по воду. Детские резвые ноги весело

бегали по почернелым, обтаявшим тропинкам. Вороны шаловливыми стаями кружились в недосягаемой вышине и, будто падая оттуда, пророчили перемену погоды.

Смутный воротился Роман к ночи из города. Зажег в конторе свечку, велел жене и Власику чаю себе приготовить и сел к столу у окна во двор — сводить счеты поездки в город. Лицо его было сердито. Руки дрожали...

Вдруг с надворья кто-то с силой ударил чем-то тяжёлым в оконную раму конторы, прямо в упор против Романа. Окно зазвенело, и стекла посыпались на стол перед приказчиком.

С бешенством выскочил изумленный Роман снизу к выходу из коридора. На дворе было тихо и не видно ни души. Сторожа еще не приходили на ночной караул. В деревне было также спокойно, в хатах кое-где только светились огоньки. «Что за бес разбил у нас окно!» — подумал Роман, быстро вбежал опять в контору, зажег фонарь и вышел с женою и Власиком во двор, освещая место у разбитого окна. Возле фундамента лежало бревно, род полена. Более ничего не было видно. «Хорошо еще, что по раме, а не по моей голове ударил какой-то сатана! Плохие приходят времена!» — мысленно сказал про себя Роман, припер окно ставнею, послал Власика за десятским и сотскими объявить им это и чтоб сторожей они к дому высылали скорее, и хотел было запереться опять в конторе над счетами, но раздумал, снял со стены всегда заряженное ружье и вышел в сад. Едва он ступил за калитку, как за углом дома, у ближних кустов заметил впотьмах какого-то человека. Подошел, окликнул его: Илья.

— Это ты разбил окно, собака?

— Я!

— Убить меня хотел?

— Не я, а другие убьют тебя когда-нибудь, вот что!

Роман кинулся на Илью и схватил его за шиворот. Ружье при этом он уронил.

— Э! С ружьем на меня идете? Дудки!

Илья выбился из рук отца, поднял ружье и отдал его ему.

— Батюшка! Вы Талаверку выдали барыне... Его с дочкой схватили уже в Ростове, разоряют, мучат... Бог

накажет вас за это. А коли Настя теперь не пойдет за меня,— знайте, я подожгу вас, барский дом, всю деревню...

Роман закричал:

— Караул, бекетные! сюда! взять его...

С двора послышались шаги. Илья хотел еще что-то сказать и бросился в темные аллеи сада. Роман раздумал его преследовать.

Наутро Роман оделся и собрался было идти к Илье, но встретил у хаты сына соседа-мужика. Мужик перед Романом снял шапку и стал заминаться.

— Что ты, брат?

— Недоброе, Роман Антоныч, случилось! Илья наш опять... полагать должно-с... убежал...

— Как убежал?

— Хата расперта, настужена; одежа цела, а его самого еще с вечера нет в хате...

«А! сбыл!» — подумал Роман и не знал, по правде, что далее мыслить: радоваться или горевать.

XI

Воля сказана

«Все теперь пропало! — шептал Илья Танцур, покидая сад, куда на голос Романа кинулись караульные.— Настя схвачена по доносу отца, а тут того и гляди схватят и меня!»

Будь у него в руках ружье, он, кажется, воротился бы и убил бы отца. Он взял узелок с кое-какими вещами, перескочил через канаву. В ушах его звенело. Грудь тяжело дышала. Кругом было тихо и пасмурно. Барский сад в сумерках чернел безлистыми кущами дерев. Холмы вблизи белели еще не растаявшими снежными наметами. По селу кое-где мигали огоньки. Собаки звонко перекликались в Есауловке и за рекой. Где-то раздавался смех парней, чей-то оклик по улице.

Он перекинул узел за плечо и с палкой пошел полем за Авдулины горбы.

Под вечер он взошел у Волги на высоты, с которых влево мелькнула Есауловка, плотнее перетянул старенькую свиту ремнем, нащупал в сапоге деньги и пошел снова к югу. В сумерках с косогора он разглядел

верхового, ехавшего вскачь ему наперерез. Ближе — Власик. «Куда ты?» — «А! это вы, дядя! Вас спохватились. Я ездил от попа к Перебоченской! попадье еще хуже. Поп просил лекарства, барыня отказала...» — «А разве она теперь здесь?» — «Тут на хуторе... а знаете еще; ваш тятенька привел к Рубашкину Фросю, и она у него уж чай распивает, разряженная... не дождалась Кирюшки. Прощайте, дядя Илья».— «Прощай...» Власик поскакал...

Илья остановился, долго думал, поглядывая на крыши хутора Перебоченской, что-то нащупал в кармане и залег в овраге. Ночью усадьба Перебоченской вспыхнула с двух концов и долго горела. В соседних селах раздался набат... Илья переночевал в стороне от дороги, в глухой долине между двух лесков, закусил сухарями, напился из каменистой ямы снеговой воды, перекрестился и пошел далее, забирая к Дону в низовые, приазовские места. Переваливаясь через последние приволжские холмы, он вздохнул свободнее, пошел тише и стал ночевать уж на постоялых дворах и у мужичков по редким встречным хуторам.

«Господи, матерь божия! несите мои ноги! — шептал он, идя вперед,— дайте мне встретить Настю, отбить ее из неволи и убежать с нею!» Он останавливался у этапных зданий, у сельских острожных изб, где ночуют колодники, расспрашивал, кого можно, не провели ли такого-то каретника с Дона? Но еще никто не мог ему ответить о Талаверке и о его дочери.

Замелькала снова знакомая даль и ширь, удалая воля, те южные степи и долы, те тихие, пустынные холмы и овраги, которые северным и срединным русским людям, еще с сказочных времен, постоянно в горьких думах о домашних невзгодах мерещатся кисельными берегами и молочными и медвяными реками, где бабы на живых осетрах белье моют, а на месяц да на звезды, вместо гвоздей, его сушить вешают.

А вот и Дон, старый батюшка Дон Иваныч, кормилец восточного казачества. «Где же моя-то пташка! — думал Илья,— закована ль с своим отцом в цепи, или еще на воле в Ростове? Когда б еще захватить их... Все бы рассказал. Уйдем за тридесять земель».

В Калаче Илья остановился, чтобы отдохнуть, высмотреть лучше путь, просушить намокшее в дороге

белье и спуститься в Ростов. У пристани грузился буксирный пароход. Илья пристроился в самом глухом углу, между всякою клажею и рухлядью, у кормы. Сердце его сильно билось. Он так бы и полетел в обгонку куликов, бакланов и уток, сновавших у парохода, когда тот миновал главные, опасные летом и осенью песчаные перекаты и пошел вниз по Дону.

На пароходе был разнородный люд: казаки и ярославские плотники, караван татар, ехавших в Ростов, а оттуда через Стамбул, на богомолье в Мекку, и немцы-колонисты, затеявшие усладиться побывкой на родине, через тот же Ростов, Одессу и Дунай. Жид-фокусник стал тут же показывать фокусы; итальянец-скульптор, ехавший из Астрахани, разложил кучу разных фигурок и предлагал их желающим купить. Какая-то казацкая помещица, счастливая маменька взрослого сынка, жаловалась вслух, сидя на чемодане и кушая с сынком то булочку, то пряники, что дорого жить стало на свете и что рабочие выбились из рук.

А пароход плыл и плыл далее, ночуя у одиноких войсковых станиц или у рыбацких пристаней и перевозов.

Тянулись обрываемые мутными водами и затопленные по маковки верб и дубов луга и песчаные бугры, рыбачьи землянки; между ними — стада овец, выгнанных на первые весенние травы; взлетающие там и здесь стада гусей, уток и пеликанов. У берегов стали являться обширные бревенчатые станицы с высокими церквами, лавками и торговыми площадями. Замелькали синие чекмени, красные лампасы шаровар и сабли казаков; кое-где у станиц, по отвесным каменистым горам, отражавшим с весны солнечные лучи, чернели рядами жерди и колья, уже увитые полными прядями виноградных лоз. По крутым тропинкам с коромыслами на плечах шли, в красных и черных шапочках, черноглазые, с русыми косами, казачки.

У какой-то донской станицы с войсковым окружным правлением, двумя церквами и школою на берегу, пароходик поддало течением к камням, и он простоял с час на мели.

Мальчик, сын донской помещицы, успел в это время с другими подростками сбегать на берег, в город за орехами.

— Отчего в городе звонят, разве праздник завтра? — спросил кто-то, когда пароход вновь отчалил.

— Волю читали сегодня в церквах,— ответил мальчик.

— Про волю? — пронесся гул в толпе; слушатели теснее сгустились вокруг мальчика.

— Кто тебе наврал об этом? Ах ты, негодяй... Вот уши опять нарву! — кричала маменька.

Мальчик не унялся и все рассказал. Товарищи поддержали его слова.

Сильно откликнулась эта весть в сердцах слушателей. Илья... Надо было взглянуть на него!.. Он замер и едва переводил дыхание.

«Боже, боже! — думал он,— где и через какого вестника пришлось услышать мне и остальным тут людям давно желанную весть. Хоть бы скорее в Цымлу или в Аксай приехать. Тут опять пойдут глухие деревеньки; все равно в них не добьешься ни о чем толку».

«Недаром наш пароход к камням там прибило! — толковали другие путники из озадаченных, пораженных донельзя и радостно потрясенных помещичьих крестьян,— это господь нас причалил туда, чтобы мы эту весть услышали дорогой; недаром мы провозились у берега, намокли в воде и назяблись».

Перебирали десятки мнений и предположений, вновь приступили к мальчику, но он мало объяснил им. Путники с замирающим сердцем высматривали с барки: скоро ли мелькнет еще какая-нибудь большая прибрежная станица. Душа Ильи разрывалась от мыслей, что сталось с Талаверкой и с его дочкой и в чем состоят огненные, небесные слова этого манифеста о воле? Илья ушел в глубь палубы и стал молиться. Его примеру последовали и другие. День был ясный, тихий. Солнце ярко катилось по небу. Пароход, пыхтя, плыл вдоль пустынных берегов.

А благовестное слово о воле, наконец, действительно прилетело и на юг и громко раздавалось тут в то время, как первый пароход из Калача плыл вниз по Дону с Ильей Танцуром и с другими его путниками. Эта весть открыто и урывками, верхом на казацких скакунах и в

почтовых конвертах и сумках, подвигалась вперед далее, в города, войсковые станицы, казачьи и помещичьи села и в одинокие хутора и деревушки. Эту весть несла людям южная весна, на обтаявшие горы, на воскресшие синеющие долины, через затопленные еще в половодье степи и вдоль шумных, мутных и рокочущих рек, вместе с этою вестью ломавших льды, мосты, плотины и всякие гати и затворы.

— Скоро ли Цымла?

— Скоро ли Аксай?

— Скоро ли Ростов? — допрашивали старого лоцмана, хмурого Лобка, нетерпеливые путники, томясь на пароходе.

— Скоро, не высохнете еще, не убудет вас! — отвечал сердитый лоцман,— потерпите...

Выплыла, вся в знаменитых виноградных садах по скалистым ребрам окрестных гор, веселая Цымлянская станица. Народ празднично двигался по берегу и издали махал пароходу платками... Подплыли: громкое ура! и незнакомые люди бросились друг к другу, поздравляя всех с действительно прочитанною волею.

«Неужели же теперь все-таки Талаверку будут тягать? — размышлял Илья,— нет! верно, он отныне на свободе! Коли воля, так воля всем. Ну, а если его все-таки возьмут?.. Тогда надо освободить его. Последние деньги отдам, еще достану, сторожей упрошу, умолю, а уж их вызволю, да и убежим. Его дом, нажитой, заочно после продадим... Что жить-то здесь?»

Народ на пароходе шумел, ликовал.

«И чего они радуются? — злобно шептала помещица-казачка попадье,— еще перепьются и потопят нас дорогою, водка здесь дешева...»

Народ, однако, не перепился; пароходик благополучно двинулся далее... Узнанные более подробно вести передавались в отдельных кружках на палубе. Илья слушал, расспрашивал, но не радовался.

«Что-то с Талаверкой, с Настей? — думал он,— может быть, эта воля сказана терпевшим, покорным, а мы ведь беглые, бродяги... мы сами раньше срока взять себе захотели эту волю... Помилуют ли нас, мучеников?»

На утренней заре одного из следующих дней на пароходе крикнули: «Ростов, Ростов...»

Илья встал, с грустью взглянул на свою затасканную одежу, наставил ладонь к глазам, узнал Нахичевань, а

версты через три далее виднелся в тумане Ростов, вздохнул и перекрестился.

Вскоре путники сошли на берег и простились друг с другом и с хмурым лоцманом Лобком.

«Куда теперь идти, кого спрашивать?» — подумал Илья, сходя на берег.

Местность была хорошо знакома Илье. Многие его здесь знали, и он пошел глухими переулками в город, кое-как оправив свою затасканную одежу и обувь. Не таким бледным, исхудалым, небритым, немытым и нечесаным он покидал год назад этот самый берег и эти оживленные площади торгового донского городка.

Илья Танцур шел быстро и незаметно очутился на углу той улицы, где жил год назад каретник Талаверка. С замирающим сердцем он остановился у перекрестка, откуда был виден дом Талаверки. Улица была попрежнему пустынна и тиха. Илья затаил дыхание, пересилил себя, прошел мимо знакомого дома и ужаснулся его тишине и запустению. Он все еще надеялся, хотя и слабо, что их не взяли... Чтоб взглянуть на этот дом яснее, он зашел издали с другого конца улицы; потом обошел соседними кварталами в улицу, где двор Талаверки выходил заднею стороною в подгородные обширные огороды. Илья направился в огород, который снимал дед Зинец, оброчный обыватель одной глухой азовской деревушки.

Дед Зинец, лет под семьдесят, худой, длинный, сгорбленный и с белыми, как пух, волосами и бородой, сидел в это время на рогожке перед куренем и дрожащими пожелтелыми руками разбирал бобы и другие семена для посева. Его соломенный курень стоял под навесом акаций и только что окинувшихся цветами черемух. Кругом шли свежие, недавно вскопанные гряды огорода. На курене была раскинута рыбачья сеть, которую Зинец от скуки взялся кому-то оснастить. На дворе было тепло и тихо. Южное солнце грело отрадно старые кости. Худые руки и впалая, изможденная годами грудь деда были точно бронзовые от не сходившего с них загара. От белой чистой рубахи и какой-то важной, точно апостольской, кудрявой его головы, с седыми нависшими бровями и широкой бородой, эти бронзовые руки и грудь казались еще более темными и худыми. Илья, живя год назад у Талаверки, не раз видел Зинца и говорил с ним о своей судьбе. Зинец всегда был мрачен,

нахмурен, как будто не узнавал и не помнил людей, с которыми встречался, не любил шуток, не любил много разговаривать и, несмотря на старость, отлично вел свое дело. Исчезая неизвестно куда с осени, он являлся рано весной, снимал опять это место, нанимал поденщиков, обрабатывал его, берег его целое лето от больших и малых воров, продавал выгодно сбор, чуть передвигая ноги, относил к своему мнимому помещику оброк, получал от него паспорт и на зиму до новой весны скрывался опять. Одни говорили, что он зимует тут же в городе у своей кумы, горемычной и убогой солдатки; другие —что зимой он постоянно хворает и живет у каких-то раскольников-рыболовов. Никто не знал, откуда Зинец родом и также для кого собирал он остатки от огорода и вообще от своих заработков. Знали только, что он с невыразимым нетерпением и более всех жадно ожидал объявления правительства о воле, о которой тогда начинали все говорить. Сидя у куреня, Зинец видел, как в огород вошел Илья, как он, сурово озираясь, прошел между пустыми грядками, склонился через забор и стал осматривать опустелый двор Талаверки. Дед наставил к глазам ладонь, бросил семена и начал размышлять, кого бы это судьба занесла сюда? «Ни души!—думал между тем Илья,—вон кузницы, где ковали оси и шины, вон крыльцо и галерея дома... Туда входила Настя... Вон угол амбара; там в осенние длинные вечера мы часто сидели с нею... Вон окно ее комнатки... Пусто, ни души... Что сталось с ними? Неужели?... Илья оглянулся, оправился и тихо подошел к Зинцу. Дед узнал тут его сразу, но продолжал перебирать бобы, будто не видя его.

— Здравствуйте, дедушка.

— Здравствуй. Что тебе?

— Узнали вы меня?

— Что-то не помню. Чего пришел? Дай на тебя прежде посмотрю...

Илья поклонился.

— Дедушка Зинец! будьте милостивы. Скажите, куда девали вашего соседа?

Голос Ильи дрожал.

— Запрятали к бесу. В остроге сидит... вот что!

— В остроге? Быть не может... господи!

— Сидит с ним в остроге и его дочка,—прибавил дед, посматривая ласково на парня.

Илья помертвел и зашатался.

— А тебе-то они на что?—спросил Зинец.

— Настя—моя невеста... Будто вы меня не узнали? Я Илья Танцур... Помните?

— Невеста? так это ты, Илья?—спросил Зинец, грустно щурясь на Илью и осматривая его обрюзглое, заросшее волосами лицо, подбитые сапоги и порванную одежду,—опять воротился из своих мест?

— Скажите же на милость, когда и как схватили каретника?

Зинец покачал головой.

— Слушай да помни, что я скажу тебе... Каретника выдали, выдал свой же брат земляк, какой-то христопродавец... Он знал, как добить его, и добил ловко, очень ловко... нечего сказать. Много лет я тут сижу на огороде, много годов знал Талаверку... Спокойно он жил тут, как пришел с дочкой из Молдавии. Все считали его молдаванином, и я сам ничего этого не знал. Вдруг получили тут в полиции бумагу из его настоящих мест. Нашлась, видишь ли, брат, его барыня... Кому-то захотелось крови его выпить. Ну, и выпил! По той бумаге сейчас наскочила на него полиция, хвать за его паспорт, а он поддельный. Из Букареста отписали, что никакого Масанешти там и в заводе не было... Пошли допросы... В кандалы его и в острог... Да недолго он просидел там, тут же от горя и заболел... Горячка, что ли, с ним сделалась! Настя за ним убивалась, ходила, оберегала. В бреду он и стал кричать, да и выкричал всю правду: назвал и эту барыню свою и село, откуда он и почему бежал... Тут, как выздоровел он, его и уличили. Теперь сказывают, он во всем сознался; его имущество положили продать, а деньги и его самого с дочкой переслать по этапу к его барыне.

— Как к барыне переслать? К этой Перебоченской, по этапу?

— Да, к ней именно! Сказывают, что кончают теперь последние бумаги, его дом торгует тут один купец, все остальное уже распродано и скоро его поведут в наши места. Да что! Почитай, что он рехнулся, совсем как дитя стал, все плачет, качает головой, смотря на дочку, и пищи почти не берет. Ведь ты тоже из его мест? Ты знаешь его барыню?

Зинец с той же грустью посмотрел на Илью, ноги которого подкашивались, хотя он и не выражал ничем своей жалобы.

— Дедушка! Все я вам скажу... можно видеть его, Талаверку-то... в остроге? Я столько верст прошел пешком, проехал, чтоб только увидеть их... Можно его видеть?

— Что ты, что ты! Теперь уж тебя туда не пустят. Он в секретной.

Илья упал в ноги Зинцу.

— Дедушка,— вопил он, наконец, рыдая,— разве вы не знаете? все вам скажу... Каретника я выдал, я христопродавец, душегуб, Иуда каторжный! Я, жених его дочки Насти...

— Ты? — спросил Зинец, теперь догадавшись, кто был невольной причиной гибели каретника, и заморгал кустоватыми бровями.

— Именно я... Только не так, как вы можете подумать. Не по воле я душегуб! Сам Талаверка послал меня домой, чтоб я землю выхлопотал, двор себе устроил. Я воротился домой к отцу. А отец у нашего князя уже приказчиком. С первого дня у нас пошли споры. Он тянул меня в контору, в дворовые, а я к миру просился. О Талаверке и о его дочке я проговорился сгоряча моей матери. Я не знал того, что, чуть разбогатела и стала приказчицей, она пить начала, да... извините... в пьяном виде, должно быть, и сказала про все отцу... Тут у нас по соседству вышло дело тоже. Выехали чиновники к этой самой барыне, к Перебоченской. Я попал случайно в понятые. Ну, господам поблажки я не дал... Что теперь мне делать, дедушка? Куда идти, кого просить, как спасти Талаверку? — спрашивал Илья, в безнадежном отчаянии смотря на старого огородника,— я и денег достану! Подкупить нельзя ли сторожей в остроге, чтоб дать им бежать? Отбить нельзя ли их в дороге, когда их поведут инвалиды по этапу? Я на Дешевку пойду! Подговорю отчаянных людей...

Улица, где был огород, выходила за город. Кругом было тихо, грядки еще пусты. Мышь иной раз шелестела в сухой траве. Ни один звук не доносился через ограду к куреню, у которого сидел костлявый рослый дед, а перед ним, с воспаленными, заплаканными глазами, измученный, исхудалый, позеленевший от тоски и горя, бился о землю Илья Танцур.

— Что тебе делать? Нельзя ли их отбить? — спрашиваешь ты. Нельзя ли их освободить? — говорил как бы сам с собою Зинец, смотря в землю, почесывая широкую белую бороду и иссохшую, впалую грудь, — слушай, никому я этого не говорил, а тебе скажу. Дело твое пропало навеки! Да, пропало. Но слушай! Все мы несчастны, да не все одинаково злую долю казним. Никто про меня не знает... Ох... мало уж мне жить на свете осталось... Забудь, что я тебе скажу... Много лет назад и я был крепаком, значит, подвластным панским холопом... Бежал и я, как ты, недаром. Мне было тогда тридцать лет, как я убежал из своих мест, и вот я почти сорок лет в бегах... Отец мой кучером нанимался; ну, и меня тоже кучером положил сделать. Отец мой у отца нашего барина недолго служил. Барин у него отбил жену, выходит, мою мать, да и увез ее в другое имение и в наложницы взял. Отец терпел-терпел, да раз выпил, охмелел и заколол ножом при всех своего хозяина. Упал барин под ножом хмельного батьки, упал, и дух вон... Всполохнулся народ; село все сбежалось... Я был еще маленький. Помню, как бледного моего отца сперва связали, а потом заковали и за большим конвоем в город повезли. Да он и не противился: сам сдался и во всем признался. Я жил тогда во дворе на кухне, у булочницы... Тут, погодя, и мать мою покойницу из другого имения привезли... тоже закованную... Ну, отца наказал палач. Смутно я помню въезд суда в наше село; отца наказывали среди улицы! Сослали его потом в Сибирь; с той поры навеки и слух о нем пропал. Я тем временем вырос; меня часто брали в комнаты с сыном покойного барина играть. Рос я и ничего не понимал, а там я и кучером к нему нанялся. Молодой барчонок наш затеял жениться. Я его любил и на свадьбе его был главным кучером. Родились у молодого барина двое детей, сперва дочка, потом сынок... Жена его была писаная красавица... Тут и я вскорости посватался на нашем селе за одну девушку... Ох, Ильюша... Помнишь? Я сказал, что пошел в бродяги-то... на тридцатом году. Именно на тридцатом я и посватался... Любил я свою невесту, Ильюша... крепко, без памяти... вот так, как ты свою... Барин стал часто ездить в отлучки, в городе по выборам определился, а там начал и меня посылать в разные посылки, да все с долгими поручениями: на неделю, на две... Никак-таки не удается все свадьбы моей сыграть... Ну, пришла

осень... Родные моей невесты корят меня. Раз возвращаюсь я из барыниной деревни, говорят, что мою невесту барин перевез в другое имение и случайно ли, нарочно ли, только именно в то самое, куда и его отец увозил мою мать... Я стал людей расспрашивать: те смеются, шушукают. А повар Тришка и говорит мне, что барин давно с барыней не ладят, что из-за того, верно, и мою невесту он отличил, послал ее в булочницы учиться в другую вотчину и сам туда следом поспешил... тут и помутился мой ум, заныла моя душа... И то же самое сделал, что и мой батько, да только не при всех. Эх, лучше не говорить... Да почти с той поры вот и состою в бродягах и, пока жив, не вернусь уж в свои места...

— Год назад,— продолжал старик, едва переводя дух от волнения,— все вы, даже те старики, сапожник и квасник, затеяли идти обратно к господам; один я остался. Не верил я тогда этой воле, не верю и теперь. На моем веку это уже в пятый раз суетятся. Вот-вот скажут волю, ждешь, кинешься спрашивать: одни выдумки. Воля та, когда сам ее взял. А так ее не дадут... знай это...

— Как не дадут, когда дали?

Зинец горько покачал головой.

— Дали? ты ее видел?

— Сказывают.

— Золотая? На золотой бумаге?

— Нет, говорят, на простой.

— Ну, так не верь... Может, дали и золотую, да паны с попами спрятали, а теперь нам дают подложную.

— Что же делать?

— Жить в бродягах, в бегунах — зверьми жить, вот наша доля... Увидишь, все опять уйдут, хоть и воротились домой.

— Так, так! — шептал Илья.— Господи! А если и взаправду эта воля, что теперь народ радует, не настоящая, если нам земли даром не дадут, Талаверку силой к барыне пошлют, что тогда нам делать, дедушка? Что?

Дед опять покрутил головою.

— Что делать? Тогда, сынку, одно: либо покорись и нищим заживи дома с Настею и с ее отцом, либо нож в руки да ведра два доброго кипятку из котла...

Илья с холодным ужасом взглянул на Зинца. Дед сидел, добродушно поглаживая бороду. Последняя надежда на спасение Талаверки исчезла в Илье. Он впер-

вые почувствовал прилив неугасимой мести к своим губителям, Перебоченской и отцу.

— Я уже с барыней Талаверки на пути посчитался кое-чем! —сказал Илья.

— Поджег ее?

— Да, поджег ее хутор... Не знаю, что было дальше.

— Жги, Ильюша, и бей их. Не найти нам спасения нигде. Последние годы земля доживает, и антихрист скоро меж них народится. Что смотреть теперь и ждать!

— Нельзя ли, дедушка, достать тут вольных листов этих, или книгу, что выдают за царскую?

— Не стоит и не хлопочи. Дворяне и в ней вырвали те листы, что против них там написаны. Один тоже наш землячок видел такую книгу: она не прошнурована, без царских печатей и даже не сшитая; бери каждый лист прочь, коли не по сердцу...

Илья молчал, становился покойнее.

— Ну, ступай же теперь, Илья,—сказал старик,—с горя поброди возле острога, да не попадись. Приходи завтра в эту пору; потолкуем, со мной же не оставайся.

«Коли все для меня пропало,—подумал Илья,—так не пропадет для других. Талаверкина барыня и мой батька поплатились и еще поплатятся...»

XII

На что решиться?

В первые дни по приходе в Ростов Илья ничего не добился о каретнике. Через острожную прачку он только узнал, что Талаверка вынес горячку и теперь еще не оправился. Илья стал шататься по городу, изредка нанимаясь в поденщики. В винных погребках шла гульня, гремели бубны, наигрывали скрипки и с заморскими матросами и шкиперами плясали девицы легкого поведения. А Настя не выходила из головы Ильи. Он придумывал сотни средств увидеться с нею, увезти ее из острога. С каждым из пирующих он хотел об этом посоветоваться. Кругом же не о том толковали. Прежние разговоры о торговле, о море, о приходе и отходе судов смешались с толками о новом законе. Передавались тысячи предположений. Говорили не стесняясь. Радость черни о воле быстро сменилась мрачными слухами.

— Нас надули, обманули! Настоящий закон спрятан. В настоящем законе — земля нам давалась даром и помещиков гнали прочь.

Так говорил, между прочим, в одном погребке бессрочный солдат.

Илья, бывший под хмельком, встал, припер дверь погребка покрепче и подошел к солдату.

— Ты, дядя, не врешь?

— Нет.

— Побожись, а не то кишки выпустим!

— Коли врет, отчего же не выпустить,— подхватили другие.

— Ну, божись?

Выпивший солдат побожился.

— Я царский, стало быть, что мне врать!

— Однако, ребята, штука! — сказал Илья,— и я тоже слышал; надо обороняться! Говори, что еще сказывают?

— Говорят, чтоб рук не давать ни на что, ни на какие бумаги.

— Отчего же?

— Подведут. А за дачу рук сказано такое наказание: какая деревня даст руки на согласие чиновника или своим помещикам, так от синода будет велено семь лет там не крестить, семь лет не венчать и по семи дней не хоронить каждого мертвого, чтоб даже издали всем пахло, как душегубное село. А кто один из села пойдет против всех, того позволено прямо хоть из ружья застрелить, как собаку.

— Ну так штука! — сказал опять Илья,— слышите, братцы? Обман!

— Как же это царя-то обманывают? Нешто он не знает?

— Знает, да терпит,— смело решил солдат,— и послал он повсюду дозорцев; на них, говорят, и царские знаки есть, а какие — про то я не слышал...

— В чем же они ходят?

— Мало ли в чем: иной одет монахом, другой разносчиком, третий ямщиком, а четвертый, как и я, солдатом...

Толпа гудела в погребке, как в улье рой пчел, пригретый весенним солнцем.

Илья расплатился и вышел, пошатываясь, в другой погребок. Там говорил за пустой бутылкой донского какой-то пропойца-чиновник.

— Слышите, ребята,— сказал Илья входя,— нас обманывают: закон поддельный!

— Ничего не принимать, ни на что не соглашаться, ничего не подписывать — это так! — подхватил и чиновник,— кто даст еще на бутылку, последнее слово скажу!

— Что же это за слово? — спросил Илья.

— Собирайтесь в кучки, толкуйте, высматривайте, и чуть кто вас обманул, обухом в голову — и баста. Книга новая вся из клочков, страницы перечислены в ней разным ладом, она без переплета, с вырванными листами и без царских печатей.

В ушах Ильи звенело. Голова его ходила кругом. Далеко за полночь он ушел за Дон и лег спать в овражке, под косогором. Солнце уже стало сильно припекать, когда он проснулся и зашел опять на Дешевку закусить и выпить спозаранку, чего прежде не делал. Накануне сторожа в остроге обещали ему доставить свидание с Настей и с отцом ее за десять целковых. Переговоры шли через острожную прачку, жившую в слободке под городом. За двадцать целковых ему обещали даже отпустить Настю на несколько часов ночью из острога. Илья сосчитал ночью деньги: налицо было всего шесть целковых с мелочью.

Где еще достать денег?

Илья долго стоял у берега под хлебным магазином города и думал: время уходит, денег мало, станешь работать, попадешься, а видеться с Настей надо... Ему был хорошо знаком этот пыльный и оживленный Ростов. Он взошел на крутой берег к источнику, над магазинами.

По огромному разливу Дона по-прежнему плыли барки и расшивы; сплавлялся плотами лес. В гирла к Азовью и обратно шли пароходы; клубился дым, раздавались голоса лоцманов: «руль к берегу», «молись», и рабочие, скинув шапки, вслух молились и крестились на восток. Влево по берегу, по горе и внизу, шли ветхие лачужки предместья. Двухколесные бочки медленно тащились от источника с водою в город. По крутым тропинкам сбегали с ведрами бабы и девки. По улицам двигался озабоченный, будто бегущий куда-то народ. Турецким душистым табаком пахло везде. У источника город еще был тих. А туда далее, к площадям, прохожий поминутно слышал говор разных языков: слова итальянские, греческие, французские, татарские и украинские. Вдали за рекой, на том боку, на низменной стороне сверкал громадный залив Дона и виднелись в тумане

отдаленные слободы и станицы. Там были чисто степные картины: беспредельность гладких лугов и полей, которых зелень и ясность переходили мало-помалу в голубые краски и сливались наконец с туманом небосклона. По зелени первых луговых трав тянулись, пересекаясь, обозы чумаков с солью, с хлебом и с лесом и подгородные фуры с сеном. Внизу, правее, были оптовые магазины с сибирским железом, а там опять хлебные греческие и итальянские магазины. Работа с наступлением весны в последних шла самая спешная. У крылец на шестах были растянуты, в виде исполинских навесов, полотняные пелены. Под ними кишмя кишел наемный люд поденщиков; хлеб «перелопачивался», рассыпался по другим пеленам, сушился, очищался на грохота и подсидки, насыпался в мешки и тут же грузился внизу на барки. Работники носили хлеб, бабы и девки зашивали мешки, отгребали пыль и сор. Везде раздавались веселые шутки, смех и песни. Заработанная цена платилась по количеству работы, а не поденно.

«Да что же я стою? — подумал Илья,— надо работать! надо достать двадцать целковых и поскорее». Он пошел в город.

У греческой кофейни толкотня: маклеры стоят на улице и шепчутся о ценах, о кораблях, об Италии. Издали развевается флаг над домом какого-то консульства. Напрасно гремят из окон рояли. Напрасно мелькают модные соломенные шляпы, ленты, цветы и платья. Напрасно звучит итальянская или французская речь. От пыли нет сил дышать, нет сил пройти.

Дед Зинец посоветовал Илье наняться к греку Андрококи пересыпать пшеницу, а ночи спать для предосторожности за городом. Так Илья и сделал. Прошло более недели. Работая из всех сил, Илья рассчитал и сообразил, что завтра в его кармане будет двадцать целковых. Всячески угождая товарищам, чтоб его не выдали, он каждый день уделял часть денег на выпивку. Накануне расчета с хозяйским приказчиком он опять пошел в кабак за Дон. Дешевка на этот раз была особенно шумна и полна народом. Сотни голосов у прилавка кричали: «Водки!» Сотни рук тянулись к шинкарю-разносчику с пустыми штофами. Одни ели, другие пили и плясали. Тут были бабы и девки, писаря и дьячки, матросы и лоцманы, чумаки и солдаты. Много честного народа, пропившего последнюю копейку, и

немало воров и развратников, способных на все из одного желания покутить и закрутить буйную голову. Полиция сюда близко не заглядывала благодаря приношениям откупа. Все здесь гуляло и веселилось нараспашку.

— Танцур! Танцур! Илюша! меня угости! — крикнул отставной старичок аудитор из кантонистов, слывший в числе постоянных посетителей Дешевки за благородного,— что, брат? Твоего каретника доехали?.. К барыне на земельку посылают? Отбей невесту и так живи с нею без венца! Что твоя и венчанная, как по доброму согласию.

Аудитор, в качестве чиновника, был в зеленом шелковом на вате архалуке, в военной фуражке и подпоясанный красным клетчатым платком. Он сидел на крылечке харчевни, между столбов, подпиравших навес, и, свеся ноги с крыльца, на разостланном носовом платке, ел вареных раков, печенку и соленые огурцы.

— Здравствуйте, ваше благородие! — сказал Илья, не без удовольствия и сам принимаясь закусывать.

— Угости, душка; всю правду скажу...

— Какую правду?

— Про твоего каретника.

Дух у Ильи замер.

— Не верь ему, парень; все врет, мы его давно знаем! — отозвались другие,— так, совсем пропащий человек, брехун!

Илья, однако, угостил аудитора.

— Ну, что ты там знаешь?

— Видел твоего каретника в остроге. Все плачет, рвет на себе волосы, кричит, что его разорили, убили; дочку жалеет, идти к своей барыне не хочет.

— Когда же их погонят домой?

— Коли хочешь повидаться, спеши; поведут через два дня.

— А как поведут?

— На Черкасск.

Илья решился утром выпросить у грека расчет и отнести деньги через прачку сторожам.

— Да ты не хочешь ли новый закон о воле прочитать? — спросил аудитор.

— А у тебя есть? Дашь?

— Есть, дам за три целковых прочитать. Приходи вечером ко мне. Только читай его тайно, чтоб никто не видел.

Илья дал аудитору из прежних денег три целковых, получил от него перед вечером книгу положений о воле и решился прочесть ее в ту же ночь, в ожидании расчета с греком. Для этого он положил уйти за город в глухую лощинку на Мертвом Донце, где он знал когда-то мельника, жившего там отдельным хутором. Уже ходил слух, что чтецов нового закона преследуют в иных случаях, и книгу положений о воле грамотеи из черни читали тайком.

Солнце еще было высоко, когда он большим мостом перешел через Дон и отправился за речку Темерник. По взгорью здесь было раскинуто село, по народному прозвищу Бессовестная слободка. Домики и хатки слободки, точно куча камешков, кинутых из горсти как попало, торчали тут без всякого порядка, лепясь по обрывам, сползая к реке или взбираясь на маковку взгорья. Эта слободка селилась сама собою под городом, когда еще мало обращали внимания на то, кто сюда приходил и селился. Она селилась без всяких справок и разрешений. Дух смелости и доныне тут царил на всей свободе. Все проделки против полицейских уставов в городе начинались отсюда. Тут жил аудитор, давший Илье книгу о воле. Здесь же была избушка и той прачки, через которую Илья надеялся увидаться с каретником и с Настей. Аудитор промышлял уже несколько недель новою книгой, раздавая ее из-под полы на прочтение за деньги. Илья спрятал книгу под свитку и шел без оглядки, поспешая к ночи в лесок знакомого хутора, где не раз прятался от ростовских облав на беглых.

Скоро он спустился в долину Мертвого Донца и завидел издали кучу верб, садик и знакомый дом рыболова. Спустясь по каменистой обрывистой тропинке в долину, Илья заслышал шум воды, сбегавшей из ключевого пруда к колесам утлой водяной мельнички, и пошел к ней, спрятанной за вербами. Хатка рыбака была построена на выдавшемся каменном ребре утеса, из которого било множество светлых и студеных ключей. Она как бы висела на воздухе, отделяясь кустами терна и диких вишен от пруда. Когда лучи солнца в упор освещали с юга это ущелье, пруд и вербы, между которыми с тихим и вечным шушуканьем сбегала к

мельнице в провале лишняя вода, в прозрачных струях пруда отсвечивались напущенные туда пестрые, с голубыми спинами, осетры, серебряные востроносые стерляди, беломраморные тупорылые сазаны и вертлявая тарань. Сюда порою наезжали из города охотиться в камышах долины на лисиц и поесть свежей икры и ухи богатые купцы. Тогда хозяин сажалки подходил к пруду, закидывал веревочную петлю, или прямо на железный крюк подхватывал из воды осетра или стерлядь; кровь била из свежей раны на крюк, рыба распластывалась, из ее теплых внутренностей вынималась икра, протиралась сквозь решето с солью и тут же, еще теплая, присыпанная перцем, съедалась за бутылками цимлянского. Сюда же в ближний лесок на долине собирался и простой люд из города потолковать в зелени деревьев о своих делах и выпить дешевой водки. Хозяин сажалки с весны редко был дома, ловя по окрестным затонам рыбу. Илья спустился в лощину, пробрался в лозы, забился в такое укромное место, откуда никто не мог видеть ночью огня, разложил в овраге под крутизной костерок, сел у огня и развернул книгу. Он перекрестился и поцеловал давно избитую и зачитанную книгу.

— Господи боже, благослови нам всю правду узнать! — сказал Илья и начал читать.

Губы его слипались, во рту сохло, глаза горели, дрожащие руки несмело переворачивали листы. Долго он читал. Язык законоположений и в особенности его великорусские выражения были не под силу его пониманию. И потому ли, что сам Илья вообще туго понимал смысл читаемого, или так уже он был настроен общими толками тех мест и лиц, с которыми его теперь сталкивала судьба, только в строках книги, без всякого умысла и с полным чистосердечием, он находил вовсе не то, что в ней действительно было. Ничто не мешало чтению. Старый холостяк, хозяин сажалки, дома не был. Тихо прошла темная весенняя ночь. Чтению книги вторили сотни соловьев. Какие-то другие птицы шныряли кругом в камышах и в лозах, поминутно перепархивая и пугливо налетая из темноты на огонь. За Донцом всю ночь раздавалось порывистое, горячее ржание лошади; это жеребец пасся там с косяком кобыл, грызя их и загоняя то в камыши, то в лозы. Где-то в темной вышине

прозвенели золотыми трубами, несясь вереницею, журавли. У пустой хатки рыбака, возле сажалки, пропел несколько раз горластый петух. Лягушки неугомонным хором стонали вдали в каком-то укромном болоте. Начинало светать. За Мертвым Донцом явственно забелела полоса зари. Встал туман. Подуло по верхушкам лоз. Ветви верб заколыхались. Кто-то ехал вдали в лодке по Донцу, вероятно, с ночного лова рыбы, сперва затянул песню, а потом крикнул: «Стецько!» «Чее-го?» — отозвалось ему еще дальше, и эхо разнесло отклик в разные стороны. «Кончай! пора!» «Чую!» — откликнулся голос. И все опять стихло.

— Кончил и я! — сказал сам себе Илья, дочитав последнюю страницу книги положений о воле.

XIII

Вести из острога и из дому

Илья встал, хотел помолиться и не мог. Странный рой мыслей встал в его голове: приказ отбывать барщину, то есть, как он понял, отбиваться от барщины, свое мирское управление и рядом с этим соображение, что в книге листы вырваны и что она вообще подложная.

«Поспешить разве опять домой? — подумал он,— я дал слово миру все открыть, не утаить ничего! Они ждут меня, надеются. А Настя?»

Что-то затрещало невдалеке за лозами. Стали слышны чьи-то шаги. Илья оглянулся, к нему пробиралась осторожная прачка. Он пошел с ней.

— Что ты, тетка, как попала сюда?

— Ох, бедняк ты, бедняк. Спозаранку кинулась следом за тобой, видела, как ты вчера с вечера заковылял сюда; ну, да и аудитора про тебя расспросила... Ох, беда, беда новая стряслась над тобою.

— Что? узнали, ищут меня?

— Хуже... Ох, уморилась; знала, что утром пойдешь к греку за деньгами, чтоб уладить, повидаться тебе с суженой-то твоей. Ну... а Талаверка-то горемычный не вытерпел всех горестей, всего разорения...

— Ну?

— В эту ночь в остроге на вьюшке повесился. Сегодня и похоронят его. Сама видела.

Илья, как стоял перед прачкой, так и упал лицом в камыш.

— Ах, ты бедный мой, бедный, что с тобою делать! — взвыла прачка.

Через два часа Илья и прачка подошли к подгородной ростовской слободке. Найдя аудитора, Илья отдал ему книгу и сказал:

— Через два дня жди меня в кабаке на черкасской дороге: здорово угощу!

Прачка сказала Илье:

— Иди же к греку, бери деньги и приходи вечером к острогу; не увидел каретника, так хоть дочку теперь его увидишь. Ручаюсь тебе, паренек.

Илья пошел из слободки к Дону и оттуда в Ростов. Он был сам на себя не похож: точно встал в тот день из гроба. Не доходя к Дону, он остановился. Трубы города издали дымились. Из-за Дона несся веселый колокольный звон. Был какой-то праздник. «И на похоронах-то его не дадут быть, нельзя! — подумал Илья,— зароют его как колодника, да и мне как идти? Еще узнают, тоже свяжут...» Получа деньги с грека, Илья целый тот день тоскливо толкался по базару, по погребкам и по харчевням. Несколько раз он подходил к стенам острога, заглядывал в железные решетки окон, заговаривал, как бы мимоходом, с часовыми, но ничего не мог он узнать про Настю, и нигде в окне не мелькнули ее белое лицо и русые косы. Он даже невольно прислонился к острожному забору, как бы пробуя его крепость. Народ весело толпился по улице возле острога. Все гуляли, празднуя весну. Сторожа-инвалиды у ворот курили трубочки и тоже весело поглядывали на гуляющих.

Стемнело. Прачка сдержала слово: взяла у Ильи деньги, отвела его к обрыву над Доном под стенами острога, велела ему там дожидаться и ушла.

— Я несу с дочкой белье в острог и, коли все удастся, дочку оставлю на время там, а к тебе сюда приведу Настю.

Илья сел впотьмах на камни между хлебными магазинами.

Город стихал. В остроге огни погасли. Зорю давно пробили.

«Нет, не пропустят теперь никого из острога»,— решил Илья и замер.

Впотьмах раздались шаги.

— Настенька!

— Илюша!

Только и могли проговорить Танцур и дочь каретника. Они отошли к стороне. Прачка, утираясь передником, тихо всхлипывала, поглядывая на них.

— Скорее, скорее! — шептала она,— не погубите меня, коли пропало ваше счастье.

— Уйди, тетка, не стой! — сказал Илья.

Прачка ушла за магазины.

— Настя! уйдем! что ждать долее?

— Нет, Илюша, не погуби этой бабы; мы уйдем — она пропадет, ее засудят.

— Когда вас ведут под конвоем? говори, я отобью тебя.

— Послезавтра. Ох, страшно: ведь нас солдаты с ружьями будут провожать; не осилишь, убьют тебя — будут стрелять по тебе и по твоим товарищам.

— Была не была! Хоть два дня, да мои будут. Отниму тебя; меня не знают в глаза конвойные, а начальство здешнее не догадается, кто отбил.

Настя стояла молча, обняла голову Ильи и горячо его поцеловала.

— Илюша, не затевай этого, приходи лучше и ты домой, там повенчаемся, станем жить хоть в бедности, да вместе.

— Нет; коли ворочусь домой теперь, так не для того. Настя! отец твой меня считал виной всей вашей гибели... Из-за меня он... душу отдал бесу...

Настя молча рыдала. Илья рассказал ей историю измены его отца.

— Неужели простить ее или батька моего за то, что они крови вашей напились, что отец твой без покаяния повесился из-за них, а ты от богатства нищею и голою пойдешь по пересылке с колодниками? Не бывать этому!

Настя ухватила Илью за руку и прижалась к нему.

— Не допущу, чтоб ты шла под конвоем: вольные воротимся. Всем дана воля, а ее только от нас прячут.

— Илюша, да лучше подожди, воротись, и я скоро буду дома. Приди, попроси меня у барыни, посватай сироту.

— Чтоб я просил тебя у этой барыни? ни в жизнь. Мы теперь вольные.

Прачка кинулась из-за магазина со словами:

— Прочь, долой, идут!

Илья побежал в сторону.

— Прощай, Илюша! — шепнула Настя.

— Жди меня за Черкасском.

Прачка увела Настю обратно в острог, а Илья пошел к Зинцу. Дед спал в курене, Илья его разбудил.

— Вставай, дед, да раскошеливайся, давай денег.

Зинец глянул спросонок. Кругом огорода было тихо. Голос Ильи звучал непривычною грубостью и злостью. В его руках была большая палка. Зинец струсил. Место было совершенно глухое.

— Что ты, что ты, парень? с ума сошел, какие у меня деньги?

Илья покачал палкой.

— Слушай, дед; разбойником я не был, воровать тоже не воровал. Ну, а вот вам бог свидетель... не дашь денег — отниму; станешь кричать — убью!.. что мне! Да что и тебе: жить-то недолго осталось.

Дед, ворча и охая, встал и начал возиться, будто что отыскивая, поровнялся с Ильей и вдруг кинулся на него, стараясь сбить его с ног, и закричал: «Караул, бьют!» Голос его странно отозвался в глухом закоулке.

— Шалишь! — ответил Илья, сгреб старика, как ребенка, связал его же поясом и положил у куреня.

Дед замолчал. Илья кинулся шарить в курене.

«Нет, это, видно, недаром! — подумал Зинец, лежа ниц к земле, — он иначе не решился бы так со мною поступить».

— Илья! — сказал он вслух.

— Что?

— Под бочонком в углу, под соломой, мешок с сухарями лежит, — нашел?

— Нашел.

— Развяжи: на дне деньги лежат.

Илья, достав деньги, сказал Зинцу:

— Не прогневайся, дед, как разбогатею, отдам! — развязал его и ушел.

Через два дня, рано утром, из городского острога, под конвоем пеших и конных инвалидов, двинулся по пути к северу длинный строй колодников, скованных попарно. Гремел барабан.

Этап вышел за город и двинулся степью к Новочеркасску, чтобы, сделав там привал в крепком казацком остроге, направиться далее по донским станицам. Тут

было немало беглых, которые было нагрели себе в Ростове такое теплое и уютное место.

— Вот она, воля-то! — сказал Илья, провожая с другими колодников.

— А что? — спросили его из толпы.

— Да ничего! Я говорю только: вот она, прочтенная-то нам воля!

— Обожди, паренек,— отозвался какой-то купчик,— долее ждали; все объяснится.

— Жди, сват, пока живого съедят! а мы ждали-ждали, да и жданки поели! — сказал Илья, нырнул в улицы и скрылся.

Перед грустным отрядом колодников замелькали каменистые бугры Дона, курганы, стада курдючных овец, каплички у ключей в оврагах и скачущие вдали табунщики. Вон, в стороне извив голубого Аксая, а вот на голой и лысой горе, обдуваемый со всех сторон ветром, Новочеркасск, домики с воздушными крыльцами и с резными галерейками вокруг стен; чистые, пустые и сонные дворики, цветы на окнах, шапочки на головах женщин, страшная пыль, безлюдные тротуары, громадный начатый собор среди главной площади, чиновный люд при саблях, в шпорах и в синих сюртуках; учителя музыки и словесности при саблях и шпорах, мирные секретари правлений также.

Илья знал, когда поведут колодников. Накануне он особенно кутил в кабаке за Доном, угощая кучки самых отчаянных головорезов и буянов. На другой день у них было положено собраться тайно в поле, в овраге за Нахичеванью. Боясь, чтобы дед Зинец не одумался и не решился его отыскивать, он прятался и не входил в город. Но он случайно забрел к одной пристани, где готовился отойти пароход в Таганрог и далее. Ожидая рокового отхода колодников, Илья в последний раз присматривался к суете шумного городка.

У пристани он заметил кучку людей, игравших на берегу в орлянку, в ожидании отчаливания парохода. Он подошел к этой кучке, стал сам глядеть на игру и вдруг остолбенел. Перед ним стоял, одетый матросом, один из музыкантов в Есауловке, скрипач Ванька. Ванька также узнал Илью. Они улыбнулись друг другу, отошли к стороне и там крепко обнялись.

— Какими судьбами? — спросил Илья.

— Волю прочитали и у нас...

— Ну?

— Ничего с той воли не вышло, я и решил дать тягу.

— Куда же ты?

— В Турцию, брат!

— Как же ты это едешь?

— Э, как! Были еще деньжата, ну, все и сварганил. В матросы взяли, а в Одессе пересяду в трюм какого-нибудь англичанина, да и дальше, в Турцию... А что твоя невеста, Настенька, от которой я тебе отсюда письма представлял? Жива, здорова? Что каретник, ее отец?

Илья все рассказал. Ванька покачал головой, сходил на пароход, который уже пыхтел и разводил пары.

— Ну, Илья Романыч, пароход уйдет еще через час! мы успеем и выпить и побеседовать на прощанье. Пойдем в кабачок. Тебе горе, выпьем.

— Что дома у нас? Что нового! Говори.

Знакомцы пошли опять за мост.

Ванька ударил себя по лбу.

— Ах, я дурак, простота! И забыл! Тебе много нового. С этого надо было бы начать.

— Ну, говори, говори скорее.

— Малый, вина! Слушай. Во-первых, как только прочитали нам эту волю, народ сильно запечалился! Ждут тебя, вот как. Прошли слухи, что воля не та. Учителя Саддукеева помнишь?

— Как же не помнить; к нему я насчет жены отца Смарагда ездил. Ну?

— Выгнали его из этой гимназии. Я заходил в город и слышал это. В день отставки, с горя ли, или так, он заснул, забыв в спальне погасить свечку. Загорелась сперва, видно, занавеска на окне, а потом весь дом. Он с детьми и прислугой едва выскочил, в чем был. Весь двор сгорел. А это только и было его имущество.

— Бедный, бедный! Эк у нас пожаров-то! Где же он теперь?

— Рубашкин принял его к себе в управляющие. Только, слышно, прижимает в жалованьи Саддукеева, хоть тот ему и самый-то Сырт предоставил. Насчет пожаров тоже. Хутор Перебоченской сгорел! Да что, она живучая: опять строится. А про жену попа Смарагда слышал?

— Что?

— Померла вскоре после твоего побега.

Илья перекрестился.

— Господи! вот все какие несчастия! Жаль, жаль его...

— Что жалеть! Он теперь счастливее тебя со мною.

— Как так?

— Видно, при жене только и крепился отец Смарагд. Чуть умерла, он куда-то, сказывают, написал, за ним явилась тройка, он забрал детей, что осталось утвари, да и уехал без вести. Иные толкуют, что где-то наверху за Волгой, в вятских лесах, в раскольничьи попы передался, рясу нашу скинул, надел простой зипун, да так им и служит по-ихнему; а другие — что его схватили и он в Соловки угодил, сослан...

Илья вскочил.

— Вот не ожидал я этого! В какой-нибудь месяц... Что же его взманило, не понимаю?

— Как что? У нас, с доходами-то от мужиков, он получал всего целковых полтораста в год; а там посадили его сразу, говорят, на три тысячи целковых. Надоело бедствовать-то. Ведь от бедности и попадья его померла.

— От кого это ты знаешь?

— Наш дьячок сказывал. Теперь у нас на обе церкви один поп, отец Иван старый.

— Ну, а что ж наш мир? Что наши православные?

— Тебя, Илюша, ждут и невесть как. Иди скорее туда, не мучь их. Прочитай им все по совести. Тебе верят.

— По правде? так это говорят?

— Ей-богу.

— Ну, так я же им теперь все прочту и объясню. Многое я тут узнал из того, что прежде и не снилось.

Илья допил вино и ударил по столу. В это время раздался звонок на пароходе. Ванька выскочил из кабака.

— Прощай, Илюша! Когда-то опять увидимся?

— Прощай, Ваня! Должно быть, на том свете.

— Да, — шепнул уже с лестницы парохода скрипач, — еще одно забыл: тебя велено схватить, как воротишься домой...

Ударил третий звонок. Ванька взошел на борт, колеса зашумели, и пароход пошел книзу, в гирла.

Через день Ростов взволновался. Прошла весть, что близ Черкасска в степи, под вечер, на этап с колодниками было сделано нападение шайки бродяг; солдат осилили, освободили всех арестантов, расковали, и те

разбежались без вести. В числе убежавших была и Настя Талаверка.

Илья с Настей, скрываясь в оврагах и лесах, дошел до Калача, там ночью переправился через Дон на рыбачьей лодке и пошел по Волге по пути к родному околотку. Но войти в Есауловку он не посмел.

— Ну, люди добрые! — сказал Илья, войдя на бугры, с которых была видна Есауловка,— вы ждали меня; теперь я пришел. Пришел на счастье свое и ваше, или на погибель вам и себе. Долго мы ждали воли и дождались! — В сумерки он вошел в хутор Терновку, где жил знакомый ему старик сапожник, и там решился устроить себе временный привал.

— Мужик вздорожал! Настоящая воля пришла! — сказал он, входя к старику с Настей.

XIV

Сельский агитатор

— Агитатор, агитатор, в нашей губернии новый Стенька Разин, новый Пугачев! — говорили помещики по деревням, куда вскоре воротился Илья,— ведь это было их гнездо. Тут они действовали и семена бросили после себя.

— Неужели? Где? Как? Когда?

— На днях, на Волге, в заброшенном и глухом закоулке; он из Есауловки, дворовый человек князя Мангушки, а избрал себе притоном соседний хутор Терновку.

— Что же он пока делает, чем себя заявил?

— Его народ давно уже наметил; он два раза был в бегах. Малый смышленый, грамотный и воротился теперь опять из бродяг, чтоб, как говорит, добиться чистой воли. В Терновку и в соседние с ней овраги с мая месяца теперь сходятся толпы черни. Этого парня уже молва провозгласила пророком. У него же завелась и своя пророчица, тоже беглая девка тамошней помещицы, которую он добыл где-то этою весной. Их не венчают, и они живут так себе открыто, как муж и жена.

— Что же народ?

— Парень этот овладел всеми, отменяет везде барщину, собирает поборы на расходы для мирских дел,

рассылает по окрестностям возмутительные письма. К нему верхами и на тройках съезжаются совещаться из других уездов и даже губерний такие же вожаки. И долго этого никто не подозревал, хотя все чувствовали какое-то сильное влияние на умы крестьян в том околотке. Даже отец этого парня, есауловский приказчик, живя от него в десяти или пятнадцати верстах, целый месяц ничего не знал о новом приходе сына и его укрывательстве в Терновке...

Да сперва и трудно было заметить влияние отдельных лиц. Все были взволнованы, все потерялись — и крестьяне и дворяне.

Весна кончилась.

Весть о воле пронеслась во все концы; сорвало старые плотины и мосты, и все унеслось навеки шумными волнами могучего половодья. Поля окинулись зеленью. На Волге опять замелькали сотни пароходов. Народ задвигался у ее берегов. Леса и байраки зазвучали птичьими голосами. Холмы и бугры подернулись голубыми туманами. Орлы зареяли над долинами и заклектали на столетних дубах. Освобожденный пахарь повел первую вольную борозду. Первое дуновение воли по селам и хуторам принесло осязательные льготы переходной поры: безусловное увольнение от барщинных повинностей стариков, девушек и мальчиков подростков, увольнение дворовых, которые по ревизии числились в крестьянах; свободный брак, отмену ночных караулов, уничтожение добавочных сборов с крестьян и первые намеки на жалованье дворовым. Не все добровольно решились сразу дать эти льготы. Освобожденные мальчуганы явили множество лукавых демонстраций и в раннюю пору недолгой весны не шли на работу за самую выгодную цену. За ними явились демонстрации горничных и должностных лиц из крестьян. Мгновенно опустели целые дома и усадьбы. Умеренные смирились, зная, что ловкий кормчий на практике может обойти всякие подводные камни. Радикалы старого закала подняли крики и вопли.

— Слышали вы? — кричали одни, — многие помещики ездят уже сами кучерами, а помещицы стряпают себе обед?

— Нет, не слышали. Кто же это?

— Михаил Павлыч, Федор Ильич, жена Ивана Юрьича! В Есауловке у князя Мангушки мужики самовольно,

чуть прочли им манифест, запустили свой скот в барские луга по Лихому и выбили их в несколько ночей так, как вот эта ладонь.

— Ах, мерзавцы!

— В Конском Сырте у генерала Рубашкина соседние мужики в саду срубили ночью пять лучших берестов и липу на боковой аллее... Слушайте дальше! Везде только и слышно: мужики рубят леса, выбивают овцами и скотом поля и луга, вытравляют даже яровое и озимые всходы хлебов. У губернского предводителя на крыше дома в деревне поймали трех мальчишек. Они, верно, пробирались в трубу, чтобы обокрасть дом, как то случилось в Есауловке прежде, а становой, подлец, решил, что они лазали за воробьиными гнездами. Но печальнее всего история с тем же Рубашкиным. Он в первый день велел наемному кучеру запрячь лошадей к церкви, а кучер напился пьян; генерал вышел во двор — ни души; все батраки до обеда засели в есауловском кабаке. Он за ворота,— а за воротами бродят без пастуха его шпанские овцы и все перемешались, бараны с матками и ягнятами. Что же бы вы думали? А? отвечайте!

— Сам запряг беговые дрожки и поехал за кучера?

— Именно, угадали! а овец поручил было пасти горничной девушке, живущей у него за экономку; но и тут вышла беда! та разобиделась и затеяла отойти от него.

Бывший тут юноша, из либералов, рассмеялся.

— Так, по-вашему, это вздор? вздор? — закричал рассказчик.

— Разумеется, плевое дело. Эка мученики! — заметил либерал,— раз в жизни самому в деревне запречь лошадь. Подумаешь: развенчанные Наполеоны на острове святой Елены! Людовики шестнадцатые в цепях!

— Я продолжаю! — яростно крикнул рассказчик,— я продолжаю о Перебоченской.

— А! — крикнул либерал и захохотал,— о Перебоченской, о сей человеколюбивой волчице, с надпиленными ныне когтями? Продолжайте, нам приятно!

Рассказчик, в котором читатель, вероятно, узнал смененного некогда предводителя, защитника Перебоченской, оторопел от злобы и негодования; но, чувствуя, что и у него шальное время пообточило зубы и надрезало когти, смолчал, набил себе трубку папой-крионом,

затянулся до тошноты, улыбнулся, и, пуская дым, продолжал мрачным и сдержанным басом:

— Господа, наше сословие распадается, гибнет! Но что сталось с этой бедной Перебоченской? До чего ее унизили, разорили! Я не узнал ее, воротившись из высылки в другое мое имение.

— Как так? — спросили слушатели.

— Вы знаете, я всегда к ней был особенно расположен. Изгнанная из Сырта, она продала дом в городе и переехала было к себе на хутор, думая извернуться, прикупить еще земельки и повести хозяйство. Разместила она людей по избам; одних из них поставила в батраки, других — в должности к дому. Тут еще воротили ей из бегов несколько человек ее бродяг, каких-то двух баб из Астрахани, парня-кузнеца из Москвы. Дело же наше по доносам Тарханларова затихло по случаю манифеста о воле. Что же бы вы думали? Тут явился этот наш доморощенный агитатор, зашел из Терновки к ней на хутор, и как вы, господа, полагаете? объяснил всем ее людям разные статьи положения по-своему. Те сговорились да на днях бросили ее двор и ушли все до одного в свои батрацкие избы, требуя земли, волов и, вместо дворовой службы, трехдневной барщины мужчинам, а двухдневной — бабам, так как они числятся крестьянами!

— Что же! Это по закону! — сказал либерал, — а вы думаете как?

— Но посудите о Пелагее Андреевне, о ней посудите! — кричал бывший предводитель, будто не расслыша последних слов, — плотники бросили ее столярню, где ей кресло делали; кузнец-парнишка бросил кузницу и также требует поставить его на хлебопашество, то же самое и с бабами: и те бунт затеяли. А о девках нечего и говорить...

— Что же красные девушки? — отозвался либерал, хихикая, — их бы этак розочками посечь, репяшками, и дело в шляпе, усмирились бы.

— Представьте, — продолжал рассказчик еще мрачнее, — все девки Перебоченской сговорились и вдруг... бросили ее в одну ночь. Одни бежали к овцам, другие к женихам, в батрацкие хаты и в соседние имения; ушли в служанки, швеи, кухарки, прачки и кружевницы. Даже представьте — верная Палашка и та бросила Перебоченскую и ушла в город с каким-то солдатюгой.

— Ай, батюшки! Что же она не требует девок! — спросил либерал.

— Бедная Пелагея Андреевна из сил выбилась. Звала всех обратно, становому жаловалась, новому предводителю. Ничто не взяло. Не те люди теперь стали... Да-с! И представьте... сама теперь есть себе варит, кухню перевела в дом, сама стряпает и горькими слезами обливается. Два раза даже посуду сама мыла и воду, сказывают, черпала из колодца во дворе. Просто Содом и Гоморра!..

— Странно! — отозвался либерал,— отчего же эта барыня не прибегнет к найму посторонних людей?

Отставной предводитель остановился среди комнаты и с грустной улыбкою посмотрел на всех слушателей:

— Слышите? Она? Прибегнет к найму? Да это кремень-женщина с характером древних героев. Она скорее погибнет от всяких огорчений и обид, чем уступит хоть крупицу своего достоинства! Она — честь и украшение своего сословия. А считать легко в чужих карманах. Отчего не нанимает? А зачем вся эта перемена? Нам служили и работали даром... Поневоле потеряешься... Вон наш патриарх, Борис Николаевич! Ведь не вынес. Шестьдесят лет хозяйничал, сидя в кресле, приказания раздавал и не верил толкам о воле. А приехал становой с манифестом, он как встал с кресла, зашатался, грохнулся об пол и дух вон! И таких жертв у нас немало-с...

Либерал подошел, посвистывая, к окну. Хоть санкюлот в душе, но в то же время сам богатый человек, он позволял себе вообще быть спокойным и не стесняться. Его ненавидели, но боялись и даже порою заискивали его расположения.

— А Палашка, Палашка,— возглашал рассказчик,— эта верная, преданная служанка!

— Ну? — отозвались некоторые.

— Представьте. Как ушла с солдатом в город, да и не возвращалась долго. О ее измене в особенности скорбела Перебоченская. И что же бы вы полагали? На днях к крыльцу ее на хуторе подкатил с бубенчиками тройкой тарантас. Кучер с павлиньим пером. На гривах лошадей ленты. Из тарантаса вышли молодые, разодетые: девка и солдат, прямо из-под венца. Это и была-с... была сама Палашка, с своим суженым! Чуть Палашка с мужем вошла в дом к ней, солдатюга и брякнул: «Сударыня,

позвольте у вас взять сундук с вещами и с платьем моей жены».— «Какой сундук? — спросила Перебоченская,— у нее ничего этого и в заводе не было!» — «Как можно, сударыня! — отозвалась Палашка,— я новому предводителю стану жаловаться! Мало вы над нами издевались! Голодом нас морили, без белья целые годы водили. Я у вас два года на свои деньги обувалась. Я ли вам еще не служила?» Перебоченская на это вскрикнула, зашаталась и упала в обморок... Вот до чего мы дожили. Скоро чернь заберет страшную силу, благодаря своим коноводам...

— Не верю!

— Не верите? мы зато верим и все понемногу обзаводимся оружием, револьверами и прочим.

— И этому не верю!

— А это что? — спросил оратор, вынимая из кармана револьвер.

Хозяин дома, где шел этот разговор, тоже вынул пару каких-то еще дедовских пистолей, притом заряженных. «Так и сплю теперь! нельзя!» — прибавил он, отошел к двери и еще там показал в углу палку, с потайным стилетом в пол-аршина.

В других местах толковали несколько иначе. В уездном городе, в доме исправника, удаленного было от места вскоре после истории Тарханларова с Перебоченской, но потом оправданного и вновь допущенного к должности, собирались все недовольные из старой уездной партии. Тут, между прочим, велась большая карточная игра и разговоры об эмансипации шли, попеременно прерываясь восклицаниями.

— Дама бубен.— Плие! — Шестерка! — Атанде! — Убита! Пожалуйте денежки.

Как-то раз, когда игра между помещиками была особенно сильна, кто-то спросил:

— А что, господа, слышно про есауловского Пугачева? Говорят, скверные вещи в уезде у нас происходят!

Исправник оставил карты.

— Да, именно скверные. Я уже десять рапортов послал губернатору. Но ведь вы знаете теперешнее время.

— Кто же, кто коновод беспорядков в нашем уезде? добились вы толку?

— Долго я не понимал, в чем дело, и, наконец, уразумел... В окрестностях Есауловки, как по чьему-то

таинственному мановению, весь народ окрысился, как один человек... Положение толкуют по-своему; отказываются от добровольных сделок с владельцами. Здесь сегодня обидели барыню! Смотришь, за сорок верст в тот же день выругали барина, а за пятьдесят исколотили чуть не до смерти приказчика. Коновод-то есть, господа, да крылья нам подрезаны, завелись мировые посредники; я пишу губернатору, а он говорит: пусть прежде посредник похлопочет. Да-с... Вот, когда что посерьезнее случится, тогда другое запоют...

Что касается до слухов, то исправник действительно не ошибался. И долго еще помещики тревожно толковали между собою и сообщали, что вот, вслед за возвращением своим из Италии, владелец Есауловки, князь Мангушко, испытал какое-то сильное оскорбление от своих былых подчиненных, что это дело разбирал уже местный посредник, но что на сходке и того сильно оскорбили крестьяне. Что по уезду пронеслось имя Ильи Танцура, сына есауловского приказчика, что генерал Рубашкин, сойдясь с князем Мангушко, ночевал как-то у него, и на них ночью было сделано что-то вроде покушения на убийство, и при этом Илья, вместе с Кириллом Безуглым, чуть было не поймался.

Губернский город, наконец, узнал о событиях того уезда в подробностях. Илью Танцура уже прямо называли коноводом всех своеволий крестьян.

— Новый Стенька Разин! Стенька Разин появился у нас! — передавали с ужасом друг другу обыватели губернского города, где, как водится, жизнь своих же уездов понимали менее жизни иного города Ботофаго на Рио-де-Жанейро.

— И в тех самых поволжских местах, где действовали Пугачев и Разин! — добавляли другие. — Есауловка их гнездо!

— Что же слышно о нем? Каков он и как зовут этого агитатора? — допытывались дамы.

— Илья Танцур; он сын приказчика в Есауловке. Говорят, что он в косую сажень ростом, съедает по целому барану и выпивает чуть не по ведру водки. А наружностью так сущий Пугачев: окладистая черная борода, ястребиный взор и ожесточен, как сам Емелька. Наконец, правда ли, нет ли, а уверяют, что, скрываясь в хуторах за Авдулиными буграми, научая всех и принимая депутации, он объявил себя пророком...

— Быть не может! Пророком? Как Магомет? — спрашивали, замирая от страха, дамы.

— Именно, как Магомет! Народ к нему идет на поклонение, он сидит за столом перед книгой о воле, всех допускает к руке, красная лента у него через плечо. По ночам он развратничает, а днем решает сомнения всех, кто к нему приходит. Говорят, что отцы ведут к нему дочерей, мужья жен, а братья сестер...

Дамы с ужасом затыкали уши и поднимали глаза к небу.

— Вся подкладка его характера, — пугливо ораторствовал какой-то приезжий в кабинете губернатора, — вся личность этого Ильи Танцура — двойник Разина. Это тот же меч божий! Как он нагло оскорбил посредника и как хладнокровно заколол станового! Чужие страдания его забавляют; великодушие ему незнакомо.

— Ну, — перебил губернатор, — становой жив.

— Пусть жив. А посредник?

— От посредника я еще ничего не получал: видно, надеется и так успокоить околоток; а мешаться мне пока не позволяют инструкции...

— Все так, все так. Но этот коновод — зло опаснейшее... Он уже устроил прямые и непрерывные сношения с окрестными губерниями; сорок пять уездов уже в его руках. Ему несут хлеб-соль, сборы денег...

Губернатор встал. Он давно был встревожен и раздражен, давно хотел принять какие-то меры, но чем-то все стеснялся, чего-то боялся, ждал. В последнее время он сильно присмирел, часто сидел над бумагами, мягче встречал посетителей, заботливо советовался о разных намерениях с людьми опытными, с людьми старого порядка, с местными практиками, преклонялся перед временем, хоть и ворчал на Петербург. «Э... в виде нищих — сюда никто не приходил; а об есауловских делах, однако, надо подумать серьезнее!» Он позвонил, позвал своего секретаря.

Вошел румяный и щегольски одетый молодой человек в очках, из правоведов. В его руках была пачка газет.

— Насчет Есауловки от посредника еще ничего нет?

— Ничего-с...

— Странно!

Губернатор стал медленно ходить по кабинету.

— А вы как полагаете? Проделки этого, как его, Ильи Танцура, пустяки, что о них посредник умалчивает и все еще не сдает дела местной полиции? Согласитесь сами: влезть на балкон, на трубу; не может же быть, чтоб приказчик это сочинил!

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству,— начал молодой человек, поправляя очки, выпрямляясь и стараясь придать себе как можно более достоинства, спокойствия и благородной смелости и откровенности,— до меня дошли еще другие, более важные слухи... Известный-с итальянский агитатор Гарибальди через своих эмиссаров давно уже старается взволновать Венгрию, Грецию и славянские земли в Турции... Ну-с, по секрету объявляют, что его портреты с недавнего времени в громадном количестве привезены, как слышно, через азиятскую Россию, на Кавказ, а оттуда в Крым, на Дон, и сюда, в низовые губернии...

— Как, вы полагаете, что между Гарибальди и нашими местными мятежниками есть солидарность? Это забавно!

— Имею ясные подозрения,— продолжал совершенно спокойно секретарь.

— О, это уж слишком! — перебил губернатор.

— Очень рад, ваше превосходительство, что на ваше сомнение могу отвечать фактом. Везде, по Дону и здесь внизу, по Волге, с весны еще народ ожидает со дня на день прибытия некоего гетмана Загребайлы... Понимаете-с? Загребайлы... Это и есть Гарибальди! Этот гетман Загребайло, по толкам народа, теперь за морем, пока освобождает, дескать, итальянцев, потом побьет немцев и турок, освободит славян... а там...

Губернатор остолбенел...

— Надо принять строгие меры,— сказал гость-помещик,— иначе после не расплатитесь...

— Вот вам и должность наша! — решил губернатор, расставя руки.— Что нового в газетах?

— Везде толкуют о крестьянских мятежах, о насилиях, упорстве...

Губернатор позвонил. Вошел жандарм.

— Поезжай, попроси господина Тарханларова ко мне. Надо действовать! — сказал губернатор уходящему гостю,— что делать, не мы виноваты.

Не успел губернатор успокоиться, как к вечеру к его квартире подъехали разом два нарочных верховых с

пакетами от станового и от посредника. В обоих пакетах доносилось о новых беспорядках в Есауловке и в окрестностях и испрашивалась присылка войск.

XV

Князь Мангушко также, наконец, воротился

Что же в это время сталось с Ильей Танцуром?

В Есауловку весной, с первою навигацией, через Триест, Дунай и Одессу воротился, наконец, старый князь Белоконь-Мангушко. Живя зиму в Италии, на берегу моря в Генуе, князь занимался живописью, ходил в кофейни читать газеты и болтать о политике, волочился за шляпницами и цветочницами, носил костюм двадцатилетнего юноши и несколько лет сряду копировал масляными красками дюжинный ландшафт какого-то туземного артиста из римлян и ждал только новых денег из России, чтоб переехать в Сиену, где, по слухам, жил другой артист, бывший в моде по случаю рисования в особом, однако, виде обнаженных женщин. Ни из киевских имений, ни из Есауловки денег, однако, не приходило. Князь как-то зашел в мастерскую своего учителя-живописца и вдруг услышал от него такую новость: «Tiens mon cher, prince![1] Вы читали una[2] телеграмму из России?..» — «Какую?» — «Ваши serfs[3], ваши рабы, освобождены, наконец, одним росчерком пера... Ваш император издал третьего дня в Петербурге великую хартию свободы двадцати миллионов ваших крестьян». Князь кинулся в кабинет для чтения и в маленькой местной газетке действительно прочел в телеграмме, переданной из Петербурга в Париж, извлечение из манифеста о крестьянской воле. Читальная зала библиотеки была полна. Более сорока угрюмых лиц, уткнувшись в итальянские и французские газеты, хранили мрачное и красноречивое молчание. «Русские!» — подумал князь, и под его ложечкой почувствовалось легкое давление. В тот день он не ходил гулять в общий сад, даже не обедал и выпил множество шипучей воды. На

[1] Да, милый князь! *(фр.)*.
[2] Одну *(итал.)*.
[3] Рабы, крепостные *(фр.)*.

другой день, вместо артистического визита в Сиену, он сосчитал последние деньги, скромно выехал в Триест и через две недели в каком-то отставном мундире, вместо недавней художнической куртки, сурово стоял в Киеве в соборе, попав туда случайно на один официальный праздник и на молебствие, причем, впрочем, ему дали место в кругу губернской знати. Киевские имения не улыбнулись князю. Доходы оттуда были давно исчерпаны за год вперед. Он поспешил в Есауловку, так как незадолго перед тем в ней произошла известная кража в доме и ожидалась большая сумма за продажу партии пшеницы, скопленной приказчиком Романом в несколько дешевых лет.

Князь явился в Есауловке как снег на голову. Дом найден в порядке, хотя был не топлен. Наскоро протопили и освежили сперва две-три комнаты. По совету Романа, к соседу в Конский Сырт поскакал гонец, с записочкой от князя, что тот просит у Адриана Сергеича Рубашкина позволения с ним познакомиться, приехать к нему и на первое время дня четыре или более погостить у него. Рубашкин поспешил к князю, увидел перед собою сморщенного, но розового, сладенького, изнеженного и веселого, с белыми волосами, старичка. Рубашкин его разглядывал. У князя весьма подозрительно дрожали нежные ручки; голубые, небесные глазки были несколько мутны; во время походки одна нога будто отставала от другой, а голова порою сама собой покачивалась, как у алебастрового котенка. Старики нашли друг в друге много общего и тотчас сошлись, даже пустились в откровенности. Оба оказались одинаково либеральны, считали, что лучшие из дворян продали свое сословие, и, хихикая, решили, что теперь остается им только перепрыгивать с одной льдины на другую, спасаясь в общем наводнении, и только, пока есть огонь в душе, развлекаться насчет женщин.

Князь Мангушко переехал в есауловский дом. Явилась наемная прислуга. У конюшни показались молодцеватые конюхи. У кухни задвигалась бочка с водой, запищали под рукой повара невинные куры, взревели телята и овцы. На поварских столах бойкую дробь забили над котлетами и паштетами вновь отчищенные ножи. Наемный из города лакей развесил возле крыльца

платья барина. Приказчица Ивановна, ни жива, ни мертва, суетилась в буфете. Роман Танцур выбивался из всех сил, чтобы угодить князю.

Тут-то и началась история. Рубашкин вечером сидел у князя. Они ожидали милых гостей. А тем временем в саду в потемках ходили две тихие фигуры: Илья и Кирилло. Илья давно добивался случая повидаться с князем, объявить ему обо всем, что он знал о своем отце, но Роман его бы не допустил. Кирилло тоже хотел проситься на оброк, а его заставляли работать с крестьянами. Приятели решились попозднее, когда приказчик уйдет, явиться к князю и лично добиться дела. Вдруг они увидели впотьмах, у решетки дома, двух девушек, подкрались и подслушали их речь. Кирилло узнал Фросю. Девушки ушли на крыльцо. Дверь за ними щелкнула. Приказчик сошел в контору. Огни в доме стали погасать. Светилось только окно в спальне князя, близ балкона, во втором ярусе дома.

Кирилло зашипел от ярости:

— А! Фроська, подлячка! узнал ты ее?

В уме Ильи мелькнул первый вечер его возврата домой, голубятня, стоны и та же Фрося. Приятели переждали и решились подсмотреть за девушками. Кирилло взлез на балкон по трубе к окну спальни, с целью заглянуть в окно. Илья ждал внизу. Их застал Роман и крикнул караульных. Они убежали. Роман будто бы видел и Илью. Эта сцена сильно напугала и князя и Рубашкина. «Ведь они могли нас убить!» — решили они и дали знать о дерзости Ильи посреднику.

Через два дня из-за Авдулиных бугров явился босоногий чужой мальчишка и принес в контору записку, писанную карандашом, от посредника, такого содержания:

«Приказчику села Есауловки. Прошу созвать к барскому двору все общество бывших крестьян помещика князя Мангушки на завтрашний день с утра. Мировой посредник Ралов».

Мальчишка ткнул записку в руки Романа и исчез, пока тот успел прочесть ее и собраться с мыслями. Роман

был поражен. Прочтя записку, он кинулся наверх к князю. Через пять минут в Сырт опять поскакал верховой, и Рубашкин явился снова.

— А, каково? — шептал князь, давая ему записку посредника,— «прошу» вместо «приказываю», и кому же, мужику? И потом, как ядовито: бывших крестьян князя? Какой-то Ралов! Да это забавно! Записка по такому важному делу на клочке дрянной бумажки и карандашом. Да это террор?

— И фамилия какая скверная! Ралов! — перебил генерал,— какой-нибудь нищий!

Рубашкин прочел записку и плюнул.

— Ему жалуются на разбои, негодяи лезут в окна, а он пишет в контору! Нет, это бесчестно, подло! Я к министру буду писать. Завтра я у вас непременно буду опять, чтобы все видеть.

— О, пожалуйста, ваше превосходительство!

Рубашкин уже с весны не останавливал никого, когда его титуловали по-генеральски.

Рано утром Рубашкин уже явился к соседу и застал его за стаканом кофе еще не умытым, в ермолке и халате.

— Вы еще нежитесь?

— Да-с! День будет, надо полагать, тяжелый...

— А что? Разве этот, как бишь его, Ралов скоро будет?

— О, нет еще! Куда им, этим молокососам. Я думаю, еще спит. Только для форсу с утра требовал сбора людей. Разве к вечеру будет. Не хотите ли чаю или закусить?

Князь потянулся, позвонил. Вбежал Власик и не своим голосом крикнул: «Посредник едет!»

— Вот-те и на!

Приятели бросились к окну, из которого было видно, как толпа мужиков у ворот задвигалась. Издали, версты за две, по косогору спускалась коляска четверней.

— Однако, коляска! — сказал князь,— так они у вас в колясках ездят!

Крестьяне заранее один за другим сняли шапки. По зеленой луговине от двора навстречу посреднику поскакал приказчик Роман.

— Это зачем? — спросил Рубашкин,— а, понимаю! верно, пригласить его прямо к нам.

Князь кинулся одеваться. Рубашкин, оставшись один, спустился в залу и стал перед зеркалом, принимая разные внушающие положения. В это время за воротами раздался стук колес, но коляска к крыльцу не подъезжала. Рубашкин пошел сперва в переднюю, потом в кабинет. Там уже стоял князь. Князь глянул на Рубашкина: на генерале явились звезда и фрак. Рубашкин глянул на князя: на князе звезды не было, но он также облекся во фрак и белый галстук и нацепил на себя заграничный орден какого-то овна девы, полученный им за жертвы в пользу иностранных богаделен. Приятели были в сильном волнении. В окно было видно, как посредник у ворот вышел из коляски с письмоводителем, как крестьяне скромно ответили на его приветствие, и тотчас стал опрашивать крестьян. На нем были: беловатое драповое пальто и старенькая помятая фуражка. Письмоводитель был тоже в старой шинельке.

— Что же это? — спросил князь, — они, кажется, идут под амбар?

В комнаты стремглав вбежал приказчик, крича лакею:

— Стол посреднику, стул и чернильницу!

— Ты-то чего мечешься? — шепнул ему сердито Рубашкин, — отчего к князю не идет?

— Не можем знать-с; говорят: я не в гости приехал, а по делу; кланяйся им и скажи, что я прошу их прийти и при обществе объявить все, чтобы крестьяне знали, что я посредник, а не гость князя.

— И это он сказал при всех?

— При всех.

Князь и генерал переглянулись.

— Вы пойдете туда? — спросил Рубашкин.

— А вы?

— Нет, вы скажите.

— Нет, вы.

Словом, приятели остались, угрюмо уселись во фраках у окна и не пошли на следствие посредника о беспорядках в Есауловке. Из окна была видна у амбара куча народа и стол, за столом перед бумагами на стуле посредник. Он говорил, вставал, садился. Был слышен ответный гул голосов. Из дверей конюшни, из окон и из-за углов кухни и других зданий везде торчали

взволнованные лица любопытных. Тут были и выпущенные из острога музыканты, и несколько призванных нарочно в свидетели жителей соседних имений. Власик взобрался на крышу амбара и оттуда с другими ребятишками также слушал, что говорилось на той небывалой сходке. Илья Танцур и Кирилло стояли в толпе крестьян. Роман стоял с письмоводителем за стулом посредника. По приказанию князя, верховой поехал в Сырт за Саддукеевым. Посредник не в первый раз уже являлся убеждать есауловцев покориться новому положению. Потравы лугов, рубка леса и всякие ослушания продолжались. Посягательство Ильи и Кириллы на спокойствие князя в ночь, когда их застали у балкона, клало меру терпения посредника. Долго он высчитывал вины общества, долго горячился, кричал, даже охрип и грозил все дело передать земской полиции.

— Это ты всему зачинщик! — сказал он, наконец, Илье и прибавил, — сотские! взять его и отправить в стан. Пусть с ним с первым ведается полиция!..

Илья выступил.

— Коли отец мой и тут гонит меня, — сказал он, — так я молчать не буду. Он погубил отца моей невесты, доносил на меня, что я с ворами лазил в дом барина, теперь донес, что видел меня опять ночью у балкона, выставляет, что я людей смущаю, не так законы им читаю. Православные, полно батьке моему над нами властвовать, кровь нашу пить! сечь людей через становых да на вас жаловаться. Ваше высокоблагородие! я ребенком бегал от немца-изверга, а нынче весной уходил от отца родного. Воротился я всю правду про него сказать. Был в суде дорогою, просьбы моей не приняли, не так написана; был у станового, и тот не принял. Знайте же вы, я про отца своего теперь при людях говорю: он с помещицей Перебоченскою фальшивые ассигнации в Нахичевани покупал да после распродавал; тем они и обогатились. А доказать мои слова могут: помещик Хутченко в остроге, горничная Перебоченской Фрося, что у генерала Рубашкина в ключницах нанимается, и один армянин в Ростове, Халатов. Этот знает и ту книгу, где барыня эта с отцом моим расписывалась в получке тех ассигнаций.

— Ваше высокоблагородие! велите ему замолчать! — вскрикнул Роман, чуть помня себя от злости и испуга.

— Это ко мне не относится,— сказал рассеянно Ралов,— а, впрочем, господин письмоводитель, запишите все это.

Письмоводитель кинулся писать.

Толпа молчала.

— Это все ты скажешь перед судом,— обратился опять посредник к Илье,— а теперь за то, что через тебя вся деревня волнуется, иди под арест. Сотские, взять его!

Илья осунулся назад.

— Не трогайте его,— загудела толпа.— Он правду говорит: мы все за него.

Посредник глянул: все лица были бледны, глаза опущены к земле.

«Эге-ге,— подумал посредник.— Да какой же я был болван, что до сих пор с ним нежничал, потерял столько времени, когда все прямо его считают коноводом»... Он начал было опять кричать, грозить. Письмоводитель выручил его. «Видите, какое здесь село; напрасно вы тут скромничаете,— шепнул он ему,— эта деревня была заброшена. Народ тут незабитый, смелый, так вот все и стоят щетиной, букой. Посмотрите на их морды: волки, звери! Тут без станового вам не обойтись. Советую приказать послать за ним нарочно...»

Посредник услышал кругом себя ропот толпы, крикнул ей: «Молчать»,— и когда крестьяне через выборных отказались даже подписать протокол сходки, повторяя, что, пока князь не сменит приказчика Романа, до тех пор они не пойдут на работу, он прибавил:

— Господин письмоводитель! пишите повестку к становому. Пусть он заставит их опомниться. Я не выеду отсюда до тех пор, пока вас силой не заставят слушаться меня и выдать Илью.

В это время тихо подошел к толпе подъехавший на беговых дрожках и запыленный Саддукеев. Подойдя к посреднику, он поклонился ему, расспросил его, сначала не взял в толк, в чем дело, но потом отозвал его в сторону.

— Извините меня! — сказал он,— вы не выдержали. Одумайтесь, будьте хладнокровнее. Смотрите сами на эти лица: какие же они звери? Вас сбил письмоводитель, переждите, не дайте вмешаться в это дело полиции.

У вас немалые силы в руках. А иначе вы наделаете такого, что и сами не будете рады.

Посредник обиделся и ответил:

— Я знаю, что я делаю! Терпенье мое лопнуло. И то мне совестно перед губернатором и перед всем этим околотком.

Через четверть часа один из сотских поехал в стан с повесткой. Посредник, забыв роль, сидел у князя, и все ругали наповал крестьян.

— Оставайтесь, господа, ночевать у меня! — сказал князь гостям,— мне скучно, да теперь и не совсем безопасно, а становой будет только завтра.

Весь вечер хозяин и гости то подходили к окнам, то выходили на крыльцо, прислушиваясь и приглядываясь к тому, что делается в селе. Власику велели растопить камин в портретной галерее и там сели ужинать. Есауловка заволновалась. В сумерки среди нее показалось много посторонних лиц из других слобод. Они явились узнать новости о заезде посредника. Все тихо шушукались, глядели на барский дом. Кабак, сверх ожидания, был пуст. Тревожные кучки народа ходили по улице, садились под хатами, у ворот, у церквей, и к ночи все столпились у двора Ильи. Илья с вечера воротился в свою хату на Окнине. Всякого нового, подходившего к его двору, окликали словами: «Кто идет?» — «Казак!» — отвечали подходившие. Бабы и дети заперлись по своим хатам. В избе Ильи светился огонь.

— Что там делается у него? — спрашивали те, кто стоял, за теснотою, на дворе.

— Царское положение читает со стариками народу про посредников и про становых.

— Да нам же читал посредник.

— То подложное. Там главные страницы вырваны. А на самом посреднике царских знаков нет; он только кричит, ничего не поймешь, да бородой ковыляет.

На дворе зашумели.

— Идет, идет с книжкою.

— Кто?

— Сам Илья Романыч.

Илья вышел из хаты. Сзади него держали фонарь.

— Православные! — сказал он, кланяясь на все стороны,— старики согласились и положили не сдаваться. Мне что? Отстоите меня, спасибо; нет, голову за вас положу.

— Будь спокоен, не выдадим тебя. Как можно! Всех пусть берут! — загудел народ.

Илья поклонился опять.

— А сечь нас не полагается. Приедет становой, просите; не послушается, не сдавайтесь. Силой станет брать, гоните его понятых. Что нам теперь? Мы вольные... А чтоб лучше столковаться, пойдем за слободу в поле.

— Пойдем, пойдем! — заговорили есауловцы, а с ними авдулинцы, чередеевцы, савинские и прочие поселяне и посланцы от разных сел и хуторов, между которыми находились и старые знакомцы Ильи, сапожник и квасник. Они особенно благоговейно его слушали, с трепетом в толпе произносили его имя, восторженно выхваляя его народу.

Огромная толпа двинулась впотьмах к Кукушкиным кучугурам. Есауловка вдруг стихла. Кое-где только отзывались собаки, жалобно в потемках лая в ту сторону, куда пошел народ.

— Ну, слава богу, затихли! — сказали про себя князь, гости и приказчик, засыпая в разных местах,— завтра будет становой; он их уймет сразу и окончательно. Еще беседовать думают с мужичьем, кротостью брать!

Заря застала Есауловку такою же тихою. Все мирно спали. Спал в своей хате и Илья Танцур, крепко обняв напуганную Настю, которая одна в целом селе не спала, прислушиваясь к дыханию Ильи, приглядываясь к его усталому, бледному и изнуренному лицу, и при занимающемся рассвете думала многое, многое, повторяя про себя: «Ах ты, бедный, бедный! Завязал ты себе глаза от света божьего. Пропали наши головушки; пропала и моя доля навеки. Не видала я счастья; не видючи и в гроб лягу!» Но, кроме Насти, не спал еще один человек в Есауловке, именно флейтист Кирилло Безуглый. Как друга Ильи, его все теперь уважали, заискивали в нем. Он лежал на нарах в общей квартире музыкантов и думал: «Ишь ты, как Илья-то силы забрал. Князь тут, ждут станового, а он с Настей перешел себе в свою хату,

да и баста. Сила-человек. Попрошу его отнять Фроську у Рубашкина; и уж коли захвачу пропащую девку, забью до смерти. Пусть знает, как я люблю ее и как изменять мне!»

XVI

Бунт

На другой день есауловские крестьяне на работу не вышли. Десятский ходил по селу нахмуренный и для виду усовещивал всех. Он знал о ночном сборище крестьян за слободой и донес обо всем Роману, а тот князю. Князь и Рубашкин перепугались; посредник тоже погрузился в мрачное раздумье.

Становой в тот день не приехал, а явился на следующее утро, в праздник. Народ смутно прохаживался после обедни по улице. Не было слышно ни громких разговоров, ни песен. Даже дети не играли под хатами. Становой был тот самый юноша, который когда-то приезжал в Конский Сырт. Как у всякого другого станового, и у этого против новых мировых учреждений в душе уже было предубеждение. Рубашкин его сразу не узнал. Он пополнел, был смелее, ходил переваливаясь. Представившись князю, он сказал, что все эти волнения чепуха и что в его стане никогда не было, да и не будет более таких выходок со стороны черни. Выразился, что если господин посредник уже вспомнил его, то он сразу уймет толпу негодяев, опросил созванных сотских, узнал, что понятые из окрестностей еще с вечера готовы, и, добродушно покуривая трубочку, велел нарезать добрые пучки розог и привести ко двору Илью Танцура, а с ним и Кириллу Безуглого, по указанию приказчика, главных коноводов затеянного движения. «Кстати же, Илью еще подозревают в поджоге хутора Перебоченской и в разбитии с товарищами этапа под Ростовом, откуда он, вероятно, сам увел и дочку покойного каретника Перебоченской. Я его возьму-таки, отправлю в острог, а для внушения другим еще высеку при всех!»

Сотские кинулись исполнять приказания станового. Князь, Рубашкин и сам посредник вздохнули свободнее.

— Не лучше ли эту грустную экзекуцию произвести вам в другом месте, а не во дворе князя? — сказал Рубашкин становому,— знаете ли, как-то неловко; это напомнит былое... теперь не такая пора... надо оставлять исподволь старые привычки... притом же праздник, народ раздражен...

— Извольте-с! — весело ответил на все готовый юноша и, по совещании с Романом, приказал собрать виновных на барском хлебном току. Рубашкин еще до приезда станового послал к Саддукееву записку такого содержания: «Приезжайте скорее, прошу вас, к князю; останетесь, может быть, и ночевать у него; да захватите, кстати, мое ружье и пистолеты». Роман в новом сюртуке внес на подносах с лакеем закуску становому. В доме настала тишина.

— Не отложить ли лучше до завтра? — спросил князь Рубашкина,— народ, чернь, эти негры, может быть, перепились, набуянят вдвое, сделают насилие, сюда кинутся...

— О! помилуйте! — перебил становой, услыхав слова князя и осушая третью рюмку водки,— вот как я всыплю главным буянам по-нашему, знаете-с, по-былому, розог этак по триста, да при этом раза по два водой отолью, так вздор-то у них из головы выйдет...

— По триста! Mon Dieu[1],— шептал в ужасе по-французски князь, не покидая софы и греясь под кучею мягких клетчатых пледов.

— Им не впервые. Это не Италия-с, где Венеры купидонов на картинах алыми цветочками секут. Не бойтесь...— прибавил становой и громко рассмеялся.

— Люди готовы-с! — сказал Роман, показываясь в дверях.

— Идем! — решил становой и, проходя мимо Рубашкина, шепнул ему,— князь меня видит в первый раз; если все к вечеру будет как рукой снято, потрудитесь насчет благодарности.

— О, будьте спокойны!

Становой ушел.

В доме и во дворе стало еще тише. Князь, не изменяя положения, мрачно посматривал по зале. В голове его невольно мерещилась кроткая Генуя, его длиннобор-

---

[1] Боже мой! *(фр.)*

дый учитель живописи, сборы в Сиену и непобежденная копия ландшафта. Рубашкин подошел к окну, в которое было видно, как по улице к току бежали, вероятно, последние из запоздалых любопытных видеть разделку станового с ослушниками воли посредника. Даже наемный лакей не шел принимать со стола закуски, а стоял у крыльца и также напряженно посматривал за ворота.

— Я схожу взглянуть с бельведера в трубу! — сказал Рубашкин князю,— не видно ли этой картины оттуда? Только странно, что Саддукеев до сих пор не является. Не проедет ли он прямо на ток?

Рубашкин пошел наверх. Но как он ни наводил трубу с бельведера, тока не было видно: он был скрыт за церковью. Рубашкин спустился во второй ярус дома и стал ходить по комнатам, выбирая окно, из которого можно было бы видеть ток. Но отсюда ток был еще менее виден за верхушками деревьев. Адриан Сергеич снова спустился в кабинет, собираясь распечь князя за то, что главное место сельских работ у него не было видно из дома. На пороге кабинета явилась бледная и растерянная фигура: то был Саддукеев. За ним обрисовался на пороге Роман; на приказчике лица не было...

— Что вы наделали? — сказал Саддукеев, бросая шапку на стол и забыв даже поклониться князю,— ах, что вы наделали!

— А что? — спросил Рубашкин.

Саддукеев стал обтирать лицо.

— Я к вам бежал целую версту. Вы меня вызвали и не написали зачем; я увидел сборище людей на току и прямо туда подъехал. Спасибо вам, уж и удружили.

— Что же там? Пожалуйста, без обиняков,— перебил его Рубашкин.

— Что там? очень просто: бунт, да уж теперь, поздравляю вас, настоящий!

Саддукеев перевел дух и глянул на стариков: князь и генерал стали бледны как мел.

— Я подоспел туда, становой кончил уже угрозы и брань. Народ стоял между скирдами; понятые по бокам. Главные виновники впереди, то есть Илья, Кирилло и Власик. «Ну-с, а теперь розог!» — крикнул становой.

Понятые зашевелились. Положили прежде Власика и стали его сечь. Мальчишка молчал. Народ тоже молчал. Но когда становой приказал раздевать Илью Танцура, несколько голосов отозвалось: «Да за что же это? коли его сечь, так секите и всех нас!» Становой разгорячился, первого попавшегося съездил в зубы, крикнул понятым: «Взять Илью, положить и сечь!» Те было двинулись, а есауловцы на них. «Нет, стой, ребята! Тронете его, так и свои бока берегите!» Произошла свалка. Сперва народ напирал на понятых, потом сотских стали нажимать. Я все порывался было вперед, думая образумить станового: куда! Тот, весь красный, махал руками, ругался, наконец, схватил за грудь Илью, крича: «Ты разбойник, поджигатель, бунтовщик! в кандалы его!» Толпа ожесточилась. «Всех нас бейте! Всех нас режьте! все в Сибирь готовы идти, а Ильи не выдадим! Что мы за бунтовщики? Не тронь его, а не то и тебе не сдобровать!» Становой остановился. «Что стоишь, мерзавец! — спросил он Илью,— попался? теперь не уйдешь! Понятые не возьмут тебя, я возьму, меня не тронешь, я царский».— «Не смеешь, ваше благородие: не за что! ведь и я царский!» — ответил Илья. «В зубы его, сударь! — кричал сзади станового Роман,— своими руками я бы его придушил!» Илья оглянулся на отца и громко сказал: «Батько, берегись! ты вор: царя обворовал. Православные! али выдадите?» Становой обратился к понятым и сотским: «Если вы его сейчас не возьмете, вот вам бог — все в Сибири будете!» Но тут в толпе кто-то крикнул не своим голосом: «Не тронь его! Ребята! бей! на осину его, в колодезь! огня к барским хоромам!» Что дальше было, я не могу уже себе дать отчета...

— Упаси нас, господи, и помилуй! — простонал у дверей приказчик, утирая расшибленный висок,— конец свету пришел!

— Произошла невероятная свалка! — продолжал Саддукеев,— все перемешалось, и виновные, и понятые, и все село. Я отшатнулся с конем на поводу в сторону. Вдруг слышу возле меня баба орет: «Батюшки! станового бьют!» Я бросил и коня, кинулся вперед, силясь всей грудью протесниться. Толпа расступилась... Из средины ее выскочил в разорванном сюртуке и без галстука становой. Я не без страха подошел к нему. Прошло одно мгновение. «Спасите меня! — шепнул он, ища фураж-

ку,— тут надобно войско...» Я указал ему мою лошадь. Он быстро вспрыгнул на нее, толпа не успела опомниться, и он ускакал, куда? я и сам не знаю; вероятно, в стан, с целью известить обо всем губернатора...

Князь вскочил с софы. Пледы разлетелись по ковру.

— Это ужас, ужас! На станового подняли руки! Мы пропали! О боже, что нам делать? Посмотрите, не идут ли они сюда! Люди, Роман, смотрите в окна, запирайте двери, ворота, ставни...

— Оружие мое привезли? — спросил Саддукеева Рубашкин.

— Извините, не взял; я не ожидал такого исхода дела. А впрочем, располагайте мною; я готов идти уговаривать народ. Но извините меня, господа, более вы сами виноваты. Господин посредник обиделся упорством сходки, не выждал, послал за полицией; вы сами, князь, не пошли на сходку, где одно присутствие ваше...

— Ну, уж извините! Благодарю вас за совет. Жизнь мне дороже, и я предпочитаю на ваш либерализм смотреть издали...

— А я с господином Саддукеевым совершенно согласен! — сказал со вздохом посредник,— я сделал ошибку и, кажется, неисправимую. Нечего делать: надо требовать войско. Становой тоже, вероятно, напишет об этом. Пожалуйте бумаги.

— Войско? — спросил Саддукеев,— да пустите меня к народу; дайте им успокоиться сегодня, а завтра я готов с ними говорить...

— Э, милый мой,— сказал Рубашкин,— делайте свое дело в Сырте и не мешайтесь здесь.

Саддукеев вспылил и долго еще говорил с посредником.

Посредник задумался, взял перо и долго не решался писать к губернатору.

— Если вы не напишете, мы напишем! — сказал ему сухо Рубашкин, и он стал писать.

В ночь с пакетом посредника в губернский город поехал сам Роман Танцур.

— Мне больше нечего тут делать пока! — сказал посредник и, печально раскланявшись, также уехал.

Рубашкин остался снова ночевать у князя, а Роману посоветовал заехать к Перебоченской и также ее пригласить к князю, как ближайшую соседку, разделить в дружеской компании общую участь.

Губернатор, получив пакеты от станового и посредника, обратился за советами к Тарханларову. Бывший советник, а теперь вице-губернатор, Тарханларов, прочел рапорт станового со словами: «Мне сделали насилие, изорвали на мне мундирный сюртук, даже нанесли мне побои, и я едва ускакал верхом на лошади управляющего Сырта»,— вспомнил и свой подбитый когда-то висок и запорошенные глаза, отдал обратно губернатору бумаги и сказал:

— Да! этот парень, Илья Танцур, был когда-то надежен... а теперь... теперь точно, ваше превосходительство, надо послать туда военную экзекуцию. Волнение растет.

В Есауловку был назначен к выступлению эскадрон драгун, квартировавший в сорока верстах оттуда.

— А если и это не поможет, я сам туда поеду,—сказал губернатор,— и вперед пошлю артиллерию.

События между тем быстро шли своим чередом.

Прошло три дня после отъезда станового и посредника.

На тройке обывательских прискакал в Есауловку исправник, призвал стариков, выборных и сотских и сказал: «Наконец-то я до вас опять добрался! согласна ли деревня выдать зачинщиков» и, получив отрицательный ответ, прибавил: «Так не прогневайтесь же! завтра будет войско! я вам припомню и понятых у Перебоченской, и все старое!» — и опять ускакал.

Народ начал тревожиться, сходиться кучками. В окрестные села и обратно скакали лощинами и окольными проселками за буграми верховые. В Авдуловке, в Карабиновке и в других особенно забористых хуторах, где проживали старые бродяги Гриценко и Шуменко, происходили шумные сходки. Содержатели одиноких постоялых дворов на большой дороге в город стали задумываться о безопасности своих бочек; крупные побранки и смутный говор жалоб и всяких похвалок слышались в шинках, на перекрестках и на базарах.

Вслед за Романом, который привез князю утешительные вести из города, в княжеский дом явилась в трауре Перебоченская. Князь ее давно не видел и сразу не узнал. Рубашкин, гордясь дружбою князя, по случаю нездоровья его сиятельства, взялся хозяйничать в есауловском доме и угощать ту самую барыню, которая год назад чуть его собственноручно не поколотила на первом его знакомстве с провинцией. Дом князя принимал все более и более торжественный вид. Перебоченская, войдя, объявила, что в ее хуторе обокраден кабак.

Есауловцы между тем сменили выбранных весною своих старшин и поставили головою Илью, а его помощником Кириллу Безуглого. Вечерами они и многие из окрестных сел сходились к Илье на советы.

— Что нам делать? — спрашивали они.

— Будет чистая воля, а это все обман. Батька мой денег наделал, так и скрыл с князем настоящие бумаги.

— А войска? Слышно, на нас идет и конница и пехота.

— Исправник только так грозит. Не за что нас бить.

— То-то, ты уж, Илья Романыч, того, подумай, как нам себя спасти!

Снова прошел день. Любопытство со всех сторон напряглось еще сильнее. Князь опять сидел, укутанный пледами, и молча посматривал на голубой штоф залы, на амуров и муз на потолках, на раззолоченную мебель и на разноцветные стекла окон.

«В Италию бы опять, в Италию, — думал он, — да дела надо уладить с этими скотами; денег мало будет!»

Перебоченская охала и все шепталась с Рубашкиным, поглядывая в окна, не идут ли на них крестьяне.

По условию, перед вечером следующего дня из-за Малого Малаканца снова прискакали в Есауловку исправник с рассыльными и письмоводителем. Уезд и прежде прославлял его за умение подавлять вспышки черни без дальних проволочек. Едучи по Есауловке, он встал в тарантасе, завидел толпу парней, почтительно скинувших перед ним шапки, вытянулся и, грозя кулаком, весь в дорожной пыли, крикнул, едучи:

— Всех вас, подлецов, в Сибирь! всех запорю!..

Есауловцы пуще прежнего бросились советоваться с Ильей. Его двор окружили правильною стражей. Роман на каурой кобылке метался между барской усадьбой и Сыртом.

Хата на Окнине, мечта и счастье Ильи Танцура, стала шумным притоном нескольких сот разгоряченных и отуманенных страхом, незнанием дела и негодованием, голов. С бельведера дома находчивый Рубашкин, князь, барыня и гости стали на нее наводить подзорную трубу, восклицая:

— Видите, видите? Опять к нему идет толпа; с фонарями ходят. Вон, это, кажется, он вышел, что-то опять говорит, все слушают...

Стемнело. Село затихло. По улицам точно кто метлой смел обычных гуляющих по вечерам. Огни в окнах светились только кое-где. Опустела и хата на Окнине. У двора Ильи, боясь его ареста, сменялись только сторожа. Илья Танцур остался в хате с Настей.

— Прощай, Настенька! — сказал он, — бог не дал счастливо с тобой пожить. Погубила нас доля да мой отец. Войско, слышно, идет... Куда-то меня денут? Напрасно я шел так далеко за тобою, отбил тебя от конвоя. Коли узнают откуда как-нибудь, что это я все сделал, погорячился, так мне еще хуже будет; веры ни в чем не дадут. Вон надо на бумаге про все написать, как отец с Перебоченской фальшивыми ассигнациями разбогатели. Поджег я Перебоченскую, уцелела проклятая; ушлют меня за народ, так хоть чем-нибудь доеду ее и батьку.

Настя тихо плакала, сидя на лавке.

— Илюша... оставь эти дела... И так мы в грехе живем... бросим Есауловку... Сейчас же уйдем навеки, с глаз отсюда долой! Илюша! Ты же хотел в Молдавию, к тому трактирщику, помнишь?

— Поздно, Настя. Теперь за мир надо постоять. Отца-то моего, отца-изверга, да и эту барыню под ответ бы подвести. Они изверги, а я не повинен ни перед кем. Одно только: у того деда Зинца я силой взял денег, как шел тебя отбивать. Ну, да я ему ворочу вдвое; у меня вон такой же старик было коня украл, а отдал. Кончим тут дела с миром, уйдем... Бог с ними, с этими местами: тогда с Зинцом расплатимся. А теперь давай перо, бумагу,

напишу еще сам про отца и про Перебоченскую; меня возьмут, ты отнеси мое письмо к самому губернатору. Слова мои докажут еще тот барин Хутченко, Фроська и Палашка: грек все разыщет. Лишь бы не отперлись.

Илья сел писать. Настя сидела сбоку и смотрела на него. Голова у ней часто кружилась, в груди сосало. За день перед тем она сказала Илье, что чувствует себя беременной.

— Постой, кончим все, добьемся правды; пойдем к отцу Смарагду. Он тут за сто верст опять на приходе и вовсе к раскольникам не передавался; место лучшее нашел. Он нас отмолит у бога и перевенчает.

Илья кончил письмо и отдал его Насте.

— Спрячь за пазуху.

Настя опять кинулась ему на шею.

— Илюша, голубчик! Убьют тебя, коли в Сибирь не сошлют... На кого ты меня бросаешь? Илюша! Не пожили мы с тобою! А год-то назад, в Ростове? Ночи, Илюша? Наш двор? Улица? Наши прогулки, как я тебе стишки читала? Илюша, оставь эти дела; убежим, нас скроют.

Настя билась на груди Ильи и страстно, судорожно его обнимала. Плошка в хате чуть теплилась. Валетка во время второго побега Ильи пропадала без вести, а тут опять явилась. Сверчок где-то трещал под лавкою.

— Как тебе, Настя, сказать. Мне что-то вовсе не страшно, как подумаю! Что я сделал, чем повинен? Меня становому сечь не дали. Да ведь так теперь и сказано. Не может быть, чтоб за правду истязали нас, ссылали. Что, в самом деле, куражится исправник? И на него есть управа. Да хоть бы и войска. Вряд ли еще их и пошлет губернатор. Нас только стращают. А меня знают, Настя, и в губернии. Тот чиновник-грек, как заезжал сюда, хвалил меня при всех. Я за правду стоял тогда на следствии; меня подкупали и отец и барыня отказаться от моей подписи на бумагах; я не послушался. Чем же я еще провинился? Народ смущаю? Да ведь меня выбрали! ну, мир приказывает, я и говорю. Не будет войска; душа моя чует, что не будет.

С надворья кто-то с силой стукнул в окно. Настя вскочила... Вошел Кирилло с Фросей.

— Как, и ты, Фроська?

— Одумалась, бросила генерала; я и не бил ее.

— Илья, пропали мы! — сказал, входя вслед за тем, десятский.

— Что такое?

— Войска вступают в Есауловку; сабли за околицей звенят, кони в потемках храпят; сам я у винокуренного завода слышал и побежал к тебе сюда. Народ опять собирается.

— Да это и впрямь по нас стрелять будут? — спросил Кирилло.

Илья, Настя, Кирилло, Фрося и десятский опять поспешно вышли на улицу.

На дворе не было зги видно. Мертвая тишина кругом. Вдали за Лихим, со стороны Конского Сырта, отдавался переливистый лай собак; войска вступали впотьмах через мост оттуда.

Послышались шаги на улице. Кто-то быстро бежал и с размаху наткнулся на десятского.

— Тише, разобьешь!

— Нешто стеклянный стал? Довольно побарствовал: служи теперь и нам.

— Кто идет? — спросил Илья.

— Илья Романыч, идите за околицу войско встречать: мир зовет вас и помощника. Все уже готово: стол и хлеб.

— Кирюша, пойдем! — сказал Илья,— ты ведь мой помощник.

— А баб куда девать?

— Настя, воротись в хатку и возьми к себе Фросю. Эх, Фрося, Фрося! продала было ты нас, да хорошо, что одумалась. Не такая ты была прежде; помнишь голубятню?

— Илья Романыч, голая я ходила у барыни; опять же Кирюшу в острог сажали. А я вам по гроб жизни благодарна, и теперь уж моего душеньку Кирюшу ни на кого не променяю.

— Ну, иди же с ней, Настя; знакомьтесь!

Фрося и Настя пошли переулком опять на Окнину.

Два эскадрона драгун, сделав на рысях несколько переходов форсированным маршем, подоспели в Есауловку к сроку, назначенному губернатором и Тарханла-

ровым. В княжеском доме не успели узнать о приближении команды, как передние шеренги драгун уже показались в околице Есауловки.

Старший дивизионер, полный и добродушный майор Шульц, бывший прежде не раз по соседству с Есауловкой на охоте, в самой Есауловке на охотничьем перевале у отца Смарагда, ехал впереди. На улице впотьмах перед ним нежданно обрисовалась густая толпа народа и что-то белое среди нее.

— Что это? — спросил озадаченный Шульц, останавливая коня.

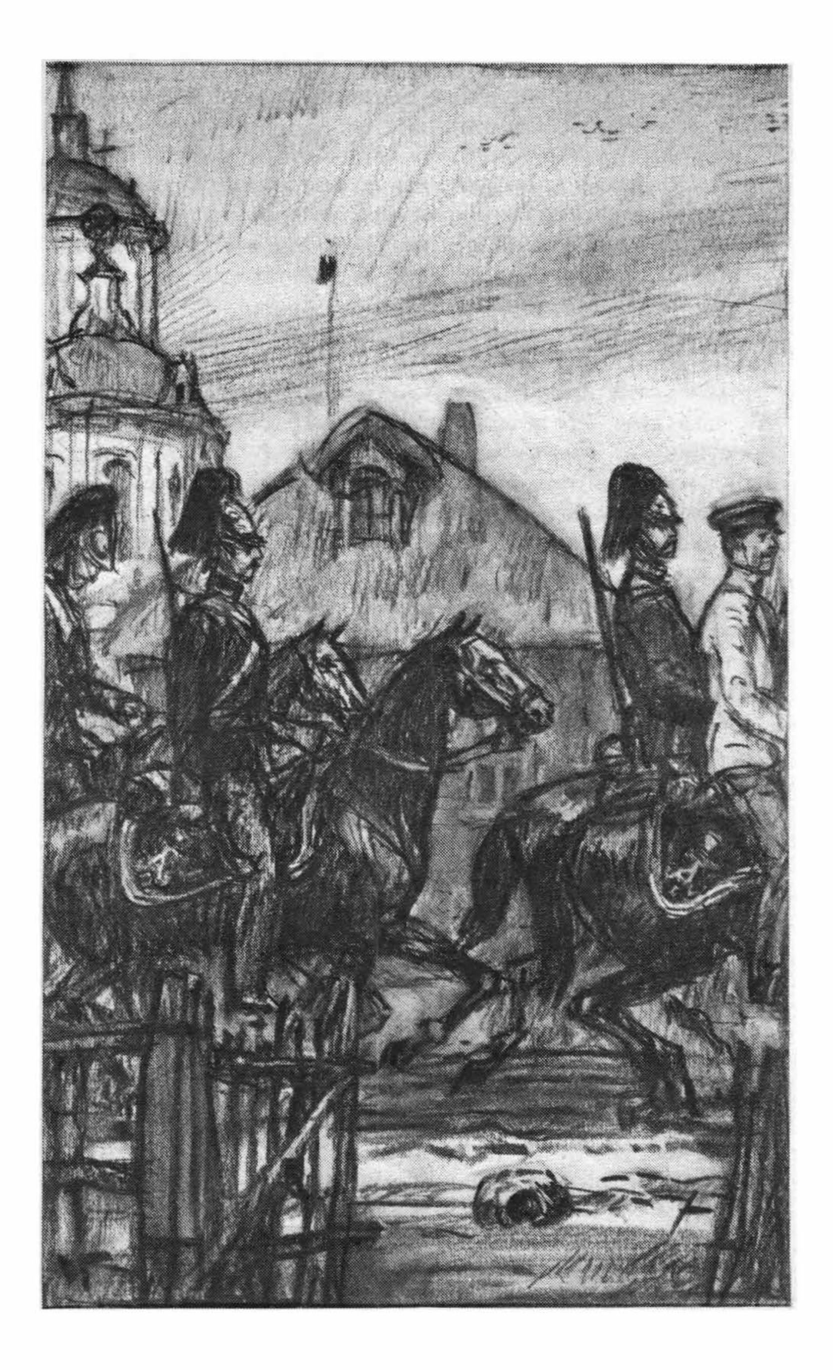
— Святая икона и хлеб-соль вам, отцы родные, слуги царские! — ответило несколько голосов впереди крестьян, в том числе и Илья Танцур. Среди улицы стоял наскоро покрытый скатертью стол, на нем икона. Старики поднесли дивизионеру хлеб-соль. Он оглянулся: солдаты сзади, сняв кивера, крестились. Перекрестился и он.

— Спасибо вам, братцы! — сказал весело Шульц,— встреча ваша христианская; только и вы по-христиански поступайте. Идите по домам и ждите приказаний начальства. Исправник тут?

— Тут. Слушаем, батюшка! Слушаем, ваше высокоблагородие! Мы вас знаем; не раз видели. Не обидьте нас.

Эскадроны тихим шагом стали вступать в Есауловку. «Что за странность? — подумал Шульц, приятно предвидя близкий отдых от ускоренного неприятного пути,— извещают о бунте, а крестьяне встречают нас такие покорные». Конь под майором отрадно храпел и фыркал, чувствуя скорую дачу овса. Шульцу также рисовался в уме вкусный ужин у князя. С другого конца села влетел с колоколами в то же время становой. Он верно рассчитал срок прихода войска и ехал теперь спокойно. В окнах княжеского дома замелькали огни. В пространные пышные горницы вступило еще несколько помощников Шульца, все молоденьких офицеров. Тут же откуда-то вынырнул и французик Пардоннэ с красным носиком, сахаровар князя. Компания составилась большая. Подали закуску перед ужином.

Исправник и становой узнали между тем от молодых офицеров о встрече крестьянами войска с хлебом и солью и вспылили.



— А вам-таки наше мужичье и демонстрацию сделало? — спросил исправник флегматического дивизионера.

— Какую?

— Будто не понимаете? Жаль, что меня там не было!

— Сотских! — крикнул нарочно во все горло исправник, выйдя со становым на крыльцо.

Сотские, стоявшие тут же, подошли.

— Теперь уж розог! Да побольше! — возгласил с крыльца еще громче исправник, — сейчас отправиться в соседние байраки и привезти оттуда по крайней мере три воза розог, да самых добрых! Слышите?

— Слушаем.

В полночь по Есауловке проехали к барскому двору три воза розог. Мужики всю ночь напролет не спали и видели это. Зато мирно уснули усталые солдаты, господа офицеры, полиция и князь с гостями. Перебоченская избрала себе для ночлега бельведер.

Давно рассвело. В гостиной еще спали вповалку все гости. Вошел приказчик Роман и тихо тронул за плечо генерала.

— Что тебе? — спросил из-под одеяла Рубашкин.

— Вся деревня-с, все мужики, забрали до зари баб, детей и стариков и с возами, имуществом и скотом выступили в поле. Табор протянулся большущий. Отец Иван их уговаривал, не послушались. Был бы отец Смарагд, наверное, их уговорил бы. А мы с конюхами с колокольни на все смотрели в поле.

— Куда же это они выступили?

— Сам не знаю-с. Посылал я это вскоре после верхом верного лазутчика по кабакам тут поблизи узнать. Так он догнал их уже за Авдулиными буграми. Они стали там, между Емелькиными Ушами и Горбами Стенькиными, в долине лагерем и говорят, что пусть их перебьют, а они в Есауловку более не воротятся, Илюшки не выдадут, бумаг никаких не подпишут и уйдут за Волгу, в Киргизскую орду, на вольные степи. Окружились возами, ходят с косами, с топорами; бабы, дети и все добро их внутри табора, а у иных и ружья в руках. К ним пристали уже кое-кто из авдулинцев, хуторские разные. И коновод над всеми иродово отродье, мой Илюшка. Ходит в красной рубашке промеж возов и всем заправ-

ляет. К вечеру ждут еще подмоги из Карабиновки, хотят опять сняться и переправиться за Волгу против Емелькиных Ушей. Карабиновский помещик уже в город уехал с детьми.

— Слышите? — крикнул Рубашкин и вскочил.

Все спавшие также проснулись. Нежданные вести о выступе есауловцев всех изумили. Поднялись десятки предположений. А на бельведере гости нашли Перебоченскую уже у подзорной трубы. Она указывала костлявыми пальцами вдаль и предлагала всем смотреть в трубу, в которую действительно ясно был виден вдали верст за десять, между зеленых холмов, в долине, лагерь крестьян, уставленный возами. Среди его дымились костры. Кое-где в поле мелькали отдельные пешеходы.

XVII

Белая Арапия

Исправник сказал: «Надо, господа, действовать, а иначе завтра уже будет поздно. Другие слободы могут соединиться с есауловцами; может быть, у них заранее припасено и оружие, тогда наши два эскадрона с ними не справятся. По рапорту станового, губернатор мне дал самые строгие предписания. Время смутное. Прикажите, майор, седлать лошадей, пока мы еще потолкуем».

Поглаживая черные громадные бакены, Шульц поклонился, вышел и сделал нужные распоряжения. Перебоченская покинула бельведер, распустила розовый зонтик, взяла палочку и пошла на улицу.

— Смотрите же, голубчики, солдатики, эскадрончики, не выдайте нас! — лепетала она, обходя кучки солдат,—уж коли велят покорить бунтовщиков, так покоряйте как следует.

Вахмистр отдал приказание майора. Солдаты стали выводить и седлать лошадей. Возле церкви, у ворот священника, у значка ходил часовой. Там и здесь стояли сложенные в козлы ружья. Вышли на улицу из княжеских ворот, в белых чистеньких кителях, в новеньких фуражках и с новыми часовыми цепочками на груди

молодые офицеры. Заложа руки в карманы брюк и изредка раздавая приказания от себя, они стали тихо прохаживаться вдоль улицы, рассматривая церковь, опустелые хаты и дворы. Отец Иван, позванный к князю, сумрачно с дьячком пошел в дом. Исправник с сигаркой вышел к офицерам, поболтал с ними и опять озабоченно ушел в дом, прибавя шепотом: «Однако же, господа, вы примите меры, чтоб у всех солдат ружья были заряжены как следует. Может быть, придется... ведь дело нешуточное... пять сел взбунтовалось...»

Офицеры взялись под козырьки и проводили исправника, с которым все были знакомы и не раз играли с ним в карты, словами: «Слушаем-с! Только насчет грозного боя напрасно пугаете. Все кончится пустяками; этого Илью нам выдадут головой; ему и его приятелям вы припишете к вечеру ижицу, есауловцы вернутся домой, князь на радости задаст им пир, а вы должны нам устроить здесь завтра же охоту на лисиц и волков: говорят, в байраках здесь их тьма».— «Шутите, шутите. Вы еще не знаете русского мужика. Это тот же зверь лесной. Не побьешь, он тебя побьет!»

Между тем исправник, при первой вести о самовольном уходе есауловцев из села, послал новый рапорт губернатору с своим рассыльным казаком. В рапорте он говорил, что, вероятно, для спокойствия вверенного ему уезда придется прибегнуть к оружию, но что он постарается еще раз лично отнестись к крестьянам и уговорить их воротиться по домам, и прибавил: «Бунтовщики стали табором в Терновской долине. Их шайка увеличивается из окрестных деревень. Я сделал обыск в избе Ильи Танцура и полагаю, что этот бунт имеет основою и воспоминания о Стеньке Разине. Притом же ходят в народе еще слухи о некоем гетмане Загребайле, в имени которого нельзя не угадать происков Гарибальди. Для блага уезда и края я полагаю и надеюсь взять сегодня же из этой толпы Илью Танцура силою и препроводить его на суд к вашему превосходительству. Солдаты рвутся исполнить долг чести. Заболевших во вверенном мне отряде не имеется. Исправник Тебеньков».

Князь Мангушко с утра, от нового волнения, озяб и, сев на софу, окутался, да так и не вставал. Кругом его говорили, ходили, спорили, курили. Он молча то подни-

мал, то опускал белые пушистые бровки, жался более и более в глубь софы, в мягкие гарусные подушки, и повторял про себя: «То ли дело Италия, Генуя, Сиена! Море, живопись, цветы!» Рубашкин также как-то осунулся и обрюзг. Перебоченская шушукалась с отцом Иваном. Французик Пардоннэ не присутствовал. С утра он вдруг почувствовал расслабление в желудке и, забравшись в контору к Роману, улегся на его постели, а Ивановна, охая о сыне и опять сильно выпив, ставила ему на живот припарки.

Молодые офицеры, застегнутые на все пуговки, сидели молча, напряженно, по стульям. Один дивизионер, флегматический и толстый майор Шульц, добродушно смотрел на все происходящее и от нечего делать то расчесывал гребешком свои громадные черные бакены, то раскачивался на стуле и думал: «Экие шуты гороховые! И из-за чего они в набат бьют, создают неведомые страхи. От наших мужиков ждут теперь разиновщины! Дурачье! Я убежден, стоит только выдвинуться, построиться, скомандовать «заряжай» — и все кинутся врассыпную...»

— Вы, кажется, майор, не разделяете моих убеждений? — спросил его исправник.

— У вас инструкции; мы же должны исполнять волю начальства и не рассуждать.

Положили сперва попробовать последнюю тихую меру: отрядить к бунтовщикам парламентеров.

— Какая досада,— сказал Рубашкин,— мой Саддукеев бог весть из-за чего с вечера вчера ускакал в город, даже без спроса взял моих лошадей и тарантас. Или он письмо какое получил, или так. Вот был бы парламентер: он мастер говорить с народом, и его любят.

— Не по хорошему мил, а по милу хорош! — перебил его исправник.

Парламентеры, однако, поехали за Авдулины бугры. Это были: исправник, Рубашкин, отец Иван и два офицера. Священник поехал на беговых дрожках, остальные — верхами. Генерал и исправник взяли в карманы по револьверу. Когда их кавалькада скрылась за селом, Перебоченская подошла к Шульцу.

Эскадроны стали строиться у церкви. Перебоченская объявила, что теперь не слезет с бельведера и будет

следить за всем в трубу. Роман опять сел на каурую кобылку, опять заметался по селу, ускакал в поле, взъехал на бугор и стал смотреть.

Парламентеры ехали скоро мимо зеленых лугов и холмов. Дичь и глушь в эту сторону были особенно суровы и пустынны.

В десяти верстах от Есауловки, в Терновой долине, обставленной со всех сторон новыми высокими буграми, на площадке обрисовался лагерь есауловцев. Парламентеры остановились на окраине последнего отвесного холма, шагах в пятистах от бунтовщиков, бывших под их ногами в долине.

— Да! — сказал Рубашкин, вынимая карманный бинокль,— подлецы ловко стали! Из возов устроили правильное каре. Скот, имущество и дети внутри, а они на часах по краям... Смотрите, действительно косы, топоры, дым; костры разложили, есть варят!..

— Проголодались, бестии! — прибавил исправник,— эх! кабы артиллерия! Вот картечью-то брызнуть бы в мерзавцев; как овцы кинулись бы врассыпную.

— Вон, должно быть, сам Илья Танцур! — сказал офицер, взяв бинокль у генерала,— я догадываюсь, что это, верно, он; только вовсе не в красной разбойничьей рубахе; вон посреди лагеря стоит, будто распоряжается, рослый такой, окружен всеми...

— Ах ты, варвар, шельмец! — крикнул Рубашкин,— и в самом деле, он, узнаю его; он еще в Сырте мне помог. Как люди-то меняются!

В лагере между тем тотчас заметили появление господ на окраине холма. За полчаса перед тем только кончилось укрепление первого становища табора. В числе нескольких сот взрослых тут было человек восемь с охотничьими и солдатскими ружьями. Старики Гриценко и Шуменко привели к табору своих хуторян и стали одними из главных помощников Ильи.

— Да, теперь мужик не дешев стал, теперь вздорожает! — говорил Гриценко, несмотря на свои годы, хлопоча у постановки лагеря. Он знал, как здесь некогда жители отбивались от татар, и взялся руководить устройством первого стана. С шутками и со смехом все принялись уставлять по его указаниям кругом себя возы. То там, то здесь раздавался плач детей, вой и причитыванье баб. Но мужчины храбрились.

— Лишь бы нам за Емелькины Уши пробраться да на перевозе за Волгу уехать. А там уже степями уйдем. Отчего не уйти? Кто остановит? Тут сейчас пойдут царские земли, а не пустят туда, далее уйдем.

— Куда же вы уйдете, беспутные? — причитывала, кашляя, одна старуха,— ой, переловят вас всех, перевяжут и пересекут.

— В Белую Арапию, тетка, уйдем, коли так!

— Да вы сдайтесь, беспутные! — голосила старуха, сидя на опрокинутом бочонке,— ну их! жили, жили, а теперь броди по свету нищими. Ну куда вы затеяли, в какую такую это Белую Арапию? Где она?

— На вольных землях за Астраханью, где рай житье, на речке Белорыбице.

— Да вы меня послушайтесь, ребята! Муж, покойничек-то мой, на эту Сырдарью ходил. Ну... тьма-тьмущая народу тогда тоже было поднялась. Ну... не доходя этой Сырдарьи, и переловили, воротили да и дали каждому на дорогу по сту розог, а придя домой, опять по сту, да еще в оба раза и обобрали. Так-то и с этой, с Белой Арапией, вам на сиденьях будет. Покоритесь, ох, воротимся; вон скотинка целый день не емши стоит, детям побегать, побаловать негде. Куда вы наши старые кости волочите? Не дождаться нам той воли во веки веков.

Поднялись было крики других баб. «Чем вам отбиваться, безумные? Их сила, а вы? Куда вам против господ идти».

— Мы вольные теперь! — отозвался Кирилло,— идем, куда хотим, коли тут теснят, истязают, вот что...

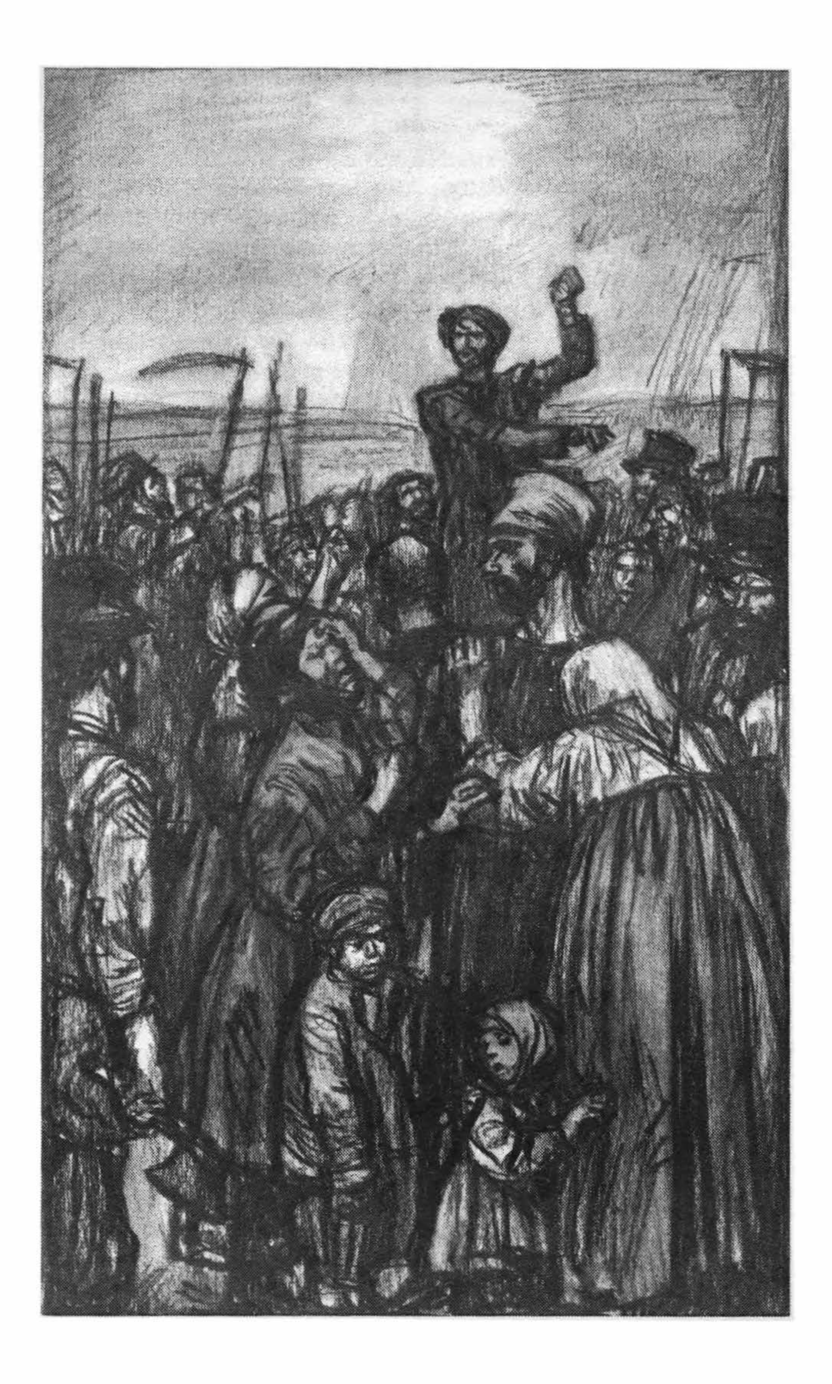
— Бабам глотки заткнуть! — крикнул Гриценко,— а не то Волга недалеко, придем перетопим всех, кто трусит.

— Идти назад! — закричали одни.

— Идти вперед, сниматься! Сниматься опять, в поход! — закричали другие.— Илья, приказывай!

— Как мир скажет, так тому и быть,— отозвался Илья,— я вам, православные, не сказ!

— Да нет... да ты, Илья Романыч, сам скажи, как думаешь. Сам, ничего; вона еще их слушать! — заговорили десятки голосов,—оно, конечно, мир главное... Кто против мира? Однако же скажи и ты.



— Что православные! Надо отбиваться и идти вперед. Тут милости теперь не жди; как мух, нас теперь передушат дома.

— А идти, так идти! Поднимайтесь, братцы, запрягай возы, выезжай. Гайда, вперед! Эка невидаль!

— Какие войска! — заговорил кто-то,— то не войска, ребята, то обман опять! Выжига-исправник савинских понятых переодел, а городские чиновники офицерами переоделись. Ей-богу, так! Эка, пугать...

Толпа загудела и разделилась на две стороны. Одни настаивали идти вперед, другие — воротиться.

— Да вы слушайте. Переберемся через Волгу, к нам пристанут другие села. Вон асеевцы, зеленовцы, головиновцы присылали спрашивать, приставать ли к нам?

— Нет, ребята! — перебил Гриценко,— даром мы на старости лет воротились из бегов. Мы воли чаяли. А где она! Аль опять нам в бродяги идти, разбежаться по волчьим билетам с холоду да с голоду?

— Ой, воротитесь, безумные да беспутные! — голосила баба на бочонке,— не сносить вам головушек! Эки прыткие какие, в Белую Арапию! А где она, вольная-то Арапия? На том свете только и будет нам волюшка, братцы, в могиле, вот что!

— Ой, не голоси, тетка, кишки выпустим!

— Вперед!

— Назад!

— Где капиталы у нас? С чем идти?

— Бог поможет!

Илья вскочил на воз, замахал шапкой и стал кланяться. Все затихли.

— Братцы, православные! Назад нам не идти более. Что бог даст, пойдемте далее. Войска тронут — отбиваться до последней капли крови.

— Отбиваться, отбиваться! — закричали все.

— Все теперь согласны?

— Все, все!

— Выходите же опять далее, запрягайте возы, а стрелкам идти по бокам!

Гул и шум усилились. Все кинулись снова запрягать возы. Небо перед тем нахмурилось. Стали сбегаться тучки. Ветер подул. Дождь было закапал и перестал.

Тут на обрыве косогора появились над долиной господа парламентеры. В лагере их сразу заметили, озадачились, стихли мигом и стали переглядываться. Исправник что-то сказал отцу Ивану. Священник замахал с обрыва платком.

— Цытьте, цыма-те! — загудела толпа в лагере,— поп о чем-то сказать хочет.

— Что вам, батюшка? — спросил из толпы Илья.

— Вас надули, ребята, образумьтесь! — начал отец Иван с обрыва,— воротитесь, только с уговором: выдайте зачинщиков исправнику — Илью, Кириллу и десятского.

— У нас нет зачинщиков, мы все зачинщики! Коли брать силой нас, берите всех!

— Илью Танцура с товарищами выдайте!

— Не выдадим, не выдадим! Мы все зачинщики! — ревела внизу толпа.

— Бога вы не боитесь, образумьтесь! По вас стрелять будут!

— Не выдадим, не выдадим!

Священник вынул крест из-под рясы и, подняв его над головой, пошел по откосу обрыва к лагерю.

— Нейдите, батюшка! — крикнул вдруг Илья,— нейдите, сами не продавайте бога!

— Выдайте его, ребята! — сказал опять священник, не переставая идти с крестом над головой.

В лагере настала мертвая тишина.

— Убью, батюшка! — крикнул Илья и поднял ружье. Исправник кинулся к священнику и остановил его.

— Нейдите, отец Иван, довольно. Тут все надежды потеряны.

— Да их бы так пустить идти! — сказал офицер,— пусть бы себе шли, ведь далеко не уйдут! А пыл остынет.

Исправник с злобной иронией взглянул на офицера.

— Какие вы, господа, я вижу, еще дети. Стыдились бы говорить! Не видите вы, какие это звери?

Офицер покраснел, замолчал и стал в бинокль опять разглядывать лагерь. Исправник выступил вперед, покричал, погорячился, погрозил и, наконец, объявил, что, если бунтовщики сейчас же не выдадут Ильи, Кириллы и десятского, он уезжает, явится с войском, и тогда уже им пощады не будет.

В это время сзади его на холму раздался скач лошади. Парламентеры оглянулись: ехал на каурой кобылке

приказчик Роман. Не доезжая шагов за десять до исправника и других господ, он остановился. Кафтан на нем был расстегнут, седые волосы развевались от ветра, лицо было в поту. Разгоряченная скачем лошадь не стояла на месте под ним.

— Так вы не сдаетесь? — закричал Роман бунтовщикам, кружась на лошади и стараясь подогнать ее к окраине обрыва,— так вы все слушаетесь этого подлеца, Ильюшки? Ильюшка, будь ты проклят за все твои дела! Слышишь? Покорись, собака! Не обижай господ, не мути людей. Идите все вы, сорванцы, к князю и просите прощения! А ты, собака, Илья, будь проклят!

— Коли так, батько, коли ты гибели, моей крови захотел, так знайте меня! Православные! более не сдаваться! Пусть нас бьют, режут, секут саблями! Мы свое дело отстоим! Все ляжем, а не сдадимся. Но с тобой, батько, у меня другие счеты...

— Какие счеты, подлец?

— Ты нажился фальшивыми бумажками, царя обокрал с той барыней, людей своих истязал, погубил отца моей невесты, скрыл волю от всего села, князя подговорил земли нам не давать и вызвал суд и войско на нас. Бог меня с тобою рассудит за твою клятву, а я тебе конец положу своими руками. Я тебе не сын, а ты, христопродавец, мне не батько!

С этими словами Илья схватил ружье, приложился из лагеря в отца, и выстрел грянул.

Исправник, Рубашкин, священник и офицеры в ужасе отшатнулись. Дым рассеялся. Роман скакал обратно в Есауловку. Илья промахнулся. Парламентеры вскочили на лошадей и поскакали также обратно. Через час бунтовщики двинулись далее. А в терновую долину из-за Авдулиных бугров стали показываться первые шеренги идущих из Есауловки драгун.

— Залп по ним, залп без рассуждений! — шептал между тем Рубашкин майору Шульцу, едучи возле него также верхом. А Шульц, поглаживая громадные черные бакены, лениво и стройно покачивался на молодцеватом, бешеном и раскормленном вороном коне.

Но вернемся еще раз в губернский город, куда уехал нежданно Саддукеев.

Слухи о происшествиях в Есауловке и вообще в том уезде сильно одолевали губернатора. С утра он велел

никого не принимать, полагая заняться вплоть до обеда петербургской перепиской. В тот день отходила почта. Суета затихла. Кого-то лакей и дежурный чиновник с успехом выпроводили. Было часов восемь утра. Окно кабинета было в нижнем этаже дома. Под окном послышались шаги и сердитый голос: «Тьфу ты, Полинезия проклятая! Да тут не сто лет, не тысячу, а две тысячи надо прожить, чтоб добиться толку в любезном отечестве!» Губернатор кинулся к окну и из-за шторы узнал взъерошенную и разобиженную фигуру Саддукеева. Губернатор вспомнил, что этот оригинал по выходе из гимназии был управителем у Рубашкина, значит, соседом князя Мангушки по Есауловке, куда пошли войска, и что-то сказало ему, что недаром чудак к нему ломился и спорил с лакеями. Губернатор быстро открыл окно, перевесился на улицу, завидел Саддукеева уже вдали и подозвал его.

— Что вам угодно, господин Саддукеев? Вы были у меня? Извините, я занят...

— Ах, боже мой!.. Но вы принять меня должны, должны, ваше превосходительство, если не желаете сделаться... притчею во языцех! Извините ради бога за выражение. Я вне себя... Полиция, исправник готовы сделать в Есауловке ничем не поправимое преступление...

Губернатор иронически улыбнулся.

— Ну-с? Что же там за чудеса готова сделать моя полиция?

— Минуту времени!

— Пожалуйте, войдите ко мне.

Саддукеев опять ввалился в сени и в приемную, скинул пальто, толстые замшевые перчатки, ткнул оторопевшему чиновнику в руки дорожный синий зонтик, быстро застегнулся и устремился к кабинету. Губернатор сам отпер ему дверь в кабинет.

— Говорите, не стесняйтесь! — сказал губернатор как можно спокойнее.

Саддукеев наскоро передал губернатору обо всем, что произошло в Есауловке, как выезжал посредник, потом становой и как становой сам был причиной нанесенных ему неприятностей. Он клялся и божился, что преступники в Есауловке не крестьяне, а сперва посредник, потом исправник и становой, что они выдумали и раздули ими самими произведенный мятеж

народа против властей. Тут же он изобразил трусость Мангушки и Рубашкина, которые увидели в этом что-то чудовищно грозное и кровавое, и заключил словами: «Этот мнимый бунт — только продолжение той же истории о торговле фальшивыми ассигнациями Перебоченской и старика Танцура. Илья для них бельмо в глазу, и они его положили извести во что бы то ни стало; становой и посредник затеяли тревогу по собственной вине, а исправник — по старой мести Илье Танцуру за дело выезда Тарханларова к Перебоченской».

Губернатор начинал бледнеть и кусал ногти.

— Что же мне, по-вашему, надо делать? — спросил он, не поднимая глаз.

Саддукеев с шумом встал. Его красное лицо было в поту. Большие толстые губы дрожали. Скулы и широкие уши двигались. Серые выпяченные глаза сверкали лихорадочным огнем.

— Ехать! сию же минуту ехать туда вам самим! — сказал он, заикаясь и закидывая назад голову.

Губернатор позвонил.

— А не поздно?

— Не поздно, не поздно еще. Но ради бога скорее! Я поспел к вам в одну ночь. А у вас в распоряжении и курьерские и помещичьи лошади.

Губернатор велел лакею приготовить все к выезду и, отпуская Саддукеева, сказал:

— Мы едем вместе?

— Согласен-с...

— Вы, я думаю, заметили, что я во многом изменился? — спросил губернатор.

— Да-с...

— Вы честный человек, господин Саддукеев, и я вами совершенно доволен.

Был позван Тарханларов и Лазарь Лазарич Ангел.

— Войска через вас я так поспешно послал! — сказал губернатор Тарханларову,— боюсь, не вышло бы чепухи!

Грека он взял с собою, пригласил его и Саддукеева закусить. Коляску подали. Губернатор, грек и Саддукеев сели и покатили, провожаемые с крыльца злыми и завистливыми глазками щеголя-секретаря, пустившего утку о гетмане Загребайле и бывшего издателем местных губернских ведомостей. Лошади были запряжены курь-

ерские. Вперед для заготовки новых смен обывательских лошадей поскакал на другой тройке жандарм.

Ямщик гикал, охал, свистал. Четверня неслась в полную скачь. Пыль густыми клубами далеко оставалась позади коляски. Было часов десять утра.

— Успеем ли мы, однако, захватить команду до ее действий? — спросил губернатор, не имея сил отбиться от разных тревожных мыслей.

— Пехоту, вероятно, предупредили бы. Ну, а насчет драгун, вероятия мало захватить их до начала действий. Еще с вечера они должны быть в Есауловке. А сегодня исправник и прочие имели уже довольно времени, чтоб снова насочинять себе страхов и решиться на крайние меры!

Два раза уже коляска останавливалась; вместо курьерских лошадей впрягались при помощи разных веревок и ремешков обывательские, и целые деревни крестьян с бледными лицами хлопотали и возились тут, снаряжая далее на грустное дело губернатора. Ямщики из поселян несмело вспрыгивали на козлы и в седло, суетливо помахивали кнутами, коляска выбиралась опять на зеленые бугры и неслась далее и далее.

Грек, страдавший в последнее время печенью и желтый оттого, как лимон, уставя вдаль красивые грустные и пасмурные глаза, думал: «Не послушались меня, выпустили из рук Перебоченскую, не арестовали приказчика Танцура, допустили опять в исправники Тебенькова,— вот и хлопочите, а дело об ассигнациях я раскрыл бы. Да и трех живодеров тех, Кебабчи, Хутченко и Рахилевича, предлагает выпустить теперь на поруки Тарханларова, благо, сам добился хорошего места!»

Коляска шумно подлетела к дому князя Мангушки. Саддукеев побежал в дом, где в зале наткнулся на Перебоченскую, приготовлявшую на тарелке горчичники.

— Губернатор приехал! Где князь? где исправник, офицеры, войско?

Тарелка выпала из рук Перебоченской.

— Князь сильно заболел, за доктором поехали.

— А офицеры? эскадроны?

Перебоченская оправила чепец, переложила заново крест-накрест платок на груди и, поклонясь входившему губернатору, сказала:

— Бунтовщики бросили Терновую долину и пошли далее. Илья Танцур во время увещаний исправника выстрелил в своего отца. Теперь исправник повел вдогонку им драгун.

— Можно видеть князя? — спросил губернатор.

— Он сильно заболел.

— Велите скорее перепречь лошадей, поедем! — сказал губернатор Саддукееву.

— Да, ваше превосходительство, — заговорила Перебоченская, — теперь только на вас и надежда. Не оставьте нас, не дайте погибнуть от этих зверей-мужиков.

Коляска снова выехала за околицу.

Летя во весь опор за Терновую долину, губернатор впервые в жизни почувствовал все значение мгновений, которые он теперь переживал. Стоя в коляске и с тоскливым волнением смотря в синеющую даль прибрежных поволжских холмов и долин, он невольно покрикивал кучеру князя: «Скорее, братец, скорее».

Мелькали кусты и камни, косогоры, ручьи и овраги. Вот Авдулины бугры, вот за ними новая черта туманного небосклона. Тучки на небе, справа Волга, слева сплошной лес на косогоре, прямо склон к ровной карабиновской степи. Слух и зрение губернатора напряглись. Ему чудились выстрелы; вдали как будто мелькал дым. Коляска летела и летела. В ней стояли, замирая от волнения, губернатор, Саддукеев и грек.

— Боже! мы, кажется, спасены! — вскрикнул по-французски губернатор, — вон возвращаются драгуны, вон стан ослушников. А вот завидели нас и едут к нам Рубашкин и исправник. Ну, погоди же ты, негодяй Тебеньков! Увернулся из дела Перебоченской, а тут уж я тебе не прощу и поблагодарю за тебя Тарханларова.

На душе губернатора отлегло. Он даже вынул лорнет и оседлал им нос, готовясь встретить спешивших к нему на дрожках Рубашкина и Тебенькова.

Дрожки подъехали. Издали тянулись шеренги драгун. Офицеры не отделялись от своих мест, не скакали навстречу губернатору.

— Ну, что? — спросил губернатор исправника.

— Все кончено-с! — ответил Табеньков, вскакивая с генеральских дрожек.

Губернатор взглянул. Рубашкин сурово поклонился; глаза его были красны; сам он был не похож на себя.

— Как кончено? Стреляли? — спросил, задыхаясь, губернатор.

— Стреляли! — ответил исправник,— иначе нельзя-с было поступить. Дали всего один залп, и бунтовщики покорились.

— Есть убитые?

— Восемь человек убитых и около двадцати раненых.

....

— Кто же убит? — спросил Саддукеев.

— Бывшие впереди! Вы их всех лично знаете! — подсказал, качая головой, Рубашкин,— убиты: Илья Танцур и его невеста Настя, флейтист Кирилло Безуглый, десятский, два старика из соседних хуторян, бывшие прежде в бегах с Ильей, горничная Перебоченской Палашка и еще какой-то парень, также из бродяг, вернувшихся в последнее время...

Губернатор молчал.

— Теперь и дело Перебоченской и трех ее друзей кончится иначе! — шепнул грек Саддукееву,— пропадут и мои поиски насчет ассигнаций! А я было так подогнал уже это дело.

— Что ж, господа? — сказал губернатор,— я полагаю, что иначе нельзя было и поступить. Ведь этот бунт мог принять нешуточные размеры!

— Позвольте, ваше превосходительство, осмотреть убитых? — спросил грек.

— Я уже осматривал и ничего не нашел! — перебил исправник.

Коляска и дрожки поехали обратно в Есауловку. Раненым мятежникам тотчас были оказаны все нужные пособия. Убитых похоронили на другой день. А вечером того дня, как приехал губернатор, в княжеский двор были созваны усмиренные бунтовщики, и губернатор долго их усовещивал, стыдил, грозил им судом, обещал за полное раскаяние испрошения им помилования и уехал, сам растроганный донельзя.

Исправник за дорогую цену продал Перебоченской донос Ильи, найденный на убитой Насте. Перебоченская вздохнула свободнее и на радостях щедро расплатилась с Романом Танцуром, хоть при этом все-таки его прижала.

Стали лелеять приятные надежды о близкой свободе и сидевшие в остроге Хутченко, Кебабчи и Рахилевич. Роман Танцур выпросил себе у князя раньше срока вольную, приписался в губернском городе в мещане, перевел туда жену и сейчас же занялся огромным подрядом хлеба и дров на войска. Рубашкин начал реже ездить к Мангушке, затосковал еще сильнее по милому северу и с началом осени снова уехал в Петербург.

Рубашкин в Петербурге занимает теперь место в одном из ведомств, соприкосновенных к комитетам по части реформы не то земских, не то судебных учреждений. Саддукеев остался управлять Сыртом, детей пристроил в гимназию, стал ездить к князю в Есауловку поиграть в карты и поболтать от скуки. Поговорку о ста годах он вскоре перестал вовсе употреблять, потому что, как-то присутствуя на полевых работах осенью, простудился, схватил горячку и без всякого пособия в присутствии подслеповатой, глухой и отупевшей от старости бабки-знахарки умер.

Губернатора к зиме нежданно отставили. На место же его назначили совершенно новое лицо из университетского поколения времен конца тридцатых годов. Он приехал скромно, тихо, объявил, что все чиновники могут оставаться на своих местах, лишь бы хорошо и честно служили, заперся в кабинет, стал читать все дела до последней страницы, и губерния, ждавшая по былым временам балов и всякого блеска и шума, сильно огорчилась. Новый губернатор только сделал пока два видных дела: устроил так, что Тарханларова от него перевели в другую губернию, а дело Перебоченской и трех ее приятелей получило новый, и, говорят, грозный для негодяев ход.

1863



КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

/ 1775-1776 /

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

•



ЧАСТЬ I

ДНЕВНИК ЛЕЙТЕНАНТА КОНЦОВА

Ни малейшего сумнения,—она авантюрьера.

Письмо Екатерины II

I

Май 1775—Атлантический океан, фрегат «Северный Орел».

...Трое суток не смолкала буря. Трепало так, что писать было невозможно. Наш фрегат «Северный Орел» за Гибралтаром. Он без руля, с частью оборванных парусов, уносится течением к юго-западу. Куда прибьемся, что будет с нами? Ночь. Ветер стих, волны улегаются. Сижу в каюте и пишу. Что́ успею записать из виденного и испытанного, засмолю в бутылку и брошу в море. А вас, нашедших, молю отправить по надписи.

Боже-вседержитель! Дай памяти, умудри, облегчи болящую, истерзанную сомнениями душу...

Я — моряк, Павел Евстафьевич Концов, офицер флота ее величества, всероссийской императрицы Екатерины Второй, пять лет тому назад, божьим изволением, удостоился особого отличия в битве при знаменитой Чесме.

Всему свету известно, как наши храбрые товарищи, лейтенанты Ильин и Клокачев, с четырьмя брандерами, наскоро снаряженными из греческих лодок, в полночь 26 июня 1770 года, отважно двинулись к турецкому флоту при Чесме и послужили к его истреблению.

И мне, смиренному, удалось в то время — прикрывая брандеры,— в темноте, с корабля «Януария», лично бросить во врага первый каленый брандскугель. От брандскугеля, попавшего в пороховую камеру, вспыхнул и взлетел на воздух адмиральский турецкий корабль, а от наспевших брандеров загорелся и весь неприятельский флот. К утру из сотни грозных шестидесяти- и девяностопушечных вражьих кораблей, фрегатов, гальотов и галер не осталось ничего. Плавали одни догоравшие обломки, трупы и разрушенная корабельная снасть. Наш подвиг воспел в оде на чесменский бой преславный поэт Херасков, где и мне, незнаемому светом, посвящены в добавлении сии громкие и вдохновенные строки:

Вручает слава ветвь, вручает ветвь лаврову
Кидающему смерть в турецкий флот *Концову.*

Оные стихи твердили все наизусть. Хотя бывшие в нашей службе на брандерах англичане, как Макензи и Дугдаль, главнейше приписывали себе славу чесменской битвы, но и нас начальство отменно взыскало и отличило. Притом и я был удостоен чином лейтенанта и взят в генеральс-адъютанты к самому победителю морских турецких сил при Чесме, к графу Алексею Григорьевичу Орлову.

На службе мне везло, жилось вообще хорошо. Но страшный рок иногда преследует людей.

Судьба отвернулась от меня, статься может, за поспешное, хотя вынужденное удаление с родины

Мы радостно жили на славных чесменских лаврах, превознесены и чествуемы всюду — французами, венецианами, испанцами и иных наций людьми. И вдруг мне, бедному, выпал новый, нежданный и тяжкий искус.

Война еще длилась. Граф Алексей Григорьевич Орлов, после шумных битв, живя в удовольствии на покое, при флоте, говаривал:

— Я так счастлив, так, как будто взят, аки Енох, живой на небо.

Это он так только говорил, а неукротимыми и смелыми мыслями не переставал парить высоко, с тех пор как некогда пособил Екатерине взойти на престол.

Однажды, плавая с эскадрой в Адриатике, он послал меня для одной тайной разведки к славным и храбрым жителям Черной горы. Это было в 1773 году.

Лазутчики все ловко и умненько устроили. Я бережно в ночной темноте высадился, снес что надо на берег и переговорил. А на обратном пути, в море, нас приметила и помчалась за нами сторожевая турецкая кочерма. Мы долго отстреливались. Наших матросов убили: я, тяжело раненный в плечо, был найден на дне катера, взят в плен и отвезен в Стамбул.

Во мне, хотя переодетом в албанский наряд, угадали русского моряка и сперва очень ухаживали за мной, очевидно, рассчитывая на хороший выкуп. «Ну, как дознаются,— думал я,— что их пленник тот самый лейтенант Концов, от брандскугеля которого зажегся и взлетел на воздух под Чесмой их главный адмиральский корабль? что станется тогда со мной?»

II

Я пробыл в плену около двух лет. Настал 1775 год.

Вначале меня держали взаперти, в какой-то пристройке Эдикуля, семибашенного за́мка, потом в цепях, при одной из трехсот стамбульских мечетей. Дошел ли туда, на самом деле, слух, что в числе пленных у них находится Концов, или турки, потеряв надежду на мой выкуп, решили воспользоваться моими сведениями и способностями,— только они затеяли склонить меня к исламу.

Мечеть, где я содержался, была на берегу Босфора. Из-за железной оконной решетки виднелось море. Лодки сновали у берега. Навещавший меня мулла был родом славянин, болгарин из Габрова. Мы друг друга вскоре стали понимать без труда. Он начал стороной наставлять меня в турецкой вере; хвалил мусульманские обычаи,

нравы, превозносил могущество и славу падишаха. Возмущенный этим, я упорно молчал, потом стал спорить. Чтобы расположить меня к себе и к вере, которую он так хвалил, мулла исхлопотал мне лучшее помещение и продовольствие.

Меня перевели в нижнюю часть мечети, при которой он состоял, начали давать мне табак, всякие сласти и вино. Цепей с меня, однако, не снимали. Сам вероотступник, учитель мой, по закону Магомета, не пил, но усердно соблазнял меня и манил:

— Прими ислам, будет тебе вот как хорошо, цепи снимут, смотри, сколько кораблей; поступишь на службу, будешь у нас капитаном-пашой...

Я лежал на циновке, не дотрагиваясь до предлагаемых соблазнов и почти не слушая его. Моим мыслям представлялась брошенная родина. Я перебирал в уме друзей, близких, улетевшее счастье. Сердце разрывалось, душа изнывала от неизвестности и тоски по родине. О, как мне памятны часы того тяжкого, рокового раздумья!

Как теперь соображаю, я тогда вспомнил наш тихий, далекий, украинский поселок, родовую Концовку. Я сиротой, в офицерском чине, прибыл из петербургских морских классов на побывку к бабушке. Ее звали Аграфеной Власьевной и тоже Концовой. У бабушки, поблизости города Батурина, были богатые соседи по деревне, Ракитины, отставной бригадир-вдовец Лев Ираклиевич и его дочка Ирина Львовна.

То да се, езда в ракитинскую церковь, потом в тамошние хоромы, свидания, прогулки, ну — молодые и полюбились друг другу. Мои чувства к Ракитиной были страстны, неудержимы. Ирен, пленительная, смуглая и с пышными черными волосами, стала для меня жизнью, божеством, на которое я день и ночь молился. Мы объяснились, сблизились, неведомо для других. Боже, что это были за мгновения, что за беседы, клятвы! Началась пересылка страстных грамоток. Я всегда любил музыку. Ирен дивно играла на клавикордах и пела из Глюка, Баха и Генделя. Мы виделись часто. Так тянулось лето. Дорогие, памятные дни! Одно из моих писем к Ирен, по несчастной случайности, попалось в руки ее отца. Был ли Ракитин к дочке не в меру строг и суров, уговорил ли ее отказаться от меня, променяв преданного и верного ей человека на иного... только горько, тяжело о том и вспомнить.

Была осень и, как теперь помню,— праздник. Мы собирались в ракитинскую церковь. Кто-то въехал к нам во двор. Разряженный ливрейный лакей подал бабушке, привезенный им от Ракитиных, запечатанный пакет. Сердце мое так и екнуло. Предчувствие сбылось. Бабушке относительно меня был прислан точный и бесповоротный отказ.

«Простите, мол, матушка Аграфена Власьевна, ваш Павел Евстафьевич всем достоин, всем хорош и пригож,— писал бригадир Ракитин,— но моей дочери, извините, он не пара и напрасно с ней пересылается объяснениями. Пусть не гневается, а мы ему были и будем, кроме означенного, друзьями и желаем вашему крестнику и внуку найти сто крат лучшую и достойнее его».

Сразило меня это письмо. Померк свет в глазах. Вижу — пресеклось дорогое, чаемое счастье. Гордецы, богачи, свойственники Разумовских, Ракитины без жалости презрели небогатого, хоть и коренного, может быть, древнее их дворянина. Спесь и знатность родства, близкого ко двору бывшей императрицы, взяли верх над сердцем. И прежде было слышно, что отец Ариши прочил свою дочь во фрейлины, в высший свет.

— Бог с ними! — твердил я как безумный, ходя по некогда приветливым, ныне мне опостылым светлицам бабушки.

День был пасмурный, срывался мелкий дождь. Я велел оседлать коня, бросился с отчаяния в степь, прискакал к лесу, граничившему с ракитинскою усадьбою, и носился там по полям и опушке, как тронувшийся в уме. Ветер шумел в деревьях. Поля были пусты. К ночи я подвязал коня к дереву и садом из леса подошел к окнам Аришиной комнаты. Что я перечувствовал в те мгновения! Помню, мне казалось — стоит только дать ей знать, и она бросится ко мне, мы уйдем на край света. Безумец, я надеялся ее видеть, с нею обменяться мыслями, наболевшим горем.

— Брось отца, брось его,— шептал я, вглядываясь в окна.— Он не жалеет, не любит тебя.

Но тщетно: окна были темны и нигде в смолкнувшем доме не было слышно людского говора, не сказывалось жизни. Две следующих ночи я снова пробирался садом к дому, сторожил у знакомой горенки, откуда прежде она подавала мне руку, бросала письма, не выглянет ли Ирен, не сообщит ли о себе какой вести. Посылал ей тайно и письмо — ответа не было. В одну ночь я даже

решил убить себя у окна Ирен, ухватился даже за пистолет.

«Нет,— решил я тогда,— зачем такая жертва? Быть может, она променяла меня на другого. Подожду, узнаю, может быть, и впрямь нашелся счастливый соперник».

После я узнал, да уже поздно, что Ракитин, написав мне отказ, увез дочку в дальнее поместье своих родных, куда-то на Оку, где некоторое время ее держал под строгим присмотром.

III

Бабушку не менее меня сразило мое положение. Она, спустя неделю, призвала меня и объявила:

— Твой риваль[1] тобою угадан; это дальний родич Ракитиных, князь и камергер. Я узнала стороной, Павлинька, его нарочито выписали, он у них гостил во время твоих исканий и помог им уехать без следа. Забудь, мон анж[2], Ирену: она, очевидно, в батюшку — гордячка; утешишься, даст бог, с другою!

Я сам был обидчив и горяч. «Бабушка права,— мыслил я, решаясь все бросить и забыть.— Если бы Ирен была с сердцем, она нашла бы случай написать мне хотя бы строку».

Помню одну ночь, когда я у себя нашел добытый у одного любителя, переписанный для Ирен и ей не отданный, гимн из «Ифигении», новой и тогда еще не игранной оперы Глюка. Я со слезами сжег его.

После долгих душевных страданий и отчаяния, я уехал из родных мест. Прощание с бабушкой было трогательным. Оба мы как бы предчувствовали, что более не увидимся.

Аграфена Власьевна в тот же год, без меня, простудилась, говея в ближнем монастыре, недолго хворала и умерла. Я остался на свете одинок, как былинка в поле.

Покинув Концовку, я некоторое время скитался в Москве, где имел доступ в семейство графов Орловых, потом в Петербурге, все допытываясь о родичах Ракитина, живших за Окой, все надеясь еще перекинуться вестью с изменницей Ирен,— никто мне о них не дал сведений. Мой отпуск еще не кончился; я был свободен,

---

[1] Риваль (от *фр.* rival) — соперник.

[2] Мой ангел *(фр.)*.

но уже ничто меня не манило в свете. Что оставалось делать, предпринять?

Вести с юга, из-за моря, между тем, наполняли в то время все умы. Было начало турецкой войны. Счастливая мысль меня озарила. Я обратился в коллегию морских дел и стал хлопотать о немедленном своем переводе на эскадру в греческие воды. Мне помог граф Федор Орлов, давший рекомендацию к графу Алексею, командиру нашего флота в Средиземном море. Как я прибыл туда и что испытал, не буду рассказывать. Повторяя имя, некогда мне дорогое, я кидался во все опасности, искал смерти в Специи, под Наварином и Чесмой.

— Ариша, Ариша, что сделала ты со мной и за что? — твердил я.— Боже! когда бы скорей конец жизни!

Но смерть не приходила; вместо того, я был схвачен и, после славной Чесмы, попал в долговременный плен в Стамбул.

Навещавший меня мулла становился все ласковее, а рядом с тем и настойчивее. Мы виделись ежедневно и подолгу беседовали. Иногда он сердил меня, даже приводил в бешенство, а порой был забавен. И я в шутку склонял его, для компании, отступить от заповедей пророка, которые он мне с таким жаром объяснял, просил его выпить со мной,— и сам для этого пил; мой учитель, делать нечего, в угоду мне, стал усердно пробовать приносимого мне хиосского и иного вина. Наши свидания не прекращались. Мы говорили о Востоке, о России и иных делах.

Однажды — это было еще в половине лета 1774 года, в то время, когда муэззин с вышки звал к вечерней молитве народ,— мой наставник таинственно и не без злорадства спросил меня, знаю ли я, что в Италии проявилась нежданная и опасная соперница царствующей нашей императрице Екатерине, могучая претендентка на российский престол?

Я был удивлен и некоторое время молчал. Мулла повторил сказанное. На мой вопрос, кто эта претендентка, он ответил:

— Тайная дочь покойной императрицы Елисаветы Петровны.

— Это вздор,— вскричал я,— бессмысленная сплетня ваших базаров!

Мулла обиделся, его глаза сверкали.

— Не сплетни, читай! — сказал он, вынув из-под халата истертый листок утрехтской газеты.— Лучше подумай, что ждет твою родину?

Сердце мое, преданное великой, правящей нами монархине, болезненно сжалось. Прочтя газету, я убедился, что мулла был прав: сперва в Париже и немецких владениях, а потом в Венеции действительно объявилась некая, называвшая себя *«всероссийской княжной Елисаветой»*. Претендентка, по слухам, собиралась в ту пору к султану, искать защиты своих прав в его армии, воевавшей с нами на Дунае. Мулла посидел и вышел, поглядывая на меня.

Узнанные вести сильно опечалили меня.

«Как? — рассуждал я.— Судьбе мало было наслать на нас страшный бунт Пугачева, о котором я слышал в плену,— туркам являлась еще и эта помощь! Тот разорил, сжег и обездолил Поволжье, эта собирается пустить огонь и смуту с юга!»

Я выходил из себя. Шагая из угла в угол по тюрьме, я стал у окна, схватился за его решетку и, потрясая ее, готов был грызть железо.

— Крылья мне, крылья! — молил я бога.— Улететь бы к родному флоту, предупредить верного государыне графа Орлова, все ему передать...

И совершилось по моей мольбе в те дни чудо. Не забыть мне вовек испытанного.

Придумывая тысячи способов вырваться, бежать, я остановился на мысли прежде всего изготовить какнибудь ключ, чтобы отомкнуть тяжелые цепи. Обточив о дно глиняного кувшина вырванный из стены полусломанный гвоздь, на котором вешалась одежда, я из него с большим трудом выпилил о камень задуманный ключ. Радость моя, когда в первую же ночь я отомкнул, снял цепи и заснул без них, была неописанная. Утром я опять надел цепи, а ключ спрятал в расщелину стены. Мое решение было: освободившись быстро от цепей, убить ими ренегата-муллу, незаметно выйти из тюрьмы и бежать. Но куда? Об этом я делал тьму разных предположений.

Господь, правящий сердцами, избавил меня от напрасного греха. Мулла, заходя ко мне, по-прежнему

попивал вино, присылаемое мне в изобилии, вероятно, по его же ходатайству. Время наступило. Выбрав вечер, я решился сказать мулле, что внял его мудрым наставлениям и что готов перейти в ислам. Он пришел в восхищение и на радостях так усердно приложился к кувшину с хиосским, что совсем охмелел и начал дремать.

Я не переставал его потчевать.

— Нет,— повторял он,— не могу, не пропустить бы молитвы; заметят, донесут...

Я ему еще налил. Он, лукаво щурясь и грозя, опорожнил еще кружку, скоро зашатался, прилег и, напевая какую-то болгарскую песню, крепко заснул. Попробовал я его толкать, не слышит, снял с него туфли, расписанный халат и чалму, оделся в них,— он лежал как убитый.

Мы были с ним почти одного роста; борода в заточении у меня отросла большая, как и у него, была только светлее.

«Боже! Неужели? — думал я в радостном содрогании.— Неужели свобода?»

Надвинув на глаза огромную белую чалму и набожно склонясь, я тихо, с четками в руках, как бы шепча молитву, вышел из тюрьмы, сделал несколько шагов по двору. Часовые у крыльца и в воротах мечети, молча прохаживаясь с мушкетами на плече, не узнали меня в сумерках и пропустили.

Шум улицы меня смутил, я было растерялся, но оправился. Не спеша добрел я до берега, махнул перевозчику, сел в первую подплывшую шлюпку и, еще более склонясь, молча указал на один из близстоявших, давно мною из окна намеченных, иностранных кораблей.

То была готовая к отплытию одна из торговых французских шкун. Я узнал ее по флагу.

IV

Бравый, смуглый красавец француз, командир шкуны, не замедлил оправдать имя великодушной нации, к коей он принадлежал. Узнав во мне русского моряка, он взглянул на меня, помолчал и тихо спросил:

— Не Концов ли вы?

— Почему вы так думаете? — спросил я в тревоге.

— О, я бы желал,— ответил он,— чтобы это было так. Храброго Концова мы все жалели и справлялись о нем... Я был бы счастлив, если бы мог ему служить.

Делать нечего, я решился назвать себя. Капитан очень обрадовался. Он свел меня в каюту, обещал заплатить лодочнику, но для безопасности велел поднять его на борт с лодкой и дал знак готовиться к поднятию якоря и парусов. Ночью шкуна двинулась. Ветер был свежий, попутный, и к утру мы были от Стамбула далеко. Моего перевозчика спустили обратно где-то на пути.

Мулла, очевидно, долго спал. Погони не было. Лодочник, получив обещанное и вдобавок — платье муллы, в котором я бежал, поневоле должен был молчать. Французы дали мне подходящую одежду, весьма щедро снабдили в складчину деньгами и любезно предлагали мне высадиться на первый русский в итальянских водах корабль.

От капитана шкуны я, между прочим, по пути узнал, что занимавшая меня таинственная российская княжна была в то время уже не в Венеции, а у турецких берегов, в Рагузе, то есть в Дубровнике, мимо которого нам приходилось плыть. Я просил высадить меня там. Французы отговаривали меня, указывая на опасность очутиться снова близ турок; я настаивал на своем.

Отблагодарив моих добрых спасителей, не хотевших даже взять с меня расписки в данной мне ссуде, я с трепетом ступил на берег Рагузской республики, где вскоре осведомился и о занимавшей меня особе.

Таинственная княжна уже владела умами всего города. Толков было много. В гостинице, где я остановился, проживали некоторые из польских и иных особ ее многочисленной свиты. Эти господа сперва меня дичились, смотрели недоверчиво; но, узнав, кто я, и предуведомленные, что, радуясь своему спасению, я немедленно направлюсь к эскадре графа Орлова, они охотно и без стеснений стали мне рассказывать о принцессе и даже предложили мне устроить у нее аудиенцию.

— Но кто же она и где до сих пор проживала? — спросил я свитских княжны.

— Она родная дочь вашей покойной императрицы Елисаветы от ее тайного брака с графом Разумовским,— отвечали мне,— в детстве была увезена к границам Персии, потом под чужими именами проживала в

Киле, Берлине, Лондоне и в других городах. В Париже именовалась принцессой Азовской, dame d'Azow, в Германии и здесь, в Рагузе, именуется принцессой Пиннеберг. Сообразите, ведь это ваша царица Елисавета Вторая — кровь великого Петра... Немецкие и иные принцы сватались за нее; французский двор ей здесь устроил помещение в доме своего консула и готов ей оказать всякую поддержку.

Смутили меня эти вести.

«Киль, Берлин! — думал я.— Киль — в Голштинии; он играл такую роль в судьбе дочерей великого Петра: бывшей там замужем Анны и Елисаветы, выписавшей себе оттуда наследника, Петра Третьего. Неужели в Петербурге этому не придают значения? и что у нас предпримут, если дознаются о такой претендентке?»

Поляки меня повели к графине Пиннеберг.

Я принарядился, обрил как следует бороду и усы, напудрился, припомадился, завился. Меня радушно встретили в доме графини. Ее гофмаршал, барон Корф, ввел меня с церемонией в ее приемный салон. Я оглянулся: просторная комната была обита голубым штофом, мебель была покрыта розовым атласом. Не успел я опомниться, раздались шаги и веселый сдержанный говор.

В приемную вошла княжна Елисавета, окруженная нарядною свитой. После я узнал, что это были: знаменитый в то время, ее близкий друг, князь Радзивилл, прозванием «пáне-кохáнку»,— в синем бархатном кафтане, усыпанном алмазами, рядом с ним — его сестра, красавица графиня Моравская, и княгиня Сангушко; за ними — в пунцовом с золотом кунтуше граф Потоцкий — глава сплотившейся против нас польской конфедерации; поодаль — надменный и богатый староста Пинский, граф Пржездецкий, возле него — влиятельный из молодежи-конфедератов, рубака и дуэлист Черномский и несколько известных радзивилловских офицеров. Потоцкий и Пржездецкий были в лентах и звездах.

Княжна, как я приметил, была одета в тафтяном палевом с золотом платье, род амазонки, с флеровой, поверх нее выкладкой, в белой круглой шляпе, с черными страусовыми перьями, в розовой мантилье, отделанной по краям блондами, с крошечными, в дорогой оправе, пистолетами у пояса и с хлыстом в руке. Она собиралась на прогулку верхом.

Польские гордые магнаты говорили княжне «ваше высочество», а когда она садилась, перед ней стояли, и на ее вопросы отвечали, так низко пригибаясь, будто становились на колени.

Не скрою, меня поразил вид княжны. Я увидел перед собою в полном смысле обворожительную красавицу — лет двадцати трех — четырех, роста выше среднего, статную, из себя стройную, сухощавую, с пышными светло-русыми волосами, белолицую, с ярким румянцем и в веснушках, которые так к ней шли. Глаза у нее были карие, открытые и большие, а один слегка, чуть заметно, косил, что придавало ее оживленному лицу особое, лукавое выражение. Но что главное, я в детстве и в возрасте хорошо насмотрелся на портреты покойной императрицы Елисаветы Петровны и, взглянув теперь на княжну, нашел, что она с покойницей значительно схожа.

Мое смущение радостно заметили. Княжна ласково сказала мне по-французски несколько приветливых слов, допустила меня к своей руке и, кончив церемонный, по этикету, прием, взглядом отпустила свою свиту, а мне указала стул. Мы остались наедине.

V

После некоторого обмена мыслей — мы говорили по-французски, причем у княжны иногда вырывались и итальянские восклицания,— оба мы в понятном смущении замолчали.

— Вы русский офицер, моряк? — спросила меня княжна.

— Так точно, ваша... ваша светлость,— ответил я, не зная, как был должен ее именовать.

— Мне известно, вы отличились, ваше имя прогремело при Чесме,— продолжала она.— Вы, наконец, так долго страдали в плену.

Я, смешавшись, молчал, она тоже.

— Послушайте,— проговорила она с чувством, и до сих пор я слышу этот нежный, обаятельный, грудной голос,— я русская княжна, дочь вашей, когда-то любимой императрицы: не правда ли, мою мать, дочь великого Петра, так любили? Я, по крови и по завещанию, ее единственная наследница.

— Но у нас ныне царствует,— решился я возразить,— не менее всеми любимая монархиня — великая Екатерина.

— Знаю, знаю! — перебила княжна.— Могуча и чтима народом ваша нынешняя государыня, и не мне, слабой, всеми брошенной, оторванной от царского дома и от родины, вступать с нею в спор. Я первая преданная ей раба.

— Чего же вы ищете, ждете? — спросил я удивленно.

— Защиты и уважения моих прав.

— Простите,— возразил я,— но прежде надо доказать ваше происхождение и ваши права.

— Вам доказательств? Вот они,— произнесла принцесса, живо вставая и открывая на угловом столике небольшой, обделанный серебром и черепахой баул.— Это завещание моего деда Петра Первого, а это духовная моей матери — Елисаветы.

Княжна развернула и подала мне французские списки названных ею бумаг. Я бегло их просмотрел.

— Но это копии, притом в переводе,— сказал я.

— О, будьте спокойны, подлинники в верных руках... Не могу же я возить с собою такие документы, рисковать! Мало вам этого — взгляните,— проговорила, полуоборотясь, принцесса.

Она указала на простенок над софой. На голубом штофе обоев, против окна, у которого мы стояли, висели два больших, в круглых рамах, портрета, писанных масляными красками. Один весьма удачно изображал покойную государыню Елисавету Петровну с небольшою короною на голове; другой — стоявшую против меня княжну.

— Не правда ли, схожи? — спросила она, вглядываясь в меня.

— Сходство есть, это правда,— ответил я.— Я это заметил, едва вошел и вас увидел; позвольте узнать, давно ли снят ваш портрет?

— В этом году, в Венеции... Знаменитый Пьячетти снимал портрет моего жениха — князя Радзивилла, при этом упросили сняться и меня.

— Дивные события! — произнес я в невольном смущении.— Является невообразимое, встают из гроба мертвецы: за Волгой — давно въяве похороненный император Петр Третий, здесь — никем не жданная и не гаданная дочь государыни Елисаветы.

— Не смешивайте меня с Пугачевым,— возразила, слегка покраснев, княжна,— хотя он и выдает себя за императора, чеканя монеты с надписью: «Redivivus et ultor» — воскресший мститель,— но он пока... лишь мой в том крае наместник.

— Как? — удивился я.— Так и вы подтверждаете, что он самозванец?

— Не спрашивайте, кто он,— загадочно ответила княжна,— после узнаете обо всем... еще не пришло время. Теперь в его власти уже многие города: Казань, Оренбург, Саратов, вся страна по Волге. Его прошлого не знаю. Бог ему судия... Но я действительно дочь императрицы Елисаветы, двоюродная сестра бывшего императора Петра Третьего.

— Кто же ваш отец? — решился я спросить.

Княжна помолчала, нахмурилась.

— Неужели не знаете? Граф Алексей Разумовский, впоследствии тайный муж моей матери. Детство я провела в разъездах; оно темно и для меня. Помню юг России, глухую деревушку, откуда меня вдруг увезли. Хотели истребить малейшую память о моем прошлом, не жалели для того денег и возили меня с места на место, из страны в страну. Это, очевидно, знает граф Шувалов... Недавно, путешествуя по Европе, он пожелал видеть меня, и мы тайно виделись.

— Как! Вы видели графа Шувалова? Где? — изумился я, вспомнив, что некоторые, по слухам, и его считали ее отцом.

— Это было на водах в Спа... Друзья предупредили меня о знаменитом русском путешественнике; я не могла отказать. Вошел в комнату полный, еще замечательно красивый, богато, со вкусом одетый, пожилой человек. Он явился под вымышленным именем; говоря со мной, грустно вглядывался в черты моего лица, в мои движения и был, очевидно, внутренне взволнован. После уже я узнала, что это бывший фаворит покойной моей матери, некогда могучий Иван Шувалов. Почему он казался так смущен — не знаю. Не мне, согласитесь, это решать. Смерть матери унесла в могилу эту, как и другие, тайну.

Княжна смолкла. Молчал и я.

— Чьей же защиты, чьей помощи ищете вы? — решился я спросить, подавляемый разнообразными ощущениями.

VI

Княжна спрятала бумаги в шкатулку, заперла ее, поставила на место, взяла веер и снова села, поглядывая в окно.

— Готовы ли вы мне пособить? — спросила она решительно, в ответ на мой вопрос.

Я не нашелся, что ответить.

— Готовы ли вы оказать мне, в случае надобности, вашу поддержку?

— Какую?

— Вот видите ли... Если императрица Екатерина захочет по совести и без спора мирно поделиться со мной,— произнесла медленно и с уверенностью княжна,— я готова сделать для нее все... Отдам ей Север, с Петербургом, балтийскими провинциями и со всею московской областью; себе возьму Кавказ, вообще юг... я люблю юг... и часть востока. О, верьте, я буду свято чтить мирный раздел, буду всем довольна; населю и устрою мои родовые страны — увидите... я мастерица... И, разумеется, прежде всего восстановлю Украйну и Польшу... Ведь вы украинец? Не правда ли? — спросила она, заглядывая мне в глаза.— И я жила в детстве на Украйне... Если же Екатерина заспорит,— проговорила она, сдвинув брови,— мне остается добывать мои права силой. Я собираюсь в Стамбул, к султану; он ждет меня. Я явлюсь среди его войск за Балканами, у Дуная, перед армией Екатерины. И я ей отплачу — при этом многие мне помогут, в том числе все недовольные... например, командир эскадры — Орлов... Что скажете о нем?

— Орлов? — спросил я с нескрываемым изумлением.

— Да, он! Удивляетесь? — помахивая веером и смело глядя на меня, ответила княжна.— Как об этом вы думаете?

— Не могу, ваша светлость, не высказать крайнего сомнения,— ответил я,— ведь это детские грезы. На чем вы основываете возможность со стороны графа такой, извините, измены?

— Измены? — вскричала, вспыхнув, княжна.— Впрочем, вам простительно... вы были в плену, многого не знаете.

Она самодовольно улыбнулась, судорожно обмахиваясь веером.

— Власть и значение Орловых пали,— продолжала она,— входят в силу их тайные непримиримые враги — Панины... Любимец императрицы, Григорий Орлов, да будет вам известно, заменен другим; он в огорчении, прервал переговоры с султаном, которого почти победил, и ускакал с Дуная в Петербург. Но его не допустили ко двору и сослали в Ревель. Удивляетесь? Знайте более... Ваш начальник, граф Алексей Орлов, обиженный за брата, не скрывает своих чувств, готов отомстить и, без сомнения, может быть мне очень полезен. Видите ли, какие новости. Я уже послала графу Алексею письмо и небольшой манифест.

— Манифест? О чем?

— Если Орлов решит стать на мою сторону, я предлагаю ему объявить эскадре мой манифест, принять меня и провозгласить мои права.

— Но это невозможно, простите,— пытался я возразить,— ваш поступок смел, но необдуман...

— Почему? — удивленно спросила княжна.— Недовольные ищут возмездия; забытые, брошенные — отплаты. Это общая участь. А что обиднее пренебрежения прежних, всеми признанных заслуг?.. Ведь Орловым, кто же этого не знает, Екатерина обязана троном.

Княжна встала, прошлась по комнате и распахнула окно. Ей было душно. Она вновь и с подробностями заговорила о надежде вступить при помощи флота в Россию и не слушала моих возражений. Ничто, казалось, не могло ее разубедить.

Мне стало ясно, что эта избалованная, своенравная и подобная раскаленной лаве под пеплом женщина могла своею смелостью померяться с любым из отчаянных мужчин.

— Вы сомневаетесь, удивлены? — нервно вздрагивая, вскрикнула она.— Спрашиваете, почему я так верю в успех своего дела? Неужели не знаете?.. Мне уже сочувствуют многие ваши соотечественники, с некоторыми я уже давно переписываюсь... Но вы — первый русский, таких достоинств человек, которого я вижу в настоящей моей доле... Я этого не забуду, этим дорожу... Верьте, я выйду из ничтожества, тьма рассеется... Разве вам неизвестно, что Россия истомлена войнами, рекрутскими наборами, пожарами, чумой? Вам ли не знать, что народ разоряют непомерными налогами, что за Волгой еще свирепствует ужасный, кровавый бунт? Ваше вой-

ско дурно одето и еще хуже кормится... Все недовольны, ропщут... Ужели вам, лейтенанту русского флота, это новость? Да, народ обрадуется мне, а войско встретит прирожденную русскую княжну Елисавету Вторую с торжеством, как когда-то встретили Екатерину.

Меня возмущало это ребяческое, слепое легкомыслие.

— Пусть так, но говорите ли вы по-русски? — решился я спросить.

Княжна смутилась.

— Не говорю, поневоле забыла,— ответила она, закашлявшись,— в детстве, трех лет, меня увезли из Малороссии в Сибирь, где чуть не отравили, оттуда в Персию; я жила у одной старушки в Испагани и с нею уехала в Багдад, где по-французски меня учил некто Фурньё... Где тут было помнить родной язык?

Я сидел с потупленными глазами.

— И разве Дмитрий-царевич, признанный всею Москвою, говорил по-русски? — надменно спросила меня принцесса.— Да и что может доказать язык? Дети так легко изучают и забывают всякую речь.

— Дмитрий говорил с малорусским акцентом,— ответил я,— но зато ведь он и был... самозванец.

— Gran Dio! [1] — вскричала и, с новым кашлем, рассмеялась принцесса.— И вам не стыдно повторять эту сказку? Слушайте и помните мои слова...

Принцесса откинулась на спинку кресла. Багровые пятна выступили на ее щеках.

— Дмитрий был настоящий царевич,— проговорила она с убеждением,— да, настоящий царевич, спасенный от убийц Годунова хитростью близких, чудом, как и я спаслась от яда, данного мне в Сибири. Вы этого не знали? Подумайте получше. О, синьор Концов, говорите ваши сказки другим, а не мне, знакомой и на чужбине с летописями моего дома. За меня сватался персидский шах,— но я отказала, он вечный враг России... Меня призна́ют — слышите ли? Должны признать! — заключила торжественно княжна, похлопывая по колену веером и снова порывисто закашливаясь,— я верю в свою звезду и потому вас смело избираю своим послом к графу Орлову. Не требую тотчас ответа: подумайте, взвесьте мои слова и скажите ваше решение. Вы, повторяю,

[1] Великий боже! *(итал.)*

первый русский в почтенном военном звании, встреченный мной на чужбине! Вы также страдали, также чудом спаслись от плена. Может быть, для того вас, как и других, сберегла и послала мне судьба.

Сказав это, княжна встала и величественным поклоном показала мне, что аудиенция кончена.

VII

«Что это? Кто она? Самозванка или впрямь русская великая княжна?» — рассуждал я, в неописанном смущении оставив комнату принцессы и смело проходя среди почтительно и важно кланявшихся мне особ ее свиты.

У крыльца я приметил нескольких оседланных, убранных в бархат и перья верховых лошадей. Войдя же в гостиницу, я услышал конский топот, взглянул в окно и увидел княжну, лихо скакавшую, в кругу близких, на белом, красивом коне. Кавалькада пронеслась на прогулку в окрестности Рагузы.

Несколько дней меня не оставляли самые тревожные мысли. Я почти не покидал комнаты, ходил из угла в угол, лежал, писал письма, опять их разрывал и думал: «Как мне, ввиду моей присяги и долга службы, поступить с предложением загадочной княжны?»

Однажды ко мне зашел ее секретарь Чарномский. Это был молодцеватый и изысканно разряженный, лет сорока, человек, некогда богач, дуэлист и волокита, промотавший состояние на карты и дела конфедерации. Он сохранил светские манеры, был надменен и вкрадчив и, по слухам, служил княжне, будучи в нее втайне влюблен. В разговоре о ней он пустился в похвалы ее великодушию и отваге, клятвенно подтверждая сведения о ее прошлом, и возобновил просьбу — помочь ее делу.

— Да чья же она дочь? Кто ее отец? — спросил я довольно резко.— Вы говорите столько в ее пользу; но нужны доказательства; ведь это все так сомнительно...

Чарномский вспыхнул и несколько мгновений молчал. Мне показалось в то время, что этот завитой и распомаженный, по моде — в женских, брильянтовых сережках, ганимед княжны, был нарумянен.

— Какие сомнения, боже! Да ее отец, помилуйте, разве сомневаетесь? граф Алексей Разумовский! — произнес, овладев собою, тонкий дипломат.— Извольте,

пане лейтенант, я вам подробно все сообщу. Видите ли, у императрицы Елисаветы, от тайного брака с графом, было несколько детей.

— Все это басни, этого никто не знает в точности,— ответил я.

— Разумеется, дело щекотливое и держалось в большой тайне,— продолжал Чарномский,— вы правы; где всем это знать? Но я говорю из верного источника. Куда делись прочие дети и кто из них жив — неизвестно... Княжна же Елисавета, ребенком двух лет, была увезена к родным Разумовского, казакам Дараганам, в их украинское поместье. Дарáгановку, которую народ, земляки новых богачей, окрестил по-своему в Таракановку. Царица-мать, а за ней приближенные, слыша такое имя, в шутку прозвали девочку *Тъмутараканской княжной*... Ее сперва не теряли из виду, осведомлялись о ней, снабжали чем нужно, а потом, особенно с ее переездами, ее потеряли из виду и наконец о ней забыли.

Слово «Таракановка» заставило меня невольно вздрогнуть. В моих мыслях мелькнуло нечто знакомое, мое собственное далекое детство, родной хутор Концовка и покойная бабушка Аграфена Власьевна, знавшая многое о былом и нынешнем дворе, о чудном случае с лемешевским пастухом, нежданно ставшим из певчего Алешки Розума — графом и тайным, обвенчанным мужем государыни, о восшествии на престол новой царицы, о покушении Мировича и о прочем. Через него и мой дед, Ираклий Концов, сосед Разумовских по селу Лемешам, был снискан милостями, отмечен по службе и умер в чинах.

Вспомнил я при этом и еще одно смутное обстоятельство. Мы ехали как-то с бабушкой, это было в моем отрочестве, на именины к родным. Путь лежал в деревушку за Батуриным, резиденцией гетмана Кириллы Разумовского. Был тихий, летний вечер. Мы разговаривали. Из открытой коляски, в стороне от дороги, в сумерках, виднелись огромные вербы, несколько разбросанных между ними белых хат и ветряных мельниц, а над вербами и хатами — верхушка церкви. Бабушка перекрестилась, задумалась и тихо, как бы про себя, вдруг произнесла тогда:

— Тараканчик.

— Что вы сказали, бабушка? — спросил я.

— Тараканчик...

— Что это?

— А вот что, мон анж Павлинька! — ответила она.— Здесь когда-то, в этом вот селе, обреталась одна секретная особа, премиленькое, полненькое и белое, как булочка, дитя; только недолго пожило оно и, куда делось,— неведомо.

— Кто же она? — спросил я.

— Красная шапочка,— вполголоса ответила бабушка.— Видно, и ее, *тьмутараканскую княжну,* как в сказке, съели злые, бессердечные волки.

Больше Аграфена Власьевна не говорила и я ее не расспрашивал, считая, что и впрямь девочку съели волки.

Теперь мне ясно вспомнилась и эта зеленая, в вербах, Таракановка, и бабушкин мимолетный рассказ. Век был чудесный, и всяким дивам в нем можно было верить.

— Что же, решаетесь, па́не? — спросил меня Чарномский, видя, что я задумался и молчу.

— Объясните,— ответил я,— какой именно услуги желает княжна от меня?

— Одного, пане лейтенант, одного,— проговорил, вставая и низко кланяясь, вкрадчивый посол.— Отвезите графу Орлову письмо ее высочества,— в этом только и просьба... И скажите графу, как и где вы видели всероссийскую княжну Елисавету и с каким нетерпением она ждет от него извещения на первое свое письмо и манифест. От исхода вашей услуги будут зависеть ее дальнейшие действия, поездка к султану и прочее.

Чарномский вынул и подал мне пакет.

— Только в этом и просьба! — повторил он с новым поклоном, заискивающе взглядывая на меня большими, серыми, умоляющими глазами.

Обсудив дело, я понял, что отказываться не следует, и принял письмо. Долг службы требовал все довести до сведения графа, а как он решит, это уже его дело.

— Извольте,— сказал я,— не знаю, кто ваша княжна, но ее письмо я в исправности передам графу.

Подождав попутного корабля, я еще раз представился княжне, простился с нею и оставил Рагузу в день замечательного, пышно-сказочного праздника, данного княжне князем Радзивиллом.

Об этом празднике долго потом говорили газеты всей Европы. Сумасбродный и расточительный князь, влюбленный в княжну, давно на нее сорил деньгами, как индийский набоб. Здесь он превзошел себя. Долго пировали. Драгоценные вина лились. Гремела музыка,

стреляли в саду пушки и был сожжен фейерверк в тысячу ракет. А в конце волшебного, с маскарадом и танцами, пира, пане-коханку вдруг объявил, что танцы должны длиться до утра и что с зарей все пирующие, для прохлады, увидят настоящую зиму и будут развезены по домам не в колясках, а на санях...

Гости утром вышли на крыльцо; все ближние улицы, действительно, были белы, как зимой. Их густо усыпали наподобие снега солью; и веселая, шумная гурьба масок среди новых пушечных залпов и криков проснувшихся горожан была под музыку, действительно, развезена по домам на санях.

Я уехал, ломая голову над вопросом, действительно ли княжна — дочь покойной императрицы Елисаветы и верит ли она сама тому, что говорит, или разглашает вымышленную сказку? Сколько я помнил выражение ее лица, в нем, особенно в глазах, мелькали какие-то черточки, что-то неуловимое, как бы некое, чуть приметное колебание и в то же время что-то похожее на надежду. Везя сведения о ней и ее письмо, я действовал во имя долга офицера, подкупленный и некоторою жалостью к ней, как к женщине.

VIII

Корабль высадил меня в Анконе. Отсюда я поспешил в Болонью, где, по слухам, в то время находилась штаб-квартира командующего эскадрой.

Граф Алексей Григорьевич Орлов, хотя и победитель при Чесме, в душе недолюбливал моря и, сдав ближайшее заведование флотом старшему флагману, контр-адмиралу Самуилу Грейгу, большую часть времени проживал на суше. К подчиненным он был отменно ласков и добр, любил простые шутки и, окруженный царскою пышностью, был ко всем внимателен и доступен.

Мне была памятна жизнь графа в Москве до последней кампании в греческие воды, прославившей его имя. Орловы были не чужды моей семье. Покойный мой отец был их сослуживцем в оны годы, и я, проездом из морских классов на родину, не раз навещал их московский дом. Граф Алексей Григорьевич был в особенности любимцем Белокаменной. Исполинская, пышущая здоровьем фигура графа Алеха́на, как его звали в Москве,

его красивые греческие глаза, веселый беспечный нрав и огромное богатство привлекли в его гостеприимные хоромы все знатное и незнатное Москвы.

Дом графа Алексея Григорьевича, как теперь помню, находился за Московской заставой, у Крымского брода, невдали от его подмосковного села Нескучного.

Москвичи в доме графа любовались гобеленевскими обоями, на диво фигурчатыми изразцовыми печами с золочеными ножками, собранием древнего оружия и картин. Его городской сад был украшен прудами, бассейнами, беседками, каскадами, зверинцем и птичником. А у графских ворот, в окне сторожевого домика, висела клетка с говорящим попугаем, который выкрикивал перед уличными зеваками:

— Матушке царице виват!

На баснословных пирах графа Алексея Григорьевича, за столом, под дорогими лимонными и померанцевыми деревьями его теплиц, по слухам, нередко садилось по триста и более особ.

Русак в душе, граф любил угощать гостей кулачными боями, песенниками, борцами, причем и сам мерялся силой. Он гнул подковы, завивал узлами кочергу, валил за рога быка и потешал Москву особыми шутками.

Так однажды, в осмеяние возникшей страсти щеголей к лорнетам и очкам, он послал на гулянье первого мая в Сокольники одного из своих приживальцев... Одетый наездником, последний, среди гуляющих юных модников, стал водить чалого хромого мерина, на глазах которого были огромные, оправленные жестью очки, с крупною надписью на переносице: *«А ведь только трех лет»*.

Но более всего граф привлекал к себе внимание на диво составленною псовою охотою и своими рысаками. Ни одна лошадь в Москве не могла сравниться с скакунами графа, смесью арабской крови с английскою и фрисландскою.

На конском бегу, перед домом у Крымского брода, граф Алехан зимой, как теперь его вижу, на крохотных саночках, а летом на дрожках-бегунцах собственноручно проезжал свою знаменитую, белую, без отметин Сметанку или ее соперницу, серую в яблоках, Амазонку.

Народ гурьбой бежал за графом, когда он, подбирая вожжи, в романовском тулупчике или в штофном халате, появлялся в воротах на храпящей белогривой красави-

це, покрикивая трем Семенам, главным своим наездникам: Сеньке Белому — оправить опененную уздечку, Сеньке Черному — подтянуть подпругу, а Сеньке Дрезденскому — смочить квасном конскую гриву.

Граф был игрив и на письме.

Все знают его письмо о славной чесменской победе к его брату Григорию:

«Государь братец, здравствуй! За неприятелем мы пошли, к нему подошли, схватились, сразились, разбили, победили, потопили, сожгли и в пепел обратили. А я, ваш слуга, здоров. Алексей Орлов».

Это письмо ходило у нас в копиях по рукам.

Прирожденному гуляке, кулачному бойцу и весельчаку, графу в прежние годы, до войны, никогда и во сне не снилось быть моряком. Он даже к командованию флотом в Италии явился по сухому пути. Говорили о нем много при восшествии государыни на престол. После Чесмы заговорили еще более. Для многих он был загадкой.

На смотры и свои парадные, по-придворному, приемы Алексей Григорьевич являлся с пышностью, в золоте, алмазах и орденах. Между тем, на гулянья, как в Париже, выезжал вдруг среди чопорной, гонявшейся за ним знати не только без пудры и в круглой мещанской шляпе, но даже в простом кафтане, из серого и нарочито грубого сукна. Я, как и другие, мало угадывал внутренние побуждения графа и часто от его слов недоумевал. Претонкий, великого ума был человек.

Я горел нетерпением снова после столь долгой разлуки увидеть графа, хотя данное мне поручение княжны сильно меня смущало. Перед выездом из Рагузы я письменно предупредил графа о своем избавлении от турок и сообщил, что везу ему вести о некоей важной, случайно открытой и виденной мною особе. Долго длилось мое странствие по Италии; в горах я простудился и некоторое время пролежал хворый у одного сердобольного магната.

Наконец я добрался до Болоньи.

Не без трепета, отдохнув с дороги и переодевшись, я приблизился к роскошному графскому палаццо в Болонье, узнал, что граф дома, и велел о себе доложить. За долгую неволю в плену можно было ожидать доброго привета и награды, но я был в сомнении, как встретит меня граф за свидание и переговоры, без разрешения начальства, с опасною претенденткою.

Могли, разумеется, взглянуть на это так и сяк. И если бы меня по совести спросили, как я гляжу на эту особу, я в то время усомнился бы дать искренний ответ. Доходили до меня в Рагузе кое-какие сомнительные вести о ее прошлом, о каких-то связях. Но что было за дело до ее прошлого и мало ли в какие связи она могла вдаваться, ища выхода из своей тяжкой судьбы! Да еще и были ли эти связи?

У графа меня тотчас приняли, повели рядом красиво разубранных гостиных и зал, сперва в нижнем, потом в верхнем ярусе дома.

Тридцативосьмилетний красавец-богатырь, граф Алексей Григорьевич не только дома, но и в то время на чужбине любил проводить время с голубями, до которых был страстный охотник. При моем появлении он находился на вышке своих хором, куда запросто велел лакею ввести и меня.

И что же я увидел? Этот прославленный, умный, необычайной силы и огромного роста человек, в присутствии коего все прочие люди казались быть малыми пигмеями, сидел на каком-то стульчике, у раскрытого и пыльного чердачного окошка. Пребывая здесь, от дневной духоты, в одной сорочке, он попивал из кружки со льдом какое-то прохладительное и забавлялся, помахивая платком на стаю кружившихся по двору и над крышами голубей.

— А, Кончик! Здравствуй! — сказал он, на миг обернувшись.— Что? избавился? поздравляю, братец, садись... А видишь, вон та пара, каковы?.. Эк, бестии, завились... турманом, турманом!..

Он опять махнул платком, а я, не видя, где мне сесть, стал с любопытством разглядывать его. Граф за эти годы на покое еще более пополнел. Шея была чисто воловья, плечи, как у Юпитера или бога Бахуса, а лицо так и веяло здоровьем и удальством.

— Что смотришь? — улыбнулся он, опять оглянувшись.— Голубями, видишь, тешимся, пока ты терпел у турок; здесь все глинистые да чернокромые; трубистых, как у нас, мало и не простые, брат... Да, за сто верст письма носят... диво, вот бы у нас развести... Ну, рассказывай о плене и о твоих странствиях...

Я начал.

Граф слушал сперва рассеянно, все посматривая в окно, потом внимательнее. Когда же я упомянул об особе, виденной в Рагузе, и подал от нее пакет, граф ковшиком с тарелки метнул голубям горсть зерна и, пока те, извиваясь гурьбой, слетались на выступ крыши, встал.

— Твои вести, любезный, таковы,— сказал он,— что о них надо поговорить толком. Сойдем с этой мачты в кают-компанию.

Мы сошли в нижний ярус дома, потом в сад. Граф по пути приоделся и приказал не принимать никого. Мы долго бродили по дорожкам. Отвечая на его вопросы, я вглядывался в выразительные, как бы вдруг затуманенные, глаза графа. Он меня слушал с особым вниманием.

— Ты хитришь,— вдруг сказал он, идя по саду.— Почему утверждаешь, что она самозванка, авантюрье́ра? Объяснись,— прибавил он, сев на скамью,— с чужого ли голоса ты говоришь, или убедился лично?

Я смешался, не знал, что говорить.

— Сомнителен ее рассказ о прошлом,— проговорил я,— как-то сбивается на сказку... Сибирь, отравление, бегство в Персию, сношения с владетельными дворами Европы. Как верный слуга государыни, я действовал по совести, всматривался и скажу прямо — не могу утаить сомнений.

— Согласен,— произнес граф,—об этом можно говорить так и сяк. Но вот что важно: в Петербурге о ней уже знают и пишут мне, как о побродяжке, всклепавшей на себя неподходящее имя и род.

Граф помолчал.

— Хороша побродяжка! — прибавил он, как бы про себя, загадочно.— Пусть так, не спорю... Но зачем же решили требовать ее выдачи, а в случае отказа — взять силой, даже бомбардировать рагузскую цитадель? С побродяжкой так не возятся. Такую просто и без огласки поймать... навязать камень на шею да и в воду.

Холод прошел у меня по спине при этих словах графа. Я так и вспомнил приснопамятные, июньские дни...

— То-то, братец, видно, что не побродяжка,— проговорил опять граф, глядя на меня,— *ты* как об этом думаешь?.. Ну-ка, говори начистоту.

IX

Удивили меня слова графа. Я невольно вспомнил сообщения княжны о падении силы Орловых, об удалении бывшего фаворита в Ревель и о возвышении их врагов. Досада ли, огорчение ли ослепляло графа или в самом деле он искренне поверил в происхождение княжны, только, очевидно, он со мной говорил не на ветер, и в его душе происходила некая нешуточная борьба.

— Простите, ваше сиятельство, мою дерзость,— сказал я, не вытерпев,— но, уж если вы повелеваете, я не утаю. Виденная мною особа действительно очень схожа с покойною императрицею Елисаветой. Кто не знает изображений этой государыни? Тот же величественный очерк белого, нежного лица, те же темные дугой брови, та же статность, а главное — эти глаза. Не могу не привести рассказа моей покойной украинской бабушки о родных Разумовского.

— Да! Ведь ты, Концов, сам батуринец! — живо подхватил граф.— Ну-ка, что же тебе говорила бабка?

Я сообщил о Дарагановке и о жившем там в оны годы таинственном дитяти.

— Так вот откуда эта Таракановка,— сказал граф,— верно, верно! И я некогда что-то слышал о тьмутараканской принцессе.

Он встал со скамьи. Волнение, видимо, охватило его мысли. Заложа руки за спину и понурившись, он медленно опять стал прохаживаться по тропинкам сада. Я почтительно следовал за ним.

— Концов, ты не мальчик! — вдруг сказал Алексей Григорьевич, обратя ко мне свои проницательные, соколиные глаза.— Дело великой, государственной важности. Будь осторожен, и не только в действиях или словах, в самих помыслах. Клянешься ли, что будешь обо всем молчать?

— Клянусь, ваше сиятельство.

— Так слушай же, помни... За все ответишь мне головой.

Граф помедлил и, устремив на меня задумчивый, в самую глубь души глядевший взор, прибавил:

— Не забывай же, меня ты знаешь... головой...

Мы прошли в конец сада, сели на другую, более уединенную скамью.

— Недолго поймать всклепавшую на себя,— сказал граф,— мало ли, всячески можно изловчиться, если приказывают. Да честно ли, слушай, обманом-то, тайком? а? притом с женщиной... ведь жалко было бы? правда?

— Как не жалко,— ответил я в простоте,— врагов следует побеждать, но открыто... иначе всяк назвал бы предателем, низким душегубцем.

Граф как-то живо при этом мигнул, точно в глазах его что-то пробежало.

— Ну да, милый, уж так-то подло... и мы с тобой не палачи! — произнес он.— А из Петербурга все-таки даром не напишут, и притом, как на нас там смотрят, еще вилами писано по воде... Да что! откровенно тебе скажу: оттуда уже дважды являлись ко мне тайные послы, соблазняя и склоняя против всех вверенных мне дел... Ожидал ли ты этого? Не обидно ли, после всех моих заслуг? а?

Откровенность графа поразила меня и вместе сильно мне польстила.

«Вот положение сильных мира!» — думал я, искренне жалея графа. Действительное падение фавора, его семьи мне уже было известно.

Алексей Григорьевич задал мне еще несколько вопросов о княжне и окружающих ее, сказал, что берет меня в свой ближний штаб и отпустил, с приказом остаться в Болонье и ждать его зова. Я поблагодарил за внимание и откланялся.

На другой день граф уехал в Ливорно, к эскадре, и возвратился не ближе недели. Меня к нему не звали. Будучи без денег, я сильно во всем нуждался, да и скучал. Писать в Россию было некому. Прошло еще несколько дней. За мной явились.

Граф принял меня в рабочем кабинете.

— Угадываешь ли, Концов, что я тебе скажу? — спросил он, перебирая бумаги.

— Как знать мысли вашего сиятельства?

— Вот записка; получишь у казначея деньги и прежде всего уплати долги, пошли своим заимодавцам-французам... ты обезденежел на службе... а завтра едешь в Рим...

Я поклонился и ждал дальнейших повелений.

— Знаешь, зачем? — спросил граф.

— Не могу угадать.

— Пока ты странствовал и хворал, таинственная княжна, покинутая ветрогоном Радзивиллом,— сказал граф,— оставила Рагузу. Сперва она, с неаполитанским паспортом, навестила Барлетту, пожила там, а теперь, под видом знатной польской дамы, появилась в Риме. Понимаешь?

Я снова поклонился.

— Так вот что,— заключил граф.— Я давно перед нею виноват, не отвечал ей на два письма... да и как было, среди всяких соглядатаев, отвечать?.. Пытался было к ней послать эти дни доверенного человека, твоего же сослуживца по флоту, но она его не приняла. Жаль бедную, неопытна, молода и всеми брошена, без средств. Ты сумеешь увидеть ее и начнешь с нею переговоры. Я ее приглашаю сюда... Там, слышно, есть кое-кто из русских. Разузнай-ка, да главное — обереги ее от врагов и всяких влияний. Пусть доверится нам одним; мы ей окажем помощь. А насчет совести, будь спокоен, все будет исполнено от сердца и по законам справедливости.

X

Я был ошеломлен, поражен.

«Неужели граф затевает измену? — мелькнуло у меня в мыслях.— Быть не может! Знатный патриот, герой достопамятного переворота и главный пособник Екатерины не замыслит этого! Но что же у него в уме?»

Волнуемый сомнениями, я возымел смелое, дерзкое намерение — выведать сокровенные мысли графа.

В те дни, надо сказать, вдруг пошло кем-то пущенное шептанье, будто с севера прислан тайный указ, что графа отзывают, заменяя его в команде флота другим, и все его при этом поистине жалели.

— Простите, ваше сиятельство,— сказал я графу,— завтра же я еду в Рим; вы мне поручаете дело высшей важности. Если княжна согласится на наши кондиции и примет ваш зов, осмеливаюсь спросить, что может от того произойти?

— Вот ты брандер какой, водяной вьюн,— усмехнулся Алексей Григорьевич,— и все вы, моряки, таковы — все вынь да положь. А мы, дипломаты, не любим лишней болтовни. Поживешь, сам увидишь... дело пока-

жет себя. А я верный и преданный слуга нашей государыни Екатерины Алексеевны.

— Простите, граф, великодушно,— продолжал я,— мне дается не морское, а дипломатическое дело. Я в таковых не вращался и сильно сомневаюсь... Ну, как эта особа и впрямь объявит свои права?

— О том-то я и думаю,— ответил граф.— Легко может статься, что она истинный царский отпрыск, нашей матушки Елисаветы кровь! На все надо быть готовым. Старайся, Концов: не забудутся твои услуги. И прежде всего помни, надо княжне, как женщине, помочь деньгами, вывести ее из угнетенного положения... Почем знать? И для ее величества, государыни, авось это будет приятно перед обществом. У нашей царствующей монархини сердце, ой, порою... хоть и каменное... да и она, может, сжалится, смягчится впоследствии.

Граф более и более меня поражал.

«Вот,— мыслил я,— удостоился чести, кого к себе расположил! Теперь ясно — граф не изменяет, хоть человеколюбие и увлекло его до смелого ропота и некоих сильных укоризн! Влияние Орловых пало; граф, очевидно, задумал уговорить претендентку отказаться от ее прав».

Путь, указанный графом, стал мне понятен. Я собрался и уехал, с искренним увлечением в точности исполнить порученное мне дело.

Это было в начале февраля текущего 1775 года. Кажется, так недавно, а сколько испытано, пережито.

Достигнув Рима, я отыскал графского посланца, явившегося туда ранее меня. То был лейтенант нашей же службы, как говорят, грек, а скорее полунемец, полуеврей, Иван Моисеевич Христенек. Я ему отдал порученные мне бумаги и стал его расспрашивать о предмете нашей миссии. Черный, как жук, невысокий, юркий и препротивный человек, Христенек все улыбался и говорил так вкрадчиво, а глаза чисто воровские, разом глядят и в душу, и в карман.

Я узнал от Христенека, что княжна занимала в Риме на Марсовом поле несколько комнат в нижнем ярусе дома Жуяни. Здесь она проживала в большой скрытности и недостатках во всем; за квартиру платила пятьдесят цехинов в месяц и имела всего три прислуги, ходила лишь в церковь и, кроме друга, аббата-иезуита, да, по своей хворобе, врача, не допускала к себе никого.

Христенек, присланный графом, переодетый нищим, тщетно бродил более двух недель возле двора Жуяни, ища свидания с его уединенной жилицей. Ему не доверяли и, как он ни бился и ни упрашивал прислугу, к ней не допускали. Он повел меня на Марсово поле.

Дом Жуяни стоял уединенно и особняком, в глубине двора, прикрытый спереди небольшим тенистым садом. Я подошел к двери и тихо ударил скобой. Из окна, увитого виноградными лозами, выглянула сперва незнакомая мне горничная княжны, дочь прусского капитана, Франциска Мешеде, потом видевшийся со мной в Рагузе секретарь княжны, Чарномский.

— От кого? — спросил он, с робким недоверием, оглядывая меня из-за полураскрытой двери.

Я его едва узнал; куда делась его щеголеватость и самоуверенность! Наряд на нем был приношенный, волосы не завиты, щеки без румянца, а в ушах простенькие, недорогие серьги.

— От графа Орлова,— ответил я.

— Есть письмо?

— Да вы пустите меня.

— Есть письмо? — повторил, уже принимая нахальный вид, секретарь княжны.

— Собственной графской руки,— ответил я, подавая пакет.

Чарномский схватил письмо, бегло взглянул на его немецкую надпись, как бы растерявшись, несколько помедлил и скрылся. Прошло две или три минуты. Дверь быстро отворилась. Я был впущен.

— Ах, извините, извините! — сказал, отвешивая поклоны, Чарномский.— Представьте, ведь я вас не узнал в мундире; вы так изменились; пожалуйте, милости просим... желанный гость!

Он до того изгибался и юлил, что мне показался смешным и жалким.

Княжна приняла меня в небольшой горенке, выходившей окнами в задворный, еще более уединенный сад. Здесь уже не было ни дорогих штофных обоев и бронз, как в Рагузе, ни золоченых мебелей, ни всей недавней роскоши. Сама всероссийская княжна Елисавета Тараканова, принцесса Владимирская, dame d'Azow и пленительница персидского шаха и немецких князей, лежала теперь больная на кожаной софе, прикрытая теплой, голубого бархата мантильей, и в туфлях на куньем меху.

В комнате было холодно и сыро. Тощее пламя чуть мигало в камине.

Я не узнал княжны. Ее истомленное, заострившееся лицо, с ярким румянцем на щеках, было еще обворожительно. Глаза улыбались, но они уже были не те: они напоминали взор красивой, дикой, смертельно раненной серны, избегшей погони, но понимающей свой близкий конец.

— А, наконец и вы! — робко сказала она, улыбаясь.— Вы привезли ответ графа на мое письмо... я прочла... благодарю вас... что скажете еще?

— Граф ваш покорный слуга и преданный раб,—ответил я, повторяя порученные мне слова.— Он весь к вашим услугам и у ваших ног.

Княжна привстала. Оправив пышные волны светлых без пудры волос, она, осиливая смущение, дружески протянула мне руку, которую я почтительно решился поцеловать.

— Меня все, за исключением двух близких лиц, бросили,— произнесла она, сильно и судорожно кашляя в прижимаемый к губам платок,— притом я несколько некстати и приболела... это, впрочем, пустяки!.. не будем об этом говорить... Но я, право, без всяких средств... Князь Радзивилл, его друзья и помогавшие мне французы, верите ли? все меня оставили, скрылись... И все это сделалось так неожиданно, скоро... Едва ваша армия заключила мир с Турцией, услужливые магнаты-поляки бросили меня. Я им это вспомню. А теперь скажу откровенно,— прибавила она, улыбаясь,— ну, я совсем, как есть, без денег, ни байока... нечем платить доктору, за провизию; кредиторы осаждают, грозит полиция, ведь это ужас, нечем жить.

Проговорив это, княжна опять немилосердно закашлялась и устремила на меня растерянный, молящий взгляд. Прежней уверенности в нем не было и следа.

— Ваша светлость,— сказал я, выполняя данную мне инструкцию,— вот небольшая помощь, предлагаемая вам графом. Сколько здесь, я не знаю, но граф предлагает это искренне, от души.

Я вынул и подал княжне запечатанный шифром графа его кредитив на имя римского банкира Дженкин-

са. Она прочла бумагу, провела рукой по глазам, взглянула на меня и опять закашлялась.

— Как! — вскрикнула она, с блаженной улыбкой прижимая к груди бумагу.— И это истина, не шутка?

— Столь важный и высокий сановник, как его сиятельство граф Орлов,—ответил я,—в таких делах не шутит.

Княжна стремительно вскочила с софы, захлопала в ладоши, как дитя, со смехом и слезами, быстро меня обняла, вскрикнула что-то и выбежала в смежную комнату. Там послышался ее крик: «Безграничный кредит!» — и вслед за тем ее громкое, истерическое рыдание. Прислуга засуетилась. Вошел бледный, взволнованный Чарномский.

— Ее высочество так вам благодарна! — сказал он, с чувством пожимая мне руку.— Вы первый помогли, не изменили данному слову... Это так редко; княжна, впрочем, недаром колебалась — ее столько обманывали. И наши, неблагодарные, поманили ее и бросили... граф ее приглашает в Болонью, согласится ли она, не знаю, но надо надеяться, что она решится и последует на зов графа... Она бесстрашна, предприимчива, смела, как рыцарь, и для дорогого ей дела, верьте, не побоится ничего.

— Могу ли я это сообщить графу? — спросил я.

— Подождите некоторое время... в ее положении... притом она, как видите, больна,— ответил Чарномский,— зайдите через день, через два, вам дадут знать. А пока все держите в величайшей тайне.

— Но здесь есть другие русские,—сказал я.— Они вхожи к княжне, могут ей повредить; кто они?

Чарномский, покраснев и смешавшись, искоса взглянул на меня и ответил, что об этом не знает ничего. Я удалился. Прошло несколько дней; известий о княжне не было. Мы с Христенеком бессменно сторожили в соседних австериях, поглядывая, кто посещает княжну и что будет далее. Первые дни вкруг дома Жуяни все было тихо, пустынно. Несколько раз подъезжал врач, проходила в дом какая-то женщина в черном, с черною вуалью на голове, по-видимому монахиня. Она подолгу оставалась у княжны. Раз, под вечер, слуга к ограде дома подвел красивую, наемную карету. Из ворот, укутанная голубою мантильей, пошатываясь, вышла и села в карету женщина.

— Княжна! — сказал я Христенеку. — Надо выследить, куда поедет.

Мы крикнули извозчика и поехали следом. Карета с опущенными занавесками быстро понеслась переулками, выехала на корсо и остановилась у банкирской конторы Дженкинса. Было ясно: магический ключ графского кредитива отпирал доступ к доверчивой, смелой красавице.

XI

Прошла еще неделя. От княжны не было известий. Я несколько простудился и сидел дома; ходивший же наблюдать Христенек объявил, с досадой, что чуть ли нас преважно не провели: княжна не думала собираться в Болонью.

Она, как узнал соглядатай, расплатилась с долгами. Кредиторы и полиция, грозившие ей арестом, успокоились и более ее не осаждали. Дом Жуяни на диво преобразился. У его ворот, днем и по вечерам, толпились экипажи. Штат княжны снова увеличился. Она заняла оба яруса обширного дома Жуяни, накупила нарядов, по-прежнему выезжала, посещала гулянья, галереи картин и редкостей, принимала гостей и держала открытый стол. Кстати, в это время Рим был особенно оживлен: в нем происходили выборы нового папы, на место умершего Климента XIV.

Салон княжны по вечерам навещали известные живописцы, музыканты, писатели и духовная знать. Незнакомка в черном платье в это время почти не показывалась. Я однажды только вйдел ее у ворот дома Жуяни. Встретясь со мной, она отвернулась с досадой и, как мне померещилось, произнесла как бы что-то по-русски. Я рассмотрел только ее золотистые, с сильною проседью, волосы и гневом пылавшие, серые, еще красивые глаза.

Из окон княжны слышались по временам звуки арфы, на которой она весьма искусно играла; толпа уличных зевак и оделяемых щедрою милостынею нищих до поздней ночи стояла у сквозной ограды ее дома, глазея во двор и оглашая криком и рукоплесканиями пышные, с кавалькадами, выезды княжны.

Я выздоровел и лично видел, как снова, то в красивых экипажах, то верхом на бешеных скакунах, она носилась по площадям и улицам, по-прежнему беспечна, нарядна и весела. Я невольно радовался за бедную, которой, как женщине, через меня была оказана такая поддержка. Одно было досадно: приставленный мне в помощь Христенек начинал намекать как бы на недоверие графа ко мне.

Рим заговорил о красивой гостье, как о ней говорили Венеция и изменившая, под конец даже ей враждебная, Рагуза. Христенек проведал, что банкир Дженкинс отсчитал ей, от имени графа Орлова, десять тысяч червонцев. Ожившая красавица мотала полученные деньги с безумною расточительностью, не помышляя, что им когда-нибудь настанет конец. Однажды и я был приглашен на ее вечер. Княжна казалась пышным солнцем среди окружающих ее звезд. Она играла на арфе с таким чувством, что я был глубоко тронут. Об отъезде, однако, не объяснила, а лишь мимоходом сказала:

— Будьте покойны, все устроится.

По совету Христенека, дня через два, я письменно напомнил княжне о графе. Ответа долго не было. Мы терялись в догадках; но вот однажды мне подали от нее записку с приглашением на свидание в церковь Санта-Мария-делли-Анджели.

Был вечер. Я тихо вошел в полуосвещенную, пропитанную запахом ладана церковь. Свечи у икон кое-где мерцали. Таинственная тишина наполняла пустынный сумрак колонн и молелен. В наиболее уединенном месте, скрытая выступом боковой молельни, с книжкой в руке, стояла в бархатной, модной накидке, под вуалью, стройная, худощавая особа. Я узнал княжну.

— Желание добра и всех благ моему отечеству, России, и всем моим будущим подданным,— сказала она, склоняясь над молитвенником,— во мне так сильно, что я решилась и принимаю приглашение графа. Прежде он меня пугал, я ему не верила, теперь верю. Видите, я сдержала слово: моим друзьям я объявила, что покидаю свет и навсегда уезжаю в отдаленный монастырь, где постригусь... Вам скажу другое.

Она помедлила, как бы собираясь с силами.

— Завтра я еду,— произнесла она с некоторою торжественностью,— только не в монастырь, а с вами к графу Орлову. Вы не предадите меня, не измените мне?

Я молча поклонился. Что я мог ей ответить — я, верный слуга государыни? Взор княжны пылал восторгом, надеждами; в нем не было колебаний и сомнений: передо мной стояла глубоко убежденная женщина, жалость к которой невольно охватывала меня.

— Итак, до завтра! в путь...

«Ну, слава богу! — подумал я.— Граф теперь ее отговорит, устроит ее».

Она крепко сжала мне руку, хотела еще что-то сказать и быстро вышла. Я также направился к порогу церкви. От урны с святой водой отделилась другая женщина. Она преградила мне дорогу. Я узнал в ней особу в черном, ходившую в дом Жуяни.

— Концов! — шепнула она с негодованием, по-русски, отталкивая меня в сторону, за колонны.— Вы... вы предатель?

— Как можете вы так говорить? Кто вы? — спросил я.— Если вы русская, назовите себя.

— Вам дела нет до моего имени; но вы в заговоре против этой особы... уговорили ее ехать... ее тянут в западню,— шептала, по-русски, в волнении незнакомка, сжимая мне руку.— Клянитесь... или вы изверг, такой же злодей, как те, что научили погубить другого, такого же неповинного... в Шлиссельбурге...

Мне вспомнились рассказы бабушки о кровавой драме Мировича.

— Успокойтесь,— сказал я,— перед вами честный человек, офицер... я исполняю свой долг и убежден, что княжну ожидает только улучшение ее судьбы.

Незнакомка молча указала мне на образ богоматери.

— Повторяю,— прошептал я,— княжна в безопасности; ее доля переменится к лучшему.

Она выпустила мою руку, склонилась и тихо вышла из церкви.

Я долго следил за нею глазами, стараясь угадать, кто она и почему принимает такое участие в княжне.

XII

Было двенадцатое февраля. День стоял особенно сиверкий и прохладный, хотя светлый. Княжна поместилась со свитой и слугами в несколько экипажей. У церкви Сан-Карло она раздала нищим богатую

милостыню и, провожаемая толпой артистов и знати, среди гама и криков народа, бежавшего за нею и махавшего шляпами, направилась к выезду из Рима. Прописавшись в городских воротах под именем графини Селинской, она выехала на Флорентинскую дорогу. Я поскакал вперед. Христенек следом за нею.

Шестнадцатого февраля княжна приехала в Болонью. Графа не было в этом городе; он ее ожидал в своем, более уединенном, пизанском палаццо. Шумный поезд и толпа слуг княжны, в несколько десятков человек, озадачили графа. Он, впрочем, принял гостью отменно ласково и почтительно, отвел ей невдали от себя приличное помещение, окружив ее всеми удобствами и относясь к ней точно верноподданный, при посторонних перед нею даже не садился.

Наступили дивные дела. О чем граф говорил с княжной и какие повел относительно нее негоции, про то никому не было известно. Мы угадали только, и весьма скоро, что тут оказалась азартная игра в любовь.

И действительно, княжна вскорости поселилась в графской квартире; ее свита и слуги остались в ближних домах. Христенек, с приездом княжны, стал, видимо, меня оттирать и, точно вся удача была делом его рук, выдвигался вперед. Я этим с гордостью и презрением пренебрег, так как граф не мог не видеть, что лишь моему влиянию был обязан приездом сюда княжны.

Разнесся слух, что Алексей Григорьевич подарил княжне разные вещи, в том числе медальон со своим миниатюрным, на кости портретом, осыпанный дорогими камнями, и что с ее появлением даже покинул свою любимую дотоле фаворитку, красивейшую и премилую госпожу, жену богача Александра Львовича Давыдова, урожденную также Орлову.

Сомнения не было — новая очаровательница полонила сердце графа, нашего исполина. Лев влюбился в легкокрылую бабочку. Ослепленный ею, граф даже не стеснялся: ездил с нею открыто везде — на гулянье, в оперу, в церковь.

Княжна удостоила призывать и меня; расспрашивала о том, о сем и подтвердила, что доверяет мне больше всех. Граф меня осыпал любезностями. Христенек, видя снова мое предпочтение, пустился на хитрости. Хитрый грек стал жаловаться, что княжна его обидела невниманием в Риме, что он с этим не может помириться, и она, с позволения графа, поднесла ему патент на полковничий

чин. Меня обошли. Я снес и эту выходку, видя довольство мною графа и княжны, чему вскоре увидел доказательство.

— Ну, Концов,— сказал мне однажды граф,— честь тебе и хвала, что ты дал мне случай угодить такой особе. Надо ей и на будущее устроить спокойное и безбедное житье. Не правда ли, что за прелесть! какой живой, обворожительный ум! Скажу откровенно, хоть бы жениться, бросить холостой удел...

— Что же, ваше графское сиятельство,— отвечал я,— за чем дело стало?

— Упирается, братец, говорит — соглашусь, когда буду на своем месте.

— То есть, как, извините, на своем?

— Не понимаешь?.. Когда будет в России, дома — ну, когда государыня смилуется и удостоит признать ее права.

— И в том есть надежда?

Орлов задумался.

— Полагаю,— сказал он,— дело возможное, только не повредили бы ей здешние друзья... Сильно следят тут за нею эти поляки и всякое иезуитство; еще, пожалуй, окормят нас, застрелят или попадешь где в переулке под наемный кинжал. Нужная для их смут особа...

Глаза графа смотрели тревожно; его открытое, смелое и умное лицо, видимо, было смущено. Сердечная страсть, как бы против его воли, ясно сказывалась в дрожании голоса и в каждом его слове.

Прошел день. Граф не расставался с гостьей.

— Вот беда, ума не приложу,— сказал он как-то, позвав меня,— бьюсь, бьюсь, не слушает... Если бы нашелся пособник, если бы кто ее уговорил...

— В чем? — спросил я.

— Тайно обвенчаться и бежать...

— С кем?

— Со мной...

— Что вы, ваше сиятельство? Куда?

— Хоть на край света... Да, кстати, уговори ее не носить при себе пистолетов; она чуть на днях в запальчивости не убила свою служанку Франциску...

Произнеся такое признание, атлетический, красивейший из смертных богатырь-граф стоял с краской в лице и с опущенными, как у влюбленного юноши, глазами, робко ожидая моего приговора. Что было

ответить? Я в смущении промолчал, но и здесь, как и во всем и всегда, решил остаться его преданным и покорнейшим слугою. Дело шло о свадьбе, что же тут дурного? Женясь на ней, граф шел на зов сердца, а вместе выигрывал и в положении: роднясь с царскою кровью, обращал претендентку в скромную графиню Орлову.

...Прерываю рассказ, обращаясь к действительности, к бедному нашему фрегату. Боже, что за ужас! Истерзанный бурею «Северный Орел» пять суток уносился течением неизвестно куда. Тщетно производили вычисления, промеры. Сегодня, с рассветом, мы прошли за Испанией, невдали от африканских берегов, мимо каких-то диких каменистых островов. Давали знаки. В тумане нас никто не заметил. Днем я, отбыв свою очередь, стоял на вахте. Нестерпимый, знойный береговой ветер и безбрежная ширь взволнованного, рокочущего между скал моря, корабль без мачт и руля, общее отчаяние и ни малейшей надежды спастись — вот что было перед глазами. Первый подводный камень — и все мы идем ко дну.

Ирен, далекая, ненаглядная изменница! Видишь ли ты мучения отверженного тобой, бесславно гибнущего изгнанника?

...Ночь. Снова тишина. Я опять в каюте. Господь-вседержитель! дай силы пережить хотя бы еще сутки, дописать начатое.

XIII

Истомленная команда уснула. Бодрствуют одни часовые да я.

Приступаю к изложению тягчайшего испытания жизни. Оно-то, это испытание, и составляет главнейший предлог настоящей исповеди,—да прочтутся эти строки тою, по чьей вине я скитаюсь на чужбине, а через то невольно помог совершиться деянию, назначенному мне быть в вечный суд и укор.

Это было в Болонье, куда переехал граф.

Княжна пожелала меня видеть, ласково попросила сесть и села сама. Вижу — опять у нее на щеках багровые пятна, глаза горят и вся она как бы вне себя.

— Лейтенант, я вам по тайности сообщу одно дело,— сказала она, оглядываясь.

— Слушаю, ваша светлость, можете во всем на меня положиться,— ответил я.

— Граф уезжает завтра утром в Ливорно. Слышали вы это?

— Знаю,— ответил я.

— Там, видите ли, произошла ссора и драка англичан-матросов с русскими, и графа туда приглашает его приятель, английский консул Дик.

— Что же,— произнес я,— дело пустое, скоро уладится, и граф возвратится.

— Он меня зовет с собой... Что если я не соглашусь и с ним не поеду?— спросила княжна.— Как вы думаете? он не бросит меня, как другие, не скроется навсегда?

— Помилуйте,— ответил я, исполняя мысли графа,— это простая прогулка; отчего бы вам и в самом деле не поехать с графом? Погода отменная, приятно провести вместе такой вояж.

— Да,— ответила она задумчиво,— хотелось бы и мне взглянуть на этот город и на ваш флот; граф так хвалит родных моряков.

— И прекрасно, за чем же дело стало?— сказал я, размышляя: «Да! задело графа за ретивое, не хочет с нею расстаться и на малый срок».

— И еще одно,— произнесла княжна, собираясь с мыслями.

Вижу, в ее глазах слезы, губы вздрагивают; она глядит на меня и будто меня не видит.

— Слушайте!— проговорила она, схватывая меня за руку.— Вы — честный человек... граф мне сделал предложение, сватается за меня... что вы скажете?

Я почтительно встал.

— От всего сердца поздравляю,— искренне ответил я, с поклоном,— ваши достоинства победили, удивительного нет.

— Не обманет он меня? Не предаст?— заговорила княжна вполголоса, опять оглядываясь, а губы, вижу, белые и вся вне себя.— Скажите мне правду, заклинаю вас, молю!.. Видите, я по вашему совету уже не ношу оружия, оно обижало его...

Мне пришло в голову, что в эту поездку граф мог решиться обвенчаться с нею.

— Помилуйте, ваша светлость,— сказал я и вечно буду помнить это мною сказанное роковое слово,— чего опасаетесь? Да граф в вас до безумия влюблен, мне это хорошо известно; он спит и видит, в мыслях помутился, даже хотел с вами бежать.

— Так это истина? Клянитесь вашею матерью, отцом,— произнесла она, стискивая мне руку.

— Как перед богом! Сам от него наедине слышал; он удостоил меня откровенности... А между тем, что я для него? Мелкий подчиненный, ничтожество... Он так искренне говорил...

Княжна устремила взгляд на походный, висевший в ее комнате образок спаса в терновом венке и несколько мгновений оставалась в неподвижности, как бы горячо и усердно молясь.

— Смелые только и живут! — произнесла она, вставая и выпрямляясь.— Как жену, он не предаст меня, не может предать... я еду... но помните, даром не отдам свободы и сердца... чему быть, то сбудется на днях...

Я от души вновь поздравил княжну.

— Еще слово, Концов,— остановила она меня,— скажите, да так же, как перед богом, по совести, действительно ли это тот Орлов, который помог вашей императрице взойти на престол?

— Он самый.

— Молодец, герой! — одушевленно вскрикнула княжна.— Эввúва![1] Отважный Сид, Баярд! Божья искра дает таким смелость и величие души.

Я ушел, полный радости за исход дела, хотя тайная мысль шевельнулась во мне:

«А знает ли княжна о другом, последующем подвиге графа? И почему я не сказал ей об этом его тяжком, ничем не замолимом, черном грехе?»

Я исполнял долг службы, волю начальства, но вместе жалел эту женщину. Тяжелые сомнения охватили меня, не дали в ту ночь спокойно спать.

«Долг долгом, а что если?.. Пойти утром,— шептал мне внутренний голос,— предупредить ее... время не ушло; пусть лучше и строже все обдумает и сама решит».

Чуть взошло солнце, я оделся и поспешил к дому графа. У крыльца толпился народ, подъезжали запря-

---

[1] Да здравствует! *(итал.)*

женные экипажи. Я протискался сквозь толпу. Граф с княжной уже сидел в коляске; в другом экипаже был Христенек, в третьем — часть прислуги.

— Садись, Концов, тебя только ждали! — крикнул граф.

Я бессознательно сел в экипаж к Христенеку. Поезд двинулся. Утро, после небольшого дождя, было светлое, тихое.

— Что видите вы во всем этом? — спросил меня Христенек, когда выехали.

— В чем?

— Да этот-то вояж?

— Не знаю и знать не смею,— ответил я.

— Завтра быть парочке молодых,— улыбнулся он,— обвенчаются.

— Но где же церковь?

— А флотская на что? Взойдут на адмиральский корабль, там живо их и повенчают. Для того, видно, она и согласилась туда ехать...

— Так это верно?

— Еще бы, ужели не видите?.. Граф — точно на крыльях; трудно было верить, а из сказки выходит быль.

В Ливорно графа Орлова встретил командир нашей эскадры, адмирал Самуил Карлович Грейг. Ездили потом граф и княжна с визитами к нему и к консулу Дику, катались с консулом, его женой и всею компанией в окрестностях и совершили прогулку в катерах по морю, с музыкой, везде провожаемые любопытною, гонявшеюся за ними толпой.

Вечером, во второй день пребывания в Ливорно, граф с княжной были в опере. Когда они возвратились, я из сеней отведенного графу роскошного приморского палаццо приметил сходившего с графского крыльца другого проныру, тоже грека нашей службы, Осипа Михайловича Рибаса или Де-Рибаса. Этот был тоже вроде Христенека, черен, как жук, но выше ростом и менее подвижен. Их у нас так и звали: жук и жуколица. Де-Рибас, как я узнал, еще ранее меня и Христенека, ездил с разведками о княжне в Венецию.

— Прощай, поп,— засмеялся граф в окно Де-Рибасу,— не забудь только ризы...

«Риза... и почему поп?» — терялся я в догадках, стоя у мраморной колоннады крыльца, с которого был великолепный вид на голубое, безбрежное море и эскадру.

XIV

Двадцать первого февраля была особенно приятная, почти летняя погода. В небесах ни облачка, на море тихо и везде как-то празднично радостно.

У английского консула для графа и его спутницы был дружеский завтрак. Княжна явилась туда богато и со вкусом наряжена, бойка и весела. Куда делась хвороба: щебетала с прочими гостями, гуляла по эстраде, украшенной цветами, смеялась и беспечно шутила. Все обходились с ней вежливо и с отменным вниманием. Граф Алексей Григорьевич, услуживая спутнице, то подавал ей веер и перчатки, то заботливо брал у слуг и подносил ей прохладительное. Мы видели: он не спускал с очаровательницы влюбленных, потерянных глаз. И она как бы переродилась, поздоровела; куда делся ее болезненный вид! Ее рыцарь, укрощенный лев, был у ее ног.

— Каков наш селадон,— шепнул Христенек, поглядывая на меня.— Как на покое-то, на чесменских лаврах, не пропускает герой иных побед!

Адмирал Грейг, по природе угрюмый, сосредоточенный и важный, был несколько рассеян, сидел с опущенными глазами и, как бы не примечая никого, более молчал. Кто-то взглянул в окно. Оттуда было видно море и выстроившаяся в отдалении русская флотилия. Дамы заговорили о приятности прогулки на парусах.

— Когда же, граф, покажете ваши корабли?—спросила княжна.— В Чивитта-Веккии вы устроили примерное сражение под Чесмой, осчастливили других, не удостоите ли и нас?

— Все готово! — ответил, вставая и почтительно кланяясь, Орлов.

Общество двинулось к морю.

Мужчины и дамы спустились на берег. Граф Алексей Григорьевич был особенно почтителен к княжне. Он накинул ей на плечи шаль, взял из рук слуги ее зонтик и, развернув его над нею, шел рядом с ней, осыпая ее нежно-страстными признаниями. Стоявшие у берега зрители, любуясь его генеральским, темно-зеленым с красными отворотами, раззолоченным мундиром и величественною осанкой, кричали «виват» и шептали:

— Вот парочка!



Все уселись в поданные шлюпки и катера; с княжной в раззолоченный, по-царски убранный катер поместились адмиральша Грейг и консульша Дик; граф сел с адмиралом, а мы — свитские — с слугами княжны.

Катера направились к флотилии. Эскадра встретила нас с особою пышностью: везде были флаги, офицеры на палубах стояли в парадных мундирах, матросы — на мачтах и реях. На всех судах заиграла приятная музыка. Волны слегка колыхались. Дальний берег был усыпан любопытствующими.

С адмиральского корабля «Три Иерарха» спустили разукрашенное кресло и в нем подняли с катера княжну, а за нею и прочих дам. Мы взошли по трапу.

Едва дамы ступили на борт, со всех сторон раздалось дружное «ура» и загремела пушечная пальба. Зрелище было торжественное. Народ, покрывавший улицы и набережную, в радости махал шляпами и платками. Все ждали, что Орлов и здесь произведет маневры с сожжением, для примера, негодного корабля. Множество зрительных труб было на нас направлено с берега. Десятки шлюпок с публикой стали отчаливать и подходили к судам.

На корабле «Три Иерарха» была особая суета. Адмиральская прислуга возилась с угощением, нося на палубу вина, сласти и плоды. Потчевали и нас. В кают-компании начались танцы. Молодежь с дамами усердно танцевала контрданс и котильон. Адмиральша и консульша особенно ухаживали за княжной.

Вскоре дам пригласили в особую каюту. За ними, разговаривая друг с другом, сошли туда же граф и адмирал. Последний был как бы не по себе и несколько сумрачен.

— Будут венчать графа и княжну,— сказал кто-то из офицеров вполголоса товарищу.

Я обомлел.

— Почему же здесь? — спросил тот, кому это было сказано.— Что за таинственность и поспешность?

— Русской церкви нет ближе; адмирал уступил корабельную — княжна потому и приехала в Ливорно и на этот корабль.

Спустя некоторое время, по особому зову, под палубу спустились кое-кто из свитских, в том числе и, молча переглянувшиеся, оба грека нашей службы, пронырливые и ловкие Рибас и Христенек. Мне при этом

почему-то вспомнились загадочные слова графа Рибасу: «поп и риза». Духовенства на корабле, между тем, не было видно.

Палуба несколько опустела. Офицеры ходили, весело беседуя и наводя лорнеты на публику в шлюпках. Музыка на корме играла веселый марш, потом арию из какой-то оперы.

Под палубой, между тем, произошло нечто доныне в точности неизвестное. Одни после утверждали, что за угощением была только вновь открыто провозглашена помолвка графа и княжны и все при этом торжественно пили за здравие жениха и невесты. Другие чуть не клятвенно утверждали, будто в особой каюте для вида и в исполнение слова, данного княжне, совершилось самое венчание ее и графа и что роли иерея и дьякона при этом кощунственно играли, переряженные в церковные флотские одежды, Христенек и Рибас; первый был дьяконом, а второй — попом.

Но я забегаю вперед. Надо возвратиться на палубу «Трех Иерархов».

Нет сил, сердце надрывается и перо падает из рук при мысли о том, что я здесь вскоре увидел. И где бы я ни был, останусь ли чудом господним жив, или погибну в безднах волн, воспоминание об этом не умрет во мне до последнего вздоха.

Палуба оживилась. Все, бывшие в каюте, снова взошли на палубу, разместились говорливыми кучками по бортам и на рубке. Слышались остроты, смех. Слуги разносили прохладительное и вино.

Княжна сидела у борта. Поднимался ветер, свежело. Она знаком головы ласково подозвала меня к себе. Я ей помог надеть мантилью.

— Ввек не забуду! — шептала она, с восторженною, блаженною улыбкой горячо пожимая мне руку.— Вы сдержали слово; сон сбывается, я буду скоро в России, а там, отчего не надеяться?.. Провозгласят и будущую царицу Елисавету Вторую... Век чудес! Чем была давно ли сама нынешняя императрица?

Меня поразили эти слова. Я промолчал, смущенный безумным бредом ослепленной женщины.

С «Трех Иерархов» в это время дали знак особым флагом. Раздались новые пушечные салюты. Загремело «ура». На всех кораблях опять заиграли оркестры.

Эскадра начала маневры.

Восхищенная общим вниманием будущих подданных, княжна, облокотясь о борт, стояла в приятной задумчивости, следя взглядом за сигнальными дымами выстрелов и за начавшимся движением кораблей. Как теперь, вижу ее в голубой бархатной мантилье, в черной соломенной шляпке и с белым зонтиком в руке.

Забылся при этом и я, рассуждая:

«Да, дело сделано! граф нашел подругу жизни, сумеет ее наставить и, вразумив, поспешит с нею к стопам милосердной императрицы».

XV

— Ваши шпаги, господа! — раздался вдруг поблизости от меня громкий, настойчивый голос.

Я оглянулся.

Капитан гвардии Литвинов обращался поочередно к адъютантам и к прочей свите графа, отбирая у всех шпаги. Вооруженные матросы наполняли всю палубу. Адмирала Грейга, его жены и консульши уже здесь не было. Я в изумлении, вслед за другими, также подал капитану шпагу.

Княжна, заслышав бряцание ружей и говор, быстро обернулась. Ее лицо было бледно. Она мигом все поняла.

— Что это значит? — спросила она по-французски.

— По именному повелению ее императорского величества вы арестованы! — ответил ей на том же языке капитан.

— Насилие? — вскрикнула княжна.— На помощь!.. сюда!

Она бросилась к трапу, протискиваясь слабыми руками сквозь сомкнутый военный строй. Загорелые, хмурые лица матросов удивленно и молча смотрели на нее.

Литвинов заступил ей дорогу.

— Нельзя,— сказал он,— успокойтесь.

— Вероломство! Проклятие! — бешено проговорила она.— Так поступать с женщиной, с прирожденной вашей княжной! слышите ли? дайте дорогу! — кричала она солдатам по-французски.— Где граф Орлов? позовите, ведите его... вы ответите за все!

— Граф, по приказанию государыни и адмирала, также задержан,— ответил ей, вежливо кланяясь, Литвинов,— он арестован, как и вы...

Княжна громко вскрикнула, отступила... Ее гаснущий взор заметил меня в стороне. Он с укоризной, как нож, скользнул по моему сердцу, как бы говоря: «Ты виновник, ты погубил меня...» Она пошатнулась и упала без чувств.

Матросы снесли ее в каюту.

Прислуга княжны, кроме горничной, оставленной при ней, была также арестована и, под строгим надзором, перевезена на другой корабль.

Потрясенный до глубины души всем, что произошло на моих глазах, я вне себя опомнился в какой-то полутемной корабельной каморке. Поднял голову и вижу, что взаперти со мной, под караулом, сидит и сам главный предатель, Христенек. Это меня непомерно удивило. Мой товарищ сидел, впрочем, спокойно. Развалясь и доедая что-то прихваченное из сластей, он изредка поглядывал на нашу затворенную дверь

— Удивляетесь? — спросил он меня.— Не правда ли, ведь чудеса?

— Да, есть чему подивиться,— ответил я, насилу одолевая к нему отвращение.

— Иначе было нельзя,— сказал он.

— Почему?

— Только приманка брака и соблазнила эту искательницу приключений.

— Но для чего было играть чувствами, сердцем! — проговорил я, не стерпев.

— Иначе ее не заманили бы на флот.

— Были другие способы,— возразил я.— Мне известно, граф клятвенно признавался ей в любви, а, став его женою, она и без того охотно доверилась бы нашей эскадре.

— Эх, любезный Концов,— простота! — проговорил с улыбкой грек.— Ужели, извините, ранее не угадали? Да в то именно время, когда граф играл с княжной в самые нежные амуры, я, под его диктант и от его имени, писал государыне, что здесь, для уловления этой авантюрьеры, решились на все — хоть, без дальнейших слов, камень ей на шею да в омут.

— Что же вы и впрямь ее не утопили? — смело воскликнул я, не помня, что говорю.— Это не в пример было бы лучше для обманутой, несчастной, чахоточной...

— Проживет еще,— сказал Христенек.— Повелено схватить ловко, без шума; в точности и исполнили.

Я с негодованием слушал эти холодные, жесткие слова. Издевательство наглого грека выводило меня из себя.

— Ну полно, друг,— произнес Христенек,— успокойте рыцарские свои чувства, все пустяки! В наше время, помните, главное — отвага и в самой дерзости умная и ловкая острота. Ты успел — могуч и богат; не успел — бедность или того хуже — Сибирь. Вставайте-ка лучше, разве не видите? пора...

Подняв голову, я увидел, что наша каморка уже отперта и за дверью, улыбаясь, гурьбой стояли, подгулявшие и веселые, прочие моряки.

Меня и грека позвали в капитанскую. Там красовалась батарея вин, дымились трубки, кипел пунш. Нас заставили выпить и отпустили на берег. Граф, как я узнал, в это время был с адмиралом у консула. Там они обсуждали свои дальнейшие действия.

Настал вечер. Улицы Ливорно шумели негодующею, взволнованною толпой. Русские жались по квартирам. Я бессознательно схватил шляпу и плащ, прошел окольными переулками за город и оттуда на взморье.

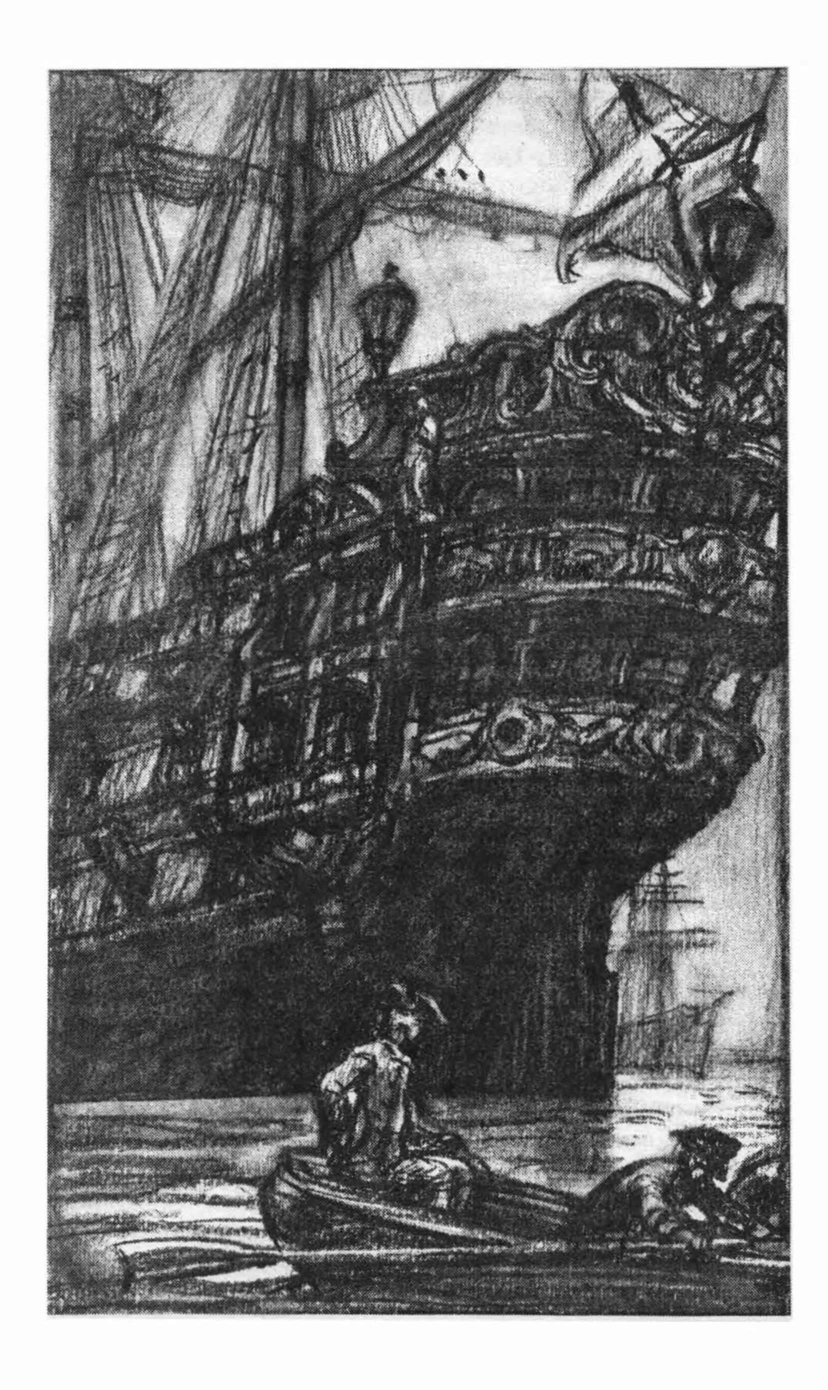
XVI

Я упал на берег. Боже, какая казнь! Слезы меня душили. Я ненавидел, проклинал весь мир.

«Как,— мыслил я,— совершилось такое безбожное, вопиющее дело! и я во всем этом был соучастник, пособник?»

Я дрожал от негодования и бешенства, с ужасом вспоминая и перебирая в уме все возмутительные подробности и мелочи, весь адский расчет и предательство того, кому я был так предан и кто не постыдился играть священнейшим чувством — любовью. Мне представилась в эти минуты бедная, всеми обманутая, убитая горем женщина. Я ее вообразил себе душевно истерзанною, в тюрьме, может быть в цепях, под охраной грубых солдат.

«И в какое время это сделалось? — мыслил я.— Когда так нежданно все ей улыбалось, исполнялись все ее золотые, несбыточные грезы и мечты. Она, тайная дочь бывшей императрицы, увидела наконец у своих ног



первого сановника новой государыни. С флота неслись приветственные клики, пальба. Что она должна была чувствовать, что пережить?»

Из-под скалы, где я лежал, мне был виден закат солнца, золотившего последним блеском холмы, верхи городских церквей и чуть видные в море очертания кораблей.

— Позор, позор! — шептал я себе.— Граф Орлов навек запятнал себя новым, еще более черным делом. Ни чесменские, ни другие лавры не укроют его отныне перед людским и божьим судом. А с ним, по заслуге, ответим и все мы, его пособники в этом поступке.

Отчаянье и скорбь во мне были так сильны, что я готов был лишить себя жизни.

«Нет, кайся, всю жизнь кайся! — твердил во мне внутренний голос.— Ищи искупить свой тяжкий грех».

С адмиральского корабля прозвучал пушечный выстрел. С прочих, более близких судов послышались звуки зоревой музыки. Там молились. Море одевалось сумраком. У брандвахты и по берегу зажигались сторожевые огни.

Я встал и, еле двигая ноги, побрел в город. Там меня ожидал ординарец графа. Я пошел за ним.

— Ну, Концов, признайся, удивлен? — спросил, встретив меня, Алексей Григорьевич.

Речь отказывалась мне служить. Да и что я мог ему ответить? Этот, наделенный всеми благами жизни, богатырь, этот лихач и умница, осыпанный почестями сановник, еще недавно мой кумир, был теперь мне противен и невыносим.

— Ты думаешь, я не помню, забыл? — продолжал он, как бы избегая на меня глядеть.— Ведь главнейше я тебе во всем обязан... Не будь тебя и ее веры в твое участие, не так бы легко сдалась пташка...

Слова графа добивали меня. Я стоял ошеломленный, растерянный.

— Может быть, тебе неизвестно,— как бы в утешение мне сказал граф,— успокойся... из Петербурга, насчет этой дерзкой, всклепавшей на себя несбыточное имя и природу, пришел несомненный приказ: схватить и доставить ее туда во что бы то ни стало. Теперь понял?

Я в смущении продолжал молчать.

— Самозванка в наших руках,— закончил граф,— воля монаршая соблюдена, и арестантку вскорости повезут на север. Будет немало розысков, докопаются до главных корней... Это дело не одних чужих рук; замешан кое-кто и из наших вояжиров. В бумагах этой лгуньи оказались весьма знакомые почерки...

«Ты радуешься, будут новые аресты, розыски! — подумал я.— А что сам-то сделал, безжалостный, каменный человек?»

— Что же ты молчишь? — спросил граф.

— Город волнуется,— ответил я,— сходбища, крики, угрозы. Берегитесь, граф,— прибавил я, не преодолевая отвращения к нему.— Это не Россия... пырнут, как раз.

— А ты вот что, милый,— нахмурился граф,— кто тронет тебя или кого другого из наших и станет грозить, укажи только на море... семьсот пушек, братец, прямо оттуда глядят! Махну им, будет здесь гладко и чисто. Так всякому и скажи! А я их не боюсь...

«Хвастун!» — подумал я, холодея от злобы, и ушел от графа молча, даже не поклонившись ему.

XVII

Прошло еще несколько тяжелых, невыносимых дней. Ливорнцы, действительно, шумели и стали грозить открытым насилием. Негодующая чернь с утра до ночи стояла перед двором графа, изредка кидая в ворота камнями. Графа охранял сильный отряд матросов. Лодки, наполненные дамами и знатными горожанами, то и дело отплывали из гавани. Они сновали вкруг наших кораблей, ожидая, не увидят ли где в окно несчастную пленницу?

Меня посылали на «Трех Иерархов». Граф поручал отвезти туда письмо и пачку французских книг. После я узнал, что это была посылка княжне. Возвращаясь в город, я вдруг услышал крик, оглянулся с лодки и замер: в открытом окне «Трех Иерархов» виднелось припавшее к решетке бледное лицо, и чья-то рука мне махала платком. Я также подал знак рукой. Был ли он, в плеске волн, замечен с корабля — не знаю.

Матросы усердно ложились на весла. С моря дул свежий ветер. Лодка быстро неслась, ныряя по расходившимся волнам.

Прошел слух, что эскадра на днях снимается. Куда было ее назначение, никто не знал. Я собирался разведать, останусь ли при штабе графа, и только что взялся за шляпу, в комнату кто-то вошел. Оглянулся — у порога стояла черная фигура. Я разглядел в ней русскую незнакомку церкви Санта-Мария. Примятый и запыленный наряд показывал, что она недавно с дороги.

— Узнали? — спросила она, откидывая с головы вуаль, причем ее золотистые, кудрявые волосы оказались еще более седы.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Так-то вы ручались и уверяли? — произнесла она, подступая ко мне.— Где же ваши уверения, что вы честный человек?

— Выслушайте меня... я не виноват,— начал я.

— Изверги, злодеи! — вскрикнула она.— Устроили западню, заманили, сгубили бедную и думают, что это так им пройдет. Вы покойны? Ошибаетесь— час расплаты близок, он настанет...

Она так приступала ко мне, что я подался в угол, к открытому окну. Окно было в нижнем ярусе дома и выходило в сад. Я обрадовался, приметив, что в саду в это время не было никого. Шум мог привлечь любопытных и повредил бы незнакомке, которой посещение мне было непонятно и разубедить которую, как мне казалось, было трудно.

— Вы не виноваты? — спросила она.— Не виноваты?

— Да, я действовал честно! Вы увидите, я докажу...

— Отвечайте... Вы советовали княжне ехать? Убеждали ее?

— Убеждал...

— Говорили ей о возможности брака с Орловым? Не прибегайте к уверткам, слышите ли, мне нужен прямой ответ! — твердила эта женщина, в крайнем волнении и вся трясясь.

— Брак мне был заявлен самим графом, он клятвенно уверял.

— А, вероломные предатели! Смерть тебе! — Неистово вскрикнула незнакомка, взмахнув при этом рукой.

Я не успел отшатнуться. В упор грянул выстрел. Клуб дыма заслонил мне лицо. Я рванулся, схватил безумную за руку. Она, с искаженным от гнева лицом, отбиваясь, выстрелила еще раз, и, к счастью, также неудачно. Отняв у нее пистолет, я выкинул его в сад. Сбежалась прислуга, стали стучать в дверь прихожей. Я бросился туда и,

через силу поборая волнение, сказал, что разряжал в окно пистолет и что не произошло ничего опасного. Меня оставили, недоверчиво поглядывая на меня.

Замкнув дверь прихожей, я возвратился к незнакомке. Я был в неописанном состоянии.

— Ах, ах! — твердил я.— Что вы сделали, на что решились! И за что, за что?

Гостья, припав к столу головой, в беспамятстве рыдала. Я прошелся по комнате и невольно взглянул в зеркало: на мне не было лица, я себя не узнал.

— Слушайте же,— проговорил я наконец гостье, не перестававшей плакать,— вы должны знать, что я сам стал жертвой возмутительного обмана.

И я начал рассказ.

— Вы видите,— сказал я, кончив,— господь смилостивился, я жив... Объяснитесь же и вы....

Незнакомка долго не могла выговорить ни слова. Дав ей напиться, я предложил ей выйти в сад. Здесь к ней возвратилась речь. Раза два она несмело взглядывала на меня, как бы моля о снисхождении, наконец также заговорила.

— Моя история более печальна,— сказала она со слезами, когда мы прошли несколько дорожек и сели,— но я так перед вами виновата, так,— прибавила она, закрыв лицо руками,— вы никогда не простите меня.

— Успокойтесь,— произнес я, мало-помалу придя в себя.— Я готов, я забуду... все от бога, все в его власти.

Незнакомка обратила ко мне бледное, убитое лицо, схватила меня за руку и опять зарыдала.

— Вы так великодушны,— прошептала она,— слышали ли о судьбе Мировича?

— Слышал.

— Я — виновница его покушения.. Я его бывшая невеста, Поликсена Пчёлкина.

Я остолбенел... Все подробности дела Мировича, слышанные мною десять лет назад от покойной бабушки, встали в моей памяти. Нагнувшись к гостье, я взял ее руку, стрелявшую в меня, и с чувством ее пожал.

— Говорите, говорите,— произнес я.

— В России оставаться мне было нельзя,— продолжала она, как-то странно, скороговоркой,— десять лет я скиталась в разных местах, была в монастырях на Волыни и в Литве, служила больным и немощным.

Будучи год назад опять за Волгой, я первая получила неясные сведения о княжне Таракановой, принцессе Азовской и Владимирской. Меня к ней вызвали таинственные, мне самой неизвестные лица. Вы поймете, как я к ней стремилась... Я искала с нею встречи. Снабженная от тех лиц средствами, я познакомилась с княжною сперва в переписке, потом лично в Рагузе и уверовала в нее. О, как я желала ей счастья, искупления прошлого! Я ее охраняла, учила родному языку, истории, снабжала ее советами. Я следила за нею с ее выезда из Рагузы до Рима, писала ей, заклинала остерегаться, убежденная, что ей предназначен высокий удел. Остальное вы знаете... Каков же был мой ужас, когда я узнала о ее аресте!.. Я останусь в Ливорно, буду ждать... О, ее освободят, отобьют ливорнцы... Скажите, что вы думаете о ней? Убеждены ли вы, что она не самозванка, а действительно дочь императрицы Елисаветы?

— Не могу этого ни утверждать, ни отрицать.

— Я же в том убеждена, срослась с этою мыслью и не расстанусь с ней.— Пчёлкина встала, набросила на голову вуаль, глядя мне в глаза, крепко сжала мне руку, еще что-то хотела сказать и, пошатываясь, вышла.

— Добрый вы, мягкий!.. До лучших времен! — проговорила она, оглянувшись в калитке сада.

Я еще раз или два видел эту загадочную особу, навестив ее, по условию, в небольшой австерии, под вывеской лилии, у монастыря урсулинок, где она приютилась. У нее была надежда, что княжну могут спасти в Англии или в Голландии, куда должна была зайти по пути наша эскадра.

— Она... гонимая... ниспослана возродить отечество! — твердила Поликсена, когда я с ней расстался.— И я верю, она не погибнет, ее избавят, спасут.

В ночь на двадцать шестое февраля нашей эскадре, под флагом контр-адмирала Грейга, нежданно было велено сняться с якоря и плыть на запад. Христенек с донесениеми графа императрице поехал сухим путем. Ему было велено явиться в Москву, где в то время, после казни Пугачева, государыня проживала со всем двором.

Граф Алексей Григорьевич одновременно оставил Ливорно. Долее пребывать здесь ему было небезопасно. Раздраженные его поступком, сыны пылкой и некогда

вольной Италии так враждебно под конец к нему относились, что граф, несмотря на дежурный при нем караул, почти не выезжал из дому и, боясь отравы, сидел на одном хлебе и молоке.

Я отправился несколько позднее. Мне как бы особым велением рока было приказано возвратиться на особо снаряженном фрегате «Северный Орел». На этот фрегат взяли больных и немощных из команды и, между прочим, собранные с таким трудом в греческих и турецких городах вещи графа — картины, статуи, мебель, бронзу и иные редкости. То были плоды графских побед и его усердных в течение нескольких лет приватных собираний. Я увидел при этом и презенты, полученные графом от княжны, в том числе и ее, столь схожий с императрицей Елисаветой, портрет.

Судьбы божьи неисповедимы. Мы выправили бумаги, кончили снаряжение, подняли паруса и поплыли. Но едва «Северный Орел», нагруженный богатством графа, вышел из гавани, нас встретила страшная буря. Не мог я сказать фрегату: «Цезаря везешь!» Долго мы носились по морю, отброшенные сперва к Алжиру, потом к Испании. За Гибралтаром у нас сорвало обе мачты и все паруса, а вскоре мы потеряли руль.

Более недели нас влекло течением и легким ветром вдоль африканских берегов, к юго-западу. Все пали духом, молились. На десятые сутки, со вчерашнего дня, ветер окончательно затих. Я пишу... Но можно ли ожидать спасения в таком виде? Фрегат, как истерзанный в битве, безжизненный труп, плывет туда, куда его несут волны.

Еще минул безнадежный и тягостный день. Близится снова страшная, непроглядная ночь. Громоздятся тучи; опять налетает ветер, пошел дождь. Берега Африки исчезли, нас уносит прямо на запад. Волны хлещут о борт, перекатываясь чрез опустевшую, разоренную палубу. Течь в трюме увеличилась. Измученные матросы едва откачивают воду. Пушки брошены за борт. Мы по ночам стреляем из мушкетов, тщетно взывая о помощи. В море никого не видно. Нас, погибающих, никто не слышит. Трагическая, страшная судьба! Гибель на одиноком корабле, без рассвета, без надежд, с военною добычею полководца...

Где же конец? У каких скал или подводных камней нам суждено разбиться, пойти ко дну? Оплата за деяния других. Роковая ноша графа Орлова не угодна богу.

...Три часа ночи. Моя исповедь кончена. Бутыль готова. Допишу и, если не будет спасения, брошу ее в море.

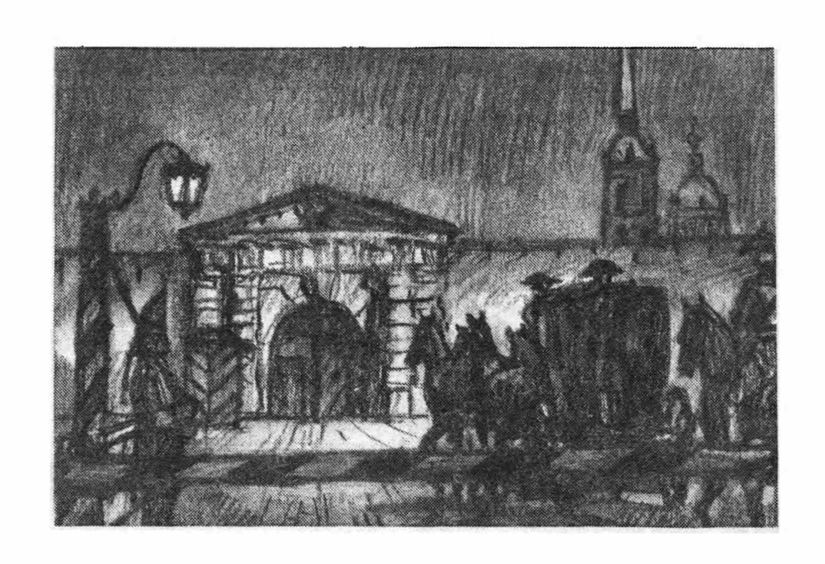
Еще слово... Я хотел сообщить Ирен последнее напутствие, последний завет... Ей надо знать... Боже, что это? ужели конец? Страшный треск. Фрегат обо что-то ударился, содрогнулся... Крики... Бегу к команде. Его святая воля...

....

Бутыль была брошена за борт со вложенною в нее тетрадью и запиской. Последняя была на французском языке: «Кому попадется эта рукопись, прошу отправить ее в Ливорно, на имя русской, госпожи Пчёлкиной, а если ее не разыщут, то в Россию, в Чернигов, бригадиру Льву Ракитину, для передачи его дочери, Ирине Ракитиной.

Мая 15—17, 1775 года.

Лейтенант русского флота
Павел Концов».



ЧАСТЬ II

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН

XVIII

Лето 1775 года императрица Екатерина проводила в окрестностях Москвы, сперва в старинном селе Коломенском, потом в купленном у князя Кантемира селе Черная Грязь. Последнее, в честь новой хозяйки, было названо Царицыном и со временем, по ее мысли, должно было занять место подмосковного Царского села.

У опушки густого леса, среди прорубленных вековечных кленов и дубов, был наскоро выстроен двухэтажный деревянный дворец, с кое-какими службами, скотным и птичьим дворами.

Из окон нового дворца императрица любовалась рядом обширных, глубоких прудов, окруженных лесистыми холмами. На неоглядных скошенных лугах копошились белые рубахи косцов и красные и синие поневы гребщиц. За этими лугами виднелись другие, еще не

тронутые косой, цветущие луга. Далее чернели свежераспаханные нивы, упиравшиеся в новые зеленые холмы и луга. И все это золотилось и согревалось безоблачным вешним солнцем.

Здесь жилось просто и привольно. В наскоро приноровленные, весь день раскрытые окна несся запах сена и лесной древесины. В них налетали с реки ласточки, с лугов стрекозы и мотыльки.

Свита с утра рассыпáлась по лесу, собирала цветы и грибы, ловила в прудах рыбу, каталась по окрестным полям.

Екатерина, тем временем, в белом пудромáнтеле и в чепце на запросто причесанных волосах, сидя в верхней рабочей горенке, писала наброски указов и письма к парижскому философу и публицисту барону Гримму.

Она ему жаловалась, что ее слуги не дают ей более двух перьев в день, так как им известно, что она не может равнодушно видеть клочка чистой бумаги и хорошо очиненного пера, чтоб не присесть и не поддаться бесу бумагомарания.

И в то время, когда целый мир ломал голову над политикой русской императрицы: что именно она предпримет относительно разгромленной ею Турции? или повторял запоздалые вести об укрощенном заволжском бунте, о недавней казни Пугачева и о захваченной в Ливорно таинственной княжне Таракановой,— Екатерина с удовольствием описывала Гримму своих комнатных собачек.

Этих собачек при дворе звали: сэр Том Андерсон, а его супругу, во втором браке, леди Мими, или герцогиня Андерсон. Они были такие крохотные, косматые, с тоненькими умными мордочками и упругими, уморительно, в виде метелок, подстриженными хвостами. У собачек были свои особые, мягкие тюфячки и шелковые одеяла, стеганные на вате рукой самой императрицы.

Екатерина описывала Гримму, как она с сэром Томом любит сидеть у окна и как Том, разглядывая окрестности, опирается лапой о подоконник, волнуется, ворчит и лает на лошадей, тянущих барку у берега реки. Виды однообразны, но красивы. И сэр Том с удовольствием глядит на холмы и леса, и на тихие, тонущие в дальней зелени сады и усадьбы, за которыми в голубой дали чуть виднеются верхи московских колоколен. Сельская дичь

и глушь по душе сэру Андерсону и его супруге. Они ими любуются, забыв столичный шум и блеск, и неохотно, лишь поздно ночью, идут под свое теплое, стеганое одеяло.

Хозяйке также нравятся эти глухие русские деревушки, леса и поля.

«Я люблю нераспаханные, новые страны! — писала Екатерина Гримму.— И, по совести, чувствую, что я годна только там, где не все еще обделано и искажено».

XIX

Свежий воздух подмосковных окрестностей иногда туманился. Набегали тучки, сверкала молния, погромыхивала гроза. При дворе были свои невзгоды.

Немало заботы Екатерине причинило разбирательство дела Пугачева. Он перед казнью всех изумлял твердою надеждой, что его помилуют и не казнят.

«Негодяй не отличается большим смыслом... он надеется! — писала государыня по прочтении последних допросов самозванца.— Природа человеческая неисповедима».

Пугачева четвертовали в январе.

В половине мая Екатерине донесли о прибытии в Кронштадт эскадры Грейга с княжной Таракановой. Переписку с Орловым о самозванке императрица послала петербургскому главнокомандующему, князю Голицыну, и отдала ему приказ:

«Сняв тайно с кораблей доставленных *вояжиров,* учините им строгий допрос».

Князь Александр Михайлович Голицын, разбитый некогда Фридрихом Великим и впоследствии, за войну с турками, произведенный в фельдмаршалы, был важный с виду, но добродушный, скромный, правдивый и чуждый дворских происков человек. Его все искренне любили и уважали.

Двадцать четвертого мая он призвал преображенского офицера Толстого, взял с него клятву молчания и приказал ему отправиться в Кронштадт, принять там арестантку, которую ему укажут, и бережно сдать ее обер-коменданту Петропавловской крепости Андрею Гавриловичу Чернышеву.

Толстой исполнил поручение; ночью на двадцать пятое мая в особо оснащенной яхте он проехал в Неву, тихо подплыл к крепости и сдал пленницу. Ее сперва поместили наскоро в комнаты под комендантскою квартирою, потом в Алексеевский равелин. Секретарь Голицына Ушаков уже приготовил о ней подробные выдержки из бумаг, присланных государыней.

Ушаков был проворный, вертлявый пузан, вечно пыхтевший и с улыбкой лукавых, зорких глаз повторявший:

— Ах, голубчики, столько дела, столько! из чести одной служу князю... давно пора в абшид, измучился...

Князь Голицын обдумывал выдержки, составленные Ушаковым, приготовил по ним ряд точных вопросов и доказательных статей и с напускною, важною осанкою, так не шедшею к его добродушным чертам, явился в каземат пленницы. Его смущали вести, что на пути, в Англии, арестантка чуть не убежала, что в Плимуте она вдруг бросилась за борт корабля в какую-то, очевидно ожидавшую ее шлюпку, и что ее едва удалось снова, среди ее воплей и стонов, водворить на корабль. Князь боялся, как бы и здесь кто-либо не вздумал ее освобождать.

Испуганная, смущенная нежданною, грозною обстановкою, пленница не отвергала, что ее звали и даже считали всероссийскою великою княжною, мало того, ею прямо и сразу было заявлено, что она действительно и сама, соображая свое детство и прошлое, силою вещей привыкла себя считать тем лицом, о котором говорили найденные у нее будто бы завещание императора Петра I в пользу бывшей императрицы Елисаветы и завещание Елисаветы в пользу ее дочери.

В Москву был послан список с этого допроса. Екатерину возмутила дерзость пленницы, особенно приложенное к допросу письмо на имя государыни, скрепленное подписью «Elisabeth».

— Voila une fieffée canaille! [1] — вскричала Екатерина, прочтя и скомкав это письмо.

В кабинете императрицы в то время находился Потемкин.

— О ком изволите говорить? — спросил он.

---

[1] Вот отъявленная негодяйка! *(фр.)*

— Все о той же, батюшка, об итальянской побродяжке.

Потемкин, искренне жалевший Тараканову по двум причинам: как женщину и как добычу ненавистного ему Орлова,— начал было ее защищать. Екатерина молча подала ему пачку новых французских и немецких газет, сказав, пусть он лучше посмотрит, что о ней самой плетут по поводу схваченной самозванки, и тот, сопя носом, с досадой уставил свои близорукие глаза.

— Ну, что?—спросила Екатерина, кончив разбор и просмотр бумаг.

— Непостижимо... сколько сплетней! Трудно сказать окончательное мнение.

— А мне все ясно,—сказала Екатерина,— лгунья—тот же подставленный нам во втором издании маркиз Пугачев. Согласись, князь, как бы мы ни жалели этой жертвы, быть может, чужих интриг, нельзя к ней относиться снисходительно.

Голицыну в Петербург были посланы новые наставления. Ему было велено «убавить тону этой авантюрьере», тем более что «по извещению английского посла, арестантка, по всей видимости, была не принцесса, а дочь одного трактирщика из Праги».

Пленнице передали это сообщение посла. Она вышла из терпения.

— Если бы я знала, кто меня так поносит,— вскрикнула она, с дрожью и бранью,— я тому выцарапала бы глаза!

«Боже! да что же это?—с ужасом спрашивала она себя, под натиском страшных, грозно ложившихся на нее стеснений.—Я прежде так слепо, так горячо верила в себя, в свое происхождение и назначение. Неужели они правы? Неужели придется под давлением этих безобразных, откапываемых ими улик отказаться от своих убеждений, надежд? Нет, этого не будет! Я все превозмогу, устою!»

С целью «поубавить тона», с арестованною стали поступать значительно строже; лишили ее на время услуг ее горничной и других удобств. Стали ей давать более скромную, даже скудную пищу. Это не помогло. Ни просьбы, ни угрозы лишить ее собственной одежды, света и одеть в острожное платье не вынудили у

пленницы раскаяния, а тем более желаемого сознания, что она обманщица, а не княжна.

— Я не самозванка, слышите ли? — с бешеным негодованием твердила она Голицыну.— Вы — князь, а я — слабая женщина... именем милосердного бога умоляю, не мучьте, сжальтесь надо мною.

Князь забыл свое поручение, начал ее утешать.

— Я беременна,— проговорила, плача, арестантка,— погибну не одна... Отошлите меня, куда знаете, к самоедам, опять в сибирские льды, в монастырь... но, клянусь, я ни в чем не повинна...

Голицын собрался с мыслями.

— Кто отец ожидаемого вами дитяти? — спросил он.

— Граф Алексей Орлов.

— Новая неправда,—сказал Голицын,— и к чему она? Не стыдно ли так отвечать доверенному лицу государыни, старику?

— Я говорю правду, как перед богом! — ответила, рыдая, пленница.— Свидетели тому адмирал, офицеры, весь флот...

Изумленный Голицын прекратил расспрос и о новом сознании арестантки донес в тот же день в Москву.

— Негодная, дерзкая тварь! — вскрикнула Екатерина, прочтя это сообщение Потемкину.— Чем изворачивается новое издание выставленного нам поляками Пугачева!.. Нагло клевещет на других!

— Но если тут не без истины? — произнес Потемкин.— Слабую, доверчивую женщину так легко увлечь, обмануть.

— О, быть не может! — возразила Екатерина.— Впрочем, граф Алексей Григорьевич скоро будет сюда,— он объяснит нам подробнее об этой, им арестованной лже-Елисавете... А вы, князь, в рыцарской защите женщин, не забывайте главного — спокойствия государства. Мало мы с вами пережили в недавний бунт.

Потемкин замолчал.

Орлова ждали со дня на день. Он спешил из Италии к торжеству празднования турецкого мира. Голицыну тем временем было послано приказание: отнять у арестантки излишнее, не положенное в тюрьме платье и, удалив ее горничную, приставить к ней, для бессменного надзора, двух надежных часовых.

XX

Упорство пленницы было Екатерине непонятно и выводило ее из себя.

— Как! — рассуждала она.— Сломлена Турция. Пугачев пойман, сознался и всенародно казнен... а эта хворая, еле дышащая женщина, эта искательница приключений... ни в чем не сознается и грозит мне, из глухого подземелья, из норы?

Потемкин, узнав от Христенека подробности ареста княжны, мрачно дулся и молчал. Екатерина относила это к припадку его обычной хандры.

Вскоре и другие из ближних императрицы узнали, каким образом Орлов заманил и предал указанное ему лицо, и сообщили об этом государыне через ее камер-юнгферу Перекусихину. Екатерина сперва не поверила этим слухам и даже резко выговорила это своей камеристке. Секретный рапорт прямого, неподкупного Голицына о положении и признании арестантки вполне подтвердил сообщение придворных. Женское сердце Екатерины возмутилось.

— Не Радзивилл! — сказала она при этом.— Тому грозила конфискация громадных имений, а он не выдал преданной женщины!

«Предатель по природе! — шевельнулось в уме Екатерины, при мыслях об услуге Орлова.— На все готов и не стесняется ничем... не задумается, если будет в его видах, и на другое!»

Вспомнились Екатерине при этом давние строки: «Матушка царица, прости, не думали, не гадали...»

— Недаром его зовут палачом! — презрительно прошептала Екатерина.— Пересолил, скажет, из усердия... Впрочем, приедет — надо поправить дело... Эта потерянная — без роду и племени — игрушка в руках злонамеренных, у него она будет бессильна... А ей, продававшей в Праге пиво, чем не пара русский сановник и граф?

Сельские тихие виды Царицына и Коломенского стали тяготить Екатерину. Леса, пруды, ласточки и мотыльки не давали ей прежнего покоя и отрадных снов.

Императрица неожиданно и запросто поехала в Москву.

Там, в Китай-городе, она посетила архив коллегии иностранных дел, куда перед тем, по ее приказанию,

были присланы на просмотр некоторые важные бумаги. Начальником архива в то время состоял знаменитый автор «Опыта новой истории России» и «Описания Сибирского царства», бывший издатель академических «Ежемесячных сочинений», путешественник и русский историограф, академик Миллер. Ему тогда было за семьдесят лет. Императрица, сама усердно занимаясь историей, знала его и не раз с ним беседовала о его работах и истории вообще. Она его застала на квартире, при архиве, над грудой старинных московских свитков.

Миллер был большой любитель цветов и птиц. Невысокие, светлые комнаты его казенной квартиры были увешаны клетками дроздов, снегирей и прочей пернатой братии, оглушившей Екатерину разнообразными свистами и чиликаньями. Стеклянная дверь из кабинета хозяина вела в особую, уставленную кустами в кадках светелку, где, при раскрытых окнах, завешанных сетью, часть птиц летала на свободе. Запах роз и гелиотропов наполнял чистые укромные горенки. Вощеные полы блестели, как зеркало. Миллер работал у стола, перед стеклянною дверью в птичник. Государыня вошла незаметно, остановив засуетившуюся прислугу.

— Я к вам, Герард Федорович, с просьбой,—сказала, войдя, Екатерина.

Миллер вскочил, извиняясь за домашний наряд.

— Приказывайте, ваше величество,— произнес он, застегиваясь и отыскивая глазами куда-то, как ему казалось, упавшие очки.

Императрица села, попросила сесть и его. Разговорились.

— Правда ли,— начала она, после нескольких любезностей и расспросов о здоровье хозяина и его семьи,— правда ли... говорят, вы имеете данные и вполне убеждены, что на московском престоле царствовал не самозванец Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Димитрий? Вы говорили о том... английскому путешественнику Коксу.

Добродушный, с виду несколько рассеянный и постоянно углубленный в свои изыскания, Миллер был крайне озадачен этим вопросом государыни.

«Откуда она это узнала? — мыслил он.— Ужели проговорился Кокс?»

— Объяснимся, я облегчу нашу беседу,— продолжала Екатерина.— Вы обладаете изумительною памятью; при-

том вы так прозорливы в чтении и сличении летописей; скажите откровенно и смело ваше мнение... Мы одни — вас никто не слышит... Правда ли, что доводы к обвинению самозванца вообще слабы, даже будто бы ничтожны?

Миллер задумался. Его взъерошенные на висках седые волосы странно торчали. Добрые, умные губы, перед приездом государыни сосавшие полупогасший янтарный чубук, бессознательно шевелились.

— Правда,— несмело ответил он,— но это, простите, мое личное мнение, не более...

— Если так, то почему же не огласить вам столь важного суждения?

— Извините, ваше величество,— проговорил Миллер, растерянно оглядываясь и подбирая на себя упорно сползавшие складки камзола,— я прочел розыск Василия Шуйского в Угличе. Он производил следствие по поручению Годунова и имел расчет угодить Борису, привезя ему показания лишь тех, кто утверждал сказки об убиении истинного царевича; другие, неприятные для Годунова, следы он, очевидно, скрыл.

— Какие? — спросила Екатерина.

— Что погиб другой, а мнимоубитый скрылся. Вспомните, ведь этот следователь, Шуйский, потом сам же всенародно признал царевичем возвратившегося Димитрия.

— Довод остроумный,— сказала Екатерина,— недаром генерал Потемкин, большой любитель истории, советует все это напечатать, если вы в том убеждены.

— Помните, ваше величество,— проговорил Миллер,— воля монархини — важный указатель; но есть другая, более высшая власть — Россия... Я лютеранин, а тело признанного Димитрия покоится в Кремлевском соборе... Что сталось бы с моими изысканиями, то сталось бы и со мной среди вашего народа, если бы я дерзнул доказывать, что на московском престоле был не Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Димитрий?

XXI

Слова Миллера смутили Екатерину.

«Откровенно,— подумала она,— так и подобает философу».

— Хорошо,— произнесла императрица,— не будем тревожить мертвых; поговорим о живых. Генерал Потемкин, надеюсь, вам доставил список с допроса и показаний наглой претендентки, о поимке которой вы, вероятно, уже слышали...

— Доставил,— ответил Миллер, вспомнив наконец, что очки, которые он продолжал искать глазами, были у него на лбу, и удивляясь, как он об этом забыл.

— Что вы скажете об этой достойной сестре маркиза Пугачева? — спросила Екатерина.

Миллер увидел в это мгновение за стеклянною дверью, как вечно ссорившаяся с другими птицами канарейка влетела в чужое гнездо, и хозяева последнего, с тревогой и писком летая вокруг нее, старались ее оттуда выпроводить. Занимал его также больной, с забинтованной ногою, дрозд.

— Принцесса, если она русская,— произнес Миллер, краснея за свою робость и рассеянность,— очевидно, плохо училась русской истории; вот главное, что я могу сказать, прочтя ее бумаги... впрочем, в этом более виноваты ее учителя...

— Так вы полагаете, что в ее сказке есть доля истины? — спросила Екатерина.— Допускаете, что у императрицы Елисаветы могла быть дочь, подобная этой и скрытая от всех?

Миллер хотел сказать: «О да, разумеется, что же тут невероятного?» Но он вспомнил о таинственном юноше, Алексее Шкурине, который в то время путешествовал в чужих краях, и, смутясь, неподвижно уставился глазами в дверь птичника.

— Что же вы не отвечаете? — улыбнулась Екатерина.— Тут уже ваше лютеранство ни при чем...

— Все возможно, ваше величество,— произнес Миллер, качая седою, курчавою головой,— рассказывают разное, есть, без сомнения, и достоверное.

— Но послушайте... Не странно ли? — произнесла Екатерина.— Покойный Разумовский был добрый человек, притом, хотя тайно, состоял в законном браке с Елисаветой... Из-за чего же такое забвение природы, бессердечный отказ от родной дочери?

— То был один век, теперь другой,— сказал Миллер.— Нравы изменяются; и если новые Шуйские-Шуваловы столько лет подряд могли держать в одиночном заключении, взаперти, вредного им принца Иоанна,



объявленного в детстве императором,— что же удивительного, если, из той же жажды влияния и власти, они на краю света, на всякий случай, припрятали и другого младенца, эту несчастную княжну?

— Но вы, Герард Федорович, забываете главное — мать! Как могла это снести императрица? У нее, нельзя этого отрицать, было доброе сердце... Притом здесь дело шло не о чуждом дитяти, как Иванушка, а о родной, забытой дочери.

— Дело простое,— ответил Миллер,— ни Елисавета, ни Разумовский тут, если хотите, ни при чем: интрига действовала на государыню, не на мать... Ей, без сомнения, были представлены важные резоны, и она согласилась. Тайную дочь спрятали, услали на юг, потом за Урал. В бумагах княжны говорится о яде, о бегстве из Сибири в Персию, потом в Германию и Францию... Шуйские наших дней повторили старую трагедию; охраняя будто бы государыню, они готовили, между тем, появление, на всякий случай, нового, ими же спасенного выходца с того света.

Екатерине вспомнился в одном из писем Орлова намек о русском вояжире, а именно об Иване Шувалове, который в то время еще находился в чужих краях.

— С вами не наговоришься,— сказала, вставая, Екатерина,— ваша память тот же неоцененный архив; а русская история, не правда ли, как и сама Россия, любопытная и непочатая страна. Хороши наши нивы, беда только от множества сорных трав. Кстати... я все любуюсь вашими цветами и птицами. Приезжайте в Царицыно. Гримм мне прислал семью прехорошеньких какаду. Один все кричит: «Où est la vérité?» [1]

Отменно милостиво поблагодарив Миллера, императрица возвратилась в Царицыно. Вскоре туда явился победитель при Чесме, Орлов.

Алексей Григорьевич не узнал двора. С новыми лицами были новые порядки. Граф не сразу удостоился видеть государыню. Ему сказали, что ее величество слегка недомогает.

Орлов смутился. Опытный в дворских нравах человек, он почуял немилость, беду. Надо было поправить дело. Алексей Григорьевич не без робости обратился к некоторым из приближенных и решился искать аудиен-

---

[1] Где истина? *(фр.)*

ции у нового светила, Потемкина. Их свидание было вежливо, но не радушно. Далеко было до прежней дружеской близости и простоты. Проговорили за полночь, но гость чувствовал, что ему было сказано немного.

— Нынче все без меры, через край! — произнес, по поводу чего-то и мимоходом, Потемкин.

Задумался об этих словах Орлов: «Через край! Ведь и он хватил не в меру».

Наутро он был приглашен к государыне, которую застал за купаньем собачек. Мистер Том Андерсон уже был вынут из ванночки, вытерт и грелся, в чепчике, под одеялом. Миссис Мими, его супруга, еще находилась в ванне. Екатерина сидела, держа наготове другой чепчик и одеяло. Перекусихина, в переднике, с засученными за локти рукавами, усердно терла собачку губкой с мылом. Намоченная и вся белая от пены, Мими, завидя огромного, глазастого, незнакомого ей гостя, неистово разлаялась из-под руки камер-юнгферы.

— С воды и к воде,— шутливо произнесла Екатерина,— добро пожаловать. Сейчас будем готовы.

Одев в чепчик и уложив в постель Мими, государыня вытерла руки и произнесла:

— Как видите, о друзьях первая забота! — села и, указав Орлову стул, начала его расспрашивать о вояже, об Италии и о турецких делах.

— А вы, батюшка Алексей Григорьевич, пересолили,— сказала она, достав табакерку и медленно нюхая из нее.

— В чем, ваше величество?

— А в препорученном,— улыбнулась, шутливо грозя, Екатерина.

Орлов видел улыбку, но в самой шутке государыни приметил недобрую, знакомую ему черту: круглый и плотный подбородок Екатерины слегка вздрагивал.

— Что же, матушка государыня, чем я прогневил? — спросил он, заикаясь.

— Да как же, сударь... уж право, чересчур,— продолжала Екатерина, нюхая из полураскрытой табакерки.

Орлов ребячески растерялся. Его глаза трусливо забегали.

— Ведь пленница-то наша,— произнесла государыня,— слышали ли вы? Скоро сам-друг...

Богатырь и силач Орлов не знал, куда деться от замешательства.

«Пропал, окончательно погиб! — думал он, мысленно уже видя свое падение и позор.— Помяни, господи, царя Давида...»

— Дело, впрочем, можно еще поправить,— проговорила Екатерина,— вам бы ехать в Питер да свидеться с пленницей, к торжеству мира возвратились бы женихом.

Орлов, сморщившись, опустился на колено, поцеловал протянутую ему руку и молча вышел. За порогом он оправился.

— Ну, что, как государыня? Что изволила говорить? — спрашивали его ближние из придворных.

— Удостоен особого приглашения на торжество мира,— ответил граф,— еду пока в Петербург, устроить дела брата.

Алексей Григорьевич старался смотреть самоуверенно и гордо...

Орлов понял, что ему нечего было медлить, государыня, очевидно, не шутила.

Под предлогом свидания с удаленным братом, он собрался и вскоре выехал в Петербург.

XXII

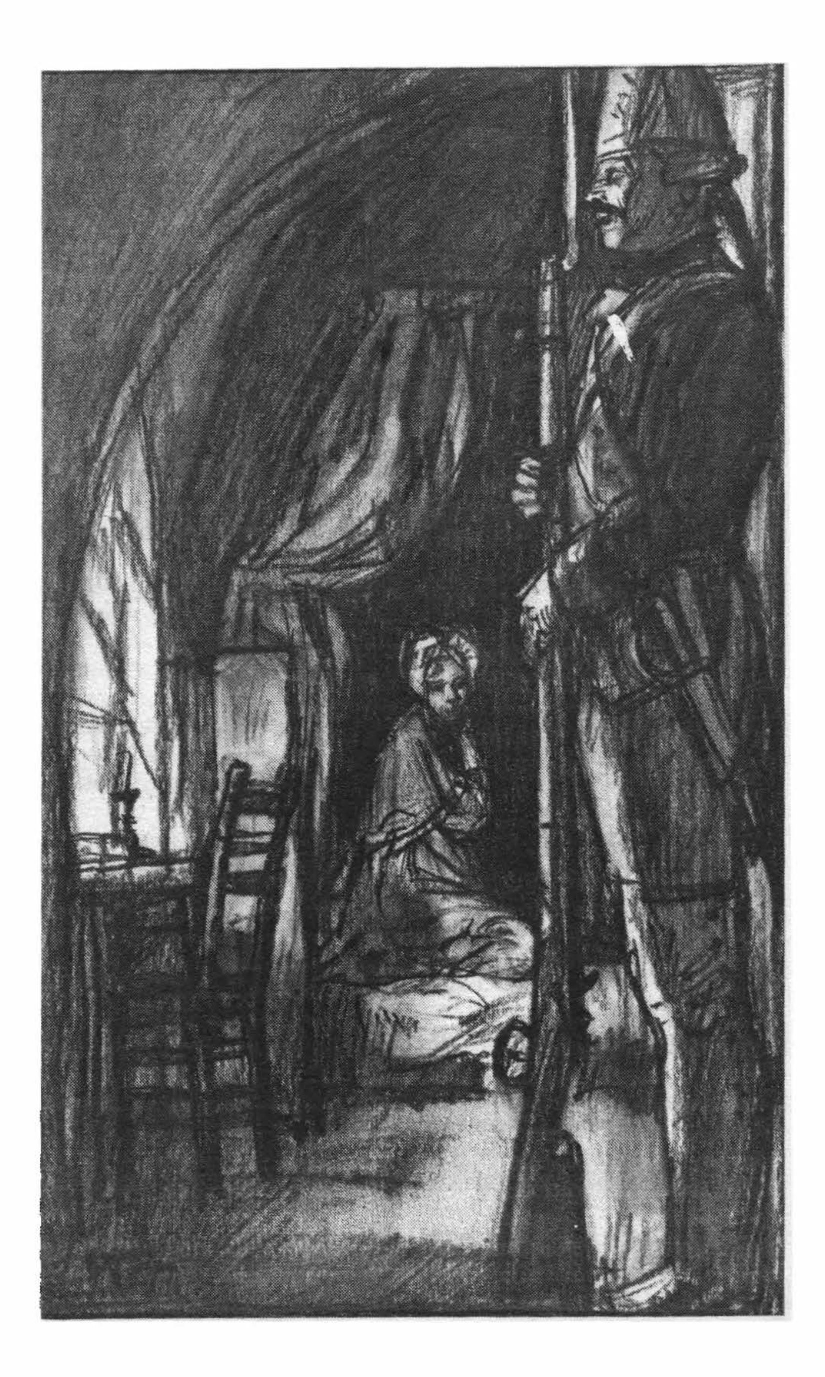
Изнуренная долгим морским путем и заключением, пленница влачила в крепости тяжелые дни. Острый, с кровохарканьем и лихорадкой кашель перешел в быстротечную чахотку.

Частые появления и допросы фельдмаршала Голицына приводили княжну в неописанный гнев.

— Какое право имеют так поступать со мной? — повелительно спрашивала она.— Какой повод я подала к такому обращению?

— Предписание свыше, монарший приказ! — отвечал, пыхтя и перевирая французские слова, секретарь Ушаков.

В качестве письмоводителя наряженной комиссии, он заведовал особыми суммами, назначенными для этой цели, и потому, жалуясь на утомление, кучу дела и даже на боль в пояснице, с умыслом тянул справки, плодил новые доказательные статьи и переписку о ней и вообще водил за нос добряка Голицына,— собираясь на сбережения от содержания арестантки прикупить новый домик к бывшему у него на Гороховой собственному двору.



Таракановой, между прочим, были предъявлены найденные в ее бумагах подложные завещания.

— Что вы скажете о них? — спросил ее Голицын.

— Клянусь всемогущим богом и вечною мукой,— отвечала арестантка,— не я составляла эти несчастные бумаги, мне их сообщили.

— Но вы их собственноручно списали?

— Может быть, это меня занимало.

— Так вы не хотите признаться, объявить истины?

— Мне не в чем признаваться. Я жила на свободе, никому не вредила: меня предали, схватили обманом.

Голицын терял терпение. «Вот бесом наделили! — мыслил он.— Открывай тайны с таким камнем!» Князь вздыхал и почесывал себе переносицу.

— Да вы, ваше сиятельство, упомнили,— шепнул однажды при допросе услужливый Ушаков,— вам руки развязаны — последний-то указ... в нем говорится о высшей строгости, о розыске с пристрастием.

— А и в самом деле! — смекнул растерявшийся князь, вообще не охотник до крутых и жестоких мер.— Попробовать разве? Хуже не будет!

— Именем ее величества,— строго объявил фельдмаршал коменданту в присутствии пленницы,— ввиду ее запирательства — отобрать у нее все, кроме необходимой одежды и постели, слышите ли, все... книги, прочие там вещи,— а если и тут не одумается — держать ее на пище прочих арестантов.

Распоряжение князя было исполнено. Привыкшей к неге и роскоши, избалованной, хворой женщине стали носить черный хлеб, солдатские кашу и щи. Она, голодная, по часам просиживала над деревянною миской, не притрагиваясь к ней и обливаясь слезами. На пути в Россию, у берегов Голландии, где эскадра запасалась провизией, арестантка случайно узнала из попавшего к ней в каюту газетного листка все прошлое Орлова и с содроганием, с бешенством, кляла себя за то, как могла она довериться такому человеку. Но явилось еще худшее горе. В комнатку арестантки, сменяясь по очереди, с некоторого времени день и ночь становились двое часовых. Это приводило арестантку в неистовство.

— Покайтесь,— убеждал, навещая ее, Голицын,— мне жаль вас, иначе вам не ждать помилования.

— Всякие мучения, самое смерть, господин фельдмаршал, все я приму,— ответила пленница,— но вы

ошибаетесь... ничто не принудит меня отречься от моих показаний.

— Подумайте...

— Бог свидетель, мои страдания падут на головы мучителей.

— Одумается, ваше сиятельство! — шептал, роясь при этом в бумагах, Ушаков.— Еще опыт, и изволите увидеть...

Опыт был произведен. Он состоял в грубой сермяге, сменившей на плечах княжны ее ночной, венецианский шелковый пеньюар.

— Великий боже! Ты свидетель моих помыслов! — молилась арестантка.— Что мне делать, как быть? Я прежде слепо верила в свое прошлое; оно мне казалось таким обычным, я привыкла к нему, к мыслям о нем. Ни измена того изверга, ни арест не изменили моих убеждений. Их не поколеблет и эта страшная, железная, добивающая меня тюрьма. Смерть близится. Матерь божия, младенец Иисус! Кто подкрепит, вразумит и спасет меня... от этого ужаса, от этой тюрьмы?

В конце июня, в холодный и дождливый вечер, в Петропавловскую крепость подъехала наемная карета с опущенными занавесками. Из нее, у комендантского крыльца, вышел граф Алексей Григорьевич Орлов. Через полчаса он и обер-комендант крепости Андрей Гаврилович Чернышев направились в Алексеевский равелин.

— Плоха,— сказал по пути обер-комендант,— уж так-то плоха; особенно с этою сыростью; вчера, ваше сиятельство, молила дать ей собственную одежду и книги — уважили...

Часовых из комнаты княжны вызвали. Туда, без провожатых, вошел Орлов. Чернышев остался за дверью.

В вечернем полумраке граф с трудом разглядел невысокую, с двумя в углублении окнами, комнату. В рамах были темные железные решетки. У простенка, между двумя окнами, стояли два стула и небольшой стол, на столе лежали книги, кое-какие вещи и прикрытая полотенцем миска с нетронутою едой. Вправо была расположена ширма, за ширмою стояли столик с графином воды, стаканом и чашкой и под ситцевым пологом железная кровать.

На кровати, в белом капоте и белом чепце, лежала, прикрытая голубою, поношенного бархата, шубкой, бледная, казалось, мертвая, женщина.

Орлов был поражен страшною худобой этой, еще недавно пышной, обворожительной красавицы. Ему вспомнились Италия, нежные письма, страстные ухаживания, поездка в Ливорно, пир на корабле и переодетые в старенькие церковные ризы Рибас и Христенек.

«И зачем я тогда разыграл эту комедию с венцом?—думал он.—Она ведь уже была на корабле, в моих руках!»

В его мыслях живо изобразился устроенный им арест княжны. Он вспомнил ее крики на палубе и через день посылку к ней через Концова письма на немецком языке с жалобою на свое собственное мнимое горе и с клятвами в преданности до гроба и любви:

«Ах, в каком мы несчастье,—писал он ей тогда, подбирая льстивые слова.—Оба мы арестованы, в цепях; но всемогущий бог не оставит нас. Вверимся ему. Как только получу свободу, буду вас искать по всему свету и найду, чтобы вас охранять и вам вечно служить...»

«И я ее нашел, вот она!»—мыслил в невольном содрогании Орлов, стоя у порога. Он тихо ступил к ширме.

Пленница на шорох открыла глаза, вгляделась в вошедшего и приподнялась. Прядь светло-русых, некогда пышных волос, выбилась из-под чепца, полузакрыв искаженное болезнью и гневом лицо.

— Вы?.. вы?.. в этой комнате... у меня!—вскрикнула княжна, узнав вошедшего и простирая перед собою руки, точно отгоняя страшный, безобразный призрак.

Орлов стоял неподвижно.

XXIII

Слова рвались с языка пленницы и бессильно замирали.

Отшатнувшись на кровати к стене, она сверкающими глазами пожирала Орлова, с испугом глядевшего на нее.

— Мы обвенчаны, не правда ли? ха-ха! ведь мы жена и муж?—заговорила она, страшным кашлем поборая презрительное негодование.—Где же вы были столько времени? Вы клялись, я вас ждала.

— Послушайте,— тихо сказал Орлов,— не будем вспоминать прошлого, продолжать комедию. Вы давно, без сомнения, поняли, что я верный раб моей государыни и что я только исполнял ее повеления.

— Злодейство, обман! — вскрикнула арестантка.— Никогда не поверю... Слышите ли, никогда могучая русская императрица не прибегнет к такому вероломству.

— Клянусь, это был ее приказ...

— Не верю, предатель! — бешено кричала пленница, потрясая кулаками.— Екатерина могла предписать все, требовать выдачи, сжечь город, где меня укрывали, арестовать силой... но не это... ты, наконец, мог меня поразить кинжалом, отравить... яды тебе известны... но что сделал ты? что?

— Минуту терпения, умоляю,— произнес, оглядываясь, Орлов,— ответьте мне одно слово, только одно... и вы будете, клянусь, немедленно освобождены.

— Что еще придумал, изверг, говори? — произнесла княжна, одолевая себя и с дрожью кутаясь в голубую, знакомую графу, бархатную мантилью.

— Вас спрашивали столько времени и с таким настоянием,— начал Орлов, подыскивая в своем голосе нежные, убедительные звуки,— скажите, мы теперь наедине... нас видит и слышит один бог.

— Gran Dio! — рванулась и опять села на кровати арестантка.— *Он* призывает имя божье! — прибавила она, подняв глаза на образ спаса, висевший на стене, у ее изголовья.— Он! да ты, наверное, утроил и все эти мучения, всю медленную казнь! А у вас еще хвалились, что отменена пытка. Царица этого, наверное, не знает, ты и тут ее провел.

— Успокойтесь... скажите, кто вы? — продолжал Орлов.— Откройте мне. Я умолю государыню; она окажет мне и вам милость, вас освободит...

— Diavolo! [1] Он спрашивает, кто я? — проговорила, задыхаясь от прилива нового бешенства, княжна.— Да разве ты не видишь, что я кончила со светом, умираю? Зачем это тебе?

Она неистово закашлялась, упала головой к стене и смолкла.

«Вот умрет, не выговорит»,— думал, стоя близ нее, Орлов.

[1] Дьявол! *(итал.)*.

— В богатстве и счастье,— произнесла, придя в себя, пленница,— в унижении и в тюрьме, я твержу одно... и ты это знаешь... Я дочь твоей былой царицы! — гордо сказала она, поднимаясь.— Слышишь ли, ничтожный, подлый раб, я прирожденная ваша великая княжна...

Смелая мысль вдруг осенила Орлова. «Эх, беда ли? — подумал он.— Проживет недолго, разом угожу обеим».

Он опустился на одно колено, схватил исхудалую, бледную руку пленницы и горячо припал к ней губами.

— Ваше высочество! — проговорил он.— Элиз! простите, клянусь, я глубоко виноват... так было велено... я сам находился под арестом, теперь только освобожден...

Пленница молча глядела на него большими, удивленными глазами, прижимая ко рту окровавленный кашлем платок.

— Умоляю, нас, по истине, торжественно обвенчают,— продолжал Орлов,— станьте моею женой... Все тогда, ваше высочество, дорогая моя... Элиз!.. знатность, мое богатство, преданность и вечные услуги...

— Вон, изверг, вон! — крикнула, вскакивая, арестантка.— Этой руки искали принцы, короли... не тебе ее касаться,— заклейменный предатель, палач!

«Не стесняется, однако! — подумал обер-комендант Чернышев, слышавший из-за двери крупную французскую брань и проклятия арестантки.— Уйти поздорову; граф еще сообразит, что были свидетели, вломится в амбицию, отомстит!»

Комендант ушел.

Тюремщик, стоявший с ключами в коридоре и также слышавший непонятные ему гневные крики, топанье ногами и даже, как ему показалось, швырянье в гостя какими-то вещами, тоже отошел и прижался в угол, рассуждая:

«Мамзюлька, видно, просит лучших харчей, да, должно, не по артикулу,— серчает на генерала... ох-хо! куда ей, сухопарой... все щи да щи, вчера только дали молока...»

Бешеные крики не прерывались. Зазвенело брошенное об пол что-то стеклянное.

Дверь каземата быстро распахнулась. Из нее вышел Орлов, робко пригибаясь под несоразмерной с его ростом перекладиной. Лицо его было красно-багровое. Он на минуту замедлился в коридоре, оглядываясь и как бы собираясь с мыслями.

Нащупав под мышкой треугол, граф дрожащей рукой оправил прическу и фалды кафтана, бодро и лихо выпрямился, молча вышел, сел под проливным дождем в карету и крикнул кучеру:

— К генерал-прокурору!

По мере удаления от крепости, Орлов более обдумывал только что происшедшее свидание.

— Змея, однако, сущая змея! — шептал он, поглядывая из кареты по улицам.— Как жалила!

Он сдержанно и с полным самообладанием вошел к князю Александру Алексеевичу Вяземскому. Был уже вечер; горели свечи. Орлов чувствовал некоторую дрожь в теле и потирал руки.

— Прошу садиться,— сказал генерал-прокурор,— что? озябли?

— Да, князь, холодновато.

Вяземский приказал подать ликеру. Принесли красивый графин и корзинку с имбирными бисквитами.

— Откушайте, граф... Ну, что наша самозванка? — произнес генерал-прокурор, оставляя бумаги, в которых рылся.

— Дерзка до невероятия, упорствует,— ответил граф Алексей Григорьевич, наливая рюмку густой душистой влаги и поднося ее к носу, потом к губам.

— Еще бы! — проговорил князь.— Дешево не хочет уступать своих мнимых титулов и прав.

— Много уже с нею возятся; нужны бы иные меры,— сказал Орлов.

— Какие же, батенька, меры? Она при последних днях... не придушить же ее.

— А почему бы и нет? — как бы про себя произнес Орлов, опуская бисквит в новую рюмку ликера.— Жалеть таких!

Генерал-прокурор из-за зеленого абажура, прикрывавшего свечи, искоса взглянул на гостя.

— И ты, Алексей Григорьевич, это не шутя... посоветовал бы? — спросил он.

— Для блага отечества и как истый патриот... не только посоветовал бы, очень бы одобрил! — ответил Орлов, прохаживаясь и пожевывая сладкий, таявший во рту бисквит.

«Mais c'est un assassin dans l'âme! — подумал с виду суровый и обыкновенно насупленный верховный

судья, с ужасом прислушиваясь к мягкому шарканью Орлова по ковру.— C'est en lui comme une mauvaise habitude!»[1]

Орлов, вынув лорнет и покусывая новый ломоть имбирного бисквита, рассматривал на стене изображение Психеи с Амуром.

— Откуда эта картина? — спросил он.

— Государыня пожаловала... Вы же, граф, когда изволите обратно в Москву?

— Завтра рано, и не замедлю передать о новом запирательстве наглой лгуньи.

Вяземский пошевелил кустоватыми бровями.

— А вам известно показание арестантки на ваш счет? — пробурчал он, роясь в бумагах.

У Орлова из рук выпал недоеденный бисквит.

— Да, представьте, ведь это из рук вон! — ответил граф.— Преданность, верность и честь, ничто не пощажено... И что поразительно, князь... втюрилась в меня бес-баба да, взведя такую небылицу, от меня же еще нынче, проходимка, упорно требовала признания брака с ней.

— Не могу не удивиться,— произнес Вяземский,— эти переодеванья с ризами, извините... и для чего это напрасное кощунство? Ох, отдадите, батюшка граф, ответ богу... мне бы весь век это снилось...

Орлов хотел отшутиться, попытался еще что-то сказать, но молчание хмурого, медведеобразного генерал-прокурора ему показывало, что дворский кредит был давно на исходе и что сам он, несмотря на прошлые услуги, как уже никому не нужный, старый хлам, мог желать одного — оставления его на полном покое.

«Летопись заканчивается! Очевидно, скоро буду на самом дне реки! — подумал Орлов, оставляя Вяземского.— В люк куда-нибудь спустят, в Москву или еще куда подалее. Состарились мы, вышли из моды; надо новым дать путь».

Он так был смущен приемом генерал-прокурора, что утром следующего дня отслужил молебен в церкви Всех скорбящих радости, а перед отъездом в Москву даже гадал у какой-то армянки на Литейной.

---

[1] Но это же убийца в душе! У него это стало скверной привычкой! *(фр.)*

XXIV

Мир с Турцией был торжественно отпразднован в Москве тринадцатого июля.

При этом вспомнили Голицына и прислали ему в Петербург за очищение Молдавии от турок брильянтовую шпагу. Орлов получил похвальную грамоту, столовый богатый сервиз, императорскую дачу близ Петербурга и прозвание *Чесменского.*

«Сдан в архив, окончательно сдан!» — мыслил при этом Алексей Григорьевич. В Петербург, вслед за двором, его уже, действительно, не пустили. С тех пор ему было указано местожительство в Москве, в числе других поселившихся там первых пособников императрицы.

Отрадно и безмятежно, казалось, потекли с этого времени дни Чесменского на вольном московском покое. Домочадцы графа, между тем, подмечали, что порой на него находили припадки нешуточной острой хандры, что он нередко совершенно невзначай служил то панихиды, то молебны с акафистами, прибегал к гадальщикам-цыганам и втихомолку брюзжал, как бы жалуясь на изменницу, некогда так его баловавшую судьбу.

Ехал ли граф Алехан в морозный ясный вечер по улице, из-под осыпанной инеем шапки вглядываясь в прохожих и в мерный бег своего легконогого рысака, его мысли уносились к иным, теплым небесам, к голубым прибрежьям Мореи и Адриатики, к мраморным венецианским и римским дворцам.

Моросил ли мелкий осенний дождь и была чудная охота по чернотропу, граф, в окрестностях Отрады или Нескучного, подняв в березовом срубе матерого беляка и спуская на него любимых борзых, бешено скакал за ним на кабардинце, но мгновенно останавливался. Дождь продолжал шелестеть в мокром березняке, конь шлепал по лужам и глине, а граф думал о другом, о далекой той же Италии, о Риме, Ливорно и о сманенной, погубленной им Таракановой.

«Где она и что сталось с нею?— рассуждал он.— Жива ли она после родов, там ли еще, или ее куда вновь упрятали?»

С падением фавора брата, князя Григория, граф Алексей Чесменский так быстро отдалился от двора, что не только положительно не знал, но и не смел допытываться о дальнейшей судьбе соблазненной им и похищенной красавицы.

Осенью того же года в Москве кем-то был пущен слух, будто из Петербурга в Новоспасский женский монастырь привезли некую таинственную особу, что ее здесь постригли и, дав ей имя Досифеи, поместили в особой, никому не доступной келье. Москвичи тихомолком шушукались, что инокиня Досифея — незаконная дочь покойной царицы Елисаветы и ее мужа в тайном браке, Разумовского.

Что перечувствовал при этих толках граф Алексей, о том знали только его собственные помыслы. «Она, она! — говорил он себе, в волнении, не зная, что жертва, княжна Тараканова, по-прежнему безнадежно томится в той же крепости.— Некому быть, как не ей; отреклась от всего, покорилась, приняла по́стриг...»

Мысли о новоприбывшей пленнице не покидали графа. Они так его смущали, что он даже стал избегать езды по улице, где был Новоспасский монастырь, а когда не мог его миновать и ехал возле, то отворачивался от его окон.

«Предатель, убийца!» — раздавалось в его ушах при воспоминании о последней встрече с княжной в крепости. И он мучительно перебирал в уме это свидание, когда она осыпала его проклятиями, топая на него, плюя ему в лицо и бешено швыряя в него чем попало.

Чесменский вздумал было однажды разговориться о ней с московским главнокомандующим, князем Волконским, заехавшим к нему запросто — полюбоваться его конюшнями и лошадьми. Они возвратились с прогулки на конский двор и сидели за вечерним чаем. Граф-хозяин начал издалека — о заграничных и родных вестях и толках и, будто мимоходом, осведомился, что за особа, которую, по слухам, привезли в Новоспасский монастырь.

— Да вы, граф, куда это клоните? — вдруг перебил его князь Михаил Никитич.

— А что? — спросил озадаченный Чесменский.

— Ничего,— ответил Волконский, отвернувшись и как бы рассеянно глядя в окно,— вспомнилась, видите ли, одна прошлогодняя питерская оказия о дворе...

— Какая оказия? Удостойте, батюшка князь?! — с улыбкой и поклоном произнес граф.— Ведь я недавний ваш гость и многого не знаю из новых, столь любопытных и ныне нам недоступных, дворских палестин.

— Извольте,— начал Волконский, покашливая и по-прежнему глядя в окно,— дело, если хотите, не важное, а

скорее забавное... Генерал-майоршу Кожину знаете?.. Марья Дмитриевна... бойкая такая, красивая и говорунья?

— Как не знать! Часто ее видел до отъезда в чужие края.

— Ну-с, сболтнула она, говорят, где-то, будто бы такие-то, положим, Аболешевы там, или не помню кто, решили покровительствовать новому счастливцу, Петру Мордвинову... тоже, верно, знаете?

Орлов молча кивнул головой.

— Покровительствовать... Ну, понимаете, чтоб подставить ногу...

— Кому? — спросил Орлов.

— Да будто самому, батюшка, Григорию Александровичу Потемкину.

— И что же?

— А вот что,— проговорил главнокомандующий,— в собственные покои немедленно был позван Степан Иванович Шешковский и ему сказано: «Езжай, батюшка, сию минуту в маскарад и найди там генеральшу Кожину; а найдя, возьми ее в тайную экспедицию, слегка там на память телесно отстегай и потом, туда же, в маскарад, оную барыньку с благопристойностью и доставь обратно».

— И Шешковский? — спросил Орлов.

— Взял барыньку, исправно посек и опять, как велено, доставил в маскарад; а она, чтобы не заметили бывшего с нею случая, промолчала и преисправно кончила все танцы, на кои была звана, все до одного — и менуэт, и монимаску, и котильон.

Орлов понял горечь намека и с тех пор о Досифее более не расспрашивал.

Не радовали графа и беседы с его управляющим Терентьичем Кабановым, наезжавшим в Нескучное из Хренового. Терентьич был из грамотных крепостных и являлся одетый по моде, в «перле́невый» кафтан и камзол, в «просмета́льные» башмаки с оловянными пряжками, в манжеты и с черным шелковым кошельком на пучке пудреной косы.

Граф наливал ему чарку заморского, дорогого вина, говоря:

— Попробуй, братец, не вино... я тебе человечьего веку рюмочку налил...

Терентьич отказывался.

— Полно, милый! — угощал граф.— Ужли забыл поговорку: день мой — век мой? Веселись, в том только и счастье... да, увы, не для всех.

— Верно, батюшка граф! — говорил Кабанов, выпивая предлагаемую чарку.— Мы что? рабы... Но вам ли воздыхать, не жить в сладости-холе, в собственных, распрекрасных вотчинах? Места в них сухие и веселые, поля скатистые, хлебородные, воды ключевые, лесов и рощ тьма, крестьяне все хлебопашцы, не бобыли, благодаря вашей милости. Вы же, сударь, что-то как бы скучны, а слыхом слыхать, иногда даже сумнительны.

— Сумнительств и подозрениев, братец, на веку не обраться! — отвечал граф.— Вот ты прошлую осень писал за море, хвалил всходы и каков был рост всякого злака; а что вышло? Сказано: не по рости, а по зерни.

— Верно говорить изволите,— отвечал, вздыхая, Терентьич.

— Вот хоть бы и о прочих делах,— продолжал граф.— Много у меня всякого разъезду и ко мне приезду; а веришь ли, ничего, как прежде, не знаю. Был Филя в силе, все в други к нему валили... а теперь...

Граф смолкал и задумывался.

«Ишь ты,— мыслил, глядя на него, Кабанов,— при этакой силе и богатстве — обходят».

— Да, братец,— говорил Орлов.— Тяжкие пришли времена, разом попал промеж двух жерновов; служба кончена, более в ней не нуждаются, а дома... скука...

— Золото, граф, огнем искушается,— отвечал Терентьич,— человек — напастями. И не вспыхнуть дровам без подтопки... а я вам подтопочку могу подыскать...

— Какую?

— Женитесь, ваше сиятельство.

— Ну, это ты, Кабанов, ври другим, а не мне,— отвечал Чесменский, вспоминая недавний совет о том же предмете Концова.

XXV

Судьба Таракановой, между тем, не улучшилась. Московские празднества в честь мира с Турцией заставили о ней на некоторое время позабыть. После их окончания ей предложили новые обвинительные статьи и новые вопросные пункты. Был призван и напущен на

нее сам Шешковский. Допросы усилились. Добиваемая болезнью и нравственными муками, в тяжелой, непривычной обстановке и в присутствии бессменных часовых, она с каждым днем чахла и таяла. Были часы, когда ждали ее немедленной кончины.

После одного из таких дней арестантка схватила перо и набросала письмо императрице.

«Исторгаясь из объятий смерти,— писала она,— молю у Ваших ног. Спрашивают, кто я? Но разве факт рождения может для кого-либо считаться преступлением? Днем и ночью в моей комнате мужчины. Мои страдания таковы, что вся природа во мне содрогается. Отказав в Вашем милосердии, Вы откажете не мне одной...»

Императрица досадовала, что еще не могла оставить Москвы и лично видеть пленницу, которая вызывала к себе то сильный ее гнев, то искреннее, невольное, тайное сожаление.

В августе фельдмаршал Голицын опять посетил пленницу.

— Вы выдавали себя персианкой, потом родом из Аравии, черкешенкой, наконец, нашею княжной,— сказал он ей,— уверяли, что знаете восточные языки; мы давали ваши письмена сведущим людям — они в них ничего не поняли. Неужели, простите, и это обман?

— Как это все глупо! — с презрительной усмешкой и сильно закашливаясь, ответила Тараканова.— Разве персы или арабы учат своих женщин грамоте? Я в детстве кое-чему выучилась там сама. И почему должно верить не мне, а вашим чтецам?

Голицыну стало жаль долее, по пунктам, составленным Ушаковым, расспрашивать эту бедную, еле дышавшую женщину.

— Послушайте,— сказал он, смигивая слезы и как бы вспомнив нечто более важное и настоятельное,— не до споров теперь... ваши силы падают... Мне не разрешено,— но я велю вас перевести в другое, более просторное помещение, давать вам пищу с комендантской кухни... Не желаете ли духовника, чтобы... понимаете... все мы во власти божьей... чтобы приготовиться...

— К смерти, не правда ли? — перебила, качнув головой, пленница.

— Да,— ответил Голицын.

— Пришлите... вижу сама, пора...

— Кого желаете? — спросил, нагнувшись к ней, князь,— католика, протестанта или нашей греко-российской веры?

— Я русская,— проговорила арестантка,— пришлите русского, православного.

«Итак, кончено! — мыслила она в следующую, как и прежние, бессонную ночь.— Мрак без рассвета, ужас без конца. Смерть... вот она близится, скоро... быть может, завтра... а они не утомились, допрашивают...»

Пленница привстала, облокотилась об изголовье кровати.

«Но кто же я наконец? — спросила она себя, устремляя глаза на образ спаса.— Ужели трудно дать себе отчет даже в эти, последние, быть может, минуты? Ужели, если я не та, за какую себя считала, я не сознаю́сь в том? из-за чего? из чувства ли омерзения к ним, или из-за непомерного гнева и мести опозоренной ими, раздавленной женщины?»

И она старалась усиленно припомнить свое прошлое, допытываясь в нем мельчайших подробностей.

Ей представилась ее недавняя, веселая, роскошная жизнь, ряд успехов, выезды, приемы, вечера. Придворные, дипломаты, графы, владетельные князья.

«Сколько было поклонников! — мыслила она.— Из-за чего-нибудь они ухаживали за мною, предлагали мне свое сердце и достояние, искали моей руки... За красоту, за уменье нравиться, за ум? Но есть много красивых и умных, более меня ловких женщин; почему же князь Лимбургский не безумствовал с ними, не отдавал им, как мне, своих земель и замков, не водворял их в подаренных владениях? Почему именно ко мне льнули все эти Радзивиллы и Потоцкие, почему искал со мною встречи могучий фаворит бывшего русского двора Шувалов? Из-за чего меня окружали высоким, почти благоговейным почтением, жадно расспрашивали о прошлом? Да, я отмечена промыслом, избрана к чему-то особому, мне самой непонятному».

— Детство! в нем одном разгадка! — шептала пленница, хватаясь за отдаленнейшие, первые свои воспоминания.— В нем одном доказательства.

Но это детство было смутно и непонятно ей самой. Ей припоминалась глухая деревушка где-то на юге, в пустыне, большие тенистые деревья над невысоким жильем, огород, за ним — зеленые, безбрежные поля. Добрая, ласковая старуха ее кормила, одевала. Да-

лее — переезд на мягко колыхавшейся, набитой душистым сеном подводе, долгий веселый путь через новые неоглядные поля, реки, горы и леса.

— Да кто же я, кто? — в отчаянии вскрикивала арестантка, рыдая и колотя себя в обезумевшую, отупелую голову.— Им нужны доказательства!.. Но где они? И что я могу прибавить к сказанному? Как могу отделить правду от навеянного жизнью вымысла? Может ли, наконец, заброшенное, слабое, беспомощное дитя знать о том, что от него со временем грозно потребуют ответа даже о самом его рождении? Суд надо мною насильный, неправый. И не мне помогать в разубеждении моих притеснителей. Пусть позорят, путают, ловят, добивают меня. Не я виновна в моем имени, в моем рождении... Я единственный, живой свидетель своего прошлого; других свидетелей у них нет. Что же они злобствуют? У господа немало чудес. Ужели он в возмездие слабой, угнетаемой не явит чуда, не распахнет двери этого гроба-мешка, этой каменной, злодейской тюрьмы!..

XXVI

Миновали теплые осенние дни. Настал дождливый суровый ноябрь.

Отец Петр Андреев, старший священник Казанского собора, был образованный, начитанный и еще не старый человек. Он осенью 1775 года ожидал из Чернигова дочь брата, свою крестницу Варю. Варя выехала в Петербург с другою, ей знакомою девушкой, имевшей надежду лично подать просьбу государыне по какому-то важному делу.

Домишко отца Петра, с антресолями и с крыльцом на улицу, стоял в мещанской слободке, сзади Казанского собора и боком ко двору гетмана Разумовского. Дубы и липы обширного гетманского сада укрывали его черепичную крышу, простирая густые, теперь безлистные ветви и над крошечным поповским двором.

Овдовев несколько лет назад, бездетный отец Петр жил настоящим отшельником. Его ворота были постоянно на запоре. Огромный цепной пес, Полкан, на малейшую тревогу за калиткой поднимал нескончаемый, громкий лай. Редкие посетители, вне церковных треб имевшие дело к священнику, входили к нему с уличного крыльца, бывшего также все время назаперти.

Письмо племянницы обрадовало отца Петра. В нем он прочитал и нечто необычайное. Варя писала, что

соседняя с их хутором барышня, незадолго перед тем, получила из-за границы, от неизвестного лица при письме на ее имя, пачку исписанных листков, найденную где-то в выброшенной морем, засмоленной бутыли.

«Милый крестный и дорогой дядюшка, простите глупому уму,— писала дяде Варя,— прочли мы с этою барышней те бумаги и решили ехать, и едем; а к кому было, как не к вам, направить сироту? Год назад она схоронила родителя, а в присланных листках описано про персону такой важности, что и сказать о том — надо подумать. Сперва барышня полагала отправить ту присылку в Москву, прямо ее величеству, да порешили мы спроста иначе, вы, крестный дяденька, знаете про всякие дела, всюду вхожи и везде вам внимание и почет; как присоветуете, тому и быть. А имя барышни Ирина Львовна, а прозвищем дочка бригадира Ракитина».

«Ветрогонки, вертухи! — заботливо качая головой, мыслил священник по прочтении письма.— Эк, сороки, обладили какое дело... затеяли из Чернигова в Питер, со мною советоваться... нашли с кем!..»

Каждый вечер, в сумерки, отец Петр, не зажигая свечи, любил запросто, в домашнем подряснике, прохаживаться по гладкому, холщовому половику, простланному вдоль комнат, от передней в приемную, до спальни, и обратно. Он в это время подходил к горшкам гераний и других цветов, стоявших по окнам, ощипывал на них сухие листья и сорную травку, перекладывал книги на столах, посматривал на клетку со спящим скворцом, на киот с образами и на теплившуюся лампадку и все думал-думал: когда, наконец, оживятся его горницы? когда явятся вертуньи?

Гости подъехали.

Дом священника ожил и посветлел. Веселая и разбитная крестница Варюша засыпала дядю вестями о родине, о знакомых и о путевых приключениях. Слушая ее, отец Петр думал:

«Давно ли ее привозили сюда, невзрачною, курносою, молчаливою и дикою девочкой? А теперь — как она жива, мила и умна! Да и ее спутница... вот уж писаная красавица! что за густые, черные косы, что за глаза! И в другом роде, чем Варя,— задумчива, сдержанна, строга и горда!»

После первых радостных расспросов и возгласов дядя ушел на очередь ко всенощной, а гостьи наскоро устроились на вышке, собрали узелки, сходили с кухар-

кой в баню и, возвратясь, расположились у растопленного камелька. Отец Петр застал их красными, в виде вареных раков, с повязанными головами и за чаем. Разговорились и просидели далеко за полночь.

— А где же, государыни мои, привезенное вами? — спросил, отходя ко сну, отец Петр.— Дело любопытное и для меня... в чем суть?

Девушки порылись в укладках и узелках, достали и подали ему сверток с надписью: *«Дневник лейтенанта Концова»*.

XXVII

Отец Петр спустился в спальню, задернул оконные занавески, поставил свечу у изголовья, прилег, не раздеваясь, на постель, развернул смятую тетрадь синей, заграничной почтовой бумаги, с золотым обрезом, и начал читать.

Он не спал до утра.

История княжны Таракановой, принцессы Владимирской, известная отцу Петру по немногим, сбивчивым слухам, раскрылась перед ним с неожиданными подробностями.

«Так вот что это, вот о ком здесь речь! — думал он, с первых строк, о загадочной княжне, то отрываясь от чтения и лежа с закрытыми глазами, то опять принимаясь за рукопись.— И где теперь эта бедная, так коварно похищенная женщина? — спрашивал он себя, дойдя до ливорнской истории.— Где она влачит дни? И спасся ли, жив ли сам писавший эти строки?»

Сгорела одна свеча, догорала и другая. Отец Петр дочитал тетрадь, погасил щипцами мигавший огарок, прошел в другие комнаты и стал бродить из угла в угол по половику. Начинал чуть брезжить рассвет.

— Ах, события! ах, горестное сплетение дел! — шептал священник.— Страдалица! помоги ей господь.

Проснулся в клетке скворец и, видя столь необычное хождение хозяина, странно, пугливо чокнул.

«Еще всех разбудишь!» — решил отец Петр. Он на цыпочках возвратился в спальню, прилег и снова начал обсуждать прочтенное. Его мысли перенеслись в прошлое царствование, в море тайных и явных, ему, как и другим, известных событий. Священник заснул. Его разбудил благовест к заутрени! Сквозь занавески свети-

ло бледное туманное утро. Отец Петр запер в стол рукопись, пошел в церковь, отправил службу и возвратился черным ходом через кухню. Завидя крестницу с утюгом, у лесенки на вышку, он ее остановил знаком.

— А скажи, Варя,— произнес он вполголоса,— этот-то, писавший дневник... Концов, что ли... видно, ей жених?..

Варя послюнила палец, тронула им об утюг, тот зашипел.

— Сватался,— ответила она, помахивая утюгом.

— Ну и что же?

— Ирина Львовна ничего... отец отказал.

— Стало, разошлось дело?

— Вестимо.

— А теперь?

— Что на это сказать? Сирота она, и рада бы, может.... на своей ведь теперь воле... да где он?

— Корабль, видно, потонул? — произнес отец Петр.

— Где про то дознаться в нашей глуши! Вам бы, дяденька, проведать у моряков; не одни люди, погибли и графские богатства... Где-нибудь да есть же след...

— Кто твоей товарке выслал эти листки?

— Бог его ведает. С почты привезли повестку. Ариша и получила. На посылке была надпись — Ракитиной, там-то, а в записке на французском языке сказано, что рукопись найдена рыбаками в бутыли, где-то на морском берегу. В Ракитном Ирина нынче одна из всей родни осталась, как перст, ей и доставили посылку...

Священник, не подавая о том вида ни крестнице, ни гостье, пустился в усердные разведки. Его старания были неуспешны.

В морской коллегии оказалась только справка, что фрегат «Северный Орел», на котором везли из Италии больных и отсталых флотской команды и собственные вещи графа Орлова, действительно был унесен бурей в Атлантический океан, что его видели некоторое время за Гибралтаром, у африканских берегов, невдали от Танжера, и что, очевидно, он разбился и утонул где-либо у Азорских или Канарских островов. О судьбе же лейтенанта Концова и даже о том, ехал ли он именно на этом корабле и спасся ли при этом он или кто другой, не могло быть и справки, так как, по-видимому, весь экипаж утонул. Бывший же начальник эскадры Орлов и ее ближайший командир Грейг в то время находились в

Москве, а еще спрашивать было некого. В иностранных газетах проскользнула только кем-то пущенная весть, будто какие-то моряки видели в океане разбитый корабль. Без команды, несшийся далее на запад, к Мадере и Азорским островам. Подойти к нему и его осмотреть не допустил сильный шторм.

«Жаль барыньку,— мыслил священник, глядя на Ракитину,— экая умница, да степенная! Богата, молода... Вот бы парочка тому-то, претерпевшему, спаси его господь!.. Нет, видно, и он погиб с другими, был бы жив, отозвался бы на родину, товарищам по службе или родным...»

Он улучил однажды свободный час и разговорился с Ириной.

— Скажите, барышня,— произнес священник,— я слышал от племянницы о вашей печали, вас, очевидно, с расчетом развели враги, подставили вам другого жениха. Как это случилось? Почему пренебрегли Концовым?

— Сама не понимаю,— ответила Ирина,— мой покойный отец был расположен к Павлу Евстафьевичу, ласкал его, принимал, как доброго соседа, почти как родного. А уж я-то его любила, мыслью о нем только и жила.

— И что же? Как разошлось?

— Не спрашивайте,— произнесла Ирина, склонив голову на руки,— это такое горе, такое... Мы видались, переписывались, были встречи... я ему клялась искренно, мы только ждали минуты все сказать, открыть отцу...

Ракитина смолкла.

— Ужасно вспомнить,— продолжала она.— Отец, надо полагать, получил какое-нибудь указание, Концова могли ему чем-нибудь опорочить — могли на него наклеветать... Вдруг — это было вечером — вижу запрягают лошадей. «Куда?» — спрашиваю. Отец молчит; выносят вещи, поклажу. У нас гостил родственник из Петербурга; мы втроем сели в карету. «Куда мы?» — спрашиваю отца. «Да вот, недалеко прокатимся»,— пошутил он. А шутка вышла такая, что мы без остановки на почтовых проехали в другое имение за тысячу верст. Ни писать, ни иначе дать весть Концову мне долгое время не удавалось, за мной следили. И уже когда отец тяжело заболел в том имении, я отцу все высказала, молила его не губить меня, позволить известить Концова. Он горько заплакал

и сказал: «Прости, Ариша, тебя и меня, вижу, жестоко обошли». «Да кто? кто?—спрашиваю,—ужли тот родной искал моей руки?»—«Не руки—денег искал, да боялся, что Концов, оберегая нас, помешает ему. Он наскочил на его письмо к тебе, наговорил на Концова и склонил меня, старого, увезти тебя. Прости, Аринушка, прости; бог покарал и его, недоброго; взял он у меня взаймы, но в Москве проигрался в карты и застрелился,—оставил письмо... вон оно, читай; на днях его переслали мне». Отец недолго потом жил. Я возвратилась в Ракитное; Концова уже не застала там; умерла и его бабка. Я писала в Петербург, куда он выехал, писала и в чужие края, на флот; но тогда была война, письма к нему, очевидно, не доходили. Потом его плен в Турции... потом... вот моя судьба.

— Молитесь, добрая моя, молитесь,—произнес священник.—Горька ваша доля... Тут одно спасение и защита—господь.

Прошло еще несколько дней. Ракитина без устали собирала справки, хлопотала, но все безуспешно.

— Что же, Ирина Львовна,—сказал однажды отец Петр своей гостье,—ездите вы, вижу, все напрасно—то в одно, то в другое место, справляетесь, тревожитесь... Государыня, слышно, будет еще не скоро. Написали бы к начальству Павла Евстафьевича в Москву... не знает ли чего хоть бы граф Орлов?

— Покорно благодарствую, батюшка!—ответила, с поклоном, Ракитина.—Помолитесь, не узнаем ли чего о том корабле без команды? Не прибило ли его куда-нибудь и не спасся ли на нем хоть кто-нибудь, в том числе и Концов... Вчера вот граф Панин обещал разведать через иностранную коллегию, в Испании и на Мадере; Фонвизин, писатель, тоже вызвался... не будет ли вести, обожду еще, а то пора бы и домой,—да как ехать, без успеха... Этот корабль, этот призрак все у меня перед глазами...

XXVIII

Вечером первого декабря 1775 года была особенно ненастная и дождливая погода. Снег, выпавший с утра, растаял. Везде стояли лужи. Экипажи и редкие пешеходы уныло шлепали по воде. Была буря. Она ревела над

домом священника, стуча ставнями и раскачивая у забора огромные деревья в смежном, гетманском саду. Нева вздулась. Все ждали наводнения. С крепости изредка раздавались глухие пушечные выстрелы.

Отец Петр сидел сумрачный на вышке у барышень. Разговор под вой и рев ветра не клеился и часто смолкал. Варя гадала на картах; Ирина, с строгим и недовольным лицом, рассказывала, какие алчные пиявки все эти секретари в иностранной коллегии, переводчики и даже писцы; несмотря на приказ и личное внимание графа Панина, они все еще не снеслись с кем надо в Испании и на островах, составляли проекты бумаг, переписывали их, переводили и вновь переписывали, лишь бы тянуть.

— Да вы бы смазочку... через прислугу, или как,— сказал священник.

— Давали и прямо в руки,— ответила Варя за подругу.

Та с укоризной на нее взглянула.

— Ох, уж эти волосте́ли-радетели! — произнес отец Петр.— Пора бы из Москвы обра́тно государыне; плохо без нее.

Дождь наискось хлестал в окна, как град. Измокший и озябший сторожевой пес забрался в конуру, свернулся калачом и молчал, как бы сознавая, что при такой буре и пушечных выстрелах всем, разумеется, не до него.

Вдруг после одного из выстрелов с крепости пес отрывисто и особенно злобно залаял. Сквозь гул ветра послышался стук в калитку. Девушки вздрогнули.

— Аксинья спит,— сказал отец Петр о кухарке.— Кому-то, видно, нужно... с крыльца не дозвонились.

— Я, дяденька, отворю,— сказала Варя.

— Ну, уж по твоей храбрости, лучше сиди.

Священник, спустясь со свечой в сени, отпер уличную дверь. Вошел несколько смокший на крыльце, в треуголке и при шпаге, невысокий, толстый человек, с красным лицом.

— Секретарь главнокомандующего, Ушаков! — сказал он, встряхиваясь.— Имею к вашему высокопреподобию секретное дело.

Священник струхнул. Ему вспомнились бумаги, привезенные Ракитиной. Он запер дверь, пригласил незнакомца в кабинет, зажег другую свечу и, указав гостю стул, сел, готовясь слушать.

— Проповеди-с Массильона? — произнес Ушаков, отирая окоченелые руки и присматриваясь к книге знаменитых «Sepmons»[1], лежащих у отца Петра на столе.— Изволите хорошо знать по-французски?

— Маракую,— ответил священник, мысля: «Что ему в самом деле до меня и в такой поздний час?»

— Вероятно, батюшка, изволите знать и по-немецки? — спросил Ушаков.— А кстати, может быть, и по-итальянски?

— По-немецки тоже обучался; итальянский же близок к латинскому.

— Следовательно,— продолжал гость,— хоть несколько и говорите на этих языках?

«Вот явился прецéптор, экзаменовать!» — подумал священник.

— Могу-с,— ответил он.

— Странны, не правда ли, отец Петр, такие вопросы, особенно ночью? — произнес гость.— Ведь согласитесь, странны?

— Да, таки, поздненько,— ответил, зевнув и смотря на него, священник.

Ушаков переложил ногу на ногу, вскинул глаза на стену, увидел в рамке за стеклом портрет опального архиерея, Арсения Мацеевича, и подумал: «Вот что! сочувственник этому вралю... надо быть настойчивее, резче!»

— Ну, не буду длить, вот что-с,— объявил он.— Его сиятельству, господину главнокомандующему, благоугодно, чтобы ваше высокопреподобие, взяв нужные святости, тотчас и без всякого отлагательства потрудились отправиться со мной в одно место... Там иностранка-с... греко-российской веры...

— В чем же дело?

— Нужно совершение двух таинств.

— Каких именно?

— А вам, извините, зачем знать? разве нужно заранее? — возразил Ушаков.— Тут не должно быть колебаний, повеление свыше.

— Необходимо приготовиться,— сказал священник,— что именно ранее?

---

[1] «Проповеди» *(фр.)*.

— Сперва крещение, потом исповедь с причастием,— ответил Ушаков.

— И теперь же, ночью?

— Так точно-с, карета готова.

— Позволите взять причетника?

— Велено, слышите ли, без свидетелей.

— Куда же это, смею спросить?

— Ответить не могу. Изволите увидеть после, а теперь одно — беспродлительно и в полном секрете! — заключил Ушаков, кланяясь как-то кверху, хотя, в знак просьбы, обеими руками прижимая к груди обрызганный дождем треугол.

— Могу объявить домашним, успокоить их?

Ушаков, зажмурясь, отрицательно замахал головой.

Священник взял крест и книги, крикнул на вышку: «Варенька, запри дверь!» — и когда племянница спустилась в сени, карета, гремя, уже катилась по улице. Подъехав к церковной ограде, отец Петр разбудил привратника, вошел в церковь и взял дароносицу.

XXIX

Путники остановились у дома главнокомандующего Голицына. Князю доложили о прибытии священника. Тот его пригласил в спальню, где уже был в халате.

— Извините, батюшка,— сказал, наскоро одеваясь, главнокомандующий.— Дело важное, воля высшего начальства... Я сперва должен взять с вас клятвенное обещание, что вы вечно будете молчать о слышанном и виденном в предстоящем деле. Клянетесь ли?

— Как приносящий бескровную жертву,— отвечал отец Петр,— я буду верен монархине и без клятвенных слов.

Голицын было замялся, но не настаивал. Он сообщил священнику сведения, добытые о пленнице.

— Знали ль вы о ней что-нибудь прежде? — спросил князь.

— Кое-что дошло по молве...

— Известно ли вам, что она теперь в Петербурге?

— Впервые слышу.

Голицын сообщил о тревоге госуда́рыни, об иностранных враждебных партиях, о поддельных завещаниях.

— Доктор более не ручается за ее жизнь,— прибавил фельдмаршал,— не только дни, часы ее сочтены.

Отец Петр перекрестился.

— Она желает приготовиться,— продолжа́л князь, подбирая слова,— не мне вас учить. Вы, как добрый пастырь, доведете ее, вероятно, до полного раскаяния и сознания, кто она, и если обманно звалась принятым именем, то узнаете, кто ее тому научил... исполните ли?

Священник медлил ответом.

— Даете ли слово помочь правосудию?

— Долг пастыря и свои обязанности знаю,— покашливая, сухо ответил отец Петр.

— Можете ехать,— сказал, кланяясь, князь,— вас проводят, куда нужно; а меня простите за тревогу в такое время.

Карета с священником и Ушаковым направилась к крепости. У дома обер-коменданта они приметили другой экипаж. Духовника ввели в особую комнату. Там его встретил генерал-прокурор, князь Вяземский. Рядом стояли рослый, бравый и румянолицый обер-комендант крепости Чернышев и разряженная, еще моложавая жена последнего.

— Готовы ли все?—спросил Вяземский, оглядываясь.

— Готово,— ответила, несмело приседая, в шуршащих фижменах, обер-комендантша.

— Милости просим,— обратился князь Вяземский к священнику.

Все вошли в соседнюю комнату. Там уже горели в высоких поставцах свечи; между ними стояла купель, и какая-то, в мещанской шубейке, женщина держала что-то завернутое в белое.

— Приступайте, батюшка,— сказал Вяземский, указывая на купель и на то, что держала женщина.

Отец Петр надел ризу, взял поданное Чернышевым кадило, раскрыл книгу и начал крещение. Восприемниками были разряженная, метавшая жеманные взгляды обер-комендантша и сам генерал-прокурор. Имя новорожденному дали Александр. Обряд был кончен. Обер-

комендантша все металась с ребенком на руках, глазами и плечами усиливаясь обратить внимание князя на себя и на свое шуршавшее платье.

— Чье дитя? — спросил вполголоса священник, почтительно склоняя крест к подошедшему восприемному отцу.

— Как записать в книгу? — спросил отец Петр.— Кто родители?

— Да разве это непременно нужно? — недовольно спросил генерал-прокурор.

— Как повелите... По долгу обряда... мало ли что в будущем... мы должны.

— Запишите,— сказал князь Вяземский.— Александр Алексеев, сын Чесменский.

Священник молча, вздрагивавшей рукой, занес это имя в книгу крещаемых.

— А теперь другая треба... вот ваш вожатый! — сказал со вздохом князь Вяземский, указывая духовнику на вытянувшегося во фронт обер-коменданта.— Надеюсь, все исполнится, как повелено.

С этими словами он вышел и уехал.

Отец Петр, с дароносицей у груди, пошел за Чернышевым. Его сердце сильно забилось, когда они через внутренний мостик вступили в особый, со всех сторон огражденный двор; он понял, что это был роковой Алексеевский равелин...

Чернышев и его спутник взошли на невысокое крыльцо с длинным полуосвещенным коридором, приблизились к небольшой двери.

«Она здесь»,— шепнуло сердце священнику. За дверью оказалась невысокая опрятная комната. Часовых уже там не было. Свеча у кровати слабо озаряла из-за особой тафтяной заставки остальную часть комнаты. Воздух был спертый, с легкой примесью запаха лекарств и как бы ладана. Священник огляделся и молча ступил за ширму.

Больная неподвижно лежала на кровати, но была в памяти.

Она, медленно вглядываясь в вошедшего, узнала, по его одежде, священника и, тихо вздохнув, протянула ему руку.

— Очень, очень рада, святой отец! — проговорила она по-французски.— Понимаете меня? Может быть, вам доступнее немецкий язык?

— Oui, oui, comme il vous plait! [1] — неумело выговаривая, ответил отец Петр, вздрогнув от этого грудного, разбитого голоса.

— Я готова, спрашивайте,— проговорила арестантка.— Помолитесь за меня...

XXX

Священник бережно положил на стол дароносицу, присел на стул у кровати, оправил густую гриву своих волос и, разглядев образок у изголовья больной, тихо нагнулся к ней.

— Ваше имя? — спросил он.

— Princesse Elisabeth... [2]

— Заклинаю вас, говорите правду,— продолжал отец Петр, подбирая французские слова.— Кто ваши родители и где вы родились?

— Клянусь всем, святым богом клянусь, не знаю! — ответила, глухо кашляя, пленница.— Что передавала другим, в том была сама убеждена.

На новые вопросы, чуть слышно, упавшим голосом, она еще кое-что добавила о своем детстве, коснулась юга России, деревушки, где жила, Сибири, бегства в Персию и пребывания в Европе.

— Вы христианка? — спросил священник.

— Я крещена по греко-российскому обряду и потому считаю себя православною, хотя доныне, вследствие многих причин, была лишена счастья исповеди и святого причастия... Я много грешила; искавши выхода из своего тяжелого положения, сближалась с людьми, которые меня только обманывали... О, как я вам благодарна за посещение!

— У вас найдены списки с духовных завещаний... от кого вы их получили и кем, откройте мне и господу сил, составлен ваш манифест к русской эскадре?

— Все это, уже готовое, мне прислано от неизвестного лица,— проговорила больная.— Тайные друзья меня жалели... старались возвратить мои утерянные права.

«Что же это? — раздумывал, слушая ее, изумленный духовник.— Все тот же обман или правда? и если обман, то в такое мгновение!»

---

[1] Да, да, как вам угодно! *(фр.)*
[2] Княгиня Елисавета... *(фр.)*

— Вы на краю могилы,— произнес он дрогнувшим голосом,— тлен и вечность... покайтесь... между нами один свидетель — господь.

Исповедница боролась с собой. Ее грудь тяжело дышала. Рука судорожно стискивала у рта платок.

— В ожидании божьего праведного суда и близкой кончины,— сказала она, обратя угасший взгляд на стену к образку,— уверяю и клянусь, все, что я сообщила вам и другим,— истина... Более не знаю ничего...

— Но ведь это невозможно,— возразил с чувством отец Петр,— то, что вы передаете, так мало вероятно.

Больная, как бы от невыносимого страдания, закрыла глаза. Слезы покатились по ее бледным, страшно исхудалым щекам.

— Кто были ваши соучастники? — спросил, помедлив, священник.

— О, никаких! Пощадите... и если я, слабая, гонимая, без средств...

Княжна не договорила. Снова страшно закашлявшись, она вдруг приподнялась, ухватилась за грудь, за кровать и в беспамятстве упала. Обморок длился несколько минут. Отец Петр, думая, что она умирает, набожно шептал молитву.

Больная очнулась.

— Успокойтесь, придите в себя,— сказал священник, видя, что ей лучше.

— Не могу более, оставьте, уйдите! — проговорила больная.— В другой раз... дайте отдохнуть...

— Вашего сына сейчас окрестили,— объявил, желая ее ободрить, священник,— поздравляю. Господь милосерден, еще будете жить... для него.

Чуть заметная улыбка скользнула по сжатым, запекшимся губам арестантки. Глаза смутно глядели в сторону, вверх, куда-то мимо этой комнаты, крепости, мимо всего окружавшего, далеко...

Отец Петр осенил больную крестом, еще постоял над нею, взял дароносицу и, отложив таинство причастия, вышел.

— Ну, что? — спросил его в коридоре обер-комендант.— Исповедали, приобщили?

Священник, склонив голову, молча поклонился обер-коменданту, сел в карету и уехал из равелина.

Утром второго декабря его опять пригласили со святыми дарами в крепость. Арестантке стало хуже.

— Одумайтесь, дочь моя, облегчите душу покаянием,— увещевал священник.— Заклинаю вас богом, будущею жизнью!

— Я грешна,— ответила, уже не кашляя и как-то странно успокоясь, умирающая,— с юных лет я гневила бога и считаю себя великою, нераскаянною грешницей.

— Разрешаю твои прегрешения, дочь моя,— произнес, искренне молясь и крестя ее, священник,— но твое самозванство, вина перед государыней, сообщники?

— Я русская великая княжна! Я дочь покойной императрицы! — с усилием прошептала коснеющими устами пленница.

Священник нагнулся к ней, думая приступить к причастию. Арестованная была неподвижна, как бы бездыханна.

XXXI

Отец Петр в сильном смущении возвратился домой.

«Да уж и впрямь самозванка ли она? — мыслил он.— Все может утверждать человек из личных выгод; но умирающий... при последнем вздохе... и после таких лишений, почти пытки!.. Что, если она неповинна, не обманщица? Помнит детство, твердит одно... Ведь она здесь и, в самом деле, пока единственный свой свидетель. Ее ли вина, если ее доказательства шатки, даже ничтожны».

Священник вошел к себе в кабинет. Девушек, как он узнал, не было дома; он растопил печь, запер дверь, вынул дневник Концова, снова посмотрел рукопись, вложил ее в чистый лист бумаги, перевязал его шнурком и запечатал, надписав на оболочке: *«Вскрыть после моей смерти».* Этот сверток он положил на дно сундука, где хранились его другие сокровенные бумаги и рукописи, и, едва замкнул сундук, в дверь постучались.

— Кто там?

— Свои.

Вошла племянница, за нею стояла Ракитина.

— Что это, дяденька, с вами? — спросила, вглядываясь в священника, Варя.— Вы встревожены, другой день куда-то ездите... где были?..

Ирина смотрела также вопросительно. «Уж не получены ли какие вести для меня?» — мыслила она.

— Дело постороннее, не по вашей части! И вы меня, Ирина Львовна, великодушно простите,— обратился

священник к Ракитиной,— времена смутные... привезенную вами рукопись опасно держать в доме... вы собираетесь уехать, но и в деревне не безопасно... уж извините старику...

Ирина побледнела.

— Разные ходят слухи, не учинили бы розыска,— продолжал отец Петр,— пеняйте, сударыня, на меня, только я ваши листки...

— Где тетрадь? Неужели сожгли? — вскрикнула Ракитина, взглядывая в растопленную печь.

Отец Петр молча поклонился.

Ирина всплеснула руками.

— Боже,— проговорила она, не сдержав хлынувших слез,— было последнее утешение, последняя память — и та погибла. С чем уеду?

Варя с укором взглянула на дядю.

— После, дорогая барышня, со временем все узнаете, теперь лучше молчать,— сказал решительно отец Петр.— Пути божии неисповедимы, враг же сеет незнаемое... молитесь, памятуя господа. Он воздаст.

Священника не оставили в покое. В тот же день его снова пригласили к главнокомандующему.

— Дознались ли вы чего-нибудь от арестованной? — спросил Голицын.

— Простите, ваше сиятельство,— ответил отец Петр,— тайна исповеди... не могу...

Голицын смешался. «Какие поручения! — подумал он, краснея.— И все эти советники... Орлову не сидится; плетет, видно, мутьян в Москве, а ты спрашивай...»

— Но, батюшка, на это воля свыше,— сказал Голицын.

— Не могу, ваше сиятельство, против совести.

Голицын шевелил губами, не находя выхода из затруднения.

— Да кто же наконец она? — произнес он, стараясь придать себе грозное, решительное выражение.— Ведь это, батюшка, государственное, глубокой важности дело... Согласитесь, я должен же донести, взыщется... ведь ответчик за спокойствие и за все — я... я один...

— Одно могу доложить вашему княжескому сиятельству,— проговорил священник,— пока жив, сдержу клятвенное слово, потребованное вами.

Фельдмаршал насторожил уши.

— Никому не пророню узнанного на духу,— продолжал отец Петр,— вы сами взяли с меня обет молчания, но я могу сообщить вам, князь, лишь мою собственную догадку. Много об арестованной выдумано, приплетено... А что, если...

— Говорите, говорите,— сказал фельдмаршал.

— Что, если арестованная не повинна ни в чем! — произнес священник.— Ведь тогда, за что же она все *это* терпит?

Если бы гром в это мгновение разразился над фельдмаршалом — он менее озадачил бы его.

— Вы хотите сказать, что она не имела сообщников, не злоумышляла? — проговорил он.— Да ведь, если, сударь, так, то она и не самозванка, понимаете ли, а прирожденная, настоящая наша княжна... Неужели возможно это, хотя на миг, допустить?

Отец Петр, склонясь головой на рясу, молчал.

— Вы ошибаетесь! Сон и бред! — вскричал фельдмаршал, хватаясь за звонок.— Лошадей! — сказал он вошедшему ординарцу.— Сам попытаюсь, еще не утеряно время! погляжу.

XXXII

«Ох, и я грешник в указаниях о ней! — мыслил Голицын, едучи в крепость,— поддавался в выводах другим, торопился без толку, льстил догадкам и соображениям других!»

Нева, поверх льда, была еще затоплена остатками бывшего накануне наводнения. Карета Голицына с трудом пробиралась между незамерзших луж.

Обер-коменданта он не застал дома. Тот с ночи находился в равелине. У крыльца вертелся с бумагами Ушаков. Он подошел к князю и начал было:

— Так как вашему сиятельству небезызвестно, расходы на оную персону...

— Ведите меня к арестантке,— сказал князь дежурному по караулу, обернув спину к Ушакову.— Чем занимаются! Что больная? В памяти еще?

— Кончается,— ответил дежурный.

Голицын перекрестился. У входа в равелин его встретил обер-комендант Чернышев.

Князь не узнал его. Бравый, молодцеватый фронтовик-служака, Чернышев, не смущавшийся на своей должности ничем, был взволнован и сильно бледен.

— Бедная,— прошептал фельдмаршал, идя с Чернышевым,— ужели умрет?.. Был доктор?

— Неотлучно при ней, с вечера,— ответил Чернышев,— недавно началась агония... бредит...

— О чем бред? Говорите! — опять всполошился князь, склоняя голову к Чернышеву.— Были вы у нее, слышали? Бред о чем?

— Заходил несколько раз,— ответил обер-комендант.— Твердит непонятные слова — слышатся между ними: Орлов... принцесса... mio caro, gran Dio...[1]

— Ребенок? — спросил, смигивая слезы, князь.

— Жив, ваше сиятельство,— на руках кормилки... супруга... жена-с хорошую нашла.

— Заботьтесь, сударь, чтоб все было, понимаете, чтоб все,— внушительно и строго проговорил фельдмаршал, подыскивая в голосе веские, начальнические звуки,— по-христиански, слышите ли, вполне... И на случай, здесь же... в тайности, понимаете ли, и без огласки... ведь человек тоже, страдалица.

Князь еще хотел что-то сказать и всхлипнул. Горло ему схватили слезы. Он качнул головой, оправился и, по возможности бодрясь, твердо вышел на крыльцо. Здесь он взглянул на хмурое серое небо, заволоченное обрывками облаков.

Над равелином, в вихре падавшего снега, беспорядочно вились галки. Полусорванные смолкшею двухдневною бурей, железные листы уныло скрипели на ветхой крыше. Фельдмаршал, кутаясь в соболий воротник, сел в карету и крикнул:

— Домой!

«В прежние наводнения,— рассуждал он,— не раз заливало казематы; теперь господь помиловал ее, бедную.

Да, по всей видимости,— мысленно прибавил он себе,— несчастная — игралище чужих, темных страстей. Самозванка ли, трудно решить. Так ее величеству и отпишу... ее смерть падет не на наши головы...»

Карета быстро неслась по свежему, падавшему снегу, обгоняя обозы с дровами и сеном, щегольские экипажи и

[1] Мой дорогой, великий боже... *(итал.)*.

одиноких пешеходов, озабоченно шагавших сквозь снежную завируху.

Мелькали те же дома и церкви, те же мосты и вывески, к которым старый князь, с хлопотливою, деловою озабоченностью начальника северной резиденции, приглядывался столько лет. Вот и дом полиции, у Зеленого моста, на Невском, и собственная квартира фельдмаршала. Тяжело было на его душе.

«А что, если она и впрямь не самозванка?» — вдруг подумал фельдмаршал, завидев у моста на Мойке место бывшего Елисаветина Зимнего дворца и далее, по Невскому, Аничковы палаты Разумовского.

Голицыну вспомнилось прошлое царствование, тогдашние сильные люди, связи, его собственные молодые годы и все, что унеслось с теми невозвратными годами и людьми.

Вечером, четвертого декабря 1775 года, княжна Тараканова, dame d'Azow, Али Эмитé и принцесса Владимирская — скончалась. Ее последних минут не видел никто. К ней вошли,— она лежала тихо, будто заснула. Неприкрытые тусклые зрачки были устремлены к образку спаса.

На следующий день сторожившие ее гарнизонные инвалиды Петропавловской крепости вырубили, при помощи ломов и кирок, на внутреннем, обсаженном липками дворике Алексеевского равелина глубокую яму и тайно от всех зарыли в ней тело умершей, закидав ее мерзлою землей. Инвалидный вахтер Антипыч сам от себя посадил над этой могилой березку... Прислугу арестантки, горничную Мешéде и шляхтича Чарномского, по довольном опросе и взятии с них клятвы о вечном молчании, отпустили в чужие края.

Отец Петр проведал о кончине арестантки по слезам и некоторым намекам кумы, обер-комендантши. Он сказал себе: «Узницы тьмы, долгою нощию связаны, успокоил вы господь!» — и без огласки отслужил у себя в церкви панихиду по усопшей рабе божией Елисавете, причем на проскомидии, в помин ее души, вынул частичку из просфоры.

— По ком это, крестный, вы служили панихиду? — спросила священника Варя, увидев у него на столе эту просфору.

— Неизвестная тебе особа, многострадальная!

— Да кто она?

— *Аз раб и сын рабыни твоея*,— ответил загадочно отец Петр,— все мы под властью божьей, мудрые и простые, рабы и цари... *сокровенная притчей изыщет и в гадании притчей поживет!..*

Фельдмаршал Голицын долго обдумывал, как сообщить императрице о кончине Таракановой. Он взял перо, написал несколько строк, перечеркнул их и опять стал соображать.

«Э, была не была! — сказал он себе.— С мертвой не взыщется, а всем будет оправдание...»

Князь выбрал новый чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и, тщательно выводя слова неясного, старческого почерка, написал:

«Всклепавшая на себя известное вашему величеству неподходящее имя и природу, сего четвертого декабря, умерла нераскаянной грешницей, ни в чем не созналась и не выдала никого».

«А кто из высших проведает о ней и станет лишнее болтать,— мысленно добавил Голицын, кончив это письмо,— можно пустить слух, что ее залило наводнением... Кстати же, так стреляли с крепости и разгулялась было Нева...»

Так и сложилась легенда о потоплении Таракановой.

Пробившись без успеха еще некоторое время по присутственным местам, Ирина Львовна Ракитина убедилась в безнадежности своего дела и уехала с Варей обратно на родину. В Москве она пыталась лично подать прошение императрице. Это было в том же декабре 1775 года, накануне возвращения Екатерины в Петербург. Прошение Ирины было благосклонно принято, но в суете придворных сборов, очевидно, где-нибудь затерялось, и потом о нем забыли. По нем не последовало никакого решения и ответа. Хотела Ирина в Москве навестить графа Орлова — ей это отсоветовали.

Возвратясь в Петербург, императрица подробнее расспросила Голицына о кончине узницы и, как старик

ни старался смягчить свой рассказ, поняла, какая драма постигла ослепленную жертву чужих видов.

— Пересолили, князь, и мы с тобой! — сказала Екатерина.— Отчего ты не был откровеннее со мной?

«Я кругом виновата,— решила Ирина, после мучительных сомнений и раздумья:— через меня Концов бросил родину, через меня впал в отчаянье, пытался помочь той несчастной и погиб. Мне искупить его судьбу, мне вымолить у бога прощение всем греховным в этом деле. Я одинока, нечего более в мире ждать».

Ракитина в 1776 году оставила свое поместье на руки старого отцовского слуги. В сопровождении Вари, помолвленной в том году за учителя московской семинарии, она уехала в небольшой женский монастырь, бывший невдали от Киева, и поступила туда послушницей, в надежде скоро принять окончательно постриг. Сколько Варя ни разубеждала ее, со слезами и заклинаниями, Ирина, надев рясу и клобук, твердила одно:

— Я виновата, мне молиться за него и вечно страдать...

XXXIII

Мольбы, однако, не шли на мысли Ирины.

Прошло пять лет. В мае 1780 года Ракитина снова посетила Петербург. Ее приятельница Варя была замужем в Москве. Дядя Вари, отец Петр, состоял по-прежнему священником Казанской церкви. Ирина его навестила. Он ей очень обрадовался, стал ее расспрашивать.

— Неужели все еще ждете, надеетесь, что ваш жених жив? — спросил он.— Столько лет напрасно тревожитесь; был бы жив, неужели не отозвался бы как-нибудь, не говорю вам — знакомым, родным?

— Не говорите, батюшка,— возразила Ирина, отирая слезы,— все отдам, всем пожертвую.

— Но это, сударыня моя, даже грешно... испытываете провидение, язычески гадаете.

— Что же мне делать? — произнесла Ирина.— Вижу тяжелые, точно пророческие сны... Один, особенно,—ах, сон!.. недавно снилось, да подряд несколько ночей...

Ирина смолкла.

— Что снилось? Говорите, откройтесь.

— Снилось, будто он подошел к моему изголовью такой же, как я его видела у нас в деревне, в последний раз,— статный, красивый, добрый, и говорит: «Я жив, Аринушка, я там, где шумит вечное море... смотрю на тебя утро и вечер с берега, жду, авось меня найдешь, освободившись...» Ах, научите, где искать, кого просить? Государыню снова просить не решаюсь...

— Думал я о вас,— сказал отец Петр,— здесь некому, кроме одного лица... А это лицо — государь цесаревич Павел Петрович... Он, гроссмейстер, покровитель ордена мальтийских рыцарей, один может. Лучшего пособника, коли он только снизойдет к вам, в вашем деле не найти... Тут все: и ум, направленный к благому и таинственному, и связи с могучими и знатными филантропами. А доброта? А рыцарская честность? Это не Тиверий, как о нем говорят враги, а будущий благодетельный Тит...

— Да, я слышала,— ответила Ирина.

— Слышали? так поезжайте же к нему на мызу, ищите аудиенции.

Священник снабдил Ирину нужными наставлениями и советами, дал ей письмо к своей крестнице, кастелянше дворца цесаревича. Ракитина наняла кибитку и через Царское село отправилась на собственную мызу великого князя — «Паульслуст», впоследствии Павловск.

Кастелянша приняла Ракитину весьма радушно. Она, приютив ее у себя, показала ей диковинки великокняжеского сада и парка, домики Крик и Крах, хижину Пустынника, гроты, пруды и перекидные мосты.

Было условлено, что Ирина сперва все изложит ближней фрейлине цесаревны, недавней смолянке, Катерине Ивановне Нелидовой.

— Когда же к Катерине Ивановне? — спрашивала Ирина, ожидая обещанного ей свидания.

— Занята она, надо подождать, на клавикордах все любимую пьесу цесаревича, какой-то гимн изучает для концерта.

Ирина шла однажды с своей хозяйкой по парку. Вдруг из-за деревьев им навстречу показалась белокурая дама, в голубом, без фижменов, шелковом платье.

— Кто это? — спросила Ирина.

— Цесаревна,— ответила чуть слышно, низко кланяясь, кастелянша.

Ракитина обмерла. Двадцатидвухлетняя, стройная, несколько склонная к полноте красавица, великая княгиня Мария Федоровна прошла мимо Ирины, близорукими, несколько смущенными глазами с удивлением оглядев ее монашеский наряд. За цесаревной, со свертком нот и скрипкой под мышкой, шел худой и высокий рябоватый мужчина, в темном кафтане и треуголе.

— А это кто? — спросила Ракитина, когда они прошли.

— Паэзиелло,— ответила кастелянша,— учитель музыки ее высочества.

Ирина с восхищением разглядела редкую красоту цесаревны, нежный румянец ее лица и какие-то алые и синие цветы в ее роскошных белокурых волосах, вправленные для сохранения свежести в особые, крохотные стеклянные бутылочки с водой.

Поодаль за цесаревной следовали две фрейлины. Одна из них, невысокая, худенькая и подвижная брюнетка, поразила Ирину блеском черных, сыпавших искры живых глаз. Она весело болтала с сопутницей. То была Нелидова. Мило прищурясь сделавшей ей книксен толстой кастелянше, она ей сказала с ласковой улыбкой:

— Все некогда было, Анна Романовна,— все гимн... завтра утром...

«Итак, завтра»,— подумала Ирина, восторженным взором провожая чудных, нарядных фей, так нежданно мелькнувших перед нею в парке.

В назначенный час Анна Романовна провела Ирину во фрейлинский флигель, бывший рядом с гауптвахтой, и усадила ее в небольшой приемной.

— Катерина Ивановна, видно, еще во дворце, у великой княгини,— сказала она,— подождем, голубушка, здесь; скиньте ваш клобучок... жарко.

— Ничего, побуду и так...

Комната была украшена вазами, блюдами на этажерках и медальонами, вправленными в стены.

— Это все работа великой княгини,— произнесла кастелянша.— Взгляните, матушка, что за мастерица, как рисует по фарфору... А вон в черном шкапчике работа из кости; сама режет на камнях, тушует по золоту ландшафты, точит на станке. А как любит Катерину Ивановну, и все ей дарит. Это вот ею вышитая подушка.

Смотрите, какая роза, а это мирт, что за тонкость узора, красок. Точно нарисовано.

Ирина не отзывалась.

— Что молчите, милая? О чем думаете?

— Роза и мирт,— произнесла, вздохнув, Ирина,— жизнь и смерть... Чем-то кончатся мои поиски и надежды?

Из комнат Нелидовой в это время донеслись звуки клавесина. Нежный, звонкий, отлично выработанный голос пел, под эти звуки, торжественный и грустный гимн из оперы Глюка «Ифигения в Тавриде».

— Ну, Арина Львовна, уйдем,— сказала кастелянша,— видно, опоздали; Катерина Ивановна за музыкой, а в это время никто ее не беспокоит. Того и гляди, у нее теперь и великая княгиня.

Ирина, дав знак спутнице, чтоб та несколько обождала, с замиранием сердца дослушала знакомый ей, молящий гимн Ифигении. Она сама когда-то в деревне пела его Концову.

«О, если бы я так могла их просить! Но когда это будет? У них свои заботы, им некогда!» — подумала она, чувствуя, как ее душили слезы.

— Идем, идем,— торопила Анна Романовна.

Гостьи тихо вышли в сени, на крыльцо, обогнули фрейлинский флигель и направились в сад. Калитка хлопнула.

— Куда же вы это? — раздался над их головами веселый оклик.

Они подняли глаза. Из растворенного окна на них глядела радушно улыбающаяся, черноглазая Нелидова.

— Зайдите, я совершенно свободна,— сказала она,— пела в ожидании вас, зайдите.

Гостьи возвратились.

Кастелянша представила Ракитину. Нелидова приветливо усадила ее рядом с собой.

— Так молоды и уже в печальном уборе! — произнесла она.— Говорите, не стесняясь, слушаю.

Ирина, начав о Концове, перешла к рассказу о плене и заточении Таракановой. С каждым ее словом, с каждою подробностью печального события оживленное и обыкновенно веселое лицо Нелидовой становилось пасмурней и строже.

«Боже, какие тайны, какая драма! — мыслила она, содрогаясь.— И все это произошло в наши дни! Точно

мрачные, средневековые времена, и никто этого не знает».

— Благодарю вас, мамзель Ирен,— сказала Катерина Ивановна, выслушав Ракитину,— очень вам признательна за рассказ. Если позволите, я все сообщу их высочествам... И я убеждена, что государь-цесаревич, этот правдивый, этот рыцарь, ангел доброты и чести... все для вас сделает. Но кого он должен просить?

— Как кого?—удивилась Ирина.

— Видите ли, как бы вам сказать?—произнесла Нелидова.— Государь-наследник не мешается в дела правления; он может только ходатайствовать, просить... от кого зависит ваше дело?

— Князь Потемкин мог бы,— ответила Ирина, вспомнив наставления отца Петра,— этому сановнику легко предписать послам и консулам. Лейтенант Концов, быть может, снова где-нибудь в плену у мавров, негров, на островах атлантических дикарей.

— Вы долго здесь пробудете?—спросила Нелидова.

— Мать-игуменья обители, где я живу, давно отзывает, ждет. Мои поиски все осуждают, именуют грехом.

— Как же и куда вам дать знать?

Ирина назвала обитель и задумалась, взглянув на подушку, вышитую великой княгинею.

— Я так исстрадалась и столько ждала,— проговорила она, подавляя слезы,— не пишите мне ничего, ни слова! а вот что... вложите в пакет... если удача — розу, неудача — миртовый листок.

Нелидова обняла Ирину.

— Все сделаю, все,— ласково сказала она.— Попрошу великую княгиню, государя-цесаревича. Вам нечего здесь ждать. Поезжайте, милая, хорошая. Что узнаю, вам сообщу.

XXXIV

Вестей не приходило. Наступил 1781 год.

С удалением князя Григория Орлова и с падением влияния воспитателя цесаревича, Панина, новые советники императрицы Екатерины, с целью устранить от нее влияние сына, Павла Петровича, подали ей мысль отправить цесаревича и его супругу, для ознакомления с

чужими странами, в долгий заграничный вояж. Ирина с трепетом узнала об этом в монастыре из писем Вари.

Их высочества оставили окрестности Петербурга 19 сентября 1781 года. В половине октября, под именем графа и графини Северных, они в украинском городке Василькове проехали русскую границу с Польшей. Здесь фрейлину Нелидову ожидала подъехавшая накануне по киевскому тракту некая молодая, в черной монашеской рясе, особа. Она была введена в помещение Катерины Ивановны. Туда же, через сад, как бы невзначай, пока перепрягали лошадей, вошли граф и графиня Северные. Они здесь оставались несколько минут и вышли — граф сильно бледный, графиня в слезах.

— Бедная Пенелопа,— сказал Павел Нелидовой, садясь в экипаж и глядя на видневшуюся сквозь деревья темную фигуру Ирины.

Беседа Катерины Ивановны с незнакомкой по отъезде высоких путников длилась так долго, что фрейлинский экипаж по маршруту запоздал и должен был догонять великокняжеский поезд вскачь.

— Роза, роза!.. Не мирт...— загадочно для всех крикнула незнакомке Нелидова по-французски, маша ей, как бы в одобрение, из кареты платком.

«Действительно, плачущая Пенелопа!» — подумала Катерина Ивановна, уезжая и видя издали на пригорке неподвижную темную фигуру Ирины.

Заграничный годовой вояж графа и графини Северных был очень разнообразен. Они объехали Германию и встретили новый, 1783 год в Венеции.

Восьмого января 1783 года великий князь Павел Петрович в живописном итальянском плаще «табарро», а великая княгиня в нарядной венецианской мантилье и в «цендаде» посетили утром картинную галерею и замок дожей, а вечером — театр «Пророка Самуила», где для высоких гостей давали их любимую оперу «Ифигения в Тавриде». Сам знаменитый маэстро-композитор Глюк управлял оркестром.

После оперы публика повалила на площадь святого Марка. Там в честь высоких путешественников был устроен импровизированный народный маскарад. Площадь кипела разнообразною, оживленною толпой. Все заметили, что граф Северный, проводив супругу из театра в приготовленный для них палаццо, гулял по площади в маске, в стороне от других, беседуя с каким-то

высоким, тоже в маске, иностранцем, который ему был представлен в тот вечер Глюком в театральной ложе.

Светил яркий полный месяц, горели разноцветные огни. Шум и говор пестрой толпы не развлекал собеседников.

— Кто это? — спросила одна дама своего мужа, указывая, как внимательно слушал граф Северный шедшего рядом с ним незнакомца.

— Да разве ты не узнаешь? Друг Глюка, наш знаменитый маг и вызыватель духов...

Павел был взволнован и не в духе. Он хотел подшутить над незнакомцем, но вспомнил одно обстоятельство и невольно смутился.

— Вы — чародей, живущий, по вашим словам, несчетное число лет,— произнес он любезно, хотя с нескрываемой усмешкой в голосе.— Вы, как уверяют, имеете общение не только со всеми живущими, но и с загробной жизнью. Это, без сомнения, шутка с вашей стороны, и я, разумеется, этому не верю! — прибавил он, стараясь быть любезным.— Смешно верить сказкам... Но есть сказки и сказки, поймите меня... Хотелось бы вас спросить об одном явлении...

— Приказывайте, слушаю,— ответил незнакомец.

— Например... и это опять только, без сомнения, разговор кстати,— продолжал граф Северный,— меня всегда занимали вопросы высшей жизни, непонятные вмешательства в нашу духовную область сверхъестественных сил. Мне бы хотелось... я бы вас просил — раз мы встретились так нежданно,— объясните мне одну загадочную вещь, странную встречу...

— К вашим услугам,— ответил, вежливо кланяясь, незнакомец.

Его себеседник молча прошел несколько шагов.

Павел боролся с собой, стараясь в чем-то поймать кудесника и в то же время заглушая в себе нечто тяжелое и томительное, что, очевидно, составляло одно из его тайных мучений. Приподняв маску, он отер лоб.

— Я видел духа,— проговорил он нерешительно, всилу сдерживая волнение,— видел тень для меня священную...

Незнакомец опять слегка поклонился, идя рядом с Павлом, который своротил с площади к полуосвещенной набережной.

— Однажды, это было в Петербурге...— начал граф Северный.

И он передал собеседнику известный, незадолго перед тем кем-то уже оглашенный в чужих краях рассказ о виденной им тени предка: как он в лунную ночь шел с адъютантом по улице и как вдруг почувствовал, что слева между ними и стеной дома молча двигалась какая-то рослая, в плаще и старомодном треуголе, фигура,— как он ощущал эту фигуру по ледяному холоду, охватившему его левый бок, и с каким страхом следил за шагами призрака, стучавшими о плиты тротуара, подобно камню, стучащему о камень. Незримый адъютанту, призрак обратил к Павлу грустный и укорительный голос: «Павел, бедный Павел, бедный князь! Не особенно привязывайся к миру: ты недолго будешь в нем. Бойся укоров совести, живи по законам правды... Ты в жизни...»

— Тень не договорила,— заключил граф Северный,— я не понимал, кто это, но поднял глаза и обмер: передо мной, ярко освещенный лунным блеском, стоял во весь рост мой прадед, Петр Великий. Я сразу узнал его ласковый, дышавший любовью ко мне взгляд; хотел его спросить... он исчез, а я стоял, прислонясь к пустой, холодной стене...

Проговорив это, Павел снова снял маску и отер платком лицо; оно было смущенно и бледно. Перед его глазами как бы еще стоял дорогой, печальный призрак.

XXXV

— Как думаете, синьор? — спросил, помолчав, граф Северный.— Была ли это греза, или я действительно видел в то время тень моего прадеда?

— Это был он,— ответил собеседник.

— Что же значили его слова? И почему он их не договорил?

— Вы хотите это знать?

— Да.

— Ему помешали.

— Кто? — спросил Павел, продолжая идти по опустелой набережной.

— Призрак исчез при моем приближении,— ответил собеседник.— Я в то время шел от вашего банкира

Сатерланда; вы меня не заметили, но я видел вас обоих и невольно спугнул великую тень.

Граф Северный остановился. Ему было смешно и досадно явное шарлатанство мага и вместе хотелось еще нечто от него узнать.

— Вы шутите,— произнес он,— разве вы посещали Петербург? Что-то об этом не слышал.

— Имел удовольствие... но на короткое время... меня тогда приняли недружелюбно. Как иностранец и любознательный человек, я ожидал внимания; но ваш первый министр обидел меня, предложив мне удалиться. Я взял от банкира свои деньги и в ту же ночь выехал.

«Шут, скоморох! — презрительно усмехнувшись, подумал граф Северный.— Какие басни плетет!»

— Приношу извинения за грубость нашего министра,— с изысканной вежливостью сказал он, чуть касаясь рукой шляпы.— Но что, объясните, значат недосказанные слова тени?

— Лучше о них не спрашивайте,— ответил незнакомец.— Есть вещи... лучше не допытывать о них немой судьбы...

В это время с большого канала донеслись звуки лютни. Кто-то на гондоле пел. Павел прислушался: то был его любимый гимн. Он вспомнил мызу Паульслуст, музыкальные утра Нелидовой и ее предстательство за Ракитину.

— Хорошо,— сказал он,— пусть так; правду скажет будущее. Но у меня к вам еще просьба... Особа, которой я хотел бы искренно, во что бы то ни стало, услужить, желает знать одну вещь.

— Очень рад,— произнес собеседник.— Чем могу еще служить вашему высочеству?

— Одна особа,— продолжал граф Северный,— просила меня разведать здесь, в Италии, в Испании, вообще у моряков, жив ли один флотский? Он был на корабле, который пять лет назад погиб без следа.

— Русский корабль?

— Да.

— Был унесен и разбит бурей в океане, невдали от Африки?

— Да.

— «Северный Орел»?

— Он самый... вы почем знаете?

— На то меня зовут чародеем.

— Говорите же скорее, спасся ли, жив ли этот моряк? — нетерпеливо произнес граф Северный.

Собеседники стояли у края набережной. Волны, серебрясь, тихо плескались о каменные ступени. Вдали, окутанный сумерками, колыхался темный, с подвязанными парусами, очерк корабля.

— Завтра на этой шкуне, — сказал собеседник Павла, — я покидаю Венецию. Но прежде, чем уйти в море и ответить на новый ваш вопрос, мне бы хотелось, простите, знать... будет ли граф Северный, взойдя на престол, более ко мне снисходителен, чем министры его родительницы? Позволит ли он мне в то время снова навестить его страну, каков бы ни был ответ мой о моряке?

Нервное волнение, охватившее Павла при рассказе о встрече с тенью прадеда, несколько улеглось. Он начинал более собою владеть. Вопрос собеседника привел его в негодование. «Наглец и дерзкий пролаз! — подумал он с приливом подозрительности и гнева. — Каково нахальство и какой дал оборот разговору! Базарный акробат, шарлатан!..»

Павел едва сдерживал себя, комкая в руках снятую перчатку.

— За будущее трудно ручаться, по вашим же словам, — сказал он, несколько одумавшись, — впрочем, я убежден, что в новый приезд вы в России во всяком случае найдете более вежливый и достойный чужестранца прием.

Собеседник отвесил низкий поклон.

— Итак, вам хочется знать о судьбе моряка? — произнес он.

— Да, — ответил Павел, готовясь опять услышать что-либо фиглярское, иносказательное, пустое.

— Пошлите особе, ожидающей вашего известия, — проговорил итальянец, — миртовую ветвь...

— Как? Что вы сказали? Повторите! — вскрикнул Павел. — Мирт, мирт? Так он погиб?

— Моряк спасся на обломке корабля у острова Тенериф и некоторое время жил среди бедных прибрежных монахов.

— А теперь? Говорите же, молю вас...

— Год спустя его убили пираты, грабившие прибрежные села и монастырь, где он жил.

— Откуда вы все это знаете?

— Я также в то время жил на Тенерифе,— ответил собеседник,— списывал в монастырском архиве одну, нужную мне, древнюю латинскую рукопись.

«Да что же это наконец? Фокусник он или действительно всесильный маг? — в мучительном сомнении раздумывал Павел.— По виду — ловкий отгадчик, смелый шарлатан, не более... Но откуда все это сокровенное — берега Африки, имя погибшего корабля... и эта условленная, роковая, миртовая ветвь? Неужели выдала Катерина Ивановна? Но он ее не видел, она нездорова, все время не выходит из комнат, никого не принимает и нигде не была...»

Павел еще хотел что-то сказать и не находил слов. Над взморьем, где виднелась шкуна, уже начинался рассвет.

— Я провожу ваше высочество до палаццо,— сказал искательно и как-то низменно-мещански изгибаясь, собеседник,— дозволите ли?

Павел чуть взглянул на мишурно-балаганный, ставший жалким в лучах рассвета, бархатный с блестками наряд мага и, сняв маску, не говоря более ни слова, угрюмо и величаво, пошел назад по опустелой набережной.

«Бедная, плачущая Пенелопа! Бедная красавица Ирен! — мыслил он.— Не разъяснили ей мучительной загадки министры, рыцари и послы; пошлем ей миртовую ветвь итальянского скомороха и вызывателя духов».

XXXVI

Прошло еще пятнадцать лет... 1796-й год приближался к концу.

Были первые месяцы царствования императора Павла.

В Петербурге радостно толковали об освобождении из крепости знаменитого Новикова и о возврате из Сибири Радищева.

Император с августейшею супругой и некоторыми лицами свиты посетил собор Петропавловской крепости. Полицеймейстер Архаров предложил государю взглянуть на главное здание Алексеевского равелина, где в то время кончались неотложные исправления.

Один из казематов привлек особое внимание высоких посетителей.

— Здесь содержался кто-нибудь из итальянцев? — спросил государь коменданта.

— Никак нет-с, ваше величество, раскольники.

— Но как же, смотрите, — указал государь на окно, — вот надпись на стекле алмазом — о, dio mio![1]

Архаров и комендант озабоченно склонились к оконной раме. Комендант, впрочем, был новый, не успел еще ознакомиться с преданиями о прошлом крепости.

— Любопытно было бы узнать, — произнесла государыня Мария Федоровна. — Почерк женский. Бедная! Кто бы это был?

— Не Тараканова ли? — сказала бывшая здесь Нелидова. — Помните ли, ваше величество, несчастье с моряком Концовым и ту девушку из Малороссии?

— Тараканова в то время утонула, — сказал кто-то, — ее здесь залило наводнением.

Все на это замечание промолчали. Одна императрица Мария Федоровна, взглянув на Нелидову и указав ей в окно на одиноко разросшуюся среди глухого сада равелина белую березу, шепнула:

— Вот ее могила! Помните? Но где те записки о ней?

Государь, очевидно, слышал это замечание. Садясь в коляску, он сказал Архарову:

— Надо, во что бы то ни стало, это разузнать, здесь совершено прискорбное дело... Были смутные времена: покушение Мировича, бунт Пугачева, потом эта... эта несчастная... Я видел слезы матушки... она до своей кончины не могла себе простить, что допустила допрашивать арестованную в свое отсутствие из Петербурга.

Полиция начала розыски. Где-то в богадельне нашли престарелого слепого инвалида Антипыча, двадцать лет назад служившего сторожем в крепости... Инвалид указал на какого-то огородника, а этот на дьячка Казанской церкви, видевшего когда-то при переборке церковных дел у покойного протоиерея отца Петра сундук с бумагами и в нем некий важный, особо хранившийся пакет.

---

[1] О, бог мой! *(итал.)*

Бросились искать семью отца Петра. Прямого потомства у него не оказалось. Нашли его внучку, дочь его племянницы Варвары, жену сенатского писца. Ее навестил сам Архаров, но также ничего не добился. Куда делся сундук с бумагами отца Петра и был ли он, с другою рухлядью, по его смерти отослан племяннице в Москву, или иному кому, никто этого не знал.

Дело объяснилось впоследствии, в глубине Украйны, в уединенном и бедном монастыре, где некогда поселилась Ирина и где она, приняв окончательный постриг, тихо скончалась в престарелых годах, горячо молясь за погибшего в море жениха, раба божьего Павла.

В числе немногих вещей покойной нашли пачку бумаг с надписью: «От отца Петра» — и между ними засохшую миртовую ветвь, при письме одной важной особы. Бумаги у игуменьи выпросил на время и зачитал любитель старины сосед, кончивший впоследствии жизнь в чужих краях.

...Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский женился в год путешествия в чужие края графа и графини Северных. Его побочный сын от таинственной княжны Таракановой, Александр Чесменский, умер в чине бригадира в конце прошлого века.

Пережив императрицу Екатерину и императора Павла, граф Алексей Григорьевич оставил после себя единственную, умершую безбрачною, дочь, известную графиню Анну Алексеевну, и скончался в Москве в царствование императора Александра I, накануне рождества, в 1807 году.

Преследовали ли его при кончине угрызения совести за его поступок с Таракановой, или в крепкую душу графа Алеха́на до конца жизни не западало укоров совести — неизвестно.

Сохранилось, впрочем, достоверное предание, что предсмертные муки графа Алексея Григорьевича были особенно невыносимы. Чтоб не было на улице слышно ужасных стонов и криков умирающего «исполина времен» — было признано нужным заставить его домашний оркестр, разучивавший в соседнем флигеле какую-то сонату, играть как можно громче.

1883

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Произведения Г. П. Данилевского, представленные в книге, различны по своему характеру. «Беглые в Новороссии» и «Воля» — повествования социально-бытового жанра, «Княжна Тараканова» — исторический роман, художественно более зрелый. И немудрено: их разделяет целое двадцатилетие. Первые два романа публиковались в 1862—1863 гг., второй — в 1883 г., когда за плечами автора был уже большой писательский опыт.

Однако по идейной насыщенности между ними обратное соотношение. Это прежде всего отражено в самих сюжетах произведений. В «Беглых в Новороссии» и «Воле» поднята важнейшая для своего времени тема — положение крепостного крестьянства, его протест против помещичьего права на владение человеческими «душами», так же как и против грабительского «освобождения», обобравшего крестьян как липку. И наряду с этим здесь же дана картина российских помещичье-бюрократических порядков, корысти дворян и взяточничества властей. В историческом романе «Княжна Тараканова» освещен незначительный эпизод из российской истории — притязания самозванки на престол и ее трагическая участь.

Наконец, в первых двух романах читатель видит позицию писателя, его нескрываемое сочувствие угнетенным и обличение

угнетателей, что не снижает тем не менее объективного и реалистического показа действительности. В «Княжне Таракановой» отношение автора к описываемым тоже реалистически событиям отсутствует. Он как бы следует за летописцем Пименом из пушкинского «Бориса Годунова», который

«Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева».

Читатель не видит ни симпатии Данилевского к самозванке, ни сострадания к ее злосчастиям, ни одобрения предпринятых против нее интриг царствующего дома. И лишь нарочито неприглядно рисует он коварство и цинизм графа А. Г. Орлова, выполнявшего приказ Екатерины II. Объективный показ сведен до объективистского при несомненно возросшем художественном мастерстве, особенно в изображении эпохи.

Чем же объяснить идейный спад в творчестве писателя? Каков был вообще его жизненный путь и литературная деятельность и каковы были те объективные условия, которые вели его по этому пути?

* * *

Григорий Петрович Данилевский родился в 1829 г. в богатой помещичьей семье, в селе Даниловке Изюмского уезда Харьковской губернии, в имении своей тетки. Детство провел он в тех же краях, в селе Пришиб, где находилось родовое поместье Данилевских. По административному делению того времени Харьковская губерния относилась к Слободской Украине. Название это произошло от того, что еще в XVI веке сюда поселяли слободами украинских казаков, бежавших с Левобережья, принадлежавшего Польше, от польских магнатов. Казаков наделяли землей, а позже формировали из них казачьи полки. Казачьи старшины часто возводились в дворянство. Таким дворянином был и предок писателя.

Первоначальным воспитанием Данилевского занимались его мать—женщина образованная—и отчим—генерал-майор М. М. Иванчин-Писарев,—горячие приверженцы украинской культуры, старины, языка. Привитая будущему писателю с самых ранних лет любовь к Украине, ее мягкой, задумчивой природе, бытовым особенностям, напевной речи, древним поверьям, сказкам и песням сказалась на всем его творчестве. В подавляющем большинстве его произведений изображался украинский быт. И даже в исторических романах непременно присутствовало действующее лицо из украинцев.

Когда Данилевскому исполнилось 10 лет, отчим отвез его в Москву и определил в закрытое учебное заведение для мальчиков высшего в России сословия — дворянский институт, знаменитый тем, что в нем

обучались М. Ю. Лермонтов, А. С. Грибоедов и другие писатели. Преподавали в нем выдающиеся педагоги того времени, и мальчик, отличавшийся любознательностью, получил солидный запас знаний. Еще в школьные годы Данилевский начал писать стихи и мечтал о писательской деятельности.

Однако, окончив в 1846 г. институт, он поступил в Петербургский университет не на филологический факультет, служивший естественным путем для будущего литератора, а на камеральное отделение юридического факультета, притом, руководствуясь соображениями, к литературе отношения не имевшими. Камеральными науками назывались тогда экономические дисциплины. Их изучение обеспечивало продвижение в чиновничьей карьере, казавшейся в то время Данилевскому весьма соблазнительной, льстившей его юношескому самолюбию. Тем не менее он не оставлял и литературных занятий.

Будучи еще студентом, Данилевский начал выступать в печати. Он публиковал стихи, украинские сказки, а также небольшие газетные статьи. Его творчество этих лет было не только весьма слабым художественно, что естественно для начинающего литератора, но и отличалось стремлением автора к оригинальничанию и не имело идейного наполнения. Данилевский оказался в стороне от мощного движения передовой русской литературы того времени, ознаменованного вступлением на ее поприще таких писателей, как Т. Г. Шевченко, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, А. И. Герцен, И. С. Тургенев. Для них литература являлась формой общественного служения. В своих произведениях они отражали российскую действительность — язвы крепостничества, бесправия и произвола. Данилевский же избирал далекие от современной ему жизни сюжеты. Он опубликовал поэму «Гвая Ллир» о божестве древней Мексики, сцены из жизни Древнего Рима. Правда, в то же время стал печатать и малороссийские сказки. Последние были подражанием Н. В. Гоголю, но, изложенные в стихах, лишались прелести и своеобразия народного творчества.

Ректор Петербургского университета П. А. Плетнев писал в 1848 г. академику Я. К. Гроту по поводу ранних произведений своего студента: «Данилевский для меня странный молодой человек. С виду он отлично порядочный малый... Между тем в его сочинениях подле хорошего встречается такая путаница и мелкоумие, что не разгадаешь, как это выходит из одной и той же головы, организованной добропорядочно»[1].

Передовая печать неодобрительно отзывалась об этих ранних опытах молодого автора. Первый успех принесли ему переводы драм

[1] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. III, СПб, 1886, с. 299.

Шекспира «Король Ричард III», а затем «Цимбелин». Они были близки к подлиннику, почему и заслужили похвалу такого журнала, как «Современник».

В студенческие годы, совпавшие с нарастанием и разгулом николаевской реакции, Данилевский очутился перед весьма серьезной угрозой. Накануне окончания третьего курса весной 1849 г. он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Это было связано с известным делом петрашевцев — кружка, образованного вокруг М. В. Буташевича-Петрашевского, в котором изучались и пропагандировались идеи утопического социализма, а отдельные его участники рассчитывали даже на народную революцию в России. По делу петрашевцев за чтение письма Белинского к Гоголю был присужден к смертной казни Ф. М. Достоевский, замененной четырьмя годами каторги. Привлекался к следствию и М. Е. Салтыков-Щедрин.

Данилевский не принадлежал к кружку и вряд ли знал о его деятельности и крайних замыслах. Он просто был знаком с вольнослушателем университета петрашевцем В. П. Катеневым, с которым часто встречался.

П. А. Плетнев, весьма доброжелательно относившийся к своему студенту, отвечал на запрос его матери, что, по дошедшим до него сведениям, ее сын «пользовался запрещенными книгами из библиотеки тех людей, которые сделались причиною его несчастья»[1]. Как выясняется из материалов следственного дела, Данилевского обвиняли в том, что он якобы знал о намерении Катенева разбросать на студенческом вечере листки с надписью: «В Москве был бунт и убит государь-император». А при обыске были обнаружены «сделанные им неблагонамеренные отметки карандашом в найденной у него книге под заглавием «Историческое обозрение царствования государя-императора Николая I» сочинения Устрялова». Это была верноподданническая книга реакционного профессора, отметками же на полях, сделанными Данилевским, являлись «выписки из исторического сочинения Луи Блана, заключающие в себе неблагонамеренные отзывы насчет России»[2]. Французский писатель и деятель революции 1848 г. во Франции Луи Блан был утопическим социалистом. Речь шла о его не переведенной на русский язык работе «История десяти лет. 1830—1840», в которой Николай I был назван капралом. Должно быть, именно Катенев давал Данилевскому эту книгу.

Приехавшая в Петербург мать Данилевского сумела благодаря связям добиться освобождения сына: Она предъявила недавнее его письмо к ней, в котором были выражены самые верноподданнические

---

[1] Трубачев С. Г. П. Данилевский. Биографический очерк.— В кн.: Сочинения Г. П. Данилевского. СПб., 1901, изд. 8, т. I, с. 30.

[2] Петрашевцы. Сборн. материалов. Т. III, М.—Л., 1928, с. 230.

чувства юноши и решительно осуждались европейские революции. Следственная комиссия, решив освободить Данилевского, обратилась к Николаю I и одновременно просила, чтобы «содержание в крепости не имело никакого влияния на его будущность»[1]. Просьба царем была удовлетворена, но с предостережением студенту, чтобы он «не увлекался чувствами и вредными мечтаниями»[2]. С него все же была взята подписка о невыезде из Петербурга, его переписка подлежала просмотру в III Отделении собственной канцелярии Николая I, занимавшейся политическими делами, и какое-то время он находился под негласным надзором полиции.

Таким образом, возникший было у Данилевского интерес к социальным вопросам, его первые попытки критически осмыслить некоторые явления российской действительности были оборваны в самом начале.

Вернувшись после освобождения в университет, Данилевский в 1850 г. окончил его, после чего поступил на службу в министерство народного просвещения. Начав свою чиновничью карьеру с должности канцеляриста, он быстро пошел на повышение и через год стал уже чиновником особых поручений при министре. Но он не оставлял и литературных занятий, вначале столь же слабых и преимущественно стихотворных.

Между тем должность чиновника особых поручений дала новый поворот творчеству молодого писателя. По долгу службы ему часто приходилось выезжать в длительные и дальние командировки, наблюдать жизнь и нравы различного люда, приобретать богатый материал для литературного творчества.

В 1851 г. он познакомился с Гоголем и с другими писателями. Тяготение к украинской тематике, одобренное Гоголем, поездки на юг России по служебным делам определили дальнейшую направленность литературных интересов Данилевского. В его творчестве преобладающее место начинают занимать рассказы и повести из украинской жизни, но уже в прозаической форме, что выгодно их отличало от предыдущих его стихотворных опытов.

Даже некрасовский «Современник» — журнал весьма требовательный к литературным произведениям — опубликовал в 1852 г. святочный фантастический рассказ Данилевского «Повесть о том, как казак побывал в Бахчисарае», позже переработанный автором и вошедший в его собрание сочинений под названием «Бес на вечерницах». В этом рассказе, хоть и не чуждом подражанию гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки», проступают уже писательские черты, вырабо-

[1] Семевский В. И. Петрашевцы.— Голос минувшего, 1916, № 12, с. 109.

[2] Петрашевцы. Сборн. материалов, т. III, с. 230.

танные самим Данилевским,—его зарождающаяся художественная манера. Здесь и прорисовка с мягким, типично украинским юмором местного быта и мастерское описание природы, близкой сердцу писателя,—то, что позднее критика шестидесятых годов прошлого века назвала художественной этнографией. В такой же манере были написаны и многие другие его рассказы из украинского быта.

Наибольший успех у читателей и критики имел сборник «Слобожане», выпущенный в 1853 г. В рассказах, которые он объединял, изображалась жизнь мелкопоместных украинских дворян, трудовые будни и празднества крепостных крестьян Слободской Украины, их обряды, обычаи, переходившие от поколения к поколению. Рассказы лишены сказочности, они в значительной мере реалистичны. Но в них преобладает идеализация патриархального уклада. Социальные противоречия между помещиками и их крепостными остаются вне поля зрения писателя. Крестьянский крепостной труд на помещика выглядит у него пока что как радостный, как проявление сыновнего почтения и любви к своему барину. Что это труд подневольный и тяжкий, что крепостничество само по себе сковывало развитие деревни — этого Данилевский как бы и не замечает.

Тем не менее в «Слобожанах» трудовая жизнь крестьянства, хотя и идеализированная писателем, все же противопоставлена праздной помещичьей жизни. Пошлое, сытое самодовольство помещиков, убожество их интересов, мелочные ссоры и примитивные радости — так изображает здесь Данилевский мелких украинских дворян. Но в этих рассказах еще нет разлагающегося дворянства, которое позже появится у писателя.

Сборник разошелся за две недели. В передовом журнале тех лет — «Отечественных записках» — отмечалось, что в «Слобожанах» «некоторые страницы читаются с удовольствием», что «в них заметна наблюдательность и смелость рисовки и, наконец, чувство». Но автор сетовал по поводу того, что лучшие эти страницы «то и дело чередуются с другими, написанными без такта и знания меры»[1]. Здесь как бы повторялось то, о чем в свое время писал П. А. Плетнев Я. К. Гроту.

Сказки, статьи и очерки писателя нескольких последующих лет были в общем такого же рода: одни более, другие менее удавшимися. Данилевский оставался на уровне начинающего писателя.

В 1857 г. писатель, достигнув довольно высокого чина — надворного советника, равного подполковничьему званию в военной службе, вышел в отставку, чтобы, как объяснял он в письме к матери, целиком отдаться литературе. Правда, он рассматривал свою отставку как временный перерыв в чиновничьей службе не более, чем года на три.

[1] Отечественные записки, 1854, т. XCII, отд. 4, с. 61.

Но последующие события: подготовка крестьянской реформы, отменявшей крепостное право, и новые веяния, связанные с общедемократическим подъемом в стране конца 50-х — начала 60-х годов, отдалили возвращение Данилевского к служебной деятельности на целых 12 лет.

Здесь важно отметить тот новый поворот, который в изменившейся обстановке наметился и в воззрениях молодого писателя. Его юношеское стремление к чиновничьей карьере как к наиболее важной и полезной форме деятельности сменилось признанием высокой значимости деятельности литературной. «Литератор выше всякого чиновника»,— писал он матери. Он «тот же честный чиновник великого божьего государства, но его поприще выше всякого другого»[1]. И действительно, в это время, когда наступило некоторое цензурное потепление после жесточайшей николаевской реакции и в напряженном ожидании крупных перемен при новом царе, роль литературы начала заметно повышаться, особенно во вскоре развернувшейся борьбе демократических, либеральных и реакционных сил.

Уйдя в отставку, Данилевский отправился на родину в свое имение. Здесь, кроме занятий литературой, он активно включился в общественную деятельность, связанную с подготовкой крестьянской реформы. В это время во всех губерниях Российской империи создавались комитеты из выборных от местных дворян, собиравшие сведения о земельных владениях помещиков и наделах крепостных, об объеме их работ на барщине или сумме оброка и о других крестьянских повинностях. На основании таких данных комитеты выдвигали свои условия освобождения крестьян, которыми потом руководствовались центральные организации по подготовке реформы в общероссийском масштабе.

Губернские комитеты исходили, разумеется, из интересов помещиков. В них действовали, однако, две так называемые «партии» — либералы и крепостники. Но, несмотря на их, казалось бы, различные позиции и споры, это была борьба «внутри господствующих классов», как определял В. И. Ленин, которая велась «исключительно из-за меры и формы уступок» крестьянам[2], но не с точки зрения интересов самих крестьян.

Данилевский был избран в Харьковский комитет от дворян своего уезда. Он принадлежал к либеральному крылу комитета. В его задачу входило ознакомление с рядом помещичьих имений Харьковской губернии, в том числе с положением и бытом крепостных крестьян. Результатом такого знакомства явилась его статья «Харьковский

---

[1] Трубачев С. Г. П. Данилевский. Биографический очерк, т. I, с. 61.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 174.

крестьянин в настоящее время», опубликованная в 1858 г. в московском «Журнале землевладельцев».

В ней уже отсутствовала та идеализация крестьянской жизни, которая совсем недавно была в «Слобожанах». Данилевский признал весьма печальным состояние помещичьих крестьян, но считал еще, что в их бедности «виноваты не столько помещики, сколько свойства края»[1]. Но и от такого вывода, как мы увидим, он вскоре отказался.

Поворот в идейном развитии писателя в эти годы наиболее ярко прослеживается в его описании отношения помещиков к реформе в процессе ее подготовки. Особый интерес представляют рассказы «Село Сорокопановка» и «Пенсильванцы и каролинцы», опубликованные в некрасовском «Современнике» в 1859 г., то есть при Н. А. Добролюбове и Н. Г. Чернышевском.

Рассказ «Село Сорокопановка» был переделкой печатавшегося в «Слобожанах» рассказа «Пельтетепинские панки». В обоих фигурировали одни и те же лица — мельчайшие дворяне-помещики, владения которых были настолько ничтожны, что умещались в одном селе. В «Пельтетепинских панках» это село обрисовано как курьезный, но исключительный факт. Сами же панки изображены как полунищие владельцы нескольких «душ» и духовно убогие людишки, кичащиеся своим дворянством.

В «Селе Сорокопановке» Данилевский рисует тех же панков, но в условиях подготовки реформы. Он показывает, как ее подготовка всколыхнула это застоявшееся сонное царство, какой панический страх охватывает панков перед будущим, как цепко держатся они за свои сословные привилегии, за право владеть бесплатной рабочей силой крепостных «душ». Олицетворяя собой «партию» крепостников, они стремятся возможно дороже продать свои вековые права, заламывая невообразимые суммы за выкуп крестьянских наделов и «душ».

В этом рассказе, как и в другом — «Пенсильванцы и каролинцы»,— Данилевский сводит основной социальный конфликт к борьбе крепостников и либералов (которые скромней в своих притязаниях), уподобляя первых жителям южных рабовладельческих штатов Америки, а вторых — северным, восставшим тогда против рабства. Но здесь, вопреки своим либеральным позициям, Данилевский-художник правдиво показывает, как либералы идут на уступки крепостникам, находят общий с ними язык. Истинный же социальный конфликт эпохи — противоречие интересов крепостного крестьянства и помещиков — писатель пока что не разглядел. Он увидит его чуть позже, и этот конфликт появится в романах «Беглые в Новороссии» и «Воля» («Беглые воротились»).

---

[1] Журнал землевладельцев, 1858, № 7, отд. VI, с. 47.

Оба романа были опубликованы в журнале братьев Достоевских «Время», один в 1862 г., другой в 1863 г. Они имели большой успех у читателей благодаря актуальности темы и правдивому, хотя и нарочито замысловатому изображению событий. По жанру они близки к авантюрному роману с запутанной и усложненной интригой.

В этих романах представлено и разнузданное взяточничество властей, и помещичий произвол, и беззаконие новоявленных предпринимателей-капиталистов, и многие другие неприглядные явления действительности тех времен. Но главное, что составляло сильную сторону этих произведений, было изображение жизни крепостных, бежавших от своих господ до реформы, и отказа принять ограбившую крестьян реформу.

Сам Данилевский даже много лет спустя отметил как ведущую в его романах именно крестьянскую линию. В предисловии к последнему изданию вышедших при его жизни сочинений он писал: «Освободительная пора пятидесятых годов дала мне возможность посвятить свои первые романы рассказам о судьбе крепостных людей, исстари искавших спасения и лучшей жизни в бегстве на новые далекие, привольные места». Главным в романе «Беглые в Новороссии» были «типы крепостных... тайное заселение в пустынях целых новых деревень пришельцами непомнящими родства, облавы на беглых и другие насилия над родными «беглыми неграми». «Воля» же была посвящена «поре известных крестьянских брожений»[1]. И действительно замысловатая фабула романа «Беглые в Новороссии» отображала прежде всего то, как стремление крестьян уйти от крепостнической неволи оборачивалось новой кабалой. Точно так же в «Воле» главным героем повествования являлись крепостные, а кульминацией романа то, что Данилевский назвал «брожением».В творчестве писателя эти романы ознаменовали наивысший идейный подъем, придавший этим произведениям несомненную демократическую окраску. На Данилевского оказали влияние создавшаяся в стране обстановка и рост общественного движения в годы революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов. С постепенным спадом общедемократического подъема и наступлением реакции Данилевский еще продолжал трудиться на выборных должностях. Он состоял членом Харьковского училищного совета, был избран в Харьковское земство, выборную организацию, избиравшуюся по сословиям и ведавшую под надзором губернатора местными делами — народным образованием, здравоохранением, благоустройством и т. п. С введением в действие судебной реформы (1866) стал по выборам почетным мировым судьей.

[1] Данилевский Г. П. Соч., 8-е изд., СПб, 1901, т. I, с. 94.

В затишье, наступившем после бурных шестидесятых годов, заметны и изменения в литературной деятельности Данилевского, прежде всего в самой тематике. Два последующих больших произведения писателя — «Новые места» (1867), а позднее «Девятый вал» (1874) — бытовые романы, главным героем которых является так называемый «деловой человек», знаменующий наступление капитализма в социально-экономическом развитии страны. Народные массы в них отсутствуют.

В 1869 г. писатель снова возвратился в Петербург к чиновничьей деятельности, правда, теперь уже в сфере более близкой к его литературным интересам. Он был назначен помощником редактора официального органа — газеты «Правительственный вестник», основанной в том же году по инициативе министра внутренних дел. В последующее десятилетие он значительно продвинулся по служебной лестнице и в 1881 г. стал главным редактором газеты, а к тому же членом Главного управления по делам печати, высшего учреждения для наблюдения за печатными изданиями и за цензурой. Умер Данилевский в конце 1890 г., достигнув чина тайного советника.

С конца 70-х годов интерес писателя к тематике, освещающей современность, сильно ослабел. Данилевский обращается к историческим сюжетам, и с этого времени они занимают главное место в его творчестве. Исторические романы, наиболее зрелые художественно, принесли ему наибольший успех.

Интерес к исторической тематике Данилевский проявлял еще в 50-х годах. В журналах печатались отдельные его статьи, рассказы и повести о прошлом России и Украины. По долгу службы в министерстве просвещения ему приходилось обследовать некоторые исторические достопримечательности, музеи, архивы, частные собрания документов. В эти годы писатель опубликовал несколько обзорных статей, а также рассказов и повестей. Исторические сюжеты все чаще привлекают внимание писателя. Он печатает рассказы об украинской старине, статьи — итог его собственных разысканий — и сравнительно большие повести.

Первым крупным историческим произведением Данилевского был роман «Мирович» (1879). В нем освещалась попытка безвестного офицера В. Я. Мировича освободить из более чем двадцатилетнего заключения шлиссельбургского узника, низвергнутого в младенчестве императора Ивана Антоновича, и совершить в его пользу дворцовый переворот. Этот малозначительный эпизод в истории России помог

писателю развернуть в романе широкую картину придворной жизни и нравов середины XVIII столетия.

В последующие годы Данилевский опубликовал историческую повесть из времен Петра I «На Индию» (1880), отрывки из недописанного романа о декабристах «Шервуд перед Аракчеевым» (1880) и «Восемьсот двадцать пятый год» (1883). Затем им были напечатаны романы «Княжна Тараканова» (1883) и «Сожженная Москва» (1886). Последним историческим произведением, вышедшим при жизни автора, являлся роман, повествующий о Крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева,— «Черный год» (1888—1889), и уже после смерти писателя публиковалась первая часть его неоконченного произведения «Царевич Алексей».

Почти во все исторические романы и повести Данилевский вводил в качестве действующих лиц выходцев из Украины. Таковы Мирович, офицер Концов, от имени которого ведется повествование в первой части «Княжны Таракановой», Перовский (потомок гетмана К. Разумовского) в «Сожженной Москве», помещики Дугановы в романе «Черный год».

При всем разнообразии исторической тематики романы, повести, рассказы писателя отличало превосходное знание исторического материала, умение воссоздать эпоху. Данилевский относился к историческим сюжетам с серьезностью специалиста-исследователя, изучал события по первоисточникам и свидетельствам современников, посещал многие из описываемых мест действия. Роман «Мирович», например, предваряли особые исследовательские статьи: «По какой причине император Иван Антонович перемещен из Холмогор в Шлиссельбург», «Секретная комиссия в Холмогорах», «Исторические данные о Василии Мировиче».

Исторические романы Данилевского, разумеется, не были лишены авторского домысла. Но автор сумел найти такие пропорции между вольностями художника и подлинными фактами, что они не только не подавляли исторической действительности, но способствовали воскрешению прошлого. Он хорошо передавал колорит минувших времен. «Эпоха оживала под пером Данилевского»,— писал один из его современников.

И все же в идейном плане творчество Данилевского претерпело характерную для либерала эволюцию. В его исторических романах исчезла социальная насыщенность. Если в таких произведениях, как «Беглые в Новороссии» и «Воля», были народные массы, то в исторических они либо вовсе отсутствовали и повествование разворачивалось вокруг царствующих особ, либо массы фигурировали как мрачная стихия, несущая гибель цивилизации и культуре («Черный

год»). Роман о Пугачеве и Крестьянской войне 1773—1775 гг. в отличие от предыдущих исторических произведений был написан с реакционных позиций, искажал подлинный смысл крестьянской борьбы за вольность.

* * *

Ознакомившись вкратце с жизненным и творческим путем Данилевского, обратимся к его романам, которые прочел читатель.

«Воля», по замыслу автора, это повествование, являвшееся как бы продолжением романа «Беглые в Новороссии», о чем свидетельствует и подзаголовок — «Беглые воротились». Между собой романы связаны только главной темой — судьбой крепостных крестьян, добывших «волю» побегом и «милостью» царя и помещиков. В романах разные действующие лица и разное место действия. Но воротившиеся из бегов побывали в тех самых местах, где оседали и «Беглые в Новороссии».

История создания первого романа о беглых такова.

Незадолго до крестьянской реформы Данилевский вместе с некоторыми другими писателями был направлен Морским министерством в длительную командировку на побережье Азовского моря, Днепра и Дона для изучения местного быта и описания юга России. Здесь он в разных местах пробыл три с половиной месяца. Его поразило своеобразие жизни в южных степях, почти не затронутых крепостничеством, где процветало хозяйство предприимчивых колонизаторов богатого и обширного края — дворян и купцов, немецких и других колонистов и даже выходцев из городских мещан. Здесь основной рабочей силой были беглые крепостные крестьяне. Рассказы, которые довелось услышать писателю о сказочном обогащении предпринимателей, об их хитроумных и циничных аферах, разгульной жизни, о подкупленных ими властях и в то же время о судьбах скрывавшихся от местной администрации беглых крестьян, превращенных в бесправных батраков, — все это послужило Данилевскому, почитателю оригинальных и занимательных сюжетов, обильным материалом для построения авантюрного романа. Однако главным в нем оказались жизнь и положение беглых.

В «Воле» авантюрный элемент значительно ослаблен. Роман написан после крестьянской реформы и на фактах крестьянских волнений, прокатившихся по стране после обнародования «царской воли». Прототипом Ильи Танцура, возглавившего борьбу крестьян в Есауловке, была подлинная личность — крестьянин Антон Петров, руководивший наиболее крупным пореформенным крестьянским вы-

ступлением — восстанием в селе Бездне Спасского уезда Казанской губернии, охватившим до 10 тысяч крестьян из соседних селений и близлежащих губерний. Так же как и герой Бездны, Илья Танцур по-своему в интересах крестьян толковал условия освобождения крепостных. Так же как в Бездне, для расправы с «непокорными» в романе Данилевского были вызваны войска, стрелявшие в безоружную массу. Но Илья погиб от первых же выстрелов, а Антона Петрова по приказу царя судили военным судом и приговорили к расстрелу.

В «Воле» рельефней, чем в «Беглых в Новороссии», выступают черты критического реализма. Развернув действие по двум основным узловым темам — вокруг земельной тяжбы генерала Рубашкина с помещицей Перебоченской и вокруг жизни и борьбы крепостных, Данилевский удачно связал оба сюжета, дал целостную картину провинциального быта, охватил все социальные слои далекого захолустья.

Тяжба между Рубашкиным и Перебоченской доведена писателем до шаржа. Трудно поверить в то, что недавний крупный петербургский чиновник не смог без помощи школьного учителя найти путь к обузданию распоясавшейся мошенницы и ее подручных и совершенно терялся перед хитросплетениями уездных властей. Ведь во второй части романа он предстает в ином свете, и далеко не бедной, бессильной овечкой. И все же карикатурное изображение этого сюжета было не случайным. Оно понадобилось Данилевскому, чтобы раскрыть коррупцию, взяточничество администрации, царившую здесь систему подкупа и произвола.

Ему удалась и прорисовка характеров. Среди представленных в романе дворян и чиновников нет ни одного положительного персонажа. Все они олицетворение нравственного падения дворянства. Рубашкин, достигший своей цели, платит черной неблагодарностью людям, бескорыстно его поддержавшим в трудные дни; губернатор, начинающий карьерист, равнодушен к нуждам губернии и всецело поглощен волокитством и развлечениями; Тарханларов разыгрывает роль честнейшего службиста даже в момент получения крупной взятки; уездный предводитель дворянства — участник самых грязных махинаций; князь Мангушко — молодящийся старец, иностранец в своей стране, которая кормит его трудами крепостных; Перебоченская не гнушается никакими средствами для обогащения, обирает своего же сообщника Романа Танцура и т. д.

Только среди крепостных крестьян нашел автор положительных героев. И главное место в их кругу принадлежит Илье Танцуру — цельной натуре, поборнику за правду и справедливость. В своих

скитаниях и батрацкой жизни он мечтает о крестьянском труде, о своей земле и хозяйстве. Илья, возвратившись, не идет на уговоры родителей, соблазняющих его легкой жизнью. Его «земля к себе тянет». Одна из его характерных черт — солидарность с крестьянским миром. В этом тихом, покладистом было парне пробуждаются дремавшие силы вожака, готового во имя справедливости принести в жертву жизнь свою и любимой невесты.

Но Илья Танцур отнюдь не иконописный лик. Для освобождения Насти он идет на ограбление деда Зинца, хотя знает истинную цену своего поступка. Выросший в веками освященной покорности родителям, он не только рвет с отцом, но чуть не становится отцеубийцей. И все же сочувствие Данилевского Илье Танцуру проходит через весь роман, так же как и к другим персонажам из народа, наделенным как высокими нравственными достоинствами, так и различными недостатками. Но все они человечней, чем те, кому по крепостному состоянию вынуждены служить.

В ином ключе написан роман «Княжна Тараканова». Он тоже не лишен авантюрной окраски, что вызвано не только излюбленной манерой Данилевского, но и самим сюжетом — историей самозванки, личность которой так и осталась загадкой.

В отличие от романа «Мирович», для создания которого писателю пришлось предпринять архивные изыскания, в работе над «Княжной Таракановой» он мог опереться на литературу и опубликованные документы, появившиеся в шестидесятых годах прошлого века.

Почти целое столетие держалась в строгой секретности история авантюристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны от ее тайного брака с бывшим пастухом и певчим, украинским казаком Розумом, взятым затем в придворную капеллу. Он был превращен влюбленной императрицей в графа А. Г. Разумовского, одарен несметными богатствами и чином генерал-фельдмаршала. Только устные, из рода в род передававшиеся толки о мнимой ли, настоящей ли дочери Елизаветы доходили до людей XIX века, и то очень немногих. А к былям приплетались небылицы.

Между тем и в польских архивах и в секретных фондах государственных хранилищ имелись сведения о ней и лежали бумаги самозванки, отобранные при аресте. Они проливали свет на ее дерзкую попытку занять российский трон. Но к этим бумагам доступа не было. Миновали годы царствования Павла I и Александра I, прежде чем младший внук Екатерины II — Николай I — пожелал ознакомиться с содержанием этих документов. Крупный государственный

деятель граф Д. Н. Блудов рассмотрел их и сделал доклад царю. Но никому, кроме них, ничего достоверного о претендентке на престол открыто не было.

Лишь в начале 60-х годов прошлого века впервые проникли в печать некоторые сведения о ней. По документам польского архива (а читатель помнит, что вначале самозванка была в окружении польской шляхты), появилась в Лейпциге, то есть без цензуры, книга проживавшего за границей А. П. Голицына «О мнимой княжне Таракановой». А еще через год в Петербурге на выставке в Академии художеств демонстрировалась картина К. Д. Флавицкого «Княжна Тараканова в Петропавловской крепости во время наводнения». Она вызвала множество толков, стала широко известной и доныне привлекает внимание посетителей Третьяковской галереи в Москве. Картина изображает женщину в богатом, но обветшалом наряде, прижимающуюся к стене каземата в отчаянном страхе перед врывающимся через окно водным потоком бушевавшей Невы и тюремными крысами, копошащимися у ног несчастной.

Трудно сказать, почему художник изобразил гибель самозванки от наводнения, которое в действительности произошло в 1777 г., то есть спустя два года после ее смерти от чахотки 4 декабря 1775 г. Возможно, что именно таковой была дошедшая до него молва. При этом художник дал ей имя, которым сама она себя не называла. Не случайно А. П. Голицын в самом заглавии своей книги назвал самозванку «мнимой» княжной Таракановой. Потому мнимой, что была и настоящая княжна Тараканова, другая загадочная женщина, в которой подозревали дочь Елизаветы Петровны.

В том же самом 1863 г., что и книга А. П. Голицына, вышло сочинение И. Снегирева «Новоспасский ставропигиальный монастырь в Москве». В ней была изложена следующая история.

В Ивановский женский монастырь в 1785 г. была доставлена неизвестная женщина. Ее привезли в закрытой карете с опущенными занавесками в сопровождении конного эскорта и поместили в заранее построенный отдельный кирпичный домик вблизи палат игуменьи. Вскоре ее постригли в монахини под именем Досифеи. Ее происхождение окутано тайной, как оставалась таинственной и ее жизнь в монастыре. Известно лишь, что еще в раннем детстве она была отправлена за границу, где и находилась до того времени, когда по приказу Екатерины II ее привезли в Россию и поместили в монастырь. Существует предание о том, что до отправки в Москву с ней имела секретную беседу императрица.

Вот ее-то предположительно некоторые исследователи считали дочерью Елизаветы. И были основания видеть в ней лицо высокого

происхождения. На ее портрете, хранившемся после смерти в келье настоятеля Новоспасского монастыря, была такая надпись: «Принцесса Августа Тараканова, во иноцех Досифея, постриженная в Ивановском монастыре...» Жила она в строжайшей изоляции, общаясь только с приставленной к ней келейницей да игуменьей. Окна ее покоев были зашторены, в церковь ее водили только по ночам, когда там не было ни монахинь, ни молящихся. В то же время она получала изысканную пищу, домик ее был изящно обставлен, на ее содержание выдавалась большая сумма из казны, а также поступали средства «от лиц неизвестных». Фактически она была монастырской узницей целых двадцать пять лет.

Похороны ее в 1810 г. были обставлены с особой пышностью. На них присутствовала московская знать во главе с главноначальствующим Москвы. Заупокойное богослужение совершало высшее духовенство Москвы. И погребли ее не в Ивановском монастыре, где она приняла постриг, как того требовали церковные правила, а в Новоспасском, невдалеке от усыпальницы бояр Романовых.

Ко времени написания романа «Княжна Тараканова» Данилевский располагал не только сведениями, содержавшимися в упомянутых книгах, но частично и теми документами, которые ранее находились в секретных архивах. Еще в 1867 г., чтобы прекратить перетолки и пересуды, распространявшиеся в связи с картиной Флавицкого, главноуправляющий II отделения собственной канцелярии Александра II напечатал в «Чтениях в императорском обществе истории и древностей российских» обширный доклад, содержавший публикацию некогда скрытых источников. Он, в частности, указал и на то, что самозванка не называла себя княжной Таракановой.

Между тем Данилевский вслед за художником присвоил это имя таинственной претендентке на престол. Фактически он оставил открытым вопрос, не являлась ли она действительно дочерью Елизаветы Петровны. В целом писатель придерживался уже известных о ней данных, но изображение ее личности и быта принадлежит его художественному перу, его писательскому представлению об этой женщине.

Рассказ о ее судьбе, являющийся стержнем сюжета, обрамлен и авторским вымыслом и историческими событиями того времени. В этом отношении удачен его прием прибегнуть к фантазии с запиской Концова и вести повествование от его имени. Благодаря этому он смог дать в романе широкую картину быта и нравов, а также важных событий, не связанных прямо с историей самозванки, таких, например, как Чесменский бой во время русско-турецкой войны, в котором был уничтожен турецкий флот. Для большей убедительности он

переделал по-своему строку из оды М. Хераскова, относившуюся к действительному герою Чесмы Клокачеву.

И именно изображение эпохи, а не маловажный эпизод пленения самозванки превращает роман «Княжна Тараканова» в значимое историческое произведение.

Удачно выписаны автором характеры с присущими каждому персонажу индивидуальными чертами — благородством Концова, тяготящегося порученным ему сомнительной честности делом, авантюризмом и легкомыслием самозванки, низостью методов и действий Орлова и т. д. Но тем не менее здесь не столько чувствуется отношение самого писателя к изображаемым событиям и людям, сколько стремление скрыть свои взгляды на них, сохранить роль стороннего наблюдателя, бытописующего то, что было.

Немалой удачей романа являются стилистические его особенности. Данилевский умело имитирует речь, характерную для XVIII века, использует слова и выражения, в XIX веке уже не употреблявшиеся, строит фразы по языковым канонам описываемого времени.

Писателю, должно быть, хотелось ввести в роман все, что было известно о мнимой и подлинной княжне Таракановой. И поэтому он без особой нужды сблизил некоторые события. Таков рассказ о якобы распространившихся слухах о монахине Досифее как дочери Елизаветы, о том, что эти слухи вызвали подозрения у графа Орлова, не самозванка ли приняла постриг. А писатель от себя добавил, что она в это время томилась в крепости. Но между этими событиями — заключением в Петропавловскую крепость мнимой княжны Таракановой и заключением в монастырь (кстати, не Новоспасский, а Ивановский) той, кому это имя действительно принадлежало, прошло целых десять лет. Правда, подобные отступления от исторических фактов, не требующиеся развитием сюжета, немногочисленны. В целом же роман сохраняет как художественные достоинства, так и историческую достоверность в описании эпохи, придворных нравов и интриг.

Эм. Виленская

ПРИМЕЧАНИЯ

БЕГЛЫЕ В НОВОРОССИИ

Стр. 8. Месячина — скудный продуктовый паек, выдававшийся в XVIII и первой половине XIX века обезземеленным крепостным крестьянам, работавшим на барщине.

Дерть — продукт грубого размола зерна, употреблявшийся для корма скота.

Стр. 9. Царина — пахотная степь, поле или выгон.

Стр. 15. Вакштаф — табак.

Стр. 29. Сперанский М. М. (1772—1839) — русский государственный деятель, известный прогрессивным для своего времени проектом государственных реформ буржуазного характера.

Стр. 32. Токвиль Алексист (1805—1859) — известный французский буржуазный историк и политический деятель.

Стр. 36. Эрар — известный французский фортепьянный мастер первой половины XIX века.

Стр. 37. *...греческому митрополиту... упавшему перед ней... на колени.* — Имеется в виду греческий митрополит Игнатий (Хазадинов), по челобитной которого греки, проживавшие в Крыму, принадлежавшем Турции, переселились вместе с ним в 1779 году в район Мариуполя.

Стр. 40. Висконсин — штат на севере США, быстро заселявшийся после войны 1832 г. индейцами. Элебэма (Алабама) — штат на юге США, политический центр южных рабовладельческих штатов во

время гражданской войны в США (1861—1865). Порт-о-Пренс — столица Гаити.

Стр. 53. Пали — сваи.

Кентукки и Массачуссете (Массачусетс) — штаты США.

Стр. 54. Северо-западная провинция Пруссии, с 1814 года была королевством.

Стр. 56. Юрьев день — 26 ноября; до конца XVI века за неделю до Юрьева дня и в течение недели после разрешался переход крестьян с земли одного феодала на землю другого.

Стр. 66. *...росным или смирною...* — Ароматичные смолы; применялись для окуривания в церквах.

Стр. 111. Техас — юго-западный штат США. В описываемое время был малозаселенным.

Стр. 114. Елена — в греческой мифологии жена спартанского царя Менелая, похищенная троянским царевичем Парисом.

Стр. 153. Штейн Лоренц, фон (1815—1890) — известный немецкий социолог и историк. Кавур Камилло Бензо (1810—1861) — государственный деятель Италии.

Стр. 154. Алармист — человек, склонный к панике. Иллюминат — член тайного религиозного общества, боровшегося с влиянием иезуитов.

Стр. 158. Кочерма — турецкое одномачтовое каботажное судно.

Стр. 160. *...лоделовандом...* — Лавандовая вода.

Стр. 190. *...войны Белой и Алой Роз.* — Имеется в виду кровавая феодальная борьба за английский престол, происходившая в 1455—1485 гг. между двумя линиями королевской династии Плантагенетов — ланкастерской (в ее гербе была алая роза) и йоркской (в гербе которой — белая роза).

...До первой еще холеры... — Первая эпидемия холеры была в 1823 году. Персидская война происходила позже. Данилевский допустил здесь ошибку.

Стр. 214. Кучугуры (правильнее кучегуры) — название песчаных бугров в южных степных областях.

Стр. 216. Дуб — челн, струг.

ВОЛЯ

Стр. 231. *...за год и несколько месяцев до издания положения о воле.* — То есть в 1859—1860 гг.

Стр. 241. ...*к обществу стать.* — То есть войти в крестьянскую общину, совместно владевшую землей, которая делилась на наделы в соответствии с числом душ мужского населения каждой семьи.

Стр. 244. Тармалама — пестрая шелковая ткань, из которой шилась одежда среднеазиатских народов.

Стр. 245. Расшива — волжское парусное судно с палубой, выступающей за борта на носу и корме.

Беляна — большое плоскодонное несмоляное судно, построенное без железа.

Мокшана — речное судно.

Коломенка — род баржи.

Сырты — название возвышенных плоскогорий на востоке и юго-востоке Европейской части России.

...нас подарили русскому князю, вместе с землями и пожитками.— Речь идет о распространении крепостного права на запорожских казаков в XVIII веке.

Стр. 246. Бельведер — башенка или павильон над крышами домов или на пригорках в садах.

Растрелли В. В. (1700—1771)— выдающийся русский архитектор, выходец из Италии.

Стр. 248. Мушки — кружочки из черной тафты, наклеивавшиеся на лицо по моде XVIII века.

Стр. 253. *...с очередной половины села.*— При трехдневной барщине, преобладавшей в это время, каждая половина села поочередно отрабатывала на барских полях.

Стр. 256. Экономия — название помещичьего хозяйства, распространенное в западных и южных губерниях России.

Стр. 258. Исаакий — Исаакиевский собор в Петербурге. Строился с 1819 по 1858 г., поэтому законченным его Саввушка не видел.

Стр. 267. Звезда — знак отличия (орден). В данном случае, видимо, орден Владимира 4-й степени, которым награждали за выслугу лет на гражданской службе.

Стр. 269. Откупщики — лица, бравшие на откуп у казны право на продажу водки. В конце 50-х годов XIX века подготавливалась отмена винных откупов, приносивших откупщикам огромные доходы.

Статс-секретари — секретари при особе государя.

Стр. 270. *...оказывается гилью* — вздором, чепухой.

Стр. 274. *...ни Пульхерии Ивановны, ни Афанасия Иваныча, ни Ивана Иваныча и Ивана Никифорыча.*— Персонажи повестей Н. В. Гоголя «Старосветские помещики», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Крестьянские комитеты.— Губернские организации, которые официально назывались Комитетами об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян. Состояли из помещиков и готовили материалы для «освобождения» крепостных с учетом особенностей своей губернии и интересов помещиков.

...завелись личности.— Слово «личности» в то время употреблялось в смысле нанесения оскорблений определенному лицу.

Стр. 275. *Железная дорога по степи из Волги в Дон.*—Железная дорога между Волгой и Доном строилась с 1859 по 1862 г.

Стр. 277. Могикане — полностью истребленное завоевателями племя индейцев, населявших территорию Нью-Йоркского штата в США. В переносном смысле — последние представители уничтоженной или вымирающей общественной группы.

Стр. 282. Синопское сражение — сражение, происходившее в начале Крымской войны, 18 (30) ноября 1853 г., в котором русской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова был уничтожен турецкий черноморский флот.

Стр. 284. Палата — название административного или судебного учреждения в губерниях или уездах.

Временное отделение — то есть на время назначенная группа чиновников для выполнения определенного задания.

Благочинный — священник, назначенный для административного управления церквами какой-либо местности.

Стр. 285. *Отобрать руки понятых.*—Означало получить подписи (часто просто кресты) свидетелей, заверявшиеся либо грамотными крестьянами, либо административными лицами.

Стр. 288. Блонды — шелковые кружева белого или кремового цвета.

Хутор... брали в опеку. — Под опеку, назначавшуюся опекунским советом, попадали, кроме имений, принадлежавших несовершеннолетним сиротам, также хозяйства помещиков, разорявших родовые поместья или изобличенных в зверском отношении к своим крепостным. Последнее бывало чрезвычайной и исключительной мерой.

Стр. 290. «Северная пчела» и «Русский инвалид» — умеренно-либеральные газеты, проводники официальной линии правительства.

Стр. 291. Кенкет — разновидность масляной лампы. Здесь: подсвечник.

Стр. 293. Феваль Поль (1817—1887) — французский писатель, автор остросюжетных романов.

...пароход какого-то общества... — то есть акционерного общества. Большинство пароходов принадлежало тогда казне или акционерным компаниям.

Стр. 297. *...подать о нем ревизскую сказку* — то есть переписной листок со сведениями о каждом лице податного населения (крестьян, мещан).

Стр. 298. *...на книжке «Пюсель д'Орлеан» Вольтера.* — Сатирическая поэма Вольтера «Орлеанская девственница».

Стр. 301. *...про того Брилова.* — Правильнее Брюллов К. П. (1799—1852) — знаменитый русский художник.

Стр. 302. *«Ах, за окном в тени мелькает русая головка!»* — Строка из стихотворения Я. П. Полонского «Вызов».

«Гляжу я безмолвно на темную шаль!» — Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Черная шаль» *(искажен.).*

«Ледяной дом» — исторический роман И. И. Лажечникова.

Стр. 303. *...в Эйске* (точнее Ейск) — город на берегу Азовского моря.

Стр. 304. Дуб — название лодки, челна в южных областях России.

Стр. 310. Ордынская дань — дань, которую во время монгольского ига платили русские княжества Золотой Орде.

...чуть не попал в Соловки. — То есть в Соловецкий монастырь, служивший местом ссылки и заключения священно- и церковнослужителей для покаяния.

Стр. 311. Бюхнер Людвиг (1824—1899) — немецкий физиолог и философ, представитель вульгарного материализма.

Стр. 314. *...к ирокезцам* (правильнее ирокезы) — в XVI—XVIII веках союз нескольких индейских племен, в значительной мере истребленных колонизаторами.

Стр. 317. *...учился в пажах...* — то есть в Пажеском корпусе — учебном заведении, куда принимали сыновей только высшей знати.

Тильбюри — легкий двухколесный одноконный экипаж.

Стр. 319. Купель Силоамская — пруд в древнем Иерусалиме, воды которого пополнялись из Силоамского источника, обладавшего, по евангельской легенде, чудесным исцеляющим свойством.

Стр. 320. *...о походе нынешних наполеоновских французиков.* — Подразумеваются войны Наполеона III, вооруженное вмешательство в итальянские дела, окончившиеся в 1859 г. победой над Австрией, а также военная экспедиция в Сирию и участие в войне против Китая (1860).

...новые комиссии о разных реформах...—то есть комиссии, разрабатывавшие положения о земской и судебной реформах.

...о редакционных крестьянских комиссиях...— Редакционные комиссии были созданы в 1859 г. для подготовки Положений об отмене крепостного права.

Стр. 333. *...отставной прапорщик из букеевских ординарцев*—точнее, ордынцев. Букеевская орда—вассальное казахское ханство, образованное в 1801 г. между Уралом и Волгой и уничтоженное как ханство в 1845 г.

Стр. 334. Булавин К. А. (ок. 1660—1708)—донской казак, предводитель антифеодального восстания.

Заметаев И. П. (ок. 1735—1775)—один из участников крестьянского восстания под руководством Е. Пугачева, действовавший в низовьях Волги.

Стр. 336. *...открываю присутствие...*—то есть заседание административного учреждения, созываемое по мере надобности.

Стр. 346. *Герой Колокотрони*—правильнее Колокотронис Теодорос (1770—1843)—видный деятель национально-освободительного движения в Греции (1821—1829).

Стр. 363. Бедлам.— Название дома умалишенных в Лондоне. В переносном смысле—хаос, неразбериха.

Стр. 364. Однодворцы—одна из категорий государственных крестьян.

Стр. 367. Бунчук—хвост лошади или яка, укрепленный на древке, служил знаком достоинства пашей в Турции. Трехбунчужный—имевший, как знак высшего достоинства, три хвоста.

Стр. 388. *...на мирской земле...*—то есть находившаяся во владении крестьянской общины. См. также прим. к стр. 17.

Стр. 402. Кошут Лайош (1802—1894)—руководитель национально-освободительной борьбы венгерского народа во время Революции 1848—1849 гг. в Венгрии.

Стр. 404. Пошевни—розвальни, широкие сани.

Стр. 408. Бекетные—караульные.

Стр. 410. Мекка—город на западе Саудовской Аравии, религиозный центр и место паломничества мусульман.

Чекмень—верхняя военная одежда в виде полукафтана.

Стр. 416. Инвалиды—солдаты, негодные к несению непосредственно военной службы из-за преклонного возраста или ранений, использовались в качестве караульных и конвоиров.

Стр. 420. *...бессрочный солдат.*—Солдат, находящийся в бессрочном отпуске.

Стр. 422. *...хлебные греческие и итальянские магазины.*— Магазинами в то время назывались не только торговые предприятия, но также складские помещения для различных зерновых запасов.

Стр. 423. Аудитор—лицо, исполняющее при военных судах должность следователя или пристава. Кантонисты—сыновья солдат и военных поселян, с детства закрепленные за военным ведомством.

Архалук—короткий кафтан, застегивающийся на крючки.

Стр. 435. *...Людовики шестнадцатые в цепях!*—Людовик XVI (1754—1793)—французский король (1774—1792), казнен во время Великой французской революции.

Стр. 437. Содом и Гоморра—древние города в Палестине. По библейскому преданию, они были сожжены небесным огнем за развратную жизнь жителей.

Санкюлот в душе...— Так называли революционеров времен Великой французской революции конца XVIII века.

Стр. 439. *...отказываются от добровольных сделок с владельцами.*— То есть от подписания уставных грамот — документов, фиксировавших размеры земельных наделов и угодий крестьян до выкупа ими этих земель, а также устанавливавших объем повинностей, которые за пользование землями должны были выполнять крестьяне.

Мировые посредники — должностные лица, в обязанность которых входила проверка уставных грамот. Они также регулировали отношения между помещиками и крестьянами.

Стр. 441. Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — глава и герой революционной борьбы за национальное освобождение Италии от австрийского и папского ига и объединение разрозненных итальянских провинций в единое государство.

Стр. 446. *...овна девы.*— Имеется в виду созвездие Девы.

Стр. 473. Полинезия — группа островов в центральной части Тихого океана, населенных отсталыми племенами.

Стр. 478. *...к комитетам по части реформы не то земских, не то судебных учреждений.*— Положение о земских учреждениях было издано в 1864 г., суды по новым судебным уставам открыты в Петербурге в 1866 г.

КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

Стр. 482. *...в битве при знаменитой Чесме.*— В этой битве во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. был уничтожен турецкий флот.

Брандеры — деревянные суда, наполненные порохом и горючими материалами, предназначавшиеся для истребления вражеских судов.

Брандскугель — зажигательный снаряд из легковоспламеняющихся горючих веществ.

Галеры — военное гребное судно с прикованными к сиденьям гребцами.

...Кидающему смерть в турецкий флот Концову.— Данилевский переделал строку из оды Хераскова «Чесменский бой» (1771), звучащую так: «Кидающему огнь к срацинам Клокачеву». Срацинами называли турок.

Стр. 483. *...взят, аки Енох, живой на небо.*— По библейской легенде, Енох был взят живым на небо за благочестие.

Стр. 484. Клавикорды — название фортепьяно в XVIII веке.

Стр. 486. Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787) — немецкий композитор. Автор опер «Орфей и Эвридика», «Парис и Елена», «Ифигения в Тавриде».

Стр. 487. Муэззин — магометанский священнослужитель.

Стр. 488. Утрехт — город в Голландии.

...наслать на нас страшный бунт Пугачева.— Речь идет о Крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева в 1773—1775 гг.

Стр. 490. *...в Рагузе, то есть в Дубровнике* — два названия современной Далмации (город в Югославии).

Стр. 491. *...бывшей там замужем Анны и Елисаветы, выписавшей себе оттуда наследника Петра Третьего.*— Анна Петровна была замужем за

герцогом Гольштинским; их сын Петр III (1728—1762) был объявлен Елизаветой наследником престола, свергнут женой Екатериной II при помощи гвардии 28 июня 1762 г.

Радзивилл Карл (1734—1790) — глава польских конфедератов, то есть участников съезда польских магнатов, недовольных действиями короля.

Кунтуш — верхнее платье у поляков и украинцев в виде кафтана с разрезными рукавами.

Стр. 493. Баул — деревянный дорожный сундучок, обтянутый кожей.

...завещание моего деда Петра Первого. — Имеется в виду закон о престолонаследии, установленный Петром Первым (1722), о праве монарха назначать себе преемника.

Пьячетти. — Правильнее Пьяццетта Джованни Баттиста (1682—1754) — итальянский живописец, мастер декоративного стиля.

...давно въяве похороненный император Петр Третий. — Речь идет о Емельяне Пугачеве, объявившем себя царем Петром III.

Стр. 494. Шувалов И. И. (1727—1797)—русский государственный деятель, фаворит Елизаветы Петровны.

Стр. 496. Панин Н. И. (1718—1783)—граф, дипломат. Участник дворцового переворота 1762 г.

Панин П. И. (1721—1789)—граф, русский генерал-аншеф; участвовал в русско-турецкой войне. Брат Н. И. Панина.

...послала графу Алексею письмо и небольшой манифест. — Речь идет о письме от 18 августа 1774 г., которое самозванка действительно направила Орлову.

Стр. 497. *...в Испагани.* — В то время столица Персии.

Стр. 498. Ганимед — в греческой мифологии троянский юноша, взятый за красоту Зевсом на Олимп. В переносном смысле — слуга, подающий гостям вино.

Стр. 499. *... окрестил...* в *Таракановку.* — Здесь одна из версий о происхождении фамилии «Тараканова». См. также послесл.

....о чудном случае с лемешевским пастухом, нежданно ставшим из певчего Алешки Розума — графом и тайным, обвенчанным мужем государыни. — Речь идет об А. Г. Разумовском (1709—1771), ставшем фаворитом, а затем и морганатическим супругом Елизаветы Петровны.

Мирович В. Я. (1740—1764) — подпоручик Смоленского полка, пытавшийся освободить из Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича; был казнен.

Разумовский К. Г. (1728—1803) — граф, последний гетман Украины (1750—1764). Младший брат А. Г. Разумовского.

Стр. 500. *... сорил деньгами, как индийский набоб.* — Так назывались высшие английские чиновники, награбившие в Индии огромные состояния.

Стр. 501. Грейг С. К. (1736—1788) — адмирал, командующий русской эскадрой; участвовал в Чесменском бою (1770).

Стр. 503. *...выезжал без пудры.* — Тогда носили пудреные парики или пудрили волосы.

Стр. 504. *...люди казались... пигмеями.* — По древнегреческим легендам, пигмеями назывался народ карликов. Это название применено к низкорослым племенам Африки.

Юпитер — в римской мифологии главный бог, восседавший на Олимпе.

Бахус (Вакх) — бог виноградарства, в честь которого устраивались шумные празднества.

Стр. 505 *...вспомнил июньские дни!*—28 июня 1762 г. в результате дворцового переворота российской императрицей стала Екатерина II.

Стр. 508. Кондиции—условия.

Стр. 512. Австерия—трактир.

Стр. 515. ... *погубить другого, такого же неповинного... в Шлиссельбурге...*—Имеется в виду Иван Антонович (1740—1764), российский император, с детства был заключен в Шлиссельбургскую крепость, убит при попытке офицера Мировича освободить его.

Стр. 516. *Негоции* (точнее негоциации)—дипломатические переговоры.

Стр. 520. Сид Кампеадор (наст. имя Родриго Диас де Бивар)—испанский рыцарь, прославившийся подвигами в борьбе за освобождение территорий, захваченных маврами.

Баярд Пьер де-Террайль—средневековый французский рыцарь, образец великодушия и храбрости.

Стр. 521. Рибас Хосе де (Дерибас О. М.) (1749—1800)—русский адмирал; испанец. С 1772 г. находился на русской военной службе. Позже составил проект военно-торгового порта Одесса, под его руководством осуществлялось строительство порта.

Стр. 522. Селадон—герой романа О. д'Юрфе «Астрея». Здесь: чувствительный влюбленный.

Стр. 530. Брандвахта—сторожевое судно.

Стр. 533. Поликсена Пчелкина—персонаж романа Данилевского «Мирович».

Стр. 534. Урсулинки—женский католический монашеский орден в Италии; в его монастырях получали образование девочки.

Стр. 537. Понева—старинная русская (в южных областях России) и белорусская одежда замужних женщин: юбка.

Стр. 539. *Пугачева четвертовали в январе.*—10 января 1775 г.

Стр. 540. Абшид—отставка.

Потемкин Г. А. (1739—1791)—русский государственный и военный деятель, фаворит Екатерины II.

Стр. 542. *...к торжеству празднования турецкого мира.*—Мир с Турцией был подписан 10 июля 1774 г.

Стр. 543. *«Матушка царица, прости, не думали, не гадали...»*—Слова А. Орлова после убийства Петра III.

Стр. 544. Миллер Герард Фридрих (1705—1783)—русский историк.

Кокс Уильям (1747—1828)—английский путешественник, объездивший большую часть Европы; автор ряда книг, в том числе и о посещении России.

Стр. 545. *...прочел розыск Василия Шуйского в Угличе.*—То есть расследование причин смерти царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного.

Стр. 556. Артикул—свод воинских постановлений и законов, установленный Петром Первым. Здесь: не по закону.

Стр. 559. Голицын А. М.—князь, генерал-фельдмаршал; вел следствие по делу самозванки; во время русско-турецкой войны был главнокомандующим 1-й армией и 9 сентября 1869 г. занял крепость Хотин (в Молдавии).

...молебны с акафистами.—То есть молебны со словословием, при исполнении которого не позволялось сидеть.

Морея — полуостров на юге Греции.

Адриатика — Адриатическое море.

Стр. 560. ... *в Новоспасский женский монастырь привезли таинственную особу... постригли, дав ей имя Досифеи...* — Постриг таинственной монастырской узницы Досифеи, в которой подозревалась дочь Елизаветы Петровны и Разумовского, относится к 1784 г. Здесь Данилевский допустил вольность в обращении с фактами.

Стр. 561. Шешковский С. И. — глава Тайной канцелярии при Екатерине II отличался применением пыток при допросах.

Стр. 572. Массильон Жан-Батист (1663—1742) — французский проповедник.

Стр. 573. ...*взял дароносицу* — сосуд, в котором хранятся так называемые дары для причащения больных.

Стр. 574. ***Фижмены*** (правильнее фижмы) — юбки на китовых усах.

Стр. 581. *В прежние наводнения...* — Здесь Данилевский использовал легенду о наводнении, изображенном в картине К. Флавицкого «Княжна Тараканова» (1864).

Стр. 582. Проскомидия — первая часть богослужения.

Стр. 585. ...*покровитель ордена мальтийских рыцарей.* — Рыцари Мальтийского ордена были изгнаны Наполеоном с острова Мальта. Они искали защиты и поддержки у Павла I, избрав его великим магистром.

Тиверий. — Правильнее Тиберий (42 до н. э.—37 н. э.) — римский император, проводил автократичную политику.

Тит (39—81) — римский император из династии Флавиев. В Иудейскую войну разрушил Иерусалим.

Смолянка — воспитанница Смольного института в Петербурге.

Стр. 586. *Паэзиелло.* — Правильнее Паизиелло Джованни (1740—1816) — итальянский композитор, в 1776—1784 гг. был капельмейстером в Петербурге.

Нелидова Е. И. (1756—1839) — фрейлина, фаворитка Павла I.

Стр. 589. Пенелопа — по древнегреческой мифологии добродетельная и верная жена Одиссея.

Дож — титул верховных правителей в Венецианской и Генуэзской республиках.

Стр. 590. ...*знаменитый маг и вызыватель духов...* — По-видимому, речь идет о международном авантюристе Калиостро Александре (1743—1795), подлинное имя Джузеппе Бальзамо, выдававшем себя за чародея. Побывал он и в Петербурге.

Стр. 594. Новиков Н. И. (1744—1818) — русский просветитель, журналист, издатель. В 1792 г. по приказу Екатерины II заключен в Шлиссельбургскую крепость. Освобожден в 1796 г. по приказу Павла.

Радищев А. Н. (1749—1802) — революционный мыслитель, публицист, писатель. За книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» по приказу Екатерины II был сослан в Якутскую область, освобожден при Павле.

Стр. 596. Предание о том, что княжна Тараканова родила сына в Петропавловской крепости от графа А. Г. Орлова, неправдоподобно. У Орлова был незаконнорожденный сын А. А. Чесменский, который в конце 80-х годов был уже офицером конной гвардии.

Эм. Виленская

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Петрович Данилевский

БЕГЛЫЕ В НОВОРОССИИ

ВОЛЯ

КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

Редактор
Н. А. Галахова

Оформление художника
Д. Б. Шимилиса

Художественный редактор
Н. Н. Каминская

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

ИБ 601

Сдано в набор 08.08.82. Подписано к печати 10.10.82.
Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Баскервиль».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,76. Уч.-изд. л. 34,52.
Доп. тираж 1000000 экз. Цена 3 руб.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
издательства ЦК КП Белоруссии,
220041. Минск. Ленинский проспект, 79.
Заказ 113.



Уважаемые товарищи!

С 1974 года организован сбор макулатуры с одновременной продажей популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Применение макулатуры для производства бумаги дает возможность экономить остродефицитное древесное сырье, значительно уменьшить расходы по производству бумаги.

Использование одной тонны макулатуры позволяет получить 0,7 тонны бумаги или картона, заменить 0,85 тонны целлюлозы или 4,4 кубического метра древесины. Кроме того, при этом сберегаются леса нашей Родины, чистота ее рек, озер, воздушного пространства.

Сбор и сдача макулатуры — важное государственное дело.

Сдавайте макулатуру заготовительным организациям!



3 руб.